И(Фр)
Б21

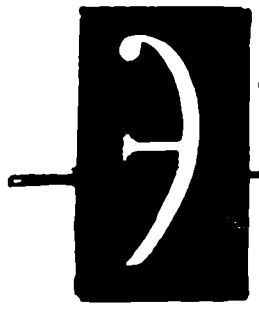
БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960



Этюды о нравах

Сцены частной жизни

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЖИЗНИ

Лоре.
Воздаю дань поклонения блестящему и скромному уму той, которая дала мне сюжет этой повести.

Брат ее *де Бальзак.*

Уже недалеко то время, когда железные дороги вытеснят одни промыслы, внесут изменения в другие,— особенно в занятия, связанные с различными видами извозного промысла, существующими сейчас в окрестностях Парижа. Поэтому вскоре люди и предметы, о которых рассказывается в этой повести, придадут ей ценность археологического исследования. Ведь, наверно, нашим внукам любопытно будет узнать социальные основы эпохи, которую они назовут «былыми временами». Так, например, ныне уже нет живописных «кукушек», стоянка которых была на площади Согласия и даже на бульваре Кур-ля-Рен, «кукушек», процветавших в течение целого столетия, многочисленных еще и в 1830 году; теперь же, в 1842 году, пожалуй, встретишь на дороге такую «кукушку» только в день сельского праздника, на который отовсюду стекается народ.

В 1820 году не существовало еще регулярного почтово-пассажирского сообщения между всеми пунктами, которые прославились своим живописным местоположением и называются «окрестностями Парижа». Как бы там ни было, Тушар с сыном получили исключительное право на провоз пассажиров между наиболее населенными

местечками на пятнадцать лье в окружности; они держали роскошную контору дилижансов на улице Фобур-Сен-Дени. Несмотря на то, что это была старинная фирма, что Тушары вложили в дело много труда и большой капитал, несмотря на сосредоточенность предприятия в одних руках и вытекающие отсюда преимущества, все же заурядные «кукушки» из предместья Сен-Дени успешно соперничали с их каретами по части перевозки пассажиров в пункты, расположенные в семи-восьми лье от Парижа. Парижане такие любители загородных поездок, что местные извозные конторы успешно боролись с «малыми дилижансами», как прозвали тушаровские кареты в отличие от «больших дилижансов» с улицы Монмартра. В ту пору процветание конторы Тушаров подстрекнуло людей предприимчивых. Для обслуживания даже самых незначительных местечек в окрестностях Парижа стали возникать конторы дилижансов; на десять лье в окружности развилась бешеная конкуренция между красивыми, быстрыми, удобными каретами, отправлявшимися и прибывавшими по расписанию. «Кукушка», потерпевшая поражение на расстояниях в четыре-шесть лье, ограничилась короткими рейсами и просуществовала еще несколько лет. Она сдалась, когда омнибусы доказали возможность перевозить сразу восемнадцать человек в карете, запряженной парой лошадей. Если бы в наши дни на складе старых экипажей случайно была обнаружена «кукушка», то внешний вид и устройство этой тяжелой на подъем птицы привлекли бы внимание ученых, подобно тому как остовы животных, найденные в каменоломнях на Монмартре, заинтересовали Кювье.

Мелкие хозяева, которым угрожали ловкие дельцы, с 1822 года боролись с Тушарами, отцом и сыном, опираясь в своей борьбе на расположение жителей того местечка, которое они обслуживали. Обычно хозяин предприятия, он же и кучер и владелец кареты, был вместе с тем и трактирщиком, хорошо знакомым с коренными обитателями и местными условиями. Он ловко выполнял поручения, брал умеренную плату за мелкие услуги и именно поэтому выручал больше, чем фирма Тушаров. Он умел провозить спиртные напитки без разрешения, а в случае надобности знал, как обойти правила о перевозке пассажиров. Словом, он пользовался любовью простого

народа. Поэтому, когда исконный содержатель извозного предприятия, уступая новому конкуренту, начинал ездить в очередь с ним, некоторые клиенты откладывали поездку до того дня, когда поедет старый хозяин, хотя состояние его кареты и лошадей внушало мало доверия.

В свое время Тушары особенно стремились захватить в свои руки транспортную линию между Парижем и Бомоном-на-Уазе, монополию на которую усиленно оспаривали у них и теперь еще продолжают оспаривать конкуренты у их преемников Тулузов; линия эта, по-видимому, особенно прибыльна, ибо в 1822 году ее одновременно обслуживали три конторы дилижансов. Напрасно «малые дилижансы» снижали цены, напрасно увеличивали они число рейсов, напрасно заказывали прекрасные кареты,— отделаться от конкурентов им не удалось: очень уж доходна транспортная линия, на которой расположены такие местечки, как Сен-Дени и Сен-Брис, такие деревни, как Пьерфит, Гроле, Экуэн, Понсель, Муасель, Байе, Монсу, Мафлие, Франконвиль, Прэль, Нуэнтель, Нервиль и другие. Тушарам пришлось удлинить до Шамбли рейсы своих почтовых карет. Конкуренты последовали за ними в Шамбли. В наши дни контора Тулузов возит уже до Бове.

От этой дороги, ведущей в Англию, отходит боковая дорога, которая начинается от местечка, удачно прозванного «Кав» [1], и идет по одной из самых очаровательных долин бассейна Уазы до небольшого городка Лиль-Адан, который пользуется двойной известностью: и как колыбель угасшего рода Лиль-Аданов и как древняя резиденция Бурбонов-Конти. Лиль-Адан — прелестный городок с двумя деревнями — Ножан и Пармэн — по соседству, знаменитыми своими каменоломнями, поставляющими материал для самых красивых новых зданий в Париж и за границу; так, например, основания и капители колонн в Брюссельском театре сделаны из ножанского камня. Хотя эта дорога и славится прекрасными видами и замечательными замками, построенными вельможами, монахами или знаменитыми живописцами, как, например, замки Кассан, Стор, Ле-Валь, Нуэнтель, Персан и другие, в этой местности в 1822 году не существовало конкуренции, и

---

[1] К а в — по-французски яма.

извозом промышляли здесь два хозяина, отлично ладившие между собой. Причину такого исключительного положения понять нетрудно. От Кава, места, откуда идет по направлению к Англии мощеная дорога, которой мы обязаны щедрости принцев Конти, до Лиль-Адана целых два лье; ни одно почтово-пассажирское предприятие не могло себе позволить такой крюк, тем более что Лиль-Адан в то время стоял в тупике. Дорога, которая вела туда, там и кончалась. Несколько лет назад была проложена большая дорога, соединившая долину Монморанси с долиной Лиль-Адана. Она идет вдоль Уазы от Сен-Дени через Сен-Лё-Таверни, Мерю, Лиль-Адан до Бомона. Но в 1822 году единственной дорогой в Лиль-Адан было шоссе, проложенное принцами Конти. Итак, транспортной линией Париж — Лиль-Адан владели Пьеротен и его коллега, пользовавшиеся любовью всего края. Пьеротенова карета и карета его товарища обслуживали Стор, Ле-Валь, Пармэн, Шампань, Мур, Прероль, Ножан, Нервиль и Мафлие. Пьеротен был так популярен, что даже жители Монсу, Муаселя, Байе и Сен-Бриса — местечек, расположенных на большой дороге,— пользовались его услугами, так как получить место в его карете было легче, чем в вечно переполненных бомонских дилижансах. Пьеротен и его конкурент не ссорились. Когда Пьеротен отбывал из Лиль-Адана, его товарищ возвращался из Парижа — и наоборот. Говорить о его конкуренте не стоит. Пьеротен пользовался любовью всего края. Кроме того, в этой правдивой истории речь идет только о нем. Достаточно будет сказать, что возницы жили в добром согласии, конкурировали без подвохов, лишь честным путем стараясь залучить побольше пассажиров. В Париже, в видах экономии, они пользовались одним и тем же постоялым двором, той же конюшней, тем же каретным сараем, той же конторой, тем же фактором; из этого уже вполне ясно, что и Пьеротен и его соперник были, как говорится, людьми покладистыми.

Этот постоялый двор, помещавшийся на углу Ангенской улицы, существует и по сей день и называется ныне «Серебряный лев». Владелец заведения, постояльцами которого с незапамятных времен были возницы, сам держал почтовые кареты, ездившие в Дамартен, и дело у него было поставлено так основательно, что Тушары, его

соседи, контора которых помещалась насупротив, и не пытались соваться на эту линию.

Хотя полагалось отбывать в Лиль-Адан по расписанию, Пьеротен и его сотоварищ по перевозкам проявляли в этом отношении чрезвычайную сговорчивость, что помогло им снискать расположение местных жителей, зато не раз вызывало нарекания со стороны посторонних, привыкших к точности крупных заведений. Но оба хозяина, почтовые кареты которых представляли собой нечто среднее между дилижансом и «кукушкой», всегда находили защитников среди своих постоянных клиентов. Вечерняя отправка, назначенная по расписанию на четыре часа, затягивалась обычно до половины пятого, а с утренней, хотя она и назначалась в восемь часов, никогда не управлялись раньше девяти. Впрочем, система эта была чрезвычайно гибка. Летом, в золотую для почтовых карет пору, точное расписание соблюдалось для посторонних со всей строгостью и нарушалось только для местных жителей. Такой порядок давал Пьеротену возможность положить в карман двойную плату в тех случаях, когда постоянный клиент приходил спозаранку и ему доставалось место, предварительно заказанное «перелетной птицей», на свое несчастье запоздавшей. Такая гибкость расписания, разумеется, не могла найти извинения в глазах людей принципиальных; но Пьеротен и его сотоварищ оправдывали это трудными временами, малыми заработками в зимнюю пору, необходимостью приобретать новые кареты и наконец точным соблюдением печатных правил, чрезвычайно редкие экземпляры которых показывались случайным пассажирам только после весьма настоятельных требований.

Пьеротену было под сорок, он уже обзавелся семьей. Он вышел из кавалерии в 1815 году, когда была распущена наполеоновская армия, и заменил отца, совершавшего нерегулярные рейсы на «кукушке» между Лиль-Аданом и Парижем. Женившись на дочери мелкого трактирщика, он поставил дело на более широкую ногу, упорядочил рейсы и благодаря смышлености и чисто военной аккуратности завоевал всеобщее расположение. Пьеротен (вероятно, это было прозвище, а не фамилия) был проворен и решителен; его красное, обветренное лицо, отличавшееся подвижностью и насмешливым выражением,

казалось умным. Кроме того, он обладал той легкостью речи, которая приобретается благодаря общению с различными людьми и знакомству со многими краями. Голос его огрубел от привычки понукать лошадей и кричать «Берегись!», но для седоков он смягчался. По обычаю второразрядных возниц он носил подбитые гвоздями прочные сапоги грубой лиль-аданской работы, плисовые штаны бутылочного цвета, куртку из той же материи; но, выполняя свои обязанности, он надевал поверх нее синюю блузу, пестро расшитую вокруг ворота, на плечах и по обшлагам. Голову его украшал картуз с большим козырьком. За военную службу Пьеротен привык подчиняться власть имущим и почтительно обходиться с людьми знатными; с обывателями он держался запросто, но к женщинам всегда относился уважительно, к какому бы сословию они ни принадлежали. Однако ему всю жизнь приходилось, по его же собственному выражению, заниматься «доставкой людей по назначению», и он в конце концов стал рассматривать своих пассажиров как посылки, способные передвигаться самостоятельно, а стало быть, требующие меньше забот, чем обыкновенная кладь, основной предмет перевозок.

Пьеротен знал о новых веяниях, которые после заключения мира внесли переворот в его промысел, и не хотел отставать от века. Поэтому с наступлением тепла он все чаще поговаривал о большой карете, заказанной им фирме Фарри, Брейльман и К°, лучшим тогдашним каретникам; необходимость эта вызывалась все увеличивающимся наплывом пассажиров. Движимое имущество Пьеротена заключалось в ту пору в двух каретах. Одна, которой он пользовался зимой и которую предъявлял податным инспекторам, досталась ему от отца и недалеко ушла от «кукушки». Карета эта была пузатая, благодаря чему в ней умещалось шесть пассажиров на двух скамейках, твердых как железо, хотя и обитых дешевым желтым плюшем. Скамейки отделялись одна от другой деревянной перекладиной, которую можно было по желанию вынимать и вставлять обратно в пазы, сделанные на внутренних стенках кареты на высоте спины. Эта коварная перекладина, для виду тоже обитая плюшем и величаемая Пьеротеном спинкой, приводила пассажиров в уныние, потому что снимать и водворять ее обратно было очень

трудно. Но если было сущей мукой переставлять перекладину, то еще большей мукой было, когда она подпирала вам спину. Если же ее не трогали с места, она мешала входу и выходу, представляя особое затруднение для женщин. Хотя на каждой скамейке этого неуклюжего двухколесного экипажа полагалось сидеть только трем пассажирам, часто их набивалось в карету, как сельдей в бочку, и на обеих скамейках умещалось тогда восемь человек. Пьеротен утверждал, будто седокам так куда удобнее, потому что они крепко-накрепко втиснуты в карету; когда же пассажиров сидит по три на скамье, они то и дело стукаются друг о дружку, а при сильных толчках на ухабистой дороге могут пострадать их шляпы, ударившись о верх экипажа. На передке имелись широкие деревянные козлы, предназначенные для Пьеротена; рядом с ним могло усесться еще три пассажира: таких пассажиров, как известно, называют «зайцами». Случалось, что Пьеротен брал на козлы и четырех «зайцев», а сам тогда примащивался сбоку на чем-то вроде ящика, приделанного снизу к кузову и наполненного соломой или такими посылками, в которые «зайцы» могли без опаски упираться ногами. По верху кузова, выкрашенного в желтый цвет, шла ярко-синяя полоса, на которой серебристо-белыми буквами значилось с обеих сторон кареты: «Лиль-Адан — Париж», а сзади: «Лиль-аданская контора». Наши потомки очень ошибутся, если подумают, что эта карета перевозила никак не больше тринадцати пассажиров, вместе с Пьеротеном; в исключительных случаях она вмещала еще троих в квадратном отделении, покрытом брезентом и предназначенном для чемоданов, ящиков и посылок; но предусмотрительный Пьеротен пускал туда только постоянных клиентов, да и то проехав городскую заставу. Обитателям «курятника», как прозвали возницы эту часть экипажа, приходилось вылезать перед каждой деревней, где стоял полицейский пост. Перегрузка, воспрещенная законом, заботящимся о безопасности пассажиров, бывала в таких случаях слишком явной, и полицейские, хоть и водившие дружбу с Пьеротеном, никак не могли бы увильнуть от составления протокола за такое нарушение правил. Случалось, что в субботу вечером или в понедельник утром колымага Пьеротена доставляла по назначению и пятнадцать пассажиров, но в таких случаях

он давал в подмогу своей большой престарелой кляче, по имени Рыжий, помощницу: лошадку ростом с пони, которую он превозносил до небес. Эта кобылка, прозванная Козочкой, ела мало, бежала резво, не зная устали, и Пьеротен ценил ее на вес золота.

— Жена нипочем не променяет ее на рыжего дармоеда! — говаривал Пьеротен, когда кто-либо из пассажиров подтрунивал над его «микроскопической» лошадкой.

Вторая карета в отличие от первой была на четырех колесах. Экипаж этот, весьма своеобразного устройства, именовался четырехколесной каретой и вмещал семнадцать пассажиров, хотя был рассчитан только на четырнадцать. Он так грохотал, что, когда выезжал из лесу на склон холма и спускался в долину, в Лиль-Адане уже говорили: «Пьеротен едет!» Карета внутри была разделена на два отделения. В первом, так называемом внутреннем, умещалось шесть пассажиров на двух скамейках; второе— так называемые «наружные места» — находилось спереди и напоминало кабриолет. Это отделение закрывалось стеклянной дверцей, чрезвычайно неудобной и нелепой, описание которой заняло бы слишком много времени и потому было бы здесь неуместно. На верху кареты был еще крытый империал, куда Пьеротен втискивал шесть пассажиров; империал прикрывался кожаной полостью. Сам Пьеротен сидел на почти невидимых козлах, прилаженных под дверцей наружных мест. Лиль-аданский возница платил налог, коим облагаются дилижансы, только за «кукушку», зарегистрированную в качестве шестиместной кареты, а когда пользовался четырехколесной каретой, всякий раз выправлял на нее особое пропускное свидетельство. В наши дни это может показаться странным, но вначале общественные кареты облагались пошлиной както нерешительно, и их хозяева имели возможность заниматься безобидным надувательством и радовались, когда им удавалось, как они выражались, «натянуть нос» чиновникам. Понемногу прожорливый фиск сделался придирчивее и стал требовать, чтобы на общественных каретах было двойное клеймо, указывающее, что карета измерена и налог уплачен. Невинную пору младенчества переживают все, даже фиск; а в 1822 году эта пора для фиска еще не миновала. Летом по дороге зачастую дружно катили и четырехколесная карета и двуколка, в которых си-

дело тридцать два пассажира, а Пьеротен платил налог только за шестерых. В те благословенные дни его рыдваны, выехав из предместья Сен-Дени в половине пятого, бодро добирались до Лиль-Адана к десяти часам вечера. И, гордый своей расторопностью, Пьеротен, которому приходилось в таких случаях принанимать лошадей, говаривал: «Славно бежали лошадки!» Чтобы проехать с таким грузом девять лье за пять часов, он не задерживался по дороге ни в Сен-Брисе, ни в Муаселе, ни в Каве, где обычно делают остановку возницы.

Постоялый двор «Серебряный лев» занимает узкий, но длинный участок. По фасаду в нем всего три или четыре окна, выходящих на предместье Сен-Дени, зато в длинном, глубоком дворе, в конце которого расположены конюшни, помещался в те годы целый дом, примыкавший к стене соседнего владения. Вход представлял собою высокое крыльцо, под которым, как в каретном сарае, могли поместиться два-три экипажа. В 1822 году контору для всех почтовых карет, стоявших в «Серебряном льве», содержала жена хозяина, у которой на каждую карету была заведена конторская книга; она получала деньги, записывала проезжающих и гостеприимно складывала посылки в своей обширной кухне. Пассажиры не возражали против такой патриархальной простоты. Те, кто приходил слишком рано, усаживались около огромного камина, или дожидались у ворот, или же шли в трактир «Шахматная доска», расположенный на углу улицы того же названия, идущей параллельно Ангенской улице и отделенной от нее всего несколькими домами.

Однажды ранней осенью, в субботнее утро, Пьеротен стоял в воротах «Серебряного льва», засунув руки сквозь прорехи блузы в карманы штанов; ему были видны кухня харчевни и длинный двор, в конце которого темным пятном выделялись конюшни. Дилижанс, отправляющийся в Дамартен, только что выехал и загрохотал вслед за дилижансами Тушаров. Был уже девятый час. В высоких воротах, над которыми на вывеске значилось: «Гостиница Серебряного льва», стояли конюхи и факторы конторы дилижансов и смотрели, как одна за другой бойко выезжают кареты, вводя в заблуждение пассажиров, воображающих, судя по началу, что лошади будут так же резво бежать всю дорогу.

— Запрягать, что ли, хозяин?..— спросил Пьеротена его конюх, когда уже не на что было больше смотреть.

— Четверть девятого, а пассажиров нет как нет,— ответил Пьеротен.— И куда это они запропастились? Все равно запрягай! И клади-то никакой нет. Провалиться мне на этом месте! Тушар не будет знать вечером, куда девать пассажиров, раз погода такая хорошая, а у меня всего-навсего четверо взяли места заранее. Вот вам и суббота! И всегда так, когда деньги особенно нужны! Собачье ремесло! Горе одно, а не ремесло!

— Ну, а будь пассажиры, куда бы вы их дели? Ведь у вас двуколка! — сказал в утешение Пьеротену конюх, он же фактор.

— А новая-то карета на что? — возразил Пьеротен.

— Так она все-таки существует? — спросил дородный овернец, обнажая в улыбке белые, крупные, как миндаль, зубы.

— Ах ты, старый дармоед! Завтра, в воскресенье, мы прикатим в ней, а тогда и вовсе потребуется восемнадцать пассажиров!

— Ну, раз будет новая карета, так работа пойдет горячая,— сказал овернец.

— Не хуже той кареты, что в Бомон ездит! Как жар горит! Красная с золотом, Тушары лопнут от зависти! Теперь мне двумя лошадьми не обойтись. Рыжему я уже пару подобрал, а Козочка поскачет в пристяжке. Ну, ладно, запрягай,— сказал Пьеротен, глядя в сторону заставы Сен-Дени и набивая трубку.— Вон там идут дама и молодой человек со свертками под мышкой. Они ищут «Серебряный лев», на «кукушек» они и внимания не обратили. Э, дама-то как будто моя старая клиентка.

— Вам не раз случалось отправляться с пустой каретой, а приезжали на место с полной,—утешил его фактор.

— И посылок-то нет ни одной,— вздохнул Пьеротен.— Провалиться мне на этом месте! Ну и везет!

И Пьеротен сел на одну из двух больших тумб, ограждавших стены; но сидел он с несвойственным ему рассеянным и беспокойным видом. Этот разговор, как будто и незначительный, расшевелил тревогу, таившуюся в сердце Пьеротена. А что могло смущать сердце Пьеротена, как не прекрасная карета? Блистать на дороге, соперничать с Тушарами, расширить свое дело, слушать, как пасса-

жиры расхваливают удобства путешествия в новых, усовершенствованных каретах, отдохнуть от вечных попреков за свою колымагу, таковы были весьма похвальные, хоть и честолюбивые мечты Пьеротена. И вот лиль-аданский возница, увлеченный желанием затмить сотоварища, добиться, чтобы тот рано или поздно уступил ему лиль-аданские рейсы, переоценил свои силы. Он действительно заказал экипаж у Фарри, Брейльмана и К°, каретных мастеров, заменивших квадратными английскими рессорами выгнутый передок и другие устаревшие французские выдумки; но недоверчивые и прижимистые фабриканты соглашались отпустить карету только за наличные. Эти мудрые коммерсанты рассудили, что им вовсе не выгодно изготовлять экипаж, который трудно будет сбыть, если он останется у них на руках; поэтому они приступили к работе только после того, как Пьеротен внес задаток в две тысячи франков. Чтобы удовлетворить справедливое требование каретных мастеров, честолюбивый возница отдал все свои сбережения и залез в долги. И жена, и тесть, и друзья его выложили все до последней копейки. Вчера он ходил взглянуть на свою великолепную, только что выкрашенную карету; все было готово, можно было запрягать хоть сейчас же,— оставалось только уплатить последний взнос. А Пьеротену не хватало тысячи франков! Он не решался попросить эту сумму у хозяина постоялого двора, так как и без того задолжал ему. За неимением тысячи франков он мог потерять две тысячи, отданные вперед, не считая пятисот франков, которые ему пришлось уплатить за нового Рыжего, да трехсот франков за новую упряжь, приобретенную в рассрочку на три месяца. А он в порыве отчаяния, подстрекаемый самолюбием, во всеуслышание заявил, что завтра, в воскресенье, приедет в новой карете! Он надеялся, что, уплатив полторы тысячи из оставшихся двух с половиной, смягчит сердце каретных фабрикантов и они отдадут ему карету, но после недолгого раздумья Пьеротен воскликнул вслух:

— Нет, это не люди! Это настоящие собаки! Выжиги!

«А что, если мне обратиться к господину Моро, прэльскому управляющему? — подумал он, осененный новой мыслью.— Господин Моро человек душевный, может быть, он и одолжит мне на полгода под расписку».

В эту минуту из конторы Тушаров вышел лакей без

ливреи; на плече он нес кожаный чемодан. Не достав, по-видимому, места в дилижансе, который отправлялся в Шамбли в час дня, он обратился к возчику:

— Вы Пьеротен?

— А дальше что? — сказал Пьеротен.

— Не подождете ли вы с четверть часика моего хозяина? А не то я отнесу чемодан домой, и придется барину нанять кабриолет, только и всего.

— Подожду и полчасика, и три четверти, и еще столько же, приятель,— сказал Пьеротен, поглядывая на изящный кожаный чемодан, тщательно увязанный и запертый на медный замок с гербом.

— Ну, тогда берите,— сказал лакей, снимая с плеча ношу.

Пьеротен поднял чемодан, прикинул на вес, осмотрел.

— На,— сказал хозяин дилижанса своему фактору,— заверни получше в сено да уложи в задний сундук. Фамилии на нем нет,— прибавил он.

— Там есть герб его сиятельства,— ответил лакей.

— Его сиятельства? Важная, значит, птица! Пойдемте, выпьем стаканчик! — предложил Пьеротен, подмигнув, и направился вместе с лакеем к трактиру «Шахматная доска».

— Две рюмки полынной! — крикнул он, входя.—Кто же ваш хозяин и куда он едет? Я вас что-то ни разу не видел,— спросил Пьеротен, чокнувшись с лакеем.

— На то есть особые причины,— заметил лакей.— Мой хозяин ездит-то к вам раз в год, да и то всегда на своих лошадях. Ему больше нравится долина Орж, у него там парк лучше всех окрестных парижских парков: Версаль, да и только! Это его родовое имение, и фамилию он носит по нему. А вы господина Моро знаете?

— Прэльского управляющего? — спросил Пьеротен.

— Так вот, его сиятельство едет дня на два в Прэль.

— Значит, я повезу самого графа де Серизи? — воскликнул Пьеротен.

— Да, приятель, ни больше, ни меньше. Только послушайте, граф отдал особое распоряжение. Если у вас в карете будут тамошние жители, не проговоритесь, кого везете,— граф хочет путешествовать как *инкогнито*, он приказал сказать вам об этом и пообещал хорошо дать на водку.

— Может быть, это путешествие втихомолку связано с той сделкой, ради которой приезжал в Париж дядюшка Леже, фермер из Мулино?

— Ничего не знаю,— ответил лакей.— В доме у нас все кувырком пошло. Вчера вечером я передал кучеру приказание графа в семь утра подать карету цугом, чтоб ехать в Прэль; а в семь часов его сиятельство отменили свое распоряжение. Огюстен, графский камердинер, думает, что перемена вышла из-за приходившей к графу дамы; Огюстену показалось, будто она из Прэля.

— Неужто графу на господина Моро наговорили? Господин Моро человек честный, человек правильный, ума палата. Да что уж там толковать! Пожелай он только, он мог бы куда больше денег нажить, будьте покойны!..

— В таком случае напрасно он этого не сделал,— наставительно заметил лакей.

— Значит, господин де Серизи поселится наконец в Прэле, раз дом заново обставили и отделали?—спросил, помолчав, Пьеротен.— Правда, что на это уже израсходовали двести тысяч франков?

— Если бы у нас с вами было столько, сколько они сверх того израсходовали, мы бы жили барами. Да, если графиня туда пожалует, семье Моро не так вольготно будет,— сказал лакей с таинственным видом.

— Хороший человек господин Моро,— повторил Пьеротен, который не расстался еще с мыслью попросить тысячу франков у управляющего.— Работа у него не переводится, зря он не торгуется, из земли все, что можно, выжимает, да еще не для себя, а для хозяина! Правильный человек! Он часто ездит в Париж и всегда со мной, на чай не скупится и всякий раз дает поручения. Что ни день — заказ, три-четыре покупки, и для самого и для супруги. На одних поручениях заработаешь пятьдесят франков в месяц. Сама, может, немножко нос и задирает, но детей своих любит; я за ними в коллеж езжу и обратно их отвожу. Каждый раз она мне сто су на чай дает, не хуже настоящей барыни. Зато и я, когда от них или к ним кого вожу, каждый раз к самым воротам замка подъезжаю... Надо же уважить, верно ведь?

— Говорят, у господина Моро ни гроша за душой не

было, когда граф взял его управляющим в Прэль,— сказал лакей.

— Но за семнадцать-то лет, с 1806 года, мог же он что-нибудь нажить,— возразил Пьеротен.

— Что верно, то верно,— сказал лакей, пожав плечами.— Да, у господ бывают всякие причуды! Надеюсь, что Моро кое-чем попользовался.

— Я часто к вам на дом плетенки доставлял, в особняк, что на улице Шоссе-д'Антэн, да так ни разу и не сподобился увидать ваших господ.

— Его сиятельство хороший человек,— конфиденциально сообщил лакей,— но раз он хочет, чтобы вы не проговорились насчет его *инкогнито*, значит тут что-то кроется; по крайней мере все в доме так думают, а то чего ради отменять карету цугом, чего ради ехать в «кукушке»? Неужто пэр Франции не в состоянии нанять коляску?

— За коляску в два конца с него запросят франков сорок, потом, скажу вам про нашу дорогу, ежели вы ее не знаете, что по ней только белкам прыгать впору: то вверх, то вниз,— сказал Пьеротен.— Что пэр Франции, что простой человек—никто денег зря бросать не любит. Если это путешествие касается господина Моро... право же, очень мне жалко будет, если с ним какая беда приключится! Провалиться мне на этом месте! Нельзя ли его как-нибудь предупредить? Он правильный человек, очень правильный, ума палата, что уж там говорить!

— Да и граф очень любит господина Моро!—сказал лакей.— Но если хотите послушаться доброго совета, не суйтесь в чужие дела. Нам своих хватит. Делайте то, что от вас требуют, да не забывайте: с графом шутки плохи. А потом, ежели уж на то пошло, надо вам сказать, граф человек щедрый. Если ему настолечко услужить,— и лакей указал на кончик ногтя,— он вам вернет во-о сколько,— и он вытянул всю руку.

Это разумное замечание со стороны такой высокопоставленной особы, как второй камердинер графа де Серизи, а главное, выразительный жест, которым оно сопровождалось, охладило пыл Пьеротена, желавшего услужить прэльскому управляющему.

— Ну, прощайте, господин Пьеротен,— сказал лакей.

Здесь нам необходимо бросить беглый взгляд на

жизнь графа де Серизи и его управляющего, иначе будет непонятна маленькая драма, которой суждено было разыграться в карете Пьеротена.

Господин Югре де Серизи происходит по прямой линии от знаменитого председателя провинциального парламента Югре, получившего дворянство при Франциске I.

Герб этого рода — *щит, рассеченный золотом и чернью, кайма внутренняя, все обрамлено двумя ромбами со следующей надписью: «I, semper melius eris»* [1]; этот девиз в той же мере, как и два мотовила, служащие щитодержателями, доказывает скромность мещанских семей в те времена, когда сословия еще знали свое место в государстве, а также наивность старинных нравов, которая видна из каламбура, где eris в сочетании с начальным i и конечным s в слове melius обозначает название (Sérisy) поместья, возведенного в графство.

Отец графа был до революции старшим председателем провинциального парламента. А сам граф в возрасте двадцати двух лет в 1787 году был уже государственным советником и заседал в Большом совете, где обратил на себя внимание прекрасными докладами по очень сложным делам. Во время революции он не эмигрировал, а отсиделся в своем поместье Серизи в окрестностях Арпажона, где уважение, которым пользовался его отец, предохранило его от преследований. В течение нескольких лет он ухаживал за отцом, которого лишился в 1794 году; приблизительно в это же время его избрали в Совет пятисот; он принял на себя эти обязанности, чтобы отвлечься от горьких дум. После 18 брюмера первый консул стал заигрывать с г-ном де Серизи, так же, как и со всеми представителями судейских семей; он назначил его в государственный совет и поручил ему восстановить одно из самых расшатанных ведомств. Итак, отпрыск известного в истории рода стал одним из крупных деятелей сложной и великолепной системы, которой мы обязаны Наполеону. Вскоре государственный советник покинул свой пост для службы в одном из министерств. Император пожаловал его графским титулом, сделал сенатором и два раза подряд назначал проконсулом различных ко-

---

[1] «Иди [вперед] — все время будешь становиться лучше» *(лат.)*.

ролевств. В 1806 году, сорока лет от роду, сенатор женился на сестре бывшего маркиза де Ронкероля, двадцатилетней вдове и наследнице прославленного республиканского генерала Гобера Благодаря этому браку, где обе стороны принадлежали к знати, приумножилось уже и без того значительное состояние графа де Серизи, породнившегося теперь с бывшим маркизом де Рувром, которого император возвел в графское достоинство и сделал камергером. В 1814 году, утомившись от непрерывных трудов, г-н Серизи, пошатнувшееся здоровье которого требовало отдыха, отказался от всех своих должностей, покинул провинцию, во главе которой его поставил император, и вернулся в Париж; Наполеону, убедившемуся в дурном состоянии здоровья графа, пришлось уступить. Этот неутомимый властелин, не веривший в утомление окружающих, принял сначала жалобы графа на тяжелые недуги за малодушие. Хотя сенатор де Серизи и не был в опале, говорили, что он не может похвалиться милостями Наполеона. Поэтому после возвращения Бурбонов Людовик XVIII, которого сенатор де Серизи, ставший уже пэром Франции, признал своим законным государем, оказал ему большое доверие, назначив членом тайного совета и государственным министром. 20 марта г-н де Серизи не последовал в Гент, но уведомил Наполеона, что остается верным дому Бурбонов, отказался от пэрства в период Ста дней и удалился на время этого короткого царствования в свое поместье Серизи. После второго падения Наполеона граф, как и следовало ожидать, вернулся в тайный совет, был назначен вице-председателем государственного совета и уполномоченным Франции по урегулированию претензий иностранных государств. В личной жизни он был очень скромен и совсем не честолюбив, однако имел большое влияние на государственные дела. Ни в одном важном политическом мероприятии не обходились без его совета; но при дворе он не бывал и даже в собственном доме редко выходил к гостям. Его благородная жизнь, давно уже посвященная труду, в конце концов превратилась в непрестанный труд. Граф круглый год вставал в четыре часа, занимался до полудня, затем исполнял свои обязанности пэра Франции и вице-председателя государственного совета и ложился в девять часов вечера. В воз-

даяние таких трудов король пожаловал его многими орденами. Г-н де Серизи уже давно был кавалером большого креста ордена Почетного легиона, у него был орден Золотого Руна, святого Андрея Первозванного, Прусского Орла— словом, ордена почти всех европейских дворов. Он был самым незаметным и в то же время самым необходимым деятелем в политическом мире. Понятно, что такому человеку были безразличны почести, милости, шумный успех в свете. Но, за исключением духовных лиц, никто не ведет такую жизнь без особых на то оснований. Существовала разгадка непонятного поведения графа, и разгадка жестокая.

Он был влюблен в свою будущую жену, еще когда она состояла в первом браке, и сохранил эту страсть, несмотря на то, что супружеская жизнь со вдовой, которая никогда не теряла самообладания как до, так и после своего второго замужества, принесла ему много горьких минут; жена г-на де Серизи была избалована его отеческой снисходительностью и злоупотребляла данной ей свободой. Непрестанною работой он, как щитом, прикрывал свои сердечные огорчения, пряча их от посторонних с той тщательностью, с какой это умеют делать государственные деятели. Он понимал, как смешна была бы его ревность в глазах света, который не допускал, чтобы престарелый министр мог страстно любить свою жену. Как удалось его жене околдовать его с первых же дней супружеской жизни? Как случилось, что вначале он не помышлял о мести, несмотря на то, что страдал? Как случилось, что затем он уже не решался мстить? Как случилось, что он ждал и напрасно надеялся? Какими чарами удалось молодой, красивой и умной женщине поработить его? Выяснение всех этих вопросов затянуло бы нашу повесть, а догадаться, в чем тут было дело, если не читатели, так читательницы могут и без того. Заметим только, что тяжелые труды и огорчения, к несчастью, лишили графа привлекательности, необходимой для мужчины, желающего выдержать опасное сравнение. Итак, самое большое тайное горе графа состояло в том, что болезнь, вызванная исключительно непосильной работой, лишила его расположения жены. Он был очень, даже чрезмерно добр к графине и предоставлял ей полную свободу; у нее бывал весь Париж, она уезжала в имение, возвращалась

оттуда, когда ей вздумается, как будто все еще была вдовой; он взял на себя заботы о ее состоянии и доставлял ей все удобства, словно был ее управляющим. Графиня питала к мужу глубокое уважение, ей даже нравился склад его ума, и она умела осчастливить его своей похвалой; потому-то она и могла вить из него, бедняги, веревки, стоило ей только побеседовать с ним часок-другой. По примеру вельмож былых времен граф так дорожил добрым именем своей супруги, что отозваться о ней недостаточно почтительно значило бы нанести ему кровную обиду. В свете все восхищались благородством его характера, а г-жа де Серизи была безмерно обязана мужу: всякая другая женщина, даже из столь знатной фамилии, как Ронкероли, не будь она женою графа, давно бы уже загубила свою репутацию. Графиня была очень неблагодарной женщиной, неблагодарной, но очаровательной. Время от времени она лила бальзам на раны графа.

Объясним теперь причину неожиданного путешествия и инкогнито графа де Серизи.

Богатый фермер из Бомона-на-Уазе по имени Леже арендовал ферму, участки которой вклинивались в земли графа и таким образом нарушали единство великолепного имения Прэль. Ферма эта принадлежала бомонскому жителю по фамилии Маргерон. Срок аренды, заключенной с Леже в 1799 году, когда нельзя было еще предвидеть будущий расцвет земледелия, приходил к концу, и владелец ответил отказом на предложение Леже возобновить договор. Г-н де Серизи, уже давно мечтавший отделаться от неприятностей и споров, которые часто вызываются чересполосицей, лелеял надежду купить эту ферму, ибо он узнал, что честолюбивые мечты г-на Маргерона сводились к одному: чтобы его единственный сын, в то время простой сборщик налогов, был назначен главным сборщиком податей в Санли. Моро предупредил своего хозяина, что в лице дядюшки Леже он найдет опасного соперника. Фермер, отлично понимавший, как много он выручит, если продаст по частям ферму графу, мог предложить такую сумму, которая вознаградила бы Маргерона-сына за потерю преимуществ, связанных с должностью главного сборщика податей. Два дня назад граф, спешивший покончить с покупкой, вызвал своего нотариуса, Александра Кротта́, и Дервиля, своего поверен-

ного, чтобы обстоятельно обсудить это дело. Дервиль и Кротта́ усомнились в рвении графского управляющего, тревожное письмо которого было причиной их совещания, однако граф взял Моро под свою защиту, так как, по словам графа, управляющий уже семнадцать лет служил ему верой и правдой.

— В таком случае,—ответил Дервиль,—советую вам, ваше сиятельство, самим поехать в Прэль и пригласить к обеду Маргерона. Кротта́ пришлет вам своего старшего клерка с заготовленной купчей, в которой оставит чистые страницы или строчки для обозначения земель и документов. Кроме того, ваше сиятельство, возьмите на всякий случай чек на часть нужной суммы и не позабудьте о назначении Маргерона-сына на должность в санлисское податное управление. Если вы не покончите с этим делом сразу, фермы вам не видать! Вы, ваше сиятельство, и не подозреваете, что за хитрый народ крестьяне. Сведите крестьянина и дипломата, так крестьянин даст дипломату несколько очков вперед.

Кротта́ поддержал мнение Дервиля, с которым, если судить по признаниям лакея Пьеротену, согласился и граф. Накануне граф отправил с бомонским дилижансом записку управляющему, прося его пригласить к обеду Маргерона, чтобы покончить с вопросом о ферме Мулино. За год до этого граф приказал отделать прэльский дом, и туда ежедневно наезжал модный в то время архитектор г-н Грендо. Итак, г-н де Серизи хотел покончить с приобретением фермы, а заодно посмотреть, как ведутся работы и какое впечатление производит новая обстановка. Он хотел сделать сюрприз жене, привезя ее в Прэль, и считал для себя вопросом самолюбия восстановить замок во всем его великолепии. Что же произошло? Почему граф, накануне собиравшийся в Прэль совершенно открыто, вдруг пожелал отправиться туда инкогнито, в почтовой карете Пьеротена?

Здесь необходимо будет сказать несколько слов о жизни управляющего.

Моро, управляющий прэльским имением, был сыном провинциального стряпчего, ставшего во время революции мэром версальского района. Благодаря занимаемой должности ему удалось спасти почти все имущество и жизнь графов де Серизи, отца и сына. Гражданин Моро

принадлежал к партии Дантона; при Робеспьере, непреклонном в своей ненависти, он подвергся преследованиям, в конце концов был разыскан и погиб в Версале. Моро-сын, унаследовавший убеждения и дружеские связи отца, принял участие в заговоре против первого консула, когда тот пришел к власти. Г-н де Серизи, стремившийся отплатить признательностью за оказанную ему помощь, вовремя помог скрыться приговоренному к смерти Моро; затем, в 1804 году, ходатайствовал о его помиловании; добившись этого, он предоставил Моро место в своей канцелярии, а затем взял к себе в секретари, поручив ему свои личные дела. Спустя некоторое время после женитьбы своего покровителя Моро влюбился в одну из камеристок графини и женился на ней. Чтобы не испытывать неприятностей ложного положения, вызванного таким браком — а подобные примеры были далеко не единичны при дворе императора,— он попросил назначить его управляющим в Прэль, в захолустье, где его жена могла бы разыгрывать даму и где ни он, ни она не страдали бы от ущемленного самолюбия. Графу нужен был в Прэле верный человек, ибо его жена предпочитала жить в имении Серизи, расположенном всего в пяти лье от Парижа. Уже три-четыре года Моро вел все его дела; он был человеком весьма сведущим, так как до революции познакомился с разными кляузными казусами в конторе своего отца. Г-н де Серизи сказал ему:

— Карьеры вы все равно не сделаете, ваша песенка спета, но вы будете счастливы, за это я отвечаю.

И действительно, граф положил Моро жалованье в тысячу экю, отвел ему хорошенький флигелек за службами, кроме того, определил ему на отопление столько-то саженей дров из своего леса, столько-то овса, соломы и сена на прокорм пары лошадей, предоставил ему право пользоваться такой-то частью натуральных повинностей — словом, назначил ему содержание, какое не полагается и супрефекту. Первые восемь лет управляющий добросовестно выполнял свои обязанности; он живо интересовался ими. Граф, изредка наезжавший в Прэль, чтобы осмотреть свои владения, сделать кое-какие приобретения или дать согласие на те или иные работы, был поражен честностью Моро и не раз выражал свое удовольствие, делая ему щедрые подарки. Но к тому време-

ни, когда у Моро родился третий ребенок, девочка, он так обжился в Прэле, что позабыл о благодеяниях, которыми был обязан г-ну де Серизи. И вот около 1816 года прэльский управляющий, до тех пор довольствовавшийся сытой жизнью, охотно принял от некоего лесопромышленника сумму в двадцать пять тысяч франков за то, что помог ему заключить на двенадцать лет договор, правда, по высокой цене, на сводку леса, входящего в прэльские угодья. Моро оправдывался сам перед собой тем, что он не обеспечен на старость пенсией, что у него семья, что он вполне заработал эти деньги за почти десятилетнюю службу; если же присоединить эту сумму к уже скопленным им честным путем шестидесяти тысячам франков, он купит в Шампани за сто двадцать тысяч ферму, расположенную на правом берегу Уазы, несколько выше Лиль-Адана. За политическими событиями ни сам граф, ни местные жители не обратили внимания на это приобретение, сделанное на имя г-жи Моро, которая будто бы получила наследство от старой тетки, умершей у себя на родине, в Сен-Ло. С тех пор как управитель вкусил от сладкого плода стяжательства, он уже не упускал случая увеличить свой тайный капитал; однако с виду поведение его всегда оставалось безупречным. Интересы его троих детей заглушали в нем голос совести; все же надо отдать ему справедливость: хоть он и брал взятки, хоть и не забывал о собственной выгоде, хоть и злоупотреблял своими правами, тем не менее законов он не нарушал и улик против себя не оставлял. Следуя кодексу наименее вороватых парижских кухарок, он по-братски делился с графом барышами от удачных сделок, на которые был большой мастер. Такой способ округлять свое состояние — вопрос совести, вот и все. Моро был рачителен, соблюдал интересы графа и старался не упустить выгодной покупки, тем более что сам получал при этом щедрое вознаграждение. Прэль давал семьдесят две тысячи франков валового дохода. И на десять лье в окружности все были того мнения, что г-н де Серизи обрел в Моро сущий клад. Как человек предусмотрительный, Моро с 1817 года ежегодно вкладывал и жалованье и доходы в государственную ренту, втихомолку округляя свой капиталец. Он отказывался от некоторых сделок, ссылаясь на отсутствие денег, он так искусно прикиды-

вался неимущим, что граф выхлопотал для двух его детей обучение на казенный счет в коллеже Генриха IV. В то время, о котором идет речь, у Моро был капитал в сто двадцать тысяч франков, помещенный в трехпроцентный консолидированный заем, который был конвертирован в пятипроцентный и в это время котировался в восемьдесят франков. Эти никому не известные сто двадцать тысяч франков и ферма в Шампани, округленная благодаря новым приобретениям, составляли капитал, равный приблизительно двумстам восьмидесяти тысячам франков, дающим шестнадцать тысяч ренты.

Таково было положение управляющего к тому времени, когда граф ради собственного спокойствия задумал купить ферму Мулино. Эта ферма состояла из девяноста шести земельных участков, которые граничили с имением графа, непосредственно примыкали к прэльским владениям, вклинивались в них, а часто даже чередовались с ними, как поля на шахматной доске; а уж о пограничных изгородях или межевых канавах и говорить не приходится; на этой почве возникали досадные пререкания по поводу каждого срубленного дерева, право на которое оспаривалось владельцем фермы. Не будь граф де Серизи министром, он бы не вылезал из тяжб в связи с фермой Мулино. Дядюшка Леже собирался купить ферму только для того, чтобы перепродать ее графу. Желая обеспечить себе вожделенную сумму в тридцать-сорок тысяч франков, фермер уже давно пытался сговориться с Моро. Так как дело не терпело отлагательств, дядюшка Леже за три дня до решающей субботы, встретив управляющего в поле, убедил его постараться уговорить графа де Серизи, чтобы тот поместил деньги из двух с половиной процентов в подходящие земли. Таким образом, Моро, как обычно соблюдая с виду интересы хозяина, положит себе в карман сорок тысяч франков, которые он, Леже, ему и предлагает.

— Ей-богу,— сказал жене управляющий, ложась спать,— если я заработаю на Мулино пятьдесят тысяч франков,— десять-то тысяч граф мне наверняка даст,— мы переедем в Лиль-Адан, в особняк Ножанов.

Этот очаровательный особняк был в свое время построен для некоей дамы принцем де Конти, не пожалевшим на него средств.

— От такого дома я бы не отказалась,— ответила жена.— Голландец, который там поселился, его прекрасно отделал, а нам он его уступит за тридцать тысяч, раз ему все равно опять надо ехать в Индию.

— Мы будем в двух шагах от Шампани,—продолжал Моро.— Я надеюсь за сто тысяч франков приобрести мурскую ферму и мельницу. Тогда у нас будет десять тысяч ливров дохода с земель, один из самых прелестных домов в долине Уазы, в двух шагах от наших имений, да еще мы будем получать около шести тысяч ливров дохода от государственной ренты.

— А почему бы тебе не похлопотать о месте мирового судьи в Лиль-Адане? Мы бы тогда и уважением пользовались и еще на полторы тысячи франков больше получали бы.

— Я уж об этом думал.

При таких обстоятельствах, узнав, что его хозяин собирается в Прэль и распорядился пригласить в субботу к обеду Маргерона, Моро поспешил послать в Париж нарочного, вручившего старшему камердинеру графа письмо, которое из-за позднего часа не было подано его сиятельству; Огюстен, по заведенному уже порядку, положил его на письменный стол. В этом письме Моро просил графа не утруждать себя понапрасну и во всем положиться на его усердие. По его словам, Маргерон не хочет продавать всю ферму целиком, а собирается разбить владение на девяносто шесть участков; надо добиться, писал управляющий, чтобы он отказался от этого намерения и, может быть, прибегнуть к подставному лицу.

У каждого есть враги. Управляющий и его жена обидели в Прэле одного отставного военного, некоего г-на де Ребера и его жену. Началось с враждебных слов, перешло к враждебным выпадам, а затем и к враждебным действиям. Г-н де Ребер пылал жаждой мести, он хотел добиться, чтобы граф прогнал Моро, а его самого взял в управляющие. Эти два желания были тесно связаны между собой. И потому для Реберов, уже два года внимательно следивших за Моро, ничто не осталось в тайне. Одновременно с нарочным, отправленным Моро к графу де Серизи, Ребер послал в Париж жену. Г-жа де Ребер весьма настойчиво добивалась свидания с графом и, хотя и не была принята в девять часов вечера, когда он уже

ложился спать, все же была допущена к нему на другой день в семь часов утра.

— Ваше сиятельство,— сказала она министру,— мы с мужем не умеем строчить анонимные письма. Моя фамилия де Ребер, я урожденная де Корруа. Мы живем в Прэле на шестьсот франков мужниной пенсии, мы люди порядочные, а ваш управляющий всячески нас донимает. Господин де Ребер не интриган, какое там! В 1816 году он вышел в отставку в чине капитана, прослужив двадцать лет в артиллерии, но все двадцать лет вдали от императора. А вы сами знаете, ваше сиятельство, как туго продвигались военные, если они не были на виду у императора; да, кроме того, честность и прямота господина де Ребера кололи глаза начальству. Мой муж уже три года неусыпно следит за вашим управляющим, так как задался целью добиться его увольнения. Как видите, мы совершенно откровенны. Моро вооружил нас против себя, мы стали наблюдать за ним. Я и приехала сообщить вам, что с фермой Мулино дело нечисто. Нотариус, Леже и Моро хотят обставить вас на сто тысяч франков, а затем разделить их между собой. Вы распорядились пригласить Маргерона, вы собираетесь завтра в Прэль, но Маргерон скажется больным, а Леже так твердо рассчитывает приобрести ферму, что приехал в Париж для реализации ценных бумаг. Ежели мои слова подтвердятся, ежели вы хотите, чтобы у вас был честный управляющий, возьмите моего мужа; хоть он и дворянин, он будет служить вам так же, как служил государству. У вашего управляющего капитал в двести пятьдесят тысяч франков, он с голоду не умрет.

Граф холодно поблагодарил г-жу де Ребер и собирался уже отпустить ее ни с чем, так как презирал доносчиков, но в душе он был встревожен, ибо вспомнил подозрения, высказанные Дервилем; тут он как раз заметил письмо управляющего, прочитал его, и из того, как управляющий рассыпáлся в уверениях в преданности, как он почтительно укорял графа в недоверии, которое явствовало из желания его сиятельства лично заняться покупкой фермы, граф угадал правду. «Обычное явление — где богатство, там и взятки!» — подумал он. Тогда граф предложил г-же де Ребер несколько вопросов, не столько из желания узнать какие-либо подробности,

сколько для того, чтобы за это время лучше присмотреться к ней самой; затем он послал записку своему нотариусу с просьбой не отправлять старшего клерка в Прэль, а приехать туда лично к обеду.

— Если вы, ваше сиятельство, составили себе плохое мнение обо мне из-за того шага, который я позволила себе предпринять без ведома мужа,— сказала в заключение г-жа де Ребер,— то теперь вы должны были убедиться, что сведения о вашем управляющем мы собрали без всяких подвохов; самый щепетильный человек и тот не нашел бы в чем нас упрекнуть.

Госпожа де Ребер, урожденная де Корруа, держалась прямо, как палка. При беглом, но внимательном осмотре граф отметил, что у нее изрытое оспой лицо, плоская и сухая фигура, горящие светлые глаза, прилизанные белокурые кудерьки, озабоченное выражение; что на ней шляпка из выцветшей зеленой тафты, подбитая розовым шелком и завязанная под подбородком, белое в лиловый горошек платье, кожаные ботинки. Граф признал в ней бедную капитанскую жену, немного пуританку, подписчицу «Курье франсе», женщину, преисполненную всяческих добродетелей, но вместе с тем не равнодушную к доходному месту и зарящуюся на него.

— Вы сказали, шестьсот франков пенсии? — молвил граф, отвечая себе самому вместо ответа на то, что ему рассказала г-жа де Ребер.

— Да, ваше сиятельство.

— Вы урожденная де Корруа?

— Да, сударь, я дворянка, родом из Мессена, и муж оттуда же.

— В каком полку служил господин де Ребер?

— В седьмом артиллерийском.

— Хорошо! — сказал граф, записав номер полка.

Он подумал, что, пожалуй, можно доверить управление поместьем отставному офицеру, предварительно справившись о нем в военном министерстве.

— Сударыня,— сказал он, позвонив лакею,— возвращайтесь в Прэль с моим нотариусом, который постарается быть там к обеду и которому я пишу о вас; вот его адрес. Я сам тайно прибуду в Прэль и пошлю за де Ребером...

Как мы видим, Пьеротен не напрасно встревожился, узнав, что г-н де Серизи поедет с ним в почтово-пассажир-

ской карете и что он не велел называть себя. Кучер предчувствовал грозу, готовую разразиться над одним из его лучших клиентов.

Выйдя из трактира «Шахматная доска», Пьеротен увидел у ворот «Серебряного льва» женщину и молодого человека, в которых опытным взглядом признал пассажиров, ибо дама, вытянув шею, с озабоченным видом явно искала его. Дама эта, в перекрашенном черном шелковом платье, светло-коричневой шляпе, в поношенной кашемировой французской шали, дешевых шелковых чулках и козловых полусапожках, держала в руках корзиночку и синий зонтик. На вид ей было лет сорок, она не утратила еще следов былой красоты; но ее померкшие голубые глаза и печальный взор свидетельствовали о том, что она уже давно отказалась от радостей жизни. И одежда ее и манера держаться — все указывало, что она всецело отдалась своим обязанностям жены и матери. Завязки на ее шляпе выцвели, а шляпки такого фасона были в моде три года тому назад. Шаль была заколота сломанной иголкой, превращенной в булавку при помощи сургучной головки. Незнакомка с нетерпением ждала Пьеротена, чтобы препоручить ему сына, который, по всей видимости, впервые пускался в путь один и которого она провожала до кареты по свойственной ей заботливости и из чувства материнской любви. Сын и мать в известном смысле дополняли друг друга. Не видя матери, нельзя было составить себе полного представления о сыне. Мать была вынуждена носить штопанные перчатки, а сын был одет в оливковый сюртучок, рукава которого были ему коротковаты — верный признак того, что он еще растет, как и все юноши восемнадцати-девятнадцати лет. Сзади, на синих панталонах, зачиненных матерью, сияла заплата, бросавшаяся в глаза каждый раз, когда предательски расходились фалды его сюртучка.

— Оставь в покое перчатки, ты их мнешь,— говорила она сыну в ту минуту, как показался Пьеротен.— Вы кучер? Ах, да это вы, Пьеротен! — воскликнула она, покидая на время сына и отходя с возницей в сторонку.

— Как поживаете, госпожа Клапар? — отозвался возница, на лице которого отразились сразу и почтительность и некоторая фамильярность.

— Спасибо, Пьеротен. Поручаю вам моего Оскара, он в первый раз едет один.

— Уж не к господину ли Моро он один едет? — воскликнул кучер, желая узнать, действительно ли молодой человек направляется туда.

— Да,— ответила мать.

— Так, значит, госпожа Моро не против? — спросил Пьеротен с лукавой миной.

— Что делать! — сказала мать.— Бедного мальчика там ждут не одни только розы, но эта поездка необходима для его будущности.

Ее ответ поразил Пьеротена; однако он не решился поделиться с г-жой Клапар своими опасениями на счет управляющего, а она, в свою очередь, боялась просьбами присмотреть за Оскаром повредить сыну, превратив кучера в ментора. Предоставим теперь им обоим, скрывая свои размышления, обмениваться незначительными фразами о погоде, о дороге, об остановках в пути, а сами тем временем объясним, какие отношения существовали между Пьеротеном и г-жой Клапар и что́ давало им право так запросто беседовать. Часто, не реже трех-четырех раз в месяц, Пьеротена, отправлявшегося в Париж, поджидал в деревне Кав прэльский управляющий, который, завидев экипаж, звал садовника, и тот помогал Пьеротену водрузить на империал две-три корзины, полные, глядя по сезону, фруктами или овощами, цыплятами, яйцами, маслом, дичью. Управляющий всегда вознаграждал Пьеротена за услуги и давал ему деньги, чтоб уплатить у заставы за право провоза, если в посылке были припасы, облагаемые городской пошлиной. И никогда на этих корзинках, плетенках или свертках не было указано, кому они предназначены. При первом поручении управляющий раз навсегда сказал умеющему молчать Пьеротену адрес г-жи Клапар и попросил вручить его драгоценные посылки только лично. Пьеротен вообразил, что управляющий завел интрижку с какой-нибудь очаровательной девицей, квартирующей в доме номер семь по улице Серизе в Арсенальном квартале, но, придя туда, вместо ожидаемой им молоденькой красотки, увидел г-жу Клапар, портрет которой я только что набросал. По самой своей профессии возницам приходится бывать во многих семьях и узнавать многие тайны; но

социальной случайности, которую можно назвать помощницей провидения, было угодно, чтобы возницы оставались людьми необразованными и не одаренными наблюдательностью, а значит, и неопасными. Как бы там ни было, Пьеротен и через несколько месяцев не разобрался в отношениях г-жи Клапар и г-на Моро на основании того, что́ ему удалось увидать у нее в доме. Хотя в то время цены на квартиры в Арсенальном квартале были невысоки, г-жа Клапар жила во дворе, на четвертом этаже особняка, некогда принадлежавшего какому-то вельможе, так как в старину знать селилась на том месте, где прежде стояли дворец де Турнель и дворец Сен-Поль. К концу XVI века знатные семьи поделили между собой обширные земли, некогда отведенные под королевские дворцовые сады, на что указывают самые названия улиц: Серизе, Ботрейи, Лион и т. п. Квартира, отделанная старинной деревянной панелью, представляла собой анфиладу из трех комнат — столовой, гостиной и спальни. Выше помещались кухня и спальня Оскара. Напротив входной двери, на лестничной площадке, была дверь в отдельную комнату; такая комната имелась на каждом этаже, в каменном выступе наподобие четырехугольной башни, где помещалась также и деревянная лестница. В этой комнате останавливался Моро, когда ему случалось заночевать в Париже. Складывая корзины в первой комнате, Пьеротен заметил, что ее обстановка состоит из шести стульев орехового дерева с соломенными сиденьями, стола и буфета; на окнах были простенькие суровые занавески. Потом, когда Пьеротен был допущен в гостиную, он увидал там мебель времен Империи, но уже обветшавшую. Впрочем, тут были только те вещи, которые требовались для успокоения домохозяина насчет квартирной платы. По тому, что он видел в гостиной и столовой, Пьеротен составил себе представление и о спальне. Деревянная панель, покрытая густым слоем клеевой белой краски, замазавшей резные карнизы, рисунки и фигурки, не радовала, а скорее оскорбляла взор. Паркет, который никогда не натирался, был сероватого цвета, как в пансионах. Когда возница заставал супругов за столом, он по тарелкам, стаканам, по всем мелочам сервировки видел, что семья едва сводит концы с концами; прав-

да, столовые приборы были серебряные, но посуда была жалкая, совсем как у бедняков — блюда, суповые миски с отбитыми краями, с приклеенными ручками. Г-н Клапар ходил в затрапезном сюртуке, в стоптанных ночных туфлях, никогда не снимал зеленых очков, а когда он кланялся, приподнимая затасканную фуражку пятилетней давности, обнажалась его конусообразная голова с жидкими сальными прядями на макушке, которые даже человек с поэтическим воображением не решился бы назвать волосами. Это был бледный субъект, кроткий с виду, а на самом деле, вероятно, деспотичный. Г-жа Клапар держала себя дома королевой. По своей невеселой, выходящей на север квартире, из окон которой был виден только дикий виноград, ползущий по стене напротив, да угол двора с колодцем, она расхаживала с таким высокомерным видом, точно никогда не ходила пешком, а всю жизнь разъезжала в роскошных экипажах. Часто, благодаря Пьеротена за услугу, она бросала на него взгляды, которые растрогали бы человека наблюдательного; время от времени она совала ему в руку монетку в двенадцать су. Голос у нее был чарующий. Оскара Пьеротен не знал по той простой причине, что мальчик только недавно кончил коллеж и дома у Клапаров он его не встречал.

А вот вам печальная история, до которой Пьеротен никогда бы не додумался, несмотря на то, что с некоторых пор стал расспрашивать привратницу. Та сама ничего не знала, разве только, что Клапары платят двести пятьдесят франков за квартиру, что прислуга приходит к ним по утрам всего на несколько часов, что постирушку г-жа Клапар иногда делает сама, а пиѣьма оплачивает каждый раз, словно она не в состоянии расплатиться за них сразу.

Закоренелых злодеев не бывает, вернее, они бывают, но редко. Тем более трудно встретить во всех отношениях своекорыстного человека. Можно обсчитывать хозяина, можно соблюдать во всем свою выгоду, но вряд ли найдется человек, который, сколачивая себе более или менее дозволенными путями капиталец, иногда не проявляет человеколюбия. Пусть это будет из любопытства, пусть из эгоизма, ради разнообразия или случайно, но в жизни у всякого человека есть добрые дела. Пусть он считает их

ошибкой, пусть не повторяет; но разок-другой он приносит жертву богине Добра, так же как самый угрюмый человек приносит жертву богине Красоты. Если г-ну Моро могут быть прощены его прегрешения, так уж, верно, за то, что он помогал несчастной женщине, благосклонностью которой в свое время гордился и у которой скрывался в дни опасности. Эта женщина, во времена Директории стяжавшая себе известность связью с одним из пяти калифов на час, вышла благодаря своему покровителю замуж за поставщика на армию, который заработал миллионы, но в 1802 году был разорен императором. Человек этот, по фамилии Юссон, не выдержал неожиданного перехода от богатства к нищете и сошел с ума; он бросился в Сену, оставив красавицу-жену беременной. Моро, находившийся в близких отношениях с г-жой Юссон, был в ту пору приговорен к смерти и потому не мог на ней жениться; ему даже пришлось на время покинуть Францию. Г-жа Юссон, которой было тогда двадцать два года, с отчаяния вышла замуж за некоего чиновника, по фамилии Клапар, молодого человека двадцати семи лет, подававшего, как говорится, большие надежды. Упаси вас бог выходить замуж за красивых мужчин, подающих надежды! В ту эпоху молодые чиновники быстро дослуживались до высоких постов, так как император выдвигал людей способных. Клапар же был только слащаво красив, но отнюдь не умен. Думая, что г-жа Юссон очень богата, он прикинулся страстно влюбленным; вскоре он стал ей в тягость, так как ни в начале их брака, ни потом не мог удовлетворить вкусов, которые она усвоила в дни изобилия. Клапар довольно плохо справлялся со службой в государственном казначействе, где получал всего-навсего тысячу восемьсот франков жалованья. Когда Моро, вернувшись к графу де Серизи, узнал, в каком бедственном положении оказалась г-жа Юссон, он, еще до своей женитьбы, устроил ее в старшие камеристки к матери императора. Но Клапар не сумел продвинуться по службе, даже несмотря на такую сильную протекцию: уж очень он был бездарен. В 1815 году, когда пал император, блистательная Аспазия эпохи Директории лишилась последней надежды. Ей пришлось существовать на тысячу двести франков жалованья Клапара, коему граф де Серизи выхлопотал место в парижском муниципалите-

те. Моро, единственный покровитель этой женщины, которую он знавал миллионершей, исходатайствовал для Оскара Юссона половинную стипендию города Парижа в коллеже Генриха IV; кроме того, он стал отправлять ей с Пьеротеном, под разными благовидными предлогами, подарки, которые служили большим подспорьем в ее скудном хозяйстве. В Оскаре была вся надежда, вся жизнь его матери. Ну, разве можно было упрекнуть ее, бедняжку, за чрезмерную привязанность к сыну, которого невзлюбил отчим? К сожалению, Оскар был изрядно глуп, чего не замечала его мать, несмотря на насмешки Клапара. Эта глупость или, вернее, неуместная заносчивость настолько тревожила графского управляющего, что он попросил г-жу Клапар отправить к нему на месяц сего юнца, дабы поближе к нему присмотреться и решить, какой жизненный путь для него выбрать. Моро собирался со временем предложить графу Оскара в качестве своего преемника. Но, чтобы быть вполне справедливым, надо установить причины дурацкого тщеславия Оскара, напомнив, что он родился при дворе матери императора. В раннем детстве его взоры были поражены великолепием императорского двора. В его восприимчивом воображении должны были запечатлеться ослепительные картины, должен был сохраниться образ той блестящей праздничной эпохи, должна была жить надежда снова ее обрести. Самохвальство, вообще свойственное школьникам, которые только и думают, как бы прихвастнуть друг перед другом, питалось его детскими воспоминаниями и потому развилось в нем сверх меры. Может быть также, мать слишком охотно вспоминала до́ма о Директории, когда она была одной из цариц Парижа; а может быть, и Оскару, который только что кончил учение в коллеже, не раз приходилось парировать унизительные замечания своекоштных, не упускающих случая кольнуть стипендиатов, если тем не удается внушить к себе уважение физической силой. Прежнее, ныне померкшее великолепие, былая краса́та, кротость, с которой г-жа Клапар переносила нищету, надежды, которые она возлагала на сына, материнское ослепление, стойкость в страданиях — все это создавало один из тех необычайных образов, которые в Париже не могут не привлечь внимание человека вдумчивого.

Не догадываясь ни о глубокой привязанности Моро к этой женщине, ни о ее чувствах к тому, кто скрывался в ее доме в 1797 году, а теперь стал ее единственным другом, Пьеротен не решился поделиться с ней шевелившимися у него в душе подозрениями относительно опасности, которая грозила управляющему. Вознице вспомнились суровые слова лакея: «Хватит с нас собственных забот!» — вдобавок в нем заговорило чувство субординации по отношению к тем, кого он называл старшими по рангу. В данный момент у Пьеротена было такое ощущение, словно в мозг ему впилось столько же шипов, сколько монет в сто су содержится в тысяче франков! А бедной матери, которая во время своей светской жизни редко выезжала за парижские заставы, путешествие за семь лье представлялось, вероятно, путешествием на край света, ибо непрестанно повторяемые Пьеротеном слова: «Хорошо, сударыня! Слушаюсь, сударыня!» — явно свидетельствовали, что возница старается отделаться от ее слишком многословных и напрасных наставлений.

— Положите багаж так, чтоб он не намок, в случае если погода переменится.

— На то, сударыня, есть брезент,— ответил Пьеротен.— Да вот сами поглядите, как аккуратно мы укладываем.

— Ты, Оскар, больше двух недель не гости, как бы тебя ни уговаривали,— сказала г-жа Клапар, возвращаясь к сыну.— Старайся не старайся, а госпоже Моро все равно не угодишь. Кроме того, к концу сентября тебе надо быть дома. Не забывай, что мы собираемся в Бельвиль, к дяде Кардо.

— Хорошо, маменька.

— Главное, никогда не заводи разговоров о прислуге...— прибавила она шепотом.— Ни на минуту не забывай, что госпожа Моро из горничных...

— Хорошо, маменька.

Оскара, как всех молодых людей с чрезмерно развитым самолюбием, раздражало, что мать читает ему наставления на крыльце гостиницы.

— Ну, прощайте, маменька; сейчас отправляемся; уже запрягают.

Позабывши, что они на улице в предместье Сен-Дени,

мать обняла Оскара, вынула из корзинки сдобную булочку и сказала:

— Ах, ты чуть не забыл булочку и шоколад! Помни, дружок, ничего не кушай в трактирах, там за все втридорога дерут.

Когда мать сунула ему в карман булочку и шоколад, Оскар много бы дал, чтобы оказаться далеко от нее. При этой сцене присутствовали два свидетеля, два молодых человека, чуть постарше нашего юнца, лучше, чем он, одетые, пришедшие без маменек; они и походкой, и костюмом, и манерами подчеркивали свою полную независимость — независимость, о которой мечтает мальчик, еще не вышедший из-под материнского крылышка. В ту минуту в этих молодых людях для Оскара воплощался весь мир.

— Он сказал «маменька»! — со смехом воскликнул один из юных незнакомцев.

Эти слова долетели до слуха Оскара и оказались решающими.

— Прощайте, матушка! — холодно бросил он в мучительном нетерпении.

Надо признаться, г-жа Клапар говорила, пожалуй, чересчур громко и, казалось, выставляла напоказ свои нежные чувства к сыну.

— Что с тобой, Оскар? — спросила с обидой бедная мать.— Я тебя не понимаю,— продолжала она строгим голосом, воображая (как, впрочем, и все матери, балующие своих детей), будто может держать его в повиновении.— Послушай, милый Оскар,— сказала она, сейчас же переходя на ласковый тон,— ты любишь болтать, распространяться о том, что знаешь и чего не знаешь, и все это только из удальства, из глупого чванства, свойственного молодежи; повторяю еще раз: держи язык за зубами. Ты мало смыслишь в жизни, сокровище мое, чтобы судить о людях, с которыми тебе придется столкнуться, а нет ничего опаснее разговоров в дилижансах. К тому же человек, хорошо воспитанный, в почтовых каретах молчит.

Двое молодых людей, по всей вероятности, уходившие в конец постоялого двора, снова застучали сапогами по камням мостовой. Возможно, что они слышали материнское увещевание, и Оскар, чтоб отделаться от матери, прибег к героическому средству, из которого видно, до какой степени самолюбие способствует сообразительности.

— Маменька,— сказал он,— здесь сквозняк, вы можете простудиться; да и мне пора в карету.

Сын, видно, коснулся чувствительной струны. Мать обняла его, прижала к сердцу, словно он уезжал надолго, и со слезами на глазах проводила до кареты.

— Не забудь дать пять франков прислуге,— сказала она.— Напиши мне за эти две недели не меньше трех раз! Будь умником, помни все, чему я тебя учила. Белья тебе хватит, можешь не отдавать в стирку. Главное, не забывай о доброте господина Моро, слушайся его, как родного отца, и следуй его советам...

Когда Оскар стал влезать в двуколку, панталоны его задрались, фалды сюртучка распахнулись, и взорам окружающих явились синие чулки и новая заплата на заду. И то, как улыбнулись оба молодых человека, от которых не ускользнули эти признаки достойной нищеты, опять больно ударило по самолюбию Оскара.

— У Оскара первое место,— сказала мать Пьеротену.— Садись подальше,— добавила она, не сводя с сына любящих глаз и ласково ему улыбаясь.

О, как жалел Оскар, что от невзгод и печалей поблекла красота его матери, что из-за нужды и самоотречения она не могла хорошо одеваться! Один из юношей — тот, что был в сапогах и при шпорах,— толкнул локтем приятеля, чтоб он взглянул на мать Оскара, а франт закрутил усы с таким видом, будто говорил: «Ну и выряди-лась же!»

«Как бы мне отделаться от матери?» — подумал Оскар, и на лице его отразилась озабоченность.

— Что с тобой? — спросила г-жа Клапар.

Оскар притворился, будто не слышит, злодей! Г-же Клапар в данном случае, пожалуй, не хватило такта, но сильное чувство так эгоистично!

— Жорж, ты любишь путешествовать с детьми? — спросил молодой человек своего друга.

— Только в том случае, дорогой Амори, если это уже не грудной младенец, если его зовут Оскаром и если ему дали на дорогу шоколадку.

Эти две фразы были сказаны вполголоса, так что Оскару оставалась свобода выбора — слышать их или не слышать; по тому, как он поведет себя, его спутники должны были заключить, до какого предела можно дорогой

потешаться на его счет. Оскар предпочел не слышать. Он оглянулся, чтобы посмотреть, тут ли еще мать, от которой ему хотелось отделаться, как от дурного сна. Он знал, что при ее любви ей не так-то легко с ним расстаться. Невольно он сравнивал свой костюм с костюмом своего спутника, но в то же время чувствовал, что насмешливая улыбка молодых людей в значительной мере относится и к наряду его матери.

«Хоть бы они убрались!» — мысленно пожелал он. Увы! Амори постучал тросточкой по колесу двуколки и сказал Жоржу:

— И ты вверяешь свою судьбу этой утлой ладье?

— Что делать, приходится! — с мрачным видом отозвался Жорж.

Оскар вздохнул, глядя на шляпу Жоржа, молодцевато сдвинутую на ухо, словно для того, чтобы показать тщательно завитую прекрасную белокурую шевелюру; у самого Оскара черные волосы, по приказанию отчима, были острижены по-солдатски, под гребенку. Лицо у нашего тщеславного юноши было круглое и румяное, пышущее здоровьем, а у его спутника продолговатое, бледное, с тонкими чертами и высоким лбом; его грудь облегал жилет шалью. Оскар любовался его светло-серыми панталонами в обтяжку, его сюртуком в талию, отделанным шнурами с кистями на концах, и ему казалось, что этот незнакомец с романтической внешностью, обладающий по сравнению с ним столькими преимуществами, смотрит на него свысока; так обычно дурнушка чувствует обиду при одном взгляде на красивую женщину. Звук подбитых гвоздями каблуков, которыми незнакомец назло Оскару стучал особенно громко, больно отзывался в сердце Оскара. Словом, бедный юноша настолько же стеснялся своего костюма, надо полагать, перешитого домашним способом из старого костюма отчима, насколько вызывавший его зависть молодой человек чувствовал себя непринужденно. «У этого гуся, верно, водятся денежки»,— решил Оскар. Молодой человек оглянулся. Что почувствовал Оскар, увидя у него на шее золотую цепочку, на которой, по всей вероятности, висели золотые часы! Теперь незнакомец еще больше вырос в глазах Оскара и казался ему уже важной персоной!

С 1815 года Оскар жил на улице Серизе, в празднич-

ные дни отчим брал его из коллежа домой и отводил обратно; подростком и юношей он ничего не видел, кроме скромной материнской квартирки, так что у него не было отправных точек для сравнения. По совету Моро, его держали в строгости, в театр водили редко, да и то только в Амбигю-Комик, где не было шикарной публики, которая могла бы привлечь его взгляд, даже если предположить, что подросток способен отвести глаза от сцены ради того, чтобы полюбоваться зрительным залом. Его отчим придерживался еще моды времен Империи и носил часы в кармашке панталон, выпуская на живот массивную золотую цепочку, на конце которой болталась связка брелоков, печатки и ключик с круглой плоской головкой, в которую был вделан мозаичный пейзаж. Оскар, считавший эти остатки старомодной роскоши пределом элегантности, был ошеломлен при виде изысканного и небрежного изящества своего будущего спутника. Молодой человек всячески выставлял напоказ дорогие перчатки и, казалось, хотел ослепить Оскара, играя перед его носом щегольской тростью с золотым набалдашником. Оскар был как раз в том возрасте, когда любая мелочь дает повод для больших радостей или больших горестей, когда нелепый костюм приносит больше огорчения, чем любое несчастье, когда честолюбивые помыслы еще далеки от высоких идеалов и сводятся к такому вздору, как франтовство или желание казаться взрослым. Молодежь в этом возрасте очень пыжится и без удержу бахвалится самыми что ни на есть пустяками; но если в молодости завидуют хорошо одетому дураку, то в не меньшей степени восторгаются талантами и приходят в восхищение от ума. Порок зависти, если он не пустил глубоких корней в сердце, лишь свидетельствует об избытке жизненных сил, о богатстве воображения. Что за важность, если девятнадцатилетний мальчик, единственный сын, воспитанный в строгости, потому что семья живет на тысячу двести франков жалованья и стеснена в средствах, но боготворимый матерью, ради него готовой на все лишения, что за важность, если он приходит в восторг от двадцатидвухлетнего щеголя, если он с завистью созерцает его венгерку на шелковой подкладке, со шнурами на груди, его дешевый кашемировый жилет, полинявший фуляр, продетый в

кольцо дурного тона? Ведь это же грешки, которые встречаются во всех слоях общества, где низшие всегда завидуют вышестоящим. Даже гениальные люди отдали в молодости дань этой страсти. Ведь как женевец Руссо восхищался Вантюром и Баклем! Но Оскар от грешка перешел к греху, он почувствовал себя униженным, обиделся на своего спутника, и в душе его зародилось тайное желание доказать тому, что и он не хуже. Оба красавца продолжали меж тем свою прогулку от ворот до конюшен и от конюшен до ворот, а оттуда на улицу; и всякий раз, проходя мимо кареты, они поглядывали на Оскара, забившегося в угол. Оскар, убежденный, что усмешки франтов относятся к нему, старался казаться совершенно равнодушным. Он принялся мурлыкать припев песенки, введенной тогда в моду либералами: «В том вина Вольтера, в том вина Руссо». По независимому поведению они, верно, приняли его за младшего клерка какого-нибудь стряпчего.

— Знаешь, а может быть, он служит хористом в Опере! — заметил Амори.

Терпение Оскара лопнуло, он вскочил, снял «спинку» и спросил Пьеротена:

— Когда же мы тронемся?

— Теперь скоро,— ответил кучер, взяв кнут в руки, и окинул взглядом Ангенскую улицу.

В эту минуту появился молодой человек в сопровождении другого, еще совсем мальчишки; за ними следовал носильщик, впрягшийся в тележку. Молодой человек пошептался с Пьеротеном, тот мотнул головой и кликнул своего фактора. Прибежавший фактор помог разгрузить тележку, где, кроме двух чемоданов, находились ведра, кисти, странного вида ящики, множество всяких сверткоз и инструментов, которые тот пассажир, что помоложе, забравшись на империал, принялся убирать и раскладывать с необычайным проворством, так что бедный Оскар, улыбавшийся матери, которая стояла на другой стороне улицы, не приметил ни одного инструмента, а по ним, конечно, можно было догадаться о профессии его новых спутников. На мальчишке, лет шестнадцати, была серая блуза, стянутая лакированным ремнем; картуз, лихо сдвинутый набекрень, и черные кудри до плеч, разметавшиеся в живописном беспорядке, свидетельст-

вовали о его веселом нраве. Черный шелковый фуляр резко оттенял белизну шеи и еще сильнее подчеркивал лукавство серых глаз. В оживленном лице, смуглом и румяном, в изгибе довольно толстых губ, в оттопыренных ушах, вздернутом носе, во всех чертах его физиономии чувствовался озорной нрав Фигаро, молодой задор; а проворные движения и насмешливый взгляд говорили о том, что он развит не по возрасту, так как с малолетства занимается своей профессией. У этого мальчика, которого Искусство или Талант уже сделали взрослым, казалось, был свой внутренний мир, ибо вопросы костюма, по-видимому, мало его трогали,— он взирал на свои нечищеные сапоги, будто подтрунивая над ними, а пятна на простых тиковых штанах разглядывал с таким видом, словно интересовался их живописностью, а совсем не тем, как бы их вывести.

— Не правда ли, я колоритен? — отряхиваясь, сказал он своему спутнику.

По взгляду этого спутника можно было понять, что он держит в строгости своего подручного, в котором опытный глаз сразу признал бы веселого ученика живописца, на жаргоне художественных мастерских именуемого «мазилкой».

— Не паясничай, Мистигри! — заметил его спутник, называя мальчишку тем прозвищем, которым его, по-видимому, окрестили в мастерской.

Этот пассажир был худым и бледным молодым человеком с богатой шевелюрой в самом поэтическом беспорядке: но черная копна волос очень подходила к его огромной голове с высоким лбом, говорившим о недюжинном уме. У него было подвижное, некрасивое, но очень своеобразное лицо, до того изможденное, словно этот странный юноша страдал тяжким и длительным недугом, либо был изнурен лишениями, вызванными нищетой,— а это тоже тяжкий и длительный недуг,— либо еще не оправился от недавнего горя. Его костюм был почти схож с костюмом Мистигри, разумеется, принимая во внимание различие в их положении. На нем был зеленого цвета сюртучок, плохонький и потертый, но без пятен и тщательно вычищенный, черный жилет, так же, как и сюртук, застегнутый наглухо, и красный фуляр, чуть видневшийся из-под жилета и узкой полоской

окаймлявший шею. Черные панталоны, такие же потрепанные, как и сюртук, болтались на его худых ногах. Запыленные сапоги свидетельствовали о том, что он пришел пешком и издалека. Быстрым взором художник окинул все уголки постоялого двора, конюшню, неровные окна, все мелочи и поглядел на Мистигри, насмешливые глаза которого повсюду следовали за взглядом патрона.

— Красиво! — сказал Мистигри.

— Ты прав, красиво,— повторил незнакомец.

— Мы слишком рано пришли,— сказал Мистигри.— Пожалуй, успеем еще что-нибудь пожевать. Мой желудок подобен природе — не терпит пустоты.

— Успеем мы выпить по чашке кофея? — ласковым голосом спросил молодой человек Пьеротена.

— Только не задерживайтесь,— ответил Пьеротен.

— Ну, значит, у нас еще в запасе добрых четверть часа,— отозвался Мистигри, обнаруживая наблюдательность, свойственную парижским «мазилкам».

Юноши исчезли. В гостинице на кухонных часах пробило девять. Тут Жорж счел вполне правильным и уместным выразить свое недовольство.

— Послушайте, любезный,— обратился он к Пьеротену, стукнув тростью по колесу,— когда имеешь счастье обладать таким комфортабельным рыдваном, то по крайней мере надобно хоть выезжать вовремя. Черт знает что такое! Ну кто станет кататься в вашей колымаге ради собственного удовольствия? Значит, уж неотложные дела, раз человек решился вверить ей свое бренное существование. А ваша кляча, которую вы величаете Рыжим, времени в дороге не нагонит.

— А мы еще Козочку впряжем, пока те пассажиры кофей кушают,— отозвался Пьеротен.— Ступай-ка напротив, в дом пятьдесят,— обратился он к своему конюху,— узнай, что, дядюшка Леже с нами поедет?..

— Да где он, ваш дядюшка Леже? — поинтересовался Жорж.

— Он не достал места в бомонском дилижансе,— пояснил Пьеротен своему помощнику, уходя за Козочкой и не отвечая Жоржу.

Жорж пожал руку провожавшему его приятелю и сел в экипаж, предварительно небрежно швырнув туда

огромный портфель, который затем сунул под сиденье. Он занял место напротив Оскара, в другом углу.

— Этот дядюшка Леже меня очень беспокоит,— сказал Жорж.

— Наших мест у нас никто не отнимет; у меня первое,— отозвался Оскар.

— А у меня второе,— ответил Жорж.

Одновременно с Пьеротеном, который вел в поводу Козочку, появился его фактор, тащивший за собой тучного человека весом по меньшей мере в сто двадцать килограммов. Дядюшка Леже принадлежал к породе фермеров, отличающейся огромным животом, квадратной спиной и напудренной косичкой; на нем был короткий синий холщовый сюртук; полосатые плисовые штаны были заправлены в белые гетры, доходившие до колен, и схвачены серебряными пряжками. Его подбитые гвоздями башмаки весили фунта два каждый. На ремешке, обвязанном вокруг кисти, у него болталась небольшая красноватая дубинка с толстой шишкой на конце, отполированной до блеска.

— Так это вас зовут дядюшка Леже[1]? Ну, вы, как видно, *лежебока* и легки только на помине,— сказал Жорж самым серьезным тоном, когда фермер попробовал взобраться на подножку.

— Я самый и есть,— ответил фермер, напоминавший Людовика XVIII толстощеким и красным лицом, на котором терялся нос, на всяком другом лице показавшийся бы огромным. Его хитрые глазки заплыли жиром.— Ну-ка, любезный, подсоби! — обратился он к Пьеротену.

Возница и фактор принялись подсаживать фермера, а Жорж подзадоривал их криками: «А ну еще! Еще разок! Еще поддай!»

— Хоть я и *лежебока*, а может статься, я на подъем и легок! — сказал фермер, отвечая шуткой на шутку.

Во Франции нет человека, который не понимал бы шутки.

— Садитесь вовнутрь,— сказал Пьеротен,— вас будет шестеро.

---

[1] Л е ж е — по-французски легкий.

— А что, ваша вторая лошадь такой же плод фантазии, как и *третья* почтовая лошадь? — спросил Жорж.

— Вот она, сударь,— сказал Пьеротен, указывая на кобылку, которая сама подбежала к карете.

— Он называет это насекомое лошадью! — заметил удивленный Жорж.

— Лошадка добрая,— сказал усевшийся наконец фермер.— Наше почтенье всей компании! Ну, как, Пьеротен, трогаемся?

— Да еще двое пассажиров кофей пьют,— ответил кучер.

Тут показался молодой человек с изможденным лицом и его ученик.

— Едем! — раздался общий крик.

— Сейчас и поедем,— отозвался Пьеротен.— Ну, трогай! — сказал он фактору, который вынул из-под колес камни, служившие тормозом.

Кучер собрал вожжи и, понукая гортанным окриком лошадей, которые, при всей их сонливости, все же потянули карету, выехал за ворота «Серебряного льва». После этого маневра, имевшего чисто подготовительный характер, Пьеротен бросил взгляд на Ангенскую улицу и исчез, поручив экипаж заботам фактора.

— С вашим хозяином часто такое творится? — спросил Мистигри фактора.

— В конюшню за овсом пошел,— ответил овернец, знавший наизусть все уловки, к которым прибегают возницы, испытывая терпение седоков.

— В конце концов,— сказал Мистигри,— *время не волк, в лес не убежит*.

В те годы в мастерских живописцев была мода переиначивать пословицы. Каждый старался, изменив несколько букв или найдя более или менее похожее слово, придать пословице нелепый либо потешный смысл.

— *Семь раз отмерь, а один проманежь*,— подхватил его учитель.

Тут Пьеротен вернулся вместе с графом де Серизи, подошедшим по улице Эшикье и, вероятно, успевшим сказать несколько слов вознице.

— Дядюшка Леже, не уступите ли вы место господину... графу... тогда груз распределится равномернее.

— Если и дальше так пойдет, мы и через час не

уедем,— сказал Жорж.— Эту чертову перекладину с таким трудом водворили на место, а теперь придется ее снимать и всем надо вылезать из-за одного пассажира, который к тому же пришел последним. Какое место взял, на том и сиди. Какой у вас номер? Ну-ка, сделайте перекличку! Да укажите мне тот пара*граф*, укажите мне ту *графу*, где сказано, что господину *Графу*, неизвестно какого графства, дано право занимать место, какое ему вздумается.

— Господин... граф,— сказал Пьеротен, явно смущенный,— вам будет очень неудобно...

— Что же, вы не знали, сколько у вас седоков, по каким *графам* их разнести? — спросил Мистигри.— У вас, значит, выходит, *кто влез, а кто под дрова!*

— Мистигри, не паясничай! — строго остановил «мазилку» его учитель.

Все пассажиры, несомненно, принимали графа де Серизи за простого обывателя по фамилии Граф.

— Не надо никого беспокоить,— сказал граф Пьеротену.— Я сяду рядом с вами на козлы.

— Послушай, Мистигри,— обратился молодой человек к своему ученику,— старость надо уважать; не знаешь, до какой дряхлости, может быть, сам доживешь, а посему уступи свое место. Помни: *выше влезешь, крепче будешь*.

Мистигри открыл переднюю дверцу и одним прыжком, как лягушка в воду, соскочил на землю.

— Вам не к лицу быть «зайцем», царственный старец,— сказал он г-ну де Серизи.

— Мистигри, знай: нехорошо, когда *скромность устрашает юношу*,— заметил его старший спутник.

— Благодарю вас, сударь,— сказал граф молодому художнику, который после ухода Мистигри стал его соседом.

И государственный муж обвел проницательным взором пассажиров, что показалось Оскару и Жоржу очень обидным.

— Мы опаздываем на час с четвертью,— заметил Оскар.

— Ежели хочешь распоряжаться каретой, так будь любезен скупить все места,— изрек Жорж.

Граф де Серизи успокоился, поняв, что его инкогни-

то не раскрыто, и с добродушным видом молча выслушивал замечания на свой счет.

— А случись вам запоздать, небось, рады-радехоньки были бы, если бы вас подождали! — сказал фермер, обращаясь к молодым людям.

Пьеротен, держа кнут в руке, посматривал в сторону заставы Сен-Дени и явно медлил лезть на жесткие козлы, где уже ерзал нетерпеливый Мистигри.

— Если вы еще кого-то ждете, значит, последний не я,— сказал граф.

— Правильно рассудили,— одобрил Мистигри.

Жорж и Оскар рассмеялись самым нахальным образом.

— Старичок-то из недалеких,— шепнул Жорж Оскару, который был весьма обрадован, что удостоился такого внимания.

Сев на козлы справа, Пьеротен перегнулся набок и поглядел назад, тщетно ища в толпе двух пассажиров, которых ему не хватало для комплекта.

— Эх, хорошо бы еще двух седоков!

— Я еще не платил, я вылезу,— сказал с испугом Жорж.

— Чего ты еще дожидаешься, Пьеротен, а? — спросил дядюшка Леже.

Пьеротен крикнул на лошадей, и по этому оклику Рыжий и Козочка поняли, что теперь действительно пора трогать, и резвой рысью побежали в гору, однако вскоре убавили свою прыть.

У графа было багрово-красное, а местами воспаленное лицо, казавшееся еще краснее по контрасту с совершенно седой головой. Будь его спутники постарше, они бы поняли, что эта краснота объясняется хроническим заболеванием крови, вызванным непрестанными трудами. Прыщи так портили его благородную наружность, что только внимательный наблюдатель приметил бы в его зеленых глазах тонкий ум государственного мужа, вдумчивость политического деятеля и глубокие знания законодателя. Лицо у него было плоское, нос искривленный. Шляпа скрывала высокий, красивый лоб. Да и необычный контраст серебристо-белой головы и не желавших седеть черных, густых, мохнатых бровей мог показаться забавным смешливой и беспечной моло-

дежи. Граф был в длиннополом синем сюртуке, по-военному застегнутом на все пуговицы, в белом галстуке; уши его были заткнуты ватой, концы высокого крахмального воротничка белыми треугольниками выделялись на щеках. Черные панталоны спускались до самых пят, так что носок сапога был чуть виден. Граф был без орденов. Замшевые перчатки скрывали его руки. Молодежь, разумеется, не могла признать в нем пэра Франции, одного из самых полезных стране людей. Дядюшка Леже никогда не видел графа, и граф тоже знал его лишь понаслышке. Сев в карету, граф только потому оглядел пассажиров пронизывающим взглядом, задевшим Оскара и Жоржа, что искал клерка своего нотариуса; в случае, если бы тот оказался в экипаже, граф хотел предупредить его, чтоб он не проговорился; но, увидя Оскара, дядюшку Леже, а главное, сугубо военную осанку, усы и манеры Жоржа, смахивающего на искателя приключений, он успокоился и решил, что его письмо вовремя поспело к нотариусу Александру Кроттà.

Доехав до крутого подъема, что идет от предместья Сен-Дени до улицы Фиделите, Пьеротен обратился к фермеру:

— Ну, как, дядюшка Леже, вылезем, а?

— Я тоже слезу,— сказал граф, услышав эту фамилию,— надо пожалеть лошадей.

— Если так и дальше пойдет, мы четырнадцать лье и за две недели не сделаем! — воскликнул Жорж.

— А я чем виноват, ежели один из седоков пройтись пожелал!

— Получишь десять золотых, если сохранишь в тайне то, о чем я тебя просил,— шепнул граф Пьеротену, взяв его под руку.

«Плакала моя тысяча франков!» — подумал Пьеротен, а сам подмигнул г-ну де Серизи, как бы говоря: «Будьте благонадежны! Не подведу!».

Оскар и Жорж остались в карете.

— Эй, Пьеротен, раз уж вас зовут Пьеротеном,— крикнул Жорж, когда экипаж въехал на гору и пассажиры снова расселись по местам,— если вы и впредь так плестись будете, так лучше скажите, я заплачу за место, а сам возьму в Сен-Дени верховую лошадь; у меня спешные дела, которые могут пострадать, если я опоздаю.

— Как еще поедем-то! — заметил дядюшка Леже.— А вы нам со своей лошадью только мешать будете!

— Больше чем на полчаса я никогда не опаздываю,— успокоил его Пьеротен.

— В конце концов, согласитесь, вы же не папу римского катаете! — сказал Жорж.— Ну, так прибавьте шагу.

— Тут не может быть никаких предпочтений, и если вы боитесь растрясти одного из пассажиров,— сказал Мистигри, указывая на графа,— так вы неправы.

— Перед «кукушкой» все пассажиры равны, как перед законом равны все французы,— изрек Жорж.

— Не беспокойтесь,— сказал дядюшка Леже,— к полудню в Ла-Шапель поспеем.

Ла-Шапель — деревня, начинающаяся сейчас же после заставы Сен-Дени.

Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что люди, по воле случая оказавшиеся вместе в дилижансе, знакомятся не сразу и разговоры обычно заводят, уже проехав часть пути. Сначала все молча изучают друг друга и осваиваются с положением. Душе, так же как и телу, надо прийти в состояние равновесия. Когда каждому думается, что он доподлинно определил возраст, профессию и характер своих спутников, какой-нибудь охотник почесать язык затевает разговор, который все подхватывают с тем бóльшим жаром, что уже почувствовали потребность скрасить путь и скоротать время в беседе. Так бывает во французских дилижансах. Но у каждого народа свои нравы. Англичане боятся уронить свое достоинство и поэтому не раскрывают рта; немцы в дороге грустны, итальянцы слишком осторожны, чтобы болтать, у испанцев дилижансы почти совсем вывелись, а у русских нет дорог. Итак, в общественных каретах весело проводят время только во Франции, в этой словоохотливой, не сдержанной на язык стране, где все рады посмеяться и щегольнуть остроумием, где шутка скрашивает все — и нужду низших классов и торговые сделки крупной буржуазии. К тому же французская полиция не затыкает болтунам рта, а парламентская трибуна приучила всех к краснобайству. Когда двадцатидвухлетний юноша, вроде того, чтó скрывался под именем Жоржа, не лишен остроумия, он нередко злоупотребляет этим

даром, особенно в подобных условиях. Итак, Жорж начал с того, что установил свое превосходство над остальной компанией. Графа он принял за второразрядного фабриканта, ну, хотя бы за ножовщика; обтрепанного молодого человека, которого сопровождал Мистигри,— за жалкого заморыша, Оскара — за дурачка, а тучный фермер показался ему прекрасным объектом для мистификации. Сообразив все это, он решил позабавиться на счет своих спутников.

«Подумаем,— рассуждал он, пока «кукушка» спускалась от Ла-Шапели в долину Сен-Дени,— за кого бы мне себя выдать? За Этьена? За Беранже? Нет, не годится! Эти простофили, пожалуй, не слыхали ни о том, ни о другом... Может быть, за карбонария? К черту! Чего доброго, еще заберут! А что, если мне объявиться одним из сыновей маршала Нея?.. Но о чем я им тогда врать буду? Расскажу, как казнили отца... Неинтересно! А если преподнести им, что я вернулся из Полей убежища?.. Пожалуй, еще сочтут за шпиона, будут остерегаться. Скажусь переодетым русским князем. Какими я их угощу подробностями из жизни императора Александра!.. А если назвать себя Кузеном, профессором философии?.. Тут уж я их окончательно оплету! Нет! Мне сдается, что растрепанный заморыш обивал пороги Сорбонны. Как это мне раньше не пришло в голову их одурачить, я так хорошо изображаю англичан, я мог бы выдать себя за лорда Байрона, путешествующего инкогнито... Черт возьми, упустил такой случай! Назваться, что ли, сыном палача... Замечательная мысль, уж наверняка всякий посторонится и уступит тебе место за столом. Нашел! Скажу, будто командовал войсками Али, Янинского паши».

Пока он рассуждал сам с собой, карета катила в облаках пыли, непрестанно подымавшихся по обеим сторонам дороги.

— Ну и пыль! — заметил Мистигри.

— Париж — столица Франции,— быстро перебил его спутник.— Хоть сказал бы, что пыль пахнет ванилью,— по крайней мере новую бы мысль высказал.

— Вы смеетесь,— ответил Мистигри,— а ведь и на самом деле временами каким-то цветком пахнет.

— У нас в Турции...— начал Жорж, приступая к задуманному рассказу.

— *Настурцией*,— перебил Жоржа патрон «мазилки».

— Я сказал, что в Турции, откуда я недавно вернулся,— продолжал Жорж,— пыль очень приятно пахнет; а здесь она пахнет только в том случае, когда проезжаешь мимо навозной кучи, как сейчас.

— Вы, сударь, возвращаетесь с Востока? — спросил Мистигри, иронически на него поглядывая.

— Ты же видишь, наш спутник так устал, что интересуется уже не восходом, а закатом,— ответил ему его учитель.

— Вы не очень-то загорели на солнце,— заметил Мистигри.

— Я только что встал с постели, проболел три месяца, врачи говорят, скрытой чумой.

— Вы болели чумой! — воскликнул граф в ужасе.— Пьеротен, стойте!

— Поезжайте, Пьеротен,— сказал Мистигри.— Ведь вам же говорят, что чума *скрылась*,— пояснил он, обращаясь к графу.— Это такая чума, от которой излечиваются за разговорами.

— Такая чума, от которой не умирают, но ходят, как *чумные*, и всё! — прибавил его спутник.

— Такая чума, от которой не умирают, а просто врут потом, как *очумелые!* — подхватил Мистигри.

— Мистигри,— остановил его учитель,— не затевайте ссор, не то я вас высажу. Итак, сударь,— обратился он к Жоржу,— вы были на Востоке?

— Да, сударь, сначала в Египте, а затем в Греции, где я служил под началом Али, Янинского паши, с которым вконец разругался. Там невольно поддаешься климату; множество волнений, вызванных жизнью на Востоке, окончательно расстроили мне печень.

— Вы были на военной службе? — спросил тучный фермер.— Сколько же вам лет?

— Двадцать девять,— ответил Жорж, на которого поглядели все пассажиры.— В восемнадцать лет я простым солдатом проделал знаменитую кампанию 1813 года. Но я участвовал только в битве при Ганау, за которую получил чин фельдфебеля. Во Франции, при Монтеро я был произведен в младшие лейтенанты и получил орден от... (здесь нет доносчиков?) от императора.

— У вас есть орден? — сказал Оскар.— И вы его не носите?

— Наполеоновский орден?.. Покорно вас благодарю! Да и какой порядочный человек надевает в дорогу ордена? Вот и вы, сударь,— сказал он, обращаясь к графу де Серизи,— готов держать пари на что угодно...

— Держать пари на что угодно во Франции значит ни на что не держать пари,— заметил спутник Мистигри.

— Готов держать пари на что угодно,— повторил Жорж многозначительно,— что вы, сударь, весь в крестах.

— У меня есть крест Почетного легиона, русский орден Андрея Первозванного, орден Прусского Орла, сардинский Аннунциаты, Золотого Руна,— смеясь, сказал граф де Серизи.

— Только-то и всего! — заметил Мистигри.— И весь этот блеск путешествует в «кукушке»?

— Ишь ты, как старичок с кирпичной физиономией привирает,— шепнул Жорж на ухо Оскару.— Видите, я же вам говорил,— продолжал он вслух.— Я не скрываю, я боготворю императора...

— Я служил под его началом,— сказал граф.

— Что за человек! Не правда ли? — воскликнул Жорж.

— Человек, которому я многим обязан,— ответил граф, ловко прикидываясь простачком.

— Например, орденами? — спросил Мистигри.

— А как он табак нюхал! — продолжал г-н де Серизи.

— О, у него табаком все карманы полны были, прямо оттуда и брал,— сказал Жорж.

— Мне это говорили,— заметил дядюшка Леже с недоверчивым видом.

— Он не только нюхал, он и жевал табак и курил,— подхватил Жорж.— Я видел, как он курил, да еще как забавно, при Ватерлоо, когда маршал Сульт сгреб его в охапку и бросил в экипаж в тот момент, как он уже взялся за ружье и собирался разрядить его в англичан.

— Вы участвовали в сражении при Ватерлоо? — спросил Оскар, вытаращив от удивления глаза.

— Да, молодой человек, я участвовал в кампании 1815 года. Я дрался при Ватерлоо в чине капитана и удалился на Луару, когда армию расформировали. Черт

возьми, Франция мне опротивела, я не мог здесь дольше выдержать. При моем настроении меня бы арестовали. Вот я и отправился вместе с другими удальцами — Сельвом, Бессоном, еще кое с кем; все они и по сию пору в Египте, на службе у Мехмеда-паши. Ну и чудак, доложу я вам! Раньше торговал табаком в Кавале, а теперь задумал стать неограниченным монархом. Вы видели его на картине Ораса Верне «Избиение мамелюков»? Какой красавец! Но я не согласился отречься от веры своих отцов и стать мусульманином, тем более что при переходе в магометанство проделывают некую хирургическую операцию, к которой я не чувствовал ни малейшей склонности. А кроме того, вероотступников все презирают. Вот если бы мне предложили ренту тысяч в сто, тогда, возможно, я бы еще подумал... Да и то!.. Нет, не согласился бы! Паша положил мне жалованье в тысячу таларов...

— Что это такое? — спросил Оскар, развесив уши.

— Так, пустяки. Талар — это вроде монеты в сто су. И, надо сказать, пребывание в этой чертовой стране, если только ее можно назвать страной, мне дорого обошлось,— пороки, которые я там приобрел, дохода не приносят. Теперь я уже не могу отказаться от кальяна два раза в день, а это обходится недешево.

— А каков Египет? — спросил г-н де Серизи.

— Египет — сплошной песок,— нисколько не смущаясь, продолжал Жорж.— Зеленеет только долина Нила. Проведите зеленую полосу на листе желтой бумаги, вот вам и Египет. Правда, египтяне, феллахи, имеют по сравнению с нами одно преимущество: у них нет полиции. Можете исколесить весь Египет, ни одного полицейского не встретите.

— Зато, я думаю, там много египтян,— сказал Мистигри.

— Не так много, как вы полагаете,— возразил Жорж,— там гораздо больше абиссинцев, гяуров, ваххабитов, бедуинов и коптов... Впрочем, все эти дикари мало привлекательны, и я был очень счастлив, когда сел на генуэзское судно, которое шло на Ионические острова за грузом пороха и боевыми припасами для Тепеленского паши. Знаете, англичане продают порох и боевые припасы кому угодно — и туркам и грекам; они бы и самому черту продали, будь у черта деньги. Итак, с острова Занте мы

должны были направиться в Грецию, лавируя вдоль берегов. Мой род пользуется известностью в этой стране. Я внук славного Кара-Георгия, который воевал с Портой, но, к несчастью, ей не *напортил*, а свою судьбу *испортил*. Его сын укрылся в доме французского консула в Смирне, он умер в Париже в 1792 году, оставив мою мать беременной седьмым ребенком, мною. Один из приятелей моего деда украл все наши драгоценности, так что мы были разорены. Мать, которая жила тем, что продавала по одному свои бриллианты, в 1799 году вышла замуж за некоего господина Юнга, моего отчима, поставщика на армию. Мать умерла, я поссорился с отчимом, между нами говоря, большим подлецом. Он еще жив, но мы с ним не видимся. Этот прохвост бросил нас семерых и даже не поинтересовался, что мы пить-есть будем. Вот я с отчаяния и отправился в 1813 году простым рекрутом... Вы себе и представить не можете, с какой радостью старый паша принял внука Кара-Георгия. Здесь, во Франции, я зовусь просто Жоржем. Паша подарил мне гарем...

— У вас есть гарем? — воскликнул Оскар.

— А были вы бунчужным пашой? Сколько у вас хвостов было? — спросил Мистигри.

— Неужели вы не знаете,— ответил Жорж,— что пашой может сделать только султан? Мой же друг Али—а мы с ним были такими друзьями, что водой не разольешь — восстал против падишаха! Не знаю, известно ли вам, что по-настоящему повелитель правоверных называется падишахом, а не султаном. Не воображайте, что гарем это что-то особенное: это вроде стада коз. Тамошние женщины очень глупы, гризетки из «Хижины» на Монпарнасе мне во сто раз милей.

— Они поближе,— заметил граф де Серизи.

— Одалиски не знают ни слова по-французски, а чтобы поладить, нужно знать язык. Али подарил мне пять законных жен и десять наложниц. В Янине это сущие пустяки. Видите ли, на Востоке любить своих жен считается очень дурным тоном. У них жены — самое обычное дело, все равно что у нас сочинения Вольтера или Руссо; ну, кто из нас заглядывает в Вольтера или Руссо? Никто. А вот ревновать считается там хорошим тоном. По их закону, жену при малейшем подозрении зашивают в мешок и бросают в море.

— И вы их тоже бросали? — спросил фермер.

— Я? Ну, что вы, я же француз! Я предпочитал любить их.

Тут Жорж лихо закрутил усы и устремил вдаль мечтательный взгляд. Тем временем въехали в деревню Сен-Дени, и Пьеротен остановился у ворот харчевни, знаменитой своими слоеными пирожками; здесь седоки обычно делают привал. Граф, заинтригованный правдоподобными деталями, которые Жорж пересыпáл шутками, тут же влез обратно в карету, достал из-под сиденья портфель — так как со слов Пьеротена знал, что загадочный пассажир положил его туда,— и прочитал на нем позолоченную надпись: «Александр Кроттá, нотариус». Граф позволил себе открыть портфель, ибо с полным основанием предполагал, что дядюшка Леже также полюбопытствует заглянуть туда. Он вынул купчую на ферму Мулино, сложил ее, убрал в боковой карман сюртука и вернулся к прочим пассажирам.

— Значит, Жорж всего-навсего младший клерк нотариуса Кроттá, которого он послал вместо своего старшего клерка. Остается только поздравить его патрона с таким помощником,— пробормотал граф.

По почтительному виду дядюшки Леже и Оскара Жорж понял, что нашел в них восторженных слушателей; он, разумеется, решил поразить их своим великолепием, угостив пирожками и стаканчиком аликантского вина, а заодно попотчевать и Мистигри с его патроном, причем воспользовался случаем, чтобы узнать, кто они такие.

— Я, сударь, не принадлежу к столь знатному роду, как вы, и не возвращаюсь из армии,— сказал художник.

Граф, поторопившийся вернуться в харчевню, чтобы не возбудить подозрений, подоспел как раз к концу его ответа.

— ...я всего-навсего бедный художник и недавно вернулся из Рима, куда ездил на казенный кошт, так как пять лет назад получил первую премию. Моя фамилия Шиннер.

— Послушайте, почтеннейший, можно предложить вам стаканчик аликантского и пирожок? — обратился Жорж к графу.

— Благодарю вас,— ответил граф,— я никогда не выхожу из дому, не выпив чашки кофея со сливками.

— А между завтраком и обедом вы ничего не перехватываете? Какие у вас старозаветные мещанские привычки,— сказал Жорж.— Когда он врал насчет своих орденов, я не думал, что он такой мямля,— шепнул он художнику,— но мы опять заведем с этим свечным торговцем разговор об орденах.

— Ну, а вы, молодой человек,— обратился он к Оскару,— опрокиньте уж и тот стаканчик, что я налил нашему лавочнику. Усы лучше расти будут.

Оскару хотелось показать, что он мужчина; он выпил второй стаканчик и съел еще три пирожка.

— Славное винцо,— сказал дядюшка Леже и прищелкнул языком.

— Оно потому такое хорошее, что из Берси! — ответил Жорж.— Я бывал в Аликанте, и надо вам сказать, что тамошнее вино так же похоже на это, как я на ветряную мельницу. Наши искусственные вина куда лучше натуральных. Ну-ка, Пьеротен, прошу, стаканчик... Эх, жалко, что у вас лошадки непьющие, а то бы они нас мигом домчали.

— Что их поить, у меня одна лошадь и без сивухи сивая,— ответил Пьеротен.

Оскару эта незамысловатая шутка показалась верхом остроумия.

— Трогай!

Этот возглас Пьеротена, сопровождавшийся щелканьем бича, раздался, когда все пассажиры втиснулись на свои места.

Было одиннадцать часов. Погода, с утра немного пасмурная, прояснилась, ветер разогнал тучи, местами уже проглядывало голубое небо; и когда карета Пьеротена покатила по дороге, узенькой ленточкой соединяющей Сен-Дени с Пьерфитом, последние обрывки тумана, прозрачной дымкой обволакивавшие это знаменитое своими видами местечко, растаяли на солнце.

— Ну, а почему же вы разлучились с вашим другом пашой? — спросил Жоржа дядюшка Леже.

— Он был большой чудак,— ответил Жорж с очень таинственным видом.— Можете себе представить, он сделал меня начальником кавалерии. Отлично!..

— Ага, вот почему он при шпорах! — решил простоватый Оскар.

— В ту пору, когда я был там, Али-паше пришлось расправляться с Хозревом-пашой, тоже скажу я вам — фрукт! Вы его здесь называете Шореф, а по-турецки его имя произносится Косере. Вы, верно, в свое время читали в газетах, что старик Али разбил Хозрева, и разбил наголову. Ну так вот, не будь меня, Али-паша погиб бы несколько раньше. Я был на правом фланге, вдруг вижу, что старый хитрец Хозрев прорвал наш центр... Да еще как, неожиданным прекрасным маневром в духе Мюрата. Отлично! Я выждал минуту и стремительным натиском разрезал пополам колонну Хозрева, которая прорвалась вперед и осталась без прикрытия. Вы понимаете... Ну, после этого дела Али меня расцеловал.

— А это на Востоке принято? — насмешливо спросил граф де Серизи.

— Это, сударь, повсюду принято,— вставил художник.

— Мы гнали Хозрева тридцать лье в глубь страны... Как на охоте, право!—продолжал Жорж.—Турки—лихие наездники. Али задарил меня — ятаганы, ружья, сабли!.. Бери — не хочу! По возвращении в столицу этот чертов чудак сделал мне предложение, которое пришлось мне совсем не по вкусу. Когда этим восточным людям что на ум взбредет, с ними не сговоришься... Али хотел сделать меня своим любимцем, своим наследником; я был по горло сыт этой жизнью; Али-паша Тепеленский восстал против Порты, а я счел благоразумным не *портить* своих отношений с Портой и удалиться. Но надо отдать справедливость Али-паше, он осыпал меня подарками. Он дал мне бриллианты, десять тысяч таларов, тысячу червонцев, очаровательную гречанку в подруги, мальчика-арнаута в грумы и арабского скакуна. Что там ни говорите, Али, Янинский паша, натура загадочная, он ждет своего историка. Только на Востоке встретишь еще таких твердых, как кремень, людей, которые могут двадцать лет жизни потратить на то, чтобы в одно прекрасное утро отомстить за давнишнюю обиду. Я никогда не видел такой красивой белой бороды, как у него, лицо у него было суровое, жестокое...

— А куда вы ваши сокровища дели? — спросил дядюшка Леже.

— Видите ли, у них там нет ни государственной ренты, ни государственного банка, поэтому пришлось дер-

жать денежки при себе на греческом паруснике, который был захвачен самим капудан-пашой! Меня в Смирне чуть не посадили живьем на кол. Ей-богу, если бы не господин де Ривьер — наш посланник, который находился там, меня бы приняли за сообщника Али-паши. Говоря по совести, я спас только свою голову, а десять тысяч таларов, тысяча червонцев, оружие — все пошло в прожорливую пасть капудан-паши. Положение мое было тем труднее, что этот капудан-паша оказался не кто иной, как сам Хозрев. Его, подлеца, после полученной им взбучки, назначили на эту должность, которая во Франции соответствует адмиралу.

— Так ведь он же как будто был в кавалерии? — заметил дядюшка Леже, внимательно следивший за рассказом.

— Из ваших слов видно, как мало знают Восток в департаменте Сены-и-Уазы! — воскликнул Жорж.— Турки, сударь, таковы: вы фермер, падишах назначает вас маршалом; если ему не понравится, как вы справляетесь со своими обязанностями, пеняйте на себя, вам не сносить головы. Это их способ сменять чиновников. Садовник делается префектом, а премьер-министр простым чаушем. В Оттоманской империи не знают, что такое продвижение по службе и иерархия! Из кавалериста Хозрев превратился в моряка. Султан Махмуд приказал ему захватить Али на море, и он действительно покончил с ним, но с помощью англичан. Они, канальи, на этом хорошо заработали! Они наложили свою лапу на его сокровища. Хозрев узнал меня, он еще не позабыл уроков верховой езды, которые я ему преподал. Сами понимаете, песенка моя была спета; хорошо еще, что мне пришло в голову заявить, что я француз и состою при господине де Ривьере в трубадурах. Посланник был рад случаю показать свою власть и потребовал моего освобождения. У турок есть одна хорошая черта: им так же просто отпустить вас на волю, как и отсечь вам голову; что то, что другое — им все равно. Французский консул, очаровательный человек, друг Хозрева, приказал вернуть мне две тысячи таларов; и, должен сказать, имя его навсегда сохранится у меня в сердце...

— А как его звали? — поинтересовался г-н де Серизи.

На лице г-на де Серизи отразилось удивление, когда

Жорж назвал фамилию одного из самых наших известных генеральных консулов, действительно находившегося в то время в Смирне.

— Между прочим, я присутствовал при казни смирнского градоправителя, которого падишах приказал Хозреву обезглавить. В жизнь свою не видел ничего любопытнее, а я видал всякие виды. Я вам расскажу потом, за завтраком. Из Смирны я поехал в Испанию, узнав, что там революция. Я отправился прямо к генералу Мина, который взял меня к себе в адъютанты и дал чин полковника. Я дрался за дело конституции, но оно обречено на гибель, так как на этих днях наши войска вступят в Испанию.

— И вы французский офицер? — строго сказал граф де Серизи.— Не слишком ли вы полагаетесь на молчание своих слушателей?

— Но здесь же нет доносчиков,— возразил Жорж.

— Вы, видно, позабыли, полковник Жорж,— сказал граф,— что как раз сейчас в суде пэров разбирается дело о заговоре и поэтому правительство особенно строго к военным, которые поднимают оружие против родины и завязывают сношения с иностранцами с целью свергнуть наших законных государей...

При этой суровой отповеди художник покраснел до ушей и посмотрел на Мистигри, который тоже как будто смутился.

— Ну, а дальше что? — спросил дядюшка Леже.

— Если бы я, например, был чиновником,— ответил граф,— мой долг был бы вызвать в Пьерфите полицейских и арестовать бывшего адъютанта генерала Мина, а всех пассажиров, что были в карете, привлечь в качестве свидетелей.

Жорж сразу приумолк от этих слов, тем более что «кукушка» как раз подъезжала к полицейскому посту, над которым белый флаг, по классическому выражению, развевался по воле зефира.

— У вас слишком много орденов, вы не позволите себе такую подлость,— сказал Оскар.

— Мы его сейчас опять разыграем,— шепнул Жорж Оскару.

— Полковник! — воскликнул дядюшка Леже, встревоженный резкими словами графа де Серизи и желавший

переменить разговор.—Как обрабатывают землю жители тех краев, где вы побывали? Какое у них хозяйство — многополье?

— Прежде всего, почтеннейший, понимаете, с сельским хозяйством у них дело табак, слишком уж много табаку они курят, все хозяйство прокурили. Им уж не до того, чтобы почву удобрить, им только бы чиновников задобрить.

Граф не мог не улыбнуться. Эта улыбка успокоила рассказчика.

— Их способ обработки почвы покажется вам очень странным. Они ее вовсе не обрабатывают, это и есть их способ обработки. Что турки, что греки — все питаются луком да рисом... Они добывают опиум из мака, что очень выгодно; кроме того, у них есть табак, который растет сам по себе, знаменитый табак! А потом финики! Куча всяких сластей, растущих в диком виде. В этой стране масса всевозможных источников торговли. В Смирне ткут ковры, и недорогие.

— Но ведь ковры-то из шерсти,— заметил Леже,— а где шерсть, там и овцы, а для овец нужны пастбища, фермы, полевые культуры.

— Верно, там что-нибудь в этом роде и есть,— ответил Жорж.— Но, во-первых, рис растет в воде; а затем я все время был на побережье и видел только край, разоренный войной. Кроме того, я питаю глубочайшее отвращение к статистике.

— А как там с налогами? — поинтересовался дядюшка Леже.

— О, налоги там тяжелые. У них отбирают все до последней нитки, но что останется — то оставляют им. Египетский паша был до того поражен преимуществами этой системы, что уже собирался перестроить все свое налоговое управление на этот лад, когда я с ним расстался.

— Как же это так? — удивился дядюшка Леже, окончательно сбитый с толку.

— Как? — отозвался Жорж.— Да очень просто. Особые чиновники отбирают урожай, а феллахам оставляют только на прожиток. При такой системе нет ни бюрократии, ни бумажной волокиты, этого бича Франции. Так вот и делается!..

— Но с какой же стати? — недоумевал фермер.

— Это страна деспотизма, вот вам и весь сказ! Разве вы не знаете прекрасное определение деспотизма, данное Монтескьё: «Как дикарь, он подрубает дерево у корня, чтобы сорвать плоды...»

— И нас хотят вернуть к тому же! — воскликнул Мистигри.— *Но блудливой корове бог ног не дает.*

— И этого добьются,— воскликнул граф де Серизи,— и землевладельцы поступят правильно, если распродадут свои владения. Господин Шиннер несомненно видел в Италии, как быстро возвращаются там к прежнему.

— Corpo di Bacco! [1] Папа ловко обделывает свои дела,— сказал Шиннер.— Но таковы итальянцы. Уж очень покладистый народ. Только бы им не мешали понемножку грабить путешественников на большой дороге, они и довольны.

— Однако вы тоже не носите ордена Почетного легиона, которым были награждены в 1819 году,— заметил граф,— это что — мода такая пошла?

Мистигри и мнимый Шиннер покраснели до корней волос.

— Ну, я... другое дело,— продолжал Шиннер.— Я хочу сохранить инкогнито. И вы, пожалуйста, не выдавайте меня, сударь. Пусть люди думают, будто перед ними неизвестный, скромный художник, просто живописец-декоратор. Я еду в замок, где не должен вызывать ни малейших подозрений.

— Ах, вот как,— отозвался граф,— значит, тут роман, любовная интрижка?.. Да! Ведь вы имеете счастье быть молодым...

Оскар буквально лопался от досады, сознавая, что сам он ничтожество, что даже ничем похвастаться не умеет, и, посматривая то на полковника Кара-Георгиевича, то на прославленного мастера Шиннера, тщетно силился придумать, за кого бы ему все-таки выдать себя. Но кем мог быть девятнадцатилетний юноша, которого отправили на две недели погостить в деревню, к прэльскому управляющему? Аликантское уже туманило ему голову, самолюбие его было уязвлено, и кровь закипала в жилах; поэтому, когда знаменитый Шиннер намекнул на

---

[1] Черт возьми! *(итал.).*

некое романтическое приключение, сулившее ему столько же счастья, сколько и опасностей, Оскар так и впился в него взглядом, сверкавшим бешенством и завистью.

— Ах, как же нужно любить женщину, чтобы приносить ей подобные жертвы! — простодушным и завистливым тоном сказал граф.

— Какие жертвы? — спросил Мистигри.

— Разве вы не знаете, дружок, что плафон, расписанный столь великим мастером, оплачивается на вес золота? Уж если город уплатил вам за те два зала в Лувре тридцать тысяч франков,— продолжал граф, оборотясь к Шиннеру,— то за роспись плафона в доме какого-нибудь буржуа, как вы называете нас в своих мастерских, вы возьмете добрых двадцать тысяч; а безвестному живописцу — хорошо, коли дадут две.

— Дело не в деньгах,— вставил Мистигри.— Но ведь это наверняка будет шедевр, а подписать его нельзя, иначе скомпрометируешь *ее*.

— Ах! Я охотно бы вернул европейским государям все свои ордена, только бы мне быть любимым, как этот молодой человек, которому страсть внушает столь великую преданность! — воскликнул г-н де Серизи.

— Что поделаешь! — промолвил Мистигри.— На то и молодость, чтобы тебя любили, чтобы куролесить... как говорится,— *пыл молодцу не укор!*

— А какого мнения на этот счет госпожа Шиннер? — спросил граф.— Ведь вы, как известно, женились по любви на красавице Аделаиде де Рувиль, протеже старика адмирала де Кергаруэта, который и устроил вам заказ на роспись плафонов в Лувре через своего племянника, графа де Фонтэна.

— Да разве в путешествии великий художник бывает женатым? — заметил Мистигри.

— Вот она, мораль мастерских! — воскликнул граф де Серизи с простодушным негодованием.

— А чем лучше мораль европейских дворов, где вы получили ваши ордена? — отозвался Шиннер, который, узнав, насколько граф осведомлен относительно полученных художником заказов, вначале растерялся, но быстро овладел собой и заговорил с прежним апломбом.

— Ни об одном из них я не просил,— ответил граф,— и кажется, все они получены мной по заслугам.

— А что вам в них? Как собаке пятая нога! — заметил Мистигри.

Чтобы не выдать себя, г-н де Серизи придал своему лицу добродушное выражение и стал любоваться долиной Гроле, которая открывается взору путешественника, когда повертываешь от Пат-д'Уа на Сен-Брис, оставив справа дорогу на Шантильи.

— Хитрит,— пробурчал Оскар.

— А что, Рим действительно так хорош, как об этом трубят? — спросил Жорж великого художника.

— Рим прекрасен только для влюбленных; чтобы он понравился, нужно пылать страстью, и я все-таки предпочитаю Венецию, хотя меня там чуть было не зарезали.

— Если бы не я, вас и пристукнули бы, как пить дать,— заявил Мистигри.— Да, натянули вы нос этому проклятому шуту, лорду Байрону! Вот взбесился английский чудак!

— Молчи,— остановил его Шиннер,— я не хочу, чтобы знали о моей стычке с лордом Байроном.

— А все-таки, признайтесь,— продолжал Мистигри,— хорошо, что я владею некоторыми приемами французского бокса?

Время от времени Пьеротен и граф обменивались красноречивыми взглядами, которые, наверно, смутили бы людей хоть немного более искушенных, чем остальные пять пассажиров.

— Ишь ты! — воскликнул возница.— Только и слышишь, что про лордов, да пашей, да про потолки по тридцать тысяч франков! Видно, я везу нынче знатных господ! Воображаю, сколько я получу на чай.

— Не говоря о том, что места уже оплачены,— лукаво заметил Мистигри.

— А мне это как раз на руку,— продолжал Пьеротен,— ведь вы, дядюшка Леже, знаете мою прекрасную новую карету, за которую я дал задаток в две тысячи франков. Так вот, этим канальям каретникам нужно завтра отвалить еще две с половиной тысячи; они не желают брать полторы тысячи наличными и вексель на тысячу, сроком на два месяца! Разбойники требуют, чтобы я сразу выложил им все чистоганом! Разве не бессовестно так драть с человека, который ездит вот уже восемь лет, с отца семейства! Ведь они меня по миру пустят! Я могу

потерять все — и деньги и экипаж, если не раздобуду какую-то несчастную тысячу. Но-о! Козочка! Уверяю вас, они не посмели бы проделать такую штуку с владельцем большого заведения.

— Что ж,— отозвался ученик,— *без монет, так без карет!*

— Вам осталось раздобыть всего восемьсот франков,— сказал граф, усматривая в этих жалобах, обращенных к дядюшке Леже, переводный вексель на себя.

— Это-то верно,— пробормотал Пьеротен.— Эй! Эй! Рыжий!

— Вам, наверно, в Венеции довелось видеть прекрасную роспись?—снова заговорил граф, обращаясь к Шиннеру.

— Я слишком был влюблен и ни на что не обращал внимания; тогда все это мне казалось пустяками. А вместе с тем я должен был бы, кажется, навсегда излечиться от любви, потому что именно на венецианской земле, в Далмации, я получил жестокий урок.

— Можно полюбопытствовать, какой? — спросил Жорж.— Я знаю Далмацию.

— Ну, если вы там бывали, вам, должно быть, известно, что в глухих уголках Адриатического побережья полным-полно старых пиратов, морских разбойников, корсаров на покое, которых не успели повесить, и...

— Ускоков,— докончил Жорж.

Услышав это название, граф, некогда ездивший по приказу Наполеона в Иллирийские провинции, настолько был удивлен, что даже повернул голову.

— Я был... ну, в том городе, как его... он еще славится мараскином,— сказал Шиннер, притворяясь, будто не может вспомнить название.

— В Заре! — подсказал Жорж.— Я там тоже бывал. Это на побережье.

— Совершенно верно,— подтвердил художник.— Я отправился туда, чтобы изучить местность, я обожаю ландшафты. Мне уже раз двадцать хотелось приступить к пейзажу, никем, по-моему, не понятому, кроме Мистиграи, который со временем станет вторым Гоббемой, Рюисдалем, Клодом Лорреном, Пуссеном и другими.

— Если он станет хоть одним из них, и то хорошо!— воскликнул граф.

— Не прерывайте ежеминутно, сударь,— сказал Оскар,— иначе мы не доберемся до сути.

— Вдобавок молодой человек обращается не к вам,— заметил графу Жорж.

— Когда кто-нибудь говорит, прерывать невежливо,— наставительно произнес Мистигри,— но мы все так делаем и много потеряли бы, если бы во время чьей-нибудь речи не развлекались, обмениваясь мыслями друг с другом. В «кукушке» все французы равны,— сказал внук Кара-Георгия.— А посему продолжайте, любезный старец, и похвастайтесь чем-нибудь. Это допускается и в лучшем обществе; вам, вероятно, известна пословица: *с волками жить — по-волчьи шить!*

— Про Далмацию мне насказали всяких чудес,—продолжал Шиннер,— вот я и направляюсь туда, оставив Мистигри в Венеции, в гостинице.

— В locanda![1] — поправил Мистигри.— Подпустим местного колорита!

— Говорят, Зара — ужасная дыра...

— Да,— согласился Жорж,— но это крепость.

— Еще бы, черт возьми!—подхватил Шиннер.—Это обстоятельство играет немалую роль в моем приключении. В Заре множество аптекарей, и вот я поселяюсь у одного из них. За границей главное занятие жителей — сдача внаем меблированных комнат, а все другие профессии — только так, дополнение. Вечером я надеваю свежее белье и усаживаюсь у себя на балконе. И вдруг на балконе, на той стороне улицы, я вижу женщину, ах, но какую женщину! Гречанку,— этим все сказано! Первую красавицу во всем городе: глаза — как миндалины, веки опущены, точно занавески, а ресницы — как густые кисти для красок; овал лица прямо-таки рафаэлевский, цвет кожи — восторг, бархатистых тонов, оттенки нежно переливаются, а руки... О!

— И не кажется, будто они из сливочного масла, как на картинах школы Давида,— подтвердил Мистигри.

— Вечно вы суетесь со своей живописью! — воскликнул Жорж.

---

[1] В гостинице! *(итал.)*

— Ну как же,— *гони природу в дверь, она вернется в щель*,— отпарировал Мистигри.

— А одета! Чисто греческий стиль,— сказал Шиннер.— Сами понимаете — я воспылал. Справляюсь у своего Диафуарюса и узнаю, что мою соседку зовут Зена. Надеваю свежее белье. Оказывается, муж, отвратительный старикашка, чтобы только жениться на Зене, заплатил ее родителям триста тысяч франков,— настолько славилась красотой эта девушка, действительно первая красавица во всей Далмации, Иллирии, Адриатике и так далее. Там жен покупают, и притом заочно...

— Ну, я туда не ездок,— заявил дядюшка Леже.

— Иногда мой сон и сейчас озаряют глаза Зены,— вздохнул Шиннер.— А ее юному супругу стукнуло шестьдесят семь лет. Но ревнив он был даже не как тигр — ибо говорят, что тигры ревнивы, как далматинцы,— старикашка же был хуже далматинца, он стоил трех далматинцев с половиной. Настоящий ускок — сплошной наскок, сверхпетух, архипетух.

— Словом, один из тех молодцов, которые *не верят волку в капусте и козлу в овчарне*,— сказал Мистигри.

— Ловко,— заметил Жорж, смеясь.

— После того как мой старик был корсаром, а может быть, даже пиратом, загубить христианскую душу для него все равно, что раз плюнуть,— продолжал Шиннер.— Приятно, нечего сказать. Впрочем, старый негодяй слыл богачом, прямо миллионщиком, а уж уродлив,— как тот пират, которому какой-то паша отрубил оба уха и который посеял глаз бог весть где... впрочем, ускок превосходно умел пользоваться оставшимся, и, можете мне поверить, он этим глазом глядел в оба. «Ни на шаг жену от себя не отпускает»,— заявил мой аптекарь. «Если у нее окажется нужда в вашей помощи, я, перерядившись, заменю вас. Этот трюк всегда удается у нас на театре»,— ответил я. Было бы слишком долго описывать вам те три дня, самые восхитительные в моей жизни, которые я провел у окна, переглядываясь с Зеной и меняя каждое утро белье. Это переглядывание тем сильнее щекотало нервы, что малейшее движение было многозначительно и грозило опасностью. Наконец Зена, видимо, решила, что только чужестранец, француз, художник отважится строить ей глазки среди окружающих ее пропастей; и

так как она от всей души ненавидела своего ужасного пирата, то бросала на меня такие взгляды, которые без всяких блоков возносят человека прямо в рай. И вот я прихожу в экстаз, как Дон-Кихот. Я распаляюсь, раскаляюсь... и наконец восклицаю: «Ну что ж! Пусть старик меня убьет, но я отправлюсь к ней. Никаких пейзажей! Я буду изучать их при наскоке на ускока». Ночью, надев надушенное белье, перебегаю улицу и вхожу...

— В дом? — удивился Оскар.

— В дом? — подхватил Жорж.

— В дом,— ответил Шиннер.

— Ну и хват же вы! — воскликнул дядюшка Леже.— Что до меня, я бы ни за что не сунулся!

— Тем более что вы и в дверь-то не пролезли бы,— сказал Шиннер.— Итак, вхожу и чувствую, как чьи-то руки обнимают меня. Я молчу, ибо эти руки, нежные, словно луковые чешуйки, повелевают мне молчать. И чей-то голос шепчет мне на ухо по-венециански: «Он спит!» Затем, убедившись, что никто не может нам повстречаться, мы с Зеной идем гулять вдоль укреплений, но, увы, под охраной карги-служанки, уродливой, как старый дворник; эта дурацкая дуэнья следовала за нами, точно тень, причем мне так и не удалось уговорить госпожу корсаршу отделаться от нее. На следующий вечер все начинается сызнова: я требую, чтобы красавица отослала старуху, Зена противится. Моя возлюбленная говорила по-гречески, а я по-венециански,— поэтому мы так и не могли столковаться и расстались, поссорившись. Но, меняя белье, я утешаю себя мыслью, что наверняка в следующий раз никакой старухи уж не будет и мы помиримся, объяснившись по-своему... И что же! Именно старухе я и обязан спасеньем. Сейчас вы узнаете — как. Стояла такая чудная погода, что я, для отвода глаз, отправился гулять, разумеется, после того как мы помирились. Пройдясь вдоль укреплений, я спокойно возвращаюсь, засунув руки в карманы, и вдруг вижу, что улица запружена народом. Целая толпа! Точно на казнь собрались! Толпа на меня набрасывается. Меня арестовывают, связывают и уводят под охраной полицейских. Нет! Вы не знаете, и желаю вам никогда не узнать, каково это, когда неистовая чернь принимает вас за убийцу, швыряет в вас камнями и, пока вы проходите из конца в конец главную

улицу городка, воет вам вслед и требует вашей смерти! О! У каждого в глазах сверкает пламя, каждый бранится, кидает в вас факелы пылающей ненависти и вопит: «Смерть ему! Казнить убийцу!»

— Значит, они кричали по-французски? — обратился граф к Шиннеру.— Вы так живо описываете эту сцену, как будто она происходила вчера.

Шиннер на мгновение опешил и потерял дар речи.

— У всех мятежников один язык,— заметил Мистигри тоном опытного политика.

— И только когда я наконец очутился перед судом,— продолжал Шиннер, оправившись от смущенья,— я узнал, что проклятый корсар умер: Зена его отравила. Я пожалел, что был лишен возможности переменить белье. Даю честное слово, я и не подозревал об этой мелодраме. Оказывается, гречанка имела обыкновение подливать своему пирату опиум в грог (как вы справедливо заметили, в этой стране растет много мака), чтобы урвать для себя хоть минутку свободы и прогуляться. И вот накануне несчастная по ошибке налила слишком много. Вся беда моей Зены заключалась в том, что старик был страшно богат. Но она самым чистосердечным образом на суде все объяснила, а старуха дала показания в мою пользу, благодаря чему меня тут же освободили, и я получил предписание от мэра и от комиссара австрийской полиции выехать в Рим. Зена, уступившая значительную часть состояния ускока наследникам и судебным властям, отделалась двумя годами монастыря, где она, говорят, находится и по сей день. Я отправлюсь туда писать ее портрет, так как со временем вся эта история, конечно, забудется. Вот какие глупости совершаешь в восемнадцать лет.

— А меня вы бросили в lokanda без гроша,— сказал Мистигри.— Тогда я последовал за вами в Рим и по пути малевал портреты по пять франков штука, которых мне к тому же не платили; а все-таки это было для меня самой счастливой порой! Что деньги! Ведь *раззолоченное брюхо ко всему глухо!*

— Вы представляете себе, какие меня одолевали мысли,— опять заговорил художник,— когда я, привлеченный австрийскими властями к ответственности, сидел в далматинской тюрьме, беззащитный, рискуя головой

лишь потому, что раза два прогулялся с упрямой женщиной, которая ни за что не соглашалась отпустить свою дуэнью? Вот проклятый рок!

— И все это действительно с вами случилось? — наивно спросил Оскар.

— А почему бы и нет? Ведь точно такой же случай имел место во время французской оккупации Иллирии с одним из наших самых блестящих артиллерийских офицеров,— лукаво заметил граф.

— И вы этому артиллеристу поверили? — с таким же лукавством спросил графа Мистигри.

— И это все? — спросил Оскар.

— А что же вам еще? — огрызнулся Мистигри.— Не может же он сказать, что ему отрубили голову. *Чем дальше в лес, тем больше слов.*

— Скажите, сударь, а есть там фермы? — спросил дядюшка Леже.— И что там выращивают?

— Там выращивают мараскин,— сказал Мистигри.— Это такое высокое растение, оно доходит человеку до рта, на нем произрастает ликер того же названия.

— Ах, вот как! — удивился дядюшка Леже.

— Я пробыл только три дня в городе и две недели в тюрьме. Мне ничего не довелось повидать, даже мараскиновых полей,— ответил Шиннер.

— Они потешаются над вами, мараскин присылают в ящиках,— пояснил Жорж дядюшке Леже.

В это время карета Пьеротена спускалась по крутой дороге в долину Сен-Бриса, направляясь к трактиру, который находится в центре этого многолюдного городка и где Пьеротен обычно останавливался на часок, чтобы дать лошадям передохнуть, накормить их овсом и напоить. Было около половины второго.

— Э-э! Кого я вижу! Дядюшка Леже! — воскликнул хозяин трактира, когда почтовая карета остановилась у крыльца.— Вы завтракаете?

— Каждый день по разу,— ответил толстяк.— Надо заморить червячка.

— И мы тоже позавтракаем,— сказал Жорж, взяв свою трость на караул, как ружье, чем вызвал восхищение Оскара.

Но когда беззаботный авантюрист извлек из бокового кармана плетеный соломенный портсигар, вынул от-

туда золотистую сигару и, в ожидании завтрака, закурил ее, стоя на пороге, Оскар пришел в бешенство.

— Употребляете? — спросил Жорж Оскара.

— Иногда,— ответил недавний школьник, выпятив цыплячью грудь и по мере сил придав себе лихой вид.

Жорж протянул портсигар Оскару и Шиннеру.

— Черт возьми! — заметил великий художник.— Сигары по десять су!

— Это остатки тех, что я привез из Испании,— пояснил авантюрист.— А вы будете завтракать?

— Нет,— ответил художник,— меня ждут в замке. Кроме того, я закусил перед отъездом.

— А вы? — обратился Жорж к Оскару.

— Я уже позавтракал,— ответил тот.

Оскар отдал бы десять лет жизни за сапоги и панталоны со штрипками, как у Жоржа. Он чихал, кашлял, сплевывал и, давясь дымом, с трудом скрывал гримасу.

— Вы не умеете курить,— сказал Шиннер,— смотрите!

Шиннер с невозмутимым видом затянулся и, не дрогнув ни одним мускулом, выпустил дым через нос. Потом затянулся еще раз, задержал дым в горле и, вынув сигару изо рта, не без щегольства выдохнул его.

— Вот как это делается, молодой человек,— сказал великий художник.

— Да, молодой человек; но можно и иначе,— вмешался Жорж и, подражая Шиннеру, затянулся, но проглотил весь дым.

«А мои родители еще воображают, что дали мне хорошее воспитание»,— подумал бедный Оскар, пытаясь курить с той же непринужденностью, что и Шиннер.

Вдруг он почувствовал столь сильный приступ тошноты, что обрадовался, когда Мистигри выхватил у него сигару и спросил, докуривая ее с явным наслаждением:

— Вы ничем заразным не больны?

Оскар горько пожалел, что недостаточно силен: ему очень хотелось дать Мистигри по уху.

— Вот как! — заметил Оскар.— Полковник Жорж уже заплатил восемь франков за аликантское и пирож-

ки, сорок су — за сигары, да теперь еще и завтрак обойдется ему...

— По меньшей мере в десять франков,— ответил Мистигри.— Но ничего не поделаешь: *большим голавлям большое плавание.*

— А знаете что, дядюшка Леже, хорошо бы распить бутылочку бордоского,— предложил в эту минуту Жорж.

— Завтрак обойдется ему в двадцать франков! — воскликнул Оскар.— Итого — тридцать с хвостиком.

Убитый сознанием своего ничтожества, Оскар неловко уселся на тумбу и предался размышлениям, совершенно не замечая, что при этом его панталоны задрались и открыли чулки как раз в том месте, где были подвязаны старые паголенки—шедевр рукоделия г-жи Клапар.

— А мы, оказывается, собратья по чулкам,— заявил Мистигри, слегка приподнимая штанину и показывая нечто в том же роде.— Но ведь известно, что *художник всегда без сапог.*

Эта шутка вызвала улыбку у г-на де Серизи, который, скрестив руки, стоял в воротах позади путешественников. Как ни безрассудны были эти молодые люди, суровый государственный муж завидовал их недостаткам, ему нравилась их задорная хвастливость, он восхищался живостью их шуток.

— Ну что? Покупаете вы ферму Мулино? Ведь вы же ездили в Париж за деньгами,— спросил трактирщик дядюшку Леже, показывая ему в конюшне лошадку, которую хотел продать.— Если вам удастся оставить в дураках графа де Серизи, пэра Франции и министра,— это будет весьма занятно.

Лицо престарелого министра было по-прежнему непроницаемо, он повернулся и внимательно посмотрел на фермера.

— Дело в шляпе,— ответил вполголоса Леже трактирщику.

— Тем лучше. Люблю, когда дворянам натягивают нос... А если вам понадобится для этой цели тысчонок двадцать, я вам ссужу. Но Франсуа, кучер шестичасового тушаровского дилижанса, только что сообщил мне, будто граф пригласил господина Маргерона отобедать в Прэле нынче же вечером.

— Таков план его сиятельства, однако и мы не дураки,— отозвался дядюшка Леже.

— Граф устроит какое-нибудь местечко сыну господина Маргерона, вы же никакими местами не распоряжаетесь! — сказал фермеру трактирщик.

— Нет; но если за графа стоят министры, то за меня постоит сам король Людовик Восемнадцатый,— прошептал Леже на ухо трактирщику.— Сорок тысяч его портретов, которые я вручил господину Моро, помогут мне, под носом у графа, перехватить Мулино за двести шестьдесят тысяч франков наличными, а господин де Серизи потом рад будет перекупить ферму у меня за триста шестьдесят тысяч, лишь бы землю не распродали по частям с торгов.

— Недурно, куманек! — воскликнул трактирщик.

— Ловко подстроено? — спросил фермер.

— В конце концов, для графа ферма стоит этих денег.

— Теперь Мулино приносит шесть тысяч чистыми, я возобновлю договор по семи с половиной тысяч франков еще на восемнадцать лет. Таким образом капитал будет помещен больше чем из двух с половиной процентов. Граф окажется не в накладе. А чтобы не было обидно господину Моро, он сам предложит меня графу в качестве арендатора и сделает вид, будто только защищает интересы своего господина, поместив его деньги почти из трех процентов и найдя человека, который хорошо заплатит за аренду.

— А сколько Моро получит всего?

— Ну, если де Серизи ему даст десять тысяч франков,— так он заработает на этом пятьдесят тысяч. Но он их заслужил.

— А в конце концов наплевать графу на Прэль! Он и без того богат! — сказал трактирщик.— Я лично его никогда в глаза не видал.

— И я тоже,— отозвался дядюшка Леже,— но должен же он когда-нибудь поселиться здесь, иначе он не выбросил бы двухсот тысяч франков на внутреннюю отделку. В доме — прямо как у короля.

— Что же, Моро давно пора подумать и о своей выгоде,— заметил трактирщик.

— Разумеется; ведь когда тут поселятся господа, они во все начнут нос совать.

Граф не пропустил ни словечка из этого разговора, хоть он и велся вполголоса.

«Итак, я уже получил здесь все доказательства, за которыми еду туда,— подумал он, глядя на толстяка фермера, возвращавшегося в кухню.— Может быть, это пока только одни проекты? Может быть, Моро еще не дал согласия?» — утешал себя граф, настолько претила ему мысль об участии его управляющего в этих махинациях.

Пьеротен пошел поить лошадей. Де Серизи решил, что возница намеревается позавтракать с фермером и трактирщиком. После того, что граф услышал, он боялся, как бы владелец «кукушки» не выдал его.

«Все эти люди в заговоре против нас,— подумал он,— и расстроить их планы — святое дело».

— Пьеротен,— сказал он вполголоса, обращаясь к вознице,— я обещал тебе десять золотых за то, что ты сохранишь мой секрет; но если ты и впредь согласен скрывать, кто я (а я сейчас же узнаю, как только ты проговоришься или сделаешь малейший намек кому бы то ни было и где бы то ни было в течение этого дня — даже в Лиль-Адане), ты получишь от меня завтра утром, когда будешь ехать обратно, тысячу франков, чтобы расплатиться за новую карету. Поэтому, для большей верности,— продолжал граф, хлопнув по плечу побледневшего от радости Пьеротена,— не ходи-ка ты завтракать, а оставайся при лошадях.

— Понял, ваше сиятельство, не сомневайтесь! Это вы насчет дядюшки Леже?

— Насчет всех,— отозвался граф.

— Будьте покойны... Поторапливайтесь,— сказал Пьеротен, распахивая дверь кухни,— мы опаздываем. Слушайте, дядюшка Леже, вы же знаете, что нам придется подниматься в гору; мне есть не хочется, я потихоньку поеду вперед, а вы меня догоните, вам полезно поразмять ноги.

— Вот неугомонный! — заметил трактирщик.— И ты не хочешь позавтракать с нами? Полковник ставит бутылку вина в пятьдесят су и бутылку шампанского.

— Не могу. Я везу рыбу для званого обеда, ее нуж-

но доставить в Стор к трем часам. С таким клиентом и с такой рыбой шутить не приходится.

— Ну что же,— сказал дядюшка Леже трактирщику,— запряги в кабриолет своего рысака, которого ты мне предлагаешь... Мы догоним Пьеротена, а покуда спокойно позавтракаем; кстати я увижу, какова лошадь. Втроем мы вполне поместимся в твоей трясучке.

К большому удовольствию графа, Пьеротен сам пошел закладывать. Шиннер и Мистигри отправились вперед. Едва Пьеротен, догнав художников на дороге из Сен-Бриса в Понсель, доехал до бугра, с которого виден Экуэн, менильская колокольня и леса, обрамляющие очаровательный пейзаж, как топот лошади, скакавшей галопом, и дребезжание экипажа возвестили о приближении дядюшки Леже и адъютанта генерала Мина, пересевших затем в дилижанс. Когда Пьеротен свернул, чтобы начать спуск к Муаселю, Жорж, без умолку болтавший с дядюшкой Леже о прелестях сенбрисской трактирщицы, воскликнул:

— Смотрите-ка, великий маэстро, а ведь пейзажик-то недурен!

— Ну, вас он не должен поражать, вы же видели Восток и Испанию.

— От них осталось еще две сигары! Если это никого не стеснит, давайте прикончим их, Шиннер. С этого молокососа хватило и нескольких затяжек, накурился!

Дядюшка Леже и граф промолчали. Это было принято за согласие, и болтуны умолкли.

Оскар, задетый тем, что его назвали молокососом, заявил, в то время как молодые люди раскуривали сигары:

— Если я и не был адъютантом Мины, сударь, и если я не бывал на Востоке, то я, может быть, еще поеду туда. Надеюсь, что когда я достигну вашего возраста, карьера, к которой я предназначаюсь родителями, освободит меня от необходимости путешествовать в «кукушках». Став важной особой и заняв высокое положение, я его уже не лишусь.

— Et caetera punctum [1],— докончил Мистигри, передразнивая Оскара, голос которого напоминал хриплое

---

[1] И точка *(лат.)*.

пение молодого петушка и придавал его речам еще больший комизм, ибо бедный мальчик находился в том возрасте, когда пробиваются усы и ломается голос.— Что же,— добавил Мистигри,— никогда не знаешь, *где займешь, где потеряешь*.

— Ну, лошади скоро уж будут не в силах тащить такой груз,— заявил Шиннер.

— А к какой же карьере вас предназначает ваша семья, молодой человек? — спросил Жорж с серьезным видом.

— К дипломатической,— ответил Оскар.

В ответ раздался дружный взрыв хохота, точно взвились три ракеты,— рассмеялись Мистигри, великий художник и дядюшка Леже. Граф тоже не мог сдержать улыбки. Жорж был невозмутим.

— Клянусь аллахом, тут не над чем смеяться,—сказал полковник.— Одно только: мне кажется, молодой человек,— продолжал он,— что в настоящее время общественное положение вашей уважаемой матушки мало похоже на положение посольши... Провожая вас, она держала в руках самую мещанскую корзинку, а башмаки у нее подбиты гвоздями.

— У моей матери, сударь? — возразил Оскар, с негодованием пожав плечами.— Но это же экономка, она служит у нас!

— «Служит у нас»... конечно, звучит чрезвычайно аристократично!—воскликнул граф, прерывая Оскара.

— Король всегда говорит о себе *мы*,—горделиво ответил Оскар.

Все опять чуть не расхохотались, и остановил их только взгляд Жоржа; он дал понять художнику и Мистигри, что с Оскаром нужно обходиться бережно, чтобы разрабатывать и дальше богатейшие залежи смешного, которые в нем таятся.

— Вы правы, сударь,— обратился к графу великий художник, указывая на Оскара,— люди из общества всегда говорят «мы», «у нас», и только мелкий люд говорит «я», «у меня». Эти людишки всегда стараются показать, что они располагают тем, чего на самом деле у них нет. Для человека с такой декорацией из орденов...

— Так вы, сударь, все-таки декоратор? — спросил графа Мистигри.

— Вы понятия не имеете о языке придворных. Прошу у вас покровительства, ваше сиятельство,— добавил Шиннер, обернувшись к Оскару.

— Я счастлив,— сказал граф,— что мне довелось путешествовать с тремя особами, которые уже знамениты или будут знамениты: с прославленным художником, с будущим генералом и с молодым дипломатом, который, я уверен, со временем возвратит Бельгию Франции.

Постыдно отрекшись от родной матери и чувствуя, до какой степени его спутники насмехаются над ним, взбешенный Оскар решил во что бы то ни стало преодолеть их недоверие.

— Не все то золото, что блестит,— изрек он, причем глаза его метали молнии.

— Не так! — воскликнул Мистигри.— *Не все то золото, что смешит*. Вы недалеко уйдете в дипломатии, раз так плохо знаете наши пословицы.

— Если я и не знаю пословиц, то я знаю свою дорогу.

— И вы далеко уедете,— сказал Жорж,— ведь ваша экономка сунула вам столько провизии, словно вы отправляетесь за тридевять земель: печенье, шоколад...

— Особый хлебец и шоколад, да, сударь,— продолжал Оскар,— у меня слишком нежный желудок, чтобы переваривать трактирную жратву.

— Это выражение так же деликатно, как ваш желудок,— заметил Жорж.

— Ах, люблю жратву! — воскликнул великий художник.

— Это слово принято в лучшем обществе,— пояснил Мистигри.— Я всегда его употребляю в кабачке под вывеской «Черная наседка».

— Вашим наставником был, вероятно, какой-нибудь знаменитый ученый, вроде академика Андрие или господина Руайе-Коллара? — осведомился Шиннер.

— Моего наставника зовут аббат Лоро, он теперь викарием в Сен-Сюльписе,— продолжал Оскар, вспомнив имя своего школьного законоучителя.

— Это хорошо, что вы получили домашнее образование,— сказал Мистигри,— ибо сказано: *школа — мать всякой скуки*. Но вы, конечно, вознаградите как следует вашего аббата?

— Разумеется; он будет со временем епископом,— сказал Оскар.

— Благодаря покровительству вашей семьи,— поддакнул Жорж, не сморгнув.

— Может быть, мы посодействуем этому — у нас бывает запросто аббат Фрессинус.

— Как? Вы знакомы с аббатом Фрессинусом? — спросил граф.

— Он многим обязан моему отцу,— отозвался Оскар.

— И вы, вероятно, направляетесь в свое поместье? — осведомился Жорж.

— Нет, сударь; но я-то могу открыть вам, куда я еду. Я еду в Прэльский замок, к графу де Серизи.

— Ах, черт! Вы едете в Прэль? — воскликнул Шиннер и покраснел, словно рак.

— Вы знакомы с его сиятельством графом де Серизи? — удивился Жорж.

Папаша Леже обернулся, взглянул на Оскара и в изумлении спросил:

— Разве господин де Серизи в Прэле?

— Очевидно, раз я к нему еду,— ответил Оскар.

— И вы видели графа вблизи? — спросил Оскара господин де Серизи.

— Как вижу вас,— заявил Оскар.— Его сын мой товарищ и почти мне ровесник, ему девятнадцать лет; мы чуть не каждый день катаемся вместе верхом.

— Бывает, что и *туз свинье товарищ*,— изрек Мистигри.

Тут Пьеротен подмигнул фермеру, и тот вполне успокоился.

— Что ж, молодой человек,— обратился граф к Оскару,— я счастлив быть в вашем обществе, раз вы можете рассказать мне о его сиятельстве; я очень хотел бы воспользоваться покровительством графа в одном довольно важном для меня деле, и притом ему бы ничего не стоило оказать мне эту услугу: речь идет об иске к американскому правительству. Я бы желал узнать что-нибудь относительно характера господина де Серизи.

— О! Если хотите добиться успеха,— с лукавой улыбкой ответил Оскар,— обращайтесь не к нему, а к его су-

пруге; он влюблен в нее до безумия, никто лучше меня этого не знает; а жена терпеть его не может.

— Почему? — спросил Жорж.

— У графа отвратительная накожная болезнь, и доктор Алибер, как ни старается, не может его вылечить. Поэтому господин де Серизи охотно отдал бы половину своего громадного состояния, чтобы только иметь мою грудь,— и Оскар распахнул рубашку, обнажая по-детски розовое тело.— Он живет в своем особняке настоящим отшельником. Видеть его можно только по большой протекции. Встает он до света и от трех до восьми занимается, а с восьми начинается лечение — он принимает серные или паровые ванны. Его парят в особых железных котлах, и он все еще не теряет надежды выздороветь.

— Если он так близок с королем, почему он не попросит, чтобы король к нему прикоснулся? — спросил Жорж.

— Значит, у этой женщины муж па́реный,— заключил Мистигри.

— Граф обещал за свое исцеление одному знамени-

тому шотландскому врачу, который его теперь пользует, тридцать тысяч франков,— продолжал свой рассказ Оскар.

— Но тогда и жену его нельзя винить за то, что она ищет...— начал было Шиннер.

— Еще бы,— прервал его Оскар.— Бедняга граф такой дряхлый, такой сморщенный, что ему лет восемьдесят дать можно. Он высох, как пергамент, и, к сожалению, чует, чем для него это пахнет...

— Да, от него, должно быть, пахнет неважно,— сострил дядюшка Леже.

— Не забывайте, сударь, что он обожает свою жену и не смеет упрекать ее,— продолжал Оскар,— он разыгрывает с нею такие сцены, что можно со смеху помереть, точь-в-точь как Арнольф в комедии Мольера...

Граф изумленно смотрел на Пьеротена, а тот, видя его спокойствие, решил, что, значит, сынок мадам Клапар просто заврался.

— Поэтому, сударь,— продолжал Оскар, обращаясь к графу,— если вы хотите добиться успеха в своем деле, обратитесь к маркизу д'Эглемону. Склоните на свою

сторону этого давнишнего обожателя госпожи де Серизи, и вы сразу завоюете и жену и мужа...

— То есть сразу двух зайцев убьете,— вставил Мистигри.

— Но, послушайте, вы, стало быть, видели графа раздетым? — удивился художник.— Вы его камердинер?

— Камердинер?! — возопил Оскар.

— Но ведь про друга не рассказывают же таких вещей в дилижансе,— продолжал Мистигри.— *Осторожность*, молодой человек, *мать глухоты*. Я лично вас не слушаю, молодой человек.

— К этому случаю подходит изречение: *скажи, кому яму роешь, а я скажу, чего ты стоишь*,— вставил Шиннер.

— Заметьте, великий маэстро,— наставительно изрек Жорж,— нельзя отзываться дурно о людях, которых не знаешь, а этот мальчик сейчас доказал нам, что он знает Серизи, как свои пять пальцев. Если бы он нам рассказывал только о его супруге, можно было бы предположить, что он с ней...

— Ни слова больше о графине де Серизи, молодые люди! — воскликнул граф.— Я друг ее брата, маркиза де Ронкероля, и тот, кто осмелится набросить тень на честь графини, ответит мне за свои слова.

— Вы, сударь, совершенно правы,— живо отозвался художник,— не следует играть честью женщины!

— Бог мой! Честь и дамы! Я уже видел такие мелодрамы! — воскликнул Мистигри.

— Я незнаком с генералом Мина, зато знаком с министром юстиции и хоть и не ношу своих орденов, но не позволю награждать ими тех, кто этого не заслуживает,— сказал граф, глядя на художника.— И наконец у меня такой обширный круг знакомых, что я знаю и господина Грендо, прэльского архитектора. Остановитесь, Пьеротен, я немного пройдусь...

Пьеротен доехал до конца деревни Муасель, где находится трактир, в котором обычно делают привал проезжающие. До трактира все сидели, точно воды в рот набрали.

— К кому же едет этот шалопай? — спросил граф, отозвав Пьеротена во двор харчевни.

— Да к вашему управляющему. Это сын одной бед-

ной особы, некоей госпожи Юссон; она живет на улице Серизе, я частенько вожу ей фрукты, дичь, птицу.

— Кто этот господин? — спросил дядюшка Леже, подойдя к Пьеротену, когда граф удалился.

— А бог его знает,— отозвался Пьеротен.— Я везу его в первый раз, но похоже, что это герцог, владелец замка Мафлие; он велел мне ссадить его по пути, он не едет в Лиль-Адан.

— Пьеротен полагает, что это хозяин Мафлие,— сказал Жоржу дядюшка Леже, влезая обратно в дилижанс.

Все три молодых человека, растерявшись, словно воры, пойманные с поличным, не решались даже взглянуть друг на друга и, казалось, были весьма озабочены возможными последствиями своего вранья.

— Вот уж, как говорится, *пустая мыльница без ветру мылит*,— заметил Мистигри.

— Теперь вы убедились, что я знаком с графом? — сказал Оскар.

— Возможно; но послом вам не бывать,— отозвался Жорж.— Если хочешь молоть языком в дилижансах, старайся, как я, ничего не сболтнуть.

— *Своя рубашка ближе к делу*,— изрек Мистигри в виде заключения.

Тут граф снова занял свое место в «кукушке», и Пьеротен тронул; все хранили глубокое молчание.

— Ну что ж, друзья мои,— обратился граф к своим спутникам, когда они доехали до леса Каро,— вот мы и примолкли, точно нас везут на плаху.

— Нужно знать, *когда доить, когда говорить*,— наставительно произнес Мистигри.

— Хорошая погода,— пробормотал Жорж.

— Что это за поместье? — спросил Оскар, указывая на замок Франконвиль, величественно выступавший на фоне огромного сенмартенского леса.

— Как? — воскликнул граф.— Вы же уверяли нас, что часто бываете в Прэле, а между тем не знаете Франконвиля?

— Наш спутник знает людей, а не за́мки,— пояснил Мистигри.

— Будущему дипломату дозволена некоторая рассеянность,— заметил Жорж.

— Запомните же, как меня зовут,— в бешенстве

вскричал Оскар.— Мое имя Оскар Юссон, и через десять лет я буду знаменит!

Выпалив это с большим задором, Оскар забился в свой угол.

— Юссон де... а дальше как? — промолвил Мистигри.

— Юссон де Ла-Серизе — знатный род [1],— ответил граф,— наш спутник родился под сенью императорского трона.

Тут Оскар вспыхнул до корней волос, и его охватила ужасная тревога. Карета уже начинала спускаться по крутому склону Кава, в тесную долину, где за сенмартенским лесом высится великолепный замок Прэль.

— Господа,— сказал граф,— каждого из вас ждет блестящая карьера, желаю вам успеха. Помиритесь с королем Франции, господин полковник: Кара-Георгиевичам не пристало дуться на Бурбонов. Вам мне нечего предсказывать, дорогой господин Шиннер, вы уже обрели всю полноту славы, и вы поистине заслужили ее своими восхитительными работами; однако вы столь опасны для женщин, что я, как человек женатый, не решился бы просить вас украсить живописью мой замок. Господин Юссон в покровительстве не нуждается, в его руках — тайны государственных мужей, он может приводить их в трепет. Что же касается господина Леже, то он намерен ощипать графа де Серизи, и я могу только просить его, чтобы он действовал как можно решительнее. Высадите меня здесь, Пьеротен, а завтра заезжайте за мною,— добавил граф и вылез из «кукушки», оставив своих спутников в полном смущении.

— *Волосок завяз, всей птичке пропасть*,— изрек Мистигри, наблюдая за тем, как граф удаляется по ухабистой дороге.

— Э, да это тот самый граф, который снял Франконвиль, он идет туда,— решил дядюшка Леже.

— Если я еще хоть раз вздумаю болтать в дороге,— я вызову самого себя на дуэль! — сказал мнимый Шиннер.— И ты тоже хорош, Мистигри,— добавил он, хлопнув своего ученика по картузу.

— Да я ведь только последовал за вами в Венецию,—

---

[1] Сказано в шутку: Юссоны живут на улице Серизе, а название этой улицы по случайному совпадению созвучно со знатной фамилией де Серизи.

ответил Мистигри.— Но люди всегда так — лишь бы *свалить с тупой головы на дорогу.*

— А что, если окажется, что это был граф де Серизи? — сказал Жорж Оскару, сидевшему с ним рядом.— Не хотел бы я тогда быть в вашей шкуре, хотя у вас и нет накожных болезней.

Оскар же, вспомнив наставления матери, побледнел, и хмель сразу соскочил с него.

— Вот и приехали, господа,— заявил Пьеротен, останавливая лошадей у красивой ограды.

— Приехали? — спросили в один голос художник, Жорж и Оскар.

— Что за чудеса! — удивился Пьеротен.— Как же, господа? Ведь вы же все бывали здесь? Это же и есть Прэльский замок.

— Ну ладно, ладно, друг мой,— сказал Жорж, к которому вернулась обычная самоуверенность.— Мне нужно на ферму Мулино,— добавил он, не желая открывать своим спутникам, что его цель — замок.

— Вон что! Вы, стало быть, ко мне пожаловали? — спросил дядюшка Леже.

— Как так?

— А я и есть арендатор Мулино. Чем могу служить, полковник?

— Хочу попробовать ваше масло,— ответил Жорж, поспешно схватив свой портфель.

— Пьеротен,— сказал Оскар,— доставьте мои вещи к управляющему, я пойду прямо в замок.

И Оскар решительно зашагал по тропинке, хоть и не знал, куда она ведет.

— Эй! Господин посол! — крикнул ему вслед дядюшка Леже.— Вы так в лес забредете! А в замок — надо сюда, вот в эту калитку.

Оскару пришлось последовать его указаниям, и он с чувством полной растерянности вступил на широкий двор замка, посреди которого раскинулась огромная клумба, опоясанная цепями на столбиках. В то время как дядюшка Леже разглядывал Оскара, Жорж, сраженный тем, что хозяином Мулино оказался этот пузатый фермер, скрылся с такой прытью, что, когда удивленный толстяк обернулся, ища своего полковника, того уже и след простыл. По требованию Пьеротена ворота распахнулись, и

он с горделивым видом понес в сторожку бесчисленные свертки с кистями, красками и прочими принадлежностями великого Шиннера. Увидев, что Мистигри и художник, свидетели его бахвальства, располагаются в замке, Оскар окончательно пал духом. Пьеротен быстро выгрузил поклажу художника, вещи Оскара и еще чей-то изящный кожаный чемодан, который он с таинственным видом вручил жене привратника; затем, щелкая кнутом, вернулся и покатил дальше по лесной дороге в Лиль-Адан, причем на лице его блуждало то хитрое выражение, какое бывает у крестьянина, подсчитывающего барыши. Теперь он был вполне счастлив — завтра он наконец, получит вожделенную тысячу франков.

Оскар, все еще растерянный, бродил вокруг клумбы, ожидая, что́ будет дальше с его двумя спутниками, как вдруг увидел г-на Моро, который вышел из так называемой кордегардии и стал спускаться с высокого крыльца. На нем был длинный, до пят, синий сюртук, желтоватые лосины и ботфорты, а в руках он держал хлыст.

— Вот и ты, мой мальчик! Как здоровье твоей милой маменьки? — спросил он, беря Оскара за руку.— Здравствуйте, господа, вы, вероятно, живописцы, относительно которых нас предуведомил господин Грендо, архитектор? — обратился он к художнику и к Мистигри.

Поднеся ко рту ручку хлыста, он дважды свистнул. Показался привратник.

— Отведите этим господам комнаты четырнадцатую и пятнадцатую, госпожа Моро даст вам ключи; покажите им дорогу, они не знают; вечером затопите камины, если там холодно, и отнесите туда их вещи! Я получил приказ от его сиятельства предложить вам столоваться у меня, господа,— продолжал он, снова обращаясь к художникам.— Мы обедаем в пять, как в Париже. Если вы любите охоту, то вам здесь не будет скучно, у меня есть разрешение от Лесного ведомства: здесь можно охотиться на двух тысячах арпанов леса, не считая наших собственных земель.

Оскар, художник и Мистигри, все трое равно пристыженные, переглянулись, но, верный взятой на себя роли, Мистигри воскликнул:

— Наплевать! *Семь бед — один обед!*

Молодой Юссон последовал за управляющим, который торопливо увлек его в парк.

— Жак,— обратился он к одному из своих сыновей,— поди скажи матери, что приехал Оскар Юссон, а мне придется сходить ненадолго на ферму Мулино.

Управляющий, мужчина лет пятидесяти, брюнет, среднего роста, казался очень суровым. Глядя на его желчное лицо, отличавшееся благодаря деревенскому образу жизни яркими красками, можно было сделать ложный вывод о его характере. Все способствовало такому неправильному заключению. В волосах у него уже мелькала седина. Синие глаза и большой крючковатый нос придавали ему мрачный вид, тем более что глаза были посажены слишком близко к переносице; но для человека наблюдательного его толстые губы, овал лица, мягкость в обращении свидетельствовали о доброте. Несмотря на его решительный характер и резкую речь, Оскар чувствовал к нему большое уважение за ту трогательную заботливость, которую г-н Моро выказывал ему как сыну г-жи Клапар. В присутствии управляющего Оскар всегда чувствовал себя мальчишкой, так как мать приучила его высоко ценить г-на Моро, но по приезде в Прэль его охватило какое-то беспокойство, словно он ждал неприятностей от этого отечески расположенного друга, единственного своего покровителя.

— Что это, Оскар, ты словно недоволен, что приехал сюда? — сказал управляющий.— А время ты здесь проведешь недурно: научишься ездить верхом, стрелять, охотиться.

— Я не умею,— промямлил Оскар.

— Так ведь я тебя для того и пригласил, чтоб научить всем этим премудростям.

— Маменька наказывала мне не оставаться здесь больше двух недель, а то госпожа Моро...

— Ну, там видно будет,— ответил Моро, слегка задетый тем, что Оскар усомнился в его супружеской власти.

Тут к ним подбежал младший сын Моро, пятнадцатилетний подросток, складный и резвый.

— Вот тебе товарищ,— сказал ему отец,— отведи его к матери.

И управляющий быстрым шагом направился к сторожке, находившейся на границе между парком и лесом.

Флигель, отведенный графом управляющему, был построен за несколько лет до революции крупным подрядчиком, купившим знаменитые владения Кассан, где известный откупщик государственных налогов Бержере, несметно богатый и прославившийся своей роскошью не меньше, чем Бодары, Парисы, и Буре, разбил сады, провел речки, построил загородные дома, китайские беседки и потратил уйму денег на прочие разорительные затеи.

Этот флигель, стоявший в большом саду, огороженном стеной, примыкавшей с одной стороны ко двору, где находились службы Прэльского замка, некогда выходил на главную деревенскую улицу. Купив имение, отец г-на де Серизи разобрал ограду со стороны сада и заделал калитку, которая вела в деревню, присоединив таким образом флигель к прочим службам. Он снес другую стену и тем самым расширил парк, прибавив к нему все сады, приобретенные в свое время откупщиком, желавшим округлить свои владения. В доме управляющего, выстроенном из тесаного камня, в стиле Людовика XV (а это значит, что все его украшения сводились к оконным наличникам и прямым строгим канелюрам, как на колоннадах площади Людовика XV), в первом этаже была прекрасная гостиная, смежная со спальней, и столовая, смежная с биллиардной. Эти симметрично расположенные апартаменты разделялись лестницей, перед которой была небольшая площадка с колоннадой, служившая передней; богато украшенные двери в гостиную и столовую были расположены друг против друга. Кухня помещалась под столовой; на крыльцо вела каменная лестница в десять ступеней.

Перенеся жилые комнаты во второй этаж, г-жа Моро устроила в бывшей спальне свой будуар. Гостиная и будуар, обставленные прекрасными вещами, отобранными из прежней обстановки замка, не посрамили бы особняка любой светской львицы. Стены гостиной, так же как и старинная позолоченная мебель, были обтянуты бело-голубым штофом, в прежние времена украшавшим огромную парадную постель с балдахином; тяжелые драпировки и портьеры были подбиты белой тафтой. Карти-

ны, вынутые из старых, уже не существующих панно, жардиньерки, отдельные изящные предметы современной обстановки, дорогие лампы и хрустальная граненая люстра производили величественное впечатление. На полу лежал старинный персидский ковер. Будуар, обставленный по современной моде соответственно вкусам г-жи Моро, был обтянут светло-серым шелком с синими шнурами и походил на шатер. Там стоял традиционный турецкий диван с подушками и валиками. Жардиньерки, за которыми ухаживал старший садовник, радовали глаз пирамидами цветов. Столовая и биллиардная были красного дерева. Вокруг дома жена управляющего разбила цветник, который содержался в большом порядке и доходил до самого парка. Купы экзотических деревьев скрывали службы. Заботясь об удобстве своих гостей, жена управляющего устроила на месте прежней заделанной калитки — новую.

Итак, супруги Моро искусно замаскировали зависимое положение, в котором по своей должности они находились; им тем легче было сойти за людей состоятельных, ради собственного удовольствия занявшихся именем друга, что ни граф, ни графиня не стремились их «осадить». Кроме того, разрешение пользоваться всеми благами, полученное от г-на де Серизи, давало им возможность жить в довольстве, а это единственная роскошь, доступная в деревне. Управляющий с женой жили по-королевски, получали в изобилии все молочные припасы, яйца, птицу, дичь, фрукты, корм для домашних животных, цветы, дрова, овощи и покупали только мясо, вино и колониальные товары. Птичница пекла им хлеб. Кроме того, последние годы Моро расплачивался с мясником свиньями со своего скотного двора, разумеется, не в ущерб собственному столу. Как-то графиня, не забывшая своей прежней камеристки, подарила ей, вероятно, на память о себе, небольшую, вышедшую из моды коляску, которую Моро покрасил заново, и его жена стала в ней разъезжать на паре лошадей, предназначенных для работ в парке. Кроме этой пары, управляющий держал еще и верховую лошадь. В парке был вспахан и засеян участок, урожая с которого хватало на корм для лошадей. Моро собирал с него девять тысяч пудов превосходного сена, а в приход вносил только три тысячи,

пользуясь довольно неопределенным разрешением графа. Полагающуюся ему долю натуральных повинностей он не расходовал, а продавал. Он держал домашнюю птицу, голубей, коров за счет парка; зато навоз с его скотного двора шел на удобрение графского сада. Для каждого жульничества у него было оправдание. Супруге его прислуживала дочь одного из садовников, работавшая и за горничную и за кухарку. Скотница, ведавшая молочной фермой, тоже помогала по хозяйству. Для ухода за лошадьми и для тяжелой работы Моро нанял отставного солдата по имени Брошон.

И в Нервиле, и в Шоври, и в Бомоне, и в Мафлие, и в Прероле, и в Нуэнтеле красивая жена управляющего была принята во многих буржуазных домах, где не знали или делали вид, что не знают, кем она была до замужества. К тому же Моро всем охотно оказывал услуги. Он обращался к своему хозяину за одолжениями, которые кажутся пустяками в Париже, а в деревенской глуши — немаловажны. Одному он исходатайствовал должность мирового судьи в Бомоне, другому — в Лиль-Адане, в тот же год его стараниями сохранил место главный лесничий и получил орден Почетного легиона бомонский квартирмейстер. Поэтому ни одна вечеринка не обходилась без супругов Моро. Прэльский кюре и прэльский мэр каждый вечер играли у них в карты. Трудно не прослыть порядочным человеком, когда так ублажаешь соседей.

Жена управляющего, красивая женщина, но жеманница, как и все камеристки, которые, выйдя замуж, стараются подражать своим бывшим хозяйкам, была местной законодательницей мод; она носила очень дорогую обувь и выходила пешком только в хорошую погоду. Муж определил ей на наряды всего пятьсот франков, но в деревне это сумма немалая, особенно если тратить ее с толком; и управительница, свежая, яркая блондинка лет тридцати шести, все еще стройная, хрупкая и миленькая, несмотря на то, что родила троих детей, старалась сойти за молоденькую и разыгрывала из себя принцессу. Г-жа Моро ужасно сердилась, если кто-либо из приезжих, увидя ее в коляске по пути в Бомон, спрашивал: «Кто это?», а местный житель отвечал: «Жена графского управляющего». Ей льстило, когда ее принимали за вла-

делицу замка. Ей нравилось покровительствовать, подражая знатным дамам. Не раз подтвержденное фактами влияние ее мужа на графа охраняло г-жу Моро от насмешек местных обывателей, а в глазах крестьян она была важной дамой. Эстель (ее звали Эстель) вмешивалась в управление имением не больше, чем жена маклера вмешивается в биржевые дела. Все заботы по хозяйству и по накоплению капитала она тоже доверила мужу. Не сомневаясь в его *способностях*, она была далека от мысли, что их благоденствию, которое длилось уже семнадцать лет, может прийти конец; однако, узнав о решении графа заново отделать великолепный замок Прэль, она почувствовала в этом угрозу своему приятному житью и убедила мужа сговориться с Леже, чтобы получить возможность переехать в Лиль-Адан. Ей было бы слишком тяжело снова очутиться в зависимом положении, почти что на правах прислуги у своей бывшей хозяйки, которая еще, пожалуй, стала бы смеяться над тем, как она по-барски устроилась во флигеле, стараясь все собезьянничать с настоящих господ.

Причина глубокой неприязни между семьями Реберов и Моро коренилась в обиде, нанесенной г-жой де Ребер г-же Моро в отместку за то, что, вскоре по приезде Реберов, жена управляющего позволила себе колкость по отношению к г-же Ребер, урожденной де Корруа, опасаясь, как бы та не вздумала притязать на первую роль. Г-жа де Ребер напомнила, а может быть, и впервые открыла соседям тайну прежней должности г-жи Моро. Слово «горничная» переходило из уст в уста. Завистники,— а они у супругов Моро были, конечно, и в Боморе, и в Лиль-Адане, и в Мафлие, и в Шампани, и в Нервиле, и в Шоври, и в Байе, и в Муаселе,— столько судачили по этому поводу, что заронили искорку пожара и в семье Моро. В течение четырех лет Реберы, изгнанные очаровательной женой управляющего из ее кружка, столько натерпелись от почитателей супругов Моро, что жизнь стала бы для них невыносимой, если бы их не поддерживала мысль о мести.

Архитектор Грендо, бывший в приятельских отношениях с супругами Моро, известил их о скором приезде художника, которому поручили закончить декоративную

роспись в замке, после того как основные полотна были написаны Шиннером. Знаменитый художник рекомендовал для обрамления, арабесок и прочих украшений того самого пассажира, которого сопровождал Мистигри. И г-жа Моро все глаза проглядела, вот уже два дня готовясь к бою. Художнику предстояло в течение нескольких недель быть ее гостем, а значит, ей надо было быть во всеоружии. Когда в Прэле жил Шиннер, ему и его жене было отведено помещение в замке и, по распоряжению графа, стол их ничем не отличался от стола его сиятельства. Грендо, столовавшийся в семье Моро, относился с такой почтительностью к великому художнику, что ни управляющий, ни его жена не решились познакомиться с ним поближе. К тому же самые знатные и богатые окрестные помещики наперебой приглашали к себе Шиннера и его жену и задавали в их честь балы. И теперь г-жа Моро была очень довольна, что может отыграться, хвастаясь *своим* художником, и собиралась разблаговестить повсюду о его таланте, ничуть не уступающем таланту Шиннера.

Обворожительная г-жа Моро отлично учла свои возможности и, хотя в четверг и пятницу уже щеголяла в изящных туалетах, все же приберегла самое нарядное платье к субботе, ибо не сомневалась, что приезжий художник в субботу уж непременно появится за ее столом. Итак, на ней были бронзового цвета ботинки и фильдекосовые чулки. Розовое платье в мелкую полоску, розовый пояс с золотой пряжкой тонкой работы, золотой крестик на шее и браслетки из бархаток на обнаженных руках (у г-жи де Серизи были очень красивые руки и она отнюдь не прятала их) — в таком наряде г-жа Моро вполне могла сойти за настоящую парижанку. На ней была прелестная шляпка из итальянской соломки, украшенная букетиком роз от Натье, из-под полей шляпки на плечи ниспадали блестящие белокурые локоны. Она заказала изысканный обед, еще раз осмотрела комнаты и теперь, изображая из себя помещицу, прогуливалась возле дома с тем расчетом, чтобы оказаться на фоне клумбы перед парадным подъездом к моменту появления почтовых карет. Над головой она раскрыла очаровательный розовый на белом шелку зонтик с бахромой. Тут она увидела Пьеротена, который отдавал привратнице

странный багаж Мистигри, но пассажиров не было, и разочарованная Эстель пошла обратно, досадуя, что она опять нарядилась зря. Как и большинство людей, разодевшихся в пух и прах для приема гостей, она почувствовала, что не может ничем заняться, разве только побездельничать у себя в гостиной в ожидании бомонского дилижанса, который хоть и отправляется из Парижа в час дня, но проезжает мимо замка вскоре после Пьеротена; и она вернулась домой, а наши художники тем временем занялись своим туалетом. И молодой художник и его ученик уже успели порасспросить садовника и, наслышавшись от него похвал очаровательной г-же Моро, почувствовали необходимость прифрантиться и нарядились во все лучшее для своего появления в доме управляющего; их туда отвел Жак, старший из сыновей Моро, бойкий мальчик, одетый по английской моде в курточку с отложным воротником. Каникулы он проводил в деревне, где мать его жила владетельной герцогиней и где он чувствовал себя как рыба в воде.

— Маменька,— сказал он,— вот художники, которых прислал господин Шиннер.

Приятно пораженная, г-жа Моро встала, велела сыну подать стулья и рассыпалась в любезностях.

— Маменька, Оскар Юссон приехал, он с папенькой,— шепнул Жак на ухо матери,— я его сейчас приведу...

— Не спеши, займись с ним чем-нибудь,— остановила его мать.

Уже по тому, как было сказано это «не спеши», художники поняли, что их дорожный знакомый невелика птица; но в этих словах чувствовалась также и неприязнь мачехи к пасынку. И в самом деле, г-жа Моро, которая за семнадцать лет супружеской жизни несомненно слышала о привязанности своего мужа к г-же Клапар и Оскару, не скрывала своей ненависти к матери и сыну; поэтому вполне понятно, что управляющий долго не мог решиться пригласить Оскара в Прэль.

— Нам с мужем поручено,— сказала она художникам,— принять вас и показать вам замок. Мы очень ценим искусство, и особенно служителей искусства,— прибавила она жеманясь,— и я прошу вас: будьте как дома. В деревне стесняться нечего; здесь надо пользоваться

полной свободой; иначе не выдержишь. Господин Шиннер уже был у нас...

Мистигри лукаво взглянул на своего товарища.

— Вы его, вероятно, знаете? — спросила Эстель, помолчав.

— Кто же его не знает, сударыня! — ответил художник.

— Знают, *как белую корову*,— прибавил Мистигри.

— Господин Грендо,— сказала г-жа Моро,— называл мне вашу фамилию, но я...

— Жозеф Бридо,— подсказал художник, которого чрезвычайно занимал вопрос, с какого рода женщиной он имеет дело.

Мистигри в душе уже возмущался покровительственным тоном прекрасной супруги управляющего, но он, как и Бридо, выжидал, не вырвется ли у нее какое-нибудь словечко, которое сразу бы ему все разъяснило, или один из тех жестов, на которые у художников особенно наметан глаз; ведь они от природы беспощадные наблюдатели и быстро подмечают все смешное, ценя в нем пищу для своего карандаша. Обоим художникам сразу бросились в глаза большие руки и ноги красавицы Эстель, бывшей крестьянки из окрестностей Сен-Ло; затем два-три словечка из лексикона горничной, обороты речи, не соответствующие изяществу ее туалета, помогли художнику и его ученику быстро разобраться, с кем они имеют дело. Они перемигнулись и тут же решили с самым серьезным видом позабавиться на ее счет и приятно провести время.

— Вы любите искусство, сударыня? Может быть, вы и сами в нем преуспеваете? — осведомился Жозеф Бридо.

— Нет. Правда, я получила недурное образование, но чисто коммерческое. Однако я так глубоко и тонко чувствую искусство, что господин Шиннер каждый раз, закончив картину, приглашал меня посмотреть и высказать свое мнение.

— Совсем так же, как Мольер советовался с Лафоре,— вставил Мистигри.

Госпожа Моро не знала, что Лафоре была служанкой, и весь ее вид свидетельствовал, что, по неведению, она приняла его слова за комплимент.

— Неужели он не попросил вас служить ему нату-

рой? — удивился Бридо.— Художники лакомы до хорошеньких женщин.

— Что вы хотите этим сказать? — воскликнула г-жа Моро, на лице которой отразился гнев оскорбленной королевы.

— На языке художников «натура» означает модель. Художники любят рисовать с натуры красивые лица,— пояснил Мистигри вкрадчивым голосом.

— Ах, вот что! Я не так поняла это выражение,— ответила она, бросая на Мистигри нежный взгляд.

— Мой ученик, господин Леон де Лорá,— сказал Бридо,— проявляет большую склонность к портретной живописи. Он был бы наверху блаженства, если бы вы, чародейка, разрешили ему запечатлеть на память о нашем пребывании здесь вашу прелестную головку.

Жозеф Бридо подмигнул Мистигри, словно говоря: «Да ну же, не плошай! Она недурна!» Поймав его взгляд, Леон де Лорá подсел на диван поближе к Эстель и взял ее за руку, чему она не воспротивилась.

— О сударыня, если бы ради того, чтобы сделать сюрприз вашему супругу, вы согласились несколько раз, тайно от него, позировать мне, я бы самого себя превзошел. Вы так прекрасны, так свежи, так очаровательны!.. Человек бездарный, и тот станет гением, если вы будете служить ему натурой... В ваших глазах столько...

— А потом мы изобразим на арабесках ваших милых деток,— сказал Жозеф, перебивая Мистигри.

— Я бы предпочла иметь их портрет у себя в гостиной; но, может быть, с моей стороны это нескромное желание,— подхватила она, строя глазки Жозефу.

— Сударыня, художники боготворят красоту, для них она владычица.

«Прелестные молодые люди»,— подумала г-жа Моро.

— Любите ли вы вечерние прогулки, после обеда, в экипаже, в лесу?..

— О! о! о! о! о! — вздыхал Мистигри от восторга при каждом слове.— Прэль будет для нас земным раем.

— И в этом раю будет Ева, молодая и очаровательная блондинка,— прибавил Бридо.

Госпожу Моро распирало от гордости. Она парила на седьмом небе, но тут ей пришлось спуститься на землю, как бумажному змею, когда его дернут за веревочку.

— Сударыня! — крикнула горничная, пулей влетая в комнату.

— Что это значит, Розали? Кто разрешил вам входить без зова?

Розали не обратила ни малейшего внимания на замечание и шепнула хозяйке:

— Его сиятельство приехали.

— Граф меня спрашивал?—осведомилась г-жа Моро.

— Нет... Но... граф спрашивает чемодан и ключи от своих апартаментов.

— Ну так дайте,— сказала Эстель раздраженно, стараясь скрыть свое смущение.

— Маменька, вот Оскар Юссон! — воскликнул ее младший сын, таща за собой красного, как пион, Оскара, который при виде расфранченных художников остановился, не решаясь двинуться с места.

— Ах, вот и ты, милый Оскар,— сказала Эстель, поджав губы.— Я полагаю, что ты переоденешься,— прибавила она, осмотрев его с ног до головы самым бесцеремонным образом.— Надеюсь, мать не приучила тебя обедать в гостях в таком затрапезном виде.

— Будущий дипломат должен знать, что *как оденешься, так и оценишься...*

— Будущий дипломат? — воскликнула г-жа Моро.

Бедный Оскар переводил взгляд с Жозефа на Мистигри, и на его глаза навертывались слезы.

— Дорожные шутки,— сказал Жозеф, из **жалости** стараясь выручить Оскара.

— Мальчик хотел поострить вроде нас и прихвастнул,— не унимался беспощадный Мистигри.— Вот теперь и *сидит как дурак на мели!*

— Сударыня,— сказала вновь появившаяся Розали.— Его сиятельство заказали обед на восемь персон; кушать они будут в шесть часов. Что прикажете готовить?

Пока Эстель совещалась со старшей горничной, художники и Оскар обменялись взглядами, в которых отразились их ужасные предчувствия.

— Его сиятельство! Кто это? — спросил Жозеф Бридо.

— Да это граф де Серизи,— ответил младший Моро.

— Уж не он ли ехал с нами в «кукушке»? — заметил Леон де Лора́.

— Что вы, граф де Серизи путешествует только в карете цугом,— сказал Оскар.

— Как приехал сюда граф де Серизи? — спросил художник г-жу Моро, когда она в полном расстройстве чувств вернулась в гостиную.

— Ничего не знаю,— ответила она,— сама не могу понять, каким образом и зачем приехал граф. И мужа как нарочно нет дома!

— Его сиятельство просят господина Шиннера в замок,— сказал вошедший садовник, обращаясь к Жозефу,— отобедать вместе с его сиятельством, а также и господина Мистигри.

— Влопались! — весело воскликнул «мазилка».— Оказывается, тот пассажир в пьеротеновской карете был не мещанин какой-то, а граф. Правильно говорят—*попался, который смеялся.*

Оскар чуть не обратился в соляной столб; при этом известии в горле у него запершило, как если бы он хлебнул морской воды.

— А вы-то ему рассказывали о поклонниках его жены и о его тайной болезни! — напомнил Мистигри Оскару. — Вот и выходит по поговорке: *не зная броду, не лезь на подводу.*

— Что вы имеете в виду? — воскликнула жена управляющего, глядя на художников, которые ушли, потешаясь над физиономией Оскара.

Остолбеневший и растерянный Оскар молчал, ничего не слыша и не понимая, хотя г-жа Моро сильно трясла его за руку и не отпускала, требуя ответа. Но ей пришлось оставить Оскара в покое, так ничего и не добившись, потому что Розали опять позвала ее, прося выдать столовое белье и серебро и присмотреть самой, как выполняются многочисленные распоряжения графа. Прислуга, садовники, привратник с женой— все суетились в смятении, вполне понятном. Хозяин свалился как снег на голову. От Кава он пошел по знакомой ему тропинке к сторожке и поспел туда задолго до Моро. Сторож был поражен, увидя настоящего хозяина.

— Значит, Моро здесь, раз здесь его лошадь? — спросил у него г-н де Серизи.

— Нет, ваше сиятельство; но ему надо до обеда побывать в Мулино, вот он и оставил здесь лошадь, а сам пока пошел в замок отдать кое-какие распоряжения.

Сторож не подозревал, какое значение имел его ответ, который при данных обстоятельствах для человека проницательного звучал как неопровержимое доказательство.

— Если ты дорожишь местом,— сказал граф сторожу,— садись на лошадь, мчись во весь опор в Бомон и передай господину Маргерону записку, которую я сейчас напишу.

Граф вошел в сторожку, написал несколько слов, сложил записку так, чтобы ее нельзя было развернуть незаметно, и отдал сторожу, когда тот уже сидел на лошади.

— Никому ни слова,— сказал он.— А если Моро удивится, не найдя здесь своей лошади, скажите, что это я ее взял,— прибавил он, обращаясь к жене сторожа.

И граф устремился в парк, калитку которого сейчас же отперли по его приказанию. Человек, самый привычный к политике, к ее волнениям и неудачам, если душа его достаточно молода, чтобы любить, даже в возрасте графа, страдает от измены. Г-ну де Серизи было так трудно поверить в подлость Моро, что в Сен-Брисе он склонен был считать его скорее жертвой дядюшки Леже и нотариуса, чем их сообщником. Поэтому во время разговора фермера с трактирщиком он все еще думал простить управляющего, задав ему хорошую головомойку. Странное дело! С той самой минуты, как Оскар рассказал о почетных недугах графа, вероломство его доверенного занимало этого неутомимого труженика, этого наполеоновского деятеля лишь как эпизод. Его тщательно хранимую тайну мог выдать лишь Моро, вероятно издевавшийся над своим благодетелем с бывшей горничной г-жи де Серизи или с бывшей Аспазией времен Директории. Уйдя в боковую аллею, этот пэр Франции, государственный муж, министр рыдал как ребенок. Он выплакал свои последние слезы! Он был так глубоко оскорблен во всех своих человеческих чувствах, что теперь, позабыв обычную сдержанность, шел по парку, разъяренный, как раненый зверь.

На вопрос Моро, где его лошадь, жена сторожа ответила:

— На ней уехали его сиятельство.

— Кто? Какое сиятельство? — воскликнул он.

— Его сиятельство граф де Серизи, наш хозяин,— сказала она.— Он, вероятно, в замке,— прибавила сторожиха, чтобы отделаться от управляющего, и тот в полном недоумении повернул к замку.

Однако вскоре Моро воротился, чтобы расспросить жену сторожа, так как, поразмыслив, понял, что для тайного приезда графа и странного его поведения должны быть серьезные причины. Жена сторожа испугалась, почувствовав себя как в тисках, боясь и графа и управляющего; она заперлась в сторожке, твердо решив не открывать никому до прихода мужа. Моро, беспокойство которого все возрастало, побежал, хоть и был в сапогах, в контору и там узнал, что граф переодевается. Попавшаяся ему навстречу Розали сказала:

— Его сиятельство пригласили к обеду семь человек...

Моро направился домой; по дороге он увидал свою птичницу, которая пререкалась с красивым молодым человеком.

— Граф сказали: «Адъютант генерала Мина, полковник!» — стояла на своем девушка.

— Я не полковник,— возражал Жорж.

— Ну, а звать-то вас как?

— Что случилось? — прервал их спор управляющий.

— Сударь, меня зовут Жорж Маре, я сын богатого оптовика, торгующего скобяным товаром на улице Сен-Мартен, и послан к графу по делу нотариусом Кроттà, у которого я служу младшим клерком.

— А я повторяю вам, сударь, что его сиятельство сказали мне: «Сюда явится полковник по имени Кара-Георгий, адъютант генерала Мина; он приехал с Пьеротеном, проводите его в приемную».

— С его сиятельством шутить не следует, сударь,— сказал управляющий.— Но как это его сиятельство не предупредили меня о своем приезде? И откуда граф узнал, что вас привез Пьеротен?

— По-видимому, граф и был тем пьеротеновским пассажиром, который, если бы не любезность одного молодого человека, ехал бы зайцем,— ответил клерк.

— Зайцем в пьеротеновской карете? — воскликнули в один голос управляющий и птичница.

— Судя по словам вашей девушки, это так,— сказал Жорж Маре.

— Но как же тогда?..— промолвил Моро.

— А вот как! — воскликнул Жорж.— Чтобы одурачить пассажиров, я наврал им с три короба про Египет, Грецию и Испанию. Я был в шпорах и выдал себя за кавалерийского полковника. Так, смеха ради.

— Ну-ка, расскажите, каков на вид пассажир, которого вы считаете графом? — спросил Моро.

— Лицо у него красное, как кирпич, волосы совершенно седые и черные брови.

— Так и есть, это он!

— Я пропал! — воскликнул Жорж Маре.

— Почему пропали?

— Я подшучивал над его орденами.

— Ничего, он человек добродушный, вы его, верно, только насмешили. Идемте скорее в замок,— сказал Моро.— Я пройду в апартаменты графа. Где вы расстались с его сиятельством?

— На самой горе.

— Я теряюсь в догадках! — воскликнул Моро.

«В конце концов я только пошутил, но ничем его не обидел»,— подумал Жорж.

— А вы по каким делам пожаловали? — спросил управляющий.

— Я привез заготовленную купчую на ферму Мулино.

— Господи боже мой, ничего не понимаю! — воскликнул управляющий.

Когда Моро постучал в дверь и услышал в ответ: «Это вы, господин Моро?» — сердце у него так и упало.

— Да, ваше сиятельство.

— Войдите!

Граф был в белых панталонах и изящных сапогах, в белом жилете и черном фраке, на котором с правой стороны сиял большой крест Почетного легиона, а в левой петлице висел на золотой цепочке орден Золотого Руна. На жилете выделялась голубая орденская лента. Граф причесался без посторонней помощи; он был при всех регалиях, по-видимому, для того, чтобы достойным образом принять Маргерона, а может быть, и для вящего величия.

— Так как же, сударь,— сказал граф, не вставая и не предлагая Моро сесть,— мы не можем заключить купчую с Маргероном?

— Сейчас он запросит за ферму слишком дорого.

— А почему бы ему не приехать сюда? — сказал граф, напуская на себя рассеянный вид.

— Он болен, ваше сиятельство...

— Вы в этом уверены?

— Я был у него...

— Милостивый государь,— сказал граф таким строгим тоном, что Моро испугался,— как бы вы поступили с доверенным человеком, если бы он с какой-то потаскушкой насмеялся над вашим недугом, который вы скрывали от посторонних и о котором он знал?

— Я бы избил его.

— А если бы, кроме того, вы узнали, что он обманул ваше доверие и обкрадывает вас?

— Я постарался бы поймать его с поличным и отправить на каторгу.

— Послушайте, господин Моро! По-видимому, вы судачили о моих болезнях у госпожи Клапар и там же, вместе с ней, высмеивали мою любовь к графине, ибо ее сын развлекал сегодня утром в моем присутствии пассажиров дилижанса, посвящая их во все подробности моего лечения, да еще осмелился клеветать на мою жену. Затем я узнал со слов самого дядюшки Леже, который возвращался из Парижа в карете Пьеротена, план, придуманный вами двумя вместе с бомонским нотариусом относительно фермы Мулино. И к господину Маргерону вы ездили только затем, чтоб предложить ему сказаться больным; но он не болен и приедет сюда к обеду. Ну, так вот, сударь, я прощал вам состояние в двести пятьдесят тысяч франков, накопленное за семнадцать лет... Это я понимаю. Если бы вы каждый раз просили у меня то, что брали самовольно, или то, что вам давали другие, я бы вам никогда не отказал: у вас семья. Я думаю, что при всей вашей бесцеремонности вы не так уж плохи, другой бы на вашем месте вел себя еще хуже. Но вы знали мои труды на пользу отечества, на пользу Франции, вы знали, что я не спал ночей ради императора, что я месяцами работал по восемнадцати часов в сутки; вы знали, как я люблю графиню, и вы проха-

живались на мой счет перед мальчишкой, выставляли на посмешище какой-то госпоже Юссон мои тайны, мою привязанность...

— Ваше сиятельство...

— Этому нет прощения. Нанести денежный ущерб — пустяки, но обидеть человека в его лучших чувствах... О, вы сами не понимаете, что вы наделали! — Граф подпер голову обеими руками и несколько мгновений молчал.— Я оставлю вам нажитое состояние и постараюсь позабыть вас,— продолжал он.— Из чувства собственного достоинства, ради себя и ради того, чтобы не обесчестить вас, мы расстанемся мирно; я не забыл, что ваш отец сделал для моего отца. Вы договоритесь, и по-хорошему, с господином де Ребером, который займет ваше место. Следуйте моему примеру, будьте сдержанны. Не выставляйте себя на посмешище глупцам. Главное — без дрязг и мелочности. Вы лишились моего доверия, постарайтесь же соблюсти приличие, как подобает людям состоятельным. А этого негодяя, что чуть не довел меня до смерти, вон из Прэля! Пусть переночует на постоялом дворе. Если я его увижу, я не отвечаю за себя.

— Ваше сиятельство, я не заслужил такого снисхождения,— сказал Моро со слезами на глазах.— Да, будь я совсем нечестным, я накопил бы уже тысяч пятьсот. Предлагаю отдать вам полный и самый подробный отчет в моем капитале. Но, ваше сиятельство, разрешите вам сказать, что я ни разу не позволил себе смеяться над вами у госпожи Клапар, наоборот, я всегда выражал глубокое сожаление по поводу состояния вашего здоровья и спрашивал ее, не знает ли она какого-нибудь неизвестного врачам народного средства... О ваших чувствах мы упоминали только тогда, когда сын ее уже спал (а он, значит, все слышал!) и всегда в самых почтительных и сочувственных выражениях. К несчастью, за нескромность несешь то же наказание, что и за преступление. Я покорно принимаю все последствия вашего справедливого гнева, но я хочу, чтобы вы знали, как было дело. Мы говорили о вас с госпожой Клапар в самой задушевной беседе. Спросите мою жену, с ней я никогда не говорил об этих вещах...

— Довольно, мы не дети,— прервал его граф, для которого все было ясно.— Решение мое бесповоротно. Сту-

пайте, приведите в порядок и свои и мои дела. Вы можете не выезжать до октября. Господина де Ребера с женою я помещу в замке; главное, постарайтесь жить с ними в ладу и соблюдать внешние приличия, как то подобает порядочным людям, даже когда они ненавидят друг друга.

Граф и Моро сошли вниз; Моро был бел, как седины графа, граф сохранял свое обычное достоинство.

Пока происходила эта сцена, у ограды парка остановился бомонский дилижанс, отбывающий из Парижа в час пополудни. С ним приехал нотариус Кротта́, которого, согласно распоряжению графа, провели в гостиную, где он встретил своего весьма сконфуженного клерка в компании двух художников, также очень смущенных взятыми на себя ролями. Сюда же пришел г-н де Ребер, угрюмый человек лет пятидесяти; его сопровождали старик Маргерон и бомонский нотариус с пачкой документов и ценных бумаг под мышкой. Когда в гостиной появился граф в парадном мундире, у Жоржа Маре засосало под ложечкой, Жозеф Бридо вздрогнул; только празднично одетый Мистигри, совесть которого была чиста, довольно громко изрек:

— В таком виде он куда лучше.

— Плутишка,— сказал граф, беря его за ухо,— мы с тобой коллеги: оба занимаемся украшением, ты — стен, а я — своей груди. Узнаете ли вы свои произведения, дорогой Шиннер? — спросил граф, указывая художнику на плафон.

— Ваше сиятельство, я сознаю, что напрасно выдал себя из хвастовства за прославленного художника; тем более чувствую я себя обязанным не ударить лицом в грязь и прославить имя Жозефа Бридо.

— Вы взяли меня под свою защиту,— перебил его граф,— и я надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии вместе с зубоскалом Мистигри отобедать у меня.

— Ваше сиятельство, вы и не подозреваете, на что вы идете,— сказал озорник.— *Голодное брюхо к учтивости глухо.*

— Бридо! — вдруг воскликнул граф, что-то вспомнив.— Не родственник ли вы одному из самых ревностных слуг Империи, начальнику дивизии, погибшему жертвой своего усердия?

— Я его сын, ваше сиятельство,— ответил Жозеф, поклонившись.

— Рад видеть вас у себя,— сказал граф, пожимая руку художнику.— Я знал вашего отца, и вы можете рассчитывать на меня, как на... американского дядюшку,— прибавил он, улыбнувшись.— Но вы еще слишком молоды, чтобы иметь учеников; чей ученик Мистигри?

— Моего друга Шиннера, который уступил его мне на время,— ответил Жозеф Бридо.— Его зовут Леон де Лора́. Ваше сиятельство, вы не забыли моего отца, соблаговолите же вспомнить о том из его сыновей, который обвинен сейчас в государственной измене и предстанет перед судом пэров...

— Да, верно! — сказал граф.— Я не забуду, можете быть спокойны. Ну, а вы, князь Кара-Георгиевич, друг Али-паши, адъютант генерала Мина...— сказал граф, подходя к Жоржу.

— Вы это о нем?.. Да ведь это мой младший клерк! — воскликнул Кротта́.

— Вы ошибаетесь, Кротта́,— строго сказал граф.— Клерк, рассчитывающий со временем стать нотариусом, не бросает важных документов в дилижансах на произвол судьбы. Клерк, рассчитывающий стать нотариусом, не тратит двадцать франков в трактирах между Парижем и Муаселем! Клерк, рассчитывающий стать нотариусом, не рискует своей свободой, рассказывая всем, что он перебежчик...

— Ваше сиятельство, я мог забавы ради дурачить пассажиров, но...— начал было Жорж Маре.

— Не прерывайте его сиятельство,— остановил его патрон, как следует ткнув в бок.

— Нотариус должен смолоду быть скромным, осторожным, проницательным и уметь разбираться, кто министр, а кто лавочник...

— Я признаю свою вину, но документов в дилижансе я не оставлял,— сказал Жорж.

— И сейчас вы опять виноваты, потому что опровергаете слова министра, пэра Франции, дворянина, старика и вашего клиента. Где у вас проект купчей?

Жорж перебрал все бумаги у себя в портфеле.

— Не мните зря бумаг,— сказал граф, доставая из кармана купчую,— вот документ, который вы ищете.

Кроттá трижды со всех сторон осмотрел купчую: он никак не ожидал, что получит ее из рук своего знатного клиента.

— Как же это, сударь?..— сказал наконец нотариус, обращаясь к Жоржу.

— Если бы я не взял купчую, она могла бы попасть в руки дядюшки Леже, и он догадался бы о моих планах, ведь он совсем не так прост, как вы думаете; вы решили, что он глуп, только потому, что он расспрашивал вас о сельском хозяйстве; наоборот, этим он лишь доказал, что всякому следует заниматься своим делом. Вас я тоже попрошу не отказать мне в удовольствии отобедать с нами, но с одним условием: вы расскажете нам о казни смирнского градоправителя и таким образом закончите воспоминания какого-то вашего клиента, которые вы, по-видимому, успели прочитать до их появления в печати.

— *Кому шутка, а кому жутко*,— шепнул Леон де Лора Жозефу Бридо.

— Господа,— сказал граф, обращаясь к бомонскому нотариусу, к Кроттá, к господам Маргерону и де Реберу,— приступим к делу; мы не сядем за стол, прежде чем не подпишем купчую; ибо, как говорит мой друг Мистигри, *не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня*.

— Граф, как видно, добродушный малый,— заметил Леон де Лора Жоржу Маре.

— Он-то, может, и добродушный, да мой патрон не таков! Как бы он не попросил меня продолжать мои шутки в другом месте.

— Что за важность, ведь вы любите путешествовать,— сказал Бридо.

— Ну и намылят же голову нашему юнцу господин Моро с супругой! — воскликнул Леон де Лора.

— Дурак мальчишка! — сказал Жорж.— Если бы не он, граф посмеялся бы, и только. Как бы там ни было, урок мы получили хороший. Нет, уж теперь я не стану распускать язык в дилижансе.

— Да, это слишком глупо,— сказал Жозеф Бридо.

— И не оригинально,— прибавил Мистигри.— А ведь *слово не воробей, выскочит,— пострадаешь*.

Пока г-н Маргерон и граф де Серизи в присутствии

своих нотариусов и г-на де Ребера подписывали купчую, бывший управляющий медленным шагом направился домой. Он вошел и, ничего не видя, сел на диван в гостиной, а Оскар забился подальше в угол, так напугала его мертвенная бледность его благодетеля.

— Что случилось, мой друг? — спросила, входя, Эстель; она уже устала от множества хлопот.— Что с тобой?

— Мы погибли, дорогая, погибли безвозвратно. Я уже не управляющий! Я лишился доверия графа!

— Как так?..

— От дядюшки Леже, который тоже ехал с Пьеротеном, граф узнал о моих планах относительно Мулино, но не это навсегда лишило меня его милостей...

— Так что же тогда?

— Оскар непочтительно говорил о графине и рассказывал о болезнях графа...

— Оскар? — воскликнула г-жа Моро.— Ну и поделом тебе! Что посеял, то и пожнешь! Стоило пригревать на груди этого змееныша! Сколько раз я тебе говорила!..

— Замолчи! — крикнул Моро не своим голосом.

В эту минуту супруги заметили Оскара, притаившегося в углу. Моро коршуном налетел на бедного юношу, схватил его за воротник зеленого сюртучка и подтащил к окну.

— Признавайся! Что ты рассказывал его сиятельству в дилижансе? Кто тебя за язык тянул, ведь на все мои вопросы ты обычно молчишь, как дурак! Зачем тебе это понадобилось? — спрашивал разъяренный управляющий.

Оскар был так напуган, что даже не плакал. Он остолбенел и не говорил ни слова.

— Иди проси прощения у его сиятельства! — сказал Моро.

— Да его сиятельству наплевать на такую мразь! — крикнула разъяренная Эстель.

— Ну! Идем в замок! — повторил Моро.

У Оскара подкосились ноги, и он, как мешок, упал на пол.

— Пойдешь ты или нет? — крикнул Моро, гнев которого возрастал с каждой минутой.

— Нет, нет! Пощадите! — взмолился Оскар, ибо для него такое наказание было хуже смерти.

Тогда Моро схватил Оскара за шиворот и поволок, словно мертвое тело, через двор, а бедняга Оскар оглашал воздух воплями и рыданиями; Моро втащил его на крыльцо и в порыве гнева швырнул в гостиную к ногам графа, который как раз закончил сделку и со всеми гостями направлялся в столовую.

— На колени! На колени, мерзавец! Моли прощения у того, кто дал тебе пищу духовную, исхлопотав стипендию в коллеже! — кричал Моро.

Оскар лежал, уткнувшись лицом в пол, и молчал в бессильной злобе. Все присутствующие трепетали. Лицо Моро, уже не владевшего собой, налилось кровью.

— В душе этого молодого человека нет ничего, кроме тщеславия,— сказал граф, тщетно прождав извинений Оскара.— Человек гордый умеет смиряться, ибо иногда в самоуничижении есть величие. Я очень боюсь, что вам не удастся сделать этого юношу человеком.

И граф вышел из комнаты. Моро опять схватил Оскара и увлек к себе. Пока закладывали коляску, он написал г-же Клапар следующее письмо:

«Дорогая моя, Оскар погубил меня. Во время сегодняшней поездки в почтовой карете Пьеротена он рассказывал его сиятельству, который путешествовал инкогнито, о легкомысленном поведении графини и сообщил, опять же самому его сиятельству, интимные подробности тяжелого недуга, которым тот страдает, так как истощил свои силы, выполняя столько служебных обязанностей и работая по ночам. Граф прогнал меня и приказал не оставлять Оскара в Прэле даже на ночь, а отправить его домой. Следуя его приказу, я велел заложить коляску жены, и мой кучер Брошон привезет вам этого дрянного мальчишку. Как вы сами понимаете, мы с женой в неописуемом отчаянии. На этих днях я навещу вас, потому что мне нужно принять какое-то решение. У меня трое детей, я должен подумать о будущем. И не знаю, на что решиться, ибо я намерен показать графу, чего стóят семнадцать лет жизни такого человека, как я. Сейчас у меня капитал в двести шестьдесят тысяч франков, я хочу нажить такое состояние, чтобы со време-

нем стать почти равным его сиятельству. Я чувствую в себе силы сдвинуть горы, преодолеть непреодолимые препятствия. Какой мощный рычаг такое унижение!.. Не знаю, что за кровь у Оскара в жилах! Нельзя поздравить вас с таким сыном, он ведет себя как дурак: до сих пор еще не произнес ни слова, не ответил ни на один вопрос ни жене, ни мне... Из него выйдет идиот, впрочем, он и сейчас уже идиот. Неужели, дорогой друг, вы не прочли ему наставления перед тем как отправить в путь? От какого несчастья вы избавили бы меня, если бы, как я вас просил, проводили его до замка! Вы могли бы выйти в Муаселе, если вас пугала встреча с Эстель. Теперь все кончено. До скорого свидания.

Ваш преданный слуга и друг
Моро».

В восемь часов вечера г-жа Клапар вернулась вместе с мужем с прогулки и, сидя дома, при свете единственной свечи, вязала Оскару теплые носки. Г-н Клапар поджидал приятеля, некоего Пуаре, который заходил к нему время от времени поиграть в домино, ибо г-н Клапар никогда не проводил вечеров в кафе. Несмотря на скудные средства, он не был уверен в своем благоразумии и не мог поручиться, что будет соблюдать умеренность среди такого обилия яств и питий, да еще в обществе завсегдатаев, которые, возможно, стали бы подзадоривать его насмешками.

— Боюсь, что Пуаре уже приходил,— заметил Клапар.

— Но, мой друг, привратница сказала бы,— ответила г-жа Клапар.

— Могла и позабыть!

— Ну, с какой стати ей забывать?

— Да с той стати, что ей уже не впервой забывать поручения для нас; с бедными людьми, сама знаешь, не считаются.

— Наконец-то Оскар в Прэле,— сказала несчастная женщина, чтобы переменить тему разговора и не слушать мелочных придирок Клапара,— в таком чудесном имении, в таком чудесном парке ему будет отлично.

— Да, жди от него хорошего,— ответил Клапар,— он непременно там чего-нибудь натворит.

— Вы вечно придираетесь к бедному мальчику! Что он вам сделал? Боже мой, если в один прекрасный день и придет конец нашей нужде, то, наверно, мы будем обязаны этим ему, у него доброе сердце...

— К тому времени, когда он чего-нибудь добьется, наши косточки уже истлеют! — воскликнул Клапар.— Разве что он другим человеком станет. Да вы собственного сына не знаете: он у вас хвастунишка, лгун, лентяй и бездельник...

— А что если бы вам пойти навстречу Пуаре? — сказала бедная мать, оскорбленная до глубины души нападками, которые сама же вызвала.

— Мальчишка за все время учения ни одной награды не получил,— не унимался Клапар.

По понятиям обывателей, награда за учение — верное доказательство блестящего будущего.

— Сами-то вы получали? — спросила жена.— А вот Оскар получил похвальный лист за философию.

После такого замечания Клапар приумолк, но ненадолго.

— Да и госпоже Моро он как бельмо на глазу! Уж она постарается натравить на него мужа. Чтобы Оскар стал прэльским управляющим, ишь чего захотели!.. Для этого надо и межевое дело понимать и в сельском хозяйстве разбираться.

— Научится.

— Он? Как же, держи карман шире! Готов биться об заклад, что если этот баловень там устроится, так уже через неделю натворит глупостей, и граф де Серизи выгонит его вон!

— Господи боже мой! Ну что вы заранее нападаете на бедного мальчика! У него столько достоинств,— добр как ангел, мухи не обидит!

В эту минуту щелканье кнута, стук колес и цоканье копыт остановившихся у ворот лошадей взбудоражили всю улицу Серизе. Клапар услышал, как кругом открываются окна, и вышел на площадку.

— Вашего Оскара привезли! — крикнул он, не на шутку встревоженный, несмотря на свое торжество.

— Господи боже мой! Что случилось? — воскликнула несчастная мать, дрожа, как лист, колеблемый осенним ветром.

Брошон подымался по лестнице, а следом за ним шли Оскар и Пуаре.

— Боже мой! Что случилось? — повторила мать, обращаясь к кучеру.

— Не знаю, только господин Моро уже не управляющий в Прэле; говорят, что по милости вашего сынка; его сиятельство приказали доставить мальчика домой. Вот вам письмо от господина Моро,— он, бедняга, так изменился, что смотреть страшно.

— Клапар, налейте вина кучеру и господину Пуаре,— распорядилась мать Оскара; она села в кресло и прочитала роковое письмо.—Оскар,—сказала она, с трудом дотащившись до кровати,— ты, верно, хочешь свести мать в могилу! Ведь я тебе еще сегодня утром наказывала...

Госпожа Клапар не договорила,— она лишилась чувств. Оскар молчал как пень. Г-жа Клапар очнулась от голоса своего мужа, который дергал Оскара за руку, говоря:

— Да ответишь ты наконец?

— Ступайте спать,— сказала она сыну.— А вы, господин Клапар, оставьте его в покое, вы его с ума сведете, на нем лица нет.

Оскар не дослушал того, что говорила г-жа Клапар. По первому же ее слову он отправился спать.

Всякий, кто помнит пору своей юности, не удивится тому, что Оскар, после пережитых в тот день событий и треволнений и совершенных им непоправимых ошибок, спал сном праведных. А на другое утро он убедился, что в мире все осталось по-прежнему, и с удивлением почувствовал голод, хотя накануне вообще не считал себя достойным жить на свете. Страдания, испытанные Оскаром, были страданиями нравственного порядка; а в этом возрасте подобные впечатления сменяются слишком быстро, и, как бы глубоко ни врезалось одно из них, последующее ослабляет его. Поэтому-то телесные наказания, против которых в последнее время особенно ратуют некоторые филантропы, для детей в иных случаях все же необходимы. Да они и естественны, ибо так же поступает и природа, пользуясь физической болью, чтобы запечатлеть надолго воспоминание о преподанных ею уроках. Если бы к тому стыду,— к сожалению, мимолетному,—который Оскар испытал накануне, управляющий прибавил физиче-

скую боль, может быть, полученный юношей урок и не пропал бы даром. Необходимость делать строгое различие между теми случаями, в каких следует применять телесные наказания и в каких не следует, и является главным доводом для возражений, ибо если природа никогда не ошибается, то воспитатель ошибается очень часто.

Утром г-жа Клапар постаралась выпроводить мужа, чтобы побыть наедине с сыном. Жалко было на нее смотреть. Затуманенный слезами взор, измученное бессонницей лицо, ослабевший голос — все в ней говорило о глубочайшем страдании, которого она вторично бы не перенесла, все взывало к милосердию. Увидев Оскара, она указала ему на стул подле себя и кротко, но проникновенно напомнила о благодеяниях прэльского управляющего. Она открыла сыну, что вот уже шесть лет, как живет почти исключительно щедротами Моро. Ведь службе, которой г-н Клапар обязан графу де Серизи, рано или поздно придет конец, как пришел конец половинной стипендии, с помощью которой Оскар получил образование. Клапар не может надеяться на отставку с пенсией, так как не выслужил ее ни в казначействе, ни в муниципалитете. А когда г-н Клапар лишится своего места, какая участь ожидает их всех?

— Что касается меня,— продолжала она,— то я найду способ заработать себе на хлеб и прокормить господина Клапара, даже если мне пришлось бы для этого поступить в сиделки или в экономки к богатым людям. Но ты,— обратилась она к Оскару,— что ты будешь делать? Состояния у тебя никакого нет, тебе придется еще сколачивать его. Для вас, молодых людей, существуют только четыре пути к успешной карьере: коммерция, государственная служба, юридические профессии и военное поприще. Но любой вид коммерции требует большого капитала, а у нас его нет. Если же нет капитала, то молодой человек должен возместить его рвением, талантом; притом в коммерции нужны особая сдержанность и скромность, а после твоего вчерашнего поведения трудно ожидать, чтобы ты им научился. Получить место чиновника можно только после долгой службы сверхштатным, и нужно иметь протекцию, ты же оттолкнул от себя нашего единственного покровителя да вдобавок еще весьма влиятельного. Если даже допустить, что ты одарен исключитель-

ными способностями, благодаря которым молодой человек может выдвинуться очень скоро как коммерсант или как чиновник, то где же взять денег, чтобы жить и одеваться, пока ты овладеешь одной из этих профессий?

И тут мать Оскара, как это свойственно женщинам, принялась изливать свое горе в многословных жалобах: как же она теперь жить будет без тех даяний натурой, которыми Моро благодаря своему месту управляющего мог поддерживать ее? Из-за Оскара их покровитель сам лишился всего! Помимо коммерции и администрации, о которых ее сыну и мечтать нечего, потому что она не может его содержать, есть еще юридические профессии — служба в нотариальной конторе, в суде, адвокатура. Но для этого надо сначала поступить на юридический факультет, проучиться три года и заплатить немалые деньги за лекции, экзамены, диссертации и дипломы. Вследствие большого числа желающих нужно выделиться особыми способностями, а затем все равно возникает вопрос: на какие средства он будет существовать?

— Оскар,— сказала она в заключение,— в тебе была вся моя гордость, вся моя жизнь. Я готова была примириться с нищетой, я возлагала на тебя все свои надежды, я уже видела, как ты делаешь блестящую карьеру, как ты преуспеваешь. Эта мечта давала мне мужество выносить лишения, на которые я в течение шести лет обрекала себя, чтобы поддерживать тебя в коллеже, где твое пребывание все-таки обходилось нам, несмотря на стипендию, в семьсот-восемьсот франков в год. Теперь, когда мои надежды рухнули, твоя будущность страшит меня. Ведь я не имею права тратить на сына ни одного су из жалованья господина Клапара. Что же ты будешь делать? Ты недостаточно силен в математике, чтобы поступить в военную школу, да и потом — где мне взять три тысячи франков, которые там требуются за содержание? Вот жизнь, как она есть, дитя мое! Тебе восемнадцать лет, ты физически силен, иди в солдаты,— это для тебя единственная возможность заработать кусок хлеба...

Оскар еще не знал жизни: подобно всем детям, которых лелеют, скрывая от них домашнюю нищету, он не понимал необходимости приобретать состояние; слово «коммерция» не вызывало у него никаких представлений, слово «администрация» и того меньше, ибо он не видел

вокруг себя никаких результатов этой деятельности. Вот почему он покорно слушал упреки матери, стараясь делать вид, что смущен, но ее увещевания пропадали зря. Однако мысль о том, что он станет солдатом, и слезы, то и дело выступавшие на глазах г-жи Клапар, довели наконец и этого юнца до слез. Она же, увидев, что сын плачет, совсем обессилела; и, как делают все матери в таких случаях, перешла к заключительной части своих наставлений, в которой сказались двойные страдания матери — и за себя и за своего ребенка.

— Послушай, Оскар, ну, обещай же мне в будущем быть сдержаннее, не болтать что попало, обуздывать свое глупое тщеславие, обещай мне... и т. д., и т. д.

Оскар обещал решительно все, чего требовала мать, и тут г-жа Клапар с нежностью привлекла его к себе и в конце концов поцеловала, чтобы утешить за то, что она его разбранила.

— А теперь,— сказала она,— ты будешь слушаться своей мамы, будешь следовать ее советам,— ведь мать может давать своему сыну только хорошие советы. Мы отправимся к дяде Кардо. Это наша последняя надежда. Кардо очень многим обязан твоему отцу, который, выдав за него свою сестру, мадемуазель Юссон, с огромным для того времени приданым, способствовал тому, что дядя нажил большое состояние на торговле шелком. Я думаю, что он устроит тебя к своему преемнику и зятю господину Камюзо на улице Бурдонне... Но, видишь ли, дело в том, что у дяди Кардо четверо детей. Он отдал свой торговый дом «Золотой кокон» в приданое старшей дочери, госпоже Камюзо. Камюзо нажил на этом деле миллионы, но у него тоже четверо детей от двух браков, а о нашем существовании он едва ли знает. Свою вторую дочь, Марианну, Кардо выдал за господина Протеса, владельца торгового дома «Протес и Шифревиль». Контора его старшего сына, нотариуса, обошлась в четыреста тысяч франков, а своего младшего сына, Жозефа Кардо, старик только что сделал компаньоном москательной фирмы Матифà. Поэтому у твоего дяди Кардо достаточно причин, чтобы не заниматься тобой, ведь он и видит-то тебя два-три раза в год. Он никогда не посещал нас здесь, хотя в свое время, когда ему нужно было добиться поставок для высочайших особ, для императора и его придворных,

он отлично знал, как найти меня у императрицы-матери. А теперь все Камюзо разыгрывают из себя ультрароялистов. Он женил сына своей первой жены на дочери чиновника королевской канцелярии. Верно говорится — от вечных поклонов горб растет. Словом, ловко сработано: «Золотой кокон» остался поставщиком двора при Бурбонах, как был при императоре. Итак, завтра мы пойдем к дяде Кардо; надеюсь, что ты будешь вести себя прилично, ибо, повторяю, он — наша последняя надежда.

Господин Жан-Жером-Северен Кардо вот уже шесть лет как схоронил жену, урожденную мадемуазель Юссон, за которой брат ее в годы своего процветания дал сто тысяч франков приданого. Кардо, старший приказчик «Золотого кокона», одной из старейших парижских фирм, приобрел ее в 1793 году, в тот момент, когда владельцы были разорены режимом максимума; приданое мадемуазель Юссон дало ему возможность за какие-нибудь десять лет нажить громадное состояние. Чтобы лучше обеспечить детей, старик придумал блестящий план — сделать пожизненный вклад в триста тысяч франков на свое имя и на имя жены, а это давало ему в год тридцать тысяч франков. Что касается его капиталов, то он разделил их на три части, по четыреста тысяч на каждого из троих детей. Камюзо же получил вместо денег в приданое за старшей дочерью Кардо «Золотой кокон». Таким образом, старик Кардо — ему было уже под семьдесят — мог тратить и тратил свои тридцать тысяч франков по своему усмотрению, не нанося ущерба детям; они уже успели сделаться богатыми людьми, и теперь Кардо мог не опасаться, что за их вниманием к нему кроются какие-либо корыстные помыслы. Старик Кардо жил в Бельвиле, в одном из домов, расположенных вблизи Куртиля. За тысячу франков он снимал квартиру во втором этаже, окнами на юг; из нее открывался широкий вид на долину Сены; в его исключительном пользовании был также примыкавший к дому большой сад; поэтому Кардо не чувствовал себя стесненным четырьмя остальными жильцами, обитавшими, кроме него, в этом поместительном загородном доме. Заключив договор на длительный срок, он рассчитывал окончить здесь свои дни и вел весьма скромное существование в обществе старой кухарки и бывшей гор-

ничной покойной г-жи Кардо; обе они надеялись получить после его смерти пенсию франков по шестисот и поэтому не обкрадывали его. Они изо всех сил старались угодить своему хозяину и делали это тем охотнее, что трудно было найти человека менее требовательного и менее придирчивого, чем он. Квартира, обставленная покойной г-жой Кардо, такой и оставалась вот уже шесть лет, и старик довольствовался этим. Он не тратил и тысячи экю в год, так как пять раз в неделю обедал в Париже и возвращался домой в полночь на постоянном извозчике, двор которого находился на окраине Куртиля. Таким образом, кухарке оставалось заботиться только о завтраке. Кардо завтракал в одиннадцать, затем одевался, опрыскивал себя духами и уезжал в Париж. Обычно люди предупреждают, когда не обедают дома. А папаша Кардо, наоборот, предупреждал, когда обедал.

Этот старичок, крепкий и коренастый, на нем всегда все было, как говорится, с иголочки: черные шелковые чулки, панталоны из пудесуа, белый пикейный жилет, ослепительно белая сорочка, василькового цвета фрак, лиловые шелковые перчатки, золотые пряжки на башмаках и панталонах, наконец чуть припудренные волосы и перехваченная черной лентой косица. Его лицо привлекало к себе внимание благодаря необыкновенно густым, кустистым бровям, под которыми искрились серые глазки, и совершенно квадратному носу, толстому и длинному, придававшему ему облик бывшего пребендария. И лицо это не обманывало. Папаша Кардо действительно принадлежал к породе тех игривых Жеронтов, которые в романах и комедиях XVIII века заменяли Тюркаре, а теперь с каждым днем встречаются все реже. Кардо обращался к женщинам не иначе как: «Очаровательница!» Он отвозил домой в экипаже тех из них, которые оставались без покровителя, с чисто рыцарской галантностью отдавая себя, как он говорил, «в их распоряжение». Несмотря на внешнее спокойствие, на убеленное сединами чело, он проводил старость в погоне за наслаждениями. В обществе мужчин он смело проповедовал эпикурейство и позволял себе весьма рискованные вольности. Он не возмущался тем, что его зять начал ухаживать за очаровательной актрисой Королй, ибо сам содержал мадемуазель Флорентину, прима-балерину театра Гетэ. Но ни на его семье, ни на

его поведении эти взгляды и образ жизни не отражались. Старик Кардо, вежливый и сдержанный, считался человеком даже холодным; он настолько подчеркивал свое добронравие, что женщина благочестивая, пожалуй, назвала бы его лицемером. Этот достойный старец особенно ненавидел духовенство, так как принадлежал к огромному стаду глупцов, выписывающих «Конституционель», и чрезвычайно интересовался «отказами в погребении». Он обожал Вольтера, хотя все же предпочитал ему Пирона, Вадэ, Колле. И разумеется, восхищался Беранже, которого не без остроумия называл «жрецом религии Лизетты». Его дочери — г-жа Камюзо и г-жа Протес, а также сыновья, по народному выражению, словно с луны свалились бы, если бы кто-нибудь объяснил им, что разумеет их отец под словами: «воспеть Мамашу Годишон». Благоразумный старец и словом не обмолвился перед детьми о своей пожизненной ренте, и они, видя, как скромно, почти бедно он живет, воображали, будто отец отдал им все свое состояние, и тем нежнее и заботливее относились к нему. А он иной раз говаривал сыновьям:

— Смотрите, не растратьте свой капитал, мне ведь больше нечего вам оставить.

Только Камюзо, в характере которого старик находил большое сходство с собой и которого любил настолько, что даже делился с ним своими хитростями и секретами, был посвящен в тайну этой пожизненной ренты в тридцать тысяч ливров. Камюзо чрезвычайно одобрял житейскую философию старика, считая, что, осчастливив своих детей и столь благородно выполнив отцовский долг, тесть имеет бесспорное и полное право весело доживать свой век.

— Видишь ли, друг мой,— говорил ему бывший владелец «Золотого кокона»,— я ведь мог еще раз жениться, не так ли? Молодая жена подарила бы мне детей... Да, у меня были бы дети, я находился еще в том возрасте, когда они обычно бывают... Так вот! Флорентина стоит мне дешевле, чем обошлась бы жена; она не надоедает мне, она не наградит меня детьми и никогда не растратит моих денег.

Камюзо утверждал, что папаша Кардо — образцовый семьянин; он считал его идеалом тестя.

— Старик умеет,— говорил зять,— сочетать интере-

сы своих детей с удовольствиями, которые естественно вкушать хотя бы в старости, после всех треволнений, связанных с коммерцией.

Ни се́мьи Кардо, ни чета Камюзо, ни Протесы не подозревали о том, что у них есть старая тетка — г-жа Клапар. Родственные связи между Кардо и матерью Оскара сводились к присылке приглашений на похороны или свадьбу и к обмену поздравительными карточками на Новый год. Г-жа Клапар была горда и поступалась своими чувствами только ради Оскара и ради дружбы с Моро, единственным человеком, оставшимся ей верным в несчастье. Она не докучала старику Кардо ни посещениями, ни какими-либо просьбами; но она считала его своей последней надеждой, навещала его четыре раза в год, рассказывала об Оскаре Юссоне, племяннике покойной достоуважаемой г-жи Кардо, да приводила сына к дяде раза три во время каникул. И старик неизменно угощал Оскара обедом в «Голубом циферблате», водил вечером в Гетэ и привозил обратно на улицу Серизе. Однажды Кардо одел его с головы до ног и подарил мальчику серебряный стаканчик и столовый прибор, которые должен иметь при себе каждый поступающий в коллеж. Мать Оскара уверяла старика, что племянник его обожает; она пользовалась каждым случаем, чтобы напомнить дяде о его великодушии — о стаканчике, о приборе и о прелестном костюме, от которого уцелел теперь только жилет. Но эти маленькие хитрости, вместо того, чтобы достигать цели, только вредили Оскару в глазах столь матерого лиса, каким был его дядя. Кардо никогда особенно не любил свою покойную жену, долговязую, сухопарую рыжую женщину; ему были известны и те обстоятельства, при которых покойный Юссон женился на матери Оскара, и то, что Оскар родился значительно позже, чем умер Юссон; и хотя он отнюдь ее за это не презирал, но считал бедного племянника для семейства Кардо совершенно чужим. Не ожидая обрушившегося на нее несчастья, г-жа Клапар не позаботилась о том, чтобы своевременно восполнить это отсутствие кровного родства, внушив коммерсанту расположение к Оскару с его младенчества. Подобно всем женщинам, поглощенным только своим материнством, г-жа Клапар не подумала поставить себя на место дяди Кардо; она воображала, что

старик должен глубоко интересоваться таким прелестным ребенком, носящим к тому же девичью фамилию покойной г-жи Кардо.

— Там пришла мать Оскара, вашего племянника, сударь,— доложила горничная г-ну Кардо, который, ожидая завтрака, вышел в сад после того, как парикмахер побрил и напудрил его.

— Здравствуйте, очаровательница,— приветствовал бывший торговец шелком г-жу Клапар, запахнувшись в свой белый пикейный халат.— Так! Так! А мальчуган-то растет,— добавил он, потянув Оскара за ухо.

— Он окончил учение и очень жалеет, что вы, дорогой дядя, не присутствовали при раздаче наград. Оскар тоже получил награду. Имя Юссонов, которое он, надеюсь, будет носить с честью, также удостоилось упоминания...

— Ну! Ну!— пробормотал старичок, останавливаясь. Они прогуливались по террасе, уставленной миртами, апельсинными и гранатовыми деревьями.— А что же он получил?

— Похвальный лист за философию,— торжествующе ответила мать.

— О! Нашему молодчику надо будет потрудиться, чтобы нагнать упущенное! — воскликнул дядя Кардо.— Кончить с похвальным листом? Это не бог весть что! Вы позавтракаете у меня? — спросил он.

— Как прикажете,— отозвалась г-жа Клапар.— Ах, дорогой господин Кардо! Какое утешение для родителей, когда их дети с успехом делают первые шаги в жизни! В этом отношении, да и во всех прочих,— спохватилась она,— вы один из самых счастливых отцов, каких я знаю... Под началом вашего достойного зятя и вашей любезной дочери «Золотой кокон» продолжает занимать первое место среди парижских торговых домов. Ваш старший сын вот уже десять лет как стоит во главе лучшей нотариальной конторы в столице и взял невесту с большим приданым. Ваш младший стал компаньоном самых богатых москательщиков. У вас наконец прелестные внучки. Вы стали главой четырех больших семейств... Оставь нас, Оскар, пройдись по саду, только цветов не трогай!

— Но ведь ему уже восемнадцать лет,— заметил Кар-

до, улыбнувшись тому, что мать предостерегает сына, как маленького.

— Увы, да, дорогой господин Кардо! И если я уж довела его до этих лет и он вышел не урод, а здоровый душой и телом, если я всем пожертвовала, чтобы дать ему образование, то было бы слишком тяжело не увидеть его на пути к успеху.

— Но ведь господин Моро, благодаря которому вы получали в коллеже Генриха Четвертого полстипендии, наверно, поможет ему стать на хорошую дорогу? — отозвался Кардо с лицемерным простодушием.

— Господин Моро может и умереть,— возразила гостья,— и, кроме того, он окончательно рассорился со своим хозяином, графом де Серизи.

— Вот как! Вот как! Послушайте, сударыня, я вижу, что вы хотите...

— Нет, сударь,— решительно остановила она старика, а тот из уважения к «очаровательнице» сдержал раздражение, которое всегда испытывают люди, когда их прерывают.— Увы! Вы и понятия не имеете о переживаниях матери, вынужденной в течение семи лет урывать для своего сына шестьсот франков в год из тех тысячи восьмисот, которые получает ее муж... Да, сударь, это жалованье — все наше достояние. Что же могу я сделать для моего Оскара? Господин Клапар до того ненавидит бедного мальчика, что я не могу держать его дома. И разве при таких обстоятельствах не прямой долг бедной, одинокой женщины прийти и посоветоваться с единственным родственником, который есть у ее сына на земле?

— И хорошо сделали, что пришли,— ответил старец.— Но вы никогда не говорили мне обо всем этом.

— Ах, сударь,— с достоинством продолжала г-жа Клапар,— вы последний, кому бы я созналась в своей нищете. Я сама во всем виновата, вышла замуж за человека, бездарность которого превосходит всякое воображение. О! Я так несчастна!..

— Слушайте, сударыня, не надо плакать,— серьезно сказал старичок.— Мне ужасно тяжело видеть слезы такой красавицы... В конце концов ваш сын носит фамилию Юссон, и если бы моя дорогая покойница была жива, она, наверное, чем-нибудь помогла бы тому, кто носит имя ее отца и брата...

— А как она любила своего брата! — воскликнула мать Оскара.

— Но все свое состояние я роздал детям, им больше нечего ждать от меня,— продолжал старик,— я поделил между ними те два миллиона, которые у меня были, так как хотел видеть их еще при своей жизни счастливыми и богатыми. Себе я оставил только пожизненную ренту, а в мои годы люди дорожат своими привычками... Знаете, какую дорогу следует избрать нашему юноше? — сказал он, подзывая Оскара и беря его за локоть.— Пусть он изучит право, я оплачу лекции и расходы по диссертации. Пусть поступит к адвокату, чтобы усвоить все судебное крючкотворство, и, если дело пойдет на лад, если он выдвинется, если полюбит свою профессию и если я еще буду жив, каждый из моих четырех детей, когда нужно будет, даст ему денег и поможет устроиться самостоятельно, а я одолжу ему нужную сумму для залога Таким образом, вам надо будет все это время только кормить его и одевать; правда, ему придется туговато, зато он по крайней мере узнает жизнь. Не беда! Сам я отправился из Лиона всего с двумя луидорами в кармане, которые мне дала бабушка; я пришел в Париж пешком, и вот — видите! Поголодать полезно для здоровья. Помни, молодой человек: скромность, честность, трудолюбие — и ты добьешься успеха. Зарабатывать капитал очень приятно, и если у человека сохранились зубы, в старости его проедаешь со вкусом, распевая время от времени «Мамашу Годишон»! Итак, запомни: честность, трудолюбие, скромность!

— Слышишь, Оскар? — сказала мать.— Дядя в трех словах выразил все то, что я тебе говорила, и ты бы должен огненными буквами запечатлеть это в своей памяти...

— Я уже запечатлел,— ответил Оскар

— Ну, так благодари же дядю! Ты ведь слышал, он берет на себя заботу о твоем будущем. Ты можешь стать стряпчим в Париже.

— Он еще не понимает величия предстоящей ему судьбы,— заметил старичок, глядя на придурковатого Оскара,— ведь он только что со школьной скамьи. Послушай меня, я не люблю болтать попусту: честным остается только тот, кто находит в себе силу противиться соблазнам, а в таком большом городе, как Париж, они подсте-

регают человека на каждом шагу. Живи у матери, в мансарде; иди прямо на лекции, оттуда — прямо в контору, трудись с утра до ночи, занимайся дома, у матери; сделайся в двадцать два года вторым клерком, в двадцать четыре — первым, приобрети знания — и твое дело в шляпе. Ну, а если адвокатура тебе не понравится, ты можешь поступить в контору к моему сыну — нотариусу и со временем стать его преемником... Итак, труд, терпение, скромность, честность — вот твой девиз.

— И дай вам бог прожить еще тридцать лет, чтобы видеть, как ваш пятый ребенок достигнет всего, чего мы ждем от него! — воскликнула г-жа Клапар, беря дядю Кардо за руку и сжимая ее с пылом, достойным ее былой молодости.

— А теперь пойдемте завтракать,— сказал добрый старичок и, взяв Оскара за ухо, потянул к столу.

Во время завтрака Кардо незаметно наблюдал за племянником и убедился, что Оскар — совсем неопытный юнец.

— Присылайте его ко мне время от времени,— сказал он, прощаясь с г-жой Клапар и указывая на Оскара,— я им займусь.

Это посещение утешило бедную женщину в ее горестях, потому что она и надеяться не смела на такой успех. В течение двух недель она водила Оскара гулять, тиранила его своим постоянным надзором, и так они дожили до конца октября. Однажды утром в их убогую квартиру на улице Серизе, к ужасу Оскара, явился бывший управляющий и застал семейство за завтраком, состоявшим из селедки с салатом и чашки молока на десерт.

— Мы обосновались в Париже и живем уже не так, как в Прэле,— сказал Моро, желая этим подчеркнуть г-же Клапар перемену в их отношениях, вызванную проступком Оскара,— но я пробуду здесь недолго. Я вошел в компанию с дядюшкой Леже и папашей Маргероном из Бомона. Мы перепродаем поместья и начали с того, что приобрели поместье Персан. Я — глава этой компании; мы располагаем капиталом в один миллион, так как я занял денег под свою недвижимость. Когда я нахожу выгодное имение, мы с дядюшкой Леже осматриваем его; мои компаньоны получают по одной чет-

вертой части прибыли, а я половину, так как все хлопоты — мои; поэтому мне придется постоянно быть в разъездах. Жена живет в Париже в предместье Руль, весьма скромно. Когда мы кое-что реализуем и будем рисковать только прибылями,— и если Оскар будет хорошо вести себя,— мы, пожалуй, возьмем его к себе на службу.

— А знаете, мой друг, ведь катастрофа, вызванная легкомыслием моего несчастного мальчика, вероятно, даст вам возможность нажить огромное состояние, а в Прэле вы, право же, зарывали в землю свои таланты и энергию...

Затем г-жа Клапар рассказала о визите к дяде Кардо, желая показать Моро, что они с сыном могут уже обойтись без его помощи.

— Старик прав,— продолжал бывший управляющий,— Оскара нужно крепко держать в руках, и малый, конечно, сделается нотариусом или стряпчим. Только бы он не сбился с этой дорожки. Знаете что? Посреднику по продаже поместий часто приходится иметь дело с судом, и мне на днях рекомендовали поверенного, который только что купил одно лишь звание, то есть контору без клиентуры. Этот молодой человек — настоящий кремень, работать может, как лошадь, энергии неукротимой; его фамилия Дерош, я предложу ему вести все наши дела, с условием, чтобы он вышколил Оскара. Пусть этот Дерош возьмет за него девятьсот франков в год, я заплачу из них триста, так что ваш сын обойдется вам всего в шестьсот франков; я дам о нем самый лучший отзыв. Если малый действительно хочет стать человеком, он достигнет этого только под такой ферулой; оттуда он наверняка выйдет нотариусом, адвокатом или стряпчим.

— Ну, Оскар, благодари же добрейшего господина Моро; что стоишь как пень? Не всякий молодой человек, натворивший глупостей, имеет счастье встретить друзей, которые, хоть и пострадали из-за него, все-таки еще о нем заботятся...

— Лучший способ со мной помириться,— сказал Моро, пожимая руку Оскару,— это работать с неутомимым прилежанием и хорошо вести себя...

Через десять дней бывший управляющий представил

Оскара г-ну Дерошу, стряпчему, недавно снявшему на улице Бетизи, в конце тесного двора, большое помещение, по весьма сходной цене. Дерош, молодой человек двадцати шести лет, сын бедных родителей, воспитанный в строгости необычайно суровым отцом, сам побывал в таком же положении, что и Оскар; поэтому он принял участие в юноше, но скрыл это под личиной привычной сдержанности. При виде этого молодого человека, сухого и тощего, с тусклым цветом лица, подстриженного ежиком, с отрывистой речью, пронизывающим взглядом и выражением угрюмой решительности, бедный Оскар до смерти испугался.

— Здесь работают день и ночь,— заявил поверенный, сидевший в глубоком кресле за длинным столом, загроможденным ворохами бумаг. — Не бойтесь, господин Моро, мы его не съедим, но идти ему придется с нами в ногу. Господин Годешаль! — крикнул он.

Хотя было воскресенье, старший клерк тут же явился с пером в руке.

— Господин Годешаль, вот ученик, о котором я вам говорил; господин Моро принимает в нем живейшее участие; обедать он будет с нами, жить — в маленькой мансарде рядом с вашей комнатой; вы точно высчитайте, сколько ему нужно времени на дорогу до Юридической школы и обратно, чтобы он не терял ни минуты; позаботьтесь о том, чтобы он досконально изучал свод законов и хорошенько усваивал лекции — то есть по окончании занятий в конторе пусть он читает юридические книги: словом, он должен находиться под вашим непосредственным руководством, проверять буду я сам. К тому дню, когда он будет принимать присягу, его хотят сделать тем, чем вы сами себя сделали: опытным старшим клерком. Идите за Годешалем, дружок, он вам покажет вашу комнату, и можете переезжать... Видите Годешаля? — продолжал Дерош, обращаясь к Моро. — У этого молодого человека, как и у меня, ничего нет: он брат Мариетты, знаменитой танцовщицы, которая откладывает деньги, чтобы он мог через десять лет устроиться самостоятельно, и все мои клерки такие — если они хотят сколотить себе состояние, им приходится рассчитывать только на собственные силы. Поэтому мои пять помощников и я сам работаем за десятерых.

Через несколько лет у меня будет лучшая клиентура во всем Париже. Здесь и к делам и к клиентам относятся с жаром. И молва об этом уже идет. Я переманил Годешаля от своего коллеги Дервиля, где тот был вторым клерком, да и то всего две недели; но мы узнали друг друга в этой большой конторе. У меня Годешаль получает тысячу франков, стол и квартиру. И я дорожу этим малым — он неутомим! Я люблю его! Он ухитрялся существовать на шестьсот франков, как и я, когда был клерком. Главное, чего я требую,— это безупречной честности; а кто умеет быть честным в бедности, тот настоящий человек; при малейшем отступлении от этого требования любой клерк сейчас же вылетит из моей конторы.

— Ну, мальчишка в надежных руках,— сказал Моро.

В течение двух лет Оскар прожил на улице Бетизи в самом горниле крючкотворства, ибо, если это старомодное выражение применимо к нотариальной конторе, то именно к конторе Дероша. Под его руководством, бдительным и искусным, время Оскара было так строго распределено между работой и учением, что, живя в самом центре Парижа, он жил монахом.

Годешаль вставал и зимой и летом в пять часов. Он спускался с Оскаром в контору (зимой — чтобы экономить топливо), и они всегда заставали патрона уже за работой. Оскар, кроме занятий в конторе, готовил уроки для школы, причем готовил их весьма тщательно. Годешаль, а нередко и сам патрон указывали своему ученику сочинения, с которыми следовало ознакомиться, и те трудности, которые нужно было преодолеть. Оскар расставался с какой-нибудь статьей закона, лишь тщательно изучив ее и удовлетворив своими познаниями и патрона и Годешаля, ибо они заставляли его как бы сдавать им предварительные экзамены, гораздо более трудные и длительные, чем предстоявшие ему в Юридической школе. Вернувшись с лекций, отнимавших у него не так много времени, он садился опять на свое место за конторским столом, опять работал или шел в суд — словом, находился до обеда в распоряжении неумолимого Годешаля. Обед — а обедал Оскар за хозяйским столом — состоял из большого куска мяса, овощей и салата. На

десерт подавался только грюйерский сыр. После обеда Годешаль и Оскар возвращались в контору и занимались до вечера. Раз в месяц Оскар завтракал у своего дяди Кардо, а воскресенья проводил у матери. Время от времени, когда Моро приезжал по делам в контору, он брал Оскара с собой обедать в Пале-Рояль, а затем угощал его каким-нибудь спектаклем. Годешаль и Дерош дали такой отпор робким притязаниям Оскара на элегантность, что тот и думать перестал о нарядах.

— У хорошего клерка,— говорил Годешаль,— должно быть два черных фрака — старый и новый, черные панталоны, черные чулки и башмаки. Сапоги слишком дороги. Сапоги можно носить только, когда станешь стряпчим. Клерк никак не должен тратить больше семисот франков в год. Сорочки должны быть из крепкого грубого полотна. Увы! Когда начинаешь карьеру без гроша в кармане, а хочешь нажить состояние, надо уметь ограничиваться самым необходимым! Вот господин Дерош! Он начал с того же, что и мы, и все-таки своего добился!

Годешаль во всем подавал пример. Он проповедовал принципы самой высокой морали: скромность, честность—и сам неуклонно следовал им в жизни, притом без всякой шумихи, так же естественно, как он ходил, дышал. Это было как бы естественной функцией его существа, как ходьба и дыхание являются естественными функциями организма. Спустя полтора года после поступления Оскара в контору у второго клерка при подсчете кассы вторично оказалась маленькая неточность. Годешаль заявил ему в присутствии всех служащих:

— Милый Годэ, берите-ка расчет по собственному желанию, не то будут говорить, что вас уволил патрон. Вы или рассеяны, или неаккуратны, а ни один из этих пороков даже в малейшей степени здесь недопустим. Патрон ничего об этом не узнает — вот все, что я могу сделать для вас как товарищ.

В двадцать лет Оскар был третьим клерком в конторе мэтра Дероша. Жалованья ему еще не платили, но он получал стол и квартиру, так как исполнял обязанности второго клерка: у Дероша было два первых клерка, поэтому второй клерк был завален работой. К концу второго года своего пребывания в Юридической школе

Оскар, уже гораздо более сведущий, чем многие лиценциаты, умел разбираться в процессуальных тонкостях и выступал в суде по некоторым мелким тяжбам. Словом, Годешаль и Дерош были им довольны. Он стал почти благоразумным, но все-таки в нем проглядывала жажда удовольствий и желание блистать, хотя они и подавлялись суровой дисциплиной и усиленным трудом. Посредник по продаже имений, довольный успехами клерка, сменил гнев на милость. Когда в июле 1825 года Оскар отлично сдал последние экзамены, Моро снабдил его деньгами, чтобы он мог хорошо одеться. Г-жа Клапар, счастливая и гордая своим сыном, готовила роскошное приданое будущему лиценциату, будущему второму клерку. В бедных семьях подарок всегда представляет собой нечто полезное. В ноябре, после каникул, Оскар получил комнату второго клерка, которого он наконец заменил официально, восемьсот франков жалованья, стол и квартиру. И дядя Кардо, который тайком явился к Дерошу, чтобы узнать о своем племяннике, обещал г-же Клапар дать Оскару возможность, если он будет так вести себя и впредь, обзавестись со временем собственной конторой.

Несмотря на столь благонамеренную видимость, Оскар Юссон вел втайне тяжелую борьбу с самим собой. Минутами ему хотелось просто бросить эту жизнь, столь противоречившую его вкусам и склонностям. Он считал, что каторжники и те счастливее. Задыхаясь в ярме железного режима, он невольно сравнивал себя с нарядно одетыми молодыми людьми, которых встречал на улице, и мечтал бежать отсюда. Нередко он готов был поддаться безумному влечению к женщинам, однако смирялся; порой его охватывало глубокое отвращение к жизни. Поддерживаемый примером Годешаля, он, скорее под его влиянием, чем по собственной воле, оставался верен своему суровому пути. Годешаль, наблюдавший за Оскаром, считал своей обязанностью ограждать своего ученика от искушений. Чаще всего у молодого Юссона вовсе не было денег или было так мало, что он не мог позволить себе никаких излишеств. За последний год добрый Годешаль раз пять — шесть давал Оскару возможность развлечься и при этом платил за него; он понимал, что иногда надо ослаблять тугую узду молодого

коня. Эти кутежи, как их сурово называл первый клерк, помогали Оскару выносить трудности: ведь, бывая у дяди Кардо, он только скучал и еще больше скучал у матери, которая жила даже беднее, чем Дерош. Моро не умел, как Годешаль, подойти к Оскару, и, может быть, этот искренний покровитель молодого Юссона пользовался Годешалем, чтобы посвятить бедного мальчика в тайны жизни. Оскар, научившись скромности и ознакомившись со множеством судебных дел, наконец понял всю серьезность проступка, совершенного им во время рокового путешествия в «кукушке»; и все-таки затаенные пылкие мечтания и безрассудство юности могли сбить его с пути. Однако, по мере того как он узнавал жизнь и ее законы, его разум созревал, и Моро уже льстил себя надеждой, что ему удастся сделать из сына г-жи Клапар порядочного человека, если только Годешаль не перестанет руководить им.

— Ну как он? — спросил посредник, вернувшись из поездки, задержавшей его на несколько месяцев вдали от Парижа.

— По-прежнему слишком тщеславен,— отозвался Годешаль. — Вы дарите ему щегольское платье и тонкое белье, у него жабо, как у биржевого маклера, и наш повеса отправляется по воскресным дням в Тюильри искать приключений. Но что поделаешь? Молодость. Он пристает ко мне, чтобы я представил его моей сестре; у нее собирается веселое общество: актрисы, балерины, щеголи, кутилы, прожигающие жизнь... Боюсь, что голова его занята вовсе не адвокатурой. А вместе с тем он недурно говорит и уже теперь мог бы сделаться адвокатом и выступать в суде по тем делам, которые тщательно подготовлены.

В ноябре 1825 года, когда Оскар перешел на новую должность и собирался защищать диссертацию на звание лиценциата, к Дерошу поступил новый, четвертый клерк, на вакантную должность, открывшуюся вследствие повышения Оскара.

Этот четвертый клерк, Фредерик Маре, готовился к судейскому поприщу и был на третьем курсе Юридической школы. По сведениям, полученным конторой Дероша, двадцатитрехлетний красавец-юноша был сыном некоей г-жи Маре, вдовы богатого лесоторговца, и после

смерти дяди-холостяка располагал двенадцатью тысячами годового дохода. Будущий прокурор, движимый весьма похвальным желанием знать свою профессию до мельчайших деталей, поступил к Дерошу, чтобы изучить судопроизводство и через два года занять место первого клерка. Он надеялся пройти адвокатский стаж в Париже, чтобы подготовиться к предстоящей должности, в которой едва ли откажут богатому молодому человеку. Стать в тридцать лет прокурором в каком-либо суде — было пределом его честолюбивых мечтаний. Фредерик был двоюродным братом Жоржа Маре, но так как мистификатор, некогда сидевший рядом с Оскаром в «кукушке», сообщил тогда свою фамилию только г-ну Моро, а молодой Юссон знал лишь его имя,— появление Фредерика в конторе не пробудило у Оскара решительно никаких воспоминаний.

— Господа,— сказал за завтраком Годешаль, обращаясь ко всем клеркам,— у нас в конторе будет новый ученик; и так как он несметно богат, то, надеюсь, мы заставим его по случаю поступления к нам раскошелиться на знатную пирушку...

— Отлично, давайте книгу записей,— провозгласил Оскар, глядя на младшего клерка,— и поговорим серьезно!

Младший клерк, словно белка, вскарабкался по полкам с делами; когда он снял с верхней полки одну из регистрационных книг, его так и осыпало хлопьями пыли.

— Ну и запылилась! — сказал младший клерк, показывая книгу.

Поясним сначала, в силу какого обычая в большинстве нотариальных контор велась такая книга. «Что может быть лучше завтрака клерков, обеда откупщиков и ужина вельмож» — эта старинная поговорка, сложившаяся еще в восемнадцатом столетии, сохранила значение в судейском сословии и до сих пор; это хорошо известно всем, кто, изучая судопроизводство, прокорпел два-три года у стряпчего или в конторе нотариуса. Клерки, которым приходится так много работать, тем более любят повеселиться, что это им удается крайне редко; но особенное наслаждение доставляет клеркам всякая мистификация. Этим же можно до известной степени объ-

яснить и поведение Жоржа Маре в карете Пьеротена. Даже самый угрюмый клерк всегда ощущает потребность позубоскалить или устроить какую-нибудь веселую проделку. И ловкость, с какою в среде клерков инстинктивно подхватывают и развивают любую мистификацию или шутку, просто удивительна; нечто подобное можно найти только у художников. В этом отношении мастерская и контора превосходят среду актеров. Покупая контору без клиентов, Дерош как бы основывал новую династию. И это внесло перерыв в выполнение того ритуала, которым обычно сопровождается прием нового клерка. Сняв помещение, где еще никто никогда не строчил на гербовой бумаге, Дерош поставил там новые столы и разложил новешенькие белые папки с синими корешками. В его конторе собрались служащие, взятые из других контор, ничем между собой не связанные и, так сказать, удивленные тем, что оказались вместе. Но Годешаль, получивший свое первое боевое крещение у мэтра Дервиля, был не из тех, кто позволил бы себе нарушить славную традицию. Этой традицией является завтрак, которым новичок обязан угостить старших товарищей. И вот, при поступлении Оскара в контору, через полгода после того, как Дерош в ней обосновался, в один зимний вечер, когда работу закончили пораньше и служащие грелись у огня перед выходом на улицу, Годешаль предложил смастерить некую книгу записей, куда заносились бы пиршества судейской братии,— книгу якобы древнейшего происхождения, случайно спасенную во время революции и будто бы полученную Дерошем от Бордена, прокурора Шатле, одного из предшественников стряпчего Сованье, у которого Дерош купил контору. Начали с того, что разыскали в антикварной лавке какую-то книгу для записей с водяными знаками восемнадцатого века, в красивом и внушительном пергаментном переплете, на котором был написан приговор Большого Совета. Купив эту книгу, клерки вываляли ее в пыли, клали в камин, в трубу, даже продержали некоторое время в месте, именуемом клерками «кабинетом задолженности», и в конце концов она столь заплесневела, что вызвала бы восторг любителей старины; пергамент ее так потрескался, что уже нельзя было усомниться в ее древности, а углы оказались настолько обгрызенными,

что ею явно лакомились крысы. С таким же мастерством зажелтили и обрез,— и теперь все было готово. Вот несколько отрывков, по которым даже самые недогадливые поймут, для каких целей предназначали служащие конторы Дероша эту книгу; начальные шестьдесят страниц были заполнены поддельными протоколами, а на первой странице можно было прочесть следующее:

«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Нынче, в день госпожи нашей святой Женевьевы, заступницы града Парижа, под покровительством коей находятся с 1525 года все клерки сей конторы, мы, нижеподписавшиеся, клерки и помощники клерков конторы мэтра Жерома-Себастьена Бордена, преемника почившего в мире Гэрбе, бывшего стряпчего Шатле, признали необходимым заменить книгу протоколов и записей о поступлении новых клерков в сию почтенную контору, являющуюся частью славного королевства стряпчих,— ибо оная книга оказалась уже заполненной актами дражайших и возлюбленных предшественников наших, и просили Хранителя судебных архивов приобщить ее к прочим книгам записей, после чего почли за благо прослушать мессу в церкви Сен-Северенского прихода, дабы торжественно ознаменовать освящение нашей новой книги.

В удостоверение чего руку приложили: Мален, старший клерк; Гревен, второй клерк; Атаназ Ферэ, клерк; Жак Юэ, клерк; Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, клерк; Бедо, младший клерк-рассыльный. В лето господне 1787.

После мессы мы отправились в Куртиль и в складчину усладили себя щедрым завтраком, окончившимся лишь в семь часов утра».

Протокол был написан мастерски. Любой знаток поклялся бы, что это почерк восемнадцатого века. За ним следовали двадцать семь протоколов приема, последний из которых был помечен роковым 1792 годом. После перерыва в четырнадцать лет записи возобновлялись с 1806 года, когда Борден был назначен стряпчим при трибунале первой инстанции в департаменте Сены. Вот комментарий, свидетельствующий о восстановлении «королевства стряпчих» и других объединений:

«Невзирая на свирепые грозы, коими создатель покарал французскую землю, ставшую ныне великой империей, господь, по великой милости своей, сохранил драго-

ценные архивы достославной конторы мэтра Бордена; и мы, нижеподписавшиеся клерки досточтимого и праведного мэтра Бордена, дерзаем узреть в сем чудесном спасении, в то время как столь многочисленные записи, хартии и привилегии погибли,— предстательство святой Женевьевы, заступницы сей конторы, а также воздаяние за верность старинным нравам и обычаям, коими мог похвалиться последний стряпчий старого закала. Пребывая в неведении относительно доли участия в этом чуде святой Женевьевы и мэтра Бордена, мы почли за благо отправиться в Сент-Этьен-дю-Мон, прослушать там мессу перед алтарем сей святой пастушки, посылающей нам столь много агнцев для стрижки, и угостить нашего патрона завтраком в надежде, что он за него заплатит.

К сему руку приложили: Оньяр, старший клерк; Пуадевен, второй клерк; Пруст, клерк; Бриньоле, клерк; Дервиль, клерк; Огюстен Коре, младший клерк.

Писано в конторе, 10 ноября 1806 года».

«На другой день в три часа пополудни нижеподписавшиеся клерки решили засвидетельствовать здесь свою благодарность добрейшему патрону, угостившему их у г-на Роллана, ресторатора на улице Азар, роскошными винами трех провинций: Бордо, Шампани и Бургундии, а также отменными яствами за обедом, длившимся с четырех часов и до половины восьмого пополудни. Мы в изобилии вкушали кофей, мороженое, ликеры. Однако присутствие патрона помешало нам пропеть величальные песни стряпчих. Ни один клерк не преступил границ приятной веселости, ибо сей достойный, почтенный и щедрый начальник обещал повести затем своих клерков во Французский театр и показать им Тальма в «Британнике». Многая лета мэтру Бордену!.. Да ниспошлет господь бог свои щедроты на его досточтимую главу! Да поможет ему продать подороже столь славную контору! Да пошлет ему изобилие богатых клиентов! Да воздаст ему за его угощение сторицей! Да уподобятся ему грядущие наши патроны! Да будет он вечно любим всеми клерками, даже когда отойдет в вечность».

Затем следовали тридцать три протокола о приеме клерков; все эти записи отличались друг от друга почерками, цветом чернил, отдельными выражениями, подписями и наконец похвалами кушаньям и винам и были так

составлены, что, казалось, протокол велся и подписывался во время самого пиршества.

Наконец под датой «июнь 1822 года», когда приносил присягу Дерош, можно было прочесть следующий образец этой юридической прозы:

«Я, нижеподписавшийся, Франсуа-Клод-Мари Годешаль, приглашенный мэтром Дерошем для выполнения многотрудных обязанностей старшего клерка в конторе, где клиентуру еще предстоит создать, узнав от мэтра Дервиля, из конторы которого я вышел, о существовании знаменитых, широкоизвестных всему судейскому миру архивных записей о пиршествах стряпчих, ходатайствовал перед любезным своим патроном о том, чтобы он испросил их у своего предшественника, ибо крайне важно было найти этот документ, датированный 1786 годом и имеющий связь с другими, хранящимися в суде архивами, существование коих подтверждено господами архивариусами Терассом и Дюкло и записи коих восходят к 1525 году, причем содержат ценнейшие исторические указания относительно судейских нравов и кушаний.

Ходатайство мое было удовлетворено, и контора нынче располагает неоспоримыми доказательствами тех почестей, кои наши предшественники неизменно воздавали *Божественной Бутылке* и доброй трапезе.

А посему, в назидание нашим преемникам и для восстановления связи между веками и бокалами, мной приглашены были господа Дубле, второй клерк, Вассаль, третий клерк, Эриссон и Грандмен, клерки, и Дюме, младший клерк, позавтракать в будущее воскресенье у «Рыжего коня», что на Сен-Бернарской набережной, где мы и отпразднуем приобретение этой книги записей, содержащей хартию наших пирушек.

В воскресенье, июня 27 дня, было выпито 12 бутылок разных вин, оказавшихся превосходными. Присутствующими отмечены также две дыни, паштеты jus romanum [1], говяжье филе и гренки с шампинионибусами. Ввиду того что мадемуазель Мариетта, прославленная сестра первого клерка и примадонна королевской Академии музыки и танца, предоставила в распоряжение конторы ме-

---

[1] То есть паштет «римское право», или паштет под римским соусом (латинское слово «jus» означает и «право» и «подливка»).

ста в партере на сегодняшний спектакль, ее великодушие также должно быть здесь отмечено. Кроме того, решено, что все клерки скопом отправятся к сей достойной девице, дабы возблагодарить ее и объявить ей, что при первом ее процессе, если черт ей пошлет таковой, она оплатит только судебные издержки, что и отмечаем.

Годешаль был провозглашен красой судейского сословия, а главное, славным малым. Можно только пожелать, чтобы тот, кто так хорошо угощает, угостил самого себя как можно скорее собственной конторой».

На страницах книги записей повсюду виднелись пятна от пролитого вина, кляксы и брызги, напоминавшие фейерверки. Чтобы понять тот налет подлинности, который составители сумели придать этим записям, достаточно привести хотя бы протокол пирушки, якобы устроенной Оскаром по случаю его приема в контору.

«Нынче, в понедельник, 25 ноября 1822 года, после трапезы, состоявшейся вчера на улице Серизе, близ Арсенала, у госпожи Клапар, матери кандидата в сословие стряпчих Оскара Юссона, мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем, что трапеза эта превзошла все наши ожидания. Закуска состояла из черного и розового редиса, корнишонов, масла, анчоусов и маслин; затем воспоследовал превосходный суп с рисом, свидетельствовавший о материнской заботливости хозяйки, ибо мы ощутили в нем восхитительный вкус курятины, а новичок подтвердил, что действительно в миску с супом были положены потроха жирной курицы, предусмотрительно сваренной самой хозяйкой в бульоне, изготовленном со всем тщанием, которое возможно только при домашнем столе.

Item [1], курица, окруженная морем желе, созданного также трудами матушки вышеупомянутого новичка.

Item, бычий язык в томате, к которому мы отнеслись отнюдь не как автоматы.

Item, рагу из голубей такого восхитительного вкуса, как будто сами ангелы стряпали его.

Item, запеченные макароны и к ним шоколадный крем.

Item, десерт, состоявший из одиннадцати утонченных яств, среди коих мы, невзирая на опьянение, вызванное шестнадцатью бутылками отменнейших вин, не могли

---

[1] Кроме того *(лат.)*.

не воздать должное компоту из персиков, сказочной нежности и непревзойденному по вкусу.

Вина из Руссильона и с берегов Роны окончательно вытеснили шампанские и бургонские. Бутылка мараскина и бутылка кирша повергли пирующих, несмотря на восхитительный кофей, в состояние хмельного экстаза, так что один из нас, господин Эриссон, очутившись в Булонском лесу, все еще считал, что находится на бульваре Тампль; а Жакино, младший клерк, четырнадцати лет от роду, начал приставать к пятидесятисемилетним мещанкам, приняв их за особ легкого поведения,— что и отмечаем.

В статутах нашего ордена есть одно строго соблюдаемое правило: жаждущий вступить в привилегированное сословие стряпчих обязан соразмерять роскошества пирушки в честь его вступления со своими денежными средствами, ибо всем известно, что никто из имеющих капиталы не отдается служению Фемиде и что каждого клерка его папенька и маменька держат в сугубой строгости. Поэтому мы воздаем высокую похвалу поведению г-жи Клапар, в первом браке бывшей за покойным господином Юссоном, отцом кандидата, и признаем, что он достоин трех приветственных кликов, которые последовали за десертом, в чем и подписуемся».

Три клерка уже попались на эту удочку, и в эту высокоторжественную книгу были занесены три действительно состоявшихся пирушки.

В день прибытия каждого новичка в контору младший клерк клал на его папку для бумаг книгу записей, и все клерки наслаждались физиономией растерявшегося новичка, когда он изучал эти шуточные протоколы inter pocula [1]; каждый кандидат прошел через эту шутку, и ему, как и надеялись его товарищи, хотелось проделать то же самое над будущими кандидатами.

Поэтому легко себе представить, какие рожи состроили все четыре клерка, когда Оскар, став, в свою очередь, мистификатором, возгласил:

— Давайте сюда книгу!

Через десять минут после этого восклицания в контору вошел красивый молодой человек, высокого роста, с

---

[1] Попоек *(лат.)*.

приятным лицом; он спросил господина Дероша и, не колеблясь, представился Годешалю.

— Фредерик Маре. Я поступаю сюда третьим клерком,— сказал он.

— Господин Юссон,— обратился Годешаль к Оскару,—покажите господину Маре его место и ознакомьте его с нашей работой.

Придя на другой день в контору, новый клерк увидел, что поперек его папки лежит книга записей; но, пробежав первые страницы, он рассмеялся, никого никуда не пригласил и снова положил книгу перед собой.

— Господа,— сказал он, собираясь часов в пять уходить,— мой родственник служит первым клерком у нотариуса Леопольда Аннекена, я спрошу его, что мне надлежит выполнить по случаю моего поступления.

— Плохо дело,— воскликнул Годешаль,— не похож на новичка этот будущий стряпчий!

— Мы его допечем,— сказал Оскар.

На другой день к ним пришел первый клерк нотариуса Аннекена, и Оскар узнал в нем Жоржа Маре.

— А! Вот и друг Али-паши,— воскликнул Юссон развязным тоном.

— Кого я вижу? Вы здесь, господин посол? — отозвался Жорж, также узнавший Оскара.

— Вы разве знакомы? — спросил Жоржа Годешаль.

— Еще бы, мы вместе дурили,— сказал Жорж,— года два назад... Да, я ушел от Кротта и поступил к Аннекену именно из-за этой истории...

— Какой истории? — спросил Годешаль.

— О, пустяки,— небрежно ответил Жорж по знаку Оскара.— Мы вздумали одурачить одного пэра Франции, а вышло так, что он нас оставил в дураках... Но вы, кажется, хотите кое-что вытянуть у моего кузена...

— Мы ни у кого ничего не вытягиваем,— с достоинством ответил Оскар,— вот наша хартия.

И он показал место в знаменитой книге, где был записан приговор, вынесенный в 1788 году одному непокорному клерку за его скупость; согласно этому приговору, ему пришлось покинуть контору.

— А я думаю, что вытягиваете, вот и клещи,— ответил Жорж, указывая на шуточные записи.— Но мы с кузеном богатые люди и закатим вам такую пирушку, какой

вы еще не видывали; она вдохновит ваше воображение на соответствующий протокол. Итак, до воскресенья, то есть до завтра, в «Канкальской скале», в два часа дня. А затем мы проведем вечер у маркизы де Лас-Флоренти-нас-и-Кабиролос, где будет игра и где вы встретите самых изысканных светских женщин. Итак, господа из первой инстанции,— продолжал он с напыщенностью канцеляриста,— надеюсь, что вы окажетесь на высоте и будете даже во хмелю подобны вельможам эпохи Регентства.

— Урра! — крикнула единодушно вся контора.— Bravo! Very well! Vivat! [1] Да здравствуют братья Маре!

— Держись! — воскликнул младший клерк.

— Что тут происходит? — спросил патрон, выходя из кабинета.— А вот и ты, Жорж! — обратился он к первому клерку.— Понимаю, ты хочешь совратить моих клерков...

И он вернулся к себе в кабинет, позвав туда Оскара.

— Вот возьми пятьсот франков,— сказал он, открывая кассу,— ступай в суд и получи из канцелярии копию решения по делу Ванденеса против Ванденеса; нужно предъявить ее к исполнению сегодня же вечером, если это возможно. Я обещал Симону за скорое изготовление копии двадцать франков. Если же она еще не готова, подожди, но не давай себя одурачить. А то Дервиль, в интересах своего клиента, пожалуй, вздумает совать нам палки в колеса. Граф Феликс де Ванденес могущественнее, чем его брат, посол, наш клиент. Поэтому гляди в оба и при малейшем затруднении возвращайся и сообщи мне.

Оскар пустился в путь, твердо решив отличиться в этой маленькой стычке, в этих первых хлопотах, которые ему поручили со времени его поступления в контору.

После ухода Жоржа и Оскара Годешаль, чуя готовящуюся каверзу, попробовал было выяснить у нового клерка, какая именно шутка кроется за этим приглашением к маркизе де Лас-Флорентинас-и-Кабиролос; однако Фредерик Маре с чисто прокурорским хладнокровием и серьезностью продолжал мистификацию, начатую его кузеном; своими ответами и невозмутимостью ему удалось внушить служащим конторы, что маркиза де Лас-Флорентинас действительно вдова испанского гранда, за которой

---

[1] Браво! *(итал.)* Отлично! *(англ.)* Да здравствует! *(лат.)*

его кузен ухаживает. Будучи уроженкой Мексики и дочерью креола, эта молодая и богатая вдова ведет такую же легкомысленную жизнь, как и большинство женщин, родившихся в жарких странах.

— Она любит смех, веселье и песни — так как будто поется в известной песенке Беранже.— Жорж очень богат,— добавил Фредерик,— он получил после отца, который был вдов, восемнадцать тысяч ливров дохода, а с двенадцатью тысячами франков, недавно оставленными каждому из нас нашим дядей, у него тридцать тысяч франков дохода в год. Поэтому он расплатился со всеми долгами и выходит из сословия. Он надеется стать маркизом де Лас-Флорентинас, так как молодая вдовушка — маркиза по рождению и имеет право передать титул своему мужу.

Если клерки все же пребывали в недоумении относительно маркизы, то двойная перспектива позавтракать в ресторане «Канкальская скала» и провести вечер в столь изысканном обществе вызвала в них живейшую радость. В вопросе же об испанке они *воздерживались* от суждения, решив вынести *окончательный приговор*, когда предстанут перед ней самой.

Эта маркиза де Лас-Флорентинас-и-Кабиролос была попросту мадемуазель Агата-Флорентина Кабироль и та самая первая танцовщица театра Гетэ, у которой дядюшка Кардо распевал «Мамашу Годишон». Через год после утраты вполне заменимой г-жи Кардо удачливый негоциант встретил Флорентину у подъезда балетной школы Кулона. Плененный красотой этого хореографического цветка — Флорентине было тогда тринадцать лет,— бывший коммерсант последовал за ней до улицы Пастурель, где имел удовольствие узнать, что будущая краса балета обязана своим появлением на свет простой привратнице. Через две недели мать и дочь были водворены в новой квартирке на улице Крюссоль и вкусили там радости скромного благоденствия. Таким образом, театр, как принято говорить, был обязан этим молодым дарованием «покровителю искусств» Кардо. Великодушный меценат чуть не свел с ума от радости этих двух особ, подарив им мебель красного дерева, драпировки, ковры и все необходимое для кухни; он дал им возможность нанять прислугу и ежемесячно приносил двести пятьдесят франков.

В ту пору папаша Кардо, украшенный голубиными крылышками, казался им ангелом, и они обходились с ним как с благодетелем. Для пылкого старичка наступил *золотой век*.

В течение трех лет певец «Мамаши Годишон» из соображений высшей политики держал мадемуазель Кабироль и ее мать в этой квартирке, откуда было рукой подать до театра; затем любовь к хореографии побудила его пригласить к своей подопечной Вестриса. Зато в 1820-м он имел удовольствие присутствовать на дебюте Флорентины в мелодраме «Развалины Вавилона». Флорентине было тогда шестнадцать весен. Через некоторое время после ее дебюта папаша Кардо уже превратился для Флорентины в «старого скупердяя», но у него хватило такта понять, что танцовщице из театра Гетэ необходимо занимать приличное положение, он довел денежную помощь до пятисот франков и если и не превратился снова в ангела, то сделался по крайней мере «другом до гробовой доски», вторым отцом. Наступил *серебряный век*.

С 1820 по 1823 год Флорентина приобрела опытность, необходимую танцовщицам, имеющим лет двадцать от роду. Ее подружками были знаменитые Мариетта и Туллия, две примадонны из Оперы, Флорина и бедная Корали, столь рано похищенная смертью у искусства, у любви и у Камюзо. Так как доброму «дедушке Кардо» тоже прибавилось пять лет, он обрел ту почти отеческую снисходительность, какую проявляют старцы к молодым талантам, которые они вырастили и чьи успехи стали их успехами. Да и где стал бы шестидесятивосьмилетний старик искать новой привязанности, где нашел бы новую Флорентину, знающую малейшие его привычки, где стал бы со своими друзьями распевать «Мамашу Годишон»? Так Кардо очутился в полусупружеском ярме, имевшем над ним неодолимую власть. Наступил *бронзовый век*.

За пять лет золотого и серебряного века папаша Кардо скопил девяносто тысяч франков. Этот многоопытный старец предвидел, что, когда ему стукнет семьдесят, Флорентина станет совершеннолетней; она, быть может, будет дебютировать в Опере и уж, конечно, захочет жить с роскошью примадонны. За несколько дней до вечера, о котором идет речь, папаша Кардо истратил сорок пять

тысяч франков, чтобы окружить Флорентину известным блеском, и снял для нее те самые апартаменты, где покойная Корали дарила счастьем Камюзо. В Париже есть дома и квартиры, и даже улицы, имеющие свое предназначение. Обзаведясь великолепным серебром, примадонна театра Гетэ давала роскошные обеды, тратила триста франков в месяц на туалеты, выезжала только в экипаже, нанимавшемся помесячно, держала горничную, кухарку и грума. Наконец она мечтала о дебюте в Опере. Тогда владелец «Золотого кокона» почтительно поднес своему бывшему хозяину самые восхитительные шелка, дабы угодить мадемуазель Кабироль, именуемой Флорентиной, так же как три года назад он исполнял прихоти Корали; но все это делалось тайком от дочери папаши Кардо, ибо и отец и зять были совершенно согласны в том, что в недрах семьи нужно соблюдать приличия. Г-жа Камюзо не подозревала ни о развлечениях мужа, ни об образе жизни отца. Роскошь, воцарившаяся на Вандомской улице у мадемуазель Флорентины, удовлетворила бы самых требовательных фигуранток. Кардо был здесь в течение семи лет хозяином, теперь же он чувствовал, что его увлекает за собой волна безграничных прихотей. Но, увы — несчастный старец был влюблен!.. Он думал, что Флорентина закроет ему глаза, и надеялся оставить ей сотню тысяч франков. Начался *железный век*.

Жорж Маре, красивый малый с тридцатью тысячами ливров дохода, ухаживал за Флорентиной. Каждая танцовщица уверяет, что и она любит такой же любовью, какою ее любит покровитель, что у нее есть друг сердца, сопровождающий ее на прогулках и устраивающий в честь нее шальные пикники. Хотя корысть тут не играет роли, все же любовная прихоть примадонны всегда чего-нибудь да стоит *счастливому избраннику:* обеды у ресторатоpов, ложи в театре, экипажи для прогулок по окрестностям Парижа, отменные вина, поглощаемые в изобилии,— ибо танцовщицы ведут такой же образ жизни, какой некогда вели атлеты. Жорж веселился, как обычно веселятся молодые люди, когда выйдут из-под суровой власти родителей и станут независимыми, а после смерти дяди, в результате которой его состояние почти удвоилось, изменились и его планы на будущее. Пока у него было только восемнадцать тысяч ливров дохода, оставленных ему

родителями, он хотел стать нотариусом, но — как сказал его кузен дерошским клеркам — нужно быть дураком, чтобы начинать какую-нибудь карьеру, уже располагая таким капиталом, какой обычно сколачивают к концу этой карьеры. Итак, старший клерк отмечал таким завтраком первый день своей свободы и вместе с тем прием его кузена в контору. Фредерик, более благоразумный, чем Жорж, все же решил вступить на поприще прокуратуры. Не было ничего удивительного в том, что столь красивый и ловкий юноша, каким был Жорж, предполагает жениться на богатой креолке, а также в том, что маркиз де Лас-Флорентинас-и-Кабиролос на старости лет, по словам Фредерика, предпочел жениться на красивой девушке, а не на знатной. Клерки конторы Дероша, происходившие из семей бедняков и никогда не бывавшие в свете, разрядились в свое лучшее платье и горели нетерпением улицезреть мексиканскую маркизу.

— Какое счастье,— сказал, вставая утром, Оскар Годешалю,— что я сшил себе новый фрак, панталоны и жилет и купил сапоги и что моя дорогая матушка приготовила мне целое приданое по случаю моего повышения в должности! Из двенадцати сорочек, что она мне подарила, шесть с жабо, и все шесть превосходного полотна!.. Теперь мы покажем себя! Вот если бы кому-нибудь из нас отбить маркизу у этого Жоржа Маре!

— Подходящее занятие для клерка из конторы мэтра Дероша! — воскликнул Годешаль.— Ты, видно, так и не укротишь своего тщеславия, голубчик?

— Ах, сударь,— воскликнула г-жа Клапар, которая принесла сыну галстуки и услышала слова старшего клерка,— дай бог, чтобы мой Оскар следовал вашим добрым советам! Я ему то и дело твержу: бери пример с господина Годешаля, слушайся его!

— Он молодец,— отозвался старший клерк.— Однако достаточно малейшего промаха, вроде вчерашнего, чтобы уронить себя во мнении патрона. Патрон не допускает неудач: на первый раз он поручил вашему сыну истребовать приговор суда по делу о наследстве, из-за которого двое знатных господ, два брата, судятся друг с другом; ну, Оскар и остался в дураках... Патрон был в бешенстве. Мне кое-как удалось исправить эту глупость: я се-

годня уже в шесть часов утра был у секретаря и добился от него обещания, что получу решение суда завтра в половине восьмого.

— Годешаль,— воскликнул Оскар, подходя к старшему клерку и пожимая ему руку,— вы истинный друг!

— Ах, сударь,— вмешалась г-жа Клапар,— какое счастье для матери знать, что у ее сына такой друг; вы можете рассчитывать на мою благодарность до гроба. Остерегайся, Оскар, этого Жоржа Маре, он уже послужил причиной первого в твоей жизни несчастья.

— Каким образом? — спросил Годешаль.

Слишком доверчивая мать подробно рассказала клерку о злоключении ее бедного Оскара в «кукушке» Пьеротена.

— Я уверен, что этот враль приготовил нам на сегодняшний вечер какую-нибудь проделку в таком же роде...— сказал Годешаль.— Я лично не пойду к этой графине де Лас-Флорентинас, сестра хочет обсудить со мной условия нового ангажемента, поэтому я расстанусь с вами после десерта; но ты, Оскар, будь начеку. Вас, может быть, втянут в игру, тогда конторе Дероша нельзя малодушно отступать. Вот тебе сто франков — играй за нас двоих,— сказал добрый малый, протягивая деньги Оскару, кошелек которого несомненно опустошили сапожник и портной.— Но будь осторожен, не играй больше чем на сто франков; не поддавайся опьянению ни от игры, ни от вина. Черт побери! Второй клерк — это уже особа с весом, он не должен ни играть на честное слово, ни переходить границы в чем бы то ни было. Став вторым клерком, надо уже думать о том, как бы стать стряпчим. Итак, пей в меру, играй в меру, держись с подобающим достоинством — вот тебе наказ. Главное — не забудь возвратиться домой к полуночи, так как в семь часов утра ты уже должен быть в суде, чтобы получить там решение. Веселиться никому не возбраняется, но дело — прежде всего.

— Слышишь, Оскар? — сказала г-жа Клапар.— Ты видишь, насколько господин Годешаль снисходителен и как он умеет согласовать удовольствия молодости с обязанностями своей профессии!

Тут явились портной и сапожник; г-жа Клапар воспользовалась этим, чтобы остаться наедине с первым

клерком и вернуть ему те сто франков, которые он только что дал Оскару.

— Ах, сударь! — сказала она ему.— Благословения матери будут сопутствовать вам повсюду, во всех ваших начинаниях.

Затем мать испытала высшее счастье — она увидела своего сына хорошо одетым; в награду за его усердие она подарила ему золотые часы, купленные на ее сбережения.

— Через неделю ты будешь тянуть жребий,— сказала она,— и так как надо предвидеть заранее, что ты можешь вытянуть несчастливый номер, я отправилась к твоему дяде Кардо: он весьма доволен тобой. Узнав, что ты в двадцать лет уже стал вторым клерком и что ты с успехом выдержал экзамены в Юридической школе, он был очень обрадован и обещал дать деньги, чтобы нанять тебе рекрута-заместителя. Разве ты не испытываешь некоторого удовольствия, видя, как вознаграждается хорошее поведение? И если ты иногда терпишь нужду, то подумай о том, что лет через пять ты уже сможешь обзавестись собственной конторой. Наконец подумай, котик, как ты радуешь свою мать...

Лицо Оскара, осунувшееся от службы и занятий, приобрело выражение некоторой серьезности. Он уже перестал расти, у него начала пробиваться борода — словом, подросток становился мужчиной. Мать не могла сдержать своего восхищения и сказала, нежно обнимая его:

— Веселись, но помни советы доброго господина Годешаля! Ах, чуть не забыла! Вот тебе еще подарок от нашего друга Моро: красивый бумажник.

— Он мне как раз очень нужен, потому что патрон дал мне пятьсот франков, чтобы уплатить за выписку из этого проклятого приговора по делу Ванденеса против Ванденеса, а я не хочу оставлять деньги в комнате.

— Ты решил носить их при себе? — испуганно спросила мать. — А вдруг ты потеряешь такую сумму? Не лучше ли пока отдать их на хранение господину Годешалю?

— Годешаль! — позвал Оскар, вполне согласившись с матерью.

Но Годешаль, как и все клерки, по воскресеньям бывал в конторе только от десяти до двух и уже ушел.

Когда г-жа Клапар удалилась, Оскар пошел бродить

по бульварам, перед тем как отправиться на званый завтрак. Да и как было не щегольнуть новым дорогим платьем, которое он носил с гордостью и радостью, памятной, вероятно, всем молодым людям, испытавшим нужду при первых шагах в жизни? Красивый голубой кашемировый жилет шалью, черные казимировые панталоны со складкой, черный, ловко сшитый фрак и трость с позолоченным набалдашником, приобретенная на его собственные сбережения, доставляли вполне естественную радость бедному юноше, невольно вспоминавшему о том, как он был одет в день своего путешествия в Прэль и какое впечатление на него произвел тогда Жорж. К тому же Оскару предстоял восхитительный день, полный удовольствий, а вечером он должен был наконец увидеть высшее общество! Этот молодой клерк был лишен всяких развлечений и давно мечтал о кутеже, признаемся поэтому, что закипевшие страсти легко могли заглушить в нем все советы и наставления матери и Годешаля. К стыду молодости надо сказать, что в советах и предостережениях у нее нет недостатка. Независимо от утренних наставлений Оскар и сам испытывал к Жоржу какую-то неприязнь; он чувствовал себя униженным перед этим свидетелем сцены, которая разыгралась в гостиной прэльского замка, когда Моро швырнул Оскара к ногам графа де Серизи. Область морали имеет свои законы, они неумолимы, и кара неизбежно постигает того, кто не хочет с ними считаться. Особенно один закон, которому беспрекословно, и притом всегда, подчиняются даже животные. Этот закон препятствует нам общаться с тем, кто хотя бы раз причинил нам вред нечаянно или преднамеренно, вольно или невольно. Человек, по вине которого мы потерпели некогда ущерб или испытали большую неприятность, всегда будет для нас роковым. Поэтому, какое бы высокое положение он ни занимал, какую бы привязанность мы к нему ни питали, с ним следует порвать, ибо он послан нашим злым гением. И хотя христианское чувство в нас противится такому решению, нужно этому суровому закону подчиняться, так как в основе его лежит социальное начало и инстинкт самосохранения. Дочь Якова II, занявшая отцовский престол, вероятно, не раз оскорбляла отца и до узурпации. Иуда, наверно, нанес Христу несколько жестоких ударов еще до того, как он

его предал. Есть в нас внутреннее зрение, некое око души, которое провидит катастрофы, и неприязнь, испытываемая нами к таким роковым людям, — следствие этого провидения; религия повелевает нам преодолеть эту неприязнь, однако в душе у нас все же остается недоверие, к голосу которого следует неустанно прислушиваться. Но мог ли Оскар в свои двадцать лет быть столь дальновидным? Увы! Когда юноша в половине третьего вошел в залу «Канкальской скалы», где, кроме клерков, находилось еще три гостя, а именно: старик капитан драгунского полка по фамилии Жирудо; Фино, журналист, от которого зависело устроить Флорентине дебют в Опере; дю Брюэль, писатель, друг Туллии, одной из соперниц Мариетты на сцене, — второй клерк почувствовал, как при первых же рукопожатиях, при первых попытках молодых людей завязать беседу возле стола, роскошно сервированного на двенадцать персон, его затаенная враждебность исчезает, словно дым. Да и действительно, Жорж был с Оскаром чрезвычайно любезен.

— Вы занимаетесь частной дипломатией, — сказал ему Жорж, — ибо какая же разница между послом и стряпчим? Только та, что отличает целую нацию от отдельного человека. Послы — это стряпчие народов! Если я могу вам быть полезен, приходите ко мне.

— Знаете, — сказал Оскар, — теперь я могу вам в этом признаться, — вы были причиной постигшего меня большого несчастья...

— Ах, бросьте! — промолвил Жорж, выслушав рассказ о злоключениях второго клерка. — Ведь это граф де Серизи себя дурно вел. А жена его вовсе не в моем вкусе. И будь он хоть трижды министром и пэром Франции, я бы не желал очутиться в его красной коже. У него мелкая душонка, и мне теперь наплевать на него.

Оскар с истинным удовольствием слушал насмешки Жоржа над графом де Серизи, так как они некоторым образом смягчали его собственную вину, и он разделял мстительное чувство бывшего клерка, с увлечением предрекавшего дворянству все те беды, о которых буржуазия тогда еще только мечтала и которые должны были осуществиться в 1830 году. В половине четвертого началось священнодействие. Десерт был подан только в восемь часов вечера; каждая перемена занимала по два часа. Толь-

ко клерки умеют так есть! Желудки молодых людей между восемнадцатью и двадцатью годами остаются для медицины загадкой. Вина сделали честь Борелю, заменившему в те годы славного Балена, создателя лучшего в Париже ресторана по изысканности и совершенству кухни, а если лучшего в Париже, значит, и во всем свете.

За десертом был составлен протокол этого валтасарова пира, начинавшийся так: Inter pocula aurea restauranti qui vulgo dicitur Rupes cancali [1]. По этому вступлению легко представить себе блестящую страницу, которая прибавилась в «Золотой книге» записей, повествовавших о завтраках клерков.

Годешаль подписал протокол и исчез, предоставив одиннадцати пирующим под предводительством бывшего капитана императорской гвардии провозглашать тосты и поглощать вина и ликеры, поданные на десерт вместе с разнообразными фруктами, пирамиды которых напоминали фиванские обелиски. В половине одиннадцатого младший клерк конторы был настолько пьян, что оставаться за столом уже не мог, и Жорж погрузил мальчугана в экипаж, дал кучеру адрес его матери и заплатил за него. Остальные десять гостей, пьяные, как Питт и Дундас, решили, ввиду прекрасной погоды, отправиться пешком по бульварам к маркизе де Лас-Флорентинас-и-Кабиролос, где им предстояло около полуночи увидеть самое блестящее светское общество. Все они жаждали подышать свежим воздухом; но, за исключением Жоржа, Жирудо, дю Брюэля и Фино, привычных к парижским оргиям, никто не был в состоянии идти. Жорж послал на извозчичий двор за тремя колясками и в течение часа катал своих гостей по внешним бульварам, от Монмартра до Тронной заставы. Затем через Берси, по набережным и бульварам, компания направилась на Вандомскую улицу.

Клерки еще витали в облаках мечтаний, куда хмель обычно возносит молодых людей, когда амфитрион ввел всю ватагу в гостиные Флорентины. Там блистали принцессы театра, видимо, предупрежденные относительно затеи Фредерика и разыгрывавшие из себя светских дам. Гости освежались мороженым. Многочисленные канде-

---

[1] Средь золотистых бокалов в ресторане, в просторечии именуемом «Кайкальская скала» *(испорч. лат.)*.

лябры пылали, как факелы. Лакеи Туллии, госпожи дю Валь-Нобль и Флорины, все в парадных ливреях, разносили сласти на серебряных подносах. Портьеры—шедевр лионской промышленности, — подобранные золотыми шнурами, ослепляли своей роскошью. Яркие ковры казались клумбами. От пестрых безделушек и редкостей рябило в глазах. Клерки, и особенно Оскар, в том состоянии, в которое их привел Жорж, сразу поверили, что они у маркизы де Лас-Флорентинас-и-Кабиролос. На четырех ломберных столах, расставленных в спальне, золото так и сверкало. В гостиной женщины играли в «двадцать одно», причем банк держал знаменитый писатель Натан. После неосвещенных внешних бульваров, где только что бродили пьяные и полусонные клерки, им казалось, что они пробуждаются в настоящем дворце Армиды. Оскар, которого Жорж представил мнимой маркизе, был совсем ошеломлен и не узнал танцовщицы из театра Гетэ: женщина, стоявшая перед ним в платье с изящным вырезом и дорогими кружевами, напоминала виньетку из кипсека. Она встретила его так любезно и с такими церемониями, каких не мог ни видеть, ни вообразить юный клерк, получивший столь суровое воспитание. Оскар любовался роскошным убранством комнат и красивыми веселыми женщинами, которые состязались друг с другом в изысканности своих туалетов, чтобы придать этому вечеру как можно больше блеска и великолепия. Флорентина взяла клерка за руку и увлекла к столу, где играли в «двадцать одно».

— Идемте, я хочу вас представить моей приятельнице, прекрасной маркизе д'Англад...

И она подвела бедного Оскара к хорошенькой Фанни Бопре, уже два года заменявшей покойную Корали в сердце Камюзо. Молодая актриса только что приобрела известность благодаря исполнению роли маркизы в модной мелодраме «Семья д'Англадов» в театре Порт-Сен-Мартен.

— Позволь, дорогая,—сказала Флорентина, — представить тебе прелестного юношу; можешь его принять в игру.

— Ах, вот хорошо, — ответила с чарующей улыбкой актриса, окинув его взглядом, — я проигрываю, будем ставить пополам, идет?

— Маркиза, я к вашим услугам,— заявил Оскар, усаживаясь рядом с хорошенькой актрисой.

— Давайте деньги, — сказала она, — я буду играть на них, вы принесете мне счастье! Видите, вот мои последние сто франков...

И мнимая маркиза вынула из кошелька, колечки которого были украшены бриллиантами, пять червонцев. Оскар же извлек из кармана свои сто франков монетами по сто су, уже заранее стыдясь того, что ему придется смешать эти мерзкие экю с благородными червонцами. За десять туров актриса проиграла все двести франков.

— Пустяки! — воскликнула она. — Теперь держать банк буду я. Мы опять будем играть вместе, хорошо? — спросила она Оскара.

Фанни Бопре встала, и юный клерк, видя, что они привлекают к себе внимание всех сидящих за столом, не посмел отойти и сознаться, что у него не осталось ни гроша. Голос изменил ему, язык словно прилип к гортани.

— Одолжи мне пятьсот франков, — обратилась актриса к танцовщице.

Флорентина принесла ей пятьсот франков, которые взяла у Жоржа, только что выигравшего восемь раз подряд в экарте.

— Натан выиграл тысячу двести франков,— сообщила актриса клерку,— банкометы всегда выигрывают. А мы тоже не дураки,— шепнула она Оскару на ухо.

Люди, обладающие сердцем, воображением и способностью увлекаться, поймут, почему Оскар вынул бумажник и извлек оттуда билет в пятьсот франков. Он смотрел на Натана, знаменитого писателя, который принялся вместе с Флориной играть по большой против банкомета.

— Ну же, мой мальчик, берите! — крикнула Оскару Фанни Бопре и сделала знак взять двести франков, поставленные Флориной и Натаном.

Актриса не скупилась на шутки и насмешки по адресу проигрывающих. Она оживляла игру выходками, которые казались Оскару весьма странными; однако радость заглушила эти размышления: после первых двух туров они выиграли две тысячи франков. Оскару очень хотелось сделать вид, что ему неможется, и уйти, бро-

сив свою партнершу на произвол судьбы, но *честь* пригвоздила его к месту.

Три последующих тура лишили их всего выигрыша. Оскар почувствовал, что на спине у него выступил холодный пот, он окончательно протрезвел. В последние два тура была проиграна их общая тысяча; Оскару захотелось пить, и он осушил один за другим три стакана ледяного пунша. Актриса, болтая всякий вздор, увела бедного клерка в спальню. Но там сознание собственной вины охватило Оскара с такой силой,— Дерош казался ему видением из кошмара,— что он упал на роскошную оттоманку, стоявшую в темном углу, и, прикрыв глаза платком, заплакал! Как актриса, Флорентина сразу заметила эту выразительную позу, говорившую об искреннем страдании, подбежала к Оскару, отняла у него платок, увидела, что он плачет, и увела его в будуар.

— Что с тобой, мой маленький? — спросила она.

В этом голосе, в этих словах, в этой интонации Оскару послышалась та материнская нежность, которая нередко таится в ласковости подобных женщин.

— Я проиграл пятьсот франков, которые патрон дал мне, чтобы внести завтра в суд... Теперь мне остается только утопиться,— сказал он.— Я опозорен...

— Вот глупыш! — отозвалась Флорентина.— Сидите здесь, я сейчас принесу вам тысячу. Постарайтесь отыграться, но рискуйте только пятьюстами, чтобы сохранить деньги патрона. Жорж чертовски ловко играет в экарте, держите на него пари...

Оскар был в безвыходном положении и принял предложение хозяйки.

«Ах,— подумал он,— только маркизы могут быть так великодушны... Красива, благородна, несметно богата... вот счастливец этот Жорж!»

Он получил от Флорентины тысячу франков золотом и решил держать пари на своего мистификатора. Когда Оскар подсел к нему, Жорж уже выиграл четыре раза подряд. Игроки с удовольствием встретили нового участника пари, потому что все инстинктивно держали за старого наполеоновского офицера Жирудо.

— Господа,— сказал Жорж,— вы будете наказаны за измену. Я сегодня в ударе. Давайте, Оскар, разгромим их!

Жорж и его партнер проиграли пять раз подряд. Спустив всю свою тысячу, Оскар, которым овладел азарт, стал играть сам, и случилось, как это бывает нередко с новичками, что он начал выигрывать; однако Жорж совсем сбил его с толку своими советами; он подговаривал Оскара сбросить карты, не раз вырывал их у него из рук, и эта борьба двух воль, двух вдохновений мешала удаче. К трем часам утра, после многих превратностей, нежданных выигрышей и проигрышей, Оскар, продолжавший потягивать пунш, дошел до того, что у него осталось всего-навсего сто франков. Тогда он поднялся в отчаянии, с отяжелевшей головой, сделал несколько шагов и рухнул в будуаре на софу, где и заснул мгновенно мертвым сном.

— Мариетта,— говорила Фанни Бопре сестре Годешаля, приехавшей в два часа ночи,— хочешь завтра пообедать здесь? Будет мой Камюзо и папаша Кардо. Мы хорошенько подразним их.

— Вот как? — воскликнула Флорентина.— Мой старый чудак мне ни словом об этом не обмолвился!

— Он приедет утром сказать тебе, что намерен спеть «Мамашу Годишон»,— ответила Фанни Бопре,— надо же бедняге отпраздновать твое новоселье.

— Ну его к черту с его оргиями! — воскликнула Флорентина.— Они с зятем хуже чиновников или директоров театра. А впрочем, Мариетта, здесь можно отлично пообедать,— сказала она примадонне,— Кардо всегда заказывает обед у Шеве, приезжай и ты со своим герцогом Мофриньёзом, мы подурачимся, и они под нашу дудочку попляшут, как тритоны!

Услышав имена Кардо и Камюзо, Оскар сделал усилие, чтобы стряхнуть с себя сон, но только пробормотал что-то и снова упал на атласную подушку.

— А ты, видно, запаслась на ночь,— смеясь, сказала Фанни Бопре Флорентине.

— Ах, бедный малый! Он опьянел от пунша и от отчаяния. Это второй клерк из конторы, где служит твой брат,— пояснила Флорентина,— он проиграл деньги, которые патрон дал ему на деловые расходы. Он хотел утопиться, и я одолжила ему тысячу франков, а эти разбойники Фино и Жирудо вытянули их у него. Бедный мальчик!

— Но его надо разбудить,— сказала Мариетта,— с моим братом шутки плохи, а с их патроном и подавно.

— Ну, разбуди его, если можешь, и уведи,— сказала Флорентина, возвращаясь в гостиные, чтобы проводить уезжающих.

Оставшиеся принялись отплясывать кто во что горазд, а когда рассвело, утомленная Флорентина легла, совершенно позабыв об Оскаре; да и никто из гостей о нем не вспомнил, и он продолжал спать как убитый.

Около одиннадцати часов утра клерка разбудил грозный голос; узнав своего дядю Кардо, он решил спасти себя тем, что притворился спящим и зарылся лицом в роскошные желтые бархатные подушки, на которых провел ночь.

— Что это, Флорентина,— говорил почтенный старец,— как ты неразумно, гадко ведешь себя — танцевала вчера в «Развалинах», а потом всю ночь у тебя был кутеж? Так ты очень скоро потеряешь свежесть, не говоря уже о том, что это просто неблагодарность — праздновать новоселье без меня, с какими-то чужими людьми, не сказав мне об этом! Кто знает, что тут происходило?

— Старое чудовище! — воскликнула Флорентина.— Да ведь у вас есть ключ, и вы можете войти ко мне в любое время, в любую минуту. Бал кончился только в половине шестого, и у вас хватает жестокости будить меня в одиннадцать?

— В половине двенадцатого, Титина,— смиренно заметил Кардо.— Я поднялся ранехонько, чтобы заказать Шеве чисто кардинальский обед... Однако твои гости все ковры попортили; кого это ты принимала?..

— А вам не следовало бы жаловаться: Фанни Бопре сказала, что вы будете у меня с Камюзо, и я, чтобы угодить вам, пригласила Туллию, дю Брюэля, Мариетту, герцога де Мофриньёза, Флорину и Натана. Таким образом, вы будете обедать в обществе пяти самых красивых женщин, какие когда-либо выступали на сцене! И они протанцуют вам па-де-зефир.

— Но такой образ жизни — просто самоубийство! — воскликнул папаша Кардо.— Сколько побито бокалов! Какой погром! В передней просто ужас...

Вдруг милый старец смолк и оцепенел, словно птица,

зачарованная змеей. Он заметил на оттоманке юношескую фигуру, облаченную в черное сукно.

— О мадемуазель Кабироль!..— пролепетал он наконец.

— Ну, что еще? — спросила танцовщица.

Она устремила свой взгляд в ту сторону, куда смотрел папаша Кардо, и, узнав второго клерка, расхохоталась; этот смех не только вызвал полное недоумение старца, но и заставил Оскара приподняться, так как Флорентина, взяв его за руку и глядя на ошеломленных дядю и племянника, снова разразилась смехом.

— Вы... здесь, племянник?..

— А... а, так это ваш племянник? — воскликнула Флорентина, снова расхохотавшись.— Вы мне никогда не говорили о нем. Разве Мариетта не увезла вас? — обратилась она к Оскару, который остолбенел от ужаса.— Что с ним станется, с бедным мальчиком?

— Это его дело,— сухо отозвался Кардо и направился к двери.

— Минутку, папаша Кардо! Вы должны помочь племяннику выбраться из беды, в которую он попал по моей вине: он играл на деньги своего патрона и спустил все его пятьсот франков, не говоря уж о моей тысяче, которую я дала ему, чтобы отыграться.

— Несчастный! Ты проиграл полторы тысячи? В твои годы?

— О дядюшка! дядюшка! — воскликнул бедный Оскар, которому эти слова открыли весь ужас его положения, и, сложив руки, он бросился перед дядей на колени.— Уже полдень, я погиб, опозорен... Господин Дерош будет беспощаден! Речь идет об одном важном деле, это для него вопрос самолюбия. Я должен был утром получить у секретаря решение суда по делу Ванденеса с Ванденесом! Как все это могло со мной случиться? Что теперь меня ждет? Спасите меня, заклинаю вас памятью моего отца и тетушки!.. Поедемте со мной к господину Дерошу, объясните ему, найдите какое-нибудь оправдание!

Эти мольбы прерывались горькими слезами и рыданьями, которые, кажется, тронули бы сфинкса в Луксорской пустыне!

— Ну что ж, старый скупердяй,— воскликнула тан-

цовщица, тоже плача,— неужели вы хотите опозорить собственного племянника, сына того, кому вы обязаны своим богатством; ведь этот мальчик — Оскар Юссон! Спасите его, иначе Титина отречется от тебя ради повелителя ее сердца!

— Но каким образом он очутился здесь? — спросил старик.

— Раз уж он забыл, что ему надо отправиться в суд за решением, о котором он говорит, значит, он был пьян и в изнеможении уснул на диване, неужели это непонятно? Жорж со своим кузеном вчера угощал клерков Дероша в «Канкальской скале».

Папаша Кардо недоверчиво смотрел на танцовщицу.

— Да вы подумайте, старая обезьяна: если бы тут было что-то другое, неужели я бы не сумела спрятать его получше?! — воскликнула она.

— На вот тебе пятьсот франков, шалопай! — обратился Кардо к племяннику. — Но больше ты от меня не получишь ни гроша. Пойди уладь, если можешь, это дело со своим патроном. Я верну мадемуазель Флорентине тысячу франков, которую она тебе одолжила; но тебя я больше знать не хочу!

Оскар поспешил убраться; однако, выйдя на улицу, он растерялся, не зная, куда идти.

В это страшное утро случай, который губит людей, и случай, который их спасает, казалось, боролись друг с другом, действуя с одинаковой силой за и против Оскара. Все же его ожидало поражение — ибо его патрон был из тех, кто никогда не отступает от своих решений.

Вернувшись домой и вспомнив о том, что̀ грозит ученику ее брата, Мариетта ужаснулась; она написала Годешалю записку и приложила к ней пятьсот франков, предупредив брата относительно вчерашнего опьянения Оскара и постигших его несчастий. Затем добрая девушка уснула, наказав своей горничной непре́менно отнести до семи часов записку в контору Дероша. Между тем Годешаль, поднявшись в шесть часов, обнаружил, что Оскара нет. Он сразу обо всем догадался и, взяв пятьсот франков из собственных сбережений, поспешил к секретарю за решением суда, чтобы в восемь уже представить копию на подпись Дерошу. Дерош, всегда встававший в четыре, появился в конторе в семь. Горничная Мариетты, не найдя брата

своей хозяйки в его мансарде, спустилась в контору, где ее встретил Дерош, и, конечно, вручила конверт ему.

— Это по делам конторы? — спросил патрон. — Я господин Дерош.

— Да вы сами посмотрите, сударь,— сказала горничная.

Дерош распечатал конверт и прочел записку. Увидев пятисотфранковую ассигнацию, он ушел к себе в кабинет, взбешенный поведением своего клерка. В половине восьмого он услышал голос Годешаля, диктовавшего одному из клерков заключение суда, а через несколько минут добряк Годешаль вошел с торжествующим видом в его кабинет.

— Кто был сегодня утром у Симона? Оскар Юссон? — спросил Дерош.

— Да, сударь,— отозвался Годешаль.

— А кто же ему дал деньги? — спросил стряпчий.

— Вы сами,— ответил Годешаль,— еще в субботу.

— Что же, пятисотфранковые ассигнации с неба валятся, что ли? — воскликнул Дерош. — Знаете что, Годешаль? Вы хороший малый, но этот мальчишка не заслуживает подобного великодушия. Я ненавижу болванов, но еще больше ненавижу людей, которые совершают проступки, несмотря на то, что окружены отеческой заботой. — И он передал Годешалю письмо Мариетты и присланные ею пятьсот франков. — Извините меня, что я вскрыл его,— продолжал он,— но горничная вашей сестры сказала мне, что письмо деловое. Оскара увольте.

— А сколько я возился с несчастным юнцом! — воскликнул Годешаль. — Этот негодяй Жорж Маре прямо какой-то злой гений Юссона. Оскару нужно бояться его, как огня. Уж не знаю, на что только он может толкнуть Оскара, если они встретятся еще в третий раз.

— Что вы имеете в виду?

Тогда Годешаль рассказал вкратце о мистификации во время поездки в Прэль.

— Ах, помню,— отозвался нотариус,— Жозеф Бридо в свое время говорил мне о проделке молодых людей; этой встрече мы обязаны благосклонностью графа де Серизи к брату Жозефа.

Но тут вошел Моро, так как с вопросом о наследстве

Ванденесов и для него было связано выгодное дельце. Маркиз хотел распродавать земли Ванденесов по частям, а брат его, граф, был против. Дерош, в пылу первого гнева, обрушил на голову посредника все те справедливые жалобы и мрачные пророчества, которые предназначались его бывшему второму клерку, и в результате самый горячий заступник несчастного юноши решил, что Оскар неисправим в своем тщеславии.

— Сделайте из него адвоката,— сказал Дерош,— ему осталась только диссертация; может быть, на таком поприще его недостатки окажутся достоинствами, так как красноречие большинства адвокатов объясняется их тщеславием.

В это время г-н Клапар был болен, и жена усердно ухаживала за ним,— трудная задача, тяжкий долг без надежды на вознаграждение. Больной изводил бедную женщину, до сих пор не представлявшую себе, на какие несносные капризы и ядовитые насмешки способен этот человек, остававшийся с ней с глазу на глаз целые дни, этот полуидиот, которого нищета сделала к тому же хитрым и мстительным. Отыскивая поводы, чтобы как можно больнее уколоть жену в самые чувствительные уголки ее материнского сердца, он каким-то образом догадался о страхах за будущее Оскара, которые терзали бедную женщину, знавшую склонности и недостатки сына. Да и в самом деле: если сын наносит матери такой удар, как прэльская история, она уже живет в постоянной тревоге; и по тому, как она расхваливала Оскара всякий раз, когда он добивался хоть какого-нибудь успеха, Клапар чувствовал, насколько сильны ее тайные опасения, и пользовался всяким предлогом, чтобы вызвать в ней тревогу.

— Ну, Оскар ведет себя лучше, чем я ожидала,— говорила она,— правда, я была уверена, что эта история с поездкой в Прэль — просто следствие юношеской неуравновешенности. Да и кто из молодых людей не ссвершает ошибок! Бедный мальчик! Он героически переносит все лишения, которые ему не пришлось бы испытать, будь жив его несчастный отец. Дай бог, чтобы он научился сдерживать свои страсти,— и т. д., и т. д.

И вот, пока на улицах Вандомской и Бетизи происходили вышеописанные катастрофы, Клапар, сидя у камина и кутаясь в дрянной халат, смотрел на жену, которая

тут же, в спальне, была занята приготовлением бульона, настойки из трав для мужа и завтрака для себя.

— Господи, как бы мне хотелось узнать, чем кончился вчерашний день? Оскар должен был завтракать в «Канкальской скале», а вечером быть у какой-то маркизы...

— О, не беспокойтесь, рано или поздно все его секреты откроются,— сказал муж. — Неужели вы верите в эту маркизу? Бросьте! Пылкий и склонный к мотовству малый вроде Оскара за червонцы всегда найдет каких-нибудь мнимых маркиз. Вот увидите, в одно прекрасное утро он свалится вам на шею с кучей долгов...

— Вы уж не знаете, что бы только выдумать, лишь бы привести меня в отчаянье! — воскликнула г-жа Клапар. — Вы жаловались, будто мой сын проедает ваше жалованье, а он вам никогда гроша не стоил. Вот уже два года, как у вас нет ни малейших оснований дурно отзываться об Оскаре, он стал теперь вторым клерком, ему помогают его дядя и господин Моро, да и он сам получает восемьсот франков. И если для нас на старости лет найдется кусок хлеба, мы будем этим обязаны моему дорогому мальчику. До чего же вы несправедливы...

— Вы называете мое предвиденье несправедливостью? — язвительно возразил больной.

Но тут раздался резкий звонок. Г-жа Клапар побежала отпирать и задержалась в первой комнате с Моро, пришедшим, чтобы смягчить удар, который Оскар, вследствие своего легкомыслия, опять готовился нанести несчастной матери.

— Как! Проиграл деньги патрона? — плача воскликнула г-жа Клапар.

— Ага! Что я вам говорил!—загремел Клапар, появляясь, словно привидение, на пороге гостиной, куда его неудержимо влекло любопытство.

— Но что мы теперь с ним будем делать? — спросила г-жа Клапар, которую горе лишило чувствительности к уколам мужа.

— Будь он моим сыном,— сказал Моро,— я бы спокойно отправил его тянуть жребий и, если бы ему выпал несчастливый номер, не стал бы нанимать ему заместителя. Вот уже второй раз ваш сын делает глупости из тщеславия. Ну что ж, может быть, на военном поприще тщеславие вдохновит его на подвиги и он сделает карьеру.

К тому же шесть лет военной службы, наверно, образумят его, а так как ему осталась только диссертация, не так уж будет плохо, если он потом все-таки вернется к адвокатуре и, уплатив, как говорится, налог кровью, сделается в двадцать шесть лет поверенным. По крайней мере на этот раз он будет строго наказан, он многое узнает на опыте и привыкнет к субординации. Перед тем как пройти стаж в суде, он пройдет определенный стаж в жизни!

— Вы бы не произнесли такого приговора над собственным сыном,— сказала г-жа Клапар,— или сердце отца совсем не то, что сердце матери. Мой бедный Оскар — солдат?..

— А вы что же, предпочли бы, чтобы он совершил бесчестный поступок и бросился вниз головой в Сену? Стряпчим ему уже не бывать, так вы считаете его достаточно разумным, чтобы стать адвокатом?.. А какая участь ждет его? Прежде чем остепениться, он успеет окончательно стать шалопаем. Дисциплина же по крайней мере вам его сбережет.

— Нельзя ли ему поступить в другую контору? Его дядя, Кардо, конечно, даст денег на заместителя, а Оскар посвятит старику свою диссертацию.

В эту минуту они услышали, что подъехал экипаж; в нем были пожитки возвращавшегося к матери несчастного молодого человека; вскоре появился и он сам.

— А, вот и ты, господин любезник! — воскликнул Клапар.

Оскар поцеловал мать и протянул г-ну Моро руку, но тот отказался ее пожать. Оскар ответил на это презрение взглядом, которому укоризна придала несвойственную ему дотоле смелость.

— Послушайте, господин Клапар,— сказал этот мальчик, вдруг ставший взрослым,— вы чертовски надоедаете моей бедной матушке, и это ваше право; на свое горе, она вам жена. Но я — другое дело! Через несколько месяцев — я совершеннолетний; и будь я даже несовершеннолетним — вы не имеете надо мной никаких прав. Благодаря вот этому человеку мы у вас никогда ничего не просили, я не стоил вам ни гроша и решительно ничем вам не обязан; поэтому оставьте меня в покое.

Клапар, услышав эту отповедь, удалился снова в

кресло у камина. Слова второго клерка, скрытый гнев, кипевший в этом двадцатилетнем юноше, только что получившем жестокий урок от своего друга Годешаля, навсегда отбили у больного охоту к дурацким выпадам.

— Это только увлечение, и вы поддались бы ему совершенно так же, как и я, будь вы моих лет,— сказал Оскар, обращаясь к Моро,— оно толкнуло меня на проступок, который Дерош считает серьезным, а на самом деле это всего-навсего оплошность. Я гораздо больше виню себя в том, что принял Флорентину из Гетэ за маркизу, а ее приятельниц за светских женщин, чем в том, что проиграл полторы тысячи франков после кутежа, когда решительно все, даже Годешаль, были пьяны. По крайней мере на этот раз я причинил вред только себе. Все это меня исправило. Если вы, господин Моро, согласны мне помочь, то даю вам клятву, что те шесть лет, в течение которых мне придется пробыть клерком, прежде чем сделаться стряпчим, пройдут без...

— Постой,— остановил его Моро,— у меня трое детей, и я не могу брать на себя никаких обязательств...

— Хорошо, хорошо,— обратилась к сыну г-жа Клапар, бросив на Моро укоризненный взгляд,— твой дядя Кардо...

— У меня нет больше дяди Кардо,— ответил Оскар и рассказал сцену, разыгравшуюся на Вандомской улице.

У г-жи Клапар ноги подкосились, она едва дотащилась до столовой и рухнула на стул.

— Этого ещё не хватало! — произнесла она, теряя сознание.

Моро взял бедную женщину на руки, отнес в спальню и положил на кровать. Оскар стоял неподвижно, ошеломленный.

— Тебе остается только поступить в солдаты,— сказал посредник, возвращаясь из спальни. — Этот дуралей Клапар не протянет, по-моему, и трех месяцев, твоя мать останется без гроша, и ту небольшую сумму, которой я вправе располагать, я должен сберечь для нее. Этого я не мог сказать тебе при ней. В армии у тебя будет хоть кусок хлеба и будет время подумать о том, какова жизнь для тех, у кого нет состояния.

— Но я ведь могу вытянуть и счастливый номер, — заметил Оскар.

— А что потом? Твоя мать честно выполнила по отношению к тебе свой долг: она дала тебе образование, она направила тебя по хорошей дороге, но ты сейчас свернул с нее, что же ты можешь предпринять? Без денег ничего не сделаешь, теперь ты сам это знаешь; а ты не из тех, кто способен начать карьеру с того, что снимет фрак и наденет на себя блузу ремесленника или рабочего. Да и мать тебя любит — неужели ты хочешь убить ее? Ведь она умрет, если ты так низко падешь.

Оскар, потрясенный до глубины души, уже не сдерживал слез, и они лились ручьем. Теперь он понимал, о чем говорит Моро, хотя в дни его первого проступка эти наставления были для него совершенно непонятными.

— Люди без состояния должны быть безупречны! — сказал Моро, не подозревая всей глубины этого жестокого наставления.

— Послезавтра я тяну жребий, ждать недолго, — отозвался Оскар. — Тогда выяснится моя судьба.

Моро, несмотря на внешнюю суровость, был глубоко огорчен; он оставил семейство на улице Серизе в полном отчаянии. Три дня спустя Оскар вытянул двадцать седьмой номер. Заботясь о бедном малом, бывший прэльский управляющий имел мужество отправиться к графу де Серизи и просить его покровительства, с тем чтобы Оскар был принят в кавалерию. Дело в том, что сын графа еле-еле окончил Политехническую школу, а потом по протекции поступил младшим лейтенантом в кавалерийский полк, которым командовал герцог Мофриньёз. Так, в своем горе Оскар имел хоть то небольшое утешение, что его по рекомендации графа де Серизи зачислили в один из лучших полков, и ему было обещано, что по истечении года его сделают вахмистром. Случай поставил бывшего клерка под начало сына г-на де Серизи.

Госпожа Клапар, подавленная всеми этими переживаниями, несколько дней никак не могла оправиться, а затем ею овладели мучительные угрызения совести, какие обычно появляются у матерей, которые некогда вели себя легкомысленно, а на старости лет склонны каяться. Она решила, что над ней тяготеет проклятие. Она приписала все несчастья, которые ее постигли во втором браке, и все несчастья сына — каре господа бога, заставляющего

ее искупить грехи и удовольствия молодости. Вскоре это предположение перешло в уверенность. Бедная мать — впервые за сорок лет — исповедовалась у викария церкви апостола Павла, аббата Годрона, который направил ее на стезю благочестия. Но женщина, столь обиженная жизнью и столь любящая, как г-жа Клапар, и без того неизбежно должна была стать набожной. Бывшая Аспазия времен Директории пожелала искупить свои грехи, чтобы привлечь милость божью на своего бедного Оскара, и вскоре целиком предалась покаянию, молитве и самой ревностной благотворительности. И г-же Клапар казалось, что она угодила богу, после того как ей все же удалось выходить г-на Клапара, который благодаря ее заботам остался в живых и продолжал мучить ее. Но она усматривала в тиранстве этого слабоумного десницу всевышнего, которая, наказуя, ласкает. Впрочем, Оскар вел себя безупречно и в 1830 году уже был квартирмейстером роты виконта де Серизи, что в линейных войсках дало бы ему чин младшего лейтенанта; полк же герцога де Мофриньёза принадлежал к королевской гвардии. Оскару Юссону было тогда двадцать пять лет. Королевская гвардия всегда несла гарнизонную службу в Париже или не дальше тридцати лье от столицы; поэтому молодой человек время от времени навещал мать и делился с ней своими горестями, так как был достаточно умен и понимал, что ему не быть офицером. В те времена чины в кавалерии почти целиком распределялись между младшими сыновьями дворянских семей, а люди, не имевшие частицы «де» перед фамилией, продвигались в чинах очень медленно. Все честолюбивые мечты Оскара сводились теперь к тому, чтобы уйти из гвардии и получить чин младшего лейтенанта в одном из линейных кавалерийских полков. В феврале 1830 года г-жа Клапар с помощью аббата Годрона, ставшего кюре в церкви апостола Павла, добилась покровительства супруги дофина, и молодой Юссон получил чин младшего лейтенанта.

Хотя честолюбивый Оскар казался чрезвычайно преданным Бурбонам, в глубине души он был либералом. Поэтому во время событий 1830 года он перешел на сторону народа. Этот поступок, повлиявший на исход борьбы в одном из важных пунктов, привлек к Оскару внимание общества. В августе праздновали победу. Оскар получил

чин лейтенанта и орден Почетного легиона и добился того, что его прикомандировали адъютантом к Лафайету, который в 1832 году произвел его в капитаны. Когда этого поклонника лучшей из республик сместили с поста командующего национальной гвардией королевства, Оскара Юссона, который был фанатически предан новой династии, назначили командиром эскадрона одного из полков, посланных в Африку во время первого похода наследного принца. Помощником командира этого полка был виконт де Серизи. Во время сражения при Макте, когда французам пришлось отступить перед арабами, виконт де Серизи был тяжело ранен и остался на поле боя, придавленный своей убитой лошадью. Тогда Оскар заявил своему эскадрону: «Господа, пусть это стоит нам жизни, но мы не можем покинуть нашего полковника...» Он бросился в атаку, и, увлеченные его примером, солдаты последовали за ним. Арабы так растерялись от этого неожиданного и бешеного натиска, что Оскару удалось подобрать виконта; он посадил раненого на свою лошадь и ускакал во весь опор, хотя во время этой операции, среди яростной схватки, сам был дважды ранен ятаганом в левую руку. За свой благородный поступок Оскар получил офицерский крест Почетного легиона и чин подполковника. Он с нежностью ухаживал за виконтом де Серизи, за которым вскоре приехала мать. Но виконт, болевший после ранений, как известно, умер в Тулоне. Графиня не разлучала своего сына с тем, кто вынес его из схватки и ухаживал за ним с такой преданностью. Оскар сам был настолько тяжело ранен в левую руку, что хирург, которого графиня привезла к сыну, признал необходимой ампутацию. А граф де Серизи простил Оскару его выходку во время путешествия в Прэль и, похоронив в часовне замка де Серизи своего последнего сына, стал считать себя даже в долгу перед Оскаром.

С битвы при Макте прошло немало времени, когда в одно майское утро у ворот гостиницы «Серебряный лев», на улице Фобур-Сен-Дени, вероятно в ожидании дилижанса, появилась старая дама, одетая в черное, под руку с мужчиной лет тридцати четырех, в котором прохожие могли легко узнать офицера в отставке, так как он был без руки, а в петлице его виднелась ленточка ордена Почетного легиона. Конечно, Пьеротену, владельцу дили-

жансов, обслуживавших долину Уазы и ходивших через Сен-Лё-Таверни и Лиль-Адан до Бомона, трудно было признать в этом смуглом офицере юного Оскара Юссона, которого он когда-то вез в Прэль. Г-жу Клапар, наконец овдовевшую, было так же трудно узнать, как и ее сына. Клапар, ставший одной из жертв покушения Фиески, больше сделал для жены своей смертью, чем всей своей жизнью. Лодырь и бездельник, Клапар, разумеется, уселся на бульваре Тампль, чтобы видеть, как пройдут войска. В результате благочестивая бедная вдова получила пожизненную пенсию в полторы тысячи франков согласно закону об обеспечении семейств тех, кто пострадал от взрыва адской машины.

В дилижансе, который теперь запрягали четверкой серых в яблоках лошадей, сделавших бы честь королевским почтовым каретам, имелись купе, общее отделение, ротонда и империал. Он в точности походил на дилижансы, называемые «гондолами», которые нынче конкурируют на версальской линии с железной дорогой. Прочная и вместе с тем легкая, опрятная и красиво покрашенная, карета была обита внутри синим сукном, на окнах висели шторы с мавританским узором, на скамьях лежали красные кожаные подушки. «Ласточка Уазы» вмещала девятнадцать пассажиров. Хотя Пьеротену уже стукнуло пятьдесят шесть лет, он мало изменился. Одетый в свою неизменную блузу поверх черного сюртука, он покуривал трубку, наблюдая, как два фактора в ливреях укладывают на просторном империале многочисленные пожитки пассажиров.

— У вас места заказаны? — спросил он Оскара и г-жу Клапар, рассматривая их и словно силясь что-то вспомнить.

— Да, два места в общем отделении на имя моего слуги Бельжамба, — отозвался Оскар. — Он должен был заказать их, когда уезжал вчера вечером.

— Ah! Вы, сударь, вероятно, новый бомонский сборщик податей? — сказал Пьеротен. — Вы едете на место племянника господина Маргерона?

— Да, — ответил Оскар, сжимая руку матери, которая намеревалась что-то возразить.

Теперь офицеру, в свою очередь, хотелось остаться некоторое время неузнанным.

Вдруг Оскар вздрогнул: он услышал с улицы голос Жоржа Маре, кричавшего:

— Пьеротен, у вас найдется еще одно место?

— Мне кажется, вы могли бы сказать «господин Пьеротен» и не драть глотку, — живо ответил владелец дилижансов Уазской долины.

Если бы не голос, Оскар ни за что не узнал бы мистификатора, уже дважды сыгравшего роковую роль в его жизни. Жорж почти совсем облысел, только над ушами сохранилось у него немного волос, которые были старательно взбиты, чтобы хоть слегка прикрыть голое темя. Излишняя полнота и толстый живот изменили до неузнаваемости облик этого некогда изящного молодого человека. Отталкивающий внешний вид и манера держаться говорили о низких страстях и постоянных кутежах: цвет лица у него был нездоровый, лицо огрубело и оплыло, как у пьяницы. Глаза утратили блеск и юношескую живость, которые могут сохраниться и в зрелом возрасте при благоразумном и трудолюбивом образе жизни. Жорж был одет небрежно, как человек, не заботящийся о своей внешности: на нем были панталоны со штрипками, сильно поношенные, но требовавшие по своему фасону лакированные сапоги. А сапоги его, нечищенные, на толстых подошвах, видимо, служили уже около года, что в Париже равняется трем. Полинявший жилет и фуляр, повязанный с претензией на изящество, хотя это и был просто старый шарф, говорили об отчаянном положении, до которого нередко доходят бывшие щеголи. К тому же, невзирая на утренний час, Жорж был во фраке, а не в рединготе, что уже свидетельствовало об истинной нищете! Этот фрак, вероятно, перевидавший немало балов, стал теперь повседневной одеждой, так же как его хозяин от богатства перешел к повседневному труду. Сукно на швах побелело, воротник засалился, обшлага обтрепались, и материя по краям висела бахромой. И Жорж еще дерзал привлекать к себе внимание желтыми, но довольно грязными перчатками, причем на одном из пальцев чернел перстень с печаткой. Вокруг фуляра, продетого сквозь замысловатое золотое кольцо, извивалась шелковая цепочка — имитация волосяной,— на которой, по-видимому, висели часы. Шляпа, хотя и довольно лихо заломленная, особенно подчеркивала нищету этого человека, кото-

рый не мог заплатить шестнадцати франков шляпнику и, видимо, перебивался со дня на день. Бывший возлюбленный Флорентины помахивал тростью с чеканным, позолоченным, но совершенно помятым набалдашником. Синие панталоны, клетчатый жилет, галстук небесного цвета и коленкоровая сорочка в розовую полоску говорили, несмотря на все свое убожество, о таком желании казаться чем-то, что этот контраст не только поражал — он был поучителен.

«И это Жорж! — подумал Оскар. — Человек, у которого было тридцать тысяч дохода, когда я с ним расстался!»

— У господина *де* Пьеротена есть еще свободное место в купе? — насмешливо спросил Жорж.

— Нет, мое купе занято пэром Франции, зятем господина Моро, бароном де Каналисом, его женой и тещей. У меня есть только одно место в общем отделении.

— Черт! Оказывается, пэры Франции при любых правительствах путешествуют в дилижансах Пьеротена! Я беру это место, — сказал Жорж, не забывший истории с г-ном де Серизи.

Он окинул внимательным взглядом Оскара и вдову, но не узнал ни сына, ни матери. Оскар на африканском солнце загорел; у него были пышные усы и густые бакенбарды; худое лицо и резкие черты гармонировали с военной выправкой. И ленточка офицерского ордена, и изувеченная рука, и строгость одежды — все это сбило бы Жоржа с толку, даже если бы у него и сохранились хоть какие-нибудь воспоминания о его давнишней жертве. Что касается г-жи Клапар, которую Жорж некогда видел лишь мельком, то десять лет, посвященные самому суровому благочестию, совсем ее изменили. Никто не подумал бы, что эта женщина — почти монахиня — была одной из Аспазий 1797 года.

Грузный старик в простом, но добротном платье — Оскар сейчас же узнал в нем дядюшку Леже — медленно приближался, волоча ноги; он дружески поздоровался с Пьеротеном, видимо, относившимся к нему с тем почтением, которое всюду питают к богачам.

— Да это дядюшка Леже! И он становится все внушительнее! — воскликнул Жорж.

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЖИЗНИ».

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЖИЗНИ»

— С кем имею честь?.. — сухо спросил дядюшка Леже.

— Как? Вы не узнаете полковника Жоржа, друга Али-паши? Мы с вами однажды путешествовали вместе с графом де Серизи, который ехал инкогнито.

Одной из самых распространенных глупостей среди людей опустившихся является желание непременно кого-то узнавать и стараться быть узнанным.

— А вы изрядно изменились, — ответил старик посредник, ставший миллионщиком.

— Все меняется, — отозвался Жорж. — Разве «Серебряный лев» или дилижанс Пьеротена похожи на то, чем они были четырнадцать лет назад?

— Пьеротену теперь одному принадлежат все почтовые кареты долины Уазы, и они у него превосходные,— ответил г-н Леже.— Он теперь бомонский домовладелец, хозяин постоялого двора, где останавливаются приезжающие в дилижансах; у него есть жена и дочь, и не какая-нибудь деревенщина...

Из дверей гостиницы вышел старик лет семидесяти и присоединился к путешественникам, ожидавшим минуты, когда можно будет сесть в дилижанс.

— Что ж, папаша Ребер, — сказал Леже, — недостает только вашей знаменитости.

— Вон она, — сказал управляющий графа де Серизи, указывая на Жозефа Бридо.

Ни Жорж, ни Оскар не могли узнать прославленного художника, — его лицо, теперь всем столь известное, было крайне изможденно, и держался он с той самоуверенностью, которую придает успех. В петлице его черного редингота виднелась ленточка ордена Почетного легиона. Одет он был чрезвычайно изысканно — по-видимому, собирался за город на какое-нибудь торжество.

В это время из конторы, занимавшей бывшую кухню «Серебряного льва», вышел служащий с листом бумаги в руке и остановился перед дверцей пустого купе.

— Господин де Каналис с супругой — три места! — крикнул он. Затем вошел внутрь дилижанса и начал перечислять: — Господин Бельжамб — два места. Господин де Ребер — три места. Господин... как ваше имя? — обратился он к Жоржу.

— Жорж Маре, — ответил вполголоса бывший богач.

Потом служащий подошел к ротонде, возле которой толпились кормилицы, сельские жители и владельцы молочных лавочек, шумно прощавшиеся друг с другом; усадив шесть пассажиров, служащий вызвал четырех молодых людей, которые взобрались на империал, и вместо всякого сигнала сказал:

— Трогай!

Пьеротен поместился рядом с кучером, молодым человеком в блузе, который в свою очередь крикнул лошадям:

— Но...о, пошли!

Четверка лошадей, купленная в Руа, не спеша побежала в гору, через предместье Сен-Дени; но, поднявшись над Сен-Лореном, дилижанс покатил, точно почтовая карета, и через сорок минут был уже в деревне Сен-Дени. Пьеротен не остановился у трактира, славившегося слоеными пирожками, а свернул влево от Сен-Дени, на дорогу, которая ведет в долину Монморанси.

На этом повороте Жорж наконец нарушил молчание, которое царило до сих пор среди пассажиров, разглядывавших друг друга.

— Теперь дилижансы ходят все-таки побыстрее, чем пятнадцать лет назад,— сказал он, вынимая серебряные часы, — правда, папаша Леже?

— Люди великодушно зовут меня *господин* Леже, — поправил его миллионщик.

— Да ведь это тот самый проказник, который ехал с нами при моей первой поездке в Прэль! — воскликнул Жозеф Бридо. — Ну что ж? Участвовали вы еще в походах — в Азии, в Африке, в Америке? — спросил знаменитый художник.

— Черт побери, я участвовал в Июльской революции, и этого слишком достаточно, ибо она меня разорила...

— А, вы участвовали в Июльской революции? — сказал художник. — Это меня не удивляет; я никак не мог поверить тем, кто утверждает, будто она сделалась сама собой.

— Как тесен мир, — заметил г-н Леже, глядя на г-на де Ребера. — Смотрите, папаша Ребер, вот клерк того нотариуса, которому вы, вероятно, обязаны своим местом управляющего именьями семьи де Серизи...

— Недостает только Мистигри, теперь прославивше-

гося под именем Леона де Лора́, да того глупого юнца, что стал распространяться насчет накожных болезней графа, от которых он в конце концов излечился, и насчет супруги графа, с которой он наконец расстался, чтобы мирно окончить свои дни, — сказал Жозеф Бридо.

— Не хватает и самого графа, — заметил Ребер.

— О, я думаю, что последнее путешествие, которое он совершит, будет из Прэля в Лиль-Адан, чтобы присутствовать на моем бракосочетании,— меланхолически заметил Жозеф Бридо.

— Он еще катается в экипаже по своему парку, — сказал старик Ребер.

— А супруга часто его навещает? — спросил Леже.

— Раз в месяц, — ответил Ребер. — Она по-прежнему предпочитает Париж; в прошлом сентябре она выдала замуж свою племянницу, мадемуазель де Рувр, — на которую перенесла всю свою любовь, — за молодого, очень богатого поляка, графа Лагинского.

— А к кому перейдут земли господина де Серизи?— спросила г-жа Клапар.

— К его жене, которая его и похоронит, — ответил Жорж.—Для пятидесятичетырехлетней женщины графиня очень хорошо сохранилась, она всегда прекрасно одета; и на расстоянии она еще вызывает некоторые иллюзии...

— У вас она еще долго будет вызывать иллюзии, — сказал Леже, словно в отместку мистификатору.

— Я отношусь к ней с большим уважением, — ответил ему Жорж. — А кстати, куда делся тот управляющий, которого тогда уволили?

— Моро? — спросил Леже. — Он же депутат от департамента Уазы.

— А-а! Так вот это кто — знаменитый «депутат центра Моро Уазский»! — заметил Жорж.

— Да, господин Моро Уазский, — ответил Леже. — Он поработал для Июльской революции побольше вашего и в конце концов купил великолепное поместье Пуэнтель, между Прэлем и Бомоном.

— О! Рядом с тем, которым он управлял? Под боком у своего бывшего хозяина? У господина Моро не очень-то хороший вкус,— заявил Жорж.

— Не говорите так громко, — заметил г-н де Ребер,—

в купе находится госпожа Моро с дочерью, баронессой де Каналис, а также ее зять, бывший министр.

— Какое же он дал за дочерью приданое, чтобы выдать ее за нашего знаменитого оратора?

— Да что-то около двух миллионов, — сказал папаша Леже.

— У Моро был вкус к миллионам, — улыбаясь, сказал Жорж вполголоса, — он начал наживаться еще в Прэле...

— Ни слова больше о господине Моро! — живо воскликнул Оскар. — Мне кажется, вам уже пора бы научиться в дилижансах держать язык за зубами.

Жозеф Бридо несколько секунд всматривался в безрукого офицера, потом воскликнул:

— Вы не стали посланником, но эта ленточка свидетельствует о том, что вы вышли в люди и достигли этого благородными поступками, — мой брат и генерал Жирудо не раз упоминали о вас в своих рапортах...

— Оскар Юссон! — удивился Жорж.— Ну, знаете, если бы не голос, я бы вас не узнал.

— Ах, это вы так храбро вырвали виконта Жюля де Серизи из рук арабов? — спросил де Ребер. — И это вам граф предоставил место сборщика налогов в Бомоне, пока не освободится вакансия в Понтуазе?

— Да, сударь, — сказал Оскар.

— В таком случае,—заметил знаменитый художник,— окажите мне честь присутствовать на моей свадьбе, в Лиль-Адане.

— А на ком вы женитесь? — спросил Оскар.

— На мадемуазель Леже, — ответил художник, — внучке господина де Ребера. Граф де Серизи был так добр, что устроил этот брак, а я и без того уж многим обязан ему как художник. Но, перед тем как умереть, он решил заняться моим состоянием, о котором я сам и не помышлял...

— Значит, папаша Леже женился... — начал Жорж.

— На моей дочери, — ответил г-н де Ребер, — и без приданого.

— И у него были дети?

— Дочь. Этого вполне достаточно для человека, который овдовел и до того не имел детей, — ответил папаша Леже. — У меня, как и у Моро, моего компаньона, зятем будет знаменитость.

— И вы, — продолжал Жорж, обращаясь к папаше Леже уже с некоторым почтением, — вы живете по-прежнему в Лиль-Адане?

— Да, я купил Кассан.

— Ну что ж, я рад, что проезжаю именно сегодня через долину Уазы, — сказал Жорж. — Вы можете быть мне полезны, господа.

— Чем? — спросил г-н Леже.

— Вот чем. Я служу в компании «Надежда»,— сказал Жорж,— эта компания только что возникла, ее устав будет утвержден королевским указом. Это учреждение предполагает через десять лет давать девушкам приданое, а старикам — пожизненные пенсии; оно намерено платить за образование детей; словом, оно берет на себя заботу о всеобщем благосостоянии...

— Верю,— сказал папаша Леже, улыбаясь.— Короче говоря, вы страховой агент.

— Нет, сударь, я главный инспектор, и мне поручено подыскать по всей Франции корреспондентов и агентов; а пока я действую один, ведь найти честных агентов — дело трудное и щекотливое...

— Но как же вы лишились своих тридцати тысяч дохода? — спросил Жоржа Оскар.

— Так же, как вы лишились руки,— сухо ответил бывший кандидат в нотариусы бывшему кандидату в стряпчие.

— Вероятно, вы с помощью вашего состояния совершили какие-нибудь героические дела? — спросил Оскар с горькой насмешкой.

— Ну да, черт возьми! К несчастью, даже слишком много дел... Так что остался не у дел.

Дилижанс прибыл в Сен-Лё-Таверни, и пассажиры высадились. Пока перепрягали лошадей, Оскар восхищался тем, с какой ловкостью Пьеротен отстегивает подножки, а кучер разнуздывает пристяжных.

«Этот бедный Пьеротен, как и я, не слишком преуспел в жизни, — думал Оскар. — Жорж впал в нищету. Все остальные, с помощью спекуляций или таланта, добились успеха...»

— Мы завтракаем здесь, Пьеротен? — спросил он вслух, хлопнув старика по плечу.

— Я не кучер, — сказал Пьеротен.

— А кто же вы? — спросил полковник Юссон.

— Владелец, — ответил Пьеротен.

— Ну, не сердитесь на старых знакомых, — продолжал все тем же тоном превосходства Оскар и указал на свою мать. — Разве вы не узнаете госпожу Клапар?

Оскар познакомил свою мать с Пьеротеном, и это было тем похвальнее с его стороны, что в эту минуту г-жа Моро Уазская покинула свое место и, услышав фамилию Клапар, презрительно посмотрела на Оскара и его мать.

— Ну, сударыня, ни за что бы не узнал ни вас, ни вашего сына. Видно, в Африке солнце здорово печет?..

В той своеобразной жалости, которую Оскар испытывал к Пьеротену, сказался последний остаток его тщеславия, и он был за него еще раз наказан, хотя и довольно мягко. Вот как это произошло.

Два месяца спустя после того, как Оскар обосновался в Бомоне-на-Уазе, он начал ухаживать за мадемуазель Жоржеттой Пьеротен, за которой отец давал полтораста тысяч франков приданого, и в конце зимы 1838 года женился на дочери владельца почтово-пассажирской конторы в долине Уазы.

История, происшедшая с Оскаром во время путешествия в Прэль, научила его сдержанности; вечер у Флорентины укрепил в нем честность; суровые испытания военной службы показали ему значение социальной иерархии и внушили покорность судьбе. Благоразумие и способности привели его к счастью. Перед своей смертью граф выхлопотал ему должность сборщика податей в Понтуазском округе. Покровительство г-на Моро Уазского, а также графини де Серизи и барона де Каналиса, который рано или поздно снова станет министром, сулит г-ну Юссону место главного сборщика податей, и семейство Камюзо теперь признает его за родственника.

Оскар — обыкновенный человек, мягкий, скромный и без притязаний; как и его правительство, он придерживается золотой середины. Он не вызывает ни зависти, ни презрения. Словом — это современный буржуа.

Париж, февраль 1842 года.

МОДЕСТА МИНЬОН

Посвящается польке.

Дочь порабощенной земли, ангел по чистоте любви, демон по безмерности фантазии, младенец по наивности веры, старец по опыту жизни, мужчина по силе ума, женщина по чуткости сердца, титан по безграничности надежд, мать по терпению в страданиях и поэт по полету мечты,— тебе, которая к тому же сама Красота, посвящаю я этот труд, где твоя любовь, твоя фантазия, твоя вера, твой опыт, твое страдание, твоя надежда и твои мечты — основа, из коей соткано повествование, правда менее блестящее, чем поэзия твоей души, которая, отражаясь в твоих чертах, говорит тому, кто восхищается тобой, так же много, как говорят ученому письмена исчезнувшего языка.

Де Бальзак.

В начале октября 1829 года нотариус Симон-Бабилас Латурнель направлялся из Гавра в Ингувиль; он шел под руку с сыном, за ним следовала его супруга, которую, словно паж, сопровождал старший клерк нотариальной конторы, маленький горбун по имени Жан Бутша. Когда наши путники — а по меньшей мере двое из них проходили здесь каждый вечер — дошли до поворота дороги, вьющейся вверх по холму наподобие итальянских тропинок, нотариус внимательно огляделся вокруг, как бы желая удостовериться, что их не могут подслушать ни сверху, ни снизу, ни спереди, ни сзади, и, понизив из предосторожности голос, обратился к сыну:

— Вот что, Эксюпер, я хочу поручить тебе несложную роль, постарайся сыграть ее половчее. Сейчас рас-

скажу, что тебе надлежит делать. Но сам ты не доискивайся до смысла, а если поймешь, в чем дело, немедленно забудь свою догадку и потопи ее в водах Стикса, ибо в душе нотариуса, да и любого человека, готовящегося к юридической карьере, имеется свой Стикс, который бесследно поглощает чужие тайны. Прежде всего засвидетельствуй свое глубокое уважение, почтение и преданность госпоже Миньон и ее дочери, супругам Дюме и господину Гобенхейму, если он тоже окажется в Шале, затем, когда присутствующие забудут о тебе и замолчат, господин Дюме отзовет тебя в сторону. Все время, пока он будет с тобой говорить, внимательно наблюдай за мадемуазель Модестой (я тебе это разрешаю). Мой достойный друг попросит тебя выйти из дому и побродить пока по окрестностям, и приблизительно через час, часов в девять, ты вернешься с таким видом, будто страшно спешил. Смотри же сделай все, как нужно: вбеги, запыхавшись, и шепни ему на ухо, но так, чтобы мадемуазель Модеста тебя слышала: «Молодой человек пришел!»

На следующее утро Латурнель-сын отбывал в Париж, где он должен был приступить к изучению права. Вот почему г-н Латурнель и предложил своему другу Дюме воспользоваться услугами юного Эксюпера, которому отводилась не последняя роль в готовящемся заговоре, если судить по приведенному выше разговору.

— Неужели мадемуазель Модесту подозревают в любовной интриге? — робко спросил Бутша супругу своего патрона.

— Молчи, Бутша,— отрезала г-жа Латурнель, беря под руку мужа.

Госпожа Латурнель, дочь секретаря суда первой инстанции, была твердо убеждена, что в силу своего происхождения она вправе считать себя принадлежащей к высокопоставленной судейской семье. Теперь вам понятно, почему сия почтенная дама с багрово-красным лицом выступает столь величаво, будто она собственной персоной олицетворяет тот суд, решения которого строчит ее папаша. Она нюхает табак, держится прямо, словно проглотила аршин, важничает и как нельзя больше походит на мумию, которую с помощью гальванического тока вернули на минуту к жизни. Она пытается смягчить

свой резкий голос аристократическими нотками, но это ей удается так же плохо, как и старание скрыть свою необразованность. Можно безошибочно определить общественный вес г-жи Латурнель — достаточно взглянуть на ее чепцы, украшенные букетами искусственных цветов, на ее накладные букли, кокетливо взбитые на висках, на цвет и фасон ее платьев. Впрочем, не будь на свете особ, подобных г-же Латурнель, что делали бы купцы со своими товарами? Возможно, что смешные стороны этой почтенной дамы, в сущности доброй и благочестивой, не так бы бросались в глаза, если бы природа, которая любит иногда подшутить, производя на свет столь нелепые создания, не наградила ее вдобавок гренадерским ростом, как бы желая еще ярче оттенить все ухищрения ее провинциального кокетства. Она никогда не выезжала из Гавра, она верит в непогрешимость Гавра, она все закупает в Гавре, она только здесь заказывает свои туалеты, она называет себя прирожденной нормандкой, почитает своего отца и обожает мужа. Низенький Латурнель имел смелость жениться на ней, когда она уже была перезрелой тридцатитрехлетней девицей, и прижил с нею сына. Те шестьдесят тысяч приданого, которые дал секретарь суда за дочерью, г-н Латурнель мог бы получить и за какой-нибудь другой невестой, поэтому сограждане приписали это редкостное бесстрашие желанию избежать вторжения Минотавра, от которого вряд ли уберегли бы нотариуса его личные качества, имей он неосторожность подвергнуть опасности свой семейный очаг, взяв в жены молоденькую и хорошенькую особу. Нотариус вполне искренне оценил неоспоримые достоинства мадемуазель Агнесы (ее звали Агнесой), а также не замедлил убедиться, как скоро наружность жены перестает существовать для мужа. Что же касается их ничем не примечательного отпрыска, которому дед, секретарь суда, дал при крещении свое нормандское имя, то г-жа Латурнель до сих пор не может опомниться от счастья материнства, несколько, правда, запоздалого, ибо она произвела сына в тридцать пять с лишним лет и, кажется, даже теперь в случае необходимости могла бы кормить своего Эксюпера грудью: гипербола, наиболее верно передающая ее неистовое материнское обожание.

— Посмотрите, до чего же он хорош! — говорила

г-жа Латурнель своей молоденькой приятельнице Модесте, без всякой, впрочем, задней мысли, указывая на своего ненаглядного красавца Эксюпера, когда он важно выступал впереди дам, отправляющихся к обедне.

— Он похож на вас,— отвечала Модеста Миньон тем тоном, каким обычно говорят: «Ну и погода, ужас что такое!»

Мы намеренно привлекли внимание читателя к Эксюперу — персонажу более чем второстепенному, но надо помнить, что г-жа Латурнель уже в течение трех лет была наперсницей девушки, которой нотариус и его друг Дюме готовили западню, именуемую в «Физиологии брака» *мышеловкой.*

Что касается самого Латурнеля, то представьте себе низенького добродушного человечка, хитрого в той мере, в какой могут быть хитрыми вполне порядочные люди. Увидев впервые его странную физиономию, вы наверняка сочли бы его завзятым мошенником, но жители Гавра пригляделись к своему нотариусу. Из-за «слабого», как принято говорить, зрения почтенный нотариус носит зеленые очки, чтобы защитить от яркого света свои вечно красные глазки. Довольно жидкие брови отделены от очков узенькой полоской кожи, и кажется, что темная оправа очков повторена линией надбровных дуг. Подобные физиономии интригуют своей необычайностью,— достаточно посмотреть, какое впечатление производят на прохожего описанные нами два полукружия, расположенные одно над другим и разделенные впадиной, представьте к тому же бледное, изможденное лицо с остроконечной бородкой, как у Мефистофеля, которого художники пишут, взяв за модель кошачью голову; именно такова была физиономия г-на Бабиласа Латурнеля. Над безобразными зелеными его очками возвышается голый череп самого плутовского вида, ибо прикрывающий этот череп парик движется сам по себе, словно живой, и вечно сползает набок или на лоб, нескромно показывая космы седых волос. Напрасно будете вы вглядываться в этого честнейшего в мире человека, похожего в черном своем сюртуке на жука, насаженного, как на две булавки, на две тоненькие ножки, и напрасно будете доискиваться смысла этих физиогномических противоречий.

Жана Бутша — незаконного сына, брошенного

отцом,— приютили в свое время секретарь Лаброс и его дочь Агнеса, и горбун благодаря упорному труду стал старшим клерком; он живет и столуется у своего патрона и получает девятьсот франков в год. Старообразный карлик Жан поклоняется Модесте, как божеству; он готов отдать за нее жизнь. Лицо его изрыто оспой и кажется еще меньше под шапкой жестких курчавых волос; из-под тяжелых полуопущенных век сверкает, как молния, пронзительный взгляд; бедняга не знает, куда девать свои огромные руки, и с семилетнего возраста постоянно чувствует на себе сострадательные взгляды окружающих. Разве сказанного не достаточно, чтобы объяснить его характер? Молчаливый, углубленный в себя, религиозный, известный примерным поведением, он вечно странствует в воображении по необозримым просторам страны, которая носит на карте Нежности название Безнадежной любви, и по бесплодной, но величественной пустыне Желания. Модеста окрестила нелепого Бутшу — Таинственным карликом. Узнав об этом, старший клерк прочитал роман Вальтера Скотта и сказал Модесте:

— Не угодно ли вам принять сей амулет — розу из рук вашего Таинственного карлика?

Модеста бросила на своего обожателя уничтожающий взгляд, которым молодые девушки умеют осадить назойливого и жалкого кавалера, и несчастный Бутша разом упал с облаков на землю. Бутша сам прозвал себя «безыменный клерк», не ведая, что этот каламбур относится ко времени появления дощечек на дверях должностных лиц, но он, подобно супруге своего патрона, никогда не выезжал из Гавра.

Тому, кто не знает Гавра, небесполезно будет получить о нем хотя бы краткие сведения, ибо только в этом случае читатель поймет, куда направлялось семейство Латурнелей (можно смело сказать, что старший клерк был членом семьи нотариуса). Ингувиль расположен по отношению к Гавру так же, как Монмартр по отношению к Парижу: это предместье лежит на высоком холме, у подножия которого расстилается город. Разница лишь в том, что в данном случае и город и холм опоясывает не только Сена, но и море, в том, что Гавр тесно сжат кольцом укреплений, и в том наконец, что устье реки, порт и доки являют собой совсем иную картину, чем пятьдесят

тысяч парижских домов. Шиферные крыши, окружающие подножие Монмартра, кажутся застывшим океаном, вздыбившим синеватые свои волны. В Ингувиле, наоборот, крыши словно колеблются под порывами ветра. Возвышенность идет от Руана, вплоть до моря, вдоль берега реки, то удаляясь, то приближаясь к ее водам; города, ущелья, долины, луга придают ей необычайно живописный вид. Начиная с 1816 года — эпохи расцвета Гавра — Ингувиль приобрел широкую известность. Он стал для гаврских коммерсантов новым Отейлем, Виль д'Аврэ и Монморанси; они построили там виллы, идущие уступами по склону холма, чтобы дышать морским воздухом, насыщенным ароматом роскошных садов. Эти ловкие дельцы отдыхают на лоне природы от утомительных часов, проведенных в конторах, от духоты своих городских домов, которые стоят вплотную друг к другу, так что нет между ними ни свободного пространства, ни даже дворика; эта скученность объясняется значительным приростом населения, переустройством и расширением доков и незыблемой стеной городских укреплений. И впрямь, как мрачно в центре Гавра и как радостно в Ингувиле! Подчиняясь закону общественного развития, у подножия холма выросло, как гриб, предместье Гравиль, в настоящее время более населенное, чем сам Гавр, и вытянулось наподобие змеи. На холме в Ингувиле имеется только одна улица, и понятно, что особняки, обращенные фасадом к Сене, обладают огромным преимуществом перед домами, стоящими по другую сторону улицы; они загораживают последним весь вид, и кажется, что те встают на цыпочки, чтобы заглянуть через соседние крыши, как любопытный зритель старается заглянуть через плечо соседа. И здесь, как и повсюду, существует неравенство. Дома, выстроенные на самой вершине холма, занимают наиболее выгодное положение, и их владельцы имеют право свободно наслаждаться прекрасным пейзажем, в силу чего соседи вынуждены строго ограничивать высоту своих построек. Ниже скала причудливой формы изрыта дорогами, бороздящими ее склоны. Через ее расщелины можно любоваться, правда только из некоторых вилл, видом на город, на реку или на море. Сам холм довольно круто спускается к морю. В конце улицы, пересекающей вершину холма, от-

крывается вид на бухточки, где ревет океан, и на ущелья, где приютились две-три деревушки, носящие имена святой Адрессы и еще каких-то святых.

Этот почти пустынный склон Ингувиля являет собой резкий контраст с великолепными виллами, обращенными фасадом к долине Сены. Опасаются ли здесь резких порывов ветра, губительных для растительности? Или негоцианты боятся расходов, неизбежных при обработке земель, расположенных на склонах? Как бы то ни было, но каждый путешественник непременно удивится, заметив с борта парохода, к западу от Ингувиля, голый, весь в рытвинах берег, который похож на бедняка в жалких лохмотьях рядом с роскошно одетым, надушенным богачом.

В 1829 году один из крайних домов, обращенных к морю, который в настоящее время, должно быть, находится в центре Ингувиля, назывался, а возможно называется и теперь,— *Шале*. Первоначально это был просто домик привратника с палисадником, разбитым перед окнами. Хозяин виллы, которому принадлежал этот домик, равно как и парк, сады, вольера, оранжерея и луга, задумал перестроить его на манер коттеджа, чтобы он гармонировал с роскошью его собственного жилища. Свою виллу с площадкой, лужайкой, клумбами и газоном он отделил от коттеджа низкой каменной оградой, вдоль которой были посажены кусты, скрывающие ее от нескромных взоров. Позади коттеджа, за которым, вопреки всем стараниям владельца, так и осталось название Шале, находятся огород и фруктовый сад. Это Шале, при котором не имеется ни коров, ни молочной фермы, отделено от дороги простым частоколом, обвитым буйно разросшейся растительностью. Напротив, по другую сторону дороги, стоит дом, занимающий по сравнению с Шале самое невыгодное положение. Он также окружен частоколом и живой изгородью, которые, однако, отнюдь не мешают обитателям Шале любоваться видом на Гавр. Этот коттедж испортил немало крови теперешнему владельцу виллы Вилькену, и вот почему. Богач, превративший в земной рай свое поместье, где каждая мелочь так и кричит: «*Сюда вложены миллионы*», расширил парк в сторону деревни лишь для того, чтобы, по его словам, не иметь каких-то садовников у себя под носом.

В свое время, когда Шале было окончательно отстроено, каждому стало ясно, что в нем можно поселить только друга. Г-н Миньон, бывший хозяин всех этих владений, очень любил своего кассира Дюме, и из нашего рассказа будет видно, что последний отвечал ему тем же. Итак, г-н Миньон предложил Дюме поселиться в этом домике. Дюме, большой формалист, заставил своего патрона заключить договор на аренду Шале сроком на двенадцать лет и с платой в триста франков в год, на что г-н Миньон охотно согласился.

— Дорогой Дюме,— сказал он при этом,— подумай, ведь ты обязуешься прожить у меня целых двенадцать лет!

Вследствие событий, о которых будет рассказано ниже, владения г-на Миньона, когда-то самого богатого купца в Гавре, перешли к одному из его конкурентов, а именно к некоему Вилькену. Не помня себя от радости, что ему досталась знаменитая вилла Миньона, покупатель не предусмотрел расторжения арендного договора. В то время Дюме готов был подписать все, что бы ни потребовал Вилькен, лишь бы состоялась продажа. Но как только вилла была куплена, кассир не пожелал отступиться от своих прав арендатора, ибо видел в этом лучшее орудие мести. Он остался под носом у Вилькенов, он жил среди владений Вилькена, он наблюдал за Вилькеном, стеснял Вилькена, он назойливо преследовал всех Вилькенов, как слепень. Каждое утро, распахнув окно, Вилькен испытывал жгучее чувство досады, видя, как Шале, эта очаровательная игрушка, это чудо архитектурного искусства, стоившая шестьдесят тысяч франков, сверкает на солнце, как рубин. И верно, как рубин! Архитектор взял для постройки коттеджа красивые ярко-красные кирпичи и скрепил их белым раствором. Наличники и ставни окон выкрашены в светло-зеленый цвет, а вся прочая деревянная отделка — в желтовато-коричневый. Двускатная крыша выступает на несколько футов вперед. Весь второй этаж опоясывает нарядная галерея с резной балюстрадой, а по фасаду, на середине его, расположена стеклянная веранда. Нижний этаж Шале занимают прелестные гостиная и столовая, разделенные деревянной лестницей, резные перила которой отличаются изяществом и простотой. Столовая примыкает

непосредственно к кухне, а рядом с гостиной находится кабинет, который в те времена служил спальней супругам Дюме. Во втором этаже архитектор устроил две большие спальни; каждая из них имеет смежную с ней туалетную комнату, а веранда служит их общей гостиной. Затем, под самой крышей, напоминающей две сложенные игральные карты, помещаются довольно просторные комнатки для прислуги. Свет в них проникает через небольшие овальные окошки.

Мелочный Вилькен возвел каменную ограду со стороны фруктового сада и огорода. Мститель достиг своей цели — те несколько квадратных метров земли, которые были закреплены за Шале по арендному договору, превратились в маленький парижский садик. Службы, выстроенные и выкрашенные в полной гармонии с общим архитектурным ансамблем, прилегали теперь вплотную к стене соседнего владения.

Внутреннее убранство этого прелестного домика вполне соответствует его внешнему виду. Гостиная, где узорный паркет выложен из дерева тропической породы, радует взгляд росписью — подражание китайским лакам. На черном фоне в золотых рамках сверкают разноцветные птицы, причудливые зеленые ветви и фантастические китайские рисунки. Стены столовой отделаны панелями из сосны с кружевной резьбой, которая так украшает русские избы. Маленькая передняя, заключенная между площадкой лестницы и лестничной клеткой, выкрашена под старое дерево и отделана в готическом стиле. Убранство спален, обитых ситцем, свидетельствует о дорогостоящей простоте. Стены и потолок уютного кабинета, служившего теперь спальней кассира и его жены, сплошь обшиты деревом и напоминают своей отделкой каюту парохода. Не удивительно, что все эти причуды судовладельца г-на Миньона возбуждают ярость Вилькена. Одураченный покупатель мечтал поместить в этом коттедже свою дочь с мужем. Об этом проекте был осведомлен Дюме, и впоследствии вам станет понятным бретонское упорство кассира.

В Шале ведет небольшая решетчатая калитка, заостренные прутья которой выступают на несколько дюймов над частоколом и живой изгородью. Садик, равный по величине роскошному цветнику Вилькена, полон все-

возможных цветов — роз, георгинов, самых прекрасных, самых редких экземпляров оранжерейной флоры,— и не мудрено, так как маленькая оранжерея — еще один повод для страданий Вилькена — оранжерея-каприз, именуемая господской оранжереей, принадлежит Шале и отделяет его от виллы Вилькена или, если хотите, соединяет его с ней. Казначей Дюме отдыхал от своих обязанностей, ухаживая за редкостными цветами, которые составляли, пожалуй, самую большую радость Модесты. В прежнее время из бильярдной виллы Вилькена, напоминающей галерею, можно было проникнуть в оранжерею, пройдя через смежную с ней огромную вольеру в форме башенки. Но после постройки каменной ограды, закрывшей вид на фруктовый сад, Дюме заделал дверь, соединявшую оба здания.

— Стена за стену! — воскликнул он при этом.

— Вы и Дюме, оба, как видно, начали «стенать»!— острили гаврские коммерсанты, желая подразнить Вилькена. И с тех пор завистники всякий день встречали на бирже удачливого дельца новым каламбуром.

В 1827 году Вилькен предложил Дюме шесть тысяч франков жалованья и десять тысяч франков отступного за расторжение арендного договора, но казначей отказался, хотя получал всего тысячу экю у Гобенхейма, бывшего подчиненного своего патрона. Надо помнить, что Дюме — бретонец, пересаженный волей судьбы на нормандскую почву. Судите же сами о ненависти, которую затаил против обитателей Шале нормандец Вилькен, счастливый обладатель трех миллионов. Нет большего кощунства по отношению к миллионам, как доказать богачу бессилие золота! Вилькен, впавший в уныние, так как все его попытки отделаться от Дюме терпели неудачу, стал в Гавре притчей во языцех. Он дважды предлагал Дюме в полную собственность прекрасный дом и дважды получал отказ. Это упрямство начало беспокоить Гавр, но многие находили ему объяснение: Дюме — бретонец, и этим все сказано! А сам кассир просто считал, что г-же Миньон и особенно ее дочери Модесте будет неуютно в любом другом месте. По мнению Дюме, обожаемые им особы находились тут в храме, достойном их, и по крайней мере имели возможность пользоваться этой роскошной хижиной, где даже низложенные короли мог-

ли бы жить среди привычного величия, среди того декорума, которого так часто бывают лишены низверженные властители. Пусть читатель не посетует на то, что ему пришлось познакомиться с обстановкой, среди которой жила Модеста, и с ее обычным окружением, но на будущность любой девушки люди и вещи, среди которых она живет, влияют не меньше, чем врожденные свойства ее характера, если только на него уже не наложили отпечатка какие-либо неизгладимые впечатления.

Видя, как непринужденно Латурнели вошли в Шале, опытный наблюдатель справедливо заключил бы, что они бывают здесь каждый вечер.

— Вы уже здесь, мэтр? — воскликнул нотариус, заметив в гостиной Гобенхейма, молодого гаврского банкира, родственника Гобенхейма-Келлера, главы большого парижского банка.

Гобенхейм, еще молодой человек с мертвенно-бледным лицом, принадлежал к тем блондинам с черными глазами, неподвижный взгляд которых имеет какую-то магнетическую силу; скупой на слова и на жесты, весь в черном, худой, словно больной чахоткой, но крепко сложенный, он поддерживал дружеские отношения и с семьей своего бывшего патрона и со своим кассиром, но скорее по расчету, чем по сердечной склонности. В этом доме играли в вист по два су за фишку, сюда можно были прийти запросто, необязательно в парадном костюме, здесь можно было отказаться от угощения, ограничившись стаканом сахарной воды, и благодаря этому не отвечать приглашением на приглашение. Показной преданностью семейству Миньон Гобенхейм снискал в городе славу человека добросердечного и мог к тому же не появляться в гаврском обществе, избегая, таким образом, излишних трат и не нарушая строгой экономии и размеренного образа жизни, которых он неизменно придерживался. Этот ревностный почитатель золотого тельца ложился каждый вечер ровно в половине одиннадцатого и вставал ровно в пять. Наконец, уверенный в скромности Латурнеля и Бутши, Гобенхейм разбирал с ними самые щекотливые дела, бесплатно получал советы нотариуса и проникал в тайны городских сплетен. Молодой «златоглот», как прозвал его Бутша, был сродни тем субстанциям, которые называются в химии по-

глощающими. Со времени катастрофы, повлекшей разорение банкирского дома Миньона, где по желанию своих родственников Келлеров он изучал крупную морскую торговлю, никто в Шале не обратился к нему с просьбой, даже с самой незначительной: его ответ был известен заранее. Этот молодой человек смотрел на Модесту так равнодушно, словно перед ним была грошовая литография.

— Гобенхейм — колесико огромной машины, именуемой Торговлей,— говорил о нем несчастный Бутша, ум которого проявлялся порой в таких робких остротах.

Латурнели почтительно поздоровались с пожилой дамой, одетой в черное бархатное платье, которая не поднялась с кресла, так как оба ее глаза были поражены катарактой. Г-жу Миньон можно обрисовать в двух строках. Ее строгое и спокойное лицо, лицо благородной матери семейства, сразу привлекало к себе взгляд; казалось, безупречная жизнь должна была предохранить ее от несчастья, однако именно таких женщин судьба избирает мишенью для своих стрел, увеличивая плеяду Ниобей. Умело завитой и аккуратно надетый белокурый парик шел к ее бледному лицу, напоминавшему неподвижностью черт портреты кисти Миревельта, писавшего жен голландских бургомистров. Щеголеватая аккуратность туалета, бархатные ботинки, кружевной воротничок, красиво накинутая шаль свидетельствовали о нежной заботливости Модесты по отношению к матери.

Когда в уютной гостиной воцарилась, как это предвидел нотариус, непродолжительная тишина, Модеста, которая сидела возле матери и вышивала для нее косынку, привлекла на мгновение взоры всех присутствующих. Это любопытство, скрытое под банальными вопросами, которыми обмениваются с хозяевами не только редкие гости, но и люди, бывающие у них ежедневно, могло бы выдать самому равнодушному наблюдателю домашний заговор; но Гобенхейм был более чем равнодушен к окружающему и ничего не заметил. Он зажег свечи на ломберном столе. Мрачное настроение Дюме пугало не только Бутшу, Латурнелей, но и самое г-жу Дюме, ибо она прекрасно знала, что муж ее способен убить, как бешеную собаку, возлюбленного Модесты. После обеда кассир вышел погулять в сопровождении двух великолепных

овчарок, которым он, впрочем, перестал доверяться, после того как оставлял их на время у бывшего фермера г-на Миньона; перед самым приходом Латурнелей он снял пистолеты, висевшие у изголовья кровати, и положил их на камин, стараясь, чтобы Модеста ничего не заметила. Но девушка не обратила ни малейшего внимания на все эти по меньшей мере странные приготовления.

Хотя Дюме был мал ростом и нескладно сложен, хотя лицо его основательно попортила оспа и говорил он совсем тихо и с таким видом, словно прислушивался к собственным словам, ни один человек за все двадцать лет его пребывания на военной службе не осмелился подшутить над этим бретонцем, олицетворявшим собой хладнокровие и твердость. Его глазки серовато-голубого цвета напоминали две стальные полоски, его осанка, выражение лица, звук голоса, манеры — все соответствовало краткой фамилии — Дюме. К тому же его физическая сила была хорошо известна и предохраняла его от любых нападок. Он мог убить человека ударом кулака и совершил этот подвиг в Баутцене, когда, отбившись от своей роты, безоружный, столкнулся лицом к лицу с саксонцем. Сейчас решительное и короткое лицо Дюме приобрело величественно-трагическое выражение, его губы, тоже бледные, судорожно искривились, но он силой воли, как истый бретонец, тотчас же подавил волнение. Мелкие капельки холодного пота проступили у него на лбу, что было замечено всеми присутствующими. Нотариус Латурнель знал, что могла разыграться драма, подлежащая разбору суда присяжных. И действительно, для кассира в этой истории с Модестой Миньон дело шло о чести, вере и чувствах, гораздо более важных для него, нежели общественные условности, ибо вытекали они из таких взаимных обязательств, которые в случае несчастья подлежат не земному, а небесному суду. Сущность многих драм заключается в наших представлениях о вещах. События, кажущиеся полными драматизма, на самом деле являются только сюжетом, который мы облекаем, сообразно нашему характеру, в форму трагедии или комедии.

Жена нотариуса и г-жа Дюме, которым поручено было наблюдать за Модестой, вели себя как-то неесте-

ственно. Голос их дрожал, но сама обвиняемая ничего не заметила,— так увлеклась она рукоделием. Модеста клала каждый стежок с таким искусством, что могла бы поспорить даже с настоящей вышивальщицей. Ее лицо светилось от удовольствия, ибо она заканчивала вышивать последний лепесток последнего цветка. Карлик, сидя между супругой своего патрона и Гобенхеймом, с трудом сдерживал слезы, мучительно размышляя, под каким бы предлогом подойти к Модесте и шепнуть ей на ухо слова предостережения. Заняв место напротив г-жи Миньон, г-жа Латурнель с дьявольской хитростью, отличающей святош, сумела отгородить своим длинным корпусом Модесту от остального общества. Слепая, погруженная в молчание, была еще бледнее, чем обычно, и всем своим видом говорила, что она знает об испытании, готовящемся ее дочери. Быть может, в последнюю минуту она и порицала эту военную хитрость, но все же считала ее необходимой. Потому-то она и молчала так упорно. Душа ее плакала невидимыми слезами.

Эксюпер, главная пружина семейного заговора, не знал смысла всей пьесы, в которой, по воле случая, он должен был играть роль. В силу своего характера Гобенхейм держался так же беззаботно, как и Модеста. Искушенного наблюдателя потряс бы своим трагизмом этот контраст между полным неведением одних и напряженным вниманием других. Нынешние романисты охотно прибегают к таким эффектам, и они правы, ибо действительность во все времена была гораздо изобретательней, чем все вымыслы сочинителей. Здесь же, как вы увидите, социальная природа, являющаяся как бы природой в природе, решила завязать интригу позанятнее всякого романа, подобно тому как горные потоки вычерчивают фантастические рисунки, какие и не снились художникам, и, на зависть скульпторам и архитекторам, совершают подлинные чудеса, располагая и причудливо обтачивая камни. Было восемь часов вечера. В этот час медленно гаснут последние отблески дня, поглощенные сумерками. Небо было безоблачно чистым, теплый воздух ласкал землю, цветы благоухали, в тишине громко отдавались шаги редких прохожих да хрустел под их ногами песок. Море блестело, как зеркало; было так тихо,

что даже пламя свечей, стоявших на ломберном столе, не колебалось, несмотря на приоткрытые окна. Эта гостиная, вечер, этот дом — можно ли вообразить себе лучшую рамку для портрета девушки, за каждым движением которой присутствующие наблюдали с глубоким вниманием художника, застывшего перед изображением Маргариты Дони, одной из достопримечательностей палаццо Питти. Но заслуживает ли всех этих предосторожностей сама Модеста, сей цветок, охраняемый столь же зорко, как цветок, воспетый Катуллом? Вы уже ознакомились с клеткой, вот теперь и описание самой птички.

К этому времени Модеста достигла двадцатилетнего возраста; стройная, тонкая, похожая на тех сирен, которыми английские художники украшают свои альбомы красавиц, девушка являла собой, как некогда ее мать, кокетливое воплощение того неоцененного во Франции очарования, которое мы именуем сентиментальностью, а в Германии считают поэзией сердца, проявляющейся во внешнем облике: у дурочек оно переходит в жеманство, но неизъяснимо прекрасно у девушек умных. Модеста, с ее локонами, редчайшего бледно-золотого цвета, принадлежала к тому типу женщин, которых, очевидно, в память нашей праматери Евы, называют «златокудрыми ангелами», ее тонкая, как атлас, кожа бледнела под холодом взгляда и расцветала под его лаской, с которой не может сравниться самое нежное прикосновение. Легкие, как оперение южной птицы, волосы, уложенные буклями по английской моде, обрамляют спокойный лоб, бесстрастный до равнодушия, хотя и озаренный сиянием скрытых в головке мыслей; линии его так чисты, словно изваяны искуснейшим резцом. Но где и когда приходилось вам наблюдать такую безмятежность, такую лучезарную ясность? Кажется, будто лоб девушки излучает, подобно жемчужине, мягкий свет. В ее серовато-голубых глазах, ясных, как глаза ребенка, отражались в это мгновение вся ее чистота и лукавство, и это выражение вполне гармонировало с рисунком бровей, обозначенных легкими штрихами, словно их провела кисть китайского художника. Одухотворенная невинность этого лица еще более подчеркивалась белизной кожи, которая на висках и вокруг глаз напоминала по тону перламутр с голубы-

ми прожилками — отличительное свойство блондинок. Ее лицо, овал которого встречается у мадонн Рафаэля, покрыто девственным румянцем, нежным, как бенгальская роза, а длинные ресницы, окаймляющие прозрачные веки, отбрасывают на щеки легкую полутень. Хрупкая, молочной белизны шейка напоминает своими очертаниями мягкие линии, которые так любил Леонардо да Винчи. Несколько веснушек, похожих на мушки придворных дам XVIII века, свидетельствуют о том, что Модеста вполне земная девушка, а не олицетворение мечты, о которой грезила в Италии «небесная школа». Несколько насмешливые губы, довольно полные, но все же изящные, говорят о страстном темпераменте. Ее стан гибок, но не хрупок, ему не страшно материнство, как тем девушкам, которые возлагают такие большие надежды на осиную талию и безбожно затягиваются в корсет. Канифас, стальные планшетки и шнуровки лишь подчеркивали прирожденную гибкость девичьего стана Модесты, и его можно было сравнить с молодым тополем, гнущимся на ветру. Светло-серое платье с длинной талией, отделанной тесьмой вишневого цвета, целомудренно обрисовывало ее фигуру, а вышитая шемизетка, прикрывая еще несколько худые плечи, позволяла видеть очаровательную округлость груди.

При виде этого умного и в то же время мечтательного лица, которому твердая линия греческого носа придавала что-то трезво-положительное, при виде этого страстного изгиба рта, столь земного по сравнению с небесной поэзией, запечатленной на высоком ясном челе, при виде этих томных глаз, непрестанно менявших выражение, то светившихся наивностью, то искрившихся тонким лукавством, человек наблюдательный решил бы, что эта девушка, чей изощренный слух внимал всем житейским звукам и которая, казалось, вдыхала благоухание голубого цветка идеала, таит в себе борьбу поэзии солнечных восходов и прозаических забот, борьбу фантазии и действительности. Стыдливость Модесты отнюдь не умаляла интереса к жизни, и душевная чистота не мешала гадать о том, что уготовала ей судьба; такие девушки — скорее мадонны испанских мастеров, чем мадонны Рафаэля.

Когда Дюме сказал Эксюперу: «Подойдите сюда, мо-

лодой человек»,— она подняла голову от вышивания, но, увидев, что они вполголоса разговаривают в углу гостиной, решила, что речь идет о каком-то поручении в Париж. Затем Модеста посмотрела на сидевших вокруг нее гостей и, удивленная их молчанием, воскликнула самым естественным образом:

— Почему же вы не играете? — и она указала на зеленый стол, который рослая г-жа Латурнель торжественно именовала «алтарем».

— Что ж, давайте сыграем,— предложил Дюме, только что отославший куда-то юного Эксюпера.

— Пожалуйте сюда, Бутша,— скомандовала г-жа Латурнель и усадила старшего клерка в самый угол, отгородив его столом от г-жи Миньон и Модесты.

— А ты садись здесь! — сказал Дюме своей супруге, взглядом приказав ей не отходить от него.

Госпожа Дюме, тридцатишестилетняя миловидная американка, смахнула украдкой слезу: она обожала Модесту и со страхом ждала неминуемой катастрофы.

— Вы что-то невеселы сегодня,— заметила Модеста.

— Мы играем,— ответил Гобенхейм, тасуя карты.

Эта загадочная сцена несомненно приобретет еще больший интерес, когда читатель уяснит себе отношение Дюме к Модесте. Наше отступление будет по необходимости кратким, а следовательно, и сухим; пусть читатель не посетует, ибо это вызвано желанием автора поскорее покончить с первым эпизодом и вместе с тем рассказать о том главном, что лежит в основе каждой человеческой драмы.

Дюме (Анн-Франсуа-Бернар) родился в городе Ванн и в 1799 году поступил солдатом в Итальянскую армию. Отец Бернара Дюме, председательствовавший в революционном трибунале, отличался такой энергией, что после девятого термидора погиб на гильотине, и сыну этого довольно посредственного адвоката стало невозможно оставаться дольше в родных местах. Похоронив мать, умершую от горя, Дюме распродал свое имущество и в возрасте двадцати двух лет отправился в Италию, как раз в тот момент, когда наши войска терпели там поражение. Он встретился в департаменте Вар с молодым человеком, который по тем же самым причинам устремился на по-

иски славы, благоразумно полагая, что поле сражения менее опасно для него, чем Прованс. Шарль Миньон был последним отпрыском семьи, один из родоначальников которой, кардинал Миньон, облагодетельствовал Париж, проложив улицу и выстроив дворец. Отец Шарля, человек весьма ловкий, пожелал спасти от молний революции Лабасти — свое прекрасное родовое поместье в Конта́. Как все трусливые люди в те времена, граф де Лабасти, превратившись в гражданина Миньона, счел более благоразумным рубить чужие головы, чем подставлять свою. Этот новоявленный террорист исчез девятого термидора, и фамилия его была занесена в список эмигрантов. Графство де Лабасти было продано, опозоренные крепостные башни снесены. В конце концов гражданин Миньон, обнаруженный в округе Оранж, был убит вместе с женой и детьми; уцелел один лишь Шарль Миньон, которого отец отправил в департамент Верхних Альп, чтобы подыскать там надежное убежище для всей семьи. Сраженный ужасной вестью, Шарль решил переждать бурю в селении, расположенном в долине у подножия горы Жаневр. Он прожил там до 1799 года на несколько луидоров, которые при отъезде дал ему отец. Наконец в возрасте двадцати трех лет, не имея иного достояния, кроме представительной осанки и южной красоты, достигающей иногда совершенства, воплощенного в Антиное, прославленном любимце Адриана, Шарль решил, как и многие другие, попытать счастья на поле брани, приняв за призвание свою чисто провансальскую отвагу. Он встретился с бретонцем Дюме по пути в Ниццу — место сбора новобранцев. Вскоре они стали друзьями, чему немало способствовали сходство их судьбы и противоположность характеров; наши воины пили ключевую воду из одной кружки и делили пополам последний сухарь; мир, последовавший за битвой при Маренго, застал их обоих в чине сержантов.

Когда началась новая кампания, Шарль Миньон добился перевода в кавалерию и потерял из виду своего товарища. В 1812 году последний представитель семейства Миньон де Лабасти был кавалером ордена Почетного легиона и помощником командира кавалерийского полка. Он уже начинал надеяться, что император возвратит ему титул графа де Лабасти и пожалует чин полковника,

когда, захваченный в плен русскими, был отправлен в числе многих других в Сибирь. Он совершил это путешествие вместе с безвестным лейтенантом, в котором без труда узнал своего друга Дюме, храбреца, не имевшего, однако, ни единой медали на груди, несчастного, как и все эти сотни тысяч пехотинцев, толпы безыменных людей, послужившие Наполеону основой для его империи. В Сибири, томясь от безделья, подполковник стал обучать арифметике и письму бретонца, которому старик Дюме счел излишним дать образование. Шарль скоро убедился, что у его товарища по странствиям золотое сердце, и поверил ему свои печали и свои минувшие радости. Сыну Прованса в конце концов выпала счастливая карта, которая рано или поздно приходит всем красавцам. В 1804 году во Франкфурте-на-Майне в него до безумия влюбилась единственная дочь банкира Валленрода Беттина, и Шарль с восторгом женился на ней, тем паче что она была богата и считалась одной из первых красавиц в городе, а сам он в ту пору был всего-навсего лейтенантом, и единственное его богатство заключалось в весьма неверном будущем, как и у всех военных в те времена. Старик Валленрод, представитель угасающего рода немецких баронов (банкиры всегда бывают баронами), пришел в восторг от того, что блестящий лейтенант — единственный потомок рода Миньон де Лабасти, и одобрил выбор белокурой Беттины, которую художник — во Франкфурте тогда имелся таковой — изобразил в виде аллегорического образа Германии. Заранее называя своих будущих внуков графами де Лабасти-Валленрод, банкир поместил во французские бумаги сумму, достаточную для того, чтобы дочь его получала тридцать тысяч франков годового дохода. Выплата приданого ввиду его сравнительно небольших размеров не нанесла сколько-нибудь значительного ущерба банкирскому дому Валленрода. Империя, верная обычной политике должников, весьма неаккуратно выплачивала проценты, и Шарль был несколько испуган подобным помещением капитала, ибо он не верил так слепо, как барон, в императорского орла. Такие душевные движения, как вера или восхищение, а последнее есть не что иное, как скоропреходящая вера, редко возникают в непосредственной близости к кумиру. Машинист не доверяет локомотиву, которым

восхищается путешественник, а офицеры до известной степени были машинистами наполеоновского паровоза, если только не служили для него топливом. Барон де Валленрод-Тушталь-Бартенштильд обещал помогать молодой чете. Шарль любил Беттину Валленрод так же горячо, как и она его, а этим все сказано: когда провансалец увлечется, чувства его не знают предела. И как было ему не обожать эту блондинку, точно сошедшую с картины Альбрехта Дюрера и обладавшую не только ангельским характером, но и состоянием, известным во Франкфурте? У Шарля родилось четверо детей, но к тому времени, когда он изливал свое горе бретонцу, остались в живых только две дочери. Не зная этих двух девочек, Дюме всей душой полюбил их, безотчетно повинуясь тому чувству, в силу которого солдат как бы становится отцом любого ребенка и которое так хорошо изображал Шарле. Старшая девочка, по имени Беттина-Каролина, родилась в 1805 году, вторая — Мария-Модеста — в 1808 году. Несчастный подполковник, не имевший известия о дорогих для него существах, вернулся домой в 1814 году, пройдя пешком вместе с лейтенантом всю Россию и Пруссию. Два друга, для которых не существовало более различия в чинах, добрались до Франкфурта как раз в тот день, когда Наполеон высадился в Каннах. Шарль нашел жену во Франкфурте, но она носила траур, так как потеряла отца, который обожал ее и хотел видеть ее улыбку даже у своего смертного одра. Старик Валленрод не пережил разгрома Империи. В семьдесят два года он затеял спекуляции с хлопком, слепо веря в гений Наполеона и не ведая того, что события часто возносят гения, но еще чаще превращают его в свою игрушку. Последний из Валленродов, из подлинных Валленродов-Тушталь-Бартенштильдов, закупил почти столько же тюков хлопка, сколько потерял император людей во время своей знаменитой «французской кампании». Стараясь смягчить горе Беттины, пугавшее его, барон Валленрод, настоящий отец, такой же, как и старик Горио, сказал ей:

— Я умирай на хлопке; я умирай, но я никому нишефо не толшен.

Этот офранцузившийся немец даже на смертном одре

пытался говорить на том языке, который так любила его дочь.

Шарль Миньон обрадовался возможности спасти жену и дочерей от двойного крушения и вернулся в Париж, где император пожаловал ему чин полковника гвардейского кирасирского полка и звание командора ордена Почетного легиона. Полковник уже видел себя генералом и графом при первой же блестящей победе Наполеона, но мечта его потонула в потоках крови, пролившейся при Ватерлоо. Легко раненный, он отступил с войсками к Луаре и покинул Тур, не дожидаясь расформирования армии.

Весной 1816 года Шарль Миньон реализовал свои тридцать тысяч франков ренты и, получив около четырехсот тысяч франков капитала, решил покинуть родину, где начались преследования наполеоновских солдат, и попытать счастья в Америке. Он выехал из Парижа в Гавр в сопровождении верного Дюме, жизнь которого, благодаря столь частым на войне счастливым случаям, Шарлю удалось спасти, посадив его на круп своего коня во время отступления, последовавшего за разгромом при Ватерлоо. Дюме разделял не только мнения, но и горести полковника. Шарль, за которым бретонец следовал, словно пудель (бедный солдат обожал двух его девочек), справедливо решил, что лейтенант в силу привычки к послушанию, дисциплинированности, честности и привязчивого нрава будет ему не только верным, но и полезным слугой. Поэтому он предложил Дюме служить под его началом и после отставки. Дюме был вне себя от счастья,— еще бы, он становился отныне членом семьи своего друга и надеялся прожить при Миньонах как плющ, обвившийся вокруг дуба.

В то время как полковник выжидал подходящего корабля, который отправлялся бы в наиболее подходящее для его целей место, он узнал из разговоров, что Гавр после войны ждет блестящее будущее. Прислушиваясь к болтовне двух буржуа, он открыл путь к богатству и стал одновременно судохозяином, банкиром и землевладельцем; он купил на двести тысяч франков домов и земель и отправил в Нью-Йорк корабль с грузом французских шелков, купленных по дешевке в Лионе. Дюме в качестве его уполномоченного отплыл на этом судне. Пока полковник устраивался с семьей в лучшем доме на улице

Руаяль и изучал азбуку банковского дела, проявляя при этом энергию и редкую сметку, свойственную провансальцам, Дюме удвоил врученный ему капитал, возвратившись с грузом хлопка, купленного в Америке тоже по баснословно низкой цене. Эта двойная спекуляция принесла огромные деньги банкирскому дому Миньон. Полковник приобрел тогда виллу в Ингувиле и вознаградил Дюме, подарив ему небольшой домик на улице Руаяль. Скромный труженик Дюме вывез из Нью-Йорка вместе с хлопком хорошенькую жену, влюбившуюся в него прежде всего за то, что он француз. У мисс Груммер имелось около четырех тысяч долларов, или двадцать тысяч франков капитала, которые Дюме вложил в дело своего патрона. Дюме, ставший alter ego[1] судовладельца, в короткий срок изучил бухгалтерию — науку, знание которой, как он любил повторять, дает первый чин солдату коммерческой армии. Этот простодушный вояка, которого судьба обходила целых двадцать лет, счел себя счастливейшим из смертных, когда оказался владельцем дома, красиво обставленного благодаря щедрости патрона, и стал получать тысячу двести франков процентов в год с капитала и три тысячи шестьсот франков жалованья. Никогда, даже в мечтах, лейтенант Дюме не рисовал себе подобного благополучия, но сильнее всего его радовало сознание, что он является главной пружиной в богатейшем предприятии Гавра. Г-жа Дюме, маленькая, довольно хорошенькая женщина, имела несчастье потерять всех своих детей в младенческом возрасте, а из-за неудачных последних родов вообще лишилась надежды иметь когда-либо ребенка; поэтому-то она привязалась к двум дочерям г-на Миньона не меньше самого Дюме, который чуть ли не предпочитал их собственным детям. Г-жа Дюме, происходившая из семьи земледельцев, привыкших к непритязательному укладу жизни, сумела ограничить свои личные траты и расходы по хозяйству скромной суммой в две тысячи четыреста франков в год. Таким образом, Дюме каждый год вкладывал две тысячи с лишним франков в банкирский дом Миньона. Проверяя ежегодный баланс предприятия, патрон клал на текущий счет своего кассира крупную сумму, соответствующую

[1] Вторым «я» *(лат.)*.

оказанным им услугам. В 1824 году состояние Дюме достигло пятидесяти восьми тысяч франков. В тот же год Шарль Миньон, граф де Лабасти,— титул, о котором никогда больше не упоминалось,— вознаградил Дюме сверх меры, предоставив в его распоряжение Шале, где в настоящее время скромно и незаметно жили Модеста и ее мать.

Тяжелое физическое и моральное состояние г-жи Миньон, которую муж оставил еще красивой женщиной, было вызвано той же катастрофой, которая заставила его самого уехать из Гавра. Горю понадобилось три года, чтобы сломить эту кроткую немку, но оно долго подтачивало ее, как точит червь прекрасный плод. Вот краткий перечень ее горестей. Смерть двух маленьких детей дважды погружала в траур это сердце, не умевшее ничего забывать. Пребывание Шарля в плену было для нежно любящей супруги медленной пыткой. Крах процветающего дома Валленрод и смерть банкира, оставившего после себя пустую кассу, как громом поразили Беттину, измученную опасениями за судьбу мужа. Чрезмерная радость при возвращении Шарля едва не сгубила этот нежный германский цветок. Затем второе падение Империи и разлука с родиной усугубили душевную тревогу, снедавшую ее как лихорадка. Наконец десять лет ничем не омрачаемого благополучия, постоянные развлечения, роль хозяйки первого в Гавре дома, обеды, празднества, балы, которые давал удачливый негоциант, роскошь виллы «Миньон», почет и искреннее уважение, которыми пользовался ее Шарль, безраздельная привязанность мужа, отвечавшего на ее любовь такой же верной и преданной любовью,— все это примирило с жизнью бедную женщину. Но в ту минуту, когда она ничего уже больше не опасалась и считала, что мирный вечер завершит бурные дни, семью постигло несчастье, о котором будет рассказано ниже. Это новое горе, явившееся последним ударом судьбы, было погребено в сердцах людей, составлявших дружную семью Миньонов — Дюме.

В январе 1826 года, среди празднества, когда весь Гавр уже готовился избрать Шарля Миньона своим депутатом, были получены три письма из Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Весть, которую они принесли, разбила, словно удар молота, хрустальный дворец благоденствия Миньо-

нов. Разорение, как коршун налетевшее на беспримерного удачника Шарля, разом погубило его, подобно тому как морозы погубили в 1812 году французскую армию.

В течение одной ночи, проведенной с Дюме за разбором бумаг, Шарль Миньон принял решение. Продажа всего имущества, включая и мебель, должна была покрыть долги.

— Гавр не увидит моего унижения,— сказал полковник лейтенанту. — Дюме, я беру твои шестьдесят тысяч франков по шести процентов в год.

— Достаточно и трех, полковник.

— В таком случае обойдемся без процентов,— ответил Шарль Миньон тоном, не допускавшим возражения. — Ты будешь моим компаньоном в новом деле. «Скромный», который уже больше не принадлежит мне, отплывает завтра, капитан берет меня с собой. Тебе я поручаю жену и дочь. Писать я не буду: нет вестей — добрые вести.

Дюме, как истый лейтенант, не задал своему полковнику ни единого вопроса о его дальнейших намерениях.

— Мне кажется,— сказал он многозначительно Латурнелю,—что полковник уже разработал план кампании.

На следующий день, ранним утром, он проводил патрона на корабль «Скромный», отплывавший в Константинополь. Стоя на корме судна, бретонец обратился к провансальцу:

— Какие будут ваши последние приказания, полковник?

— Смотри, чтобы ни один мужчина не осмелился подойти к Шале! — воскликнул отец, с трудом удерживая слезы. — Дюме, оберегай, как сторожевой пес, мое последнее дитя! Смерть тому, кто попытается обесчестить мою младшую дочь! Не страшись ничего, даже эшафота, я взойду на него вместе с тобой.

— Спокойно занимайтесь делами, полковник. Я понял все. По возвращении вы найдете Модесту такой же невинной, какой вы оставили ее, или я буду мертв! Вы знаете меня, вы знаете также наших овчарок. Никто не приблизится к Модесте. Простите меня за многословие!

И два солдата обнялись; эти люди научились ценить друг друга среди сибирских снегов.

В тот же день «Гаврский вестник» напечатал на пер-

вой странице страшное извещение, составленное в простых, решительных выражениях, которое мы приводим ниже:

«Банкирский дом Шарля Миньона прекращает платежи. Однако нижеподписавшиеся лица, занятые ликвидацией банка, обязуются уплатить по всем его долговым обязательствам. С сегодняшнего дня производится учет срочных трассированных векселей. Продажа земельной собственности банкира полностью покроет текущие счета.

Настоящее извещение имеет целью оградить честь банкирского дома Миньон, а также не допустить подрыва кредита на гаврской бирже.

Господин Шарль Миньон отплыл сегодня утром в Малую Азию на корабле «Скромный», предоставив нижеподписавшимся все полномочия для распродажи его имущества, включая и недвижимую собственность.

Дюме (уполномоченный по ликвидации банковских дел).
Латурнель — нотариус (уполномоченный по продаже городских и загородных владений банкира).
Гобенхейм (уполиомоченный по ликвидации торгового имущества)».

Латурнель был обязан своим богатством доброте г-на Миньона, который в 1817 году дал ему взаймы сто тысяч франков на покупку лучшей нотариальной конторы в Гавре. До этого времени незадачливый Латурнель в течение целых десяти лет занимал должность старшего клерка и достиг сорока лет, не имея ни состояния, ни уверенности в том, что когда-нибудь положение его изменится к лучшему. Это был единственный человек в Гавре, пожалуй, не меньше, чем сам Дюме, преданный Шарлю Миньону; зато ловкий Гобенхейм сумел воспользоваться ликвидацией — все связи и дела г-на Миньона постепенно перешли к нему — и основал собственную банкирскую контору. В то время на бирже, в порту, в домах — словом, повсюду можно было услышать искренние сожаления по поводу несчастья, обрушившегося на Шарля Миньона, и единодушные похвалы этому безупречному, доброму и достойному уважения человеку. Латурнель и Дюме, молчаливые и деятельные, как муравьи,

продавали, обращали в деньги процентные бумаги, платили долги, заканчивали ликвидацию. Вилькен сделал красивый жест, приобретя виллу, городской дом и одну из ферм Миньона. Латурнель сумел сыграть на этом порыве великодушия и сорвал с Вилькена хорошую цену. Многие хотели навестить г-жу Миньон и ее дочь, но обе они, повинуясь приказанию Шарля, перебрались в Шале в день его отъезда, который совершился втайне от них. Боясь, как бы прощание с близкими не поколебало его мужественной решимости, Шарль уехал, поцеловав жену и дочь, когда они еще спали. Триста визитных карточек было оставлено в этот день в вестибюле дома Миньона. Но уже две недели спустя никто не вспоминал о семье разорившегося человека, и это забвение показало г-же Миньон и Модесте, что приказ полковника был правилен и благоразумен. Дюме назначил уполномоченных в Нью-Йорке, Лондоне и Париже и зорко следил за ликвидацией трех банкирских домов, послуживших причиной разорения Миньона. С 1826 по 1828 год он сумел выручить пятьсот тысяч франков — восьмую часть состояния Шарля и, подчиняясь его распоряжению, написанному в ночь отъезда, перевел в начале 1828 года через банк Монжено всю эту сумму на имя г-на Миньона в Нью-Йорк. Все было исполнено с чисто военной точностью, за исключением лишь одного пункта: вопреки настояниям Шарля, он не удержал из этой суммы тридцати тысяч франков для личных нужд г-жи Миньон и ее дочери. Бретонец продал свой собственный дом за двадцать тысяч франков и вручил их г-же Миньон, решив, что чем больше денег будет у полковника, тем скорее он вернется домой.

— Иной раз можно погибнуть, не имея под рукой тридцати тысяч франков,— заявил он Латурнелю, которому продал по своей цене дом, зная, что обитатели Шале всегда найдут там приют.

Таковы были для знаменитого банка Миньона в Гавре последствия кризиса, который в 1825—1826 годах обрушился, как ураган, на важнейшие торговые центры и разорил на нашей памяти многих парижских банкиров, один из которых был председателем коммерческого суда. Понятно, что страшное крушение, завершившее счастливое десятилетнее существование буржуазной четы, сра-

«МОДЕСТА МИНЬОН».

«МОДЕСТА МИНЬОН».

зило Беттину Валленрод; бедняжке вновь пришлось расстаться с мужем, ничего не ведая о его дальнейшей судьбе, по-видимому, столь же неверной и опасной, как и судьба пленника в далекой Сибири. Но чем было это горе, которое она могла открыто выражать в слезах, по сравнению со снедавшей ее затаенной мукой, грозившей свести ее в могилу! Разве можно сравнить обычные семейные огорчения с тем несчастьем, что гложет душу матери, скорбящей о роковой судьбе своей дочери! Как проклятый камень давил сердце бедной матери надгробный памятник в глубине маленького ингувильского кладбища, на котором было начертано:

БЕТТИНА-КАРОЛИНА МИНЬОН
Скончалась в возрасте двадцати двух лет.
Молитесь за нее.
1827 год.

Эта надпись над прахом молодой девушки похожа, как и большинство других эпитафий, на оглавление неведомой повести. Вот ужасное, хотя и краткое содержание этой повести. Оно пояснит ту клятву, которой при прощании обменялись полковник и лейтенант.

Красивый молодой человек по имени Жорж д'Этурни приехал однажды в Гавр под весьма обычным предлогом — увидеть море, но увидел Каролину Миньон. Всякий так называемый парижский щеголь никуда не ездит без рекомендательных писем. Таким образом, через посредство одного из друзей Миньона он добился приглашения на празднество в Ингувиль. Страстно влюбившись и в Каролину и в ее приданое, парижанин заранее был уверен в успехе. Он пробыл в Гавре три месяца, пустил в ход все средства обольщения и похитил Каролину. Если отец семейства имеет дочерей, он не должен ни вводить в дом неизвестных молодых людей, ни оставлять на столе газет или книг, с содержанием коих он предварительно не ознакомился. Неведение девушек надо оберегать от опасных воздействий, как берегут молоко, которое сворачивается от удара грома, от ядовитого аромата, от жаркой погоды, от малейшего пустяка, даже от легчайшего дуновения ветра. Прочитав прощальное письмо старшей дочери, Шарль Миньон немедленно отправил вслед за ней в Париж г-жу Дюме. Родные объявили, будто бы эта

поездка была предписана Каролине домашним врачом, и он поддержал эту вынужденную ложь, что не помешало, однако, жителям Гавра сплетничать по поводу внезапного отъезда дочери банкира.

— Как! Чахотка? У этой девушки с цветом лица испанки и с черными, как смоль, волосами? Да у нее такой здоровый вид!

— Говорят, будто она совершила необдуманный шаг! Н-да, н-да,— произносил кто-нибудь из Вилькенов.

— Утверждают, что она вернулась с верховой прогулки, разгоряченная, потная, и напилась ледяной воды,— так по крайней мере говорит доктор Труссенар.

Когда г-жа Дюме возвратилась в Гавр, круг испытаний семейства Миньонов уже был завершен, и никто не обратил внимания ни на отсутствие Каролины, ни на приезд жены кассира. В начале 1827 года во всех газетах прогремел процесс Жоржа д'Этурни, осужденного исправительной полицией за нечистую карточную игру. Этот юный бездельник отправился в ссылку, нимало не заботясь о мадемуазель Миньон, которая потеряла в его глазах всякую цену после краха гаврского банка. Каролина почти одновременно узнала и о разорении отца и о том, что она бесчестно покинута любимым человеком. Она возвратилась к родителям, сраженная тяжким, смертельным недугом, и вскоре тихо угасла в Шале. Смерть спасла ее репутацию. Жители Гавра поверили болезни, измышленной г-ном Миньоном при побеге дочери, равно как и предписанию врача, якобы отправившего Каролину в Ниццу. Мать до последней минуты надеялась сохранить ее жизнь. Беттина-Каролина была ее любимицей, а Модеста — любимицей отца. В этом предпочтении было нечто трогательное: Беттина казалась вылитым портретом отца, тогда как Модеста в точности походила на мать. Таким образом, каждый из супругов любил в ребенке дорогие ему черты Каролина, настоящая дочь Прованса, унаследовала свою красоту от г-на Миньона. У нее были черные, как смоль, роскошные волосы южанки, карие миндалевидные глаза, блестящие, словно звезды, кожа золотистая, как персик, точеные ножки и стан настоящей испанки. Недаром отец с матерью гордились своими дочерьми, наружность которых являла такой очаровательный контраст. «Демон и ангел!» — говорили окружающие без

всякой задней мысли, хотя эти слова и оказались пророческими.

Бедная мать плакала целый месяц в своей спальне, не пуская никого к себе, и вышла из этого добровольного заточения, пораженная тяжелой болезнью глаз. Перед тем как окончательно потерять зрение, она, не послушавшись уговоров друзей, отправилась взглянуть на могилу Каролины. Этот последний образ огненным пятном запечатлелся в окутавшем ее мраке, подобно тому как еще долго продолжают стоять перед зажмуренными глазами пламенеющие очертания предмета, увиденного в лучах солнца. После этого ужасного несчастья Дюме стал если не более преданным рабом семейства Миньонов, то еще более строгим ее стражем: ведь Модеста была теперь единственной дочерью, и отец даже не знал об этом. Г-жа Дюме, перенесшая на Модесту страстную любовь к своим умершим детям, окружила девушку нежнейшей заботой и лаской, не забывая, однако, приказа мужа, который не доверял дружбе между женщинами. Приказ этот был ясен.

— Если когда-нибудь,— говорил Дюме,— мужчина любого возраста и общественного положения вздумает заговорить с Модестой, взглянет на нее, посмеет ухаживать за ней, знай — этот человек обречен: я застрелю его, а сам отдамся в руки королевского прокурора. Быть может, моя смерть спасет ее. Если ты не желаешь, чтобы мне отрубили голову, не отходи от Модесты, когда я бываю в городе.

Уже в течение трех лет Дюме каждый вечер осматривал свои пистолеты. Казалось, его настроение передалось двум овчаркам, отличавшимся поразительным умом. Один из этих псов спал в доме, другой снаружи, в конуре, где его не было ни видно, ни слышно; но тот, в кого впились бы мощные клыки овчарок, пережил бы неприятную минуту.

Легко себе представить, какую жизнь вели в Шале мать и дочь. Г-н Латурнель с супругой и Гобенхейм почти каждый вечер являлись в Шале скоротать с друзьями время и сыграть партию в вист. Разговор шел обычно о незначительных событиях провинциальной жизни. Гости расходились к десяти часам вечера. Модеста подымалась с матерью в спальню, укладывала ее в постель, они вме-

сте молились, поверяли друг другу свои надежды, говорили о дорогом путешественнике. Поцеловав мать, дочь ровно в десять часов удалялась в свою комнату. Рано утром Модеста заботливо помогала матери одеться, они снова молились вместе, снова говорили об отсутствующем. Надо сказать в похвалу Модесте, что с того самого дня, когда ужасная болезнь отняла у матери зрение, она добровольно стала ее сиделкой и окружила больную неустанным вниманием и нежностью, не скучая и не тяготясь своими обязанностями. Нельзя было не преклоняться перед ее дочерней преданностью, перед этой неусыпной заботой, и все, кому приходилось видеть Модесту, изумлялись этой кротости, столь редкой у юных девушек. Вот почему для семьи Латурнелей, для супругов Дюме Модеста была, как мы уже говорили, жемчужиной нравственного совершенства. В хорошие солнечные дни г-жа Миньон и г-жа Дюме совершали между завтраком и обедом недолгую прогулку по берегу моря; их обычно сопровождала Модеста, так как несчастную слепую надо было вести под руки. За месяц до описанной выше сцены, которую мы прервали нашим отступлением, как бы заключенным в скобки, г-жа Миньон позвала на совет своих единственных друзей: г-жу Латурнель, нотариуса и Дюме, в то время как г-жа Дюме предложила Модесте прогуляться и увела ее далеко от дома.

— Послушайте, друзья мои,— сказала слепая,— моя дочь полюбила, я это чувствую, я это вижу внутренним взором. С ней произошла странная перемена, и я удивляюсь, как вы до сих пор ничего не заметили...

— Черт возьми! — воскликнул лейтенант.

— Не перебивайте меня, Дюме. Вот уже два месяца Модеста так следит за своей внешностью, словно собирается на свидание. Она стала чересчур разборчива при выборе обуви, ей хочется подчеркнуть красоту своих ножек, она бранит башмачницу госпожу Гобе. То же самое происходит и с портнихой. В иные дни моя бедная девочка сидит настороженно-молчаливая, будто ждет кого-то; когда ей задаешь какой-нибудь вопрос, в ее голосе слышатся резкие ноты, словно ее оторвали от тайных мечтаний, помешали ждать и надеяться; затем, если этот «некто» пришел...

— Черт возьми! — снова воскликнул лейтенант.

— Сядьте же, Дюме,—сказала слепая.—Так вот, Модеста становится весела. Да, она весела, вы не можете этого заметить, не можете уловить всех оттенков, ибо они слишком тонки для глаз, созерцающих внешний мир; веселость чувствуется в звуке ее голоса, в интонациях, я их улавливаю, понимаю. Тогда Модеста уже не сидит часами в задумчивости, ей необходимо двигаться, что-то делать. Словом, в такие минуты она счастлива. Она готова благодарить кого-то, и это звучит в каждом ее слове. Ах, друзья мои, мне ведомо и счастье и горе. По одному тому, как целует меня моя бедная Модеста, я угадываю, что в ней происходит: получила ли она то, что ожидала, или же она тревожится. Даже в поцелуях невинной девушки есть много оттенков, а наша Модеста — воплощенная невинность, хотя невинность, уже познавшая, что такое любовь. Пусть я слепа, но зрение мне заменяет материнская нежность, и я прошу вас наблюдать за моей дочерью.

Разъяренный Дюме, нотариус, решивший во что бы то ни стало найти ключ к этой загадке, г-жа Латурнель в качестве обманутой дуэньи и г-жа Дюме, разделявшая опасения супруга,— все они начали следить за Модестой. Они ни на минуту не оставляли ее одну. Дюме, словно ревнивый испанец, проводил все ночи напролет под ее окнами, закутавшись в плащ; но даже он, этот зоркий вояка, не мог обнаружить ничего подозрительного. За исключением соловьев в парке Вилькена или какого-нибудь сказочного принца Модеста не могла ни в кого влюбиться; она никого не встречала, не имела возможности ни подать, ни принять условного знака. Г-жа Дюме, которая не ложилась спать, не убедившись, что Модеста уже заснула, наблюдала из окон Шале за пролегавшими внизу дорогами столь же внимательно, как и ее муж. И наконец все четыре аргуса, следившие за Модестой, каждое движение которой было ими обсуждено и изучено, убедились, что все их подозрения столь же бессмысленны, сколь не основательно обвинено это безупречное создание в преступных разговорах и встречах, и стали упрекать г-жу Миньон в чрезмерной подозрительности. Г-же Латурнель, которая лично сопровождала Модесту в церковь и приводила ее домой, было поручено сказать матери, что та заблуждается.

— Модеста,— заявила она,— девица весьма восторженная, ее увлекают то стихи какого-нибудь поэта, то проза какого-нибудь романиста. Вы не поверите, какое впечатление произвела на нее эта симфония палача (словечко Бутши, который безвозмездно и в неограниченном количестве снабжал свою благодетельницу остротами) под названием «Последний день приговоренного». Наша Модеста как сумасшедшая восхищалась этим господином Гюго. Не понимаю, откуда только эти люди (для дам, подобных г-же Латурнель, Виктор Гюго, Ламартин, Байрон — «эти люди»), откуда только они берут свои выдумки? Девочка с таким восторгом говорила мне о «Чайльд-Гарольде», что я, конечно, не захотела попасть впросак и сдуру даже прочитала этого самого «Чайльда», чтобы высказать ей в разговоре свое мнение. Не знаю, может быть, виноват переводчик, только меня начало мутить, в глазах зарябило, и я бросила книгу. Ну и сравнения же у него: скалы рушатся как в беспамятстве, война — это лавина. Правда, там описан путешествующий англичанин, значит, можно ждать любых чудачеств, но это уж чересчур. Автор переносит вас в Испанию, сажает на облака, выше самих Альп, даже потоки и звезды у него разговаривают, а сверх того, в книге слишком много дев, просто терпения не хватает, и к тому же после наполеоновских войн достаточно с нас раскаленных ядер, звенящей меди... а они оглушают на каждой странице. Модеста сказала мне, будто весь этот пафос добавил от себя переводчик и что надо прочесть произведение по-английски, но я даже ради Эксюпера не изучила английского языка, а для лорда Байрона и подавно не стану. Разве можно сравнить эти английские романы с нашим Дюкре-Дюменилем! Не буду я, чистокровная нормандка, млеть перед всеми иностранными новинками, особенно английскими.

Несмотря на всю свою скорбь, г-жа Миньон не могла сдержать улыбки, представив себе г-жу Латурнель за чтением «Чайльд-Гарольда». Суровая супруга нотариуса приняла эту улыбку за одобрение своих идей.

— Вот что я вам скажу, дорогая госпожа Миньон, напрасно вы считаете, что Модеста влюблена, просто это ее фантазия, плод беспорядочного чтения. Ей двадцать лет. В этом возрасте девушки бывают влюблены в самих себя, они наряжаются, чтобы любоваться собой. Помню,

надену я, бывало, мужскую шляпу на мою бедную покойную сестренку и играю с ней, будто она мой кавалер. Вы провели во Франкфурте счастливую молодость. Но будем справедливы. У Модесты нет никаких развлечений. Конечно, малейшее ее желание немедленно исполняется, но она, бедняжка, постоянно чувствует себя под надзором, и не будь этих книг, которые развлекают ее, вряд ли молодая девушка могла бы вынести такую скуку. Поверьте, Модеста не любит никого, кроме вас. Ваше счастье, что она увлекается только корсарами лорда Байрона, героями Вальтера Скотта и вашими немцами, графами Эгмонтами, Вертерами, Шиллерами и прочими.

— Что вы скажете, сударыня? — почтительно спросил Дюме, испуганный молчанием г-жи Миньон.

— Нет, Модеста не влюблена беспредметно, она любит кого-то! — упрямо ответила мать.

— Сударыня, дело идет о моей жизни, разрешите же мне задать вам один вопрос, не для себя, а ради моей жены, моего полковника и всех нас: кто же обманут — мать или сторожевой пес?

— Ошибаетесь вы, Дюме. Ах, если бы я могла взглянуть на мою дочь! — воскликнула несчастная слепая.

— Но кого же она может любить? — спросил Латурнель.— Лично я отвечаю за Эксюпера.

— И уж, конечно, не Гобенхейма, ведь со времени отъезда полковника мы видим его раза три в неделю,— сказал Дюме.— К тому же он вовсе не думает о Модесте. Это не человек, а ходячая пятифранковая монета. Его дядя Гобенхейм-Келлер постоянно твердит ему: «Постарайся разбогатеть — и ты женишься тогда на одной из Келлер». А уж если у него такой план, будьте спокойны: он даже не замечает — девушка Модеста или юноша. Вот и все наши мужчины. Этот несчастный маленький горбун не в счет, я его люблю, он ваш преданный слуга, сударыня,— сказал он, обращаясь к супруге нотариуса.— Бутша хорошо знает, что один нескромный взгляд в сторону Модесты — и его ждет знатная взбучка, недаром я родом из Ванна. Мы живем здесь как в крепости. Госпожа Латурнель, со времени вашей... вашего несчастья сопровождает Модесту в церковь. Она наблюдала за ней все эти дни во время службы и не заметила ничего предосудительного. Наконец, если уж дело пошло начи-

стоту, то я самолично в течение месяца подметаю дорожки вокруг дома и ни разу по утрам не обнаружил на них никаких подозрительных следов.

— Купить грабли может всякий, да и пользоваться ими нетрудно,— сказала практичная дочь Германии.

— А собаки? — возразил Дюме.

— Влюбленные умеют их приворожить,— отвечала г-жа Миньон.

— Если вы правы, я пропал, и мне остается только пустить себе пулю в лоб! — воскликнул Дюме.

— Но почему же, Дюме?

— Ах, сударыня, да разве я осмелюсь посмотреть в глаза полковнику, если что-нибудь случится с Модестой, его единственной теперь дочерью, если я не сохраню ее такой же невинной и добродетельной, какой она была в день его отъезда. Помню, уже стоя на корме корабля, он сказал мне: «Не страшись ничего, даже эшафота, Дюме, если дело коснется чести Модесты».

— Как это похоже на вас обоих,— проговорила растроганная г-жа Миньон.

— Я готова поклясться своим вечным спасением, что Модеста столь же чиста, как в те дни, когда она еще лежала в колыбели,— проговорила г-жа Дюме.

— Я узнаю это,— возразил Дюме.— Если вы, графиня, разрешите мне прибегнуть к одному средству... Мы, старые солдаты, мастера насчет военных хитростей.

— Поступайте как знаете, лишь бы это не повредило Модесте, моему последнему утешению. Мы должны открыть истину.

— Но как же ты, дорогой Франсуа, ухитришься выведать секрет у девушки, которая так хорошо умеет его хранить? — спросила г-жа Дюме у мужа.

— Повинуйтесь мне беспрекословно! — воскликнул лейтенант.— Вы мне все понадобитесь!

Если бы мы сумели искусно развить эту сцену, какая получилась бы картина нравов и сколько семей узнали бы в ней свою собственную историю! Но достаточно и этого краткого описания, чтобы понять, насколько важна каждая деталь, касающаяся людей и событий того вечера, когда старый солдат вступил в единоборство с юной девушкой, надеясь вырвать из глубины ее сердца тайну, открытую слепой матерью.

Час прошел в напряженной тишине, которую нарушали лишь возгласы игроков в вист, понятные только посвященным: «Пики! — Козырь! — Снимаю! — Есть у вас онеры? — Две от трех! — По восьми! — Кому сдавать?»

Вот что составляет ныне величайшую страсть европейской аристократии. Модесту, поглощенную работой, не удивляло молчание матери. У г-жи Миньон соскользнул с колен и упал на пол носовой платок. Бутша, бросившись поднимать его, оказался возле Модесты и прошептал ей на ухо:

— Будьте осторожны!

Модеста удивленно подняла на клерка глаза, и их спокойное сияние наполнило карлика невыразимой радостью. «Она никого не любит», — подумал горбун, потирая руки с такой силой, как будто хотел содрать с них кожу.

В эту минуту Эксюпер хлопнул калиткой, затем влетел, словно ураган, в гостиную и сказал Дюме на ухо:

— Молодой человек пришел!

Дюме вскочил, схватил пистолеты и вышел.

— Боже мой, а вдруг он его убьет? — воскликнула г-жа Дюме, заливаясь слезами.

— Что случилось? — спросила Модеста чистосердечно и без тени испуга, глядя на своих друзей.

— Какой-то молодой человек бродит вокруг Шале!— воскликнула г-жа Латурнель

— Ну, так что же? — заметила Модеста.— Зачем же Дюме станет его убивать?

— Sancta simplicitas [1],— сказал Бутша и взглянул на своего патрона с такой гордостью, с какой Александр смотрит на Вавилон на картине Лебрена.

— Куда же ты, Модеста? — спросила мать, слыша, что дочь собирается выйти из комнаты.

— Иду приготовить вам постель, маменька, — ответила девушка голосом столь же чистым, как звук арфы.

— Вот вы ничего и не узнали, — сказал карлик, когда Дюме возвратился.

— Модеста добродетельна, как статуя богоматери в алтаре нашей церкви! — воскликнула г-жа Латурнель.

---

[1] Святая простота *(лат.)*.

— Ах, боже мой, такие волнения меня просто убивают, — проговорил кассир,—а ведь я человек сильный.

— Готов проиграть двадцать пять су, лишь бы что-нибудь понять,—заметил Гобенхейм. — Ну и вечер! Вы все словно помешались.

— А ведь на карту поставлено сокровище,— возразил Бутша, поднимаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Гобенхейма.

— К несчастью, Дюме, я почти уверена в справедливости своих слов,— повторила мать.

— Теперь ваша очередь, сударыня, — ответил Дюме спокойно, — доказать нам, что мы ошибаемся.

Поняв, что дело идет всего-навсего о чести Модесты и что о новом роббере не приходится и думать, Гобенхейм взял шляпу, раскланялся и вышел, унося с собой выигранные десять су.

— Эксюпер и ты, Бутша, отправляйтесь в Гавр,— сказала г-жа Латурнель,—вы еще поспеете в театр к началу спектакля. Я плачу за билеты.

Оставшись в обществе своих четырех друзей, г-жа Латурнель внимательно посмотрела на мужа, машинально перебиравшего карты, затем на г-на Дюме, который, как бретонец, лучше других понимал упрямство матери, и наконец спросила:

— Скажите, пожалуйста, госпожа Миньон, что же вас особенно встревожило?

— Ах, мой добрый друг, если бы вы были музыкантшей, вы услышали бы, как говорит любовь под пальцами Модесты.

Фортепьяно барышень Миньон было перевезено в Шале из городского дома в числе самых нужных вещей. Модеста, пытаясь развеять скуку, занималась музыкой сама, без преподавателя. Прирожденная музыкантша, она научилась играть, чтобы хоть немного развлекать г-жу Миньон. Она пела безыскусственно, как поют птицы, и часто повторяла немецкие песни, которым ее научила мать. Одинокие уроки, одинокие усилия, как это часто бывает у людей, одаренных от природы, привели к тому, что Модеста сама стала сочинять чрезвычайно мелодичные кантилены, хотя и не имела ни малейшего понятия о законах гармонии. Мелодия в музыке то же, что образ и чувство в поэзии,—это цветок, который может

распуститься неожиданно. Вот почему у всех народов национальные напевы появились раньше изобретения гармонии. Ботаника ведь тоже возникла после появления цветов. Так Модеста знала о живописи только то, что преподала ей сестра, рисовавшая акварелью, и все же она останавливалась, восхищенная, перед картинами Рафаэля, Тициана, Рубенса, Мурильо, Рембрандта, Альбрехта Дюрера и Гольбейна,— ее потрясал живописный гений всех народов. Но за последний месяц Модеста пристрастилась к музыке,— то она пела, как соловей, то сочиняла часами мелодии на неизвестные слова, и столько было в этом поэзии и чувства, что удивленная г-жа Миньон невольно насторожилась.

— Если у вас нет других причин для подозрения,— сказал Латурнель г-же Миньон, — мне остается только пожалеть вас за излишнюю чувствительность.

— Когда бретонские девушки начинают петь,—заметил Дюме, снова мрачнея,—значит, возлюбленный где-то недалеко.

— Послушайте, как Модеста импровизирует,— сказала мать,— и вы убедитесь сами.

— Бедное дитя! — воскликнула г-жа Дюме.— Если бы она только догадалась о нашем беспокойстве, то первая пришла бы в отчаяние и сказала нам всю правду хотя бы потому, что для Дюме это вопрос жизни или смерти.

— Я расспрошу завтра дочь, друзья мои,— сказала г-жа Миньон,—и уверена, что добьюсь от нее лаской больше, чем вы хитростью.

Может быть, здесь разыгрывалась комедия, называемая «Дочь, которую не устерегли», как она разыгрывается всегда и повсюду, причем все эти честные Бартоло, преданные соглядатаи и свирепые овчарки обычно не в состоянии ничего учуять, отгадать, они не замечают ни любовника, ни заговора, ни того дыма, которого не бывает без огня. Нет, то, что происходило здесь, не было борьбой между сторожами и пленницей, между тюремным гнетом и стремлением к свободе,— здесь шла извечная репетиция первой пьесы, которая знаменовала собой поднятие занавеса над только что сотворенным миром, а именно «Ева в раю». Вот какую пьесу играли здесь.

Кто же в конце концов был прав: мать или сторожевой пес? Никто из окружающих не мог разгадать сердца Модесты, хотя, верьте, лицо девушки отражало всю ее чистоту. Модеста перенеслась душой в тот мир, существование которого в наши дни оспаривается с такой же ожесточенностью, с какой в XVI веке оспаривали существование мира, открытого Христофором Колумбом. К счастью, она никому не поверяла своих мечтаний, иначе ее сочли бы сумасшедшей. Объясним прежде всего, какое влияние оказало на Модесту ее прошлое.

Два события окончательно сформировали душу этой девушки и развили ее ум. Умудренные трагической судьбой Беттины, супруги Миньон еще до своего разорения решили выдать Модесту замуж. Их выбор пал на сына богатого банкира, выходца из Гамбурга, который обосновался в Гавре с 1815 года и к тому же был им многим обязан. Этот молодой человек, местный денди, по имени Франциск Альтор, отличался грубой красотой, столь ценимой буржуа, которую англичане называют кровь с молоком (румянец во всю щеку, крепкое сложение, широкие плечи). Он не только бросил свою невесту в день банкротства ее отца, но даже не пожелал больше видеть ни ее, ни г-жу Миньон, ни супругов Дюме. Когда же Латурнель решился объясниться с папашей Франциска, Якобом Альтором, немец ответил, пожимая плечами: «О чем вы, собственно, говорите?» Этот ответ был передан Модесте и послужил ей хорошим жизненным уроком; она тем лучше усвоила его, что Латурнель и Дюме не поскупились на краски, описывая эту низкую измену. Обе дочери Шарля Миньона, избалованные родителями с детства, ездили верхом, имели собственных лошадей, выезд, слуг и пользовались роковой свободой. Модеста считала своего поклонника официальным женихом и поэтому позволяла Альтору целовать ей при встрече руку и не возражала, когда он, подсаживая ее на седло, касался ее талии; она принимала от него цветы и те невинные проявления нежности, которые жених выказывает невесте; она вышила ему кошелек, полагая, что подобные знаки внимания сближают людей, но эти узы, столь прочные для возвышенных душ, тоньше паутины в глазах Гобенхеймов, Вилькенов и Альторов. Весной того года, когда г-жа Миньон с до-

черью переселились в Шале, Франциск Альтор пришел к Вилькенам на обед. Заметив через ограду сада Модесту, он отвернулся. Полтора месяца спустя он женился на старшей дочери Вилькена. Модеста, красивая, молодая и гордая девушка, поняла, что в течение трех месяцев она была для Альтора не мадемуазель Миньон, а мадемуазель «Миллион». Итак, бедность Модесты, о которой знал весь Гавр, оказалась часовым, оберегавшим вход в Шале не менее надежно, чем бдительный надзор супругов Дюме и зоркий глаз четы Латурнелей. Если теперь люди и вспоминали о Модесте Миньон, их соболезнующие вздохи были унизительней полного забвения.

— Бедная девушка, что-то с ней будет! Она наверняка останется старой девой. Вот судьба! Видеть весь город у своих ног, быть невестой сына Альтора — и остаться одинокой, покинутой! Жить в самой изысканной роскоши — и впасть в нищету!

Не следует думать, что все эти оскорбительные слова произносились шепотом или что Модеста только догадывалась о них; нет, десятки раз она слышала эти речи, когда юноши и девушки, отправляясь гулять из Гавра в Ингувиль, не могли отказать себе в удовольствии посудачить насчет г-жи Миньон и Модесты, проходя мимо их хорошенького домика. Кое-кто из друзей Вилькена удивлялся, как это жена и дочь Миньона согласились жить среди той обстановки, которая напоминала им прежнюю роскошную жизнь. Часто сквозь закрытые ставни к Модесте доходили злобные речи вилькеновских гостей:

— Не понимаю, как это Миньоны могут здесь жить,— говорили они, медленно прохаживаясь по лужайке и, очевидно, рассчитывая, что их слова помогут Вилькену выжить соседей.

— На какие средства они существуют? Что они тут делают? Ведь старуха-то совсем ослепла. А что, дочь по-прежнему хороша? Да, теперь у нее уже нет выезда. А помните, как она любила щеголять.

Слыша эти нелепые сплетни, порожденные завистью, которая, исходя слюной, яростно топчет даже прошедшее, многие девушки покраснели бы до корней волос, другие заплакали бы, а иные вознегодовали, но Модеста улыба-

лась, как улыбается зритель, глядя на игру актеров. Как ни старался заострить стрелы своего злословия сплетничающий Гавр, они не уязвляли гордости Модесты.

Второе событие сыграло в ее жизни гораздо более серьезную роль, чем уколы этой мелочной злобы. Беттина-Каролина умерла на руках Модесты, которая ухаживала за сестрой со всей самоотверженностью юности и выслушивала ее речи с любопытством, порожденным неискушенным воображением. Среди ночной тиши сестры поверяли друг другу свои задушевные тайны. И каким трагическим ореолом была окружена Беттина в глазах невинной сестры! Беттина изведала одну лишь сторону страсти — ее муки, и умирала оттого, что полюбила. В признаниях, которыми обмениваются девушки, всякий мужчина, пусть даже последний негодяй, прежде всего предстает возлюбленным. Страсть — самое непреложное чувство в жизни человека, и она всегда считает себя правой. Жорж д'Этурни, игрок, развратник, преступник, неизменно рисовался в воображении сестер столичным денди, блиставшим на гаврских празднествах и привлекавшим к себе все женские взгляды (Беттина считала, что она отбила Жоржа у кокетливой г-жи Вильнкен), и, наконец, счастливым любовником Беттины. Голос страсти заглушает голос общественного осуждения. По мнению Беттины, суд был введен в заблуждение. Как мог он осудить юношу, который любил ее в течение полугода, и любил страстно, в тайном убежище в Париже,—Жорж нарочно поселил туда возлюбленную, не желая стеснять своей свободы. Так умирающая Беттина отравила любовью сердце сестры. Девушки часто говорили о великой драме страсти, которую всегда преувеличивает наше воображение, и покойница унесла с собой в могилу чистоту Модесты, оставив ее если и не вполне просвещенной в делах любви, то по крайней мере снедаемой любопытством. Однако угрызения совести так часто вонзали свои острые когти в сердце Беттины, что она не могла не поделиться своим опытом с сестрой. Среди признаний она то и дело поучала Модесту, убеждала ее беспрекословно повиноваться родителям. Уже в агонии она умоляла сестру не забывать об этом смертном одре, залитом слезами, и не следовать столь пагубному примеру, ибо ее огромную вину не могут искупить даже такие

муки. Беттина кляла себя, полагая, что она навлекла несчастье на семью, и умирала в отчаянии оттого, что не получила прощения отца. Несмотря на утешения священника, тронутого ее раскаянием, Беттина в предсмертную минуту, прежде чем навеки закрыть глаза, воскликнула раздирающим душу голосом: «Отец!.. Отец!..»

— Отдай свое сердце только тому, кто попросит твоей руки,— сказала Каролина сестре за час до смерти,— а главное, не принимай никогда любви мужчины без одобрения матери или отца.

Эти слова Беттина заставила повторить Модесту как торжественную клятву, и требование это, трогательное само по себе, тем сильнее отозвалось в сердце младшей сестры, что исходило оно из уст умирающей. Бедная Беттина, ставшая перед смертью как бы ясновидящей, вынула из-под подушки кольцо, на котором, при посредстве своей верной служанки Франсуазы Коше, велела выгравировать гаврскому ювелиру вместо какого-либо изречения эти простые слова: «Помни о Беттине. 1827 год». За несколько минут до кончины она надела кольцо на палец сестры, умоляя не снимать его до свадьбы. Таким образом, беседы двух девушек представляли собой странную смесь мучительных терзаний совести и наивных рассказов о той быстротечной счастливой поре, которая слишком скоро сменилась для Беттины смертельным горем покинутой женщины; однако над ее слезами, сожалениями, воспоминаниями всегда господствовал страх, внушаемый ей злом.

А между тем драма обольщенной девушки, сраженной смертельным недугом и вернувшейся умирать под дружеский кров, где бедность была скрашена изяществом, разорение отца, подлый поступок зятя Вилькенов, слепота обезумевшей от горя матери — все это было лишь внешней стороной жизни Модесты, о которой только и могли судить люди подобные Дюме и Латурнелям, так как самый преданный друг не может быть проницательней родной матери. Однообразная жизнь в кокетливом Шале среди роскошных цветов, которые разводил Дюме, строгий распорядок дня, размеренный, как ход часов, чисто провинциальное благоразумие, игра в карты под мирный стук спиц, тишина, прерываемая лишь рокотом морского прибоя,— среди этого спокойного мона-

стырского существования Модеста жила тревожной жизнью, много размышляла, уйдя в свой внутренний мир. Нередко молодые девушки удивляют близких своими безрассудными поступками, но не у каждой есть слепая мать, которая может вовремя постучать посохом в ее девственное сердце, завлеченное в лабиринт воображения. Супруги Дюме обычно еще спали, когда Модеста распахивала окно, она ждала, что мимо нее проскачет юноша, идеал ее грез, долгожданный рыцарь, который посадит ее на своего коня и умчит вдаль под выстрелами Дюме. Горько тоскуя после смерти сестры, Модеста жадно набросилась на книги и читала без устали, до одурения. Она с детства свободно говорила на двух языках и так же хорошо владела немецким, как и французским; затем они с сестрой под руководством г-жи Дюме изучили английский язык. Живя среди людей малообразованных, Модеста пользовалась почти неограниченной свободой в выборе чтения и утоляла свой духовный голод, поглощая выдающиеся современные произведения трех литератур: английской, немецкой и французской. Лорд Байрон, Гете, Шиллер, Вальтер Скотт, Гюго, Ламартин, Крабб, Мур, все лучшее, что дали XVII и XVIII век, история, театр и роман, от Рабле до «Манон Леско», «Опыты» Монтэня и Дидро, старинные французские фаблио и «Новая Элоиза», духовные богатства трех народов населили неясными образами эту головку, и в этом нетронутом, кристально чистом уме забил неукротимый источник искренних и глубоких восторгов перед гением. Новая книга была для Модесты целым событием. Если Модесте удавалось прочесть какое-нибудь великое произведение, она безмерно радовалась, пугая этим, как мы видели, г-жу Латурнель, и, наоборот, она грустила, если поэма или роман не потрясали ее до глубины души. Скрытый от всех лиризм кипел в ее душе, где жили прекрасные иллюзии юности. Но отблеск этого внутреннего огня не отражался на ее лице. Ни лейтенант Дюме, ни его жена, ни чета Латурнелей ничего не замечали, и только слепая мать угадывала, что в душе Модесты горит неугасимый пламень. Глубокое презрение, которое испытывала юная героиня ко всем заурядным людям, придало ее лицу гордое, замкнутое выражение, несколько умерявшее германскую наивность девичьих черт, и как нельзя

лучше гармонировало с одной особенностью ее внешности: волосы Модесты низко спускались на лоб, как бы продолжая легкую морщинку между бровей, которую уже успели прорезать думы, и это подчеркивало замкнутое выражение ее юного лица. Голос прелестной Модесты, которую Шарль Миньон еще до отъезда прозвал за ее ум «моя мудрая крошка», приобрел пленительную гибкость благодаря изучению трех языков, а тембр его, грудной и нежный, усиливал это очарование, лаская слух и трогая сердца. Пусть мать не видела, что чело ее дочери озаряет надежда на необычайную судьбу, зато по переливам этого прелестного голоса она могла следить, как зреет душа Модесты. Вслед за периодом запойного чтения у Модесты наступил период игры в жизнь; этой странной способностью одарены люди с пылким воображением; с ее помощью они становятся действующими лицами вымышленной жизни, похожей на мечту, она помогает человеку представлять себе все что угодно с той предельной ясностью, которая превращает мечту в действительность, дает возможность в мыслях насладиться всем, пробежать длинную череду лет, все пережить: брак, старость, увидеть, по примеру Карла V, даже собственные похороны — словом, разыграть перед самим собой комедию жизни, а при желании и комедию смерти. Что касается Модесты, то она разыгрывала комедию любви. Она мысленно проходила по всем ступеням общественной лестницы и видела себя любимой до обожания, любимой так, как ей того хотелось. Она превращалась в героиню мрачного романа и любила то палача, то какого-нибудь злодея, который кончал жизнь на эшафоте, то, по примеру сестры, влюблялась в молодого щеголя без гроша в кармане, который был не в ладах с правосудием. То она воображала себя куртизанкой и, как Нинон, играла мужскими сердцами среди беспрерывных празднеств, то вела жизнь авантюристки, то известной актрисы, разнообразя до бесконечности похождения Жиль Бласа и триумфы таких знаменитостей, как Пастà, Малибран и Флорина. Наконец, пресытившись приключениями и ужасами, Модеста обращалась к действительности. Она выходила замуж за простого нотариуса, ела черствый трудовой хлеб и ничем не отличалась от г-жи Латурнель. Она примирялась с жизненными тяготами и пере-

носила различные невзгоды ради того, чтобы составить себе состояние. Затем Модеста снова увлеклась романами: ее полюбил за красоту сын пэра Франции, эксцентричный молодой человек, художник, он разгадал ее сердце и заметил на лице печать таланта, подобного таланту г-жи де Сталь. В конце концов возвращался ее отец, ставший миллионером. Наученная горьким опытом, она подвергала своих поклонников всевозможным испытаниям, сохраняя при том свою независимость. У нее был великолепный замок, слуги, экипажи, ее окружала самая утонченная роскошь, она до сорокалетнего возраста дурачила своих женихов и только тогда решалась сделать выбор. В течение целого года выпускалась эта «Тысяча и одна ночь» в единственном экземпляре, пока Модеста не пресытилась игрой воображения. Она слишком часто играла в жизнь, слишком часто, философствуя, спрашивала себя серьезно и горько: «Ну, хорошо, а что потом?» — и в конце концов погрузилась в то глубокое отчаяние, которое охватывает одаренных людей и от которого они спешат избавиться, целиком отдавшись творчеству. Если бы не ее здоровая натура, не ее молодость, Модеста ушла бы в монастырь. Это пресыщение заставило девушку, воспитанную в правилах веры, искать прибежища в любви к добру, в беспредельности небес. Благотворительность казалась ей жизненным призванием. Но, не находя более пищи для фантазии, притаившейся в ее сердце, как ядовитое насекомое в чашечке цветка, она погрузилась в мрачное уныние. И вот она мирно шьет распашонки для детей бедняков или слушает с рассеянным видом воркотню г-на Латурнеля, упрекающего г-на Дюме за то, что тот побил его тринадцатую карту или выманил у него последний козырь. Вера толкнула Модесту на странный путь. Девушка вообразила, что если она станет безупречной, как это понимает католическая церковь, то дойдет до такого состояния святости, что бог услышит ее молитвы и исполнит желания. «Вера, по слову Иисуса Христа, может двигать горами, спаситель вместе с своим учеником ходил по водам Тивериадского озера. Я же прошу у бога только мужа,— думала она,—а ведь это куда легче исполнить, чем провести меня по морю». За весь пост она ни разу не притронулась к скоромной пище и не совершила ни малейшего

прегрешения; затем она убедила себя, что в такой-то день по выходе из церкви она непременно встретит красивого и достойного юношу; безумно влюбившись, он последует за ней и будет благосклонно принят г-жой Миньон. Но в день, который она назначила господу богу, чтобы тот послал ей этого ангела, за ней упорно следовал какой-то нищий весьма отталкивающего вида, и в довершение всего дождь лил как из ведра и ни один молодой человек не показывался на улице. Она отправилась в порт, чтобы посмотреть, как высаживаются на берег приезжие англичане, но они все привезли с собой своих англичанок, почти таких же красивых, как и сама Модеста, к великому несчастью которой в Гавр не заглядывал ни один Чайльд-Гарольд. Слезы невольно навертывались у нее на глаза, когда она, подобно римскому полководцу Марию, сидела у развалин если не Карфагена, то своих воздушных замков. Наконец, когда она в третий раз обратилась к богу, ей показалось, что герой ее грез должен быть в церкви, и она вместе с г-жой Латурнель заглянула за каждую колонну, полагая, что он прячется там из скромности. С этой минуты она разуверилась в могуществе господа бога. Она часто вела беседы со своим воображаемым возлюбленным, придумывала вопросы и ответы и наделяла его изрядным запасом остроумия. Таким образом, причиной благонравия Модесты, которым так восхищались оберегавшие ее близкие, являлось чрезмерное честолюбие, питавшееся этими вымыслами. Приведи теперь к ней дюжину Франциско Альторов и сыновей Вилькена, она ни за что ни снизошла бы до таких мужланов. Она желала для себя не больше не меньше, чем гения; талант она считала пустяком, не достойным внимания, точно так же, как незаметный адвокат кажется ничтожеством в глазах девушки, которая имеет виды на посла. Даже богатством хотелось ей обладать лишь для того, чтобы бросить его к ногам своего кумира. Как ни сверкал золотом тот фон, на котором вырисовывались образы ее мечты, куда богаче были сокровища ее по-женски чуткого сердца, так как оно стремилось только к одному — сделать богатым и счастливым человека, подобного Тассо, Мильтону, Жан-Жаку Руссо, Мюрату или Христофору Колумбу. Обыденные беды не трогали Модесту, она мечтала заливать костры, на которых сгорали

мученики, часто пребывавшие в безвестности при жизни. Модеста жаждала неведомых терзаний, возвышенных страданий мысли. То она приносила бальзам утешения Жан-Жаку и придумывала всевозможные средства, сочиняла мелодии, изобретала тысячи способов, чтобы смягчить его жестокую мизантропию. То она видела себя женой лорда Байрона и почти угадывала его сомнения и его презрение к действительности, то обращала его в католичество, то сама становилась своенравной, как стихи «Манфреда». Модеста возлагала вину на всех женщин XVII века за меланхолию Мольера.

«Почему,— думала она,— к гениальному человеку не поспешит женщина любящая, богатая, красивая, почему не станет его рабой, как таинственный паж в поэме «Лара»?» Как видите, она прекрасно поняла «pianto», пропетый английским поэтом устами Гюльнары. Она восхищалась поступком молодой англичанки, которая сама предложила себя в жены Кребильону-младшему. История Стерна и Элизы Дрэпер составляла счастье и смысл ее жизни в течение нескольких месяцев. Воображая себя героиней подобного романа, она не раз разыгрывала прекрасную и возвышенную роль Элизы. Чувства, так восхитительно выраженные в этих письмах, вызывали на ее глазах слезы, которых, как говорят, недоставало у остроумнейшего из английских писателей.

Некоторое время Модеста жила тем, что стремилась понять не только дух произведений, но и характер своих любимых писателей. Гольдсмидт, автор «Обермана», Шарль Нодье, Матюрен, самые несчастные и самые обездоленные, были ее кумирами. Она угадывала их боль, постигала их жизнь, где лишения забывались за созерцанием прекрасного, она расточала перед ними все сокровища своего сердца. Она рисовала себе, что создает жизненное благополучие великих художников, мучеников своего таланта. Это благородное сострадание, это полное приобщение к мукам творчества, этот культ гения — одна из редчайших причуд женской души. Это как бы тайна между ней и богом, ибо здесь отсутствует всякий внешний блеск, нет ничего, что бы могло тешить тщеславие, которое является во Франции могущественным побудителем большинства поступков. И вот третий период духовной жизни Модесты породил у нее силь-

нейшее желание проникнуть в тайну высокого, выходящего из ряда вон существования, познать движущие силы мысли, скрытые несчастья гения, понять, кто он такой, чего он хочет. Таким образом, взлеты фантазии Модесты, блуждания ее души в пустоте, настойчивое желание приподнять завесу будущего, нетерпеливое стремление отдать весь свой запас любви избраннику, благородство ее представлений о жизни, твердое намерение лучше страдать в горних сферах, чем погрязнуть, подобно г-же Миньон, в болоте провинциальной жизни, ее решение оставаться чистой, уважать семейный очаг и вносить в него одну только радость — весь этот мир чувств нашел, наконец, воплощение. Модеста решила стать подругой поэта, художника — словом, подругой человека, стоящего над толпой; она хотела избрать его сама и отдать ему свое сердце, свою жизнь, свою безмерную нежность, свободную от беспокойств и огорчений страсти, но лишь после того, как изучит душу своего избранника. Этот прекрасный вымысел приносил ей вначале одну радость. Безмятежное спокойствие царило в ее душе. На лице появился легкий румянец, и она стала восхитительным и возвышенным олицетворением Германии, стала славой Шале и гордостью г-жи Латурнель и супругов Дюме. С этого времени Модеста начала вести двойное существование. Она смиренно и с любовью занималась повседневными мелочами и как будто надежно держала в границах свой поэтический порыв к идеалу, она уподобилась картезианским монахам, которые трудятся и распределяют по часам свой день, дабы молитвой совершенствовать душу. Все великие умы принуждают себя к какой-нибудь механической работе, стремясь лучше овладеть своей мыслью. Спиноза шлифовал стекла для очков. Бейль вел счет черепицам на крыше, Монтескье огородничал. Когда тело обуздано, душа может спокойно и уверенно расправить крылья. Итак, г-жа Миньон, которая читала в душе своей дочери, была права. Модеста любила и любила той редко встречающейся и непонятной платонической любовью, которая есть не что иное, как первая девичья иллюзия, самое утонченное из всех человеческих чувств, сладчайшая отрада сердца. Она пила капля за каплей из источника неведомого, невозможного, из источника грез. Она любовалась синей птицей,

той птицей, что живет в мире девичьих грез, что поет где-то далеко-далеко, порою появится на мгновение, но никогда не дается в руки, и никакая стрела не может ее настигнуть; волшебное ее оперение сверкает и переливается, ослепляя взор, как драгоценные камни, но она навеки исчезает, как только действительность, эта отвратительная гарпия, появится в сопровождении свидетелей бракосочетания и господина мэра. Черпать в любви всю ее поэзию, не видя возлюбленного! Что за изысканное наслаждение! Что за безумный, что за необузданный полет фантазии!

Вот тот ничтожный, нелепый случай, который решил судьбу нашей героини.

Однажды Модеста увидела в витрине книготорговца литографированный портрет Каналиса, любимейшего своего поэта. Вы знаете, сколь лживы обычно эти изображения, изделие грязных спекулянтов, которые пользуются физиономией знаменитого человека с такой беззастенчивостью, словно это обыкновенный товар. Итак, Каналис был изображен в достаточно байронической позе и являл восхищенному зрителю откинутые назад кудри, обнаженную шею и непомерно высокое чело — отличительный признак всякого уважающего себя поэта. Нет сомнения, что чело Виктора Гюго заставит подбрить столько же лбов, сколько будущих маршалов погубила слава Наполеона. Лицо Каналиса, изображенное красивым и благородным ради коммерческого расчета, поразило Модесту; в тот день, когда она приобрела этот портрет, вышло в свет одно из прекраснейших произведений д'Артеза. Пусть Модеста проиграет в глазах читателя, но, признаемся, она долго колебалась, не зная, на ком остановить свой выбор: на знаменитом поэте или на знаменитом прозаике. Но, может быть, оба эти прославленных человека уже связаны, оба женаты? Модеста первым делом обеспечила себе содействие Франсуазы Коше, которая служила еще у несчастной Беттины-Каролины и вернулась вместе с ней из Парижа. Она поселилась в Гавре, и г-жа Миньон с г-жой Дюме всегда охотно брали ее для подённой работы. Модеста привела к себе в комнату эту девицу, в достаточной степени обойденную природой, и поклялась ей, что никогда не доставит ни малейшего огорчения своим родителям и никогда не преступит гра-

ниц дозволенного; кроме того, Франсуазе было обещано выплатить по возвращении Шарля Миньона сумму денег, вполне достаточную для обеспеченного и спокойного существования, при том условии, понятно, что она нерушимо сохранит в тайне услугу, о которой ее просят. Что же это за услуга? Да пустяки, вещь самая невинная. Модеста потребовала от своей сообщницы только одного: чтобы та отправляла ее письма и приносила с почты те, которые будут приходить на имя Франсуазы Коше. Заключив этот договор, Модеста тут же написала вежливое, короткое письмецо Дориа, издателю Каналиса, и просила сообщить ей, в интересах самого великого поэта, женат он или холост, и попросила прислать ответ на имя Франсуазы Коше,— Гавр, до востребования. Дориа по своей природе был неспособен серьезно отнестись к подобному посланию и ответил письмом, над составлением которого потрудились пять или шесть журналистов, причем каждый внес в него свою долю остроумия.

«Сударыня, де Каналис (барон) Констан-Сир-Мельхиор, член французской Академии, родился в 1800 году в Каналисе (департамент Коррез), имеет росту 5 футов и 4 дюйма, хорошо сохранился, оспопрививанию подвергался, чистых кровей, признан годным к военной службе, пользуется завидным здоровьем, владеет в департаменте Коррез маленьким родовым поместьем и не прочь жениться, но только на очень богатой невесте.

Щит его герба рассеченный. В правой, пурпурной, части золотая секира, в левой, червленой, части — серебряная раковина, герб увенчан баронской короной, щитодержатели — две зеленые лиственницы. Злато и булат — таков девиз их был, но никто из Каналисов булатом злата не добыл.

Овернские летописи, упоминая имя родоначальника Каналисов, который отправился в святую землю во время первого крестового похода, отмечают, что он был вооружен одной лишь секирой по причине своей крайней бедности, которая с тех пор тяжким бременем тяготеет над всем его потомством. Отсюда, возможно, и происхождение его герба. Отсюда и раковина в гербе Каналиса, потому что других сокровищ своей секирой он себе не добыл. Сей высокопоставленный барон, прославившийся в

веках избиением превеликого числа неверных, скончался в Иерусалиме на Аскалонской дороге (ибо походных госпиталей в ту пору еще не существовало), не имея ни злата, ни булата и будучи гол, как сокол. Замок Каналиса приносит несколько каштанов дохода и обложен налогом в сумме двадцати двух франков в год; он состоит из двух полуразрушенных башен, соединенных остатками крепостной стены, прославленной плющом изумительной густоты.

Нижеподписавшийся издатель просит отметить, что он покупает за десять тысяч франков каждый том стихов г-на Каналиса, который в противоположность предку не то что булата, ни одной свинцовой буквы даром не отдаст. Певец из департамента Коррез живет на улице Паради-Пуассоньер, № 29,— квартал вполне подходящий для поэта романтической школы. И ловит он не соколов, а простаков. *Неоплаченных писем не посылать.*

Поговаривают, будто некоторые знатные дамы из Сен-Жерменского предместья частенько заходят в этот парадис и поклоняются обитающему в нем божеству. Король Карл X так высоко ценит великого поэта, что счел его даже способным занимать административные должности. Он не только произвел его недавно в кавалеры ордена Почетного легиона, но и назначил советником при министерстве иностранных дел, что нисколько не мешает великому поэту получать пенсию в размере трех тысяч франков из фонда поощрения литературы и искусства. Денежный успех поэта составляет для издателей восьмую казнь, которой удалось избежать Египту, и эта казнь — печатать его стихи.

Последнее издание произведений де Каналиса напечатано в типографии Дидо на веленевой бумаге с виньетками Бисиу, Жозефа Бридо, Шиннера, Сомервье и проч. и состоит из пяти томов среднего формата; цена 9 франков с пересылкой».

Письмо это произвело действие подобно булыжнику, свалившемуся на хрупкий тюльпан. Как не походил этот поэт в чине советника, состоящий на жалованье в министерстве, получающий пенсию, домогающийся орденской ленточки и окруженный поклонением дам Сен-Жерменского предместья, как не походил он на забрызганного грязью мечтателя, который печально и задумчиво ша-

гает по набережной, изнемогая от трудов, и возвращается в свою мансарду, переполненный поэтическими образами! Но Модеста все же поняла, что завистливый издатель, имевший обыкновение говорить: «Я создал Каналиса! Я создал Натана!» — насмехается над ней. К тому же она вновь перечла стихи Каналиса, написанные неискренне, но чрезвычайно увлекательно. Они требуют хотя бы краткого разбора, иначе читатель не поймет, почему Модеста так увлекалась ими.

Каналис отличается от Ламартина, главы романтической школы, вкрадчивостью сиделки, предательской нежностью и восхитительной отделкой формы. Если глава школы своим мощным клекотом напоминает орла, то Каналиса можно сравнить с бело-розовым фламинго. Женщины в нем видят верного друга, хранителя их тайн, выразителя их мечтаний, толкователя их сокровенных чувств. Широкие поля, оставленные Дориа в последнем издании Каналиса, были испещрены заметками и признаниями Модесты, которой была близка мечтательная и нежная душа поэта. Каналис не владеет даром яркого изображения, он не умеет вдохнуть жизнь в свои творения, но зато он может успокоить беспричинные страдания, подобные тем, что терзали Модесту. Он говорит с девушками на их языке, он врачует боль самых мучительных ран, он умеет утишить стоны и даже рыдания. Его талант не вернет больных к жизни прекрасным словом, не оживит их сильным чувством, он лишь твердит им благозвучным голосом, которому невольно веришь: «Я так же несчастлив, как и вы, я так понимаю вас, придите ко мне, поплачем вместе на берегу этого ручья, под этими ивами...» И представьте, люди идут к нему, слушают его пустые и звучные стихи, похожие на колыбельную песню, которой кормилица убаюкивает дитятю. Каналис, напоминающий в этом отношении Нодье, чарует вас наивностью, столь естественной у прозаика и столь наигранной у поэта, чарует своим изяществом, улыбкой, увядающими в каждой строчке цветами, своей примитивной философией. Он не хуже попугая подражает лепету младенца и посему может вернуть вас в долину иллюзий. Люди безжалостны к орлам, они требуют от них блеска, чистоты алмаза и предельного совершенства, а Каналисам прощают все, удовлетворяясь их мед-

ной сиротской монеткой. Каналис кажется добродушным, а главное, человечным. Ужимки поэта романтической школы ему удаются так же хорошо, как удаются уловки притворства женщине, которая умеет разыгрывать удивленную простушку, юную девушку, жертву или оскорбленного ангела. Перечитав стихи Каналиса, Модеста вновь испытала прежнее впечатление и прониклась доверием к этой душе, к этому лицу, такому же восхитительному, как у Бернардена де Сен-Пьера. Она не поверила издателю. Итак, в начале августа она написала следующее письмо Каналису — этому Дора в рясе, ибо Каналис также считается одной из ярчайших звезд в плеяде современных поэтов.

1

«Г-ну де Каналису.

Десятки раз мне хотелось написать вам, сударь. Зачем? Вы угадаете и сами: чтобы сказать вам, как безмерно я ценю ваш талант. Бедная девушка, провинциалка, одна-одинешенька в своем уголке, все счастье которой заключается в чтении ваших стихов, выражает вам свое восхищение. От «Ренэ» я пришла к вам. Меланхолия ведет к мечтательности. Сколько женщин, преклоняясь перед вами, посвящали вас в свои тайные думы. Могу ли я надеяться, что вы заметите меня в этой толпе? Не затеряется ли среди надушенных записок, которыми вас осыпают, клочок бумаги с этими строками, куда я вложила все свое сердце? Должно быть, я покажусь вам скучнее прочих, ведь я хочу остаться для вас неизвестной и все же прошу у вас полного доверия, словно мы с вами знакомы уже долгие годы.

Ответьте мне, я надеюсь на вашу доброту. Не обещаю открыть вам свое имя, но кто знает? Что я могу еще добавить? Прошу вас, поверьте, сударь, что мне нелегко было вам написать, и разрешите мне протянуть вам руку, руку искреннего друга. Преданная вам

О. д'Ест-М.».

Если вы соблаговолите мне ответить, пишите, пожалуйста, по адресу: Гавр, г-же Ф. Коше, до востребования».

Любая девушка, романтична ли она или нет, легко себе представит, в каком волнении провела Модеста все последующие дни.

В воздухе проносились языки пламени. Листва деревьев сверкала и переливалась, как оперение птиц. Модеста перестала ощущать свое тело, она как бы растворялась в природе, земля уходила у нее из-под ног. Благословляя почту и почтальонов, она мысленно следила за странствованием своего письма и чувствовала себя счастливой, как бывают счастливы в двадцать лет, впервые осуществив задуманное. Она была во власти увлечения, как средневековая «одержимая» во власти злого духа. Она представила себе квартиру, кабинет поэта, видела, как он распечатывает письмо, и строила миллион предположений.

Познакомив вас бегло с поэзией Каналиса, нарисуем и портрет самого поэта. Каналис сухощав, невысок ростом, осанка у него самая аристократическая, он брюнет, лицо у него удлиненное, что называется «лошадиное»; голова немного мала, как у многих людей, которые не столь горды, сколь тщеславны. Он любит роскошь, блеск, величие. Богатство ему особенно необходимо. Кичась своим дворянством не менее, чем талантом, он поубивал всех своих предков на поле чести, желая выиграть в глазах современников. В сущности, род Каналисов не может идти ни в какое сравнение с такими родами, как Наваррены, Кадиньяны, Гранлье и Негрепелисы. И все же сама природа, казалось, помогала честолюбцу Каналису. Как и подобает поэту, у него сверкающие восточные глаза, в манерах чувствуется вкрадчивая мягкость, голос звучен, но притворство, вошедшее в его плоть и кровь, сводит на нет все эти достоинства. Он комедиант, но комедиант искренний. Его походка чрезвычайно изящна, но только потому, что он немало потрудился над ней. Своим красноречием он тоже обязан себе. Он так привык рисоваться, что всегда умеет принять живописную позу. Эти недостатки уживаются в нем с известным великодушием и даже рыцарством, но он не рыцарь, а скорее искатель приключений. У Каналиса недостанет веры, чтобы стать Дон-Кихотом, но он слишком возвышен, чтобы пренебрегать идеальной стороной вещей. Его поэтический дар изливается при всяком удобном и не-

удобном случае, что весьма вредит самому поэту, ибо он не лишен ума, но постоянное желание блистать мешает этому уму проявиться во всей его широте. Каналис раб своей славы, а жаждет стать ее господином. Таким образом, личность этого человека, как оно случается нередко, находится в полном противоречии с его творчеством. Эти стихи, спокойные, чистые, как скованное льдом озеро, эта ласкающая, женственная поэзия, вкрадчивая, наивная, полная нежности, созданы маленьким честолюбцем, чванливым, затянутым во фрак аристократом с манерами дипломата, мечтающим о политической карьере, надушенным мускусом, претенциозным, жаждущим богатства, необходимого для его честолюбивых планов, человеком, которого уже испортил успех с его двумя обычными венками: лавровым и миртовым. Герой Модесты получал в год двадцать пять тысяч ливров: восемь тысяч франков жалованья, три тысячи пенсии, две тысячи от Академии и тысячу экю дохода с родового поместья де Каналисов; правда, некоторую сумму приходилось затрачивать на поддержание захудалой усадьбы, но в общем он имел пятнадцать тысяч франков годового дохода плюс десять тысяч франков, которые в среднем приносило издание его стихов. Эта сумма казалась ему в то время недостаточной, так как он тратил сверх нее еще пять — шесть тысяч франков. Но королевская казна и секретные фонды министерства неизменно покрывали этот дефицит. Ко дню коронования Каналис написал гимн и получил в благодарность серебряный сервиз. Он заранее отказался от всякого денежного вознаграждения, говоря, что представители рода Каналисов обязаны воспевать короля Франции. «Рыцарь-король» улыбнулся и заказал у Одио этот дорогой подарок, представлявший как бы перифразу следующей строфы из «Заиры»:

Как, стихотворец мой, и ты вообразил,
Что Карла короля ты щедростью затмил?

К этому времени Каналис, по образному выражению журналистов, «порастряс свои запасы». Он чувствовал, что не в состоянии изобрести что-либо новое в поэзии, из семи струн его лиры осталась только одна, и он так часто на ней играл, что публика потребовала: или повеситься на этой последней струне, или же умолкнуть. Де Марсе,

недолюбливавший Каналиса, позволил себе шутку, ядовитое жало которой больно уязвило самолюбие поэта. «Каналис,— сказал он как-то,— напоминает мне того трубача, которого Фридрих Великий назвал храбрецом за то, что, пока шел бой, он дудел не переставая в свою дудку».

Каналис пожелал стать политиком и для начала решил извлечь пользу из своего пребывания в Мадриде в качестве атташе посольства, где он состоял при герцоге Шолье. «Не при посланнике, а при посланнице»,— острили тогда в парижских гостиных. Как часто одно язвительное слово меняло судьбу человека. Бывший президент Цизальпинской республики, известнейший адвокат Пьемонта, г-н Колла, будучи уже в сорокалетнем возрасте, услышал, что его друг говорит, будто он, Колла, ничего не смыслит в ботанике; обидевшись, Колла становится вторым Жюссье, разводит цветы, выращивает новые разновидности растений и издает по-латыни «Флору Пьемонта» — плод десятилетних трудов.

«В сущности, ведь и Каннинг и Шатобриан тоже были политиками,— подумал исписавшийся поэт,— и де Марсе придется признать меня победителем».

Каналису очень хотелось написать большой труд по политическим вопросам, но он побоялся скомпрометировать себя, перейдя на прозу, чьи законы столь жестоки к тому, кто приобрел привычку выражать любую мысль александрийскими четверостишьями. Из всех поэтов нашего времени только трое: Гюго, Теофиль Готье и Альфред де Виньи — сумели стяжать двойную славу поэта и прозаика, которая выпала также на долю Расина и Вольтера, Мольера и Рабле. Эта слава — явление редчайшее во французской литературе — венчает только истинных поэтов. Итак, поэт Сен-Жерменского предместья поступал вполне благоразумно, стремясь поставить свою колесницу под надежный кров, поближе к дворцовым каретам. Получив чин советника, он решил, что ему необходим секретарь, вернее друг, который мог бы заменить его в иных трудных случаях, а именно: торговаться с издателями, заботиться о поддержании его славы в газетах, помогать ему в политических предприятиях — словом, человек, преданный поэту душой и телом. Многие парижские знаменитости — ученые, художники, литераторы — имеют при

себе одного-двух прихвостней; обычно это какой-нибудь гвардейский капитан или камергер, который, греясь в лучах чужой славы, выполняет самые щекотливые поручения и в случае надобности готов даже скомпрометировать себя. Живет он не то на положении слуги, не то на положении друга, без устали хлопочет у пьедестала великого человека, беззастенчиво расхваливает его, первый бросается на защиту кумира, прикрывает его отступление, ведет все его дела и остается преданным ему до тех пор, пока не разочаруется в своих иллюзиях или же не добьется желаемого. Одни внезапно замечают, что их знаменитый друг недостаточно им благодарен, другие считают, что они жертва эксплуатации, третьим прискучивает это занятие, и лишь немногие удовлетворяются приятным сознанием равенства, ибо оно есть единственно достойная награда за близость с великим человеком; вспомним Али, которого приблизил к себе Магомет. Многих ослепляет самомнение, и они начинают считать себя не менее талантливыми, чем сам кумир. Преданность — явление редкое, особенно преданность, не ожидающая вознаграждения и не питающая надежд, то есть такая, какой понимала ее Модеста. Однако есть еще Менневали — и в Париже их больше, чем где-либо,— которые любят держаться в тени, любят спокойную работу; они бенедиктинцы, чужие в нашем современном обществе, монахи без монастыря. Истинные агнцы, они вносят в свою деятельность и личную жизнь ту поэзию, которую лишь изображают писатели. Они поэты в душе, в своих уединенных размышлениях, в своей любви и нежности, тогда как другие — поэты лишь на бумаге, по столько-то за строчку, поэты умом, а не сердцем, как, например, лорд Байрон, как все те, кто, увы, живет за счет своих чернил, заменяющих ныне, по воле властей, источник Иппокрены.

Некоего молодого докладчика, члена совета высшей счетной палаты, привлекла слава Каналиса и блестящее будущее, якобы ожидавшее это политическое светило; по совету г-жи д'Эспар — а она в данном случае действовала в интересах герцогини де Шолье — он стал безвозмездно выполнять обязанности секретаря поэта, обласкавшего его, словно ростовщик своего первого заимодавца. Вначале их сотрудничество несколько походило на дружбу. Этот молодой человек уже занимал подобную

должность при одном из министров, вынужденных уити в отставку в 1827 году. Однако министр все же позаботился об Эрнесте де Лабриере и устроил его в совет высшей счетной палаты. В то время Эрнесту исполнилось двадцать семь лет; он был награжден орденом Почетного легиона, не имел иного дохода, кроме своего жалованья, обладал известными деловыми навыками и многому успел научиться, проведя четыре года в кабинете главы министерства. Он был приятен и любезен в обращении, обладал добрым, неиспорченным сердцем, и ему претило быть на виду. Он любил свою страну, хотел быть ей полезным, но блеск пугал его. Имей он право выбора, он предпочел бы стать секретарем Наполеона, а не премьер-министром. Подружившись с Каналисом, Эрнест усердно занимался его делами, но уже через полтора года убедился, что поэт — человек сухой, черствый и возвышен только в словесном выражении своих чувств. Нигде так часто не оправдывается мудрость народной пословицы «ряса не делает монаха», как в области литературы. Чрезвычайно редко встречается соответствие между талантом и характером писателя. Талант еще не составляет сущности человека. Это несоответствие, столь удивительное в своем внешнем проявлении, пока не исследовано, а быть может, и недоступно исследованию. Ум и все формы творчества, ибо в искусстве рука человека продолжает то, что родилось в его мозгу, составляют особый мир, существующий и развивающийся под черепной коробкой независимо от чувств и от того, что именуется добродетелью гражданина, отца семейства и просто человека. Однако это не есть непреложный закон. В человеке нет ничего непреложного. Несомненно, что развратник погубит свой талант в беспрерывном разгуле, а пьяница потопит его в вине; но и заурядный человек не станет талантливее от того, что будет тщательно выполнять все предписания гигиены. С другой стороны, бесспорно, что певец любви Вергилий никогда не любил никакой Дидоны и что образец гражданина Руссо был наделен таким тщеславием, что ему могли бы позавидовать все аристократы, вместе взятые. И все-таки Микеланджело и Рафаэль являли собой счастливую гармонию гения и характера. Итак, в моральном отношении талант у мужчин — это почти то

же, что красота у женщин: то есть лишь обещание, иногда обманчивое. Склонимся же дважды перед человеком, сердце, характер и талант которого в равной степени совершенны. Распознав в поэте честолюбивого эгоиста, худшую из разновидностей этой породы, ибо есть и приятные эгоисты, Эрнест из чувства щепетильности не решался его покинуть. Порядочные люди не легко порывают узы, особенно если они добровольно связали себя этими узами. Итак, когда письмо Модесты летело по почте, секретарь еще продолжал жить в добром согласии с поэтом, как живут те, которые сознательно приносят себя в жертву. Лабриер был благодарен Каналису за ту откровенность, с которой он позволил ему заглянуть в свою душу. К тому же недостатки этого человека, которого будут считать великим при жизни и чествовать, как чествовали в свое время Мармонтеля, составляли лишь оборотную сторону его блестящих дарований. Будь он не так тщеславен и честолюбив, он не обладал бы ясной ораторской дикцией, этим необходимым качеством в современной политической жизни. Он был сух и избрал себе роль человека прямого и честного; он любил рисоваться и посему бывал великодушен. Обществу от этого была польза, а о побуждениях пусть судит господь бог.

Но к тому времени, когда пришло письмо Модесты, Эрнест уже не обольщался больше относительно Каналиса. Оба приятеля только что позавтракали и сидели в кабинете поэта, который занимал в глубине двора превосходную квартиру в нижнем этаже, выходившую окнами в сад.

— Я должен создать новую поэму! — воскликнул Каналис.— Я уже говорил об этом на днях с госпожой де Шолье. Публика охладевает ко мне. Вот первое анонимное письмо, которое я получил после длительного перерыва.

— От незнакомки? — спросил Лабриер.

— Да, от незнакомки! Какая-то д'Ест, и притом из Гавра. Очевидно, вымышленная фамилия.

И Каналис передал письмо Лабриеру. Так этот фат пренебрежительным жестом бросил своему секретарю восторженную поэму девичьих чувств, само сердце Модесты.

— Как это прекрасно! — воскликнул Эрнест.— Привлекать к себе самые целомудренные сердца, иметь над женщиной такую власть, чтобы заставить ее изменить привычки, внушенные воспитанием, природой, светом, пренебречь условностями. Вот они, преимущества таланта! Такое письмо, как вот это, написано девушкой, несомненно девушкой, написано в упоении, без тайного расчета...

— Ну и что же? — сказал Каналис.

— А то, что можно выстрадать столько же, сколько выстрадал Тассо, но в конце концов быть вознагражденным! — воскликнул Лабриер.

— Так говорят, мой милый, при первом, при втором письме,— заметил Каналис,— однако при тридцатом этого уже не скажешь... Но если окажется, что юная мечтательница уже кое-что испытала, если, взлетев в своем поэтическом воображении чуть не до небес, встречаешь пожилую английскую мисс, которая протягивает тебе руку, сидя на придорожном камне, если ангел, впорхнувший к тебе вместе с почтальоном, превращается в бедную и притом не слишком красивую девушку, жаждущую выйти замуж,— вот тогда-то пыл остывает.

— Я начинаю думать,— сказал Лабриер, улыбаясь,— что слава таит в себе нечто ядовитое, как иные ослепительно яркие цветы.

— К тому же, друг мой,— продолжал Каналис,— у всех этих женщин, даже если они вполне искренни, имеется идеал, которому мы редко соответствуем. Они не представляют себе, что поэт может быть тщеславен,— а в этом обвиняют и меня,— они не понимают того лихорадочного возбуждения, которое делает его раздражительным, изменчивым; они желают, чтобы поэт был всегда одинаково велик, одинаково прекрасен. Они не думают о том, что талант — это болезнь, что Натан живет с Флориной, что д'Артез слишком тучен, а Жозеф Бридо чересчур тощ, что Беранже принужден ходить пешком и что у божества может быть насморк. Ведь поэт и в то же время красавец, как, например, Люсьен де Рюбампре,— величайшая редкость. К чему же тогда выслушивать язвительные комплименты разочарованной дамы и ловить ее недоуменные взгляды, от которых леденеет кровь?

— Значит, истинный поэт,— сказал Лабриер,— должен оставаться невидимым, как бог, среди созданных им миров и проявлять себя только в своих творениях.

— О, тогда слава обходилась бы слишком дорого,— ответил Каналис.— В жизни есть свои хорошие стороны. Видишь ли,— продолжал он, беря чашку чая,— если знатная и красивая женщина любит поэта, она не прячется ни в ложах верхнего яруса, ни бенуара, как герцогиня, влюбленная в актера; она чувствует свою силу, знает, что красота, богатство, имя служат ей надежной защитой, и говорит, как это принято в эпических поэмах: «Я нимфа Калипсо, возлюбленная Телемака». К мистификации прибегают только мелкие души. Я уже давно не отвечаю на письма замаскированных дам.

— О, как я полюбил бы женщину, которая сама пришла бы ко мне! — взволнованно воскликнул Лабриер.— А на твои слова, дорогой Каналис, можно возразить, что бедная, обделенная судьбой девушка никогда не осмелится поднять взор на знаменитость, она слишком недоверчива, слишком самолюбива, слишком робка для этого. Так может поступить только звезда или...

— Или принцесса, не правда ли? — воскликнул Каналис, громко рассмеявшись.— Принцесса, которая снизойдет до поэта! Милый друг, такое чудо случается раз в столетие. Такая любовь похожа на цветок, расцветающий только через сто лет. Принцессы крови, молодые, красивые, богатые, слишком заняты, они защищены, как и все редкостные цветы, целым частоколом хорошо воспитанных дворян, дураков и пустозвонов. Моя мечта, увы! Моя мечта, которую я лелеял еще в Коррезе, которую с таким пылом расцвечивал ярчайшими узорами фантазии... Но не будем об этом вспоминать. Мечта моя разбилась вдребезги, как хрусталь, ее осколки и поныне валяются у моих ног... Нет, нет, писать анонимные письма — значит попрошайничать. И какая требовательность! Попробуй-ка, ответь этой особе, предположив, что она молода и красива, и ты сам увидишь. У тебя ни на что другое не хватит времени. Благоразумие не позволяет нам любить всех женщин. Аполлону, по крайней мере Бельведерскому Аполлону, должно вести себя как чахоточному красавцу, то есть беречь свои силы.

— Но если девушка решается на подобный шаг,— сказал Эрнест,— оправданием ей служит уверенность в том, что она может затмить красотой и вытеснить нежностью самую обожаемую любовницу, и тогда известное любопытство...

— Да полно,— заметил Каналис,— разреши мне, мой чересчур наивный друг, ограничиться привязанностью прекрасной герцогини, которая составляет мое счастье.

— Ты прав, даже слишком прав,— сказал Эрнест.

Все же молодой секретарь прочел письмо Модесты и перечел его, стараясь разгадать скрытый в нем смысл.

— Послушай, в этом письме нет никакой фальши, тебя не называют гением и обращаются только к твоему сердцу,— сказал он Каналису,— я не устоял бы перед этой благоухающей скромностью и принял бы договор.

— Ну, что же, скрепи его,— отвечай, доведи приключение до конца. Ну, и советы я тебе даю! — воскликнул Каналис, улыбаясь.— А через три месяца ты сам увидишь, что я прав, если только это продлится три месяца...

Четыре дня спустя Модеста получила следующее письмо, написанное на превосходной бумаге, вложенное в плотный конверт и запечатанное сургучной печатью с гербом Каналиса.

II

«Мадемуазель О. д'Ест-М.

Сударыня, восхищение прекрасными творениями,— допустим, что мои творения именно таковы,— имеет в себе нечто святое и искреннее, что ограждает от насмешек и оправдывает перед лицом любого суда ваше письмо ко мне. Прежде всего разрешите поблагодарить вас за то удовольствие, которое всегда доставляет автору высокая оценка его творчества, даже если она совершенно незаслуженна; ведь и рифмоплет и поэт — оба в глубине души считают себя достойными такой оценки, ибо самолюбие — субстанция, неспособная сопротивляться действию похвал. А разве не явится лучшим доказательством дружбы, которое я могу предложить незна-

комке в обмен на бальзам ее утешения, способный излечить ядовитые уколы критики,— желание поделиться с нею жатвой моей опытности, рискуя даже развеять ее прекрасные иллюзии?

Сударыня, ореол святой, чистой и безупречной жизни есть лучшее украшение молодой девушки. Если вы одиноки, тогда не о чем больше говорить. Но если у вас есть семья, отец или мать, подумайте только, какое горе может причинить им письмо, которое вы написали человеку, совершенно вам незнакомому. Не все писатели — ангелы, и у них есть недостатки. Среди них попадаются люди легкомысленные, ветрогоны, фаты, честолюбцы, распутники; и какое бы уважение ни внушала невинность, как бы рыцарски благороден ни был французский поэт, вы рискуете встретить в Париже немало развращенных менестрелей, готовых внушить вам любовь лишь для того, чтобы обмануть ее. В этом случае ваше письмо было бы истолковано иначе, чем истолковал его я. При желании в нем можно было бы усмотреть намерение, о котором вы, в своей невинности, даже не подозреваете. Сколько писателей — столько и характеров. Я чрезвычайно польщен тем, что вы сочли меня способным понять вас. А что, если бы вы напали на талантливого лицемера, на насмешника, чьи книги полны меланхолии, а жизнь — беспрерывный карнавал? А что, если бы ваша столь возвышенная неосторожность свела вас с дурным человеком, с каким-нибудь завсегдатаем кулис или героем парижских кабачков? Вы размышляете о поэзии, сидя под благоухающим сводом цветущей жимолости, и до вас не доходит запах сигар, который, к сожалению, лишает поэтичности наши стихи. Ведь отправляясь на бал в уборе из сверкающих творений ювелирного искусства, вы не думаете о натруженных пальцах, о рабочих в блузах, о грязных мастерских, откуда выходят эти лучезарные цветы труда. Продолжаю. Разве может мечтательная и одинокая жизнь, которую вы, очевидно, ведете там, на берегу моря, заинтересовать поэта, чье назначение все угадывать и все изображать? Наши девушки, девушки, созданные нашим воображением, так совершенны, что лучшая из дочерей Евы не может соперничать с ними. Какая действительность может сравниться с мечтой? Скажите сами, что приобретете вы,

юная девушка, участь которой — стать рассудительной матерью семейства, что приобретете вы, соприкоснувшись с ужасающими треволнениями жизни поэта в той страшной столице, которую можно обрисовать так: ад мучительный, но любимый. Если вы взяли в руки перо лишь для того, чтобы внести разнообразие в свою жизнь, в жизнь молодой и любознательной девицы, не есть ли это проявление испорченности? И как понять смысл вашего письма? Уж не принадлежите ли вы к касте отверженных, уж не ищете ли вы друга вдали от дома? Или, быть может, природа отказала вам в красоте, и вашей прекрасной душе недостает утешителя? Увы, я прихожу к печальному выводу: ваш поступок слишком смел или недостаточно смел. Остановимся на этом. Если же вы хотите продолжать переписку, сообщите мне о себе больше, чем я узнал из вашего письма. Но, сударыня, если вы молоды, красивы, если у вас есть семья, если вы чувствуете в сердце божественный дар сострадания, которое вам хочется на кого-нибудь излить, подобно Магдалине, умастившей мирром ноги Иисуса Христа, пусть вас оценит человек достойный, и будьте тем, чем должна стать всякая хорошая девушка: превосходной женой и добродетельной матерью. Одержать победу над поэтом — поверьте, участь незавидная для юной девы. Он слишком тщеславен, в его характере слишком много острых углов, на которые неизбежно натолкнется законная гордость женщины; они будут ранить ее чувство, ее нежность, еще не искушенную жизненным опытом. Жена поэта должна полюбить его задолго до замужества, она должна вооружиться милосердием и снисходительностью ангела и всеми добродетелями матери. А качества эти, сударыня, находятся у девушек лишь в зачатке.

Выслушайте же всю правду до конца,— разве не обязан я высказать ее вам в ответ на вашу опьяняющую лесть? Если брак со знаменитостью и может польстить тщеславию женщины, то скоро она заметит, что ее великий человек похож на всех прочих, и чем больше от него ожидают чудес, тем менее он способен оправдать возлагаемые на него надежды. И тогда с прославленным поэтом случается то же, что с женщиной, красоту которой чересчур расхвалили: «А я-то думал, что она

куда лучше»,— скажет мужчина, увидев ее в первый раз. Ее облик не соответствует более портрету, начертанному фантазией, этой волшебницей, которой я обязан вашим письмом. Наконец творческие способности могут развиваться и расцветать лишь в сфере, недоступной глазу. Жена поэта будет испытывать одни только неудобства и огорчения, видя, как изготовляют при ней драгоценности, которыми она так и не украсит себя. Если блеск славы ослепил вас, то знайте, что наслаждение ею быстро приедается. И как не раздражаться, встречая столько препятствий на пути, казавшемся поначалу столь гладким, и ощутив лед на вершине, которая издали сверкает столь ослепительно. Затем, так как женщинам не приходится сталкиваться с житейскими трудностями, они очень скоро перестают ценить то, чем прежде восхищались,— стоит им только вообразить, будто они уже разгадали назначение этих сокровищ.

Заканчиваю письмо и прошу вас, не сочтите мои слова скрытой просьбой; нет, они лишь совет друга. Искренняя, задушевная переписка может установиться только между людьми, решившими ничего не скрывать друг от друга. Захотите ли вы показать незнакомому человеку свою душу такой, как она есть? Ставлю точку, не делая выводов из этого предположения.

Примите это письмо, сударыня, как дань уважения, которое мы обязаны оказывать всем женщинам, даже незнакомкам в масках».

Носить в продолжение долгого дня это письмо на пылающей груди, под планшеткой корсета! Отложить его чтение до полуночи — до того часа, когда все в доме засыпают, и поджидать наступления торжественной тишины в мучительном беспокойстве, порожденном пламенным воображением! Благословлять поэта, мысленно вскрывать, перечитывать тысячи писем и ждать решительно всего, только не этой капли холодной воды, которая падает на мимолетное порождение фантазии и растворяет его, как растворяет синильная кислота живую клетку! И не удивительно, что Модеста уткнулась лицом в подушку, хотя была совершенно одна в комнате, и, потушив свечу, зарыдала.

Стояла первая половина июля. Модеста поднялась, подошла к окну и распахнула его. Ей не хватало воздуха. Вместе с ночной прохладой в комнату влилось благоухание цветов. Море, озаренное луной, блестело, как зеркало. В парке Вилькенов запел соловей.

«Вот он, мой поэт!» — подумала Модеста, и ее гнев утих.

Мысли, одна другой горестней, проносились у нее в голове. Она была уязвлена в самое сердце. Она решила перечитать письмо, зажгла свечу и углубилась в эту вылощенную прозу. Так просидела она до тех пор, пока до нее не долетело тяжелое дыхание реального мира.

— Нет, прав он, а не я,— прошептала Модеста.— Но можно ли было предположить, что под звездным плащом поэта окажется мольеровский старик?

Застигните женщину или девушку на месте преступления, и она затаит глубокую ненависть против свидетеля, виновника или предмета своей ошибки. И вот даже эту искреннюю, непосредственную и замкнутую девушку охватило страстное желание одержать победу над столь логическим умом, поймать его на противоречии, ответить ударом на удар. Солнечный луч, ласково коснувшийся лица Модесты, у которой чтение книг, продолжительные беседы с обольщенной сестрой и опасные размышления в одиночестве развратили одно лишь воображение, вернул ее к действительности. Целых три часа она странствовала по безбрежным морям Сомнения. Такие ночи никогда не забываются. Модеста, не колеблясь, присела к китайскому столику, подарку отца, и написала письмо, продиктованное бесом мщения, который таится в сердце каждой девушки.

III

«Г-ну де Каналису.

Сударь, вы бесспорно великий поэт, вы даже больше, чем великий поэт: вы честный человек. Проявив столько благородной откровенности по отношению к девушке, стоявшей на краю бездны, вы, надеюсь, ответите без малейшего лицемерия, без всяких отговорок на следующий вопрос:

Написали бы вы такое же письмо в ответ на мое, высказали бы вы те же мысли и в той же самой форме, шепни вам кто-нибудь на ухо — а кто знает, может быть, это и правда,— что у г-жи О. д'Ест-М. шесть миллионов приданого и что она не желает иметь своим повелителем глупца?

Допустите это предположение хотя бы на минуту. Будьте со мной откровенны, как с самим собой, не опасайтесь ничего: я гораздо разумнее, чем надлежит быть в мои двадцать лет, и никакое признание, если только оно чистосердечно, не повредит вам в моих глазах. После того, как я получу это признание,— если, конечно, вы соблаговолите мне его прислать,— я напишу вам ответ на ваше первое письмо.

Я уже высказала свое искреннее восхищение вашим поистине выдающимся талантом, разрешите мне теперь отдать должное вашей деликатности и душевной прямоте, что обязывает меня по-прежнему подписаться

Ваша покорная слуга
О. д'Ест-М.».

Прочитав это письмо, Эрнест де Лабриер вышел побродить по бульварам; в его душе поднялась буря, подобная той, что бросает из стороны в сторону утлое суденышко, когда ветер, рассвирепев и постоянно меняя направление, гонит по морю огромные валы

Настоящий парижанин ограничился бы словами: «Н-да, девушка видала виды!» Но в прекрасной и благородной душе юноши это послание, звучавшее как затаенное требование клятвы, этот призыв к правде пробудили тех трех судей, которые таятся в глубине нашей совести: Честь, Истину и Справедливость,— и все трое громко воззвали к нему:

«Дорогой Эрнест,— говорила Истина,— конечно, ты не стал бы читать проповеди богатой наследнице. Да, да, мой мальчик, ты, не раздумывая, отправился бы в Гавр, чтобы узнать, красива ли девушка, и увидев, что она предпочла тебе великого поэта, ты, наверное, приуныл бы. А если бы тебе удалось подставить ножку своему другу, если бы тебя благосклонно приняли вмес-

то него, о, поверь, мадемуазель д'Ест показалась бы тебе совершенством!» — «Как,— говорила Справедливость,— вы, люди умные и талантливые, но без гроша в кармане, жалуетесь на то, что богатые невесты выходят замуж за субъектов, которые недостойны быть вашими лакеями, вы всячески поносите наш практический век, который стремится соединить деньги с деньгами и никогда не соединит красивого, талантливого, но бедного юношу с знатной и богатой девушкой! И вдруг одна такая девушка восстает против духа своего века, а поэт отвечает ей ударом, направленным в самое сердце».— «Богата или бедна, молода или стара, красива или безобразна эта незнакомка,— она права и, видно, не глупа, ибо она дала понять поэту, что он погряз в болоте корыстных интересов! — воскликнула Честь.— Эта девушка заслуживает ответа искреннего, благородного, прямого и прежде всего того, чтобы ты высказал ей свои сокровенные мысли. Загляни в свое сердце, очистись от всякой скверны. Что сказал бы в этом случае мольеровский Альцест?»

Лабриер, погруженный в свои думы, медленно шел по бульвару Пуассоньер; только через час он добрался до бульвара Капуцинов и зашагал вдоль набережной, чтобы попасть в высшую счетную палату, которая в ту пору помещалась возле Сент-Шапель. Но, сев за стол, он погрузился не в проверку счетов, а в свои размышления.

«У нее нет шести миллионов — это ясно,— думал он,— но не в миллионах дело».

Шесть дней спустя Модеста получила следующее письмо.

IV

«Мадемуазель О. д'Ест-М.

Сударыня, ваша фамилия вовсе не д'Ест. Вы просто скрываетесь под этим именем. Может ли человек довериться тому, кто не говорит правды о самом себе? Так вот, я отвечаю на вашу просьбу вопросом. Происходите вы из знатного рода, из дворянской семьи или из буржуазного круга? Разумеется, требования морали от этого не меняются, но в зависимости от положения, занимаемого в обществе, меняются наши обязанности. По-

добно тому как солнце, неравномерно освещая ландшафт, придает ему восхитительное разнообразие, так и мораль согласует общественный долг с рангом и положением человека. Пустячный проступок солдата становится преступлением, если его совершает генерал, и наоборот. Правила поведения различны для жницы, для работницы, получающей пятнадцать су в день, для дочери мелкого лавочника, для молодой буржуазки, для дочери богатого торговца, для наследницы знатной семьи, для девушки из рода д'Ест. Королю не пристало нагибаться, чтобы поднять золотую монету, а пахарю приходится возвращаться назад, чтобы отыскать потерянные им десять су, хотя и тот и другой обязаны соблюдать законы бережливости. Если у г-жи д'Ест имеется шесть миллионов, она может надеть широкополую шляпу, украшенную перьями, и, безжалостно пришпоривая и стегая своего арабского коня, прискакать к поэту в амазонке, расшитой золотом, и сказать ему: «Я люблю поэзию и хочу искупить вину Элеоноры перед Тассо!» Пусть дочь негоцианта вздумает ей подражать, она очутится в самом нелепом положении. К какому общественному классу вы принадлежите? Ответьте чистосердечно, и я отвечу столь же искренне на заданный вами вопрос.

Не имея счастья вас знать, но уже связанный с вами узами поэтического родства, я не хотел бы в избитых словах приносить вам дань своего уважения. Смутить человека, пишущего книги,— это уже не малая победа женского коварства».

Лабриер был довольно изворотлив, впрочем, не больше, чем это позволительно порядочному человеку. Со следующей же почтой он получил ответ.

V

«Г-ну де Каналису.

Вы становитесь час от часу все благоразумнее, дорогой поэт. Мой отец — граф. Самым выдающимся представителем нашего рода был некий кардинал еще в те времена, когда кардиналы считались ровней королям. Я

последняя представительница нашего угасающего рода. Мы принадлежим к такому старинному дворянству, что я имею право являться ко всем дворам и во все капитулы. Словом, по происхождению мы равны Каналисам. Благодарите бога, что я не посылаю вам своего герба. Попытайтесь ответить так же искренне, как и я. Жду вашего письма, чтобы узнать, могу ли я подписываться и впредь

преданная вам *О. д'Ест-М.*»

— Эта девица злоупотребляет выгодами своего положения! — воскликнул де Лабриер.— Но искренне ли все это?

Как видно, нельзя безнаказанно прослужить четыре года личным секретарем министра, жить в Париже среди бесконечных интриг. Даже самая чистая душа пьянеет от хмельной атмосферы царственной столицы. Молодой докладчик счетной палаты, радуясь, что он лишь Лабриер, а не Каналис, заказал место в почтовой карете, идущей в Гавр, но предварительно послал письмо, в котором обещал Модесте ответить на интересующий ее вопрос через несколько дней, ибо министр дал ему срочное поручение, а написать исповедь — дело нелегкое и требующее времени. Перед отъездом он позаботился взять от директора главного почтового управления письмо к директору гаврского отделения, которому предлагалось хранить молчание относительно приезжего и оказывать ему всяческое содействие. Таким образом Эрнесту удалось увидеть на почте Франсуазу Коше и пойти за ней, не вызывая подозрения. Следуя по пятам за служанкой, он добрался до Ингувильской возвышенности и заметил в окне Шале Модесту Миньон.

— Ну как, Франсуаза? — спросила Модеста, на что работница ответила:

— У меня есть для вас письмо.

Пораженный красотой белокурой незнакомки, Эрнест отошел и спросил у прохожего, кто хозяин этого роскошного владения.

— Этого? — переспросил прохожий, указывая на виллу.

— Да, мой друг.

— Оно принадлежит господину Вилькену, это бога-

тейший судохозяин в Гавре, он не знает счета своим деньгам.

«По-моему, кардинал Вилькен что-то не встречается в истории»,— подумал Лабриер, спускаясь в Гавр с намерением немедленно отбыть в Париж.

Разумеется, он расспросил директора почтового отделения о семье Вилькена и узнал, что г-н Вилькен владеет огромным состоянием, что у него есть сын и две дочери, одна из которых замужем за сыном г-на Альтора. Благоразумие удержало Лабриера от излишних расспросов о Вилькенах, тем паче что директор уже начал насмешливо поглядывать на него.

— А что, сейчас у них никто не гостит? — все же спросил Эрнест.

— Как же, гостит семейство д'Эрувилей. Поговаривают, что молодой герцог д'Эрувиль женится на младшей дочери Вилькена.

«При Валуа был знаменитый кардинал д'Эрувиль,— подумал Лабриер,— а при Генрихе IV некий грозный маршал, пожалованный титулом герцога, носил ту же фамилию».

Эрнест уехал, он видел Модесту всего минуту, но и этого было достаточно, чтобы мечтать о ней. «Богата она или бедна,— думал он,— но если у нее прекрасная душа, я охотно предложил бы ей стать госпожой де Лабриер»,— и он решил продолжать переписку.

Попробуйте-ка остаться неузнанными вы, несчастные дщери Франции, попытайте затеять самый пустячный роман, когда цивилизация отмечает на площадях час отъезда и прибытия фиакра, пересчитывает и дважды штемпелюет письма: при их поступлении на почту и при их разноске; когда она нумерует дома, заносит в реестр налогообложения даже этажи зданий, предварительно пересчитав все их ходы и выходы; когда ей скоро будет подвластна вся территория, изображенная до мельчайших подробностей на огромных листах кадастра,— этого гигантского произведения, выполненного по воле гиганта! Попробуйте же, неосторожные девицы, избежать не всевидящего ока полиции,— нет, а тех сплетен, которые ни на час не затихают в захолустье, где следят за самыми незначительным поступками людей, где считают, сколько варенья съел префект и сколько дынных корок валяется

у крыльца местного лавочника; где пытаются услышать звон золота в ту самую минуту, когда рука расчетливого хозяина опускает его в сундук, в котором хранятся уже скопленные богатства; где каждый вечер, у любого очага, оцениваются состояния кантона, города, департамента. Благодаря простому недоразумению Модесте удалось избежать безобиднейшего шпионства, за которое юноша уже упрекал себя. Но ведь любой парижанин больше всего на свете боится попасть на удочку маленькой провинциалки. *Не остаться в дураках* — это страшное правило житейской мудрости убивает все благородные чувства человека.

Нетрудно себе представить, какая борьба чувств разыгралась в душе честного юноши, когда он сел писать ответ, в котором отразились жгучие укоры совести, разбуженные письмом Модесты. Вот какие строки неделю спустя Модеста читала ясным летним днем у своего окна.

VI

«Мадемуазель О. д'Ест-М.

Сударыня, я отвечу вам без тени лицемерия: да, знай я, что вы владеете огромным состоянием, я поступил бы иначе. Почему? Я долго искал причину этого и нашел ее. Вот она.

Природой заложено в нас, а обществом развито,— впрочем, сверх меры,— то чувство, которое толкает на поиски счастья, на завоевывание счастья. Большинство людей смешивает счастье со средствами его достижения, и деньги в их глазах являются важнейшим элементом счастья. Следовательно, под влиянием этого социального чувства, которое во все времена поддерживало культ богатства, я попытался бы вам понравиться. По крайней мере мне так кажется. Нельзя ждать от человека еще молодого той мудрости, которая способна подавить порыв во имя здравого смысла: при виде добычи животный инстинкт, таящийся в сердце человека, неудержимо толкает его вперед. Итак, вместо отповеди вы получили бы от меня комплименты, льстивые слова. Стал бы я уважать себя после этого? Сомневаюсь. Но в данном случае, сударыня, оправданием служит успех. А счастье? Счастье —

другое дело. Мог бы я доверять жене в таком браке? Конечно, нет. Рано или поздно ваш поступок встал бы в моих глазах в своем истинном свете. Как бы вы ни возвеличили мужа, когда-нибудь он упрекнет вас в собственной низости. Возможно, вы и сами стали бы его презирать. Заурядный человек разрубает гордиев узел брака по расчету мечом домашней тирании. Сильный человек прощает. Поэт жалуется и плачет. Вот, сударыня, ответ, который мне подсказала честь.

Выслушайте же меня. Вам удалось навести меня на серьезное размышление и относительно вас, которую я знаю еще слишком мало, и относительно меня самого, ибо до сих пор я знал себя недостаточно. Вы сумели всколыхнуть те дурные чувства, которые гнездятся в тайниках человеческого сердца; но все, что было в моем сердце хорошего, великодушного, тотчас же всплыло на поверхность, и я от всей души благословляю вас, как благословляют моряки маяк, указывающий подводные камни, о которые могло бы разбиться судно. Вот моя исповедь,— исповедь откровенная, ибо я ни за какие сокровища не хотел бы потерять ни вашего, ни своего собственного уважения.

Мне хотелось узнать, кто вы. Я только что вернулся из Гавра, там я встретил Франсуазу Коше, последовал за ней до Ингувиля и увидел вас в окне роскошной виллы. Вы прекрасны, как мечта поэта, но я не знаю, кто вы: мадемуазель ли Вилькен, скрывающаяся под видом мадемуазель д'Эрувиль, или же мадемуазель д'Эрувиль, скрывающаяся под видом мадемуазель Вилькен. Хотя я пустился на поиски с вполне честными намерениями, мне стало стыдно разыгрывать роль шпиона, и я прекратил расспросы. Вы сами пробудили во мне любопытство, так не пеняйте же на меня: разве эта женская слабость не извинительна в поэте? Теперь, когда я открыл вам свое сердце, когда вы можете читать в нем, поверьте же в искренность моих слов. Пусть я видел вас всего одно мгновение, но и этого было достаточно, чтобы мое суждение о вас сразу изменилось. Вы не только женщина,— вы и поэзия, вы и поэт. Да, в вас есть нечто большее, чем красота, вы прекрасный идеал искусства, вы сама греза... Поступок, заслуживающий порицания в девушке, обреченной судьбой на заурядное существование, простителен,

когда его совершает девушка, одаренная теми качествами, какие я вижу в вас. Среди огромного числа существ, из которых социальная жизнь в силу ряда случайностей составляет на земле поколение, не может не быть исключений. Если ваше письмо — плод длительных и поэтических размышлений о судьбе, уготованной женщине законом, если, повинуясь своему просвещенному и незаурядному уму, вы захотели понять внутреннюю жизнь человека, которому вы приписываете случайный дар таланта, если вы стремитесь к дружескому общению, свободному от обыденной пошлости, с родственной вам душой, пренебрегая условиями, в которые общество ставит представительниц вашего пола, то, конечно, вы исключение! И если это так, то рамки закона, оценивающего действия толпы, слишком узки, чтобы их можно было применить к вашему поступку. Следовательно, мое первое письмо остается в силе: ваш поступок слишком смел или же недостаточно смел. Примите еще раз мою благодарность за услугу, которую вы мне оказали, заставив заглянуть в глубину моего сердца. Благодаря вам я изменил ошибочный взгляд, впрочем довольно распространенный во Франции, что брак — это средство разбогатеть. Небесный голос прозвучал среди моего душевного смятения, и я торжественно поклялся, что сам составлю себе состояние и никогда не буду руководствоваться корыстными соображениями при выборе подруги. И, наконец, я осудил, я подавил в себе недостойное любопытство, которое пробудили во мне ваши письма. У вас нет шести миллионов. Девушка, обладающая таким состоянием, не могла бы сохранить инкогнито в Гавре: вас выдала бы целая свора пэров Франции, которая охотится за богатыми наследницами не только в Париже и уже направила герцога д'Эрувиля к вашим Вилькенам. Итак, будь то вымысел или действительность, но чувства, о которых я вам говорю, вылились в незыблемое для меня жизненное правило. Докажите же мне теперь, что вы обладаете той душой, которой прощают нарушение закона, обязательного для всех прочих, и если это так, то вы согласитесь с доводами как моего первого, так и второго письма. Раз вы предназначены для жизни в буржуазной среде, подчинитесь тому железному закону, на котором зиждет-

ся общество. Если вы женщина выдающаяся, я восхищаюсь вами, но если вы поддались мимолетной прихоти, то должны ее подавить, и я могу лишь пожалеть вас. Таково требование современного общества. Превосходная мораль семейной эпопеи, озаглавленной «Кларисса Гарлоу», заключается в том, что честная и законная любовь героини приводит ее к гибели, ибо эта любовь зарождается, существует и развивается против желания семьи. Семья, пусть даже самая ограниченная и жестокая, всегда будет права в споре с Ловласом. Семья — это общество. Поверьте мне: высшее достоинство девушки и женщины заключалось и заключается в том, чтобы взять свои самые пылкие увлечения в тиски условностей и приличий. Будь у меня дочь, которой суждено было бы стать г-жой де Сталь, я предпочел бы видеть ее мертвой в пятнадцать лет. Можете ли вы, не испытывая при этом жгучих сожалений, представить свою дочь выставляющей себя напоказ на подмостках славы, дабы заслужить одобрение толпы. Как бы высоко ни поднялась женщина в своих тайных и прекрасных мечтах, она должна принести на алтарь семьи все, что в ней есть лучшего. Ее порыв, ее талант, ее стремление к добру, к совершенству, вся поэма ее юности принадлежит супругу, которого она изберет, детям, которые у нее будут. Я угадываю ваше тайное желание расширить узкий круг, в границах которого осуждена жить каждая женщина, и внести в брак страсть, любовь. Да, это прекрасная мечта; я не скажу, что она недосягаема, но ее трудно воплотить в жизнь, и она не раз осуществлялась, на горе людям, которые не были созданы друг для друга. Простите мне это избитое выражение.

Если вы ищете платонической дружбы, то в будущем она составит ваше несчастье. Если ваше письмо лишь игра, не продолжайте ее. Итак, наш маленький роман окончен, не правда ли? Он не прошел бесследно; я укрепился в правилах порядочности, а вы приобрели более ясные представления о жизни общества. Обратите ваши взоры к действительности, а мимолетный пыл, рожденный чтением поэтов, вложите в добродетели, свойственные вашему полу.

Прощайте, сударыня! Смею надеяться, что вы не откажете мне в своем уважении. После того, как я увидел

вас, или ту, что я принял за вас, ваше письмо кажется мне вполне естественным: столь прекрасный цветок невольно поворачивается к солнцу поэзии. Любите поэзию так же, как вы любите цветы, музыку, природу и величественную красоту моря, украшайте ею вашу душу. Но не забывайте того, что я имел честь вам сообщить относительно поэтов. Остерегайтесь избрать мужем глупца, ищите спутника жизни, которого предназначил для вас господь бог. Поверьте мне, найдется немало умных людей, способных оценить вас, сделать вас счастливой. Будь я богат, а вы — бедны, я, не задумываясь, положил бы к вашим ногам и свое состояние и свое сердце, ибо я верю в вашу прямоту, в вашу богато одаренную натуру и с полным спокойствием вручил бы вам свою жизнь и честь. Прощайте же еще раз, белокурая дочь белокурой праматери Евы».

Это письмо, которое Модеста проглотила с такой же жадностью, с какой глотает путник каплю воды среди палящей пустыни, сняло гнетущую тяжесть с ее сердца. Затем, поняв слабые стороны своего плана, она решила тотчас же исправить их и передала Франсуазе конверты со своим ингувильским адресом, прося ее больше не приходить в Шале. Отныне Франсуазе было велено вкладывать полученные письма в эти конверты и незаметно опускать их в почтовый ящик в Гавре. Модеста решила теперь лично встречать почтальона на пороге Шале в тот час, когда он обычно приходил. Что сказать о чувствах, которые пробудил в Модесте этот ответ, где под блестящим плащом Каналиса билось благородное сердце бедняка Лабриера? Чувства ее сменяли одно другое, как морские волны, бурной чередой набегающие на берег и затихающие на прибрежном песке. Ее взгляд рассеянно скользил по шири океана; Модеста не помнила себя от счастья,— еще бы, она выудила, если можно так выразиться, из парижской пучины возвышенную душу, она не ошиблась, предположив, что сердце поэта должно соответствовать его таланту, и была вознаграждена за то, что послушалась магического голоса предчувствия. Жизнь ее отныне приобрела новый интерес. Ограда прелестного Шале, решетка ее клетки, сломана. Ее мысль летела, словно на крыльях.

— О отец,— прошептала она, вглядываясь в морскую даль,— сделай нас очень, очень богатыми.

Ответ Модесты, который пять дней спустя прочел Эрнест де Лабриер, будет красноречивее всяких пояснений.

VII

«Г-ну де Каналису.

Мой друг,— позвольте мне называть вас так,— я восхищаюсь вами, я хочу, чтобы вы были именно таким, как в письме, в вашем первом настоящем письме... О, только бы оно не было последним. Кто, кроме поэта, сумел бы так мило извинить девушку и так хорошо ее разгадать!

Мне хочется ответить с той же откровенностью, какой дышали первые строки вашего письма. Прежде всего, на мое счастье, вы меня не знаете. Могу сообщить вам с радостью, что я ни эта ужасная мадемуазель Вилькен, ни эта весьма благородная и весьма сухопарая мадемуазель д'Эрувиль, которая никак не может определить свой возраст и до сих пор колеблется между тридцатью и пятьюдесятью годами. Кардинал д'Эрувиль украшал собой историю церкви еще до того кардинала, который прославил наш род, ибо я не считаю знаменитостями всяких генералов и аббатов, выпускавших тощие сборнички чересчур длинных стихов. Затем, я вовсе не живу в роскошной вилле Вилькенов. Благодарение богу, в моих жилах не течет ни единой капли крови, остывшей от сидения за прилавком. Во мне смешалась немецкая и южнофранцузская кровь; по свойственной мне мечтательности — я древняя германка, а по живости — дочь Прованса. Я дворянка как по отцу, так и по матери. Род моей матери упоминается чуть ли не на каждой странице Готского альманаха. И, наконец, сообщаю вам, что я сумела принять такие предосторожности, что не только человек, но даже власти не в силах раскрыть моего инкогнито. Я останусь неузнанной, неизвестной. Что касается «моих статей», как говорят в Нормандии, успокойтесь, я столь же красива, как и та молоденькая особа (она, бедняжка, и не ведала о своем счастье),

на которой остановился ваш взгляд, и я вовсе не считаю себя нищей, хотя десять сыновей пэров Франции и не сопровождают меня во время прогулок. Меня уже заставили однажды участвовать в гнусном водевиле на тему о богатой наследнице, обожаемой за ее миллионы. Очень прошу вас ни под каким видом, даже на пари, не пытайтесь проникнуть ко мне. Увы, хотя я и свободна, но меня охраняют: во-первых, я сама, а во-вторых, весьма смелые люди, которые, не задумываясь, всадят вам в сердце нож, если вы решитесь проникнуть в мое убежище. Говорю это не для того, чтобы испытать вашу храбрость или подстрекнуть любопытство,— мне кажется, я не нуждаюсь ни в одном из этих чувств, чтобы заинтересовать и привязать вас к себе.

Теперь я отвечу на второе и значительно более дополненное издание вашей первой проповеди.

Выслушайте же мое признание. Видя, что вы недоверчивы и, очевидно, принимаете меня за Коринну, импровизации которой мне так наскучили, я подумала, что уже не раз какая-нибудь десятая муза уводила вас, движимого любопытством, в долину, расположенную между Парнасом и Геликоном, чтобы дать вам вкусить от плодов своего ученического творчества. О, будьте совершенно спокойны, мой друг. Если я и люблю поэзию, то не сочиняю «стишков», и чулки у меня вовсе не синие. Я не собираюсь вам надоедать разными «стихотворными пустячками» в одном или двух томах. Словом, если я скажу вам когда-нибудь: «Придите, я вас жду»,— вас не встретит, вы знаете это теперь, старая дева, нищая и безобразная. О мой друг, если бы вы только знали, как я жалею, что вы приезжали в Гавр! Вы испортили мне мой роман, как вы говорите. Нет, одному богу известно, какие сокровища я берегла для человека, у которого хватило бы великодушия, проницательности и доверчивости прийти на наше первое свиданье с непосредственностью ребенка, поверив в мои письма и проникнув постепенно в глубину моего сердца. Я мечтала о гениальном человеке, сохранившем чистоту чувств. Вы подрезали крылья моей мечте. Я прощаю вас,— вы живете в Париже; к тому же и поэту, по вашим словам, не чужды человеческие слабости. Но не принимайте меня за девочку, гоняющуюся за прекрасными и несбыточными иллюзиями.

Не забавляйтесь, бросая камни в разбитые окна замка, уже давно превратившегося в развалины. Как! Вы, человек умный, не отгадали, что наставления, которые вы прочли мне в вашем первом и высокопоучительном письме, г-жа д'Ест уже не раз читала себе сама. Нет, дорогой поэт, мое первое письмо не было похоже на булыжник, который швыряет шалун мальчишка, чтобы испугать домовладельца, углубившегося под сенью яблони в изучение налогового листа; нет, лучше сравните его с удочкой, которую с прибрежной скалы осторожно закидывает в море рыбак в надежде поймать золотую рыбку.

Я вполне согласна с вашими прекрасными словами о семье. Если я окажусь достойной человека, который мне понравится, то отдам ему свое сердце и жизнь, но... с согласия моих родителей. Я не хочу ни огорчать, ни обманывать их. Я знаю, что я для них все на свете. К тому же они люди без предрассудков. Наконец я чувствую себя достаточно закаленной против обманчивых иллюзий. Своими собственными руками я воздвигла крепость, а преданность близких, которые стерегут меня, как сокровище, сделала ее неприступной; я доверилась им не потому, что у меня не хватило бы сил защищаться в открытом поле, нет, обстоятельства облекли меня непроницаемой броней, на которой я начертала слово: *Презрение*. Мне глубоко претит все, в чем есть расчет, все, что не вполне благородно, чисто, бескорыстно. Я преклоняюсь перед красотой, перед идеалом, но я не романтична,— я уже прошла через романтику, правда в глубине души, в своих мечтах. Поэтому я и признаю справедливость ваших слов о жизни общества, неоспоримых, как прописные истины.

В настоящее время мы должны и можем быть только друзьями. «К чему искать друга в незнакомом человеке?» — скажете вы. Я вас не знаю, но я знаю ваш ум, ваше сердце, они привлекают меня, моя душа жаждет открыться выдающемуся человеку, и только ему. Я не хочу, чтобы поэма моего сердца погибла втуне. Она засверкает для вас, как могла бы она засверкать только для бога. Как хорошо иметь настоящего друга, которому можно все сказать! Неужели вы откажетесь выслушать невысказанные мысли и чувства молодой искренней де-

вушки, которые полетят к вам, как летят мотыльки навстречу лучам солнца? Я уверена, что вам, ценителю человеческого ума, еще ни разу не приходилось встречаться с таким счастливым его проявлением, как признания юной девушки. Выслушайте же ее болтовню и ее песни, которые до сих пор она пела лишь для самой себя. Если будущее покажет, что наши души действительно родственны, если при дальнейшем испытании наши характеры подойдут друг к другу, то в один прекрасный день старый, седовласый слуга будет поджидать вас на краю дороги и проведет в шале, виллу, в замок или дворец; я еще сама не знаю, под какой желто-коричневой сенью (национальные цвета Австрии, ставшие символом брачного союза) мы отпразднуем нашу свадьбу, да и возможна ли вообще такая развязка. Но согласитесь, все это не лишено поэзии, и г-жа д'Ест — особа весьма покладистая. Разве она не предоставляет вам полной свободы? Разве она посещает парижские гостиные и окидывает их ревнивым взором? Разве она вменяет вам в обязанность носить те цепи, которые странствующие рыцари добровольно надевали себе на руку? Она просит вас заключить тайный и чисто духовный союз. Если вы будете чувствовать себя несчастным, если вас оскорбят, если вы устанете,— знайте, вы можете довериться моему сердцу, сказать мне все, не таясь, и я сумею облегчить все ваши страдания. Мне двадцать лет, мой друг, но моему рассудку не менее пятидесяти, и, к несчастью, я пережила — не сама, но в другом близком мне существе — все ужасы и восторги страсти. Я знаю, сколько низости и подлости может вместить в себя человеческое сердце, и все же я вполне нравственная девушка. Да, у меня нет более иллюзий, но у меня есть нечто лучшее: убеждения и вера. Итак, я начинаю нашу «игру в признания».

Каким бы ни был мой муж, но если я сама изберу его, он может быть спокоен: пусть он смело едет хоть в Индию, по возвращении он найдет меня у тех же пяльцев, за тем же рукоделием, начатым еще до его отъезда. Ни взгляд, ни голос мужчины не потревожат моего сердца во время его отсутствия, и в каждом стежке моего рукоделия он узнает строфу поэмы, героем которой будет он один. Даже если меня введет в заблуждение красивая, но

обманчивая внешность, все же этому человеку достанутся все мои думы, все мое кокетство, нежность и безмолвные жертвы, принесенные с гордой покорностью. Да, я поклялась себе никогда не сопровождать мужа, если он сам того не захочет: я буду божеством его домашнего очага. Вот призвание моей жизни. Но почему не подвергнуть испытанию и не избрать самой того мужчину, для которого я буду тем же, чем жизнь является для тела? Разве может человек чувствовать жизнь как бремя? Разве истинная женщина станет докучать тому, кого она любит? Тогда это была бы не жизнь, а болезнь. Под словом «жизнь» я подразумеваю именно моральное здоровье, когда каждый вздох доставляет нам радость.

Вернемся к вашему письму, которое будет мне всегда бесконечно дорого. Да, я не шучу,— в нем есть то, что я мечтала встретить: простые, обыкновенные чувства, без которых немыслимо счастье, чувства, столь же необходимые для семейного очага, как воздух для легких. Я надеялась найти друга, который будет поступать, как честный человек, думать, как поэт, и любить, как женщина,— и, кажется, эта мечта сбылась.

Прощайте, друг мой. В настоящее время я бедна. Вот почему я не расстаюсь со своей маской, со своим инкогнито, не выхожу из своей неприступной крепости. Я прочла в журнале ваши последние стихи, и с каким восторгом! Ведь я уже познала суровое и тайное величие вашей души.

Неужели же вам не доставляет радости мысль, что юная девушка горячо молится за вас, что вы — единственный властитель ее дум и что у вас нет иных соперников, кроме ее отца и матери? Зачем отвергать эти страницы, полные вами одним, написанные только для вас и которые никто не прочтет, кроме вас? Отплатите мне тем же. Я еще так мало чувствую себя женщиной, что ваши признания, при условии, если они будут полны и искренни, способны составить все счастье вашей

О. д'Ест-М.».

— Боже мой, уж не влюблен ли я! — воскликнул молодой Лабриер, заметив, что, прочтя письмо, он целый час просидел неподвижно, держа его в руке.— Что делать? Она думает, что переписывается с нашим великим

поэтом. Продолжать ли обман? И сколько лет этой д'Ест — сорок? Или это действительно молоденькая двадцатилетняя девушка?

Эрнест стоял завороженный перед бездной неведомого. Неведомое — темная пропасть, властно влекущая нас к себе. Этот бездонный мрак прорезывают огненные вспышки, и наша фантазия расцвечивает его причудливой живописью Мартинна. В жизни столь занятой, как жизнь Каналиса, такое приключение промелькнуло бы, как василек, уносимый волнами горного потока. Но в жизни Лабриера, ожидающего возврата к власти министерства, представитель которого ему покровительствовал, и из скромности обучавшего Каналиса азам политической карьеры, образ этой прекрасной девушки (воображение упорно рисовало ему молодую блондинку, виденную им в Гавре) проник в самое сердце и произвел там тысячи опустошений; страсть, словно волк, прокравшийся в овчарню, нарушает обычное течение буржуазной жизни. Итак, мыслями Эрнеста всецело завладела гаврская незнакомка, и он ответил ей следующим письмом, письмом надуманным и претенциозным; однако сквозившая в нем досада уже обнаруживала зарождавшуюся страсть.

VIII

«Мадемуазель О. д'Ест-М.

Судите сами, сударыня, честно ли расположиться в сердце бедного поэта, решив заранее покинуть его, если он не будет соответствовать вашим желаниям? Честно ли с вашей стороны оставить ему в удел вечные сожаления, ибо вы показали ему на мгновение образ совершенства, пусть даже мнимого, или во всяком случае дали ему насладиться предвкушением счастья. Я поступил крайне неосмотрительно, прося вас об этом письме... Ах, зачем вы развернули передо мной изящный свиток своих мыслей! Легко можно влюбиться в незнакомку, в которой так счастливо сочетается столько смелости и оригинальности, столько воображения и глубины чувства. Кто не пожелал бы узнать вас, прочтя это первое признание? Мне приходится делать поистине огромные усилия, что-

бы, думая о вас, не потерять голову, ибо вы соединяете в себе все, что может тронуть сердце и ум мужчины. Поэтому разрешите мне вооружиться хладнокровием, которое я еще сумел сохранить, и смиренно изложить вам свои соображения. Неужели же вы думаете, сударыня, что письма, более или менее правдиво рисующие жизнь такой, как она есть, или более или менее лицемерные, поскольку они выражают лишь минутное настроение, в котором написаны, а отнюдь не сущность наших характеров, неужели же вы думаете, повторяю, что письма, как бы прекрасны они ни были, могут заменить живого человека и общение с ним в поседневной жизни? Человек — двойственен. Существует невидимая жизнь, жизнь сердца, ее могут удовлетворить письма, и жизнь внешняя, которой люди, увы, придают больше значения, чем то предполагают особы вашего возраста. Обе эти жизни должны соответствовать идеалу, о котором вы мечтаете, что, кстати сказать, встречается чрезвычайно редко. Чистое, непроизвольное, бескорыстное преклонение одинокой души, просвещенной и вместе с тем целомудренной—вот тот небесный цветок, который своим ароматом и прелестью исцеляет все муки, все раны, все измены — неизбежные спутники литературной жизни Парижа, и мне хочется отблагодарить вас, ответив порывом на порыв. Вы так поэтически предложили поверять вам все мои скорби и взамен обещали мне сокровища вашего сострадания. Но на что вы можете надеяться? Я ведь не гениален, как лорд Байрон, у меня нет великолепного положения, а главное, я не окружен, подобно ему, ореолом несуществующей обреченности и несчастий, виной которых было бы общество Но на что могли бы вы надеяться, чего вы могли ждать даже от такого человека, как лорд Байрон? Дружбы, не правда ли? Так вот, Байроном владела не только гордость, он был снедаем оскорбительным и болезненным тщеславием, способным отпугнуть любого друга. А разве во мне, человеке гораздо менее значительном, чем он, не может быть таких противоречий, которые портят жизнь и превращают дружбу в тягостное бремя? Что получили бы вы в обмен на свои мечты? Неприятности, отравляющие жизнь, которая не принадлежала бы вам. Подобный договор бессмыслен. И вот почему. Послушайте, задуманная вами поэма не что

иное, как плагиат. Одна двадцатилетняя девушка, уроженка Германии, которая была не полунемкой, как вы, а чистокровной немкой, полюбила Гете в опьянении своей юности; он стал для нее другом, религией, божеством, хотя она и знала, что он женат. Г-жа Гете, как и подобает добродетельной немке и жене поэта, отнеслась к этому обожанию с лукавой снисходительностью, что, однако, не излечило Беттины. И что же произошло? Эта восторженная девушка в конце концов вышла замуж за некоего толстого и добродушного немца. Признаемся же, что девушка, которая стала бы рабой гения, которая поднялась бы до него благодаря своему дару проникновения и благоговейно преклонялась бы перед ним до самой его кончины, словно перед неземными ликами, украшающими окна старинных часовен, что та девушка, которая ушла бы от людей и замкнулась в своем одиночестве в тот день, когда Германия лишилась Гете, как это сделала подруга лорда Болинброка после его смерти,— признаемся же, что такая девушка осталась бы жить навеки в стихах поэта, как Мария Магдалина живет в бессмертной славе Спасителя. Если в таком обожании великого человека и есть красота, то что вы скажете о нас, простых смертных? Не будучи ни лордом Байроном, ни Гете, этими двумя гигантами поэзии и эгоизма, а всего-навсего автором нескольких известных стихотворений, я не смею претендовать на поклонение. Я весьма мало похож на мученика. У меня есть и сердце и честолюбие, ибо я еще молод и должен составить себе состояние. Вот вкратце, что я собой представляю. Щедроты короля и покровительство министров дают мне возможность вести приличное существование. У меня привычки самого заурядного человека. Я посещаю парижские салоны, ничем не отличаясь в этом от первого встречного глупца, но почва под моими ногами недостаточно устойчива, так как, вопреки требованиям современности, у меня нет записей в книге ежегодных доходов с капитала. Я не богат, но и не окружен тем ореолом, какой придают мансарда, непонятый талант, нищета и слава некоторым писателям, стоящим несравненно выше меня, как, например, д'Артезу. Что за прозаическая развязка ожидает ваши волшебные мечты — плод юной восторженности! Остановимся же на этом. Если я имел

счастье показаться вам исключением, то для меня вы были чем-то возвышенным и лучезарным, звездочкой, вспыхнувшей на мгновение и погасшей. Пусть же ничто не омрачит этот эпизод нашей жизни. Если мы будем продолжать переписку, я подвергнусь опасности полюбить вас, загореться той безумной страстью, которая разрушает все препятствия и зажигает в сердце пламя скорее яркое, нежели продолжительное. Предположите далее, что я сумею вам понравиться, что тогда? Наш роман окончится самым прозаическим образом: брак, семейный очаг, дети... О, Белиза и Генриетта Кризаль, слившиеся в едином образе, возможно ли это? Прощайте же».

IX

«Г-ну де Каналису.

Ваше письмо, мой друг, принесло мне и горе и радость. Кто знает, быть может, скоро наши письма будут доставлять нам одну только радость. Поймите же меня хорошенько. Как часто обращаешься к богу, просишь его о многом, а он молчит. Я же хочу получить у вас ответы на те вопросы, на которые не отвечает мне бог. Скажите, разве не может повториться дружба между г-жой де Гурне и Монтенем? Разве не слышали вы о супругах Сисмонд-де-Сисмонди из Женевы, этой трогательной чете, похожей, как мне говорили, на маркиза и маркизу де Пескиера, которые были счастливы в браке вплоть до самой смерти. Боже мой, неужели же не могут существовать две арфы, которые откликались бы друг другу на расстоянии и сливали, как в чудной симфонии, свои голоса в восхитительную мелодию? Человек одинок на земле, он одновременно и арфа, и музыкант, и ценитель. Неужели вы думаете, что меня беспокоит то же, что тревожит большинство других женщин? Разве я не знаю, что вы бываете в свете и встречаете там красивейших и остроумнейших женщин Парижа? Вполне возможно, что одна из этих сирен прельстила вас своей блистательной, но холодной чешуей и что именно она внушила вам те прозаические рассуждения, которые меня так огорчают. Но на свете, мой друг, есть нечто более прекрасное, чем эти обольстительные розы парижского кокетства; я го-

ворю о том цветке, которыи растет на неприступных альпийских вершинах, именуемых гением и гордостью человечества, и распускается, когда на него упадет капля росы, которую эти великаны черпают в небесах. Вот этот-то цветок я и хочу растить, хочу видеть, как раскроется его чашечка, ибо его дикий и сладостный аромат никогда не выдыхается, он вечен. Молю вас, не считайте меня способной на пошлость. Будь я Беттиной (я поняла, на кого вы намекаете), я никогда не стала бы г-жой Арним. Будь я одной из жен лорда Байрона, я жила бы сейчас в монастыре. Вы коснулись моего больного места. Вы еще не знаете меня, но со временем узнаете. Во мне живут высокие чувства, и я говорю об этом без всякого тщеславия. Бог вложил в мою душу семя того альпийского цветка, о котором я упоминала. И я не желаю, чтобы он рос в цветочном горшке на моем подоконнике: он там погибнет. Нет, проза жизни не загрязнит этот великолепный, неповторимый цветок с опьяняющим ароматом. Он принадлежит вам во всей своей незапятнанной чистоте, вам одному и навсегда. Да, дорогой поэт, вам — все мои мечты, самые сокровенные, самые безрассудные, вам безраздельно принадлежит сердце девушки, ее безграничная любовь. Если вы окажетесь человеком мне чуждым, я никогда не выйду замуж. Я могу жить жизнью сердца, жить вашими мыслями, вашими чувствами, они милы мне, и я останусь навеки тем, что я есть,— вашим другом. В вашем нравственном облике есть нечто прекрасное, и с меня этого достаточно. В этом будет вся моя жизнь. Снизойдите же к молодой и красивой служанке, которую не пугает мысль стать когда-нибудь старой домоправительницей поэта, отчасти его матерью, отчасти экономкой, а также его здравым смыслом, а быть может — и богатством. Эта преданная женщина, которая столь необходима в жизни, вроде вашей, олицетворяет собой чистую и бескорыстную дружбу; ей можно поверить все тайны, а она выслушает вас, хоть иной раз и покачает головой, она бодрствует поздно вечером за прялкой, чтобы встретить поэта, когда он возвратится домой, промокший под дождем и проклинающий все на свете. Вот мое будущее, если только мне не выпадет на долю стать счастливой и навеки преданной женой поэта. Я с одинаковой улыбкой радости встречу как ту, так и другую судьбу. Не думаете ли вы,

что Франция много потеряет, если мадемуазель д'Ест не выйдет замуж за какого-нибудь Вилькена, и не подарит ему двоих или троих детей? Я уверена, что я никогда не превращусь в старую деву. Сильная своим милосердием и своей тайной причастностью к жизни великого человека, я буду ему матерью, я посвящу ему здесь на земле все свои помыслы и заботы. Я питаю глубокое отвращение ко всякой пошлости. Если я буду свободна и богата,—что я молода и красива, это я знаю,—я все равно никогда не выйду замуж ни за глупца, будь он даже сыном пэра Франции, ни за негоцианта, который может за один день потерять все свое состояние, ни за красавца, который будет в нашем семействе играть роль женщины, ни за того мужчину, который заставит меня краснеть по двадцати раз на день при мысли, что я принадлежу ему. Вы можете быть совершенно спокойны на этот счет. Мой отец слишком любит меня и никогда не пойдет наперекор моим желаниям. Если я понравлюсь моему поэту и если он понравится мне, сверкающее здание нашей любви будет построено на высоте, недоступной никакому несчастью. Ведь я орлица, вы прочтете это в моем взоре. Не стану повторять то, что я уже вам говорила, признаюсь только, что я буду счастливейшей из женщин, став пленницей любви, подобно тому как в настоящее время я пленница отцовской воли. Давайте же, мой друг, переложим на язык притчи то, что приключилось с вами по моей воле.

Юную девушку, одаренную пылким воображением, заключили в башню; узница сгорает от желания проникнуть в парк, который она видит из своего заточения. Каким-то чудом она распиливает решетку темницы, выбирается из окна и, проскользнув сквозь ограду, весело резвится в парке соседа. Вот она, извечная комедия. Так вот эта девушка — моя душа, соседний парк — ваш гений. Разве все это не естественно? И станет ли жаловаться сосед, если его цветы потоптала хорошенькая ножка? Такова мораль для поэта. Но не хочет ли знаменитый резонер мольеровской комедии выслушать рассуждения? Пожалуйста. Мой дорогой Жеронт, браки обычно заключаются вопреки здравому смыслу. Семья наводит справки о молодом человеке. Если Леандр, приведенный соседкой или встреченный на балу, не вор, если у него нет

видимых пороков, если он обладает достаточным состоянием, окончил коллеж или юридический факультет и удовлетворяет, таким образом, обычным требованиям воспитания и при всем том умеет носить фрак, ему разрешают явиться в дом, где есть молодая девушка. А эта последняя с самого утра уже затянулась в корсет, маменька наказывает ей следить за каждым своим словом, не выдавать выражением лица ни своих чувств, ни мыслей и улыбаться жениху застывшей улыбкой балерины, заканчивающей пируэт; ей читают наставления, полные здравого смысла, ей твердят, что неприлично проявлять свой подлинный характер, и советуют не показаться чересчур образованной. Уладив денежную сторону вопроса, родители простодушно предлагают молодым людям поближе узнать друг друга в те редкие минуты, когда их оставляют наедине; они беседуют или прогуливаются по саду, и все это принужденно, натянуто, ибо они уже ощущают свои узы. Мужчина старается в таких случаях не только приукрасить свою внешность, но и скрыть душу; девушка, со своей стороны, делает то же самое. Эта жалкая комедия сопровождается подношением цветов, драгоценностей, выездами в театр и называется «ухаживанием за невестой». Вот против чего я восстаю. Вот почему я предпочитаю длительный союз душ, предшествующий законному союзу. У девушки на протяжении всей ее жизни бывает одно короткое мгновение, когда ей требуется весь ее ум, проницательность и опыт. Она ставит на карту свою свободу, свое счастье. А вы не даете ей ни козырей, ни тузов. Ей остается только одно: гадать о своей судьбе и бесконечно ждать. Я имею право, желание, возможность и разрешение самой устроить свое счастье, я хочу воспользоваться этим правом и поступлю так, как некогда поступила моя мать, когда она, руководясь чувством, вышла замуж за самого преданного и любящего человека на свете, в которого влюбилась за красоту в первый же вечер знакомства. Я знаю, что вы свободны, красивы, что вы поэт. Уверяю вас, я никогда бы не выбрала поверенным своих тайн одного из ваших собратьев по служению музам, будь он женат. Если мою мать прельстила красота, которая, возможно, является гением формы, то почему меня не может привлечь гармония духа и формы? Как могу я лучше

узнать вас — путем переписки или же пройдя через неизбежное испытание нескольких месяцев «жениховства»? Вот в чем вопрос,— говорит Гамлет. Но, мой дорогой Кризаль, преимущество моего способа заключается в том, что он нас не компрометирует. Я знаю, что любовь склонна строить иллюзии, а всякая иллюзия со временем рассеивается. Потому-то так часто расходятся влюбленные, которые полагали, что они связаны на всю жизнь. Подлинное испытание состоит в страдании и в счастье. Только изведав в жизни и то и другое, два существа, имевшие возможность проявить при этом свои недостатки и свои достоинства и изучить характер друг друга, дойдут рука об руку до могилы. Но, дорогой мой Аргант, кто сказал вам, что у той маленькой пьесы, которую мы с вами разыгрываем, нет завтрашнего дня? Во всяком случае разве наша переписка уже не доставила нам удовольствия?

Жду ваших распоряжений, мой властелин, и остаюсь от всего сердца преданной вам

О. д'Ест-М.»

X

«Г-же О. д'Ест-М.

Так знайте же, вы просто демон, и я люблю вас! Ведь вы добивались именно этого, странная вы девушка! Или вы просто желаете позабавиться на мой счет и заставить поэта натворить кучу глупостей? Это было бы дурно с вашей стороны. А между тем в ваших последних письмах достаточно лукавства, чтобы внушить это сомнение парижанину. Однако я уже не властен над собой: моя жизнь, мое будущее зависят от вашего ответа. Скажите, способна ли вас тронуть безграничная любовь, отданная вам слепо, в полном неведении тех условий, среди которых вы живете? Словом, разрешаете ли вы мне домогаться вашей руки? Одна мысль о том, понравлюсь я вам или нет, является для меня неиссякаемым источником мук и неуверенности. Если ваш ответ будет благоприятен, я изменю свой образ жизни и скажу «прости» докукам, которые мы, безумцы, называем счастьем. Счастье же, моя дорогая, очаровательная незнакомка, как

раз и заключается в том, о чем мечтаете вы: истинная гармония чувств и полное слияние душ, это живое воплощение прекрасного идеала (в той мере, в какой он воплотим в нашей земной юдоли), идеала, озаряющего нашу повседневную жизнь, из-под власти которой мы не можем освободиться, это, наконец, постоянство сердца, несравненно более ценное, чем то, что принято именовать верностью. Разве можно говорить о жертвах, когда дело касается высшего блага — грезы поэтов и юных дев, поэмы, о которой мечтает при вступлении в жизнь каждый человек, одаренный умом, и которую он лелеет в ту пору, когда его мысль только начинает расправлять свои крылья и лишь для того, чтобы видеть, как эта поэма рассеется при первом грубом и пошлом прикосновении, ибо сплошь и рядом тяжелая пята действительности сразу же наступает на этот таинственный росток, и ему редко бывает суждено развиться. Вот почему я не стану пока вам говорить ни о себе, ни о своем прошлом, ни о своем характере, ни о том, что существует в моей жизни привязанность, выражающаяся в чувстве почти материнском с ее стороны и сыновнем — с моей. Испытав эту привязанность, я понял слово «жертва». Но ваш образ уже вытесняет старое чувство, из-за вас я стал весьма забывчивым, чтобы не сказать неблагодарным. Достаточно ли вам этого? О, ответьте мне, скажите хоть слово, и я буду любить вас до гроба, до той минуты, когда навек закроются мои глаза,— так любить, как маркиз де Пескиера любил свою жену, а Ромео — Джульетту, буду любить преданно и верно. Наша жизнь, для меня по крайней мере, будет тем безмятежным блаженством, о котором говорит Данте как об одном из основных начал своего «Рая» — поэмы гораздо более значительной, нежели его «Ад». Как ни странно, но я сомневаюсь не в себе, а в вас, когда, отдаваясь сладким мечтам, охватываю мысленным взором, как это делаете, быть может, и вы, все течение воображаемой и сказочно прекрасной жизни. Да, дорогая, я чувствую в себе силу любить именно так и, ничем не смутив ясности своей души, с неизменной улыбкой на устах, тихо приближаться к могиле об руку с любимой женщиной. Да, я без страха смотрю в глаза будущему, я вижу нас обоих на склоне лет, вижу себя седовласым

старцем, как почтенный историк Италии, вижу ваши посеребренные временем кудри, но мы все так же любим друг друга,— пусть весну нашей любви сменила осень жизни. Так знайте же, я не могу больше оставаться только вашим другом. Хоть вы и говорите, будто Кризаль, Оронт и Аргант вновь оживают во мне, однако я еще не настолько стар, чтобы пить из кубка, который подносят мне прелестные ручки женщины, окутанной покрывалом, и не испытывать при этом необузданного желания отбросить капюшон домино, сорвать маску и увидеть ее лицо. Или не пишите мне больше, или же дайте мне надежду. Я должен хоть мельком увидеть вас, иначе я прекращаю игру. Ужели мне придется сказать вам «прости»? Разрешите мне подписаться по-прежнему.

Ваш друг».

XI

«Г-ну де Каналису.

Какая лесть! Как быстро серьезный Ансельм превратился в прекрасного Леандра. Чему я должна приписать такую перемену? Тем мыслям, которые я высказала вам на бумаге и которые столь мало напоминают цветы моей души, как нарисованная роза напоминает розы, распустившиеся в саду? Или, быть может, воспоминанию о той девушке, которую вы приняли за меня? Но ведь она так же мало похожа на меня, как горничная на свою госпожу. Неужели наши роли переменились? Уже не я ли стала теперь «рассудком», а вы «фантазией»? Но оставим шутки. Благодаря вашему письму моя душа изведала пьянящее наслаждение, первую радость, которой я не обязана семье. Но что значат, как говорил поэт, узы крови, столь трудно расторжимые для заурядных людей, по сравнению с теми узами, которыми по воле небес связаны души, влекущиеся друг к другу. Позвольте мне поблагодарить вас... Хотя нет, за такие вещи не благодарят. Благословляю вас за счастье, которое вы мне дали,— будьте же хоть немного счастливы той радостью, какою вы наполнили мою душу. Вы пояснили мне сущность некоторых кажущихся несправедливостей социального устройства. Есть нечто ослепительное, не-

что мужественное в славе, и она предназначена мужчине; нам, женщинам, создатель отказал в этом ореоле, оставив на нашу долю любовь и нежность, чтобы мы могли согнать тень с чела, окруженного этим роковым сиянием. Я поняла свое назначение, или, вернее, вы мне раскрыли его.

Иногда, мой друг, я встаю по утрам с чувством неизъяснимой радости. В моей душе царит покой, божественный и сладостный, подобный райскому блаженству. Моя первая мысль славит все сущее. Я называю такие пробуждения «моими германскими утренними зорями» в отличие от моих «южных закатов», полных героических подвигов, сражений, римских празднеств и жгучей поэзии. Так вот, прочтя ваше письмо, каждая строка которого дышит лихорадочным нетерпением, я ощутила отраду, свежесть тех блаженных утренних часов, когда любишь воздух, природу и готова умереть за любимого человека. В вашем стихотворении «Песнь девушки» изображены эти восхитительные минуты, когда радость тиха и так хочется молиться. Это мои любимые строки. Хотите, я одним-единственным признанием открою все то лестное, что я думаю о вас? — Вы достойны стать моим вторым «я».

Ваше письмо, пусть даже короткое, позволило мне читать в вашем сердце; да, я разгадала ваши бурные порывы, ваше разбуженное любопытство, ваши замыслы, я поняла, что хворост уже собран (но кем собран?) и вскоре запылает костер. Но я еще слишком мало знаю о вас, чтобы удовлетворить вашу просьбу. Послушайте, дорогой, благодаря тайне, окутывающей меня, я могу быть непринужденной, могу открывать вам всю свою душу. Как только мы увидимся, прощай наше взаимное понимание. Хотите, заключим договор? Разве первый наш договор оказался для вас невыгодным? Вы приобрели мое уважение. А ведь это немало, мой друг, когда вами восхищаются и в то же время вас уважают. Расскажите мне сперва вкратце вашу жизнь, затем опишите день за днем ваше времяпрепровождение в Париже, без всяких прикрас,—так, словно вы беседуете со старой приятельницей. Ну, а затем откроется новая глава нашей дружбы. Обещаю вам — я увижу вас, мой друг. А это уже много. Все это, дорогой, не прихоть, не приключение; преду-

преждаю вас: из этого не получится никакой интрижки, как говорите вы, мужчины. Дело идет о моей жизни, и более того, о жизни обожаемых мной родителей, которые должны одобрить мой выбор и найти в моем друге любимого сына. И вот почему я испытываю иногда жестокое угрызение совести, что мои мысли быстролетной стаей устремляются к вам.

Могут ли существа исключительные, подобные вам, которым бог дает крылья ангелов, а отнюдь не их совершенства, нести бремя семейной жизни с ее мелкими невзгодами? Сколько раз я думала обо всем этом! Сколько раз, прежде чем обратиться к вам, я говорила сердцу: «Иди». Но с первым же приближением к вам мое сердце начинало трепетать, и я не скрывала от себя ни трудностей пути, ни крутых гор, которые мне предстоит преодолеть. Я постигла все это в часы долгих размышлений. Разве я не знаю, что выдающиеся люди привыкли внушать и испытывать любовь, что они пережили не один роман и что в особенности вам, певцу вдохновенных грез, пленительных для женщин, чаще приходилось прочитывать эпилоги, нежели первые главы этих романов. И все же я воскликнула: «Иди!» — ибо я изучила лучше, чем вы, по-видимому, предполагаете, карту, где нанесены вершины человечества, которым вы бросаете упрек в холодности. Не вы ли сказали мне, что Байрон и Гете—два гиганта поэзии и эгоизма? Ах, мой друг, вы допустили здесь ошибку, свойственную поверхностным людям. Но, быть может, в вас говорило великодушие, ложная скромность или желание ускользнуть от меня? Заурядному человеку, а не вам простительно считать источником труда преувеличенный интерес к своей особе. Ни лорд Байрон, ни Гете, ни Вальтер Скотт, ни Кювье, ни один великий человек не принадлежит себе: они рабы своей идеи. И эта таинственная сила ревнивее женщины, она поглощает их целиком, требует, чтоб они жили только ею, или же убивает их во славу свою. Видимые проявления этой внутренней жизни схожи о эгоизмом. Но кто посмеет сказать, что человек, отдавший всего себя счастью, просвещению или величию своей эпохи, эгоист? Разве можно упрекнуть в эгоизме мать, все приносящую в жертву своему ребенку? И тот, кто пренебрежительно отзывается о гении, просто не видит, как пло-

дотворно его творчество. Жизнь поэта — непрерывная жертва, и ему надо обладать поистине титанической силой, чтобы наслаждаться при этом радостями обыденного существования. Какие только несчастья не обрушиваются на него, когда, по примеру Мольера, он захочет жить жизнью чувств и в то же время изображать их самые мучительные коллизии! Лично для меня комизм Мольера ужасен, когда я сопоставляю его с жизнью писателя. Гений своим великодушием должен быть почти равен богу, и я отвела вам место в благородной семье этих мнимых эгоистов. Если бы я обнаружила сухой расчет, тщеславие там, где я любуюсь самыми дорогими мне цветами души,— о, какая глубокая скорбь охватила бы меня! Надежды уже обманули меня на семнадцатом году жизни. И каково было бы мне узнать в двадцать лет, что слава — обманчива. Видеть, что тот, кто выразил в своих творениях чувства, таящиеся в глубине моего сердца, не понимает этого сердца, доверившегося ему одному!.. Знаете ли вы, мой друг, что случилось бы со мной тогда? Я открываю сейчас перед вами самый потаенный уголок моей души. Так вот, я сказала бы отцу: «Выберите зятя себе по душе, а я, я отказываюсь от собственной воли, выдайте меня замуж по своему желанию». И будь это нотариус, банкир, скряга, глупец, провинциал, несносный, как осенний дождь, пошлый обыватель из захолустья, будь это фабрикант или храбрый, но тупой вояка,— мой будущий муж нашел бы во мне покорную и преданную рабу. Но как ужасно ежеминутно, ежечасно убивать самое себя! Никогда моя душа не раскрылась бы под животворящими лучами солнца страстной любви. Ни одна жалоба не сорвалась бы с моих уст, и ни отец, ни мать, ни мои дети не узнали бы о том, что погибла душа, которая заставляет сейчас блестеть мои глаза и, вырвавшись из темницы, летит, расправив крылья, к вам и, притаившись, как муза Полигимния, в углу вашего рабочего кабинета, вдыхает тот воздух, которым дышите вы, и тихо осматривает все вокруг любопытным взором. Быть может, гуляя по полям вместе с мужем, я иной раз, отстав на несколько шагов от моих малюток, проливала бы втайне горючие слезы, видя сияющую красоту утра. И, наконец, я сохранила бы в сердце и сберегла бы в глубине шифоньерки маленькое

сокровище, сокровище всех девушек, обманутых любовью, этих бедных поэтических душ, которых чья-то лживая улыбка привела на костер мук. Но я верю в вас, мой друг, и эта вера освящает самые сумасбродные мысли, подсказанные мне тайным честолюбием, а по временам — видите, до чего доходит моя откровенность — я тороплю ход начатой нами книги, ибо я уверена в неизменности своего чувства, в постоянстве своих мыслей. Ведь мое сердце умеет любить, оно способно на героизм ради долга, если только любовь может когда-нибудь превратиться в долг!

Если бы вы последовали за мной в восхитительное убежище, которое я создала в своих мечтах и где мы оба так счастливы, и если бы вы догадались о моих планах, пожалуй, у вас вырвалось бы слово «безумие», и, возможно, я была бы жестоко наказана за то, что высказала столько поэзии — и кому? — поэту. Да, я хочу быть источником вашей жизни, неиссякаемым, как красота природы, быть всем для вас в течение тех двадцати лет, которые нам даны, чтобы блистать. Я хочу кокетством, изысканностью отогнать пресыщение; я буду мужественной в своей супружеской жизни, как другие женщины мужественны в жизни светской. Я хочу быть разнообразной в счастье, изобретательной в нежности, я внесу игру в самое верность. Я удовлетворю свое честолюбие, изгладив память о моих соперницах, отвратив все житейские невзгоды кротостью супруги, гордым ее самоотвержением. Всю жизнь я буду печься о своем гнезде так же заботливо, как пекутся птицы о нем в течение нескольких дней. Вот какое роскошное приданое предназначается и будет принадлежать великому человеку, и его не коснется грязь пошлых человеческих сделок. Считаете ли вы и теперь ошибкой мое первое письмо? Порыв какой-то неведомой силы бросил меня к вам,— так буря бросает розу к подножию величественного дуба. А в том письме, которое я храню у своего сердца, вы воскликнули, как некогда воскликнул ваш предок, отправившийся в крестовый поход: «Так хочет бог!»

Но вы, должно быть, скажете: «Как она болтлива!» А мои близкие говорят обо мне: «Она слишком молчалива, наша мадемуазель».

О. д'Ест-М.».

Эти письма показались весьма интересными лицам, любезности которых эта переписка обязана своим появлением в «Человеческой комедии»; вполне возможно, что читатель не разделяет их восхищения поединком, который вели на бумаге два юных ума, скрываясь друг от друга под маской инкогнито. Из ста зрителей такого турнира восемьдесят наверняка почувствуют скуку. Уважение, на которое имеет право большинство во всякой стране с конституционным образом правления, даже если это большинство только предполагаемое, побудило нас опустить одиннадцать последующих писем, коими обменялись Эрнест и Модеста в течение сентября. Если же большинство окажется снисходительным и заинтересуется этими письмами, оно поможет нам когда-нибудь опубликовать их на страницах нашего романа.

Острый ум Модесты в сочетании с нежностью ее сердца пробудил поистине героические чувства в душе несчастного Эрнеста, и он дал им полную волю в письмах, которые нарисует воображение читателя, угадав дуэт этих двух свободных душ, и, возможно, нарисует еще прекраснее, чем они были в действительности. Вся жизнь Эрнеста сосредоточилась в дорогих ему клочках бумаги, как существование скряги — в банковых билетах, а радость Модесты при мысли, что она внесла волнение в жизнь прославленного человека и, вопреки расстоянию, стала ее смыслом, сменилась глубокой любовью. Сердце Эрнеста дополняло славу Каналиса. Увы, нередко только из двух мужчин можно создать совершенного любовника, подобно тому, как при сочинении романа можно получить типический образ, соединив черты нескольких сходных между собой характеров. Какой женщине после задушевной беседы в гостиной не случалось восклицать: «Этот человек мог бы быть моим идеалом по своим душевным качествам, но я люблю вот того, хотя к нему меня влечет одно лишь волнение чувств!»

Читая последнее письмо Модесты, приведенное ниже, мы уже видим вдали Фазаний остров, куда добрались наши влюбленные, следуя по извилистому лабиринту этой переписки.

XII

«Г-ну де Каналису.

Будьте в воскресенье в Гавре. Войдите в церковь, обойдите ее один или два раза после поздней обедни и уходите молча, не задавая никому вопросов; вденьте в петлицу белую розу. Затем возвращайтесь в Париж, и вы найдете там ответ, но, возможно, он не будет тем, что вы ожидаете, ибо будущее, как я уже говорила вам, пока не принадлежит мне. Но разве не было бы безумием с моей стороны сказать вам «да», не видя вас? Когда же я вас увижу, я смогу сказать «нет», не оскорбляя вас: я уверена, что останусь неузнанной».

Это письмо было отправлено накануне того дня, в который разыгрался поединок между Модестой и Дюме, не приведший к ожидаемым результатам. Счастливая Модеста с лихорадочным нетерпением ждала воскресенья, когда ее взор должен был одобрить или отвергнуть того, кого выбрали ее ум и сердце; она ждала торжественнейшей минуты в жизни женщины, а после трехмесячного сладостного общения душ даже самой восторженной девушке такая минута кажется вершиной романтики. Все участники этой сцены, за исключением матери, приняли за спокойствие невинности то оцепенение, в котором жила Модеста, ожидая встречи. Как бы ни были сильны законы семьи и узы религии, но всегда существовали и будут существовать Юлии д'Этанж и Клариссы — души, переполненные чувством, словно кубок драгоценным вином, и достаточно божественного дуновения любви, чтобы оно перелилось через край. Представьте же себе, какая сила души, какая энергия понадобились Модесте, чтобы не выдать себя и сдержать ликование своей молодости? Заметим, что воспоминание о сестре оказалось могущественнее преград, воздвигаемых обществом. Это воспоминание закалило волю девушки, и любые соблазны не могли бы заставить ее нарушить свой долг по отношению к отцу или к семье. Но какие бурные порывы скрывало это внешнее спокойствие! И могла ли мать не догадаться о них?

На следующий день, около полудня, Модеста и г-жа

Дюме отвели г-жу Миньон в сад и усадили ее на солнышке среди цветов. Слепая повернула в сторону океана свое бескровное, увядшее лицо, вдохнула полной грудью морской воздух и взяла руку Модесты, сидевшей подле нее на скамье. Но мать не могла и не хотела задать своей дочери решительный вопрос; она заранее прощала ее и в то же время желала предостеречь свое дитя, ибо отгадала ее любовь, и Модеста казалась ей девушкой исключительной так же, как и мнимому Каналису.

— Только бы твой отец вернулся вовремя! Если он не поспешит, он найдет лишь тебя одну из всех, кого любит! Обещай мне еще раз, Модеста, никогда его не покидать,— сказала она нежно, как может говорить только мать.

Модеста поднесла ее руки к губам и, покрывая их поцелуями, ответила:

— Неужели мне нужно повторять свое обещание?

— Ах, дитя мое, я сама покинула отца и последовала за мужем! А между тем мой отец был одинок, я была его единственной дочерью. Не за это ли бог карает меня всю жизнь? Вот о чем я тебя прошу: не выходи замуж без одобрения отца, оставь для него уголок в своем сердце, не жертвуй им ради собственного счастья, и пусть он живет в твоей семье. Уже давно, когда еще глаза мои видели, я сообщила ему в письме свою последнюю волю, и он исполнит ее. Я настоятельно прошу его оставить за собой все состояние, и не потому, чтобы я хоть минуту сомневалась в тебе, но можно ли быть уверенной в зяте? Да разве я сама, дитя мое, была благоразумна? Одно мгновение решило мою жизнь. Красота — эта лживая вывеска — не обманула меня. Даже в том случае, если тебе суждено то же самое, если и тебя, как некогда твою мать, пленит красивая внешность, поклянись мне, Модеста, что ты не будешь препятствовать отцу собрать сведения о поведении, душевных качествах в прошлом твоего избранника, случись тебе отличить кого-нибудь.

— Я никогда не выйду замуж без согласия отца,— ответила Модеста.

Выслушав этот ответ, г-жа Миньон погрузилась в глубокое молчание, и, лишь вглядевшись в застывшие черты ее лица, можно было догадаться, что она, как и

все слепые, сосредоточенно размышляет, вслушиваясь в только что отзвучавшие слова.

— Дитя мое,— заговорила наконец г-жа Миньон,— не забывай о проступке Каролины. Из-за него я схожу в могилу, а твоего легкомыслия отец не переживет; я знаю, он пустит себе пулю в лоб, на земле для него не будет ни жизни, ни счастья.

Модеста отошла на несколько шагов, а когда она подошла к матери, г-жа Миньон спросила ее:

— Почему ты отходила от меня?

— Я плакала, маменька,— ответила Модеста.

— Поцелуй же меня, мой ангел. Ты никого здесь не любишь, за тобой никто не ухаживает? — спросила мать, держа ее на коленях и прижимая к своему сердцу.

— Нет, маменька,— ответила юная иезуитка.

— Можешь ли ты мне в этом поклясться?

— О, конечно! — воскликнула Модеста.

Г-жа Миньон промолчала, она все еще сомневалась.

— Значит, если ты изберешь себе мужа, твой отец будет знать об этом? — заметила она наконец.

— Я это обещала и моей сестре и тебе. Могу ли я совершить какой-нибудь проступок, когда я ежедневно, ежечасно вижу надпись на своем кольце: «Помни о Бѐттине». Бедная сестра!

За словами «бедная сестра» наступило непродолжительное молчание, и из потухших глаз матери полились слезы, которых не могла осушить Модеста, хотя она и обнимала ее колени, повторяя: «Прости, прости, маменька!» — а в это самое время славный Дюме взбирался по склону Ингувиля, и притом весьма быстрым шагом,— невиданное явление в жизни кассира.

Некогда три письма принесли разорение, ныне одно письмо возвращало богатство. В это утро Дюме получил через капитана, вернувшегося из плавания по Китайскому морю, первое известие от своего хозяина, от своего единственного друга.

«Г-ну Дюме,
бывшему кассиру банкирского дома Миньон.

Дорогой Дюме, я прибуду вслед за кораблем, с которым посылаю тебе это письмо, конечно, если во время

плавания не случится какой-нибудь неожиданности. Мне не хотелось покидать своего судна, к которому я уже успел привыкнуть. Я сказал тебе, уезжая: «Нет вестей — добрые вести». Но первые же слова этого письма тебя, без сомнения, обрадуют, ибо вот они, эти слова: у меня семь миллионов, не меньше! Значительная часть этого богатства заключается в грузе индиго, одна треть — в верных французских и английских бумагах, а остальное — в чистом золоте. Деньги, которые ты мне перевел, помогли мне округлить свое состояние до той суммы, которую я заранее определил, а именно: по два миллиона моим дочерям и три миллиона франков для моего существования в довольстве и спокойствии. Я оптом сбывал опиум торговым домам в Кантоне, каждый из которых в десятки раз богаче меня. Вы себе в Европе и представить не можете, до чего богаты китайские купцы. Я закупал опиум в Малой Азии по низкой цене и доставлял его торговым компаниям Кантона. Последнюю свою поездку я совершил на острова Малайского архипелага, где мне удалось обменять опиум на превосходнейшее индиго. Возможно поэтому, что у меня на пятьсот—шестьсот тысяч франков больше, чем я тебе сказал, так как я считаю индиго по своей цене. Чувствую я себя прекрасно, за все время ни разу не болел. Вот что значит трудиться ради своих детей. Уже на второй год после отъезда я приобрел красивый бриг водоизмещением в семьсот тонн, построенный из индийского дуба и обшитый медью; устройство и расположение кают сделано согласно моим указаниям. Этот корабль — я дал ему название «Миньон» — тоже немалая ценность. Жизнь моряка, непрестанная деятельность, неизбежная при подобных торговых делах, мои старания стать в некотором роде капитаном дальнего плавания — все это закалило мое здоровье. Рассказывая тебе обо всем этом, разве я не говорю о моих двух дочерях и о любимой жене? Надеюсь, что, узнав о моем разорении, негодяй, лишивший меня Беттины, покинул ее, и блудная дочь вернулась в отчий дом, в наш коттедж. Очевидно, мне придется увеличить ее приданое. Вы четверо — две мои дочери, жена да ты, Дюме,— все эти три года не выходили у меня из головы. Ты теперь богат, Дюме. Не считая моего состояния, твоя личная доля составляет пять-

сот шестьдесят тысяч франков; посылаю их тебе именным чеком на банкирский дом Монжено, который уже получил соответствующее уведомление из Нью-Йорка. Еще несколько месяцев, и я увижу всех вас — надеюсь, в добром здравии. Теперь вот что, дорогой мой Дюме: я пишу только тебе одному, ибо хочу сохранить в тайне то, что я стал богат; прошу тебя также подготовить моих дорогих ангелов к радостной вести о моем возвращении. Мне надоела торговля, и я думаю покинуть Гавр. Меня чрезвычайно волнует вопрос о будущем моих дочерей, о их замужестве. Какие-то зятья у меня будут? Я намерен выкупить земли и замок Лабасти, учредить майорат по крайней мере в сто тысяч франков дохода и просить короля передать мое имя и титул одному из моих зятьев. Ты ведь знаешь, мой бедный Дюме, что случившееся с нами несчастье вызвано роковым блеском богатства. Из-за этого я и потерял честь одной из дочерей. Я как-то отвозил на Яву несчастнейшего отца, голландского негоцианта, обладателя девяти миллионов, который лишился обеих дочерей, так как их похитили какие-то негодяи, и мы оба плакали с ним, как дети. Итак, я не хочу, чтобы люди знали о моем богатстве. Вот почему я высажусь не в Гавре, а в Марселе. У меня есть помощник, провансалец Кастанью, старый слуга моего семейства, которому я помог составить небольшое состояние. Я дам Кастанью нужные распоряжения относительно выкупа Лабасти, а сам договорюсь через посредство банкирского дома Монжено о продаже индиго. Весь свой капитал я положу во Французский банк и приеду к вам с состоянием в один миллион франков, заключающимся в товарах. Таким образом, все будут считать, что у моих дочерей по двести тысяч приданого. Выбрать зятя, которого я сочту наиболее достойным жить вместе с нами и наследовать мое имя, герб и титулы,— вот моя самая серьезная забота. Я хочу, чтобы мои зятья были, как и мы с тобой, люди испытанные, твердые, прямые, а главное — честные. Я ни минуты не сомневался в тебе, старина. Полагаю, что моя милая и добрая супруга и ты со своей женой сумели воздвигнуть неприступную стену вокруг Модесты и что я скоро запечатлею полный надежды поцелуй на чистом челе оставшегося мне непорочного ангела. Беттина-Каролина будет богата. Надеюсь, вы сумели скрыть ее про-

ступок. После того как мы воевали и занимались торговлей, мы примемся за земледелие, и ты будешь моим управляющим. Подойдет ли это тебе? Итак, старый друг, предоставляю тебе полную свободу действий в отношении моей семьи: ты можешь умолчать или рассказать им о моих успехах. Полагаюсь на твою осторожность. Поступи так, как найдешь нужным. За четыре года характер людей мог сильно измениться. Прошу тебя быть в данном случае судьей, так как опасаюсь слишком нежной любви моей жены к дочерям. Прощай, Дюме. Передай моим девочкам и жене, что я каждый день целовал их мысленно утром и вечером. Посылаю второй чек на сорок тысяч франков, также на твое имя; эти деньги предназначаются моим дочерям и жене на расходы до моего приезда.

Твой патрон и друг *Шарль Миньон*».

— Твой отец возвращается! — сказала г-жа Миньон дочери.

— Почему ты так думаешь, мама? — спросила Модеста.

— Слышишь, Дюме бежит,— значит, он хочет сообщить нам добрую весть, иначе он ни за что не прибавил бы шагу.

— Победа! — воскликнул Дюме, распахнув калитку.— Сударыня, полковник и не думал болеть, он возвращается на «Миньоне», прекрасном собственном судне; оно сто́ит вместе с грузом, о котором мне пишет полковник, восемьсот или девятьсот тысяч франков; но он просит вас хранить это в тайне. Все его сердце изболело при мысли о несчастье, случившемся с нашей дорогой Беттиной.

— И это несчастье повлекло за собою ее смерть! — сказала г-жа Миньон.

— Он приписывает все случившееся корыстолюбию, которое пробуждает в сердцах молодых людей огромное богатство, и, мне кажется, он прав. Бедный полковник, он надеется увидеть свою Беттину, свою заблудшую овечку, здесь, среди нас. Не говорите никому о его приезде, даже Латурнелю, если это только возможно. Будем радоваться и молчать. Мадемуазель,— шепнул он. Модесте,— напишите отцу об утрате, понесенной вашей

семьей, и об ее ужасных последствиях: надо подготовить его к печальному зрелищу, которое его ожидает. Я берусь передать ему письмо до приезда в Гавр, так как он обязательно должен заехать в Париж. Напишите ему обо всем подробно, у вас есть еще время: я возьму письмо с собой,— в понедельник я уезжаю в Париж.

Модеста испугалась, что в Париже Дюме может встретиться с Каналисом, и поднялась к себе в комнату, чтобы написать поэту и отсрочить свидание.

— Скажите мне, мадемуазель,— смиренно проговорил Дюме, преграждая путь Модесте,— скажите мне, что отец не найдет в вашем сердце иного чувства, кроме любви к нему и к вашей матушке, как это и было до его отъезда.

— Я поклялась себе самой, сестре и матери быть всегда утешением, счастьем и гордостью отца, и так оно и будет,— ответила Модеста, бросив надменный и презрительный взгляд на Дюме.— Не смущайте же оскорбительными подозрениями моей радости,— я так счастлива возвращением отца. Но кто запретит сердцу девушки биться? Уж не хотите ли вы, чтобы я превратилась в мумию? — продолжала она.— Я принадлежу семье, но мое сердце принадлежит мне. Если я и люблю, то отец и мать узнают об этом. Довольны ли вы, сударь?

— Благодарю вас,— ответил Дюме,— вы воскресили меня, но, даже давая мне пощечину, вы могли бы назвать меня Дюме, а не сударь.

— Поклянись мне,— проговорила мать,— что ты не обменялась ни словом, ни взглядом ни с одним молодым человеком...

— Могу поклясться в этом, маменька,— сказала Модеста, с улыбкой глядя на Дюме, который пристально смотрел на нее и тоже улыбался, словно напроказившая девушка.

— Неужели же она так лицемерна? — воскликнул Дюме, когда Модеста вошла в дом.

— У моей Модесты могут быть недостатки,— ответила г-жа Миньон,— но она не способна лгать.

— В таком случае не будем тревожиться,— заметил Дюме,— кто знает, быть может, судьба устала нас преследовать.

— Дай-то бог! — ответила г-жа Миньон.— Вы *его* увидите, Дюме, я же могу его только услышать... Какой грустью омрачено мое счастье!

А у Модесты померкла радость, которую принесло ей известие о возвращении отца, и в эту минуту она напоминала Перетту из известной басни. Она надеялась, что отец составит более значительное состояние, чем то, о котором сообщил Дюме. Сделавшись честолюбивой ради своего поэта, она желала иметь хотя бы половину тех шести миллионов, о которых упомянула в своем письме. К счастью примешались мысли о деньгах и досада на свою относительную бедность; она села за фортепьяно,— этому верному другу молодые девицы поверяют свой гнев и свои желания, выражая охватившие их чувства различными оттенками игры. Дюме беседовал с женой, прогуливаясь с ней под окнами Шале; он сообщил ей по секрету о нежданном их богатстве, расспрашивал об ее надеждах, желаниях и намерениях. У г-жи Дюме, как и у ее мужа, не было иной семьи, кроме семьи Миньонов. И оба супруга решили жить в Провансе, если граф де Лабасти поселится там, и завещать свое состояние тому из детей Модесты, которому оно окажется наиболее необходимым.

— Послушайте Модесту,— сказала им г-жа Миньон.— Только влюбленная девушка может сочинять такие мелодии, не зная теории музыки.

Пусть пламя охватывает дома, пусть гибнут состояния, пусть отцы возвращаются из путешествия, пусть рушатся империи, пусть холера опустошает города, любовь девушки не остановится в своем полете, как природа в своем поступательном движении, как та страшная открытая химиками кислота, которая может прожечь насквозь весь земной шар, если ничто не задержит ее в центре.

Вот романс, который Модеста сочинила на стансы Каналиса под влиянием любви и одиночества. Эти стансы мы приводим здесь, хотя они и напечатаны во втором томе издания, упомянутом в письме Дориа, ибо юная пианистка, стремясь положить их на музыку, нарушила кое-где цезуры, что может удивить поклон-

ников поэта, отличающегося подчас чересчур изысканной отделкой стиха.

ПЕСНЯ ДЕВУШКИ

Проснись, мой друг! Уж звезды поредели,
Фиалка в небо аромат свой шлет,
И жаворонок, взмыв, с ликующею трелью
Встречает солнца радостный восход.

Уже проснулись нежные левкои,
С очей стряхнули предрассветный сон.
Уже нарцисс любуется собою,
В трепещущих росинках отражен.

Наверно, ночью ангел роз небесный
Благословил уснувшие цветы,
Он возвратил им аромат чудесный
И свежесть первозданной красоты.

Проснись же, друг! Уж звезды поредели,
Фиалка в небо аромат свой шлет,
И жаворонок, взмыв, с ликующею трелью
Встречает солнца радостный восход.

Прогресс, достигнутый в типографском деле, позволил бы нам привести здесь и мелодию, сочиненную Модестой. Однако глубокая выразительность голоса девушки придавала ей то очарование, которое можно встретить лишь в исполнении знаменитых певиц и которое не в состоянии передать типографские знаки, будь то буквы или ноты.

— Очень мило,— сказала г-жа Дюме.— Модеста — музыкантша, и этим объясняется все.

— В ней сидит бес! — воскликнул кассир. Он содрогнулся, вспомнив слова г-жи Миньон, и его сердце сжалось от страшного подозрения.

— Она любит,— повторила г-жа Миньон.

Госпожа Миньон не случайно заставила кассира выслушать романс Модесты, она знала, что музыка лучше всего подтвердит ее догадку, но музыкальные признания Модесты отравили Дюме всю радость, принесенную вестью о возвращении и удаче патрона. Несчастный бретонец отправился в Гавр, куда призывала его служба у Гобенхейма; затем, прежде чем вернуться домой к обеду, он зашел к Латурнелям высказать им свои опасения и снова попросить у них совета и помощи.

— Да, дорогой друг,— сказал Дюме, прощаясь с нотариусом,— я согласен с госпожой Миньон: *она* любит,— в этом нет сомнения, а остальное известно лишь дьяволу. А я, я опозорен!

— Не отчаивайтесь, Дюме,— промолвил нотариус.— Неужели мы все вместе не окажемся сильнее Модесты? Дайте срок, влюбленная девушка в конце концов совершит какую-нибудь оплошность и выдаст себя. Но мы побеседуем об этом нынче вечером.

Таким образом, все лица, преданные семейству Миньон, были в равной мере охвачены беспокойством, достигшим высшего предела накануне, в вечер описанного нами опыта, на который старый солдат возлагал столько надежд. Неудача настолько расстроила Дюме, что он даже решил отложить свой отъезд в Париж, пока не будет найдена роковая разгадка. Эти благородные сердца, для которых чувства дороже корыстных интересов, поняли в ту минуту, что полковник может умереть от горя, узнав о смерти Беттины и слепоте жены, если в довершение всего его младшая дочь погубит себя. Отчаяние Дюме произвело такое впечатление на Латурнелей, что они совсем позабыли об отъезде Эксюпера, которого в тот день утром проводили в Париж. Во время обеда г-н Латурнель, его супруга и Бутша разбирали вопрос со всех точек зрения и высказывали всевозможные догадки.

— Если бы Модеста любила кого-нибудь здесь, в Гавре, она испугалась бы вчера,— заявила г-жа Латурнель.— Значит, ее возлюбленный живет не здесь.

— Модеста поклялась сегодня утром своей матери в присутствии Дюме,— заметил нотариус,— что она ни разу не обменялась ни словом, ни взглядом ни с одним молодым человеком.

— Неужели она любит так, как люблю я! — проговорил Бутша.

— А как же ты любишь, сынок? — спросила г-жа Латурнель.

— Сударыня,— ответил маленький горбун,— я люблю без взаимности, *она* так же далека от меня, как эти звезды.

— И как же ты это делаешь, глупыш? — спросила г-жа Латурнель, улыбаясь.

— Ах, сударыня,— ответил Бутша,— то, что вы принимаете за горб, на самом деле лишь оболочка, скрывающая крылья.

— Так вот почему ты завел себе такую печатку!— воскликнул нотариус.

На печатке клерка была изображена звезда, а под ней надпись: Fulgens, sequar (Лучезарная, следую за тобой), служившая девизом дома Шатильоне.

— Прекрасное создание должно быть столь же недоверчиво, как и создание безобразное,— продолжал Бутша, словно говоря с самим собой.— Модеста достаточно умна и может опасаться, как бы ее не полюбили только за красоту.

Горбуны — создания удивительные, мыслимые только в человеческом обществе, а не в природе, ибо там господствует закон, по которому все слабое или уродливое обречено на гибель. Искривление позвоночника, обезображивая внешность человека, в то же время способствует более быстрому и энергичному развитию нервных флюидов, и они, вырываясь из глубины, где возникли, озаряют, подобно яркому свету, весь внутренний облик горбунов. В результате этого рождаются силы, которые иногда проявляются в магнетизме, но чаще всего сосредоточиваются в сферах духовного мира. Попробуйте найти горбуна, который не был бы наделен каким-нибудь свойством, доведенным до крайности; если, скажем, он остроумен, то до ядовитости, если злобен, то безмерно, и если добр, то беспредельно. Душа горбунов похожа на скрипку, которую никогда не разбудит рука музыканта; эти удивительные существа, наделенные преимуществами, о которых они сами не подозревают, уходят, подобно Бутше, в свой внутренний мир и умеют, как маги, направить к одной цели все свои силы, если только не успели растратить их преждевременно на борьбу за существование. Вот источник многих суеверий, народных преданий, толкующих о гномах, страшных карликах и безобразных феях, обо всех этих, как говорил Рабле, людях-сосудах, содержащих в себе редчайшие эликсиры и бальзамы.

Итак, Бутша почти разгадал Модесту. И движимый любопытством отчаявшегося влюбленного, исполненный готовности умереть во имя любимого существа, подобно тем солдатам, которые кричали: «Да здравствует император!» — хотя и были брошены на произвол судьбы в снегах России,— Бутша решил выведать тайну Модесты, но сохранить ее для себя одного. С озабоченным видом следовал он за своим патроном и его супругой по направлению к Шале: ведь ему предстояло скрыть от стольких внимательных глаз и ушей ту западню, которую он готовил молодой девушке. «Случайно встретившиеся взгляды, мгновенная дрожь, и я узнаю все, как хирург, случайно нащупавший скрытую язву»,— думал он.

Гобенхейм в этот вечер не пришел, и Бутшу усадили играть в одной партии с Дюме, против четы Латурнелей. Около девяти часов, когда Модеста вышла из комнаты, чтобы приготовить на ночь постель матери, г-жа Миньон и ее друзья начали беседовать с полной откровенностью. Но бедный клерк казался так же чужд всем этим разговорам, как был им чужд накануне Гобенхейм: настолько удручала его мысль о том, что Модеста влюблена.

— Да что с тобой сегодня, Бутша? — воскликнула г-жа Латурнель, удивленная его молчанием.— У тебя такой вид, словно ты только что похоронил отца и мать...

Бутша был сыном шведского матроса; мать его, брошенная вероломным возлюбленным, умерла от горя в больнице; но не потому брызнули сейчас слезы из глаз горбуна.

— У меня на свете нет никого, кроме вас,— сказал он проникновенно.—Я знаю силу вашей жалости ко мне; неужели я могу оказаться недостойным этого христианского милосердия?

Ответ Бутши заставил зазвучать у каждого присутствующего одну и ту же струну чувствительности.

— Мы все вас очень любим, господин Бутша,— проговорила растроганно г-жа Миньон.

— У меня есть шестьсот тысяч франков, лично мне принадлежащих! — воскликнул славный Дюме.— Ты будешь нотариусом в Гавре и преемником Латурнеля!

Госпожа Дюме молча пожала руку бедному горбуну.

— У вас есть шестьсот тысяч франков! — подхватил Латурнель слова, вырвавшиеся у Дюме.— И вы позволяете дамам жить здесь! И у Модесты нет до сих пор верховой лошади, и она не берет уроков музыки, рисования, и...

— Но ведь он получил эти деньги всего несколько часов тому назад,— живо возразила американка.

— Ах, потише, пожалуйста,— сказала г-жа Миньон.

Во время этой сцены хранила молчание только высочайшая покровительница Бутши; приняв величественную позу, она пристально смотрела на горбуна.

— Мой мальчик,— произнесла г-жа Латурнель,— я не сомневалась во всеобщей к тебе любви и поэтому не подумала о смысле моих слов, вошедших в поговорку; но ты должен быть благодарен за мою оплошность: она помогла тебе убедиться, сколько верных друзей ты приобрел благодаря своим достоинствам.

— Вы, значит, получили вести о господине Миньоне? — спросил нотариус.

— Он возвращается,— проговорила г-жа Миньон,— но пусть это останется между нами. Когда мой муж узнает, что Бутша постоянно бывал у нас и выказывал нам самую горячую и бескорыстную привязанность, в то время как все от нас отвернулись, он не позволит вам, Дюме, внести одному все деньги за нотариальную контору. Поэтому, мой друг,— сказала она, поворачиваясь в сторону Бутши,— вы можете теперь же начать переговоры с Латурнелем...

— Кстати, ему уже пошел двадцать шестой год,— сказал Латурнель.— Я считаю, мой мальчик, что, помогая тебе приобрести контору, я только уплачиваю свой долг.

Бутша, который со слезами поцеловал руку г-жи Миньон, поднял заплаканное лицо как раз в ту минуту, когда Модеста открыла дверь гостиной.

— Кто это обидел моего Таинственного карлика? — спросила она.

— Ах, мадемуазель Модеста, разве мы, дети не-

счастья, вскормленные им с колыбели, плачем от горя? Мне только что выказали такую же любовь, какой переполнено и мое сердце в отношении всех тех, кого я всегда мечтал называть своими родными. Я буду нотариусом, я могу разбогатеть. Да, да, бедный Бутша станет, возможно, в один прекрасный день богатым Бутшей. Вы еще не знаете, сколько мужества у этого уродца! — воскликнул он.

Горбун с силой ударил кулаком по своей впалой груди и встал перед камином, бросив на Модесту взгляд, который, как молния, блеснул из-под его тяжелых полуопущенных век; он понял, что непредвиденный случай пришел ему на помощь и он сейчас разгадает сердце своей повелительницы. Дюме на минуту показалось, будто клерк осмеливается мечтать о Модесте, он обменялся со своими друзьями быстрым взглядом, и, поняв друг друга, они посмотрели на горбуна внимательней, чем прежде, посмотрели с ужасом и любопытством.

— И у меня есть свои мечты! — продолжал Бутша, не спуская глаз с Модесты.

Девушка опустила ресницы, и это незаметное движение послужило для клерка целым откровением.

— Вы любите романы, позвольте же мне в этот счастливый час открыть вам свою тайну, и вы скажете мне, возможна ли развязка для романа моей жизни; если же нет,— к чему мне тогда богатство? Золото может принести мне больше счастья, чем всякому другому, ибо для меня счастье — это дать богатство любимому существу. Скажите же, мадемуазель,— ведь вы знаете так много,— скажите, можно ли внушить любовь к своей душе вне зависимости от того, прекрасна или безобразна ее оболочка?

Модеста посмотрела на Бутшу. Этот немой вопрос был страшен, так как в эту минуту она разделяла подозрения Дюме.

— Когда я разбогатею, я найду какую-нибудь прекрасную, но бедную девушку, покинутую, как и я, которая много выстрадала,— словом, несчастную девушку. Я напишу ей, я утешу ее, я буду ее добрым гением. Она поймет мое сердце, мою душу и получит разом два сокровища: мое золото, предложенное ей

самым деликатным образом, и мои мысли, наделенные той красотой, в которой природа отказала моей нелепой особе. Я останусь скрытым, как первопричина, до которой напрасно доискиваются ученые. Быть может, и сам бог не прекрасен? Конечно, эта девушка загорится любопытством, захочет меня увидеть, но я скажу ей, что я чудовище по своему безобразию, я опишу себя хуже, чем я есть в действительности...

При этих словах Модеста пристально взглянула на Бутшу, и взгляд ее без слов говорил: «Что знаете вы о моей любви?»

— Если я буду настолько счастлив, что меня полюбят за поэзию моего сердца, если в один прекрасный день я покажусь этой женщине лишь незначительно обиженным природой, то согласитесь же, что я буду счастливее, чем красивейший из мужчин, счастливее, чем гениальный человек, любимый таким неземным созданием, как вы.

Краска, залившая лицо Модесты, открыла карлику ее тайну.

— Так вот, сделать богатым того, кого любишь, привлечь его своим нравственным обликом, каков бы ни был облик физический, не значит ли это добиться любви? Вот мечта несчастного горбуна, его вчерашняя мечта, ибо сегодня ваша матушка вручила мне ключ к моим будущим сокровищам, пообещав мне содействие при покупке нотариальной конторы. Но, прежде чем стать вторым Гобенхеймом, я хотел бы знать, действительно ли требуется такое ужасное превращение. Что скажете на это вы, мадемуазель?

Модеста была так поражена, что даже не услышала заданного ей вопроса. Сети, расставленные влюбленным горбуном, оказались гораздо опаснее, чем западня старого солдата, и несчастная девушка лишилась от изумления дара речи.

— Бедный Бутша,— шепнула г-жа Латурнель своему супругу,— уж не сошел ли он с ума?

— Вы хотите превратить в действительность сказку о «Красавице и чудовище»,— ответила наконец Модеста,— но вы забыли, что чудовище превращается в прекрасного принца.

— Вы так думаете? — сказал карлик.— А я всег-

да полагал, что здесь заключен символ: лучезарное сияние души, открывшись взору, заставляет забыть о безобразной ее оболочке. Если меня не полюбят, я не сниму своей маски, вот и все. Вы же и все ваши близкие, сударыня,— сказал он, обращаясь к своей покровительнице,— будете иметь к своим услугам не только карлика, но будете вдобавок располагать состоянием и жизнью человека.

Бутша вновь уселся за ломберный стол и сказал своим партнерам, стараясь казаться совершенно спокойным:

— Кому сдавать?

Однако в глубине души он скорбно твердил: «Она хочет, чтобы ее любили за нее самое; она состоит в переписке с каким-нибудь мнимо великим человеком. Но как далеко зашла ее любовь?»

— Дорогая маменька, уже без четверти десять,— сказала Модеста матери.

Госпожа Миньон простилась с друзьями и удалилась в спальню.

Тот, кто хочет скрыть свою любовь, может не опасаться ни шпионов, ни овчарок, ни матерей, ни Дюме, ни Латурнелей. Но влюбленный? Это алмаз против алмаза, разум против разума, пламя, вступающее в борьбу с пламенем, это уравнение, все члены которого взаимно уничтожаются. В воскресенье утром Бутша опередил супругу своего патрона, которая обычно заходила за Модестой, чтобы отправиться вместе с ней в церковь, и начал расхаживать возле Шале в ожидании почтальона.

— Есть ли у вас сегодня письмо для мадемуазель Модесты? — спросил он, увидев сего скромного труженика.

— Сегодня, сударь, нет!

— Мы с некоторых пор доставляем изрядный доход правительству! — воскликнул клерк.

— Да, уж могу сказать,— ответил почтальон.

Модеста увидела Бутшу и услышала этот краткий разговор из своей комнаты: в этот час она всегда стояла у окна и, скрытая за решетчатым ставнем, поджидала почтальона. Она спустилась в садик и позвала изменившимся голосом:

— Господин Бутша!

— К вашим услугам, мадемуазель,— ответил горбун, подходя к калитке, которую отворила Модеста.

— Скажите, пожалуйста, уж не считаете ли вы заслугой, достойной женской любви, ваше постыдное шпионство? — спросила девушка, пытаясь сразить своего раба взглядом и осанкой королевы.

— Да, мадемуазель! — ответил он гордо.— Я и не предполагал, что жалкий червь может оказывать услуги звезде,— продолжал он вполголоса.— Но это именно так. Неужели вы хотели бы, чтобы вашу тайну разгадала матушка, господин Дюме или госпожа Латурнель, а не существо, обойденное судьбою и готовое служить вам для забавы, как цветок, который вы сорвали, чтобы бросить его через минуту? Все ваши близкие знают, что вы любите, но как вы любите, знаю только я один. Воспользуйтесь же мной, как сторожевым псом; я буду вам повиноваться, я буду вас оберегать, и никто не услышит моего лая. Я не посмею вас судить. Я молю вас только об одном: разрешите мне быть вам полезным. Ваш батюшка украсил ваш зверинец господином Дюме, посадите туда и Бутшу, и вы увидите, на что он годен, несчастный Бутша, который ничего не просит, даже обглоданной кости.

— Хорошо, я подвергну вас испытанию,— сказала Модеста, желая отделаться от слишком проницательного стража.— Отправляйтесь не медля в предместье Гавра — в Гравиль, и обойдите там все отели, чтобы узнать, не приехал ли из Англии некий господин Артур...

— Послушайте, мадемуазель,— проговорил Бутша, почтительно прерывая Модесту.— Я попросту пойду гулять по берегу моря,— этого будет достаточно, раз вы не хотите, чтобы я был сегодня в церкви. Вот и все.

Модеста посмотрела на карлика с нескрываемым изумлением.

— Да, да, мадемуазель Модеста, у вас нет флюса, хотя вы и подвязали себе щеку платком, да еще подложили под него ваты. А если на вашей шляпе двойная вуаль, то это для того, чтобы видеть, оставаясь невидимой.

— Откуда у вас столько проницательности? — воскликнула Модеста, краснея.

— На вас нет корсета, мадемуазель! Ведь не из-за флюса же вы обезобразили свою талию, надев несколько юбок, ведь не из-за болезни нацепили вы на руки старые перчатки, а на свои хорошенькие ножки уродливые ботинки. Вы нелепо оделись и...

— Довольно,— прервала Модеста.—Чем вы докажете мне свое послушание?

— Мой патрон должен сегодня отправиться в деревню святой Адрессы. Хотя ему это и неприятно, но он действительно добрый человек и не захотел лишать меня воскресного отдыха. Так вот, я пойду в деревню вместо него...

— Ступайте, и вы приобретете мое доверие.

— Уверены ли вы, что я не понадоблюсь вам в Гавре?

— Нет, не понадобитесь. Взгляните, Таинственный карлик,— сказала она, указывая на безоблачное небо,— можете ли вы заметить след только что пролетевшей птицы? Так вот, мои поступки чисты, как и этот воздух, и тоже не оставляют ни малейшего следа. Успокойте Дюме, Латурнелей, успокойте мою мать и знайте, что эту руку,— прибавила она, показывая ему свою красивую тонкую руку с загнутыми кончиками пальцев и нежной, прозрачной кожей,— я не только не отдам до приезда отца, но не позволю, чтобы к ней прикоснулись уста того, кого принято называть возлюбленным.

— А почему вы не хотите, чтобы я был сегодня в церкви?

— Вы расспрашиваете меня после того, как я оказала вам честь своей откровенностью и обратилась к вам с просьбой?

Бутша молча поклонился и вернулся к своему патрону в восторге от того, что его прекрасная дама позволила служить ей.

Час спустя супруги Латурнель зашли за Модестой, которая стала жаловаться на страшнейшую зубную боль.

— У меня даже не хватило сил приодеться,— сказала она.

— В таком случае оставайтесь дома,— заметила добродушная супруга нотариуса.

— О нет, я хочу помолиться о счастливом возвращении отца,— ответила Модеста.— Я тепло оделась, и прогулка принесет мне только пользу.

И мадемуазель Миньон пошла в церковь вместе с г-жой Латурнель. Она отказалась взять под руку свою спутницу, боясь, как бы та не почувствовала той внутренней дрожи, которая охватила девушку при мысли, что скоро она увидит своего великого поэта. Разве один взгляд, брошенный на него, первый взгляд, не должен решить ее судьбу?

Есть ли в жизни человека мгновение восхитительнее первого свидания? Повторятся ли еще те радости, которые живут в глубине сердца и расцветают лишь в такие минуты? Испытаешь ли вновь то непередаваемое наслаждение, с которым Эрнест де Лабриер выбирал лучшую бритву, тончайшую рубашку, безупречный галстук и самый изысканный костюм? Невольно обожествляешь все предметы, имеющие хоть какое-нибудь отношение к этой неповторимой минуте, и творишь сам для себя целые поэмы, не уступающие девичьим мечтам. Неужели суждено им рассеяться в тот самый день, когда их разгадает он или она? Эти мечты подобны пряному и свежему аромату диких яблонь, расцветающих в непроходимой лесной чаще на радость одному только солнцу. Или, как говорит Каналис в «Песне девушки», этот аромат приносит радость только самому растению, как будто ангел цветов явил ему свой лик? Достойно упоминания, что наш скромный Лабриер ни разу не был любим, как и большинство обездоленных людей, чья жизнь начинается трудами и денежными заботами. Приехав накануне вечером, он тотчас же лег спать, стараясь, словно кокетка, уничтожить следы дорожной усталости; и теперь, приняв ванну, он только что закончил свой заранее обдуманный туалет, желая произвести наиболее выгодное впечатление. Пожалуй, будет уместно поместить здесь его портрет, сделанный во весь рост, хотя бы для того, чтобы оправдать письмо, которое предстояло Модесте написать ему.

Эрнест происходил из хорошей тулузской семьи, состоящей в дальнем родстве с министром — его покровителем, и обладал тем внешним лоском, который дается только воспитанием, начатым с колыбели; однако трудовая жизнь сделала его серьезным, не сделав педантом, а педантизм — подводный камень для всех людей, остепенившихся слишком рано. Роста он среднего; его тонкое, с мягкими чертами лицо, свежее, хотя и без румянца, невольно располагало к себе. Не будь у него маленьких усиков и бородки, как у Мазарини, он походил бы на переодетую девушку, так нежен овал его лица и изящен рисунок губ, так по-женски ослепительно белы и ровны его зубы, будто взятые с витрины дантиста. Добавьте к этим качествам нежный голос, нежный цвет лица, светло-голубые глаза с восточным разрезом, и вы поймете, почему министр прозвал своего юного секретаря «мадемуазель де Лабриер». На его широком чистом лбу, красиво обрамленном черными густыми кудрями, лежит печать задумчивости, что вполне гармонирует с меланхолическим выражением лица. Выпуклые надбровные дуги, хотя и очень изящно очерченные, несколько омрачают взгляд, а меланхолическое выражение лица зависит от рисунка полуопущенных век. Скрытая неуверенность в себе, которую мы обозначаем словом «скромность», чувствуется и в чертах и во всей фигуре Эрнеста. Быть может, читателю удастся яснее представить себе его внешний облик, если мы заметим, что по законам пропорции следовало бы удлинить овал лица, увеличить пространство между слишком коротким подбородком и лбом с низко растущими волосами. От этого лицо кажется придавленным. Житейские заботы провели морщинку между бровями Эрнеста, чересчур густыми и сходящимися к переносице,— отличительный признак ревнивцев. Хотя Лабриер был в то время строен, чувствовалось, что к тридцати годам он располнеет.

Тем, кому хорошо известна история Франции, Эрнест мог бы напомнить загадочную личность короля Людовика XIII с его беспричинным меланхолическим унынием и скромностью, с его бледным лицом под королевской короной; того Людовика, который любил

опасности воины и приятное утомление после охоты и ненавидел труд, который был застенчив до того, что его любовница даже страдала от излишней почтительности к ней, и настолько холоден душой, что спокойно позволил бы отрубить голову лучшему своему другу. Характер, объяснимый разве только угрызениями совести, вероятно, преследовавшей того, кто отомстил матери за отца. Кем был этот король — католическим Гамлетом или попросту неизлечимо больным? Но в то время как Людовика XIII подтачивал какой-то тайный червь, лишая его сил и сгоняя с лица краски, Эрнест страдал просто от неуверенности в самом себе, от застенчивости мужчины, которому еще ни разу не шепнули женские уста: «Люблю тебя»,— а особенно же от сознания того, что его преданность бесполезна. После того как падение правительства возвестило, подобно погребальному звону, о гибели монархии, несчастный Эрнест прилепился душой к Каналису, но обнаружил в поэте человека бесчувственного, как камень, прикрытый, однако, бархатистым мхом. Желая покориться силе и одновременно полюбить ее, он испытывал беспокойство пуделя, потерявшего хозяина, а похож был на короля, нашедшего своего властелина. Эти сомнения, эти чувства, это выражение страдания делали его лицо гораздо красивее, чем это думал сам Эрнест, раздосадованный, что женщины причисляют его к типу «прекрасных меланхоликов», вышедшему из моды в наше время, когда каждый стремится, чтобы трубили хвалу только в его честь.

Итак, из-за неуверенности в себе Эрнест возложил все надежды на костюм, сшитый по тогдашней моде. Для этой встречи, где все решал первый взгляд, он надел черные панталоны, тщательно начищенные сапоги, лимонного цвета жилет, в вырезе которого виднелись черный галстук на тончайшей сорочке с опаловыми запонками, голубой сюртук с орденской ленточкой в петлице, который по новейшей моде плотно прилегал к фигуре. На нем были прелестные перчатки из тонкой кожи цвета старинной бронзы; в левой руке он держал с грацией вельможи XVII века трость и шляпу, стоя с обнаженной головой, как полагается в церкви, и при свете свечей его искусно при-

чесанные кудри отливали шелковистым блеском. Устроившись с самого начала службы в уголке у колонны, он внимательно присматривался к входящим христианам, а главное, к христианкам, которые на минуту приостанавливались, чтобы окунуть пальцы в святую воду.

Внутренний голос сказал Модесте: «Вот он!»,— едва она вошла в церковь. Все — от покроя сюртука, от чисто парижской осанки, орденской ленточки вплоть до перчаток, трости и духов,— все было не здешнее, не гаврское. Поэтому, когда Лабриер обернулся, чтобы рассмотреть низенького нотариуса, его высокую и величественную супругу и «чучело» (дамское словечко), под видом которого сопровождала их Модеста, бедная девушка, хотя и была хорошо подготовлена к встрече, все же почувствовала, как забилось ее сердце при виде этого вдохновенного лица, озаренного бившим из дверей ярким светом. Да, это мог быть только он: маленькая белая роза виднелась в его петлице, почти закрывая собой орденскую ленточку. Узнает ли Эрнест свою незнакомку в этой женщине, напялившей на себя старую шляпку с двойной вуалью? Модеста так испугалась ясновидящего взгляда любви, что даже стала подражать старушечьей походке.

— Посмотри, жена, на этого господина,— сказал низенький Латурнель, направляясь к своему месту.— Это наверняка приезжий.

— У нас бывает столько приезжих,— ответила г-жа Латурнель.

— Но разве иностранцы заходят в нашу церковь, которой еще нет двух веков? — возразил нотариус.

Эрнест простоял всю обедню около входа, но не заметил среди женщин ни одной, которая воплощала бы его идеал. Что касается Модесты, то она только к концу службы справилась с нервной дрожью. Она испытывала такой восторг, описать который была бы в состоянии только она сама. Наконец по каменным плитам раздался звук шагов,— так мог ходить только вполне светский человек: обедня кончилась, и Эрнест бродил по церкви, где оставались только ревнители благочестия, которых он и стал изучать самым внимательным образом. Эрнест заметил, как сильно задро-

жал молитвенник в руках женщины под вуалью, когда он проходил мимо нее, и так как она одна прятала свое лицо, у него явилось подозрение, которое подтвердил и туалет Модесты, не обманувший проницательного взгляда влюбленного. Он вышел из церкви вслед за г-жой Латурнель и последовал за ней на почтительном расстоянии. Он увидел, как она вошла вместе с Модестой в дом на улице Руаяль, где девушка обычно дожидалась вечерни. Окинув взглядом этот дом, на котором красовалась вывеска нотариальной конторы, Эрнест спросил у прохожего фамилию нотариуса, и тот, не без гордости, назвал Латурнеля, лучшего нотариуса в Гавре. Заметив своего возлюбленного, когда тот проходил по улице Руаяль, стараясь заглянуть в окна, Модеста сказалась больной и не пошла к вечерне; г-жа Латурнель осталась с ней. Таким образом, бедный Эрнест напрасно пробродил до вечера по улице. Он не осмелился отправиться в Ингувиль и счел долгом чести вернуться в Париж, написав перед отъездом письмо Франсуазе Коше, которое ей предстояло получить на следующий день со штемпелем Гавра.

Супруги Латурнель обедали каждое воскресенье в Шале, куда они провожали Модесту после вечерни. Поэтому, как только девушка почувствовала себя лучше, они направились в Ингувиль вместе с Бутшей. Счастливая Модеста надела очаровательное платье и, забыв о своем утреннем маскараде и о флюсе, спустилась к обеду, напевая:

Проснись, мой друг! Уж звезды поредели,
Фиалка в небо аромат свой шлет...

Бутша вздрогнул при виде Модесты,— так она изменилась,— крылья любви выросли у нее за плечами; она напоминала сильфиду, и чудесный, живой румянец счастья играл на ее щеках.

— Кто написал эти стихи, на которые ты сочинила такую прелестную мелодию? — спросила г-жа Миньон у дочери.

— Каналис, маменька,— ответила она, и горячая краска залила ее лицо и шею.

— Каналис! — воскликнул карлик, которому звук

голоса и неестественный румянец Модесты открыли то единственное, чего он еще не знал.— Неужели же он, великий поэт, пишет романсы?

— Это простые стихи,— ответила Модеста,— а я попробовала подобрать к ним вспомнившиеся мне мотивы немецких песен.

— Нет, нет,— заметила г-жа Миньон,— ты сама сочинила этот романс, дочка.

Модеста, чувствуя, как она краснеет все сильнее, выбежала в садик, позвав с собой Бутшу.

— Вы можете оказать мне большую услугу,— проговорила она тихо.— Дюме ничего не сообщает ни маменьке, ни мне о размерах состояния отца, мне же надо знать правду. Разве в свое время Дюме не послал батюшке пятьсот с лишним тысяч франков? А отец не такой человек, чтобы пробыть в отсутствии четыре года и лишь удвоить свой капитал. К тому же он возвращается на собственном корабле, и доля, которую он выделил Дюме, достигает шестисот тысяч франков.

— Не стоит расспрашивать об этом Дюме,— сказал Бутша.— Ваш отец, как вы знаете, потерял перед своим отъездом четыре миллиона, и, надо думать, он их вернул. Он, очевидно, выплатил Дюме не меньше десяти процентов прибыли. Судя по той сумме, в которой признается уважаемый бретонец, мы с патроном полагаем, что состояние полковника доходит до шести или семи миллионов.

— О отец! — сказала Модеста, скрестив на груди руки и подняв взор к небу.— В таком случае ты дважды подарил мне жизнь!..

— Мадемуазель,— сказал Бутша,— значит, вы любите поэта? Но все они похожи на Нарцисса. Способен ли он вас полюбить? Словесных дел мастер, подбирающий рифмы. Как это скучно! Ведь поэту так же далеко до поэзии, как семенам до цветка.

— Бутша, я никогда не видела такого красавца!

— Но красота — только оболочка, и сколько несовершенств скрывает она.

— У него удивительная, неземная душа!..

— Дай бог, чтобы вы оказались правы,— проговорил карлик, складывая руки, словно для молитвы.— Будьте счастливы. Ваш Жан Бутша будет предан-

ным слугой и ему. В таком случае я откажусь от карьеры, я стану учиться, отдамся наукам...

— Но для чего?

— Как для чего? Чтобы воспитывать ваших детей, если вы разрешите мне быть их наставником. Только бы вы послушались моего совета! Вот что: предоставьте мне действовать; я сумею проникнуть в жизнь, в привычки этого человека и все отгадать: добр ли он, вспыльчив или сдержан, будет ли он уважать вас так, как вы того заслуживаете, способен ли он полюбить вас беззаветно, предпочесть вас всему, даже своему таланту...

— Не все ли равно, раз я его люблю? — сказала она наивно.

— Да, вы правы! — воскликнул горбун.

А тем временем г-жа Миньон говорила своим друзьям:

— Моя дочь видела сегодня того, кого она любит.

— Это, очевидно, тот лимонный жилет, который тебя так заинтересовал, Латурнель! — воскликнула супруга нотариуса.— У этого молодого человека еще была белая роза в петлице.

— Да,— сказала мать,— это условный знак.

— У него ленточка кавалера Почетного легиона,— продолжала г-жа Латурнель.— Это очаровательный юноша! Но нет, мы ошибаемся. Модеста даже не поднимала вуали, она была одета, как нищенка, и...

— Ведь она сказалась больной,— заметил нотариус,— однако она только что сняла повязку со щеки и чувствует себя превосходно.

— Это непонятно! — воскликнул Дюме.

— Увы, это ясно, как божий день,— сказал нотариус.

— Дитя мое,— обратилась г-жа Миньон к Модесте, вернувшейся из сада в сопровождении Бутши,— не заметила ли ты сегодня утром в церкви превосходно одетого юношу с белой розой в петлице и с орденом?

— Я его видел,—ответил с живостью Бутша, угадав по внимательным взглядам окружающих, что Модесте готовится западня.— Это Гриндо, знаменитый архитектор, с которым город ведет переговоры о реставрации церкви; он приехал из Парижа, и я встре-

тил его сегодня утром, отправляясь в деревню святой Адрессы,— он осматривал церковь.

— Так это архитектор? Он меня очень заинтересовал,— спокойно сказала Модеста, воспользовавшись передышкой, которую дал ей карлик.

Дюме искоса посмотрел на Бутшу. Модеста, предупрежденная об опасности, приняла непроницаемый вид. Подозрения Дюме возросли во сто крат, и он решил отправиться на следующий день в мэрию, чтобы узнать, действительно ли появился в Гавре архитектор. Со своей стороны, Бутша, сильно тревожась за будущее Модесты, задумал ехать в Париж и там выведать все о Каналисе.

Присутствие Гобенхейма, зашедшего сыграть партию в вист, охладило накалившуюся атмосферу. Модеста ожидала не без нетерпения того часа, когда мать ее ляжет спать: ей хотелось написать Каналису, а делала она это обычно по ночам. Вот что она написала под диктовку сердца, дождавшись, когда все заснут.

XIII

«Г-ну де Каналису.

Ах, мой возлюбленный друг, что за ужасный обман ваши портреты, выставленные в витринах торговцев гравюрами. А я-то восхищалась этой отвратительной литографией! Достойна ли я любить такого красавца? Нет, ваши парижанки вовсе не так глупы: они не могли не заметить, что вы — олицетворение их грез. Вами пренебречь! Вас не полюбить! Я не верю ни единому слову из всего, что вы мне писали о вашей скромной, трудовой жизни, о вашей преданности кумиру, которого вы напрасно искали до сегодняшнего дня. Вас, наверное, слишком любили, сударь: ваш бледный лоб, пленительный, как цветок магнолии, достаточно красноречиво говорит об этом, и я, конечно, буду несчастна! Что я перед вами? Зачем призвали вы меня к жизни! Я сразу почувствовала, что моей телесной оболочки не существует более. Моя душа вырвалась из своего хрустального плена и наполнила все мое существо. И тогда холодное молчание ве-

щей вдруг нарушилось. Вся природа заговорила со мной. Старая церковь показалась мне наполненной сиянием, ее своды, переливаясь золотом и лазурью, подобно итальянскому храму, засверкали над моей головой. Небесные голоса, которые заставляют мучеников забыть их страдания, слились со звуками органа! Я шла по отвратительным тротуарам Гавра, как по дороге цветов. Я взглянула на море и почувствовала, что до сих пор не понимала глухих речей этого старого друга, полного любви ко мне. Я увидела, что розы моего сада уже давно обожают меня и потихоньку шепчут мне «люби»; они встретили меня улыбкой. Я услышала, как цветы прошептали ваше имя — Мельхиор, я прочла его начертанным на облаках. Да, я чувствую, что живу благодаря тебе, поэт, более прекрасный, чем этот холодный, натянутый лорд Байрон, лицо которого неприветливо, как и английский климат. Навеки связанная с тобой одним взглядом твоих прекрасных глаз, я почувствовала, как, проникнув сквозь черную вуаль, он обжег меня с головы до ног, и кровь волной прилила к моему сердцу. Да, мы начинаем жить не в миг нашего рождения. Удар, поразивший тебя, в ту же минуту настиг бы и меня, и я живу лишь мыслью о тебе. Я поняла назначение божественной гармонии музыки: ее открыли ангелы, чтобы выражать любовь. Быть в одно и то же время гениальным и прекрасным — это уже слишком, мой Мельхиор! При рождении человек должен был бы выбирать то или другое. Но когда я вспоминаю о сокровищах любви и нежности, которые принесли мне ваши письма, особенно за последний месяц, мне кажется, я грежу. Нет, вы скрываете от меня какую-то тайну. Какая женщина может уступить вас и не умереть? Да, ревность проникла в мое сердце вместе с любовью, в которую я не верила. Думала ли я, что существует такой пожар? Но что за новая и непонятная причуда! Мне хочется теперь, чтобы ты был безобразен! Какое-то безумие охватило меня по возвращении домой. Все желтые георгины напоминали мне ваш прелестный жилет, белые розы были моими друзьями, и я приветствовала их взглядом, который всецело принадлежал вам, как и я сама. Все, вплоть до

цвета перчаток, плотно облегавших тонкие пальцы аристократа, и до звука его шагов по каменным плитам, все это встает в моей памяти с такой ясностью, что, кажется, и через шестьдесят лет я представлю себе мельчайшие подробности этого празднества: непередаваемый тон воздуха, отблеск солнца на колонне; услышу молитву, которую вы прервали, запах ладана, исходящий от алтаря, и мне вновь почудится, будто священник, давая последнее благословение, простирает руки над нашими головами, благословляя нас в ту минуту, когда ты проходил мимо меня. Этот славный аббат Марселен уже обвенчал нас. Неземное наслаждение, доставляемое мне этим миром новых, неизведанных ощущений, можно сравнить только с радостью, которую я испытываю, беседуя сейчас с вами, изливая все свое счастье тому, кто является его источником, щедрым, как солнце. Не надо больше тайн, мой возлюбленный! О, придите скорее. Я с радостью снимаю маску. Вы, без сомнения, слышали о банкирском доме Миньона в Гавре? Так вот, вследствие невозвратимой утраты в нашей семье я стала его единственной наследницей. Не пренебрегайте нами, потомками храброго овернского рыцаря. Герб Миньонов де Лабасти не обесславит герба Каналисов. *Щит нашего герба четверочастный, пурпурный, в каждом поле его золотой патриарший крест; герб опоясан червленой перевязью с четырьмя золотыми безантами и увенчан кардинальской шапкой. Вместо щитодержателей — свешивающиеся по бокам кисти.* Дорогой, я буду верна нашему девизу: Una fides, unus Dominus — единая вера и единый повелитель.

Быть может, милый друг, мое имя покажется вам насмешкой после всего, что я сделала и в чем признаюсь на этих страницах. Но меня зовут Модестой [1]. Следовательно, я не обманывала вас, подписываясь О. д'Ест-М. Я не вводила вас также в заблуждение, говоря о моем состоянии; оно достигает, я думаю, той суммы, которая привела вас к столь добродетельным решениям. Я говорю об этом без всякой задней мысли, так как вполне уверена, что деньги не имеют для вас

---

[1] Скромная *(франц.)*.

никакого значения. Однако позвольте мне высказать вам всю радость, которая охватывает меня при мысли, что я могу дать нашему счастью внешнюю свободу, доставляемую богатством, сказать вам: «Едем!» — если нам придет фантазия повидать новые края и мчаться рядом в удобном экипаже, без малейшей заботы о деньгах. Как я рада, наконец, что могу предоставить вам право сказать королю: «Я владею тем богатством, которое вы желаете видеть у ваших пэров». Итак, Модеста Миньон будет вам хоть чем-нибудь полезной, а ее золото получит самое благородное применение. Что касается вашей покорной слуги, то вы уже видели ее однажды в утреннем наряде, у окна... Да, белокурая дочь белокурой праматери Евы и есть ваша незнакомка. Но как мало походит сегодняшняя Модеста на прежнюю Модесту: та была одета в саван, а нынешняя (я, кажется, уже писала вам об этом) получила от вас в дар живой источник жизни. Любовь, дозволенная и чистая, любовь, которую благословит отец, вернувшийся из путешествия (и вернувшийся богатым), подняла меня из могилы, где я покоилась, и я восстала из нее сильной и в то же время невинной, как дитя. Вы пробудили меня, как солнце пробуждает цветы. Взгляд вашей любимой уже не похож на взгляд прежней и столь смелой Модесты. О нет! он стыдлив, он предвидит счастье и целомудренно прячется под ресницами. Я боюсь теперь быть недостойной своей судьбы! Король явился во всей своей славе, и отныне у моего повелителя есть преданная ему раба, которая просит у него прощения за свою слишком большую смелость, как просил прощения у кавалера де Граммона игрок, обманным путем обыгравший его в домино. Да, дорогой поэт, я буду твоей Миньоной, но Миньоной более счастливой, чем героиня Гете, не правда ли? Ты не лишишь меня родины? Ведь она в твоем сердце. В этот миг, когда я, твоя невеста, писала эти слова, соловей в парке Вилькена ответил мне вместо тебя. О, скажи же мне скорее, что соловей не обманул меня, выводя свою отчетливую, чистую, высокую трель, наполнившую, как благая весть, мое сердце любовью и радостью.

Мой отец будет завтра в Париже проездом из Мар-

селя. Его адрес известен банкирскому дому Монжено, который связан с ним деловыми отношениями. Сходите к нему, мой возлюбленный Мельхиор, скажите ему о своей любви ко мне, но не вздумайте говорить о том, как сильно я вас люблю: пусть это навсегда останется тайной между нами и богом. Я же, мой дорогой и любимый, все открою матери. Достойная дочь Валленрод-Тушталь-Бартенштильдов поймет меня и поцелуем выразит свое согласие. Она будет так счастлива, когда узнает о нашей романтичной и тайной поэме, земной и божественной в одно и то же время. Вы уже выслушали признание дочери, постарайтесь получить согласие графа де Лабасти, отца вашей

Модесты.

P. S. Главное, не приезжайте в Гавр без согласия моего отца. Если вы меня любите, то сумеете разыскать его, когда он будет проездом в Париже».

— Что это вы делаете в такой поздний час, мадемуазель Модеста?— спросил Дюме.

— Я пишу отцу,— ответила она,— ведь вы уезжаете завтра?

Не зная, что ответить, Дюме ушел к себе, а Модеста стала писать длинное письмо отцу.

На следующий день Франсуаза Коше, испуганная гаврским штемпелем на конверте письма, лично принесла его своей молодой хозяйке в Шале и взяла то, которое написала Модеста.

«Г-же О. д'Ест-М.

Сердце подсказало мне, что вы — та самая переодетая и скрытая под вуалью женщина, которая занимала место между г-ном и г-жой Латурнель, имеющими только сына. О моя любимая, если вы живете скромно, без блеска, без славы и даже в бедности, вы не представляете себе, как велика будет моя радость при этом известии. Теперь, когда вы меня знаете, почему вам не сказать мне всей правды? Что касается

меня, то я поэт только по своему сердцу, по своей любви, поэт благодаря вам. О, как велика должна быть моя привязанность, чтобы оставаться здесь, в отеле «Нормандия», и не показаться в Ингувиле, который я вижу из своих окон. Полюбите ли вы меня так сильно, как я уже люблю вас? Уехать из Гавра в Париж в такой неуверенности — не значит ли это быть наказанным за свою слишком глубокую любовь, как за преступление? Я повинуюсь слепо. О, лишь бы скорей получить ваше письмо! Ведь если вы окутали себя тайной, то я отплатил вам тем же и должен, наконец, сбросить маску своего инкогнито, открыть вам лицо того поэта, каким я являюсь, и отказаться от славы, мне не принадлежащей».

Это письмо сильно встревожило Модесту, но вернуть свое признание она уже не могла, так как Франсуаза отнесла его на почту, в то время когда она перечитывала эти последние строки, пытаясь понять их тайный смысл. Модеста поднялась к себе в комнату и написала ответ, требуя объяснений.

Между тем в Гавре происходили разные мелкие события, которые, однако, вскоре заставили Модесту позабыть о ее тревогах. Спустившись рано утром в город, Дюме без труда узнал, что ни один архитектор не приезжал третьего дня в Гавр. Взбешенный ложью Бутши и желая узнать причины этого сговора, бретонец бросился из мэрии прямо к Латурнелям.

— Где же ваш Бутша? — спросил он у своего друга нотариуса, не видя клерка в конторе.

— Бутша, мой дорогой, находится на пути в Париж, куда он катит на всех парах. Сегодня рано утром он встретил в порту моряка, который сказал ему, что его отец, шведский матрос, разбогател. Говорят, будто он был в Индии, служил там у одного магараджи, а теперь он в Париже...

— Все это сказки, ложь, басни! О, я разыщу этого проклятого горбуна, я нарочно поеду для этого в Париж! — воскликнул Дюме.— Бутша обманывает нас! Он знает что-то относительно Модесты и ничего

нам не говорит. О, если он заодно с ней!.. Ему никогда не быть нотариусом, я втопчу его в грязь, из которой он вышел, возьму и...

— Полно, мой друг, остерегайтесь вешать преступника до суда,— возразил Латурнель, испуганный крайним раздражением Дюме.

Объяснив друзьям, на чем он основывает свои подозрения, Дюме попросил г-жу Латурнель побыть с Модестой в Шале во время его отсутствия.

— Вы встретите полковника в Париже,— сказал нотариус.— Вот что я прочел сегодня утром в коммерческой газете в отделе навигации, вот здесь, под рубрикой «Марсель»,— продолжал он, протягивая газету Дюме: — «Беттина Миньон» (капитан Миньон) бросила якорь шестого октября». У нас сегодня семнадцатое, весь Гавр знает уже о приезде вашего хозяина.

Дюме попросил Гобенхейма отпустить его, тотчас же отправился в Ингувиль и вошел в Шале в ту минуту, когда Модеста запечатывала письма отцу и Каналису. За исключением адреса, оба письма ничем не отличались друг от друга — ни размером, ни конвертом. Модесте показалось, будто письмо к отцу лежало поверх письма к ее Мельхиору, на самом же деле она положила его под низ. Эта ошибка, так часто повторяющаяся в повседневной жизни, открыла ее тайну матери и Дюме. В то время лейтенант как раз оживленно разговаривал с г-жой Миньон в гостиной, поверяя ей свои опасения, вызванные двуличием Модесты и ее сообщника Бутши.

— Верьте, сударыня,— воскликнул он,— мы пригрели змею у себя на груди. Разве может быть душа у этого недоноска!

Модеста положила в карман фартучка письмо, адресованное отцу, думая, что это письмо к возлюбленному, и, спускаясь из своей комнаты с письмом к Каналису в руках, услышала, как Дюме сообщает о своем немедленном отъезде в Париж.

— Что вы имеете против моего Таинственного карлика и почему вы так кричите? — спросила Модеста, появляясь в дверях гостиной.

— Бутша уехал сегодня утром в Париж, и вам, без сомнения, известно, для чего! Разумеется, чтобы про-

должать там интригу с так называемым архитектором в лимонном жилете, который и не думал приезжать в Гавр, на беду вашему вруну карлику.

Модеста была потрясена; она догадалась, что Бутша уехал, чтобы собрать сведения о жизни Каналиса. Она побледнела и опустилась на стул.

— Я догоню Бутшу, я его отыщу! — воскликнул Дюме.— Это, очевидно, письмо вашему батюшке,— проговорил он, протягивая руку.— Я перешлю его Монжено. Лишь бы нам с полковником не разминуться!

Модеста отдала письмо. Дюме, свободно читавший без очков, машинально взглянул на адрес:

— Барону де Каналису, улица Паради-Пуассоньер, дом номер двадцать девять. Что это значит?..— воскликнул Дюме.

— Ах, дочь моя, вот кого ты любишь!— воскликнула г-жа Миньон.— Стансы, что ты положила на музыку, написаны им...

— И это его портрет висит у вас наверху, в рамке? — спросил Дюме.

— Верните мне письмо, господин Дюме,— проговорила Модеста, похожая в эту минуту на львицу, защищающую своих детенышей.

— Вот оно, мадемуазель,— ответил лейтенант.

Модеста спрятала письмо за корсаж и протянула Дюме другое, которое было адресовано отцу.

— Я знаю, Дюме, вы способны на все,— сказала она,— но если вы вздумаете сделать хоть один шаг, чтобы увидеть господина Каналиса, я тотчас же уйду из дому и никогда больше не вернусь.

— Вы убьете вашу мать, мадемуазель,— ответил Дюме и вышел из комнаты, чтобы позвать жену.

Несчастная мать упала без чувств, пораженная в самое сердце роковыми словами Модесты.

— Прощай, жена,— сказал бретонец, целуя жену,— спасай мать, я же поеду спасать дочь.

Он оставил Модесту и свою супругу подле г-жи Миньон, в несколько минут собрался в дорогу и направился в Гавр. Час спустя он уже сидел в почтовой карете, и лошади мчались с такой быстротой, как будто их погоняла любовь или алчность седока.

Быстро приведенная в чувство стараниями Моде-

сты, г-жа Миньон поднялась с помощью дочери к себе в комнату и, не сделав ей ни единого упрека, сказала:

— Несчастное дитя, что ты натворила? Зачем было таиться от меня, разве я так строга?

— Я все хотела сказать вам сама,— ответила девушка плача.

И она открыла свою тайну матери, прочтя этой доброй немке письма и ответы на них. Она перелистала для нее свою поэму страница за страницей, употребив на это целых полдня. Когда признание было окончено, Модеста заметила, что губы слепой складываются в добрую улыбку, и бросилась на шею матери, вся в слезах.

— О маменька,— воскликнула она среди рыданий,— ваше золотое, полное поэзии сердце подобно сосуду, избранному богом, чтобы вместить чистую, единую, неземную любовь — цель всей нашей жизни; вы, отдавшая всю свою любовь мужу, образец для меня; вы должны понять, как горьки мои слезы, которые обжигают вам руки. Эта бабочка с яркими крылышками, эта прекрасная любовь двух душ, которую ваша Модеста лелеяла с материнской заботой, моя любовь, моя святая любовь, эта одухотворенная, живая тайна попадет в чужие грубые руки, они сомнут ей крылья, разорвут покрывало под ничтожным предлогом открыть мне глаза, узнать, аккуратен ли гений в той же мере, что и банкир, узнать, способен ли мой Мельхиор копить деньги, нет ли у него какой-нибудь любовной интриги, которую надо распутать, не опозорен ли он в глазах каких-нибудь буржуа увлечением молодости, хотя оно так же неспособно омрачить нашу любовь, как мимолетное облачко не может закрыть солнца. Что они предпримут? Вот моя рука, чувствуешь, как я дрожу? Они будут причиной моей смерти.

Модеста почувствовала себя так плохо, что ей пришлось лечь в постель. Мать, г-жа Латурнель и г-жа Дюме, сильно обеспокоенные, ухаживали за ней, пока лейтенант ездил в Париж, куда по логике событий следует на время перенести и наше повествование.

Люди подлинно скромные, вроде Эрнеста де Лабриера, а в особенности те из них, которые, зная себе цену, все же не встречают в других ни любви, ни сочувствия, поймут, какое безграничное наслаждение испытал он, прочтя письмо Модесты. Молодая, наивная и лукавая возлюбленная признала сначала его ум и возвышенную душу, а теперь находила, что он еще и красив. А эта лесть — высшая форма лести. Почему? Да потому, что красота не что иное, как подпись мастера под произведением, в которое он вдохнул свою душу; в ней проявляет себя божество. Наградить красотой того, кто не обладает ею, создать ее могуществом своего восхищенного взора,—не есть ли это первый знак любви? Вот почему бедный Эрнест с восторгом поэта, услышавшего гул одобрения, воскликнул: «Наконец-то я любим!» Стоит женщине, куртизанка она или юная девушка, сказать: «Ты красив»,— пусть даже это будет ложь,— и мужчина позволит этому тонкому яду проникнуть под свою грубую черепную коробку, он окажется связанным вечными узами с прелестной обманщицей, с этой искренней или заблуждающейся женщиной. Она становится его миром, он жаждет вновь услышать эти слова, и, будь он даже принцем, он никогда не пресытится подобной лестью. Гордо расхаживая по комнате, Эрнест встал перед зеркалом, повернулся в профиль, затем в три четверти. Он пытался критически отнестись к своей внешности, но дьявольски убедительный голос нашептывал ему: «Модеста права!» Он вновь взял письмо, перечитал его и, представив себе свою неземную блондинку, весь отдался грезам о ней. И вдруг среди упоительных мечтаний его поразила страшная мысль: «Она принимает меня за Каналиса, и у нее миллионное приданое». Все счастье его рухнуло, он упал с поднебесных высот на землю, как лунатик, который, взобравшись на крышу, вдруг слышит резкий голос, и, внезапно пробудившись, делает неосторожный шаг, и разбивается о мостовую.

— Без ореола славы я покажусь ей безобразным! — воскликнул он.— В какое ужасное положение я себя поставил!

Лабриер был действительно тем человеком, каким рисуют нам его письма: в них он раскрыл свое благородное и чистое сердце и не мог не последовать голосу чести. Он решил тотчас же пойти и во всем признаться отцу Модесты, если тот окажется в Париже, а также рассказать Каналису о нежданной серьезной развязке их чисто парижской шутки. Щепетильного юношу испугало огромное состояние Модесты. Он больше всего опасался, как бы эта увлекательная переписка, столь искренняя с его стороны, не показалась мошенничеством, имевшим целью завладеть богатым приданым. Слезы навертывались у него на глаза, пока он шел из своего дома на улице Шантерен к банкиру Монжено, который отчасти был обязан своим состоянием и связями министру — покровителю Лабриера.

В то время как Эрнест советовался с главой банкирского дома Монжено и брал все справки, необходимые в его странном положении, у Каналиса разыгралась сцена, которую позволял предвидеть поспешный отъезд лейтенанта.

Кровь бретонца кипела; как истый солдат времен Империи, он считал каждого поэта никчемным шалопаем, балагуром, распевающим веселые куплеты, ютящимся на мансарде бедняком, одетым в черный изношенный костюм с побелевшими швами; сапоги у него, разумеется, без подметок, о белье вообще лучше не говорить, пальцам чернила знакомы больше, чем мыло и вода, а в те минуты, когда он не марает бумаги, как Бутша, выражение лица у него такое, словно он с луны свалился. Но Дюме как будто окатили холодной водой, возбуждение его мыслей и чувств сразу улеглось, когда он вошел во двор прекрасного особняка, где жил поэт, увидел кучера, мывшего карету, а затем столкнулся в великолепной столовой с одетым, как банкир, лакеем, к которому направил его грум, и тот ответил, глядя на посетителя сверху вниз, что барон не принимает.

— Сегодня у барона,—сказал лакей в заключение,— заседание в государственном совете.

— Действительно ли я попал в дом господина Каналиса, стихотворца?

— Барон де Каналис,— ответил камердинер,— тот самый великий поэт, о котором вы говорите, но, кроме того, он занимает пост советника при государственном совете и прикомандирован к министерству иностранных дел.

Дюме, явившийся с намерением дать пощечину «рифмоплету», как он презрительно выражался, неожиданно попал к высокопоставленному лицу. Лакей провел гостя в роскошную гостиную; золотой крест, блестевший на черном фраке Каналиса, который камердинер забыл на стуле, дал Дюме обильную пищу для размышлений. Вскоре его взгляд был привлечен блеском и формой золоченого кубка, на котором его поразили слова: *Подарок ее высочества,* а рядом, на консоли, он увидел вазу из севрского фарфора с надписью: *Подарок супруги дофина.* Эти немые предостережения пробудили здравый смысл Дюме, в то время как камердинер пошел спросить у своего господина, желает ли он принять неизвестного посетителя по фамилии Дюме, приехавшего к нему из Гавра.

— Кто он такой?— спросил Каналис.

— Одет прилично и при ордене.

По знаку своего господина слуга вышел, затем, распахнув дверь, доложил:

— Господин Дюме.

Когда Дюме услышал, что о нем докладывают, когда он, ступая по ковру, более роскошному, чем лучший ковер в доме Миньонов, вошел в кабинет, обставленный изящно и богато, очутился перед Каналисом и встретился глазами с холодно-официальным взглядом поэта, который играл кистями пояса своего великолепного халата, бретонец так оторопел, что не мог сказать ни слова, и великий человек первый обратился к нему:

— Чему я обязан честью, сударь?..

— Сударь...— пробормотал Дюме, стоя столбом посреди кабинета.

— Если ваше дело займет много времени,— заметил Каналис, прерывая его,— я попрошу вас присесть.

И Каналис погрузился в вольтеровское кресло, по-

ложил ногу на ногу и, подняв одну ногу чуть не к самому носу, стал небрежно покачивать ею, разглядывая Дюме, который, выражаясь его солдатским языком, совсем «ошалел».

— Говорите, сударь, время мне дорого: меня ожидает министр.

— Я буду краток, сударь,— заговорил наконец Дюме.— Вы соблазнили, не знаю уж каким образом, молодую, красивую и богатую девушку в Гавре, последнюю и единственную надежду двух благородных семейств, и я пришел вас спросить о ваших намерениях.

Каналис, который за последние три месяца был занят важными делами, мечтал стать командором ордена Почетного легиона и послом при одном немецком дворе, совершенно забыл о письме из Гавра.

— Я?! — воскликнул он.

— Вы! — подтвердил Дюме.

— Сударь,— ответил Каналис, улыбаясь,— я столь же мало вас понимаю, как если бы вы говорили со мной по-древнееврейски. Я соблазнил девушку? Я, который...— и горделивая улыбка появилась у него на губах.— Полноте, сударь, я уже не ребенок, зачем мне срывать украдкой дикое яблочко, когда в моем распоряжении прекрасные фруктовые сады, где зреют лучшие в мире персики. Всему Парижу известно, кому отдана моя любовь. Если же в Гавре какая-то молодая девушка восхищена моими стихами, чего я совершенно недостоин, то это меня нисколько не удивляет, сударь: нет ничего обычнее этого. Взгляните вот на этот красивый ларец черного дерева с перламутровыми инкрустациями, окованный железными полосками, похожими на кружево... Этот ларец принадлежал папе Льву X и подарен мне герцогиней де Шолье, которая получила его от испанского короля. Я храню в нем письма, адресованные мне из всех уголков Европы неизвестными мне женщинами и девушками. Я с глубочайшим уважением отношусь к этим цветам души, посланным мне в минуту неподдельного восторга, поистине прекрасного. Для меня в таких сердечных порывах есть нечто благородное, возвышенное. Однако есть немало насмешников, которые небрежно свер-

тывают такие письма, чтобы раскурить сигару, или же отдают их женам на папильотки. Что касается меня, сударь, я не женат, к тому же во мне слишком много душевной чуткости, я храню в своего рода святилище эту наивную и бескорыстную дань восторга. Я берегу их с чувством известного преклонения и, умирая, прикажу сжечь эти письма у себя на глазах. Могу лишь пожалеть того, кто сочтет меня смешным. Поймите, я умею быть благодарным,— ведь такие милые знаки внимания помогают мне переносить критику, неприятности, неизбежные в жизни писателя. Получив удар в спину от врага, окопавшегося в газете, я смотрю на этот ларец и говорю себе: «Есть в мире души, чьи страдания я успокоил, чьи раны исцелил».

Эта тирада, произнесенная с талантом настоящего актера, как громом поразила кассира, глаза у него округлились от изумления, что позабавило знаменитого поэта.

— Из уважения к вам,— продолжал этот павлин, еще пышнее распуская свой хвост,— и из уважения к тем чувствам, которые я умею ценить, предлагаю вам открыть сокровищницу и поискать, нет ли там излияний души интересующей вас девицы. Но, право же, я знаю счет письмам и хорошо запоминаю имена, вы заблуждаетесь.

— Так вот какая судьба ждала в парижской пучине бедную девочку! — воскликнул Дюме.— Единственное утешение родителей, отраду и надежду друзей, гордость семьи, всеми любимую девушку, ради которой шесть преданных людей готовы отдать жизнь и состояние, лишь бы уберечь ее от несчастья...—И, помолчав, Дюме продолжал: — Выслушайте меня, сударь. Вы великий поэт, я же простой солдат. Пятнадцать лет я служил в армии в самых скромных чинах, был во многих сражениях, не раз ядра пролетали над моей головой, я был свидетелем гибели сотен товарищей... Я был в плену. Я много перенес в жизни. И все же никогда я не содрогался так, как сейчас,— от ваших слов.

Дюме думал, что смутил поэта, но только польстил ему своим волнением, более редкостным для этого из-

балованного честолюбца, чем привычный ему поток похвал.

— Послушай, дружище! — торжественно проговорил поэт, положив руку на плечо Дюме и забавляясь тем, что при его прикосновении солдат наполеоновской гвардии задрожал.—Эта девушка — для вас все, но что она такое для общества? Ничто! Полезнейший Китаю мандарин только что протянул ноги и погрузил в траур всю империю, а разве вас это огорчает? Англичане убивают в Индии тысячи людей, таких же, как мы с вами, и, может быть, там сжигают в эту самую минуту очаровательнейшую из женщин, но, тем не менее, вы с удовольствием выпили сегодня чашку кофе. В Париже множество матерей производят на свет детей, лежа на соломе, им не во что завернуть своего младенца. А вот передо мною ароматный чай, налитый в чашку, стоящую пять луидоров, а сам я пишу стихи, чтобы парижанки могли сказать: «Прелестно, прелестно! Божественно, восхитительно! Слова его проникают в самую душу!» Социальная природа, как и вся природа вообще, чрезвычайно забывчива. Через десять лет вы сами удивитесь своему поступку. Вы сейчас в Париже, в городе, где люди умирают, женятся, обожают друг друга в краткие минуты свидания; где брошенная девушка кончает с собой, открыв жаровню с тлеющими углями; где гениальный человек идет ко дну вместе с грузом проблем, призванных облагодетельствовать человечество,—и все это происходит рядом, зачастую под одной и той же кровлей, но люди при этом даже не ведают друг о друге. А вы являетесь к нам с требованием, чтобы мы падали в обморок из-за такого незначительного вопроса: быть или не быть какой-то девице из Гавра? О, да вы...

— И вы еще называете себя поэтом! — воскликнул Дюме.— Вы, значит, совсем не чувствуете того, о чем пишете!

— Если бы мы действительно переживали все те страдания и радости, которые воспеваем, мы износились бы в несколько месяцев, как старые сапоги,— улыбаясь, сказал поэт.— Но, постойте, вы приехали из Гавра в Париж и пришли к Каналису, и он не до-

пустит, чтоб вы вернулись ни с чем. Солдат! (Каналис выпрямился и сделал жест, достойный гомеровского героя.) Поэт откроет вам глаза: всякое большое чувство — это поэма столь личная, что даже лучший друг не должен касаться ее. Это сокровище, принадлежащее только вам, это...

— Извините, что я перебиваю вас,— сказал Дюме, с ужасом глядя на Каналиса,— но скажите, вы бывали в Гавре?

— Я провел там сутки весной 1824 года, проездом в Лондон.

— Вы человек благородный,— продолжал Дюме,— можете ли вы дать мне слово, что вам незнакома Модеста Миньон?

— Это имя впервые поражает мой слух,— ответил Каналис.

— Ах, сударь,— воскликнул Дюме,— в какую грязную интригу меня запутали! Могу ли я рассчитывать, что вы поможете мне в розысках? Я убежден, что кто-то злоупотребил вашим именем. Вчера вы должны были получить письмо из Гавра...

— Я ничего не получал. Могу вас уверить, сударь, я сделаю все от меня зависящее, чтобы быть вам полезным...

Дюме ушел, охваченный беспокойством; он полагал, что уродец Бутша решил увлечь Модесту под видом знаменитого поэта, тогда как на самом деле несчастный Бутша с ловкостью шпиона, с хитростью и проницательностью принца, готовящегося к мести, вникал в жизнь и поступки Каналиса, ускользая от всех взоров благодаря своей незначительности, словно насекомое, которое прокладывает себе путь под древесной корой.

Едва бретонец удалился, как в кабинет поэта вошел Лабриер. Разумеется, Каналис заговорил со своим другом о визите приезжего из Гавра.

— Модеста Миньон? — воскликнул Эрнест.— Я как раз пришел к тебе по поводу этой истории.

— Вот как! — воскликнул Каналис.— Неужели я одержал победу через посредника?

— Да. Вот в чем суть драмы, мой друг: меня любит

прелестнейшая девушка, с которой не сравниться самым блестящим парижским красавицам, девушка, сердцем и начитанностью похожая на Клариссу Гарлоу. Она меня видела, я ей нравлюсь, и она считает меня великим Каналисом. Но это еще не все. Модеста Миньон знатного происхождения, и Монжено только что мне сообщил, что состояние ее отца, графа де Лабасти, достигает шести миллионов. Отец приехал три дня тому назад, и я только что обратился к нему, через посредство Монжено, с просьбой назначить мне свидание в два часа. Банкир послал ему об этом записку и намекнул, что дело идет о счастье его дочери. Но ты ведь понимаешь,— прежде, чем идти к отцу, я должен во всем признаться тебе.

— Что же это такое! Среди цветов, раскрывающихся под солнцем славы,— напыщенно произнес Каналис,— встретился благоуханный цветок растения, которое, подобно апельсиновому дереву, приносит золотые плоды и испускает тончайший аромат! Но все его дары — эта непритворная нежность, сочетание ума и красоты и подлинное счастье — ускользают от меня!..— Тут Каналис взглянул на ковер, чтобы скрыть выражение своих глаз.— Можно ли было подумать,— продолжал он, выдержав паузу, в течение которой к нему вернулось самообладание,— что за этими надушенными изящными листочками, за этими словами, которые пьянят, как вино, скрывается искреннее сердце, скрывается одна из тех девушек или молодых женщин, у которых любовь одета покрывалом лести, которые любят нас ради нас самих и способны дать нам блаженство? Нет, чтобы угадать это, нужно быть ангелом или демоном, я же только честолюбивый чиновник. Ах, мой друг, слава превращает нас в мишень тысячи стрел. Я знаю поэта, обязанного выгодным браком расплывчатому произведению своей музы. Я же — человек, который умеет лучше любить, лучше лелеять женщин, чем он,— и вдруг упустил такой случай... Но любишь ли ты ее, эту несчастную девушку? — сказал он, вперив взгляд в своего друга.

— О,— вырвалось у Лабриера.

— Ну, так будь счастлив, Эрнест,— сказал поэт, беря его под руку.— Судьбе было угодно, чтобы я не оказался неблагодарным по отношению к тебе. Ты

теперь будешь щедро вознагражден за свою преданность: я стану великодушно содействовать твоему счастью.

Каналис злился, но ему ничего больше не оставалось, как обратить свою незадачу в пьедестал для себя. Слезы показались на глазах молодого докладчика, он бросился на шею Каналису и расцеловал его.

— Ах, Каналис, я не знал тебя до сих пор.

— Это вполне естественно. Чтобы объехать вокруг света, надо потратить немало времени,— ответил поэт с обычным своим ироническим высокомерием.

— Но подумал ли ты об этом огромном состоянии? — сказал Лабриер.

— А разве оно попадет в плохие руки, мой друг? — отозвался Каналис, подкрепив величественным жестом эти дружеские излияния.

— Мельхиор,— сказал Лабриер,— я твой друг на жизнь и на смерть!

Он пожал обе руки поэта и быстро вышел: ему не терпелось встретиться с г-ном Миньоном.

Между тем граф де Лабасти был совершенно удручен подстерегавшими его несчастьями. Из письма дочери он узнал о смерти Беттины-Каролины и о слепоте, поразившей его жену, а Дюме только что рассказал ему о запутанной любовной интриге Модесты.

— Оставь меня одного,— сказал он своему верному другу.

Когда Дюме закрыл за собой дверь, несчастный отец бросился на диван и долго лежал, закрыв лицо руками и плача теми скупыми старческими слезами, которые не текут из глаз человека, но лишь увлажняют веки, быстро высыхают и снова навертываются,— такие слезы похожи на последнюю росу человеческой осени.

— Иметь любимых детей и обожаемую жену — это значит иметь несколько сердец и подставить их все под удары кинжала! — воскликнул он, вскочив как тигр и бегая взад и вперед по комнате.— Быть отцом — значит с головою выдать себя несчастью. Если я встречу этого д'Этурни, я убью его! Ах, дочери мои, дочери! Одна остановила свой выбор на мошеннике, а другая, моя Модеста, отдала сердце подлецу, который злоупотребляет ее доверием, прикрываясь бумажными доспехами поэта.

Будь еще это Каналис, куда бы ни шло. Но этот влюбленный Скапен!

«Я задушу его собственными руками,— подумал он, еле сдерживая порыв необузданной ярости.— Ну, а потом? — спросил он самого себя.— Что, если моя дочь умрет от горя?»

Он машинально взглянул в окно «Королевской гостиницы», вновь опустился на диван и замер в неподвижности. Усталость, вызванная шестью поездками в Индию, заботы, связанные с торговыми делами, борьба с опасностями, страдания — все это посеребрило волосы Шарля Миньона. Его красивое суровое лицо с правильными чертами, загоревшее под солнцем Малайи, Китая и Малой Азии, приобрело внушительное выражение, а горе в ту минуту придавало ему даже величие.

«И Монжено еще пишет мне, чтобы я отнесся с доверием к молодому человеку, который придет говорить со мной о моей дочери...»

Один из лакеев, выбранных графом де Лабасти из числа подчиненных, служивших ему в течение последних четырех лет, доложил о приходе Эрнеста де Лабриера.

— Вы пришли, сударь, от имени моего друга Монжено? — спросил г-н Миньон.

— Да,— ответил Эрнест, робко всматриваясь в лицо полковника, мрачное, как лицо Отелло.— Меня зовут Эрнест де Лабриер, я состою в дальнем родстве с семьей последнего премьер-министра и был его личным секретарем, пока он находился у власти. После падения министерства его превосходительство устроил меня в счетную палату, где я занимаю должность докладчика первого ранга и могу стать со временем советником...

— Какое отношение все это может иметь к мадемуазель де Лабасти? — спросил Шарль Миньон.

— Сударь, я люблю ее и имею величайшее счастье быть любимым ею. Выслушайте меня, сударь,— продолжал Эрнест в ответ на гневный жест раздраженного отца,— я должен вам сделать признание самое странное и вместе с тем самое постыдное для честного человека. Но худшее наказание моего поступка, быть может и естественного, не в том, что я должен рассказать вам о нем. Я еще сильнее боюсь вашей дочери, чем вас...

Эрнест рассказал с простодушием и благородством, свойственным искренности, о прологе к этой маленькой домашней драме, не умолчав ни о двадцати с лишним письмах Модесты, которые он захватил с собой, ни о недавнем свидании с Каналисом. Когда отец закончил чтение этих писем, несчастный влюбленный, бледный и жалкий, задрожал под сверкающим взглядом провансальца.

— Сударь,— сказал Шарль,— во всем этом кроется одна ошибка, но она имеет существеннейшее значение. У моей дочери нет шести миллионов, у нее самое большее двести тысяч приданого и весьма сомнительные надежды на будущее.

Эрнест вскочил и, бросившись к Шарлю Миньону, обнял его.

— Ах, сударь,— воскликнул он,— вы сняли с моей души огромную тяжесть! В таком случае, быть может, ничто не воспрепятствует моему счастью!.. У меня есть покровители, я буду начальником отдела. Если за мадемуазель Модестой окажется всего десять тысяч франков, если даже мне придется только расписаться в получении приданого,— все равно она будет моей женой; мое заветное желание сделать ее такой же счастливой, как была счастлива в браке с вами ее мать, быть для вас настоящим сыном — я, сударь, потерял своего отца...

Шарль Миньон отступил на три шага, остановил на Лабриере взгляд, пронизавший молодого человека, словно удар кинжала, и не произнес ни слова, ибо прочел на просиявшем лице Эрнеста, в его восторженных глазах глубочайшую искренность.

— Неужели судьбе наконец надоело преследовать меня,— пробормотал он,— и я найду в этом юноше не зятя, а само совершенство.

И он стал взволнованно ходить по комнате.

— Вы обязаны, сударь,— проговорил наконец Шарль Миньон,— беспрекословно подчиниться приговору, за которым пришли ко мне, в противном случае вы просто разыгрываете комедию.

— Я, сударь...

— Выслушайте меня,— сказал отец Модесты и поглядел на Лабриера таким взглядом, что юноша застыл

на месте.— Я не буду ни строг, ни жесток, ни несправедлив. Вам придется испытать все неудобства и преимущества того ложного положения, в которое вы сами себя поставили. Моя дочь думает, что полюбила одного из крупнейших поэтов нашего времени, слава которого прельстила ее. Так вот, разве не обязан я, ее отец, дать ей возможность выбрать между знаменитым поэтом, казавшимся ей светочем, и посредственностью, посланной ей случаем, этим величайшим шутником. Не должна ли она сама высказаться за Каналиса или за вас? Я полагаюсь на вашу честь: храните молчание относительно того, что я вам сказал о положении моих дел. Вы приедете со своим другом, бароном де Каналисом, в Гавр и проведете там вторую половину октября. Мой дом будет открыт для вас обоих, и у моей дочери окажется достаточно времени, чтобы как следует познакомиться с вами. Помните, вам придется лично привезти к нам своего соперника и предоставить ему верить во все сказки, которые он услышит о миллионах графа де Лабасти. Я буду завтра в Гавре. Жду вас через три дня после своего приезда. Прощайте, сударь.

Несчастный Лабриер медленным шагом направился к Каналису. Оставшись наедине с собой, поэт отдался вихрю мыслей, вызванных «вторым душевным побуждением», столь превозносимым князем Талейраном». Первым побуждением является голос природы, вторым же— голос общества.

— Невеста с приданым в шесть миллионов! И мой взгляд не различил блеска этого золота во мраке неизвестности! С таким значительным состоянием я стал бы пэром Франции, графом и послом. Я отвечал мещанкам, дурам и интриганкам, желавшим получить автограф поэта. И эти маскарадные интриги мне надоели как раз в тот день, когда господь послал мне избранную душу, ангела с золотыми крыльями. Но не будем унывать! Я сочиню возвышенно-прекрасную поэму, и случай вновь побалует меня. Повезло же, однако, этому простофиле Лабриеру, который распустил хвост, купаясь в лучах моей славы. Что за плагиат! Я модель, а он будет статуей! Мы разыграли басню про Бертрана и Ратона. Шесть миллионов и ангел в придачу в образе дочери Миньона де Лабасти, ангел аристократический, любящий

поэзию и поэта... А я-то изображал сильную личность, усердно подражал Геркулесу, чтобы подавить своим моральным превосходством это олицетворение физической силы, этого славного солдата с золотым сердцем, друга девушки. Он расскажет ей, что я бездушный человек. Я разыграл роль Наполеона, а должен был явиться в образе серафима. Ну что ж, в конце концов, у меня, возможно, будет друг. Я дорого заплачу за его дружбу, но дружба такое прекрасное чувство! Шесть миллионов— вот стоимость друга. Где приобретешь друга за такую цену?

При этих словах в кабинет вошел Лабриер. Он был грустен.

— В чем дело, что с тобой? — спросил у него Каналис.

— Отец требует, чтобы дочь получила возможность выбора между двумя Каналисами...

— Бедный мальчик! — воскликнул поэт, смеясь.—А он, видимо, неглуп, этот папаша!

— Я дал слово, что привезу тебя в Гавр,— жалобно произнес Лабриер.

— Друг мой,— ответил Каналис,— раз дело идет о твоей чести, можешь положиться на меня. Сейчас же поеду просить о предоставлении мне месячного отпуска...

— Модеста так хороша! — воскликнул Эрнест в отчаянии.— А ты без труда меня затмишь. Я и сам был чрезвычайно удивлен, что счастье улыбнулось мне, и говорил самому себе: это какая-то ошибка!

— Ну, там будет видно! — сказал Каналис с жестокой радостью.

В тот же вечер, после обеда, Шарль Миньон и его кассир, благодаря трехфранковым прогонам, не ехали, а летели из Парижа в Гавр. Отец успокоил Дюме относительно любовной истории Модесты, освободил его от возложенной на него обязанности цербера и рассеял все подозрения, касавшиеся Бутши.

— Все к лучшему, старина,— сказал Шарль; он уже собрал сведения о Каналисе и Лабриере у банкира Монжено.— У нас будет два исполнителя для одной и той же роли! — весело добавил он.

Все же Миньон попросил своего друга хранить в тай-

не комедию, которая должна была разыграться в Шале,— иначе говоря, самое мягкое из наказаний или же уроков, которые когда-либо давал отец своей дочери.

Всю дорогу друзья вели нескончаемые беседы, и Дюме познакомил своего патрона со всеми событиями, происшедшими за четыре года в его семье. Шарль узнал, таким образом, что известный хирург Деплен должен был приехать в конце месяца, чтобы осмотреть графиню и сказать, возможно ли вернуть ей зрение, сняв катаракту.

За несколько минут до того часа, когда в Шале подавался завтрак, громкое пощелкивание бича возницы, рассчитывавшего на щедрые чаевые, возвестило о приезде двух старых солдат. Только счастливое возвращение отца после долгого отсутствия могло сопровождаться таким шумом; вот почему все женщины выбежали к садовой калитке. Как отцы, так и дети, а возможно, отцы лучше детей, поймут пьянящую радость этой встречи, в литературе же, к счастью, не к чему ее описывать, ибо прекраснейшие слова и даже сама поэзия не в силах передать подобных переживаний. А может быть, радостные чувства вообще плохо поддаются изображению. Ни единого слова, способного омрачить счастье семейства Миньон, не было произнесено в тот день. Отец, мать и дочь даже не упоминали о таинственной любви, которая согнала краску с личика Модесты, впервые вставшей после болезни. С чуткостью, свойственной настоящим солдатам, полковник не отходил от жены и, держа ее руку в своей руке, смотрел на Модесту, любуясь ее тонкой, изящной и полной поэзии красотой. Не по этим ли мелочам можно узнать человека с сердцем? Модеста, боясь нарушить радость родителей, радость, к которой примешивалось столько грусти, входила время от времени в комнату, чтобы поцеловать в лоб возвратившегося путешественника, и целовала его много раз подряд, словно хотела приласкать за двоих.

— Я тебя понимаю, дорогая детка,— проговорил полковник, сжимая руку своей дочери в ту минуту, когда она осыпала его ласками.

— Тише,— шепнула на ухо девушка, указывая на мать.

Многозначительное молчание Дюме беспокоило Модесту, опасавшуюся результатов его поездки в Париж. Иногда она украдкой посматривала на лейтенанта, но ничего не могла прочесть на его огрубевшем лице. Полковник же, как разумный отец, хотел сначала разгадать характер своей единственной дочери, а главное, посоветоваться с женой, а уж потом обсудить то дело, от которого зависело счастье всей семьи.

— Встань завтра пораньше, дорогое дитя,— сказал он вечером.— Если будет хорошая погода, мы пойдем с тобой погулять на берег моря. Надо нам побеседовать о ваших поэмах, мадемуазель де Лабасти.

Слова эти были сказаны с отеческой улыбкой, промелькнувшей, словно отражение, и на губах Дюме. Вот все, что удалось узнать Модесте, но и этого было достаточно, чтобы успокоить ее, зато любопытство ее так разгорелось, что она не смыкала глаз до глубокой ночи и строила всевозможные предположения. Утром она была одета и готова в путь раньше полковника.

— Вы все знаете, дорогой папенька,— сказала она ему, как только они вышли на дорогу к морю.

— Все знаю, и даже многое такое, что неизвестно тебе,— ответил он.

Вслед за этими словами отец и дочь прошли несколько шагов в полном молчании.

— Объясни мне, дитя мое, как могла дочь, обожаемая матерью, решиться на столь важный поступок — написать незнакомому человеку, не посоветовавшись с ней?

— Но ведь маменька не позволила бы мне написать.

— И ты считаешь свой поступок благоразумным, дочка? Но если ты, на свое несчастье, все обдумала самостоятельно, то как же твой ум и здравый смысл не подсказали тебе за недостатком стыдливости, что, поступая так, *ты бросаешься на шею мужчине?* Неужели у моей Модесты, у моей единственной дочери, нет гордости, нет чувства достоинства? А, Модеста? Из-за тебя твой отец провел два бесконечно мучительных часа в Париже. Ведь в моральном отношении ты поступила нисколько не лучше Беттины, и тебя даже не оправдывало увлечение,— ты выказала себя кокеткой, но кокеткой холодной, а та-

кого рода кокетство, эта головная любовь,— самый ужасный порок француженок.

— Как, у меня нет гордости? — плача сказала Модеста.— Но ведь он меня даже не видел.

— Он знает твое имя...

— Я открыла ему свое имя лишь после того, как увидела его и образ поэта оправдал трехмесячную переписку, в которой наши души научились понимать друг друга.

— Да, мой дорогой заблудший ангел, вы внесли известную долю разума в безумие, способное разрушить ваше счастье и опозорить семью.

— Но в конце концов, папенька, ведь служит же счастье оправданием моего безрассудства,— проговорила она с досадой.

— Ах, так это всего-навсего безрассудство? — воскликнул отец.

— Да, безрассудство, которое себе позволила некогда и маменька,— горячо возразила Модеста.

— Непокорная девочка, твоя мама, увидев меня однажды на балу, призналась в тот же вечер отцу, без памяти любившему ее, что ей кажется, будто я могу составить ее счастье. А можешь ли ты, Модеста, положа руку на сердце, сказать, что есть что-либо общее между любовью, зародившейся, правда, внезапно, но на глазах отца, и твоим безумием? Писать незнакомому человеку!..

— Незнакомому?! Папенька, ведь я написала одному из наших величайших поэтов, чья жизнь проходит у всех на виду, чей характер и поступки служат пищей злословию, клевете; я писала человеку, окруженному ореолом славы, и я не вышла из своей роли литературной героини, девушки из драмы Шекспира, до тех пор, пока мне не захотелось узнать, соответствует ли внешность этого человека его прекрасной душе.

— Боже мой, бедное дитя! Ты сочиняешь фантастические поэмы о браке. Но ведь если девушек во все времена держали в тесном семейном кругу, если бог и законы общества ставили их судьбу в полную зависимость от согласия родителей, то именно для того, чтобы избавить их от последствий поэзии, которая настолько вас очаровывает и ослепляет, что вы не видите действительности

сквозь дымку иллюзий. Поэзия — одна из услад жизни, но не сама жизнь.

— Папенька, этот вопрос еще не получил окончательного разрешения перед судом фактов, борьба между нашими сердцами и семьями не прекращается.

— Горе детям, если они хотят добиться счастья ценой непослушания родителям,— серьезно сказал полковник.— В тысяча восемьсот тринадцатом году один из моих товарищей, маркиз д'Эглемон, женился на своей двоюродной сестре против воли ее отца, и молодая чета дорого заплатила за упрямство, которое девушка принимала за любовь. Я был свидетелем этого. В таких вопросах решение семьи должно быть бесповоротным.

— Мой жених говорил мне все это,— ответила она.— Он надевал даже на некоторое время личину Оргона, и у него хватило смелости бранить передо мной поэтов.

— Я прочел ваши письма,— сказал Шарль Миньон, не скрывая насмешливой улыбки, встревожившей Модесту,— и должен заметить тебе, что твое последнее письмо едва ли простительно даже соблазненной девушке, какой-нибудь Юлии д'Этанж. Боже мой, какой вред приносят нам романы!..

— Если бы не писали романов, дорогой папенька, мы стали бы переживать их в жизни. Лучше уж читать книги... В наше время меньше любовных приключений, чем в царствование двух Людовиков: Четырнадцатого и Пятнадцатого, когда издавалось гораздо меньше романов. К тому же, если вы читали эти письма, то должны были заметить, что я нашла для вас чудесного зятя, душу самую чистую, честность самую неподкупную, он будет для вас почтительнейшим сыном; и вы не могли не почувствовать, что мы любим друг друга по меньшей мере так же, как некогда любили вы и маменька. Хорошо, я допускаю, что не все здесь произошло согласно правилам этикета. Если хотите, я совершила ошибку...

— Я прочел ваши письма,— повторил отец, перебивая дочь,— и знаю, как оправдал он в твоих глазах поступок, на который могла бы решиться только женщина, уже изведавшая жизнь и охваченная страстью. Но для двадцатилетней девушки это чудовищная ошибка.

— Ошибка в глазах буржуа, чопорных Гобенхеймов,

которые каждый свой шаг вымеряют по линейке. Не будем выходить за пределы мира искусства и поэзии, папенька... У нас, девушек, два пути: либо всевозможными уловками дать понять мужчине, что мы его любим, либо же открыто признаться ему. Разве последний путь не лучше, не благороднее? Нас, французских девушек, родители доставляют жениху по контракту, словно товар, «по истечении трех месяцев», а иногда в конце «текущего месяца», как это было с дочерью Вилькена; но в Англии, в Швейцарии, в Германии вступают в брак приблизительно по моей системе. Что вы скажете на это? Ведь я тоже немного немка?

— Какое ты еще дитя! — воскликнул полковник, вглядываясь в лицо дочери.— Превосходство Франции заключается в ее здравом смысле, в той логике, к которой приучает наш ум прекрасный французский язык. Франция — это мировой разум. Англия и Германия романтичны, когда дело касается этой стороны их быта, но и там знатные семьи подчиняются нашим законам. Вы, стало быть, никогда не захотите понять, что родители хорошо знают жизнь, что они несут ответственность за ваши души, за ваше счастье и помогают вам избежать подводных камней, встречающихся в обществе! Боже мой,— продолжал он,— их это ошибка или наша? Нужно ли держать детей в ежовых рукавицах? Неужели мы должны быть наказаны за нашу привязанность, за то, что печемся только о счастье детей и на горе себе принимаем его так близко к сердцу?!

При этом торжественном возгласе, в котором слышались слезы, Модеста украдкой бросила взгляд на отца.

— Папенька, милый папенька, можно ли ставить в вину девушке, сердце которой свободно, если она избирает мужем человека не только обаятельного, но и гениального, благородного, с прекрасным положением... дворянина... чуткого, отзывчивого, как и она сама,— сказала Модеста.

— Ты его любишь? — спросил отец.

— Отец,— сказала она, прильнув головкой к груди полковника,— если вы не хотите видеть меня мертвой...

— Довольно,— сказал старый солдат,— я вижу, твоя любовь непоколебима.

— Непоколебима.

— Ничто не заставит тебя изменить своих чувств?

— Ничто на свете!

— Ты не допускаешь никаких случайностей, никакой измены,— продолжал старый солдат,— ты будешь любить его, *несмотря ни на что*, за его личное обаяние, и окажись он вторым д'Этурни, ты и тогда продолжала бы его любить?

— Ах, папенька, вы не знаете своей дочери! Могу ли я полюбить человека без принципов, без чести, без стыда и совести, какого-нибудь негодяя, достойного виселицы!

— А что, если ты была обманута?

— Кем? Этим милым, чистосердечным юношей с таким задумчивым и даже грустным лицом! Вы смеетесь надо мной, папенька, или же вы его не видели.

— К счастью, твоя любовь не так уж безрассудна, как ты это говоришь. Я указал тебе на некоторые обстоятельства, способные внести разлад в твою поэму. Понимаешь ли ты теперь, что иногда и отцы могут на что-нибудь пригодиться?

— Вы хотите дать урок непокорной дочери, папенька? Все это положительно напоминает Беркена.

— Ты заблуждаешься, бедное дитя,— строго заметил отец,— не я даю тебе урок, я тут ни при чем, я хочу только смягчить силу удара...

— Довольно, отец, не играйте моей жизнью,— прошептала Модеста, бледнея.

— Мужайся, дочка, собери все свои силы. Ты сама играла с жизнью, а жизнь посмеялась над тобой.

Модеста смотрела на отца, ничего не понимая.

— Послушай, а что, если юноша, любимый тобой, тот самый, которого ты видела в гаврской церкви четыре дня тому назад, оказался бы негодяем?

— Не может быть! — воскликнула она.— Эти черные кудри, это бледное, благородное, поэтическое лицо...

— Все это обман,— сказал полковник, прерывая дочь,— он не больше похож на Каналиса, чем я на того рыбака, который поднимает сейчас парус, чтобы плыть в море.

— Знаете ли вы, что вы убиваете во мне? — с трудом проговорила Модеста.

— Успокойся, дитя мое, если случаю было угодно наказать тебя при помощи твоей же ошибки, то зло еще поправимо. Юноша, которого ты видела в церкви, которому ты отдала свое сердце, обмениваясь с ним письмами, честный человек. Он пришел ко мне и признался во всем. Он тебя любит, и я бы не отверг его как зятя.

— Но если он не Каналис, то кто же он? — спросила Модеста упавшим голосом.

— Секретарь Каналиса! Его зовут Эрнест де Лабриер. Он не знатного происхождения, он самый обыкновенный человек с трезвыми понятиями и нравственными устоями; такие люди по душе родителям. Впрочем, не все ли равно? Ты его видела, ты его избрала, и ничто не может изменить твоих чувств,— ведь тебе знакома его душа: она столь же прекрасна, как и его наружность.

Графа де Лабасти прервал тихий стон Модесты. Несчастная девушка побледнела и застыла, словно мертвая, устремив на море неподвижный взгляд; как пистолетный выстрел, поразили ее слова: «Он самый обыкновенный человек с трезвыми понятиями и нравственными устоями; такие люди по душе родителям».

— Обманута...— проговорила она наконец.

— Как и твоя бедная сестра, но не так ужасно.

— Пойдем домой,— сказала она, поднимаясь с пригорка, на котором они сидели.— Отец, клянусь перед богом, что *в деле* моего замужества я выполню твою волю, какова бы она ни была.

— Так, значит, ты его больше не любишь? — спросил насмешливо г-н Миньон.

— Я любила правдивого человека, с чистым, не запятнанным ложью челом, безукоризненно честного, как и вы, отец, неспособного рядиться, словно актер, и присваивать себе славу, принадлежащую другому.

— Ты говорила, будто ничто не может изменить твоих чувств? — иронически заметил полковник.

— Ах, не смейтесь надо мной,— с мольбой проговорила она, прижав к груди руки и глядя на отца тоскливым взглядом,— вы не знаете, как больно ранят такие шутки сердце, они убивают все, что мне бесконечно дорого.

— Сохрани бог, я сказал тебе сущую правду.

— Спасибо, отец,— почти торжественно ответила она, помолчав.

— Ведь у него остались твои письма,— заметил Шарль Миньон.— Не так ли? А что, если бы эти страницы, полные безумных порывов твоей души, попали в руки одного из тех поэтов, которые, по словам Дюме, употребляют их вместо спичек для раскуривания сигар?

— О! вы преувеличиваете...

— Каналис сам ему это сказал.

— Он видел Каналиса?

— Да,— ответил полковник.

Они прошли несколько шагов в полном молчании.

— Так вот почему,— презрительно бросила Модеста,— господин Лабриер говорил так много плохого о поэтах и поэзии, вот почему этот ничтожный секретарь уверял... Но, может быть,— сказала она, не докончив фразы,— все его добродетели, достоинства и прекрасные чувства — лишь побрякушки эпистолярных упражнений? Тот, кто крадет чужую славу, может и...

— Взламывать замки, воровать, грабить и убивать на большой дороге! — воскликнул Шарль Миньон, улыбаясь.— Все юные девицы на один лад — прямолинейны и не знают жизни. По-вашему, мужчина, способный обмануть женщину, или побывал на каторге, или скоро взойдет на эшафот.

Эта насмешка охладила гнев Модесты, и она вновь умолкла.

— Дитя мое,— заметил полковник,— в обществе следуют закону природы: мужчины стремятся покорить ваше сердце, вы же должны защищаться. А ты перепутала роли. Хорошо ли это? Все ложно в ложном положении. Основная вина лежит на тебе. Нет, Модеста, мужчина отнюдь не чудовище, если старается понравиться женщине, и он вправе применять наступательный метод со всеми вытекающими из него последствиями, кроме преступления и подлости. Мужчина может остаться добродетельным и после того, как он обманул женщину, если обман его объясняется тем, что он не обнаружил в ней ожидаемых сокровищ. Между тем сделать первый шаг, не вызывая слишком сильного осуждения, может только

королева, актриса или женщина, стоящая настолько выше мужчины, что она кажется ему недосягаемой. Но девушка!.. Она отрекается при этом от всего, что бог вложил в нее святого, прекрасного, великого, какую бы красоту, поэзию и благоразумие она ни внесла в свой проступок.

— Мечтать о господине и найти слугу! Разыграть пьесу «Игра любви и случая», но оказаться единственной обманутой стороной! — сказала Модеста с горечью.— Я никогда не оправлюсь от этого удара.

— Дурочка!.. в моих глазах Эрнест де Лабриер нисколько не ниже барона де Каналиса. Он был личным секретарем премьер-министра, а в настоящее время занимает должность докладчика в высшей счетной палате. У него доброе сердце, он тебя обожает. Правда, он не сочиняет стихов. Да, согласен, он не поэт, но, возможно, сердце его полно поэзии. Впрочем, бедное мое дитя,— сказал он, заметив гримасу отвращения на лице Модесты,— ты их увидишь, и того и другого, увидишь как ложного, так и настоящего Каналиса.

— О папенька!

— Разве ты не поклялась повиноваться мне *в деле* твоего замужества? Так вот, ты будешь иметь возможность выбрать из них того, кто тебе больше понравится. Ты начала с поэмы, а кончишь пастушеской идиллией,— попытайся разгадать истинный характер этих господ во время какой-нибудь сельской забавы, охоты или рыбной ловли!

Модеста опустила голову и задумалась. Всю дорогу в Шале она односложно отвечала на вопросы отца. Она чувствовала себя униженной, она упала в грязь с той вершины, откуда мечтала добраться до орлиного гнезда. Словом, говоря поэтическим языком одного из писателей того времени: «... она ощутила, что подошвы ее ног слишком нежны, чтобы ступать по острым камням действительности, и тогда фантазия, которая соединила в этой хрупкой груди все чувства женщины, от осыпанных фиалками грез целомудренной девушки до безумных желаний куртизанки, ввела ее в свои волшебные сады, где — о, горькое разочарование! — она увидела вместо желанного прекрасного цветка выступа-

ющие из-под земли спутанные и мохнатые корни черной мандрагоры». С таинственных высот своей любви Модеста попала на гладкую и ровную дорогу, с канавами и вспаханными полями по обеим сторонам ее, короче говоря, на торную дорогу обыденности. Какая девушка с пылкой душой не разбилась бы при таком падении? И перед кем расточала она свои признания? Модеста, возвращавшаяся в Шале, напоминала ту Модесту, которая два часа назад вышла из него, не более, чем актриса, встреченная на улице, напоминает героиню, которую она изображала на сцене. Модеста погрузилась в оцепенение, и на нее было жалко смотреть. Солнце померкло для нее; природа оделась в траур, цветы уже больше ничего не говорили ее сердцу. Как и все экзальтированные девушки, она отпила несколько лишних глотков из чаши разочарования. Модеста отбивалась от действительности, все еще не желая, чтобы семья и общество надели ей на шею ярмо: она находила его тяжелым, гнетущим, невыносимым. Увещеваний отца и матери она и слушать не хотела. С каким-то мрачным наслаждением она безвольно отдавалась душевным мукам.

— Итак, бедный Бутша прав! — сказала она однажды вечером.

Эти слова позволяют измерить тот путь, который за несколько дней совершила Модеста по тем безотрадным равнинам действительности, куда завела ее глубокая грусть. Грусть, порожденная крушением наших надежд, сродни болезни, а иногда влечет за собою даже смерть. Современной физиологии предстоит немалая задача: исследовать, какими путями, какими средствами мысли удается произвести такие же разрушения, как и яду, каким образом отчаяние лишает аппетита, нарушает пищеварение и подтачивает все жизненные функции самого сильного организма. Таково было и состояние Модесты. Через три дня ее нельзя было узнать: она впала в болезненную меланхолию, перестала петь, улыбаться, напугав этим родителей и друзей. Шарль Миньон беспокоился, ничего не слыша о приезде двух Каналисов; он уже намеревался сам ехать за ними, но на четвертый день г-н Латурнель получил о них известие, и вот каким образом.

Каналис, в высшей степени заинтересованный в столь

выгодном браке, решил ничем не пренебречь ради победы над Лабриером, но все же поступать так, чтобы его нельзя было упрекнуть в нарушении законов дружбы. Поэт подумал, что сильнее всего можно унизить вздыхателя в глазах девушки, показав ей любимого в положении подчиненного, а потому самым невинным образом предложил Эрнесту поселиться вместе с ним, наняв в Ингувиле загородный домик, где они могли бы прожить месяц под предлогом расстроенного здоровья поэта. Лабриер согласился, не найдя в первую минуту ничего неестественного в таком предложении, и Каналис тотчас же стал хлопотать об отъезде, взяв на себя все связанные с путешествием расходы. Он отправил своего слугу в Гавр, приказав ему обратиться к г-ну Латурнелю для приискания загородного дома в Ингувиле, в надежде, что нотариус разболтает об этом семейству Миньон. Нетрудно догадаться, что оба Каналиса подробно обсуждали это приключение, и благодаря пространным рассказам Эрнеста его соперник получил тысячи всевозможных сведений. Камердинер, посвященный в намерения своего господина, выполнил приказания превосходно. Он протрубил по всему Гавру о приезде великого поэта, которому врачи предписали морские ванны для восстановления сил, подорванных двойной деятельностью — на поприще политики и литературы. Великий человек пожелал снять дом во столько-то комнат, так как везет с собой секретаря, повара, двух слуг и кучера, не считая своего камердинера, г-на Жермена Бонне. Коляска, выбранная поэтом и взятая им напрокат на один месяц, была достаточно красива и могла служить для прогулок. Жермен нанял в окрестностях Гавра двух лошадей, ходивших и в упряжке и под седлом, так как барон и его секретарь любят верховую езду. Осматривая загородные дома вместе с низеньким Латурнелем, Жермен особенно упирал на секретаря и даже отказался от двух дач под тем предлогом, что для г-на де Лабриера в них нет подходящих комнат.

— Барон Каналис,—говорил лакей,— относится к своему секретарю, как к лучшему другу. Он дал бы мне нагоняй, если бы я не заботился о господине де Лабриере так же, как о самом бароне. Да к тому же господин де

Лабриер занимает должность докладчика в высшей счетной палате.

Жермен появлялся всюду не иначе как в черном суконном костюме, в блестящих сапогах и чистых перчатках, одеждой и манерами подражая своему барину. Посудите сами, какое впечатление он произвел и какое представление о поэте создалось на основании такого образца. Слуга умного человека в конце концов умнеет и сам, так как ум его господина не может не повлиять на него. Жермен не шаржировал своей роли, держал себя просто, добродушно, как это и внушал ему Каналис. Бедный Лабриер не подозревал, какой вред наносили ему россказни Жермена, на какое унижение он добровольно согласился. До Модесты уже дошли окольными путями отголоски общественной молвы. Итак, Каналис вез с собой друга в качестве подчиненного, характер же Эрнеста не позволил ему вовремя увидеть свое ложное положение и изменить его. Задержка, которую проклинал Шарль Миньон, была вызвана тем, что Каналис велел написать свой герб на дверцах кареты и сделал несколько заказов портному — словом, поэт принял в расчет множество мелочей, которые могли произвести хоть малейшее впечатление на молодую девушку.

— Не беспокойтесь,— сказал на пятый день Латурнель Шарлю Миньону,— камердинер господина Каналиса закончил сегодня поиски: он снял у госпожи Амори в Санвике флигель с полной обстановкой за семьсот франков и написал своему хозяину, что тот может выезжать: все будет готово к его приезду. Следовательно, господа парижане будут здесь в воскресенье. Кроме того, я получил письмо от Бутши; оно коротенькое, я прочту его вслух: «Дорогой патрон, не могу вернуться раньше воскресенья. Мне надо собрать за это время кое-какие сведения, чрезвычайно важные для счастья одной особы, в которой вы принимаете участие».

Известие о приезде обоих молодых людей не рассеяло грусти Модесты. Сознание своего унижения и стыд угнетали ее, к тому же она вовсе не была так кокетлива, как это думал отец. Существует прелестное и дозволенное кокетство — кокетство души, которое можно назвать внимательностью в любви. Браня дочь, Шарль Миньон не понял различия между желанием нра-

виться и рассудочной любовью, между жаждой любви и расчетом. Как настоящий полковник времен Империи, он усмотрел в этой наскоро прочитанной переписке лишь стремление девушки броситься на шею поэту. Но письма, пропущенные здесь во избежание длиннот, привели бы в восхищение более тонкого психолога своей целомудренной и прелестной сдержанностью, сменившей благодаря перемене чувств, вполне естественной у женщины, задорный, легкомысленный тон первых писем Модесты. Но отец был прав в одном отношении. В последнем письме Модеста, увлеченная славой, благородством души и красотой мнимого Каналиса, говорила так, словно вопрос о браке был уже решен. Воспоминания об этом письме вызывали у Модесты жгучий стыд, и она находила слишком суровым и строгим своего отца, заставлявшего ее принимать недостойного человека, которому она раскрыла душу. Она расспросила Дюме о его свидании с поэтом; ловко заставила его рассказать о мельчайших подробностях этой встречи и вовсе не нашла Каналиса таким уж бесчеловечным, каким считал его лейтенант. Она улыбалась, думая об изящной папской шкатулке, в которой хранились письма *тысячи трех* женщин этого Дон-Жуана от литературы. Не раз она порывалась сказать отцу: «Не я одна писала ему: самые незаурядные женщины вплетают такие листки в лавровый венок поэта».

Характер Модесты сильно изменился за эту неделю. Такой удар,— а это был поистине удар для столь поэтической натуры,— пробудил в ней скрытую проницательность и хитрость, и теперь поклонники должны были встретить в ее лице опасного противника. Когда у девушки остывает сердце, голова ее начинает мыслить трезво. Становясь наблюдательной, она выносит свои суждения обо всем, высказывает их с живостью и в том шутливом тоне, который так прекрасно удался Шекспиру, создавшему в комедии «Много шума из ничего» образ Беатриче. Модесту охватило глубокое отвращение ко всем мужчинам, так как самые выдающиеся из них не оправдали ее надежд. В любви то, что женщина принимает за отвращение, есть не что иное, как здравый взгляд на вещи. Но когда дело касается чувств, женщина, в особенности девушка, не знает середины: если она не восхищается,

то презирает. Испытав невообразимые муки, Модеста, естественно, облеклась в доспехи, на которых, как она говорила, было начертано слово «презрение». Отныне она могла присутствовать как посторонний зритель на представлении, которое называла «водевилем женихов», хотя играла в нем роль героини. Прежде всего она решила постоянно унижать г-на де Лабриера.

— Модеста спасена,— сказала, улыбаясь, г-жа Миньон мужу.— Она хочет отомстить ложному Каналису, попытавшись полюбить настоящего.

Таков был действительно план Модесты, план весьма обычный, и даже мать, которой она поверила свои горести, посоветовала ей выказывать г-ну Лабриеру только самую высокомерную любезность.

— Приедут два вздыхателя,— сказала г-жа Латурнель в субботу вечером.— Они даже не подозревают, сколько шпионов будет следовать за ними по пятам. Нас восемь человек, и все мы будем наблюдать за ними.

— Почему «два вздыхателя», милый друг? — воскликнул низенький Латурнель.— Их будет трое. Гобенхейм еще не пришел, и я могу говорить откровенно.

Модеста и все остальные посмотрели на низенького нотариуса.

— К числу искателей руки Модесты присоединится третий поклонник.

— Вот как? — удивился Шарль Миньон.

— И поклонник этот,— напыщенно продолжал нотариус,— не кто иной, как его светлость герцог д'Эрувиль, маркиз де Сен-Сэвер, герцог де Ниврон, граф де Байе, виконт д'Эссиньи, обер-шталмейстер и пэр Франции, кавалер ордена Шпоры и Золотого руна, испанский гранд и сын последнего правителя Нормандии. Он видел Модесту, когда приезжал в Гавр и гостил у Вилькенов, и еще тогда жалел, по словам его нотариуса, приехавшего вчера из Байе, что она недостаточно богата. Ведь по возвращении во Францию отец герцога оказался владельцем одного только замка д'Эрувиль, украшенного присутствием незамужней сестры. Молодому герцогу тридцать три года. Мне поручено сообщить все это вам, граф,— сказал нотариус, почтительно обращаясь к полковнику.

— Спросите у Модесты,— ответил отец,— желает ли она иметь лишнюю птицу в своей вольере. Что касается меня, я согласен. Пусть и господин обер-шталмейстер ухаживает за ней.

Несмотря на старания Шарля Миньона избегать знакомых, почти не выходить из Шале и нигде не появляться без дочери, Гобенхейм, которого было бы трудно больше не принимать, разнес молву о богатстве Дюме, так как Дюме, этот второй отец Модесты, сказал банкиру, оставляя службу в его конторе:

— Я буду управляющим у моего полковника, и все свое состояние, кроме той доли, которую пожелает оставить себе жена, завещаю детям моей дорогой Модесты.

И всем пришел в голову один и тот же вопрос, который уже однажды задал себе Латурнель: какое же состояние у Шарля Миньона? Вероятно, колоссальное, если часть, выделенная им Дюме, достигает шестисот тысяч франков, а сам Дюме собирается занять у него должность управляющего?

— Миньон прибыл на собственном корабле с грузом индиго,— говорили на бирже.— Стоимость одного этого груза, не считая судна, превосходит сумму, в которую он определяет свое состояние.

Полковник не захотел уволить своих слуг, тщательно выбранных им во время путешествий, и принужден был снять на полгода дом у подножия Ингувильского холма, так как у него в услужении находились камердинер, повар и кучер — двое последних негры, мулатка и двое мулатов, на преданность которых он рассчитывал. Кучер Миньона искал верховых лошадей для своего хозяина и его дочери, а также лошадей для прекрасной коляски, в которой приехали полковник и лейтенант. Этот модный экипаж был куплен в Париже, и на его дверцах красовался герб де Лабасти с графской короной. Обо всех этих подробностях, ничтожных в глазах человека, прожившего четыре года среди невообразимой роскоши, которой окружают себя богачи Индии, гонконгские купцы и англичане в Кантоне, толковали на все лады гаврские коммерсанты и обыватели Гравиля и Ингувиля. За пять дней молва прокатилась по всей Нормандии, произведя действие, подобное взрыву бомбы.

— Господин Миньон вернулся миллионером,— говорили в Руане,— и стал, по-видимому, графом во время своего путешествия!

— Но он был графом де Лабасти еще до революции,— отвечал собеседник.

— Итак, либерала, носившего двадцать пять лет имя Шарля Миньона, именуют теперь «ваше сиятельство». Куда, спрашивается, мы идем?

Таким образом, несмотря на молчание родителей и друзей, Модеста прослыла богатейшей в Нормандии наследницей, и тогда все сразу заметили ее достоинства. Тетка и сестра герцога д'Эрувиля подтвердили при всех гостях, собравшихся в гостиной замка Байе, право г-на Шарля Миньона на герб и титул графа, принадлежавшие кардиналу Миньону, чья шапка и кисти, по наведенным справкам, были изображены в виде навершия шлема и щитодержателей на этом гербе. Девицы д'Эрувиль видели как-то Модесту де Лабасти из окна виллы Вилькена и тотчас же подумали о главе своего обедневшего рода.

— Если дочь графа де Лабасти столь же богата, сколь и красива,— сказала тетка молодого герцога,—она будет считаться лучшей партией в провинции. И по крайней мере она дворянка, эта девушка!

Последние слова были колкостью, направленной против Вилькенов, с которыми д'Эрувили не могли найти общего языка, несмотря на то, что унизились до посещения их дома.

Таковы были мелкие события, в результате которых на этой семейной сцене должно было выступить, вопреки законам Аристотеля и Горация, третье действующее лицо. Однако ввиду малого удельного веса этого героя, так поздно появившегося на страницах нашего романа, его биография и описание внешности не слишком затянут повествование. Герцог не займет здесь более значительного места, чем в истории Франции. Его светлость герцог д'Эрувиль, плод позднего брака последнего правителя Нормандии, родился в 1796 году в Вене, во времена эмиграции. Старый маршал, его отец, вернулся на родину в 1814 году вместе с королем и умер в 1819 году, так и не женив своего сына, хотя тот и был герцогом Нивронским. Отец завещал ему всего-навсего огромный замок д'Эру-

виль, парк, несколько служебных построек и ферму, выкупленную с большим трудом,— все это давало пятнадцать тысяч франков годового дохода. Людовик XVIII предоставил молодому герцогу пост обер-шталмейстера, а при Карле X он стал получать, кроме того, двенадцать тысяч франков пенсии, пожалованной неимущим пэрам Франции. Но что значили для герцогского семейства оклад обер-шталмейстера и двадцать семь тысяч франков годового дохода? Правда, в Париже молодой герцог пользовался экипажами короля и жил во дворце на улице Сен-Тома-дю-Лувр, при королевской конюшне, но все его жалованье уходило зимой на жизнь в Париже, а двадцать семь тысяч франков расходовались летом на жизнь в Нормандии. Однако если такой вельможа все еще оставался холостым, то виновата в этом была главным образом его тетка, которой, очевидно, были незнакомы басни Лафонтена. Непомерные требования г-жи д'Эрувиль шли вразрез с духом века, так как обнищавшие носители громких имен не могли найти богатых наследниц среди высшего французского дворянства, которое и само-то было весьма озабочено судьбой своих сыновей, разоренных законом о равном разделе наследства. Чтобы выгодно женить молодого герцога, надо было сблизиться с богатыми банкирскими домами, а высокомерная представительница рода д'Эрувилей всех их оттолкнула своими ехидными словечками. Несмотря на то, что в начале Реставрации, с 1817 по 1825 год, г-жа д'Эрувиль усердно подыскивала для своего племянника невесту с миллионным приданым, она все же отказалась от дочери банкира Монжено, которой, однако, вполне удовлетворился г-н де Фонтэн. Даже после того, как множество блестящих случаев было упущено по ее вине, она пришла к заключению, что состояние Нусингенов слишком грязного происхождения, и отказалась пойти навстречу честолюбивым желаниям г-жи де Нусинген, мечтавшей сделать свою дочь герцогиней. Король, стремившийся восстановить прежний блеск герба д'Эрувилей. сам подготовил этот брак и, когда он не удался, публично назвал г-жу д'Эрувиль «безумной старухой». Таким образом, тетка выставляла в смешном виде своего племянника, который и сам подавал немало поводов к насмешкам. Действительно, когда навсегда уходит то,

что некогда составляло вершину старого общества, остаются его осколки или «поскребыши», как сказал бы Рабле, и в наш век таких оглодков что-то слишком много среди французского дворянства. Разумеется, в этой длинной повести нравов ни духовенству, ни дворянству не придется жаловаться, что о них позабыли. Эти две крупные и блистательные общественно необходимые силы прошлого хорошо в нем представлены. Но разве не значило бы, что мы отказались от славного звания историка и проявили пристрастие, если бы не показали здесь вырождения дворянского сословия, тем более что в других наших сценах вы встретите тип эмигранта в лице графа де Морсофа («Лилия долины») и воплощение дворянского благородства в лице маркиза д'Эспар («Дело об опеке»). Однако как могло случиться, что гордый род д'Эрувилей, поколения храбрых и сильных людей, давших королевству знаменитого маршала, церкви — кардиналов, династии Валуа — отважных рыцарей и Людовику XIV — полководцев, заканчивался теперь этим хилым заморышем, ростом меньше Бутши? Такой вопрос часто задаешь себе в парижских гостиных, когда лакей доложит о носителе одного из самых громких имен Франции и вслед за этим входит тщедушный человечек, как говорится, в чем душа держится,— юноша, преждевременно превратившийся в старика, или же одно из тех странных существ, у которых с трудом отыскиваешь какую-нибудь черту, свидетельствующую о минувшем величии. Мотовство и оргии в годы мрачного и жестокого царствования Людовика XV способствовали появлению этого убогого дворянства, и только манеры его представителей еще напоминают о навеки исчезнувших крупных достоинствах. Внешний лоск — единственное наследство, сбереженное дворянством. И то равнодушие, среди которого погиб Людовик XVI, объясняется, за редкими исключениями, печальными последствиями владычества маркизы де Помпадур. Обер-шталмейстер, бледный, щуплый и голубоглазый блондин, не был лишен известного благородства. Но малый рост и промахи тетки, принудившей его понапрасну ухаживать за Вильккенами, внушили ему чрезмерную робость. Однажды род д'Эрувилей уже чуть было не прекратился из-за недоноска (см. «Проклятое дитя» — «Философские пове-

сти»). Но «великий маршал», как называли в семье д'Эрувилей того пращура, которому Людовик XIII пожаловал титул герцога, женился в возрасте восьмидесяти двух лет, и разумеется, род его не угас. Что касается молодого герцога, он любил женщин, но ставил их чересчур высоко, слишком обожал их и преклонялся перед ними, чувствуя себя свободно лишь с теми женщинами, которых не уважал. Из-за своего характера он стал вести двойную жизнь: утомившись почтительным обожанием, которому предавался в гостиных, или, вернее, в будуарах Сен-Жерменского предместья, он вознаграждал себя с доступными женщинами. Его привычки, маленький рост, болезненное лицо и водянистые голубые глаза, часто принимавшие восторженное выражение, усиливали насмешливое к нему отношение окружающих, отношение несправедливое, так как он был деликатен и совсем неглуп, но его ум, лишенный блеска, проявлялся лишь тогда, когда герцог чувствовал себя непринужденно. Вот почему актриса Фанни Бопре, которая слыла его близкой, хотя и не бескорыстной, приятельницей, говорила о нем: «Он похож на хорошее вино, которое так тщательно запечатано, что сломаешь штопор, если захочешь откупорить бутылку!» Прекрасная герцогиня де Мофриньез, которую обер-шталмейстер мог обожать только издали, заклеймила его крылатой шуткой, и, к несчастью для герцога, она переходила из уст в уста, как и всякое изящное злословие. «Д'Эрувиль производит на меня впечатление подвеска тонкой ювелирной работы,— его чаще показывают, чем надевают, вот он и остается лежать в вате»,— сказала эта дама. Все в нем смешило добродушного Карла X, вплоть до его должности обер-шталмейстера, которая совсем не соответствовала внешности герцога д'Эрувиля, хотя он и был превосходным наездником. Некоторых людей, как и некоторые книги, иногда начинают ценить слишком поздно. Модеста видела герцога д'Эрувиля во время его безуспешного пребывания у Вилькенов и, глядя на него, невольно припомнила то, что о нем говорилось. Все же она прекрасно понимала, насколько ухаживание герцога было ценно в ее положении,— оно давало ей полную свободу действия по отношению к обоим Каналисам.

— Не вижу причины отклонять ухаживание герцога д'Эрувиля,— сказала она Латурнелю.— Несмотря на нашу бедность,— прибавила она, лукаво поглядев на отца,— я считаюсь теперь богатой наследницей. Поэтому я кончу тем, что опубликую свою программу. Разве вы не заметили, как изменилось выражение глаз Гобенхейма за последнюю неделю? Он крайне огорчен тем, что не может отнести свои партии в вист за счет безмолвного обожания моей особы.

— Тише, душа моя,— сказала г-жа Латурнель,— вот и он.

— Папаша Альтор в отчаянии,— сказал Гобенхейм, входя и обращаясь к Шарлю Миньону.

— Почему? — спросил граф де Лабасти.

— Говорят, Вилькена ожидает банкротство, а вас на бирже считают архимиллионером.

— Никто не знает, какие обязательства существуют у меня в Индии,—возразил весьма сухо Шарль Миньон.— Я же вовсе не намерен посвящать посторонних в свои дела. Дюме,— сказал он на ухо своему другу,— если Вилькен находится в стесненных обстоятельствах, мы могли бы вновь поселиться в моей прежней усадьбе, уплатив ему наличными ту сумму, за которую он ее приобрел.

Вот та обстановка, которая по воле случая ожидала Каналиса и Лабриера, когда они вслед за курьером приехали в воскресенье утром во флигель г-жи Амори. Вскоре стало известно, что герцог д'Эрувиль под предлогом расстроенного здоровья прибудет во вторник с сестрой и теткой, и они поселятся в доме, нанятом в Гравиле. Это соперничество вызвало шутки на бирже,— там говорили, что из-за дочери г-на Миньона сильно возрастет квартирная плата в Ингувиле.

— Если так будет продолжаться, эта девица превратит в странноприимный дом весь Ингувиль,— сказала младшая дочь Вилькена, в отчаянии от того, что ей не удалось стать герцогиней.

Вечную комедию «Наследница», которая должна была разыграться в Шале, можно было бы назвать, повторяя шутку Модесты, «Жизненной программой молодой девушки», так как сама героиня после потери своих иллюзий твердо решила отдать руку только то-

му человеку, достоинства которого ее вполне удовлетворят.

На следующий день после приезда два соперника, по-прежнему еще близкие друзья, стали готовиться к своему появлению в Шале в тот же вечер. Все воскресенье и утро понедельника они употребили на распаковку вещей, вступление во владение флигелем г-жи Амори и устройство, необходимое для месячного пребывания в Гавре. Поэт заранее все рассчитал. К тому же в качестве будущего посланника он склонен был прибегать ко всевозможным уловкам и ухищрениям. Итак, он решил извлечь пользу из того шума, который, по всей вероятности, поднимется вокруг его приезда в Гавр, справедливо полагая, что отголоски молвы дойдут и до Шале. Как человек, переутомленный тяжкими трудами, Каналис не выходил из дому, а Лабриер уже успел два раза прогуляться под окнами Шале. Он любил с каким-то отчаянием, его охватывал глубокий ужас при мысли о гневе Модесты, и будущее казалось ему окутанным густым мраком. В понедельник два друга спустились из своих комнат к обеду, уже одетые для первого и важнейшего визита. На Лабриере был тот же костюм, что и в знаменательное воскресенье, когда он появился в церкви; но на этот раз он считал себя только спутником литературного светила и положился на волю случая. Что касается Каналиса, то он не пренебрег возможностью надеть фрак, ордена и позаботился придать своей внешности то салонное изящество, которое он усовершенствовал в школе своей покровительницы, герцогини де Шолье, и высшего света Сен-Жерменского предместья. Каналис не забыл ни одного даже мельчайшего предписания дэндизма, тогда как несчастному Лабриеру предстояло явиться в Шале в небрежном костюме человека, потерявшего всякую надежду. Прислуживая за столом своим двум господам, Жермен не мог скрыть улыбки при виде этого контраста. Но когда он вошел в столовую со второй переменой блюд, его лицо уже приняло дипломатическое, или, лучше сказать, озабоченное выражение.

— Известно ли вам, господин барон,— обратился он вполголоса к Каналису,— что обер-шталмейстер прибывает в Гравиль для лечения от той же болезни, которой страдает господин Лабриер и вы сами?

— Как, маленький герцог д'Эрувиль? — воскликнул Каналис.

— Да, сударь.

— Он, очевидно, приезжает ради мадемуазель де Лабасти? — краснея, спросил Лабриер.

— Да, ради мадемуазель Миньон,— подтвердил Жермен.

— Нас провели! — воскликнул Каналис, смотря на Лабриера.

— В первый раз ты сказал *мы* со времени нашего отъезда,— с живостью заметил Эрнест.— До сих пор ты все время говорил *я*.

— Ты прекрасно изучил меня,— весело смеясь, ответил Мельхиор.— Разумеется, нам с тобой не под силу бороться с придворной должностью, титулами герцога и пэра и теми болотами, которые государственный совет на основании моего доклада пожаловал дому д'Эрувилей.

— Его светлость,— сказал Лабриер с иронической серьезностью,— может предоставить тебе некоторое утешение в лице своей сестры.

В эту минуту слуга доложил о графе де Лабасти. Услышав эту фамилию, оба молодых парижанина встали из-за стола, и Лабриер пошел навстречу гостю, чтобы представить ему Каналиса.

— Я счел своим долгом отдать вам визит, который вы мне сделали в Париже,— сказал Шарль Миньон молодому докладчику счетной палаты.— Кроме того, я знал, что получу при этом двойное удовольствие, встретив одного из великих поэтов наших дней.

— «Великих», сударь? — возразил поэт, улыбаясь.— Может ли быть что-нибудь великое в наш век, прологом к которому служит царствование Наполеона. Во-первых, нас целое племя так называемых великих поэтов, а во-вторых, второстепенные таланты так хорошо подражают гению, что истинная слава теперь невозможна.

— Не это ли побудило вас обратиться к политике? — спросил граф де Лабасти.

— То же наблюдается и в политике,— сказал поэт.— Теперь уже нет больше крупных государственных деятелей, а только люди, более или менее причастные к важным событиям. Видите ли, сударь, при нынешнем

режиме, который создала для нас конституционная хартия, предпочитающая налоговое обложение оружию, прочным осталось только то, за чем вы ездили в заморские страны, а именно — деньги.

Довольный собой и тем впечатлением, которое он произвел на своего будущего тестя, Мельхиор обратился к Жермену.

— Подайте кофе в гостиную,— сказал он и пригласил Шарля Миньона перейти туда из столовой.

— Очень вам благодарен, граф,— проговорил Лабриер,— за то, что вы вывели меня из затруднения: я не знал, удобно ли мне явиться к вам в дом вместе с моим другом. Как вы добры и тактичны.

— Что вы! Самые обычные правила вежливости провансальцев,— сказал Шарль Миньон.

— Как! Вы родом из Прованса? — воскликнул Каналис.

— Извините моего друга,— сказал Лабриер,— он не изучал, подобно мне, историю рода де Лабасти.

При слове «друг» Каналис выразительно посмотрел на Эрнеста.

— Если ваше здоровье позволит,— сказал провансалец, обращаясь к поэту,— я попрошу вас оказать мне честь и посетить сегодня вечером мой дом; тогда день этот будет для меня знаменательным, или, как говорили в древности, albo notanda lapillo [1]. Хотя нам и неловко принимать такого великого поэта в очень скромном домике, но вы, надеюсь, снизойдете к нетерпению моей дочери,— она в беспредельном восторге от ваших стихов и даже перекладывает их на музыку.

— У вас есть нечто большее, чем слава,— сказал Каналис.— В вашем доме обитает сама красота, как говорил мне Эрнест.

— О, моя дочь — просто славная девушка, а вам она, пожалуй, покажется провинциалочкой.

— Но руки этой провинциалочки домогается, как говорят, герцог д'Эрувиль,— сухо заметил Каналис.

— Я предоставляю моей дочери полную свободу выбора,— продолжал г-н Миньон с коварным добродушием южанина.— Герцоги, князья, простые смертные,

---

[1] Отмеченным белым камешком *(лат.)* — то есть счастливым.

даже и сам гений — все равны в моих глазах. Я не хочу брать на себя никаких обязательств, и тот, кого выберет Модеста, будет моим зятем, или, вернее, сыном,— сказал он, поглядев на Лабриера.— Что прикажете делать, жена у меня — немка и не признает нашего преклонения перед титулами, я же во всем руковожусь желаниями моих двух повелительниц. Я всегда предпочитал спокойно сидеть в экипаже, а не держать в руках вожжи. Мы можем говорить шутя об этих серьезных вещах, так как еще не видели герцога д'Эрувиля, и я не больше верю в женихов, навязанных родителями, чем в браки, заключенные по доверенности.

— Такое заявление может привести в отчаяние и в то же время ободрить двух молодых людей, которые намереваются искать в браке философский камень счастья,— сказал Каналис.

— Разве вы не считаете полезным, необходимым и благоразумным заранее обусловить полную свободу родителей, дочери и женихов? — спросил Шарль Миньон.

Выразительный взгляд Лабриера заставил Каналиса промолчать, и разговор перешел на безразличные темы.

После короткой прогулки по саду отец Модесты уехал, повторив, что надеется видеть у себя обоих друзей.

— Нам дали отставку! — воскликнул Каналис.— Ты это понял, конечно, не хуже меня. Что ж, на его месте я не стал бы колебаться. Где уж нам соперничать с обершталмейстером, как бы очаровательны мы с тобой ни были.

— Я этого не думаю,— сказал Лабриер.— Мне кажется, что добрейший полковник приехал нарочно, чтобы поскорее познакомиться с тобой; он хотел, кроме того, заявить о своем нейтралитете и открыть нам двери своего дома. Модеста влюблена в твою славу и обманулась во мне. Ей предстоит сделать выбор между поэзией и действительностью. Я имею несчастье быть действительностью.

— Жермен,— сказал Каналис камердинеру, который вошел, чтобы убрать кофе со стола,— прикажите запрягать, мы едем через полчаса. Сначала немного покатаемся, а потом отправимся в Шале.

Оба молодых человека горели одинаковым нетерпением увидеть Модесту, но Лабриер опасался этой встречи, а Каналис ждал ее с уверенностью, граничившей с самомнением. Сердечный порыв Лабриера, когда он высказал свою симпатию отцу Модесты, и лесть, которой он пощекотал дворянскую спесь коммерсанта, обратив вместе с тем его внимание на оплошность Каналиса, внушили поэту мысль о необходимости взять на себя определенную роль. Мельхиор решил прибегнуть ко всем средствам обольщения и, разыграв равнодушие и пренебрежение, уколоть самолюбие девушки. Ученик прекрасной герцогини де Шолье оказался достойным своей репутации психолога, хорошо знающего женщин, хотя в действительности не знал их, как это случается с теми, кто является счастливой жертвой единственной привязанности. Бедный Эрнест забился в угол коляски и погрузился в мрачное молчание, испытывая терзания истинной любви и предчувствуя гнев, презрение, насмешки — все громы и молнии, которые обрушит на него уязвленная и возмущенная девушка. Каналис столь же безмолвно готовился к своему выступлению, словно актер, который должен сыграть главную роль в новой пьесе. Без сомнения, ни один из них не походил на счастливого человека. К тому же Каналис подвергал себя большому риску. Одно только намерение жениться могло повлечь за собой разрыв серьезной дружбы, почти десять лет связывавшей его с герцогиней де Шолье. Необходимость своей поездки он объяснил ей усталостью — предлог, которому женщины никогда не верят, даже когда это правда, и совесть несколько мучила его. Но слово «совесть» в этом случае показалось Лабриеру настолько лицемерным, что он лишь пожал плечами, когда поэт поделился с ним своими сомнениями.

— Твоя совесть, друг мой, кажется мне попросту тщеславием и боязнью потерять вполне реальные преимущества и привычную связь, лишившись любви госпожи де Шолье. Если же ты будешь иметь успех у Модесты, то без сожаления откажешься от пресных удовольствий страсти, достаточно приевшейся тебе за восемь лет. Скажи лучше, что ты опасаешься прогневить свою покровительницу, если она узнает о причине твоего пребывания здесь, и я охотно тебе поверю. Но отказаться от

герцогини и потерпеть неудачу в Шале значило бы лишиться слишком многого. Ты принимаешь за укоры совести свои колебания.

— Ты ничего не понимаешь в чувствах,— сказал Каналис с досадой, ибо ему сказали горькую правду, в то время как он ожидал услышать комплимент.

— То же самое, должно быть, говорит двоеженец перед судом двенадцати присяжных,— смеясь, возразил Лабриер.

Эта саркастическая шутка также произвела неприятное впечатление на Каналиса. Он нашел, что Лабриер слишком остроумен и чересчур свободно держится для секретаря.

Появление великолепной коляски с кучером, одетым в ливрею дома Каналисов, вызвало сенсацию в Шале, тем более что там уже ждали обоих претендентов и все действующие лица этой повести находились в сборе, кроме герцога и Бутши.

— Который же из них поэт? — спросила г-жа Латурнель у Дюме, стоя у окна, где она заняла наблюдательный пост, когда застучали колеса приближающегося экипажа.

— Тот, который выступает, словно полковой барабанщик,— ответил кассир.

— А-а,— протянула жена нотариуса, рассматривая Мельхиора, который шествовал величественно, как человек, привыкший привлекать к себе все взоры.

Хотя определение Дюме, человека простого, если такие вообще встречаются, страдает излишней резкостью оно все же не лишено справедливости. По вине знатной дамы, которая чрезмерно льстила Каналису и баловала его, как это всегда будут делать женщины, если они старше своих поклонников, поэт был в моральном отношении своего рода Нарциссом. Когда женщина весьма зрелого возраста хочет навсегда привязать к себе мужчину, она начинает обожествлять его недостатки, чтобы сделать невозможным всякое соперничество, так как соперницы не могут сразу постигнуть тайну этой утонченнейшей лести, а мужчина привыкает к ней довольно легко. Если фатовство не прирожденное свойство, то оно — следствие этой женской политики. Каналис, которого прекрасная герцогиня де Шолье взяла себе в любовники со-

всем молодым, оправдывал в собственных глазах свою рисовку, говоря себе, что она нравится этой изысканной женщине, а вкусы ее были законом для общества. Как ни тонки оттенки аффектации, их все же можно уловить. Так, например, Мельхиор обладал талантом чтеца, вызывавшим восхищение, но слишком снисходительные похвалы завлекли его на ложный путь напыщенности, где ни поэт, ни актер уже не могут остановиться, и это дало основание сказать про него (все тому же де Марсе), что он не декламирует, а завывает, читая свои стихи, настолько он растягивал слова, с удовольствием прислушиваясь к собственному голосу. Говоря языком сцены, Каналис «переигрывал». Он бросал вопросительные взгляды на слушателей, всем своим видом выражал удовлетворенное тщеславие и прибегал к тем уловкам, которые актеры называют «отсебятиной» — выражение красочное, как и все, что создается в артистическом мире. К тому же у Каналиса появились последователи, и он оказался главою школы. Декламаторская напыщенность слегка повлияла и на его разговорную речь,— он стал пользоваться в ней ораторскими приемами, как это можно было заметить из его беседы с Дюме. Как только поэт стал кокетничать своим умом, это сказалось и на его манерах. Он выработал особую походку, стал придумывать жесты, украдкой смотреться в зеркала и принимать позы, соответствовавшие его тирадам. Он настолько был озабочен впечатлением, которое производил на окружающих, что один насмешник по фамилии Блонде много раз держал пари, и не без успеха, обещая смутить поэта своим пристальным взглядом, устремленным на его завитые волосы, на его сапоги или на его фрак. Но по прошествии десяти лет эта изящная манерность, которую вначале скрашивала цветущая молодость, устарела, тем более что и сам Мельхиор казался пожившим. Светская жизнь утомляет как мужчин, так и женщин, и возможно, что те двадцать лет, на которые герцогиня была старше Каналиса, ложились на его плечи большей тяжестью, чем на ее, так как свет по-прежнему видел ее красивой, без морщин, без румян и без сердца. Увы! Ни у мужчин, ни у женщин не бывает друга, способного предостеречь их в ту минуту, когда аромат их скромности улетучивается, ласка взгляда начинает напоминать избитый актер-

ский прием, улыбка переходит в гримасу, а искусственный блеск остроумия позволяет угадывать, что огонь его уже догорел. Только гений обновляется подобно змеиной чешуе. Что же касается привлекательности всего облика, то одно лишь сердце не стареет. Сердечные люди просты. Но у Каналиса, как вы знаете, было черствое сердце. Он злоупотреблял красотой своих глаз, придавая совершенно некстати своему взгляду ту пристальность, которая говорит о напряжении мысли. Наконец, он любил расточать похвалы и делал это с корыстной целью, желая посредством их приобрести слишком много. Его манера говорить комплименты, очаровательная в глазах поверхностных людей, оскорбляла людей чутких своей банальностью и тем льстивым апломбом, за которым угадывался скрытый умысел. Действительно, Мельхиор лгал, как царедворец. Он беззастенчиво сказал герцогу де Шолье, который произвел весьма посредственное впечатление, впервые выступив с парламентской трибуны в качестве министра иностранных дел: «Вы были просто великолепны, ваше сиятельство!» Скольких людей, подобных Каналису, судьба отучила бы от аффектации, преподнося им неудачи мелкими дозами. Недостатки Каналиса казались незначительными в золоченых гостиных Сен-Жерменского предместья, там, где каждый регулярно вносит в общество свою долю нелепостей, где все разновидности самовлюбленности, рисовки и, если хотите, натянутости имеют соответствующую им рамку, где чрезмерная роскошь обстановки и пышные туалеты, пожалуй, служат всему оправданием; но те же самые недостатки должны были резко бросаться в глаза на фоне провинциальной жизни, нелепости которой имеют иной характер. А натянутый и жеманный Каналис не мог измениться. Он уже успел застыть в той форме, какую придала ему герцогиня де Шолье; кроме того, он был настоящий парижанин, или, точнее, настоящий француз. Парижанин удивляется, что жизнь не всюду устроена так, как в Париже, а француз — тому, что не всюду она идет так, как во Франции. Хороший тон заключается в умении приспособиться к чужим нравам, не слишком теряя, однако, свои индивидуальные черты, примером чего может служить Алкивиад — этот образец для джентльменов. Истинное изящество должно быть

гибким. Оно применяется к различным обстоятельствам и ко всем слоям общества. Изящная женщина наденет для улицы платье из простенькой материи, выделяющееся только своим покроем, она не будет прогуливаться, нацепив на себя яркие цветы и перья, как это делают мещанки. Между тем Каналис, руководимый женщиной, которая любила его больше ради себя, чем ради него самого, желал всем навязывать свои мнения и всюду быть одинаковым. Он полагал — ошибка, которую разделяют с ним многие парижские знаменитости,— что его всегда окружает свита поклонников.

Появление в гостиной Шале было заранее обдумано Каналисом и рассчитано на эффект, а Лабриер проскользнул в дверь, словно провинившийся пес, который боится, что его прибьют.

— А-а, вот и мой солдат! — воскликнул Каналис, обращаясь к Дюме после того, как любезно поздоровался с г-жой Миньон и поклонился остальным дамам.— Ваше беспокойство улеглось, не правда ли?—продолжал он, театральным жестом протягивая бретонцу руку.— Но при взгляде на мадемуазель Миньон тревога ваша становится более чем понятной: я говорил о земных созданиях, а не об ангелах.

На лицах присутствующих отразилось желание понять смысл этих загадочных слов.

— Да,— продолжал поэт, чувствуя, что все ждут объяснения,— я всегда буду считать победой то, что мне удалось вызвать волнение у одного из железных людей, которых умел находить Наполеон, пытавшийся на этом фундаменте основать Империю слишком обширную, чтобы быть долговечной. Такие сооружения может сцементировать только время! Но должен ли я гордиться своей победой? Я здесь ни при чем. То была победа идеи над фактом. Сражения, в которых вы участвовали, дорогой Дюме, ваши героические атаки, граф,— словом, война оказалась той формой, в которую вылилась мысль Наполеона. Но что же осталось от всех этих подвигов? Трава, покрывающая ныне поля сражений, ничего не знает о них: нивы не в состоянии указать тех мест, где происходили битвы, и не будь историка, не будь письменности, потомство могло бы и не знать об этом героическом времени! Итак, от вашей пятнадцатилетней борь-

бы не осталось теперь ничего, кроме воспоминаний. И только они спасут Империю, ибо поэты создадут из них поэмы. Страна, которая умеет выигрывать подобные сражения, должна уметь их воспеть!

Каналис замолчал и окинул взглядом лица слушателей, чтобы собрать дань изумления, которую обязаны были принести ему провинциалы.

— Вы не можете себе представить, сударь,— проговорила г-жа Миньон,— как мне грустно, что я вас не вижу, особенно после того, как вы доставили мне такое удовольствие своими речами.

Модеста, одетая так же, как и в начале этой повести, скромно сидела за пяльцами; она заранее решила восхищаться Каналисом, но все же была поражена: девушка выпустила из рук вышивание, и оно повисло на нитке, оставшейся у нее между пальцами.

— Модеста, позволь представить тебе господина де Лабриера. Господин Эрнест, познакомьтесь с моей дочерью,— сказал Шарль, видя, что секретарь держится в стороне.

Девушка холодно поклонилась Эрнесту, бросив на него равнодушный взгляд, который должен был доказать окружающим, что она видит его впервые.

— Извините меня, сударь,— проговорила она, не краснея,— но мое глубокое восхищение величайшим из наших поэтов служит в глазах моих друзей достаточным оправданием того, что я не заметила никого другого.

Чистый и выразительный ее голос, похожий на голос прославленной мадемуазель Марс, очаровал бедного Эрнеста, и без того уже ослепленного красотой Модесты, и в своем смятении он проронил слова, поистине прекрасные, если бы они соответствовали действительности:

— Но ведь он мой друг.

— В таком случае вы меня, конечно, простили,— заметила Модеста.

— Он для меня больше, чем друг! — воскликнул Каналис, опираясь на плечо Эрнеста, словно Александр на Гефестиона.— Мы любим друг друга, как братья.

Г-жа Латурнель бесцеремонно перебила великого поэта:

— Как господин Лабриер похож на того человека, ко-

торого мы видели в церкви! Уж не он ли это? — спросила она, обращаясь к низенькому нотариусу и указывая на Эрнеста.

— А почему бы и нет? — возразил Шарль Миньон, заметив, что Эрнест краснеет.

Сохраняя холодную невозмутимость, Модеста вновь принялась за вышивание.

— Возможно, вы правы, сударыня,— я два раза приезжал в Гавр,— ответил Лабриер и сел рядом с Дюме.

Каналис, очарованный красотой Модесты, по-своему истолковал ее восторженные слова и стал льстить себя надеждой, что ему удалось произвести желаемое впечатление.

— Я бы сочла бессердечным всякого гениального человека, не имей он подле себя преданного друга,—сказала Модеста, чтобы возобновить разговор, прерванный неловким замечанием г-жи Латурнель.

— Мадемуазель, преданность Эрнеста, пожалуй, может заставить меня поверить, что я чего-нибудь стою,— ответил Каналис,— тем более что мой дорогой Пилад сам преисполнен талантов; он был правой рукой самого известного из всех министров, какие были у нас со времени заключения мира. Хотя Эрнест и занимает прекрасное положение, он все же согласился быть моим наставником в политике; он делится со мною своими знаниями и опытом, хотя вполне может претендовать на более блестящую судьбу. О, он гораздо лучше меня!..— и, отвечая на жест Модесты, Каналис проговорил с очаровательной любезностью: — Ту поэзию, которую я выражаю в стихах, он носит в сердце. Я говорю об этом в его присутствии только потому, что он скромен, как монахиня.

— Полно, полно! — сказал Лабриер, не зная, как себя держать.— Ты похож, мой дорогой, на мамашу, желающую выдать дочку замуж.

— Как можете вы помышлять, сударь, о том, чтобы стать политическим деятелем? — спросил Шарль Миньон, обращаясь к Каналису.

— Для поэта — это все равно, что отречься от своего призвания,— сказала Модеста.— Политика — прибежище людей с практическим складом ума.

— Ах, сударыня, в наши дни парламентская трибуна — самое широкое поле деятельности; сражения в парламенте заменили собой рыцарские турниры, парламент будет местом сбора всех крупных интеллектов, как армия была некогда местом сбора всех смельчаков.

Каналис сел на своего конька и минут десять говорил о политике. Поэзия служит преддверием государственной деятельности, заявлял он. Оратор становится мыслителем, он прибегает к широчайшим обобщениям, руководит умами. Разве поэт перестает быть самим собой, когда указывает своей стране пути, ведущие в будущее? Каналис привел цитаты из Шатобриана, утверждая, что когда-нибудь в нем будут больше ценить политика, чем писателя. Французскому парламенту суждено стать маяком человечества. В наш век словесные бои заменили собой бои на полях сражений. Иное заседание палаты можно сравнить с Аустерлицем, а ораторы не уступают генералам, они отдают родине свою жизнь, свои силы и проявляют такую же отвагу и доблесть, как полководцы на поле брани. Разве слово — не величайшая затрата жизненной энергии, какую только может позволить себе человек? И так далее, и так далее.

Эта импровизированная речь, составленная из модных общих мест, но пестревшая звучными тирадами и новомодными словами, должна была доказать, что барон де Каналис, будущий граф де Каналис, станет со временем величайшим парламентским деятелем; она произвела глубокое впечатление на нотариуса, на Гобенхейма, на г-жу Латурнель и г-жу Миньон. Модеста, казалось, присутствовала на спектакле, и ее поза свидетельствовала о восхищении актером, которое могло сравниться только с восхищением Эрнеста ею самой. Бедный докладчик счетной палаты, знавший наизусть все эти пышные фразы Каналиса, воспринимал их сейчас совершенно иначе,— он ставил себя на место девушки, в которую влюблялся с каждой минутой все сильнее. Для этого искреннего человека живая Модеста затмила всех Модест, каких он создал в своем воображении, читая ее письма и отвечая на них.

Визит, продолжительность которого была заранее определена Каналисом, не желавшим, чтобы восхищение

его поклонников успело охладеть, закончился приглашением на обед в следующий понедельник.

— К тому времени нас уже не будет в Шале,— сказал граф де Лабасти,— оно снова переходит в полное распоряжение Дюме. Я же перебираюсь в мой прежний дом на основании шестимесячного контракта о праве выкупа, который я только что подписал с Вилькеном у моего друга Латурнеля.

— Желаю,— сказал Дюме,— чтобы Вилькен не был в состоянии вернуть деньги, которые вы ему одолжили.

— В этом доме,— сказал Каналис,— вас будет окружать обстановка, соответствующая вашему состоянию.

— Тому состоянию, которое мне приписывают,— возразил с живостью Шарль Миньон.

— Было бы очень печально,— произнес Каналис, повернувшись к Модесте и отвесив ей изысканный поклон,— если бы эта мадонна не имела рамки, достойной ее неземных совершенств.

Вот и все, что Каналис сказал о Модесте: он делал вид, будто не обращает на нее никакого внимания, и держался, как человек, которому воспрещена даже мысль о браке.

— Ах, дорогая госпожа Миньон, какой он умный! — сказала супруга нотариуса, когда в садике захрустел песок под ногами обоих парижан.

— Богат ли он? Вот в чем вопрос,— заметил Гобенхейм.

Модеста смотрела в окно, боясь упустить малейшее движение великого поэта, и не удостоила ни единым взглядом Эрнеста де Лабриера. Когда г-н Миньон возвратился в гостиную, а Модеста ответила на последний поклон друзей в ту минуту, как их коляска уже заворачивала за угол, и отошла от окна, чтоб сесть на свое место, начались глубокомысленные разговоры, как это обыкновенно бывает в провинции после первого посещения парижан. Гобенхейм повторил свой вопрос: «Богат ли он?» — в ответ на хвалебные речи г-жи Латурнель, Модесты и ее матери.

— Богат? — переспросила Модеста.— Не все ли равно? Разве вы не видите, что господин Каналис — один из людей, предназначенных занимать самые высокие

посты в государстве; у него есть нечто большее, чем состояние: он обладает всеми данными, чтобы его приобрести.

— Он будет министром или послом,— сказал г-н Миньон.

— И все же не исключена возможность, что его похоронят на казенный счет,— заметил нотариус.

— Почему? — спросил Шарль Миньон.

— Мне кажется, он способен промотать любое состояние, несмотря на щедрость мадемуазель Модесты, которая наделила его всеми данными для приобретения богатства.

— Может ли Модеста не быть щедрой по отношению к поэту, величающему ее мадонной? — усмехаясь, сказал Дюме, верный своему отвращению к Каналису.

Гобенхейм приготовлял стол для игры в вист с тем большим усердием, что со времени приезда г-на Миньона Латурнель и Дюме стали играть по десяти су за фишку.

— Признайся, душа моя,— сказал Модесте отец, стоя с ней у окна,— что папа думает обо всем. Если ты пошлешь сегодня вечером заказы своей прежней парижской портнихе и всем своим поставщикам, то через неделю ты появишься во всем блеске настоящей наследницы; а тем временем я займусь нашим переездом и устройством в большом доме. У тебя есть славный пони, не забудь сшить себе амазонку: обер-шталмейстер заслуживает такого внимания.

— Тем более что теперь нам придется устраивать прогулки для наших гостей,— сказала Модеста, на щеках которой вновь заиграл румянец.

— Секретарь почти все время молчал,— сказала г-жа Миньон.

— Он попросту недалек,— заявила г-жа Латурнель,— зато поэт был внимателен ко всем. Он поблагодарил моего мужа за его хлопоты по приисканию дома и сказал мне, что Латурнель, очевидно, руководствовался при этом женским вкусом. А секретарь сидел мрачный, как испанец; он глаз не сводил с Модесты и смотрел на нашу красоточку с таким видом, словно хотел ее проглотить. Взгляни он так на меня, я бы испугалась.

— У него приятный голос,— заметила г-жа Миньон.

— Он, наверно, приезжал в Гавр по поручению поэта, чтобы собрать для него сведения о нашем семействе,— сказала Модеста, украдкой посматривая на отца,— ведь именно его мы видели тогда в церкви.

Г-жа Дюме и супруги Латурнель ничего не возразили против такого объяснения поездки Эрнеста.

— Знаешь ли, Эрнест,— воскликнул Каналис, как только они отъехали от Шале,— я не встречал в парижском свете ни одной невесты, которую можно было бы сравнить с этой очаровательной девушкой!

— Увы, этим все сказано! — заметил Лабриер с глубокой горечью.— Она тебя любит или, вернее, полюбит. Твоя слава уже сделала половину дела. Словом, все в твоей власти. Я больше не поеду туда. Модеста бесконечно меня презирает, и она права. Зачем же мне подвергать себя мукам: любоваться, желать, обожать... Она никогда не будет моею.

Каналис уронил несколько сочувственных слов, в которых сквозило удовлетворение тем, что ему удалось еще раз оправдать на деле изречение Цезаря, и не скрыл своего желания порвать с герцогиней де Шолье. Не в силах вынести этого разговора, Лабриер вышел из коляски, сославшись на мнимую красоту ночи, бросился, как сумасшедший, к берегу моря и пробыл там в одиночестве до половины одиннадцатого, охваченный каким-то безумием: он то расхаживал стремительными шагами, произнося монологи, то останавливался как вкопанный, то опускался на землю, не замечая, какое беспокойство вызывает у двух таможенных стражников, наблюдавших за ним. Вначале он полюбил Модесту за развитой ум и задорную искренность, а теперь ко всем причинам, которые десять дней тому назад привели его в гаврскую церковь, прибавилось еще восхищение красотой девушки, то есть любовь безотчетная, любовь необъяснимая. Он вновь подошел к Шале, но пиренейские псы залаяли так свирепо, что он не мог предаться созерцанию окон Модесты. В любви все эти порывы засчитываются влюбленному не больше, чем ценится труд художника, скрытый под последним слоем красок. Однако они составляют сущность любви так же, как в невидимых для посторонних глаз усилиях заключается само искусство: эти порывы и эти усилия порождают истинного любовника

или великого художника, которых женщина и общество начинают боготворить иногда слишком поздно.

— Пусть так! — воскликнул Эрнест.— Я не уеду, я буду страдать, буду видеть и любить ее для себя одного, как эгоист! Модеста останется моим солнцем, моей жизнью! Я хочу вдыхать тот воздух, которым она дышит, радоваться ее радостями, страдать ее печалями даже в том случае, если она станет женой этого себялюбца Каналиса.

— Вот это называется любить, сударь! — произнес чей-то голос из-за придорожных кустов.— Что ж это? Неужели все любят мадемуазель де Лабасти?

И, появившись неожиданно на дороге, Бутша посмотрел на Лабриера. Эрнест, подавив свой гнев, смерил взглядом карлика при свете луны и сделал несколько шагов, ничего ему не отвечая.

— У солдат, которые служат под одними и теми же знаменами, должно быть больше чувства солидарности, чем у вас,— сказал Бутша.— Вы не любите Каналиса, да ведь и я от него не в восторге.

— Он мой друг,— ответил Эрнест.

— Вы, значит, тот самый секретарь! — заметил карлик.

— Ошибаетесь, сударь,— ответил Лабриер,— я не являюсь ничьим секретарем. Я имею честь быть членом совета одной из высших палат королевства.

— Так я имею удовольствие разговаривать с господином де Лабриером? — спросил Бутша.— Что касается меня, то я имею честь быть старшим клерком мэтра Латурнеля, главного советчика жителей Гавра, и, разумеется, мое положение лучше вашего. Да, я был так счастлив, что видел Модесту де Лабасти почти каждый вечер в продолжение четырех лет и рассчитываю жить подле нее, как королевский слуга, который всю свою жизнь проводит в Тюильри. Даже если бы мне предложили царский трон, я ответил бы: «Нет, я слишком люблю солнце!» Стоит ли говорить после этого, сударь, что я забочусь о ней больше, чем о самом себе, и с самыми лучшими намерениями. Думаете ли вы, что высокомерная герцогиня де Шолье благосклонно посмотрит на счастье будущей госпожи де Каналис, когда Филоксена, горнич-

ная сей знатной дамы, влюбленная в господина Жермена и встревоженная пребыванием в Гавре столь очаровательного камердинера, станет жаловаться, причесывая свою хозяйку, что...

— Откуда вы все это знаете? — спросил Лабриер, прерывая Бутшу.

— Во-первых, я клерк нотариуса,— ответил Бутша,— а затем разве вы не заметили моего горба? Горбуны догадливы и изобретательны, сударь. В Париже я выступил в роли двоюродного брата Филоксены Жакмен, родившейся в Гонфлере, где родилась также и моя мать, одна из бесчисленных Жакменов,— в Гонфлере имеется девять ветвей этого семейства. Итак, моя кузина, прельщенная мифическим наследством, рассказала мне многое...

— Герцогиня мстительна! — заметил Лабриер.

— Как королева, по словам Филоксены. Она до сих пор не может простить герцогу, что он всего-навсего ее муж. Она умеет так же сильно ненавидеть, как и любить. Я хорошо осведомлен о ее характере, набожности, слабостях, туалетах, вкусах, так как Филоксена сняла ради меня все покровы с ее души и тела. Я пошел в Оперу, чтобы увидеть госпожу де Шолье, и не пожалел о своих десяти франках (я говорю не о спектакле). Не скажи мне моя мнимая кузина, что ее хозяйка прожила пятьдесят весен, я счел бы себя чрезвычайно щедрым, дав ей тридцать лет. Годы еще не коснулись этой женщины!

— Да,— заметил Лабриер,— это камея, сохранившаяся благодаря своему каменному сердцу... Каналис будет весьма смущен, если герцогиня узнает о его планах... Надеюсь, сударь, вы прекратите свое шпионство, недостойное порядочного человека...

— Сударь,— сказал Бутша с гордостью,— для меня Модеста — государство. Я не занимаюсь шпионством, я предвижу! Герцогиня приедет сюда, если это понадобится, или будет спокойно жить в Париже, если я сочту это удобным...

— Вы?

— Я.

— Каким же образом? — спросил Лабриер.

— Вот взгляните,— сказал маленький горбун, срывая какой-то стебелек.—Этот злак воображает, будто лю-

ди строят свои дворцы специально для него, и что ж! — в конце концов он разрушает самые прочные мраморные стены, подобно тому, как народ, проникнув в здание феодализма, опрокинул его. Могущество слабого, который может всюду пробраться, превосходит могущество сильного, опирающегося на пушки. Нас трое швейцарских стрелков, и мы все дали клятву, что Модеста будет счастлива. Ради этого мы готовы пожертвовать даже честью. Прощайте, сударь. Если вы любите Модесту де Лабасти, забудьте об этом разговоре. Разрешите пожать вашу руку,— кажется, у вас есть сердце... Мне не терпелось взглянуть на Шале, я пришел сюда в ту минуту, когда *она* потушила свечу; собаки дали мне знать о вашем приближении, и я услышал ваши гневные слова; поэтому я взял на себя смелость сказать вам, что мы служим в одном и том же полку, под знаменем рыцарской преданности!

— В таком случае,— ответил Лабриер, пожимая руку горбуну,— я попрошу вас о дружеской услуге: скажите мне, любила ли кого-нибудь мадемуазель Модеста до своей тайной переписки с Каналисом?

— Что вы! Всякое сомнение оскорбительно! — глухо промолвил Бутша.— И даже теперь кто может знать, любит ли она? Знает ли это она сама? Она увлеклась умом, талантом, душой этого продавца стансов, этого торговца литературными снадобьями. Но она его разгадает,— мы разгадаем его. Я сумею заставить поэта проявить свой подлинный характер, я заставлю его сбросить маску светского человека, и тогда мы увидим его маленькую голову гордеца и честолюбца,— сказал Бутша, потирая руки.— И если только Модеста не полюбит его до безумия...

— Она пришла от него в восторг, словно от какого-то чуда! — воскликнул Лабриер, невольно выдавая свою ревность.

— Если он славный, честный человек, если он любит Модесту и достоин ее, и при всем этом откажется от герцогини,— продолжал Бутша,— тогда я обведу вокруг пальца герцогиню. Послушайте, сударь, вам надо идти вот по этой дороге, и через десять минут вы будете дома.

Однако Бутша тут же вернулся и окликнул несчаст-

ного Эрнеста, который, как подобает влюбленному, мог провести целую ночь в разговорах о Модесте.

— Сударь,— сказал ему Бутша,— я еще не имел чести видеть нашего великого поэта, а мне хочется понаблюдать за этим поразительным феноменом при исполнении им обязанностей салонного говоруна. Окажите мне услугу и приезжайте послезавтра провести вечер в Шале; оставайтесь подольше, так как за один час человека не раскусишь. Я первый узнаю, любит ли Каналис, может ли он полюбить и полюбит ли Модесту.

— Вы слишком молоды для того...

— Чтобы быть сердцеведом? — докончил Бутша мысль Лабриера.— Эх, сударь, все уроды родятся столетними стариками. Потом, видите ли, когда человек долго болеет, он становится более сведущим, чем сам врач, начинает понимать свою болезнь, что не всегда случается даже с добросовестными докторами, и в конце концов выздоравливает. То же происходит с мужчиной, когда он любит женщину, а она его презирает по причине безобразной внешности или горба: он начинает так хорошо разбираться в любви, что его принимают за соблазнителя. Одна только глупость человеческая неизлечима... В шесть лет (мне сейчас двадцать пять) я остался сиротой. Общественная благотворительность служила мне матерью, королевский прокурор — отцом. Не беспокойтесь,— проговорил он в ответ на жест Эрнеста,—я гораздо веселее, чем мое положение... Так вот, с шестилетнего возраста, когда дерзкий взгляд прислуги госпожи Латурнель дал мне почувствовать, что я не имею права любить, я люблю и изучаю женщин. Я начал с некрасивых: быка надо брать за рога. Вот почему первым объектом своих наблюдений я выбрал жену моего патрона, которая, без сомнения, относится ко мне безупречно. Возможно, я поступил нехорошо, но, что поделаешь, я разобрал ее характер до тонкости и кончил тем, что открыл странную уверенность, притаившуюся в глубине ее сердца: «Я не так некрасива, как это думают!» И, несмотря на истинное благочестие госпожи Латурнель, я мог бы, играя на этой струнке, привести ее на край пропасти... и столкнуть туда.

— А Модесту вы тоже изучали?

— Я уже говорил вам, кажется,— возразил кар-

лик,— что моя жизнь принадлежит ей так же, как Франция принадлежит королю! Понимаете ли вы теперь, зачем я занимался в Париже шпионством? Никто не знает лучше меня, сколько благородства, гордости, преданности, непосредственности, неисчерпаемой доброты, истинной веры, веселья, знаний, чуткости, приветливости заключено в душе, сердце и уме этого очаровательного создания!..

Бутша вынул платок, чтобы смахнуть слезу, и Лабриер долго жал ему руку.

— Я буду жить в ее сиянии! Каждое ее чувство находит отклик во мне. Видите, до чего крепко мы связаны, почти как природа и бог — светом и глаголом. Прощайте, сударь... Ни разу за всю мою жизнь я так много не болтал; но, увидев вас перед ее окнами, я понял, что вы ее любите по-моему.

Не ожидая ответа, Бутша оставил несчастного влюбленного, чье сердце преисполнилось радостью после этого разговора. Эрнест решил подружиться с Бутшей, не подозревая, что за многословием клерка скрывалось желание найти союзника в доме Каналиса. Какие только мысли, решения, планы не чередовались в голове Эрнеста, отгоняя сон! А его друг Каналис спал сном триумфаторов, сладчайшим после сна праведников.

За завтраком оба друга сговорились провести вечер следующего дня в Шале и впервые принять участие в провинциальном развлечении — в партии виста «по маленькой». Но чтобы скоротать время, они приказали оседлать лошадей, ходивших также в упряжке, и объехали окрестности, о которых они имели такое же смутное представление, как о далеком Китае, потому что Францию хуже всего знают сами французы.

Раздумывая о своем положении несчастного и презираемого вздыхателя, Эрнест занялся почти таким же разбором своих переживаний, как после вопроса, заданного Модестой в начале переписки. Несчастью приписывают свойство развивать добродетели, но оно развивает их только у добродетельных людей; поэтому такой чисткой совести занимаются лишь те, кто обладает врожденной нравственной чистоплотностью. Лабриер дал себе слово переносить все страдания со стойкостью спартанца, сохранять свое достоинство и ни в коем случае не

унижаться до подлости, меж тем как Каналис, ослепленный огромным приданым, решил ничем не пренебрегать ради того, чтобы пленить Модесту. У одного основной чертой была преданность, у другого — эгоизм, и в силу нравственного закона, довольно странного по своим последствиям, они привели этих двух людей к намерениям, противоположным их натуре. Человеку, занятому исключительно собой, предстояло разыграть самоотверженность, тогда как человеку, готовому все сделать для других,— удалиться на Авентинский холм гордости. Это явление наблюдается также в политике. Люди, причастные к ней, нередко выворачивают свой характер наизнанку, а публика теряется в догадках, не зная, какая же сторона лицевая.

После обеда друзья узнали от Жермена о прибытии обер-шталмейстера, которого Латурнель должен был ввести в тот же вечер в дом Миньонов. Г-жа д'Эрувиль нашла средство сразу же оскорбить нотариуса, передав этому достойному человеку через лакея, чтобы он явился к ней, вместо того чтобы попросту послать к нему своего племянника,— Латурнель всю жизнь вспоминал бы о посещении обер-шталмейстера. Низенький нотариус пришел, но, получив от его светлости приглашение отправиться с ним в коляске в Ингувиль, отказался, заявив, что должен сопровождать туда жену. Догадавшись по его недовольному виду, что была допущена какая-то оплошность, герцог сказал ему любезно:

— Если разрешите, я буду иметь честь заехать за вашей супругой.

Несмотря на явное возмущение деспотичной г-жи д'Эрувиль, герцог выехал вместе с нотариусом. Упоенная радостью при виде коляски, остановившейся у ее подъезда, и лакеев в королевской ливрее, которые откинули подножку этого великолепного экипажа, г-жа Латурнель настолько растерялась, что не сразу вооружилась перчатками, зонтиком, ридикюлем и достоинством, особенно когда узнала, что обер-шталмейстер лично заехал за ней. Уже сидя в коляске и расточая любезности маленькому герцогу, она воскликнула в порыве великодушия:

— А как же Бутша?

— Захватим и Бутшу,— сказал герцог улыбаясь.

Из гавани сбежались люди, привлеченные блеском этого экипажа, и, увидев в коляске трех маленьких мужчин и долговязую, сухопарую женщину, стали переглядываться со смехом.

— Если их припаять одного к другому, тогда, может, и получился бы подходящий кавалер для этой жерди! — сказал моряк из Бордо.

— Не надо ли вам, сударыня, еще что-нибудь захватить с собой,— шутливо спросил герцог, перед тем как отдать лакею приказание трогаться.

— Нет, ваша светлость,— ответила жена нотариуса и, густо покраснев, взглянула на мужа с таким видом, словно спрашивала: «Что я сделала плохого?»

— Его светлость оказал мне большую честь, обозначив мою жалкую особу словами *что-нибудь*,— заметил Бутша.— Ведь бедный клерк вроде меня попросту *ничто*.

Хотя это и было сказано со смехом, но герцог покраснел и промолчал. Великим мира сего никогда не следует подшучивать над людьми, стоящими ниже их. Шутка — это игра, в игре же всегда заложено понятие о равенстве. Вот почему во избежание неудобств этого временного равенства игроки имеют право не узнавать друг друга, как только партия окончена.

Предлогом для визита обер-шталмейстера послужило одно крупное дело: он хотел сделать доходным огромное пространство земли, бывшее когда-то морским дном и заключенное между устьями двух рек. Эти земли были присуждены государственным советом дому д'Эрувилей в полную собственность. Вопрос шел всего-навсего о том, чтобы построить плотины, осушить илистый грунт на полосе длиной в километр и площадью в 1200—1600 арпанов, прорыть каналы и проложить дороги. Когда герцог д'Эрувиль рассказал о расположении этих земель, Шарль Миньон обратил его внимание на необходимость выждать, пока природа укрепит зыбкую почву, покрыв ее растительностью.

— Только время, которое по воле провидения обогатило ваш дом, герцог, способно довести до конца это дело,— сказал он в заключение.— Благоразумнее всего было бы выждать лет пятьдесят, прежде чем приниматься за такие работы.

— Надеюсь, это не последнее ваше слово, граф,— ответил герцог.— Приезжайте в Эрувиль и познакомьтесь на месте с положением вещей.

Шарль Миньон ответил, что всякому капиталисту необходимо обдумать подобное дело на досуге, дав таким образом г-ну д'Эрувилю повод вновь посетить Шале. Модеста произвела большое впечатление на герцога, и он стал просить о чести принять ее у себя, говоря, что его сестра и тетка много слышали о мадемуазель Миньон и будут счастливы с ней познакомиться. В ответ на это Шарль Миньон предложил лично представить дочь обеим дамам, когда приедет к ним с приглашением на обед, который он собирается дать по случаю новоселья, как только переедет в виллу, на что г-н д'Эрувиль ответил согласием. Синяя орденская лента, титул, а главное, восторженные взгляды герцога не оставили Модесту равнодушной, но она проявила много такта, благородства и умения себя держать. Герцог удалился с явной неохотой, получив приглашение бывать каждый вечер в Шале ввиду всеми признанной невозможности для придворного Карла X провести хоть один вечер без партии в вист. Таким образом, на следующий вечер Модеста должна была увидеть одновременно трех своих поклонников. Что бы ни говорили молодые девушки и как бы ни требовала логика сердца всем пожертвовать избраннику, все же весьма лестно быть окруженной поклонниками — людьми выдающимися, знаменитыми или носителями громкого имени, которые стараются блеснуть перед вами или вам понравиться. Пусть даже Модеста проиграет от этого в глазах читателей, но, как она признавалась впоследствии, чувства, выраженные в ее письмах, поблекли перед удовольствием вызвать столкновение трех столь различных умов, трех претендентов, из которых каждый мог бы своим предложением оказать честь самому требовательному семейству. Тем не менее к ее самолюбивому торжеству примешивалась грусть, не лишенная озлобления,— следствие глубокой сердечной раны, хотя Модеста и уверяла себя, что все это просто неудача. Поэтому, когда отец сказал ей улыбаясь:

— Ну, как, Модеста, желаешь ты стать герцогиней? — она ответила, делая насмешливый реверанс:

— Несчастье сделало меня философом.

— Вы предпочитаете быть только баронессой? — спросил Бутша.

— Или виконтессой,— возразил отец.

— Каким же это образом? — с живостью спросила Модеста.

— Если ты примешь предложение де Лабриера, то он по своему положению легко добьется от короля позволения наследовать мой герб и титулы.

— О, как только потребуется надеть маску, этот человек не станет церемониться,— ответила Модеста с горечью.

Бутша ничего не понял в этом сарказме, смысл которого могли разгадать только родители Модесты и Дюме.

— В вопросах брака все мужчины надевают маску,— ответила г-жа Латурнель,— а женщины подают в этом пример. Немало я уж живу на свете и постоянно слышу: такой-то или такая-то сделали хорошую партию; очевидно, для одного из супругов партия-то оказалась плохой.

— Брак,— заметил Бутша,— похож на судебный процесс: одна из сторон всегда бывает недовольна; но если один супруг дурачит другого, то, значит, половина всех людей, состоящих в браке, разыгрывает комедию в ущерб другой половине.

— К какому же выводу вы приходите, Бутша? — спросила Модеста.

— К выводу о необходимости строжайшего наблюдения за всеми маневрами противника,— ответил клерк.

— Что я тебе говорил, милочка? — сказал Шарль Миньон, намекая на свой разговор с дочерью во время их прогулки по берегу моря.

— Мужчины, подыскивая себе невесту, надевают множество личин; также и матери, желая сбыть дочерей с рук, навязывают им различные роли,— сказал Латурнель.

— Следовательно, разрешается прибегать к военным хитростям? — спросила Модеста.

— Да, как с той, так и с другой стороны,— воскликнул Гобенхейм,— тогда в игре будут равные шансы!

Разговор велся во время игры в вист, и как говорят в просторечии, из пятого в десятое, причем все присутст-

вующие не преминули высказать свое мнение о г-не д'Эрувиле: он очень понравился маленькому нотариусу, маленькому Дюме и маленькому Бутше.

— Я думаю,— сказала г-жа Миньон с улыбкой,—что госпожа Латурнель и мой бедный муж кажутся здесь настоящими великанами.

— К счастью для полковника, он вовсе не высокого роста,— ответил Бутша в то время, как его патрон сдавал карты,— так как высокий и вместе с тем умный человек — исключение.

Без спора, приведенного здесь о законности брачных хитростей, можно было бы найти скучным описание вечера, которого с таким нетерпением ожидал Бутша. А помимо этого, и богатство — причина стольких тайных подлостей,— возможно, придаст мелочам частной жизни значительный интерес, который еще усилится благодаря описанию социальных отношений, так верно подмеченных Эрнестом в его ответе на письмо Модесты.

На следующее утро приехал Деплен. Он провел в Шале около часу,— пока посылали в Гавр за лошадьми и запрягали их в коляску. Осмотрев г-жу Миньон, он сказал, что больной можно вернуть зрение, и назначил операцию через месяц после своего визита. Разумеется, эта важная врачебная консультация происходила в присутствии всех обитателей Шале, которые с трепетом ожидали приговора знаменитости. Прославленный член Академии наук задал слепой десяток кратких вопросов, внимательно исследуя у окна ее глаза при ярком дневном свете. Модеста была поражена, поняв, как дорого было время для этого знаменитого врача; в самом деле, его коляска была наполнена книгами, которые ученый собирался прочесть на обратном пути в Париж, откуда он уехал накануне вечером, употребив ночь для путешествия и сна. Быстрота и ясность, с которой Деплен отвечал на все вопросы г-жи Миньон, его манеры и деловой тон — все это впервые дало Модесте правильное представление о таланте. Она почувствовала огромную разницу между Каналисом, человеком заурядным, и Депленом, человеком более чем выдающимся. Даровитые люди черпают удовлетворение своей законной гордости в сознании собственных заслуг и в прочности окружающей их славы, у них не возникает желания подав-

лять простых смертных своим величием. Кроме того, непрестанная борьба с миром людей и вещей не оставляет им времени для рисовки: к ней прибегают только тщеславные и самовлюбленные герои моды, которые спешат собрать жатву кратковременного успеха, напоминая своей жадностью таможенных чиновников, взимающих пошлину со всего, что попадает им под руку. Модеста была тем более очарована великим врачом, что ее изящная красота, казалось, поразила даже этого человека, лечившего самых различных женщин и уже давно привыкшего рассматривать их с лупой и скальпелем в руке.

— Было бы поистине обидно,— сказал он ей тем любезным тоном, который был ему иногда свойствен и не вязался с приписываемой ему резкостью,— если бы мать была лишена возможности видеть такую прелестную дочь.

Модеста пожелала самолично подать скромный завтрак — единственное угощение, принятое великим хирургом. Затем вместе с отцом и Дюме она проводила до садовой калитки ученого, которого ждало еще много больных, и, стоя около его коляски, еще раз спросила, глядя на него глазами, сияющими надеждой:

— Значит, дорогая моя маменька увидит меня?

— Да, милый блуждающий огонек, обещаю вам это,— ответил он, улыбаясь.— А я не способен вас обмануть, у меня у самого есть дочь!

Коляска тронулась после этих слов Деплена, полных неожиданной сердечности. Ничто так не очаровывает, как непредвиденные черточки доброты, свойственные талантливым людям.

Визит хирурга стал целым событием и оставил в душе Модесты светлое воспоминание. Девушка простодушно восхищалась этим человеком, жизнь которого принадлежала другим и в котором привычка облегчать физические страдания людей уничтожила проявления эгоизма. Вечером, когда в гостиной Шале собрались Гобенхейм, супруги Латурнель, Бутша, Каналис, Эрнест и герцог д'Эрувиль, гости стали поздравлять хозяев, и все говорили о радостной надежде, внушенной Депленом. Естественно, что разговор, где главную роль играла та Модеста, которую мы знаем по ее письмам, коснулся и самого Деплена, чей гений, к несчастью для его славы, мог быть

оценен только сонмом ученых и профессоров. У Гобенхейма вырвались слова, которые в наши дни выражают, по мнению экономистов и банкиров, сокровенную сущность таланта:

— Он зарабатывает бешеные деньги.

— Его считают очень корыстолюбивым,— заметил Каналис.

Похвала, с которой Модеста отозвалась о Деплене, неприятно подействовала на поэта. Тщеславный мужчина похож на кокетку: им обоим кажется, будто они что-то теряют, если похвалы и любовь относятся не к ним. Вольтер завидовал уму какого-то плута, которым Париж восхищался в течение двух дней; избалованная поклонением герцогиня чувствует себя оскорбленной взглядом, брошенным на ее горничную. Суетность людей такова, что богачи считают себя обездоленными, если частичка внимания достанется бедняку.

— Неужели даже вы, сударь, думаете,— спросила Модеста улыбаясь,— что к таланту следует подходить с обычной меркой?

— К таланту? Прежде всего следовало бы определить это понятие,— ответил Каналис.— Одно из отличительных свойств таланта — способность изобретать, открывать нечто новое: формы, системы или источники силы. Наполеон, например, несомненно, был изобретателем, помимо других признаков его гениальности. Он изобрел особый метод ведения войны. Вальтер Скотт, Линней, Жоффруа Сент-Илер, Кювье — тоже изобретатели, таланты в полном смысле этого слова. Они обновляют, расширяют или видоизменяют науку или искусство. Что же касается Деплена, то весь его огромный талант заключается только в уменье правильно применять уже открытые законы и определять, в силу прирожденного дарования, свойства каждого темперамента и час, указанный природой для операции. Он, как и Гиппократ, не основал самой науки, не изобрел системы, как Гален, Бруссе или Радзори. Это гений-исполнитель, подобно Мошлесу — виртуозу-пианисту, Паганини — виртуозу-скрипачу, и Фаринелли — виртуозу-певцу. Хотя эти люди и обладают огромными способностями, они ничего не создали в области музыки. Если выбирать между Бетховеном и Каталани, то разрешите мне присудить Бетховену

бессмертный венок гения и мученика, а Каталани—груду монет по сто су. Мир навсегда останется должником одного, тогда как с другой мы будем квиты. Мы с каждым днем чувствуем себя все более обязанными Мольеру, а Барону мы заплатили более чем достаточно.

— Мне кажется, друг мой, что ты отводишь слишком много места красивым идеям,—сказал Эрнест де Лабриер мягким и мелодичным голосом, внезапно поразившим присутствующих своим контрастом с безапелляционным тоном поэта, в голосе которого вместо обычных ласкающих нот звучала ораторская напыщенность.

— Талант надо ценить главным образом соразмерно его полезности,— продолжал Эрнест.— Пармантье, Жаккар и Папен тоже таланты, и когда-нибудь им воздвигнут памятники. В известном смысле они изменили или изменят лицо государства. С этой точки зрения Деплен всегда будет являться перед взором мыслителя в окружении целого поколения людей, чьи слезы он осушил, чьи страдания исцелил своей всемогущей рукой.

Достаточно было Эрнесту высказать это мнение, чтобы Модеста решила его оспаривать.

— Если рассуждать таким образом, сударь,— сказала она,— гением окажется и тот, кто найдет средство жать хлеб, не портя соломы,— при помощи машины, заменяющей труд десяти жнецов?

— Конечно, дочка,— заметила г-жа Миньон,— такого человека благословляли бы бедняки, потому что хлеб подешевел бы, а тех, кого благословляют бедняки, благословляет сам бог.

— Что ж, значит, полезности надо отдавать предпочтение перед искусством? — возразила Модеста, покачав головой.

— А без полезности не было бы и искусства,—сказал Шарль Миньон.— На что мог бы опереться поэт, чем стал бы он жить, где преклонил бы голову и кто стал бы ему платить?

— Ах, папенька, такое мнение достойно капитана дальнего плавания, лавочника, обывателя!.. Ну пусть Гобенхейм и господин докладчик счетной палаты придерживаются его,— сказала она, указывая на Лабриера.— Я понимаю: они заинтересованы в разрешении этой со-

циальной проблемы. Но вы! Ведь вся ваша жизнь была бесплоднейшей поэзией нашего века, ибо ваша кровь, пролитая во всей Европе, и те нечеловеческие страдания, которых потребовал от вас гигант, не помешали Франции лишиться десяти департаментов, завоеванных Республикой. Как можете вы быть сторонником такого рассуждения, чрезвычайно «старозаветного», как говорят романтики? Сразу видно, что вы вернулись из Азии.

Непочтительность этих слов еще подчеркивалась гордым, презрительным тоном, к которому сознательно прибегла Модеста. Он в равной мере удивил г-жу Латурнель, г-жу Миньон и Дюме. Г-жа Латурнель ничего не понимала, хотя и смотрела во все глаза. Бутша, внимание которого можно было сравнить с вниманием шпиона, бросил красноречивый взгляд на г-на Миньона, заметив, что лицо его внезапно покрылось краской возмущения.

— Еще немного, сударыня, и вы отнеслись бы неуважительно к своему отцу,— сказал, улыбаясь, полковник, которому взгляд Бутши многое разъяснил.— Вот что значит баловать своих детей.

— Я единственная дочь,— дерзко ответила Модеста.

— Единственная,— повторил нотариус с ударением.

— Сударь,— сухо возразила Модеста Латурнелю,— мой отец очень доволен тем, что я обращаюсь в его наставника; он дал мне жизнь, я даю ему знания,— он хоть чем-нибудь будет мне обязан.

— На все есть время, а главное, место,— сказала г-жа Миньон.

— Но мадемуазель Модеста права,— заметил Каналис и, встав, оперся на камин в одной из самых выигрышных поз своей коллекции.— Бог в своей предусмотрительности дал возможность человеку находить себе пищу и одежду, но не даровал ему непосредственно искусства. Он сказал человеку: «Чтобы жить, ты будешь сгибать спину, склоняясь к земле, чтобы мыслить, ты вознесешься к небесам!» Духовные потребности имеют для человечества не меньшее значение, чем потребности материальные. С практической точки зрения вдохновенная эпопея не сравнится, конечно, с мисочкой жидкого супа, который

выдают беднякам в благотворительном обществе. Прекраснейшая идея не заменит корабельного паруса. Разумеется, котел автоклава, подрагивающий под действием пара, удешевляет метр коленкора на тридцать су, но эта машина и все усовершенствования в промышленности не вдохнут живую струю в душу народа и не расскажут грядущим поколениям о жизни этого народа; египетское искусство, мексиканское искусство, греческое искусство, римское искусство с их шедеврами, которые считаются бесполезными, вечное свидетельство существования народов, создавших эти творения, тогда как крупные нации, лишенные гениев, исчезли бесследно с лица земли, не оставив, так сказать, даже своей визитной карточки!.. В гениальных творениях сосредоточена сущность цивилизации, и тем самым обусловлена их огромная полезность. Я уверен, что в ваших глазах пара сапог не может быть ценнее театральной пьесы, и церковь Сент-Уана вы предпочтете какой-нибудь мельнице. Не правда ли? Ну так вот: целый народ может испытывать те же чувства, какие испытывает отдельный человек, а заветное желание каждого человека — жить и после смерти в чем-либо, созданном им, так же, как он физически воспроизводит себя в своих детях. Бессмертие же народа — в творчестве его гениев. В наше время Франция дает убедительные доказательства правоты моего утверждения. Конечно, Англия обогнала ее в промышленности, в торговле и мореплавании, а все же, мне думается, Франция стоит во главе мира благодаря своему искусству, своим талантам, изяществу своих изделий. Любой художник, любой мыслитель стремится в Париж, чтоб именно в нем получить признание своего мастерства. В наше время только во Франции существует подлинная школа живописи, и с помощью наших книг мы будем царить более надежно и прочно, чем с помощью меча. Если встать на точку зрения Эрнеста, надо уничтожить прекрасные цветы, женскую красоту, музыку, живопись и поэзию, но, спрашивается, кто примирился бы с такой жизнью?

Все, что полезно,— безобразно, отвратительно. Кухня необходима в доме, но вы избегаете сидеть в кухне, вы предпочитаете ей гостиную, которую украшаете, как вот эту гостиную, совершенно ненужными вещами. Ну, для чего вот эта роспись, эти резные панели? Шестнадца-

тый век мы зовем веком Возрождения, и совершенно справедливо называем его так. Этот век был зарей нового мира, люди будут говорить о нем даже и тогда, когда изгладятся из памяти человечества несколько предшествующих веков, вся заслуга которых только в том, что они были когда-то, как и миллионы людей, не имевших никакого значения в жизни того или иного поколения.

— Пусть ветошь, все равно! Мила моя мне ветошь,— шутливо произнес герцог д'Эрувиль, когда наступило молчание после напыщенной декламации Каналиса.

— А что такое искусство, которое, по-вашему, единственная сфера, достойная гения, где он призван заниматься эквилибристикой? — напал на Каналиса Бутша.— Существует ли оно в действительности? Или это только пышно изукрашенная ложь, в которую общественный человек привык верить. Зачем вешать в своей комнате нарисованный нормандский пейзаж, когда я могу пойти посмотреть настоящий пейзаж, который превосходно удался господу богу? В мечтах мы создаем поэмы прекраснее «Илиады». За небольшую цену я могу найти в Валонье, Карантане, а также в Провансе и Арле живых Венер, не менее прекрасных, чем творения Тициана. «Судебная газета» печатает романы получше романов Вальтера Скотта, с ужасной развязкой, кровавой, а не чернильной. Счастье и добродетель — выше искусства и гениальности.

— Браво, Бутша! — воскликнула г-жа Латурнель.

— Что он сказал? — спросил Каналис у Лабриера, с трудом отрывая взгляд от Модесты, ибо он с наслаждением читал прелестное наивное восхищение в ее глазах и позе.

Презрение Модесты, которое пришлось вынести Лабриеру, а главное, непочтительные слова, обращенные ею к отцу, настолько огорчили бедного юношу, что он не ответил Каналису. Его взгляд, скорбно устремленный на своенравную девушку, выражал глубокое раздумье. Доводы клерка были подхвачены герцогом д'Эрувилем; он с жаром развил их, сказав в заключение, что религиозные экстазы святой Терезы несравненно выше творений лорда Байрона.

— Вы неправы,— ответила Модеста,— эти экстазы — поэзия глубоко личная, между тем как гений Байрона или Мольера приносит пользу человечеству.

— Ну вот, ты и противоречишь господину Каналису,— с жаром возразил Шарль Миньон. — Ты требуешь теперь, чтобы гений был полезен, словно хлопок, но, быть может, и логика кажется тебе столь же отжившей и старозаветной, как твой бедный отец.

Бутша, Лабриер и г-жа Латурнель обменялись полунасмешливыми взглядами, которые раздосадовали Модесту; она растерялась и не нашлась, что ответить.

— Успокойтесь, мадемуазель,— сказал Каналис, улыбаясь ей,— мы не побиты и не уличены в противоречии. Произведение искусства, к какой бы области оно ни относилось, к литературе, музыке, живописи, скульптуре или архитектуре, имеет для общества и чисто материальную пользу в такой же мере, как коммерческие товары. Искусство — не что иное, как торговля, оно подразумевает ее. Книга приносит теперь автору около десяти тысяч франков, а для ее издания требуется наличие типографии, бумажной фабрики, книжной лавки, словолитни, то есть многие тысячи рабочих рук. Исполнение симфонии Бетховена или постановку оперы Россини также обслуживают рабочие руки, машины и целые отрасли производства. Стоимость какого-нибудь памятника еще нагляднее подтверждает мои слова. Вот почему можно смело сказать, что гениальные произведения покоятся на чрезвычайно дорогой основе, которая не может не приносить пользы рабочему.

Развивая это положение, Каналис говорил некоторое время чрезвычайно образно, сам наслаждаясь своим красноречием, но с ним случилось то же, что с большинством завзятых говорунов: он вернулся к исходной точке разговора и, не замечая этого, оказался одного мнения с Лабриером.

— Я с удовольствием вижу, дорогой барон,— тонко заметил герцог д'Эрувиль,— что вы будете прекрасным конституционным министром.

— О!..—воскликнул Каналис с величественным жестом.— Что доказываем мы всеми этими спорами? Ту извечную истину, что все — правда и все — ложь. Как

моральные истины, так и живые существа изменяются до неузнаваемости в зависимости от окружающей их среды.

— Общество живет признанными истинами,— заметил герцог д'Эрувиль.

— Какое легкомыслие! — тихо сказала г-жа Латурнель своему мужу.

— Он поэт,— ответил Гобенхейм, услышав эти слова.

Каналис, который полагал, что он стоит бесконечно выше своих слушателей, и, вероятно, был прав в своем последнем философском выводе, принял за признак невежества холодок, отразившийся на лицах присутствующих; но он увидел, что понят Модестой, и остался доволен собой. Он и не подозревал, как оскорбителен был его монолог для провинциалов, ибо главная их забота — доказать парижанам существование, ум и благоразумие провинции.

— Давно ли вы видели герцогиню де Шолье? — спросил герцог у Каналиса, чтобы переменить разговор.

— Я расстался с ней шесть дней тому назад,— ответил Каналис.

— Как ее здоровье? — продолжал герцог.

— Превосходно.

— Окажите любезность, передайте ей поклон от меня, когда будете писать.

— Говорят, она очаровательна, правда это? — спросила Модеста, обращаясь к герцогу.

— Барон может ответить вам с бо́льшим знанием дела, чем я,— сказал обер-шталмейстер.

— Более чем очаровательна,— проговорил Каналис, не отступая перед коварным намеком д'Эрувиля.— Но я пристрастен, мадемуазель: герцогиня де Шолье — мой друг уже десять лет. Ей я обязан всем, что во мне есть хорошего, она оградила меня от опасностей света. Наконец, герцог де Шолье помог мне вступить на тот путь, который я избрал. Без покровительства этой семьи король и принцессы могли бы забыть о таком незначительном поэте, как я; вот почему моя привязанность к герцогине будет всегда преисполнена благодарности.

Все это было сказано со слезами в голосе.

— Как мы должны любить вдохновительницу стольких чудесных песен, женщину, внушившую вам такое прекрасное чувство! — сказала Модеста растроганно. — Можно ли представить себе поэта без музы?

— У такого поэта не было бы сердца, он сочинял бы стихи, похожие на стихи Вольтера, который никогда никого не любил, кроме Вольтера,— ответил Каналис.

— А помните, как в Париже вы оказали мне честь откровенным признанием? Вы еще говорили тогда, что не испытываете тех чувств, которые выражаете в своих произведениях? — спросил бретонец у Каналиса.

— Меткий удар, храбрый воин,— ответил поэт, улыбаясь.— Но знайте, что вполне позволительно вкладывать чувство и в творчество и в реальную жизнь. Можно выражать прекрасные чувства, не испытывая их, и испытывать эти чувства, не будучи в силах их выразить. Мой друг Лабриер любит до потери рассудка,— великодушно сказал он, глядя на Модесту,— я же хоть и люблю, без сомнения, так же сильно, как он, но полагаю, если только не обольщаюсь, что сумел бы излить свою любовь в литературной форме, соответствующей ее глубине. Однако я не поручусь, мадемуазель,— проговорил он, повернувшись к Модесте с несколько утрированным изяществом,— что завтра же не потеряю рассудка и...

Поэт выходил победителем из любого затруднения и мгновенно сжигал в честь своей любви все палки, которые ему вставляли в колеса. Модеста была поражена этим неизвестным ей доселе умом парижанина, придававшим блеск пышным фразам говоруна.

— Каков акробат! — сказал Бутша на ухо низенькому Латурнелю, выслушав великолепнейшую тираду о католической религии и о счастье иметь женой набожную женщину; эта тирада была преподнесена Каналисом в ответ на какое-то замечание г-жи Миньон.

На глаза Модесты как будто была надета повязка. Обаяние речей Каналиса и внимание, которое она заранее решила ему уделять, мешали девушке видеть то, что тщательно отмечал Бутша, а именно — декламаторские приемы, отсутствие простоты, напыщенность, заменяющую чувство, и все несообразности, внушившие клерку его несколько резкое сравнение. В то время как

г-н Миньон, Дюме, Бутша и Латурнель удивлялись непоследовательности речей Каналиса, упуская из виду, что она вообще свойственна своенравно-капризной французской беседе, Модеста восхищалась гибкостью поэта и, увлекая его за собой по извилистым тропинкам фантазии, думала: «Он меня любит!» Бутшу и остальных зрителей этого «представления» поражал в поэте основной недостаток эгоистов — Каналис же слишком явно его обнаруживал, как и все люди, привыкшие разглагольствовать в гостиных. То ли Мельхиор заранее схватывал мысль собеседника, то ли вовсе не слушал или же обладал способностью одновременно и слушать и думать о другом, но его лицо обычно выражало рассеянность, которая расхолаживает собеседников и оскорбляет их гордость. Не слушать — это не только отсутствие вежливости, но и признак пренебрежения. Между тем у Каналиса эта привычка заходила иногда слишком далеко. Он часто забывал ответить на обращенный к нему вопрос и до невежливости резко переходил к той теме разговора, которая его занимала. Если эту дерзость и принимают без протеста от выдающегося человека, она все же может заронить в сердце искру вражды и желание отомстить, а если она исходит от равного, то способна уничтожить дружбу. Случалось, что Мельхиор заставлял себя выслушать собеседника, но тогда он впадал в другую ошибку: он только снисходил до разговора, а не отдавался ему всей душой; такая половинчатая жертва менее оскорбительна, чем невнимание, но она все же неприятно действует на слушателя и вызывает у него недовольство. Ничто так не окупается в общении с людьми, как милостыня внимания. «Имеющий уши да слышит» — не только евангельская истина, но и прекрасная житейская мудрость. Соблюдайте ее, и вам простится все, даже пороки. Каналис старался переломить себя, желая понравиться Модесте, и был с ней любезен, но с другими слишком часто оставался самим собой.

Модеста, безжалостная к мучениям десяти остальных слушателей, попросила Каналиса продекламировать одно из его произведений: она слышала, что он превосходный чтец. Каналис взял томик, который протянула ему Модеста, и проворковал (определение наиболее точное) то из своих стихотворений, которое считается лучшим, а

именно подражание «Любви ангелов» Мура, озаглавленное Vitalis [1]; однако оно было встречено зевками со стороны г-жи Латурнель, г-жи Дюме, Гобенхейма и кассира.

— Если вы, сударь, вдобавок ко всем вашим качествам еще хорошо играете в вист, я, право, еще ни разу не встречал такого совершенства в образе человека,— сказал Гобенхейм, предлагая Каналису пять карт, сложенных веером.

Эти слова вызвали смех, так как выражали мнение всех присутствующих.

— Я играю достаточно хорошо, чтобы провести в провинции остаток моих дней,— ответил Каналис. — Для любителей виста здесь было слишком много поэзии и философии,— досадливо прибавил он, бросив томик своих стихов на подзеркальник.

Этот пустячный эпизод указывает, какие опасности ожидают салонного героя, когда он, подобно Каналису, покидает свою обычную сферу; он напоминает тогда актера — любимца известного рода публики, талант которого блекнет, как только он выходит из своей среды и выступает на подмостках первоклассного театра.

Каналис играл в одной партии с герцогом, Гобенхейм оказался партнером Латурнеля. Модеста села около поэта, к большому огорчению бедного Эрнеста,— он следил за малейшими изменениями в выражении лица этой своенравной девушки и видел, что она все больше поддается обаянию Каналиса. Лабриер еще не знал, что Мельхиор наделен даром обольщения, в котором природа часто отказывает искренним людям, обычно довольно застенчивым. Этот дар требует смелости, большой гибкости в применении средств, вольтижировки ума и даже известной доли актерских способностей. Но разве в душе всякий поэт не комедиант? Между способностью выражать чувства, которые не испытываешь, но постигаешь в других, прекрасно улавливая их оттенки, и притворством, к которому прибегают, желая добиться успеха на подмостках частной жизни, огромная разница. Од-

---

[1] Дыхание жизни *(лат.)*.

нако если поэт заражен лицемерием, необходимым светскому человеку, то он сознательно направляет свое дарование на то, чтобы выразить любое чувство применительно к обстоятельствам, подобно тому как выдающийся человек, обреченный на одиночество, дает выход своему сердцу в игре воображения.

«Ради миллионов старается,— горестно думал Лабриер,— и так хорошо сумеет разыграть страсть, что Модеста поверит в нее!»

И вместо того, чтобы попытаться превзойти соперника любезностью и остроумием, Лабриер последовал примеру герцога д'Эрувиля: он сделался сумрачным, беспокойным, натянутым. Но в то время как придворный наблюдал за выходками молодой наследницы, изучая ее характер, Эрнест терзался мрачной и тяжелой ревностью,—ведь он еще не добился ни единого взгляда от своего кумира. Он вышел на несколько минут в сад вместе с Бутшей.

— Все кончено,— проговорил Лабриер,— она без ума от него, я же ей более чем неприятен. Что ж, она права! Каналис очарователен, он даже молчит умно, глаза его выражают страсть, а гиперболы так поэтичны.

— Честный ли он человек? — спросил Бутша.

— О да! — ответил Лабриер.— Он прямодушен, рыцарски благороден и, подчинившись влиянию такой девушки, как Модеста, избавится от мелких недостатков, которые привила ему госпожа де Шолье.

— Вы славный малый,— сказал маленький горбун.— Но может ли он любить и полюбит ли ее?

— Не знаю,— ответил Лабриер.— Говорила ли она обо мне? — спросил он, помолчав.

— Да,— сказал Бутша и передал Лабриеру вырвавшиеся у Модесты слова относительно маски.

Лабриер опустился на скамью и закрыл лицо руками; он не мог сдержать слез и не хотел показать их Бутше; но карлик был достаточно проницателен, чтобы догадаться о них.

— Что с вами, сударь? — спросил Бутша.

— Она права,— проговорил Лабриер, резким движением поднимаясь со скамьи.— Я негодяй!

Он признался Бутше в обмане, на который его склонил Каналис, заметив при этом, что хотел рассеять заблуждение Модесты прежде, чем она сама снимет с себя маску, и стал по-детски жаловаться на свою несчастную судьбу. Бутша почувствовал к нему симпатию, видя в сетованиях Лабриера любовь с ее наивной непосредственностью, с ее искренней и глубокой тоской.

— Но почему вы не хотите показать себя в выигрышном свете перед Модестой,— спросил он юношу,— почему позволяете сопернику пускать в ход все его средства обольщения?

— Так, значит, вы ни разу не испытывали,— ответил Лабриер,— как сжимается горло, когда хочешь заговорить с ней, как пробегает холодок у корней волос и по всему телу, когда ее взгляд хотя бы мимоходом останавливается на вас.

— Вы еще не совсем потеряли голову: я заметил ваше мрачное уныние, когда она, правда иносказательно, заявила своему почтенному отцу: «Вы тупица».

— Сударь, я слишком ее люблю! Для меня такие ее слова — нож в сердце, настолько они противоречат совершенствам, которые я в ней нахожу.

— А Каналис оправдал ее,— ответил Бутша.

— Будь у нее больше самолюбия, чем сердца, не стоило бы и жалеть о ней,— возразил Лабриер.

В это время Модеста в сопровождении проигравшегося Каналиса, своего отца и г-жи Дюме вышла в сад, чтобы насладиться свежестью звездной ночи. Пока девушка гуляла по дорожке с поэтом, Шарль Миньон, отойдя от них, подошел к Лабриеру.

— Вашему другу, сударь, следовало бы стать адвокатом,— сказал он, улыбаясь и внимательно глядя на молодого человека.

— Не судите слишком поспешно о поэте, граф. К нему нельзя подходить с той же меркой, что и к заурядному человеку вроде меня,— ответил Лабриер.— У поэта есть высокое назначение. По своей натуре он не может не видеть поэтической стороны жизни, не выражать поэзии всего сущего. Там, где вы замечаете противоречие, он только остается верен своему призванию. Он похож

на художника, одинаково хорошо изображающего мадонну и куртизанку. Мольер дал правдивые образы и стариков и юношей, а у него, разумеется, была трезвая голова. Игра ума, развращающая обыкновенных людей, не оказывает никакого влияния на характер действительно великого человека.

Шарль Миньон пожал руку Лабриеру, говоря:

— Но ведь при такой гибкости он может, пожалуй, оправдать в собственных глазах поступки диаметрально противоположные, особенно же в политике.

— Ах, мадемуазель,— вкрадчивым голосом отвечал в эту минуту Каналис в ответ на лукавое замечание Модесты,— не думайте, что разнообразие ощущений способно хоть в малейшей мере повлиять на силу чувства. Поэты любят вернее и преданнее, чем другие люди. Прежде всего не ревнуйте поэта к тому, что принято называть его музой. Счастлив удел жены занятого человека! Послушайте жалобы женщин на праздность мужей, когда те не имеют профессии или же благодаря своему богатству пользуются излишним досугом, и вы поймете, что высшее счастье парижанки — это свобода и неограниченная власть у себя дома. И вот мы, поэты, позволяем женщине взять в свои руки бразды правления в семейной жизни, так как не способны унизиться до тирании, к которой прибегают мелочные люди. У нас есть более интересное дело. Если я когда-нибудь женюсь,— а это, клянусь вам, для меня еще очень отдаленная катастрофа,— я желал бы, чтобы моя жена сохранила за собой ту же духовную свободу, что и любовница,— не в этом ли источник всех женских чар?

Каналис проявил все свое остроумие и обаяние, говоря о любви, браке, преклонении перед женщиной; он спорил с Модестой и всячески развлекал ее, пока г-н Миньон, успевший за это время присоединиться к ним, не воспользовался минутным молчанием, чтобы взять дочь под руку и подвести ее к Эрнесту, которому он посоветовал объясниться с Модестой.

— Мадемуазель,— начал Эрнест упавшим голосом,— я не в силах дольше выносить ваше презрение. Я не стану защищаться и оправдываться. Я хочу только обратить ваше внимание на то, что еще до получения вашего лестного письма, адресованного просто человеку, а не

поэту, словом, вашего последнего письма, я хотел рассеять ваше заблуждение, и это сказано в моей записке, написанной из Гавра. Все чувства, которые я имел счастье вам выразить, совершенно искренни. Надежда блеснула передо мной в Париже, когда ваш отец выдал себя за бедного человека, но если теперь все потеряно, если в удел мне остались только вечные сожаления, зачем оставаться здесь, где все для меня только страдание. Позвольте мне унести с собой вашу улыбку, я навсегда сохраню ее в своем сердце.

— Сударь,— ответила Модеста, казавшаяся холодной и рассеянной,— не я здесь хозяйка, но, конечно, я была бы в отчаянии, если б мне пришлось удерживать в нашем доме тех, кто не находит в нем ни счастья, ни удовольствия.

Она отошла от Лабриера и, взяв под руку г-жу Дюме, направилась к дому. Несколько минут спустя все действующие лица этой семейной сцены вновь собрались в гостиной и были удивлены, заметив, что Модеста села рядом с герцогом д'Эрувилем и кокетничает с ним, как самая коварная парижанка. Она интересовалась его игрой, давала советы и нашла случай польстить ему, приравняв знатное происхождение к столь же случайным дарам судьбы: таланту и красоте. Каналис понимал, или ему казалось, что он понимает, причины этой перемены: ведь он хотел уколоть Модесту, назвав брак катастрофой, еще очень для него отдаленной, но, как все, кто играет с огнем, он первый же обжегся. Гордость Модесты, ее презрение испугали его, и он подошел к ней, выказывая ревность, тем более очевидную, что она была разыграна. С невозмутимостью ангела Модеста наслаждалась сознанием своей силы и, конечно, ею злоупотребляла. Герцог д'Эрувиль еще никогда не испытывал такого блаженства: ему улыбалась прелестная девушка! В одиннадцать часов вечера — время позднее для обитателей Шале — все три поклонника распростились и вышли на улицу. Герцог находил Модесту очаровательной, Каналис считал ее большой кокеткой, а Лабриер был удручен ее суровостью.

Целую неделю наследница держалась с тремя вздыхателями так же, как и в первый вечер. По-видимому, поэт взял перевес над соперниками, несмотря на причуды и

капризы девушки, которые по временам внушали надежду герцогу д'Эрувилю. Непочтительность Модесты по отношению к отцу, резкости, которые она позволяла себе с ним, ее нетерпеливый тон с матерью, когда она, словно нехотя, оказывала несчастной слепой те мелкие услуги, которые прежде были гордостью ее дочерней любви,— все это казалось признаками взбалмошного характера и легкомыслия, безнаказанно проявляемого с самого детства. Когда Модеста заходила слишком далеко, она сама бранила себя и приписывала свои выходки и легкомыслие свойственному ей духу независимости. Она призналась герцогу и Каналису, что у нее совсем нет склонности к послушанию, рассматривая это как препятствие к устройству своей судьбы. Она испытывала своих женихов, подобно тем людям, которые роют землю, чтобы извлечь таящиеся в ее недрах золото, уголь, торф или воду.

— Мне никогда не найти мужа,— говорила она накануне переезда всего семейства в виллу,— который стал бы сносить мои капризы с неизменной добротой моего отца, со снисходительностью милой моей матушки.

— Они знают, что вы их любите, мадемуазель,— сказал Лабриер.

— Можете не сомневаться, мадемуазель, что ваш муж сумеет оценить доставшееся ему сокровище,— заметил герцог.

— Ума и решительности у вас более чем достаточно, чтобы держать мужа в повиновении,— заявил Каналис смеясь.

Модеста улыбнулась: должно быть, так улыбался Генрих IV, задавая трем главным министрам королевства коварный вопрос, который заставил их высказаться и разоблачить свой характер перед неким иностранным послом.

Явно оказывая предпочтение Каналису, Модеста в день званого обеда долго гуляла с ним вдвоем по усыпанной песком площадке, отделявшей дом от цветника. По жестам поэта, по виду молодой наследницы легко было заключить, что она выслушивает его вполне благосклонно. Недаром обе девицы д'Эрувиль подошли к ним, чтобы нарушить эту предосудительную беседу наедине,

и с ловкостью, свойственной в таких случаях женщинам, перевели разговор на придворную жизнь, на блеск, окружающий высшие придворные должности, поясняя разницу между первыми и вторыми чинами двора. Они пытались вскружить голову Модесте и воздействовать на ее тщеславие, рисуя ей самую завидную судьбу, о которой может мечтать женщина.

— Титул герцога—вполне реальное преимущество!— воскликнула старая дева.— Сыновья наследуют его. Такой титул—поистине состояние: оно неприкосновенно и передается из поколения в поколение.

— Какой же случайности,—сказал Каналис, весьма недовольный, что девицы д'Эрувиль помешали его беседе с Модестой,— следует приписать незначительный успех господина обер-шталмейстера в таких делах, где титул больше всего может оправдать притязания мужчины?

Девицы д'Эрувиль бросили на Каналиса взгляд не менее ядовитый, чем укус змеи, но насмешливая улыбка Модесты привела их в замешательство, и они не сумели ничего возразить.

— Господин обер-шталмейстер ни разу не упрекнул вас в том смирении, с которым вы принимаете свою славу,— возразила Модеста Каналису,— зачем же осуждать его за скромность?

— Да, он чрезмерно скромен! К тому же мы ни разу не встречали девушки, достойной положения, занимаемого моим племянником,— сказала старая дева. — Одни невесты обладали только соответствующим состоянием, другие — только необходимым для этого умом. Признаюсь, мы хорошо сделали, что не спешили, ожидая, что господь пошлет нам случай познакомиться с девушкой, соединяющей в себе благородство происхождения, ум и состояние, необходимые для будущей герцогини д'Эрувиль.

— Видите ли, дорогая Модеста,— сказала Элен д'Эрувиль, отводя в сторону свою новую приятельницу,— в королевстве есть тысяча баронов, подобных де Каналису, точно так же, как в Париже имеется сотня поэтов, ничуть не хуже его; сам же Каналис так мало похож на великого человека, что даже такая бедная девушка, как я, вынужденная за неимением приданого уйти в монастырь, и та

отказалась бы от него! Кроме того, вы не знаете, что представляет собой этот молодой человек, ведь он целых десять лет находится во власти госпожи де Шолье. Поистине только старая женщина, которой скоро стукнет шестьдесят, может выносить те легкие недомогания, которым, как говорят, подвержен «великий поэт», а самое незначительное из них считалось у Людовика XIV препротивным недостатком. Правда, герцогине это не причиняет особых неприятностей, он ей не муж и не всегда находится подле нее...

И, прибегнув к приему, характерному для взаимоотношений женщин между собой, Элен д'Эрувиль стала нашептывать на ухо Модесте сплетни, распространяемые про поэта завистницами г-жи де Шолье. Эта маленькая подробность, довольно обычная для женских разговоров, даст представление о том, какая ожесточенная борьба велась вокруг состояния графа де Лабасти.

За десять дней мнение обитателей Шале о трех претендентах на руку Модесты сильно изменилось. Перемена была далеко не в пользу Каналиса и вытекала из таких соображений, которые должны были бы навести на глубокие размышления людей, купающихся в лучах славы. Судя по тому, с каким азартом люди гонятся за автографами, нельзя отрицать, что прославленный человек возбуждает живейшее любопытство в обществе. Большинство провинциалов, очевидно, не вполне ясно представляют себе те приемы, к которым прибегает знаменитость, чтобы повязать галстук, пройтись по бульварам, поротозейничать или съесть котлету, ибо когда они видят человека, ставшего фаворитом моды или окруженного ореолом успеха, более или менее кратковременного, но неизменно вызывающего зависть, у них вырываются странные восклицания, как-то: «Вот удивительно!» или «Забавно!» и т. п. Словом, обаяние всякой славы, даже вполне заслуженной, бывает непродолжительным. Это особенно справедливо в отношении поверхностных людей, насмешников или завистников. У них впечатление, производимое славой, исчезает с быстротой молнии и уже никогда больше не возвращается. Кажется, будто слава, яркая и согревающая на расстоянии, как солнце, становится вблизи холодной, как ледники на вершинах Альп. Возможно, человек действительно велик только в глазах равных ему

людей, ибо они скорее, чем так называемые поклонники, перестают замечать его недостатки, присущие человеческой природе. Чтобы постоянно нравиться, поэт должен был бы проявлять обманчивое очарование тех людей, которым прощают их недостатки благодаря услужливому обхождению и любезным речам. ведь, помимо гениальности, каждый требует от поэта пошлых качеств салонного героя и семейных добродетелей в духе Беркена. Великий поэт Сен-Жерменского предместья, не желавший подчиняться этому социальному закону, заметил, как ослепление, вызванное его речами в первые вечера, сменилось оскорбительным равнодушием. Ум, если его слишком щедро расточают, производит такое же действие на душу, как сверкающая витрина хрустальных изделий на глаза. Словом, фейерверк речей Каналиса быстро утомил провинциалов, которым, по их выражению, нравилось все основательное. Вынужденный вскоре выступить в роли обыкновенного человека, поэт встретил на своем пути много препятствий, тогда как Лабриер сумел завоевать расположение всех, кому он сначала показался нелюдимым. Поэту решили отомстить за славу, оказывая предпочтение его другу. Таковы даже самые добросердечные люди. Докладчик счетной палаты, человек простой и добрый, никогда не оскорблял чужого самолюбия, и при ближайшем знакомстве все заметили в нем сердечность, большую скромность, способность хранить тайну не хуже несгораемого шкафа и прекрасное умение себя держать. Герцог д'Эрувиль ставил Эрнеста как политического деятеля значительно выше Каналиса. Поэт, изменчивый, тщеславный, непостоянный, как Тассо, любил роскошь, величие, делал долги, тогда как молодой докладчик отличался ровным характером, жил благоразумно, скромно, приносил пользу, ждал вознаграждения, не напрашиваясь на него, и имел сбережения. Впрочем, Каналис и сам подтверждал невыгодное мнение буржуа, наблюдавших за ним. За последние два-три дня он стал мрачен, нетерпелив; его грусть не имела никакой видимой причины, а перемены настроения объяснялись нервным темпераментом, свойственным всем поэтам. Это оригинальничанье (выражение провинциалов) было вызвано сознанием его все возрастающей вины перед герцогиней де Шолье, которой он все еще не решался написать. Кроткая г-жа

Дюме и чинная г-жа Латурнель внимательно наблюдали за Каналисом, и его характер стал предметом разговоров между ними и г-жой Миньон. Каналис почувствовал на себе результат этих бесед, не умея найти ему объяснение. Его уже не баловали вниманием, на лицах уже нельзя было прочесть восхищения первых дней, а между тем к Эрнесту начинали прислушиваться. Вот почему за последние два дня поэт усиленно старался пленить Модесту и пользовался каждой минутой, когда мог остаться с ней наедине, чтобы опутать ее сетью страстных признаний. Яркий румянец Модесты выдал обеим девицам д'Эрувиль, что наследница с удовольствием слушает восхитительную любовную арию в восхитительном исполнении, и, обеспокоенные успехом противника, они, как мы уже упоминали, прибегли к обычному в подобных случаях ultima ratio [1] женщин, к той клевете, которая редко бьет мимо цели, ибо вызывает сильнейшее физическое отвращение. Садясь за стол, поэт заметил, что чело его кумира омрачилось; он увидел в этом результат вероломства г-жи д'Эрувиль и решил, что необходимо предложить себя Модесте в качестве мужа, как только найдется возможность поговорить с нею наедине. Прислушиваясь к язвительным, хотя и вежливым замечаниям, которыми обменялись Каналис и обе благородные девы, Гобенхейм подтолкнул локтем своего соседа Бутшу, указывая глазами на поэта и на обер-шталмейстера.

— Они потопят друг друга,— проговорил он на ухо горбуну.

— Каналис достаточно талантлив, чтобы потопить себя без посторонней помощи,— ответил Бутша.

Во время обеда, отличавшегося необыкновенным великолепием и изумительной сервировкой, герцог добился крупного перевеса над Каналисом. Модеста, получившая накануне заказанную ею амазонку, заговорила о верховых прогулках по окрестностям. Беседа приняла такой оборот, что девушка невольно высказала желание посмотреть на охоту — удовольствие, ей доселе незнакомое. Герцог тотчас же предложил Модесте показать ей это

---

[1] Последний довод *(лат.)*.

зрелище в королевском лесу, расположенном в нескольких лье от Гавра. Благодаря своим связям с обер-егермейстером, князем Кадиньяном, он уже предвидел возможность развернуть перед глазами девушки картину царского великолепия, ослепить ее, обольстить пышностью придворного мирка и пробудить в ней стремление проникнуть туда путем замужества. Взгляды, которыми девицы д'Эрувиль обменялись с герцогом, были замечены Каналисом; эти взгляды так красноречиво говорили: «Наследница — наша!» — и поэт, ресурсы которого ограничивались личным обаянием, решил немедленно добиться от девушки залога ее расположения. Модеста была почти испугана тем, что в своих отношениях с д'Эрувилями она зашла дальше, чем ей того хотелось. Вот почему, гуляя по парку после обеда, она намеренно опередила с Мельхиором остальное общество и, поддавшись естественному женскому любопытству, позволила поэту догадаться о клевете Элен; в ответ на негодующее восклицание Каналиса она попросила его хранить молчание, и он обещал ей это.

— В высшем свете,— сказал он,— злословие считается узаконенным приемом борьбы; оно оскорбляет вашу честную натуру, я же над ним смеюсь, я даже доволен: если дамы д'Эрувиль прибегают к этому средству, то они, очевидно, считают, что интересам его светлости грозит большая опасность.

И тотчас же, воспользовавшись преимуществами беседы с глазу на глаз, Каналис стал шутливо оправдываться перед Модестой; он говорил так остроумно и так страстно благодарил ее за откровенность, в которой усматривал проблеск любви, что девушка увидела себя связанной с поэтом не меньше, чем с обер-шталмейстером. Чувствуя, что нужно быть решительным, Каналис, не долго думая, объяснился ей в любви. Он давал Модесте клятвы, в которых его поэзия сияла, как луна, ловко вызванная в нужный момент на небосвод; он с блеском описывал красоту своей белокурой спутницы, так прелестно одетой для семейного праздника. Притворная экзальтация, которой способствовали вечер, листва деревьев, небо, земля,— вся природа, увлекла влюбленного искателя богатства дальше, чем того требовал здравый смысл, он начал говорить о бескорыстии и благодаря изя-

ществу своего стиля сумел дать новый вариант старой темы Дидро: «Полторы гысячи франков и моя Софи» или «С милой рай и в шалаше», то есть темы всех влюбленных, которым хорошо известно состояние будущего тестя.

— Сударь,— сказала Модеста, насладившись мелодией этого прекрасно исполненного сольного номера с вариациями на давно известную тему,— благодаря свободе, предоставленной мне родителями, я могла вас выслушать, однако обратиться вы должны прежде всего к ним.

— Но скажите мне,— воскликнул Каналис,— что вы охотно исполните волю родителей, если я добьюсь их согласия!

— Я боюсь,— ответила она,— что причуды моего отца могут уязвить законную гордость представителя такого старинного рода, как ваш; дело в том, что граф де Лабасти желает передать внукам свое имя и титул.

— Ах, дорогая Модеста, какие только жертвы не принес бы мужчина, чтобы доверить свою жизнь такому ангелу-хранителю, как вы?

— Вы, конечно, поймете, что я не могу решить в одну минуту судьбу всей моей жизни,— ответила она и подошла к девицам д'Эрувиль.

Между тем обе высокородные девы старались польстить тщеславию низенького Латурнеля и привлечь его на свою сторону. Г-жа д'Эрувиль,— которую в отличие от ее племянницы Элен мы называем этим знатным именем,— намеками давала понять нотариусу, что место председателя гаврского суда, которым Карл X позволил им распоряжаться, будет достойной наградой его неподкупной честности и таланту законоведа. Гуляя с Лабриером, Бутша взволнованно следил за успехами дерзкого Мельхиора и нашел возможность поговорить с Модестой, задержав ее на несколько минут у входа в то время, как все остальные вернулись в дом, чтобы засесть за неизменный вист.

— Надеюсь, мадемуазель, вы еще не называете его Мельхиором? — спросил он у нее шепотом.

— За этим дело не станет, Таинственный карлик,— ответила она с улыбкой, способной вывести из терпения даже ангела.

— Великий боже! — воскликнул клерк, и длинные его руки, повиснув, как плети, коснулись ступенек крыльца.

— Что ж тут дурного? Разве он хуже этого злобного и мрачного Лабриера, в котором вы принимаете такое горячее участие? — продолжала она, приняв при упоминании об Эрнесте тот высокомерный вид, секрет которого принадлежит только юным девушкам, словно их девственная чистота раскрывает крылья и они возносятся на неизмеримую высоту. — Уж не ваш ли де Лабриер взял бы меня без приданого? — проговорила она, помолчав.

— Спросите об этом у вашего батюшки,—возразил Бутша, делая несколько шагов, чтобы увести Модесту подальше от окон.— Выслушайте меня, мадемуазель. Вы знаете, что тот, кто сейчас говорит с вами, готов отдать за вас в любую минуту не только жизнь, но и честь; поэтому вы можете мне верить, вы можете открыть мне даже то, что, пожалуй, не сказали бы родному отцу. Неужели бесподобный Каналис разглагольствовал перед вами о бескорыстии, и поэтому вы бросаете теперь упрек по адресу бедного Эрнеста?

— Да.

— Вы этому верите?

— Мне кажется, Гадкий клерк,— заметила она, давая ему одно из двенадцати изобретенных ею прозвищ,— что вы ставите под сомнение силу моих чар и наличие у меня самолюбия.

— Вы шутите, дорогая мадемуазель Модеста, значит не произошло ничего серьезного, и надеюсь, вы просто смеетесь над ним?

— Что вы подумали бы обо мне, господин Бутша, если бы я считала себя вправе издеваться над поэтом, который оказывает мне честь, добиваясь моей руки? Знайте же, мэтр Жан, девушке льстит поклонение даже презренного человека, хотя она и делает вид, что презирает его.

— Значит, мое поклонение вам льстит? — спросил клерк, поднимая к ней лицо, сияющее, как город, иллюминованный в день большого праздника.

— Ваше поклонение? — переспросила она. — Вы

даете мне столько доказательств истинной дружбы, драгоценного чувства, бескорыстного, как материнская любовь. Не сравнивайте себя ни с кем, даже с моим отцом, так как его заботы обо мне — родительский долг. Я не могу сказать, что люблю вас,— проговорила она задумчиво,— в том смысле, какой люди придают этому слову, но то чувство, которое я питаю к вам, вечно и навсегда останется неизменным.

— В таком случае,— сказал Бутша, нагибаясь, словно для того, чтобы поднять камешек, а на самом деле целуя башмачок Модесты, на который он уронил слезу,— дозвольте мне оберегать вас, как дракон в сказке оберегает сокровище. Каналис только что старался прельстить вас кружевом своих вычурных фраз, мишурой обещаний. Он воспевал любовь на прекраснейшей, нежнейшей струне своей лиры, не правда ли? Но лишь только этот благородный поклонник поверит вашей мнимой бедности, и он изменится до неузнаваемости, вы тут же увидите его натянутым, холодным. Неужели даже после этого вы станете его женой и будете по-прежнему уважать его?..

— Неужели это второй Франциск Альтор? — спросила она с гримаской отвращения.

— Разрешите мне произвести эту смену декораций,— проговорил Бутша.— Я не только хочу, чтобы все случилось так, как я сказал, но и надеюсь вернуть вам вашего поэта снова влюбленным, заставить его попеременно обдавать ваше сердце то холодом, то жаром с такой же изящной легкостью, с какой он высказывает в один и тот же вечер противоположные мнения, иногда сам того не замечая.

— Если вы правы,—сказала она,— кому же верить?

— Тому, кто вас действительно любит.

— Маленькому герцогу?

Бутша взглянул на Модесту. Девушка ничем не выдала себя, лицо ее оставалось непроницаемым. Они молча прошли несколько шагов.

— Мадемуазель, позвольте мне выразить вслух мысли, таящиеся в глубине вашего сердца, как водоросли в морской пучине, сказать то, в чем вы сами не хотите себе сознаться!

— Как,— воскликнула Модеста,— неужели мой дей-

ствительный тайный и личный советник хочет быть еще и зеркалом?

— Нет, не зеркалом, а эхом,— ответил Бутша с величайшей скромностью. — Герцог любит вас, но он вас *слишком* любит. Если только я, жалкий карлик, правильно понял ваше бесконечно чуткое сердце, вам претит быть предметом смиренного обожания наподобие святых даров в дарохранительнице. Вы женщина в полном смысле этого слова, и вам неприятно постоянно видеть мужчину у своих ног и быть уверенной в его вечной преданности, но вам так же не хочется иметь мужем эгоиста вроде Каналиса, который всегда отдаст предпочтение собственной особе. Почему вы так чувствуете? Не знаю. Я с удовольствием превратился бы в женщину, и даже в старую женщину, лишь бы понять, какие требования вы предъявляете к замужеству. Все же я прочел их в ваших глазах, и, быть может, это желания всех девушек. Но в вашей возвышенной душе живет, кроме того, потребность поставить мужчину на пьедестал. Когда же вы видите его у своих ног, вы не можете преклоняться перед ним. В таком положении далеко не уедешь,— говорил Вольтер. Стало быть, у маленького герцога слишком много нравственного коленопреклонения, а у Каналиса его недостаточно или, точнее, совсем нет. Поэтому я разгадал смысл ваших лукавых улыбок в разговоре с обер-шталмейстером. Вы никогда не почувствуете себя несчастной с герцогом, все одобрят ваш выбор, но вы не полюбите его. Холод эгоизма и излишний пыл непрерывных восторгов могут одинаково оттолкнуть сердце женщины. Постоянное сознание превосходства не даст вам неисчерпаемых наслаждений той брачной жизни, о которой вы мечтаете, когда гордятся даже повиновением, радостно скрывают маленькие, но, в сущности, большие жертвы, испытывают беспричинную тревогу, в опьянении ожидают побед чувства, восхищенно склоняются перед неожиданно открывающимся величием, когда сердце бывает понято до самых его тайников и женщина часто оказывает любовью покровительство своему покровителю...

— Вы колдун! — воскликнула Модеста.

— А выйдя за Каналиса, вы не найдете неизменной глубины чувства, духовного общения, уверенности в своих чарах — всего того, что скрашивает брак: этот человек

думает только о себе, для него собственная персона — лейтмотив всей жизни; он ни разу не удостоил своим вниманием ни вашего отца, ни обер-шталмейстера! Этому мелкотравчатому честолюбцу весьма мало дела до вашего достоинства, до вашей покорности. Он превратит вас в необходимую принадлежность своего семейного очага; он уже и сейчас оскорбляет вас своим безразличным отношением к вопросам чести. Да если бы вы дали пощечину родной матери, Каналис закрыл бы глаза, чтобы иметь возможность отрицать перед самим собой это преступление — так ему хочется получить ваше приданое. Таким образом, мадемуазель, я не имел в виду ни «великого поэта» — этого жалкого комедианта, ни герцога, так как его светлость будет для вас прекрасной партией, но не мужем...

— Бутша, для вас мое сердце — чистая страница, покрытая водяными знаками, и вы сами вписываете в нее то, что там прочли,— ответила Модеста.— В вас говорит ненависть провинциала к тому, кто на голову выше всех нас. Вы не можете простить поэту его политической карьеры, красноречия, великого будущего, и вы извращаете его намерения.

— Я извращаю его намерения? Да он завтра же повернется к вам спиной с низостью Вилькена.

— Заставьте же его разыграть эту комедию, и...

— Заставлю! Да еще на все лады... через три дня— в среду. Запомните мои слова. А до тех пор, мадемуазель, забавляйтесь, слушайте мелодии этого заводного органчика; вам особенно противны станут потом все его фальшивые ноты.

Модеста весело вернулась в гостиную, где из всех мужчин один только Лабриер, сидевший у окна, из которого он, очевидно, созерцал своего кумира, вскочил при ее появлении, как будто бы слуга возвестил: «Королева!» Эта почтительная встреча была полна той выразительности, которая свойственна безотчетным движениям и бывает гораздо красноречивее прекраснейших фраз. Любовные речи не стоят любви, доказанной на деле. Эту аксиому двадцатилетние девушки применяют на практике не хуже пятидесятилетних женщин. В понимании этого — главная сила соблазнителей. Вместо того чтобы смело

посмотреть в лицо Модесте и подчеркнуто поклониться ей при всем обществе, как это сделал Каналис, отвергнутый влюбленный проводил ее долгим взором, глядя на девушку снизу вверх, смиренно, почти робко, словно Бутша. Молодая наследница заметила этот взгляд, направляясь к карточному столу, чтобы сесть рядом с Каналисом, игрой которого она, казалось, была заинтересована. Из разговора Модесты с отцом Лабриер узнал, что в среду она собирается возобновить свои верховые прогулки. Девушка заметила при этом графу де Лабасти, что у нее нет хлыста, подходящего к ее роскошной амазонке. У Эрнеста заблестели глаза, и он многозначительно посмотрел на карлика. Через несколько минут они оба уже ходили взад и вперед около дома.

— Сейчас девять часов,— сказал Эрнест Бутше,— я поскачу во весь опор в Париж и завтра в десять часов утра могу уже быть на месте. Дорогой Бутша, от вас мадемуазель де Лабасти примет на память подарок, она к вам дружески расположена. Преподнесите ей хлыст как бы от себя и знайте, что ценой этой огромной любезности вы приобретете во мне не только друга, но и глубоко преданного вам человека.

— Счастливец,— тихо сказал клерк,— у вас есть деньги!..

— Передайте, пожалуйста, Каналису, что я не вернусь домой, пусть он придумает какой-нибудь предлог, чтобы объяснить мое двухдневное отсутствие.

Эрнест выехал час спустя и через двенадцать часов был в Париже, где первым долгом заказал место в гаврском мальпосте на следующий же день. Затем он обошел трех известнейших парижских ювелиров, сравнивая различные рукоятки хлыстов и желая отыскать настоящее произведение искусства, что-нибудь царственно-прекрасное. Он нашел золотую чеканную рукоятку работы Стидмана, которую заказчик не мог оплатить. Она представляла целую скульптурную группу — охоту на лису, а рубин, украшавший набалдашник, был непомерно дорог для оклада чиновника счетной палаты. Эрнест израсходовал на покупку все свои сбережения — семь тысяч франков. Он дал ювелиру рисунок герба де Лабасти и двадцать часов на то, чтобы выгравировать его вместо прежнего герба. Рукоятку с изображением охоты — на-

стоящий шедевр по изяществу исполнения — приделали к каучуковому хлысту и вложили в красный сафьяновый футляр, подбитый бархатом и помеченный двумя переплетенными буквами *М.* В среду утром Лабриер приехал с мальпостом в Гавр как раз вовремя, чтобы успеть позавтракать с Каналисом. Поэт скрыл отсутствие своего секретаря, говоря, что он занят работой, присланной из Парижа. Бутша, который пришел на почтовую станцию, чтобы встретить Лабриера в час прибытия мальпоста, взял у него подарок, тотчас же побежал к Франсуазе Коше и попросил ее положить это произведение искусства на туалетный столик Модесты.

— Вы, конечно, будете сопровождать мадемуазель Модесту на прогулку? — спросил клерк у Эрнеста. Он явился к Каналису, чтобы хоть взглядом сообщить Лабриеру, что подарок благополучно доставлен по назначению.

— Я? — ответил Эрнест.— Я отправляюсь спать.

— Вот как! — воскликнул Каналис, удивленно посмотрев на своего друга.— Я перестаю тебя понимать.

Завтрак был уже подан, и, разумеется, поэт предложил клерку сесть вместе с ними за стол. Бутша и сам не уходил, надеясь получить приглашение хотя бы от Лабриера, так как заметил по хмурой физиономии Жермена, что хитрость, о которой читателям позволяет догадаться обещание, данное карликом Модесте, вполне удалась.

— Вы хорошо сделали, сударь, что оставили к завтраку клерка нотариуса Латурнеля,— сказал Жермен на ухо Каналису.

Каналис вышел в гостиную вместе с Жерменом, встревоженный его многозначительными взглядами.

— Сегодня утром, сударь, я ездил взглянуть на рыбную ловлю. Еще позавчера меня пригласил принять в ней участие хозяин рыбачьего баркаса, с которым я познакомился.

Жермен умолчал о том, что он имел бестактность играть на бильярде в гаврском кафе, где Бутша окружил его своими приятелями, чтобы заставить плясать под свою дудку.

— Ну и что же? — спросил Каналис. — Переходите к делу.

— Господин барон, услышав разговор о Миньоне, я постарался вмешаться: никто ведь не знает, у кого я служу. Ах, господин барон, в порту говорят, что вы попали в ловушку. Оказывается, мадемуазель Модеста — бедная невеста. Корабль, на котором прибыл ее папаша, вовсе не его, а принадлежит китайским купцам, господину Миньону придется рассчитаться с ними, и рассчитаться чистоганом. На этот счет много болтают и все такое нелестное для полковника. Зная, что вы с герцогом оспариваете друг у друга мадемуазель де Лабасти, я взял на себя смелость предупредить вас: пусть уж лучше его светлость *подцепит ее*, а не вы. На обратном пути я пошел к зданию театра, там обычно прогуливаются господа негоцианты, и, не задумываясь, смешался с их толпой. Видя, что я хорошо одет, эти милейшие люди стали беседовать со мной о гаврских делах, и мало-помалу я навел разговор на полковника Миньона. Их мнение оказалось настолько сходным с мнением рыбаков, что я нарушил бы свой долг, умолчав об этом. Вот почему, сударь, вам пришлось сегодня вставать и одеваться без моей помощи...

— Что ж теперь делать? — воскликнул Каналис, чувствуя себя связанным с Модестой и не зная, как нарушить свое обещание.

— Вам известна моя привязанность, сударь,— сказал Жермен, видя, что поэт стоит как громом пораженный,— не прогневайтесь, если я осмелюсь дать вам совет. Напоите клерка, и он выдаст всю подоплеку этого дела. Мало будет двух бутылок — он разойдется после третьей. Да что мне вас учить, неужели вам не справиться с каким-то гаврским клерком! Ведь скоро мы увидим вас, господин барон, послом, как слышала Филоксена из разговоров у герцогини.

А в это время Бутша, втайне подстроивший вышеупомянутую рыбную ловлю, советовал Эрнесту молчать о причине его поездки в Париж и просил ничему не удивляться и ни во что не вмешиваться за завтраком. Клерк воспользовался неблагоприятной переменой общественного мнения Гавра по отношению к Шарлю Миньону. Эта перемена объясняется следующим: граф де Лабасти пре-

кратил знакомство со своими прежними друзьями, которые в годы его отсутствия забыли о существовании его жены и дочерей. Узнав, что он собирается дать званый обед на вилле Миньон, все они стали льстить себя надеждой, что окажутся в числе приглашенных; но когда стало известно, что приглашены только Гобенхейм, супруги Латурнель, герцог и двое парижан, произошел взрыв общественного негодования против надменного негоцианта. Подчеркнутое нежелание Миньона бывать в Гавре и встречаться с прежними приятелями было отмечено всеми и приписано его высокомерию. Гавр отомстил за это, подвергнув сомнению его столь неожиданное богатство. Ходили слухи, что средства на выкуп виллы у Вилькена были получены от Дюме. Вот почему ярые клеветники и недоброжелатели Миньона предположили, будто Шарль доверил глубоко преданному ему Дюме крупные денежные суммы, из-за которых у него вскоре начнутся распри с мнимыми компаньонами из Кантона. Недомолвки Шарля Миньона, стремившегося скрыть свое богатство, толки его слуг, которым были даны соответствующие распоряжения, сообщали видимость правдоподобия этому грубому вымыслу, и все поверили ему под влиянием завистливой злобы, свойственной коммерсантам по отношению друг к другу. Насколько местный патриотизм раздувал прежде состояние одного из основателей Гавра, настолько провинциальная зависть теперь преуменьшала его. Бутша, не раз оказывавший рыбакам одолжения, потребовал от них злословия и сохранения тайны. Они постарались ему услужить. Хозяин баркаса сказал Жермену, что его близкий родственник, матрос, приехавший из Марселя, был уволен после продажи брига, на котором вернулся полковник. Судно продавал какой-то Кастанью, а груз, по словам матроса, стоил самое большее триста — четыреста тысяч франков.

— Жермен,— окликнул Каналис своего камердинера, когда тот уже собирался выйти из комнаты. — Подай нам шампанского и бордо. Пусть член корпорации норманд-ских писцов сохранит память о гостеприимстве поэта... А кроме того, он остроумен, как фельетонисты из «Фигаро»,— сказал Каналис, похлопав карлика по плечу.— Газетное его остроумие забьет фонтаном и запенится вместе с шампанским. Мы от вас не отстанем, не так ли,

Эрнест? Честное слово, вот уже два года, как я не был пьян,— продолжал он, поглядев на Лабриера.

— От вина? Ну, конечно. Зачем вам вино?—ответил клерк.— Вы каждый день опьяняетесь самим собою! Вы пьете полной чашей из источника похвал. Не удивительно! Вы красивы, вы поэт, вы знамениты еще при жизни, блеск вашего красноречия равен блеску вашего таланта, и вы нравитесь всем женщинам, даже жене моего патрона. Вы любимы самой прекрасной султаншей, какую я когда-либо видел (правда, до сих пор я других султанш не встречал), а если захотите, можете жениться на мадемуазель де Лабасти... Смотрите, сколько у вас преимуществ, не считая будущих — высокий титул, звание пэра, пост посланника. От одного их перечисления я уже захмелел, как люди, разливающие в бутылки чужое вино.

— Все это блестящее положение — ничто,— заметил Каналис,— если нет солидной основы, которая придает ему цену, а именно — богатства! Мы здесь в мужской компании, и я могу откровенно признаться, что прекрасные чувства хороши только в стансах.

— И в нужный момент,— сказал клерк, подчеркнув свои слова выразительным жестом.

— Но вы должны знать не хуже меня, господин составитель контрактов, некоторые рифмы,— сказал поэт, улыбаясь этому замечанию: — «Любовь под сенью шалаша»—«в кармане ни гроша».

За столом Бутша так разошелся в роли Ригодена из комедии «Дом разыгрывается в лотерею», что напугал Эрнеста, которому было незнакомо соленое острословие нотариальных контор, не уступающее острословию мастерских. Клерк пересказал скандальную хронику Гавра, истории нажитых богатств, разоблачил альковные тайны и преступления, совершаемые с кодексом законов в руке, благодаря которому люди «выходят сухими из воды». Он никого не пощадил. Остроумие его росло вместе с потоком вина, вливавшегося в его глотку, как грозовой ливень в водосточную трубу.

— Знаешь, Лабриер,— сказал Каналис, подливая клерку шампанского,—из этого славного малого вышел бы замечательный секретарь посольства...

«МОДЕСТА МИНЬОН»

«МОДЕСТА МИНЬОН»

— Такой замечательный, что он мог бы *подсидеть* своего патрона!— заметил карлик, бросая на Каналиса взгляд, дерзость которого потонула в пене шампанского.— Благодарности во мне нет ни чуточки, зато вполне достаточно пронырливости, чтобы сесть вам на шею. Этакого большого поэта оседлает недоносок!.. Здорово, а? Что ж, это случается и даже довольно часто... в издательском деле. Ну что вы смотрите на меня, как на шпагоглотателя? Эх, дорогой гений, вы же незаурядный человек, поскольку вы гений, и прекрасно понимаете, что только дураки верят в благодарность. Сие понятие значится в словаре, но отсутствует в человеческом сердце. Благодарность имеет цену лишь на горных высотах, которые не называются ни Парнасом, ни Пиндом. Уж не думаете ли вы, что я должен в ноги кланяться жене моего патрона за то, что она меня воспитала? Как бы не так! Разве я у нее в долгу? Весь город уплатил ей по этому счету уважением, похвалами, восхищением — словом, самой полноценной монетой. Я не признаю добрых дел, которыми пользуются, как капиталом, чтобы получить проценты в виде удовлетворенного самолюбия. Люди торгуют услугами, а благодарность, попросту говоря,— барыш, вот и все. А интрига особая статья: она мое божество. Бросьте,— сказал он в ответ на возмущенный жест Каналиса,— разве вы не преклоняетесь перед способностью изворотливого человека, умеющего взять верх над человеком гениальным? Ведь такая способность означает зоркий глаз, неусыпную бдительность, наблюдательность; умение подметить пороки и слабости власть имущих и уловить благоприятный момент. Спросите у дипломатов, разве их самый блестящий успех не является победой хитрости над силой? И будь я вашим секретарем, барон, вы бы скоро стали первым министром, потому что я был бы в этом заинтересован, и даже очень! Хотите получить доказательство моих дарований? Слушайте, вы обожаете мадемуазель Модесту, и вы правы. Она молодчина — настоящая парижанка. Уважаю таких! Иногда и в провинции попадаются парижанки. Наша Модеста — девица с головой, она поможет мужу сделать карьеру... В ней есть что-то,— проговорил он, прищелкивая пальцами.— Но у вас опасный соперник в лице герцога. Что вы мне дадите, если я через три дня спроважу его из Гавра?

— Допьем эту бутылку,— проговорил поэт, наполняя стакан Бутши.

— Вы меня напоите допьяна,— сказал клерк, поглощая девятый бокал шампанского.— Найдется ли у вас постель, где бы я мог поспать часок-другой? Мой патрон воздержан, как осел, да он и есть настоящий осел, а супруга его — жирафа! Строгие особы! Пожалуй, еще будут меня бранить за то, что я выпил. Ну, и верно: у них в голове хоть и пусто, да она не кружится, у меня ума палата, да я весь его растерял, а мне еще надо сегодня составлять всякие акты-контракты...— Затем, следуя особой логике пьяных, он воскликнул: — Экая память! Не уступит моей благодарности.

— Бутша,— воскликнул поэт,— ты только сейчас говорил, что не умеешь быть благодарным! Ты себе противоречишь.

— Ни капли,— продолжал клерк.— Забвение — знак презрения. А то, что надо, я помню крепко. Будьте уверены, из меня получится знатный секретарь.

— Но как ты примешься за дело, чтобы спровадить герцога? — спросил Каналис, очень довольный тем, что разговор принял желательное направление.

— Сие вас не касается! — проговорил клерк, громко икнув.

С трудом поворачивая голову, Бутша переводил взгляд с Жермена на Лабриера и с Лабриера на Каналиса, как это делают люди, когда чувствуют, что пьянеют, и опасаются, не понизилось ли к ним уважение окружающих, ибо когда в вине тонут все чувства, на поверхности остается лишь самолюбие.

— Послушайте, великий поэт, вы, я вижу, большой шутник! Неужто вы принимаете меня за одного из ваших читателей? Я все понимаю. Ведь это вы заставили своего друга скакать во весь опор в Париж, вы послали его собрать сведения о семействе Миньон... Я все понимаю, я все привираю, ты привираешь, мы привираем... Ладно! Но будьте так любезны, не считайте меня дураком. Поверьте, я о своем положении никогда не забываю. У меня во всем расчет. У старшего клерка мэтра Латурнеля сердце словно несгораемый шкаф... Язык мой не выдаст ни единой тайны клиентов. Я знаю все, а будто ничего не знаю. Да еще вот что — моя страсть всем извест-

на. Модеста — моя любовь, моя ученица, она должна сделать хорошую партию... И я улестил бы герцога, если б это понадобилось. Но вы женитесь...

— Жермен, кофе и ликеры! — приказал Каналис.

— Ликеры? — повторил Бутша, закрываясь рукой, словно полудева, которая пытается противостоять искушению.— Ах, бедные мои акты-контракты! Среди них как раз есть брачный контракт. А знаете, младший клерк у нас глуп, как пробка. Перепутает статьи в контракте и... по...по...посягнет, по...пожалуй, на неотъемлемое достояние будущей супруги. Он считает себя красавцем, потому что вымахал ростом до крыши... Болван!

— Выпейте, вот Чайные сливки — ликер, привезенный с островов,— сказал Каналис.— Напиток, достойный человека, с которым советуется мадемуазель Модеста...

— Советуется... она со мной всегда советуется.

— Как вы полагаете, любит она меня? — спросил поэт.

— Д-да... любит... больше, чем герцога! — ответил клерк, выходя из пьяного оцепенения, прекрасно разыгранного.—Любит за бескорыстие ваше. Она мне говорила: «Ради него я готова на самые большие жертвы, не надо мне роскошных туалетов, буду тратить только тысячу экю в год...» Всю жизнь она вам будет доказывать, что вы разумно поступили, женившись на ней. И она здорово (громкая икота)... честная (икота)... поверьте, и образованная... все знает... Такая уж девушка уродилась.

— Значит, все эти достоинства и триста тысяч франков в придачу? — сказал Каналис.

— А что ж, возможно, и дадут за ней такую сумму,— заметил клерк с воодушевлением.— Папаша Миньон очень умен и молодец — настоящий отец. Уважаю его. Он последнее отдаст, лишь бы получше устроить свою единственную дочку. Ваша Реставрация приучила полковника (новый приступ икоты) существовать на половинный оклад. Он будет *жить-поживать* в Гавре, *потихоньку, полегоньку,* вместе с Дюме, а все свои тысячи отдаст дочке. Да еще не забывайте, что Дюме собирается завещать свое состояние Модесте. Дюме, как вы знаете, бретонец; раз он сказал — и договора никакого не на-

до. Дюме своему слову не изменит. Денег у него будет не меньше, чем у патрона. Оба они прислушиваются к моим словам не хуже вас, хотя у них я никогда не говорю так много и так складно. Так вот, я сказал им: «Напрасно вы вложили столько денег в виллу. Если Вилькен и оставит ее за вами, ваши двести тысяч — мертвый капитал, никакого он не даст дохода... Следовательно, у вас останется только сто тысяч на все *протори и убытки*, а, на мой взгляд, этого маловато». Последнее время полковник все совещается с Дюме. Поверьте, Модеста богата. В порту и в городе болтают глупости. Зависть человеческая! Подите поищите девушек с таким приданым, во всем департаменте не найдете! — воскликнул Бутша и растопырил пальцы, чтобы лучше сосчитать.— Двести или триста тысяч франков наличными,— проговорил он, загибая пальцем правой руки большой палец на левой руке,— вот вам раз. Вилла «Миньон», хоть и бездоходная, а все-таки вилла — вот вам два,— продолжал он, загибая указательный палец.— В-третьих, состояние Дюме,— прибавил он, загибая средний палец.— Видите: у крошки Модесты окажется шестьсот тысяч приданого, как только оба солдафона отправятся на тот свет за паролем к вечному судье.

Это наивное и грубое признание, запиваемое ликером, настолько же отрезвляло Каналиса, насколько, казалось, опьяняло Бутшу. Очевидно, в глазах провинциального клерка это было неслыханное богатство. Бутша уронил голову на ладонь правой руки и, величественно облокотясь на стол, подмигнул, разговаривая сам с собой.

— Ежели принять во внимание, с какой быстротой дробятся состояния из-за статьи кодекса «О праве наследования», то через двадцать лет невеста с миллионным приданым будет таким же редкостным зверем, как бескорыстный ростовщик. Вы скажете, пожалуй, что Модеста легко промотает двенадцать тысяч франков процентов со своего приданого. Ну, пусть промотает. Зато она мила... очень мила... очень... Поэт, вы должны любить образные сравнения,— слушайте: она чиста, как голубка, и лукава, как обезьянка.

— А ты мне говорил,— вполголоса обратился Каналис к Лабриеру,— что у ее отца шесть миллионов!

— Друг мой,— ответил Эрнест,— разреши тебе заметить, что я должен был молчать, я связан клятвой. Право, я и так сказал слишком много...

— Связан клятвой? Кому ж ты дал ее?

— Господину Миньону.

— Как, Эрнест! Ведь ты же прекрасно знаешь, как мне необходимо богатство...

Бутша храпел.

— Тебе известно мое положение и все, что я потеряю на улице Гренель, если женюсь, и ты хладнокровно даешь мне гибнуть? — сказал Каналис, бледнея.— Ведь мы друзья, и наша дружба, дорогой мой, наложила на нас взаимные обязательства гораздо ранее, чем та клятва, которую потребовал от тебя этот хитрый провансалец...

— Дорогой мой,— сказал Эрнест,— я так люблю Модесту, что...

— Глупец! Бери ее себе,— закричал поэт.— Нарушь же свою клятву!

— Дай мне слово честного человека забыть все, что я скажу, и держать себя со мной так, как будто ты никогда не слышал этого признания, что бы ни случилось впоследствии.

— Клянусь тебе памятью моей матери!

— Так вот, господин Миньон сказал мне в Париже, что у него вовсе нет того огромного состояния, о котором говорил Монжено. Полковник намеревается дать за дочерью двести тысяч франков. Но в чем тут секрет, Мельхиор? Сказалось ли в этом недоверие отца? Был ли он искренен? Не мне это решать. Если Модеста снизойдет до меня, я готов ее взять без всякого приданого.

— Что ты! Что ты! Опомнись! Она ведь синий чулок, учености хоть отбавляй, все читала, все знает...— воскликнул Каналис,— в теории! — добавил он в ответ на молчаливый протест Лабриера.— Балованная девица, с колыбели воспитана в роскоши и лишена ее за последние пять лет! Ах, бедный друг, подумай хорошенько!

— Ода и кода... «Кода» по-латыни значит «хвост», а из «коды» получилось «кодекс»,— забормотал Бутша, просыпаясь.—Вы строчите, и я строчу. У вас оды-с, у меня кодекс,—разница между нами не так уж велика... всего несколько букв. Вы меня угостили, я вас люблю. Не под-

давайтесь кодексу... Послушайте, я вам дам хороший совет за ваше вино и за ваши Чайные сливки. Папаша Миньон тоже принадлежит к сливкам... к сливкам благорррродных людей. Так вот, велите оседлать лошадь, поезжайте кататься. Миньон поедет вместе с дочерью, и вы его напрямик спросите,— какое, мол, приданое даете, а он ответит начистоту. Вот и узнаете всю подноготную. Я хоть и пьян, да умен, а вы великий человек. Уедем отсюда, уедем из Гавра! Я буду вашим секретарем, потому что вот этот юнец, который смотрит на меня и смеется над пьяненьким, покинет вас. Ну и ладно! Ну его к черту, пусть себе женится на девице Модесте.

Каналис встал из-за стола, чтобы переодеться.

— Ни слова... он идет к своей гибели,— внушительно сказал Бутша Лабриеру с хладнокровием, достойным Гобенхейма, и, обращаясь к Каналису, сделал характерный жест парижского гамена.— Прощайте, хозяин! — заорал он во все горло.— Разрешите мне пойти очухаться в беседке госпожи Амори.

— Располагайтесь, как у себя дома,— ответил поэт.

Клерк, сопровождаемый хихиканьем трех слуг Каналиса, дотащился до беседки, ступая по цветочным грядкам и клумбам с неуклюжестью жука, который описывает бесконечные зигзаги, пытаясь пробраться сквозь закрытое окно. Когда Бутша вскарабкался по ступенькам в беседку, а слуги разошлись, он преспокойно уселся на крашеную деревянную скамью. Он был счастлив, он торжествовал победу. Итак, он провел выдающегося человека: ему удалось не только сорвать с него маску, но еще заставить лицемера самого развязать ее тесемки, и он смеялся, как автор комедии, присутствующий на ее представлении, смеялся, чувствуя ее огромную vis comica [1].

— Люди похожи на волчков. Все дело лишь в том, чтобы найти кончик веревочки, обмотанной вокруг них!— воскликнул он.— Разве я не лишился бы чувств, узнав, что мадемуазель Модеста упала с лошади и сломала себе ногу!

Некоторое время спустя Модеста, сидя на богато оседланном пони, показывала отцу и герцогу только что полученный ею красивый подарок. На ней была амазонка из

---

[1] Сила комизма *(лат.)*.

казимира бутылочного цвета, шляпа с зеленой вуалью, замшевые перчатки и бархатные полусапожки, вокруг которых развевались кружевные оборки панталон. Она была счастлива, видя в этом подношении знак внимания, которое так льстит самолюбию женщин.

— Не ваш ли это подарок, герцог? — спросила она, протягивая ему сверкающую рукоятку хлыста.— В футляре была карточка и на ней написано: «*Отгадай, если можешь*» и многоточие. Франсуаза и госпожа Дюме приписывают этот очаровательный сюрприз Бутше, но мой милый Бутша недостаточно богат, чтобы заплатить за такой прекрасный рубин. А папенька, которому — заметьте это хорошенько — я сказала в воскресенье вечером, что у меня нет хлыста, послал в Руан, и мне купили вот этот хлыст.

Модеста указала на хлыст, который держал ее отец. Рукоятка хлыста была усыпана бирюзой — модная выдумка того времени, ставшая теперь довольно шаблонной.

— Я отдал бы десять лет жизни, чтобы иметь право поднести вам эту прелестную вещицу,— учтиво ответил герцог.

— Ах, так вот он, этот дерзкий человек! — воскликнула Модеста, заметив подъезжавшего на лошади Каналиса.— Только поэты способны делать такие красивые подарки. Сударь,— сказала она Мельхиору,— папенька будет вас бранить: вы подтверждаете мнение тех, кто упрекает вас в расточительности.

— Вот для чего Лабриер помчался вчера в Париж! — наивно воскликнул Каналис.

— Так это ваш секретарь позволил себе подобную вольность? — спросила Модеста, бледнея, и презрительно бросила хлыст Франсуазе Коше.— Дайте мне ваш хлыст, папенька.

— Бедный малый! А он-то лежит в постели, разбитый усталостью,— заметил Мельхиор, следуя за девушкой, которая пустила своего пони в галоп.— Вы жестоки, мадемуазель. «У меня есть только эта возможность напомнить ей о себе»,— сказал мне Эрнест.

— Неужели вы стали бы уважать женщину, способную принимать подарки от всех без разбора? — спросила Модеста.

Удивленная молчанием Каналиса, Модеста приписала его невнимательность стуку копыт, заглушившему ее вопрос.

— Как вам нравится мучить тех, кто вас любит! — сказал герцог.— Ваше благородство, ваша гордость не вяжутся с этими выходками. Я начинаю подозревать, не клевещете ли вы на себя, заранее обдумывая свои злые слова и поступки?

— Ах, вы только сейчас это заметили, герцог? — спросила Модеста, смеясь.—Какая проницательность! Вы будете прекрасным мужем.

Всадники проехали молча целый километр. Модеста была удивлена, не чувствуя на себе пламенных взглядов Каналиса, и заметила, что его восхищение красотой пейзажа было явно преувеличенным. Ведь только накануне, любуясь вместе с поэтом восхитительным закатом солнца на море, она сказала, обратив внимание на его рассеянный, «отсутствующий» взор: «Как! Вы ничего не видели?» — «Я видел только вашу руку»,— ответил он.

— Умеет ли господин Лабриер ездить верхом? — спросила Модеста, чтобы подразнить Каналиса.

— Не особенно хорошо, но все же ездит,— равнодушно ответил поэт, который стал холоден, как Гобенхейм до возвращения полковника.

Как только всадники выехали вслед за г-ном Миньоном на проселочную дорогу — сначала она шла по живописной долине, а затем поднималась на вершину холма, с которого открывался широкий вид на Сену,— Каналис пропустил вперед Модесту с герцогом и придержал свою лошадь, чтобы поравняться с полковником.

— Вы благородный человек, граф, вы военный, и я надеюсь, моя откровенность только поднимет меня в ваших глазах. Обе стороны проигрывают, когда брачное предложение и все связанные с ним переговоры, порой слишком откровенные, а порой, если хотите, чересчур хитроумные, поручаются третьему лицу. Мы с вами дворяне, оба не болтливы и вышли из того возраста, когда люди всему удивляются. Итак, поговорим по-дружески. Я готов подать вам в этом пример. Мне двадцать девять лет, у меня нет земельной собственности, и я честолюбив. Мадемуазель Модеста мне бес-

конечно нравится, вы должны были это заметить. Несмотря на недостатки, которые ваша прелестная дочь так щедро себе приписывает...

— Вдобавок к тем, которые у нее действительно есть,— вставил полковник улыбаясь.

— Я с удовольствием предложил бы ей руку и сердце, и мне кажется, что могу составить ее счастье. Вопрос приданого для меня — вопрос будущего, ныне поставленного на карту. Все девушки хотят быть любимыми, *несмотря ни на что!* Тем не менее вы не такой человек, чтобы выдать единственную дочь без приданого, а мое положение не только не позволяет мне вступить в так называемый брак по любви, но и взять в жены девушку, которая не обладала бы состоянием, по крайней мере равным моему. Мое жалованье, синекуры, Академия и издательства приносят мне около тридцати тысяч франков в год — состояние немалое для холостяка. Если наш общий с женой годовой доход составит шестьдесят тысяч франков, то мое материальное положение почти не изменится. Дадите ли вы миллион за мадемуазель Модестой?

— Ах, сударь, мы очень далеки от этой цифры! — воскликнул полковник с коварством, достойным иезуита.

— Предположим в таком случае,— с живостью возразил Каналис,— что между нами ничего не было сказано. Вы будете довольны моим поведением, граф: меня сочтут одним из несчастных поклонников этой очаровательной девушки. Дайте мне слово, что вы сохраните все в тайне, даже от вашей дочери, так как в моей судьбе может произойти перемена,— прибавил он в виде утешения,— которая позволит мне просить ее руки и без приданого.

— Я буду молчать, даю слово,— ответил полковник.— Вы знаете, сударь, как любят в провинции и в Париже толковать о нажитых и прожитых состояниях. Люди одинаково преувеличивают чужое счастье и несчастье. Мы никогда не бываем ни так несчастны, ни так счастливы, как об этом говорят. Самое верное помещение капиталов — вложить их по оплате всех счетов в земельную собственность. Я с нетерпением ожидаю отчета моих уполномоченных. Ничто еще не закончено: ни прода-

жа товаров и корабля, ни приведение в порядок моих дел в Китае. Цифра моего состояния окончательно выяснится только по истечении десяти месяцев. Все же в Париже я гарантировал господину де Лабриеру двести тысяч франков приданого, и притом наличными деньгами. Я хочу обратить свои земли в майорат и обеспечить будущее внуков, добившись права передать им мой герб и титулы.

Но с первых же слов г-на Миньона Каналис перестал его слушать. Оказавшись на довольно широкой дороге, все всадники поехали рядом и достигли возвышенности, откуда по направлению к Руану открывался вид на плодородную долину Сены, а в противоположной стороне взор еще различал вдалеке море.

— Пожалуй, Бутша прав: бог — великий пейзажист,—сказал Каналис, любуясь живописными берегами Сены, красота которых пользуется заслуженной известностью.

— Это особенно замечаешь на охоте,— отозвался герцог.—Безмолвие природы нарушается тогда голосами, нестройным шумом, и мелькающие перед глазами пейзажи кажутся поистине величественными со своей сменой эффектов.

— Солнце — неистощимая палитра,— проговорила Модеста, удивленно поглядывая на поэта.

На замечание Модесты об его сосредоточенном виде Каналис ответил, что занят своими мыслями,— удобный предлог, на который всегда могут ссылаться писатели в отличие от прочих смертных.

— Разве мы стали счастливее оттого, что ушли от природы и проводим жизнь в светском обществе, осложняя ее множеством искусственных потребностей и непомерно раздутым тщеславием? — спросила Модеста, окидывая взглядом спокойные плодородные поля, навевавшие мысли о философски безмятежном существовании.

— Эту пастушескую идиллию, мадемуазель, всегда писали на золотых скрижалях,— сказал поэт.

— И все же она могла быть задумана в мансарде,— возразил полковник.

Бросив на Каналиса проницательный взгляд, которого он не в состоянии был выдержать, Модеста услышала

звон в ушах, в глазах у нее потемнело, и она произнесла ледяным тоном:

— Ах, ведь сегодня среда!

— Не думайте, что я хочу попасть в тон мадемуазель де Лабасти, тем более, что ее настроение, конечно, весьма мимолетно,— торжественно заявил герцог д'Эрувиль, которому эта сцена, драматическая для Модесты, дала время подумать,— но, право же, свет, двор и Париж опротивели мне. Вместе с герцогиней д'Эрувиль, будь у нее обаяние и ум мадемуазель де Лабасти, я согласился бы прожить всю жизнь, как философ, в замке д'Эрувиль, делая добро окружающим, осушая болота и воспитывая своих детей...

— Это вам зачтется, герцог,— ответила Модеста, задерживая свой взгляд на этом благородном человеке.— Но вы мне льстите,— продолжала она,— вы предполагаете во мне отсутствие легкомыслия и достаточно внутреннего содержания, чтобы жить вдали от общества. Что ж, возможно, такова моя судьба,— прибавила она, с пренебрежением глядя на Каналиса.

— Это судьба всех людей с небольшими средствами,— ответил поэт.— Париж требует вавилонской роскоши. Порой я спрашиваю себя, как удавалось мне до сих пор поддерживать такой образ жизни.

— Король может ответить на этот вопрос за нас обоих,— простодушно сказал герцог,—ведь мы живем милостями его величества. Если бы после падения Великого, как звали Сен-Мара, его пост не перешел к нашему роду, нам пришлось бы продать замок д'Эрувиль черной шайке. Верьте мне, мадемуазель, я считаю для себя большим унижением, что мне приходится примешивать денежные соображения к вопросу о браке.

Это чистосердечное признание и прозвучавшая в нем искренняя жалоба тронули Модесту.

— В наши дни, герцог,—сказал поэт,— во Франции не найдется ни одного человека достаточно богатого, чтобы позволить себе такое безумие, как жениться на бесприданнице. Кто же теперь берет себе жену за ее личные достоинства, за ее обаяние, характер и красоту?..

Внимательно взглянув на Модесту, лицо которой уже не выражало удивления, полковник многозначительно посмотрел на Каналиса.

— Порядочные люди,—проговорил он,—могут найти прекрасное применение своему богатству, постаравшись исправить ущерб, нанесенный временем старым историческим родам.

— Да, папенька,— серьезным тоном подтвердила Модеста.

Полковник пригласил герцога и Каналиса пообедать у него запросто, в костюмах для верховой езды, сославшись при этом на свой собственный костюм. По возвращении домой Модеста пошла переодеться и с любопытством взглянула на подарок, привезенный ей из Парижа и отвергнутый ею с таким жестоким пренебрежением.

— Как теперь искусно работают!—сказала она Франсуазе Коше, ставшей ее горничной.

— А ведь у несчастного юноши лихорадка, мадемуазель...

— Кто тебе сказал?

— Господин Бутша. Он приходил сюда и просил передать вам, что сдержал свое слово в назначенный день, хотя, говорит он, вы, без сомнения, уже заметили это сами.

Модеста спустилась в гостиную, одетая с царственной простотой.

— Дорогой отец,— громко сказала она, беря полковника под руку,— навестите, пожалуйста, господина де Лабриера, узнайте, как он себя чувствует, и возвратите ему этот подарок. Вы можете сослаться на то, что ни мои скромные средства, ни вкусы не позволяют мне пользоваться безделушками, которые приличествуют лишь королевам или куртизанкам. К тому же подарки я могла бы принимать только от жениха. Попросите милого юношу оставить у себя хлыст до того времени, когда вы узнаете, достаточно ли вы богаты, чтобы возместить его стоимость.

— У моей девочки так много здравого смысла? — сказал полковник, целуя Модесту в лоб.

Каналис воспользовался разговором, завязавшимся между герцогом д'Эрувилем и г-жой Миньон, чтобы вый-

ти в сад; за ним из любопытства последовала Модеста, тогда как он предположил, что ею руководит желание стать г-жой де Каналис. Поэт был сам несколько смущен бесстыдством, с каким он только что проделал маневр, называемый военными «налево кругом», хотя всякий честолюбец сделал бы то же самое на его месте. Заметив приближавшуюся к нему злополучную Модесту, он стал подыскивать убедительное объяснение своему поступку.

— Дорогая Модеста,— сказал он ей с ласкающими нотками в голосе,— быть может, я рискую навлечь на себя ваше неудовольствие, но я должен сказать, что при сложившихся между нами отношениях ваши ответы господину д'Эрувилю больно задевают человека любящего, а особенно поэта, который терзается всеми муками ревности, вызванной истинной любовью в его чуткой душе. Я был бы весьма плохим дипломатом, если бы не отгадал, что ваше кокетство, ваши заранее обдуманные, хотя с виду непоследовательные, поступки имели определенную цель: вы хотели изучить наши характеры...

Модеста подняла голову быстрым, умным и кокетливым движением; нечто подобное встречается, быть может, только в животном мире, где инстинкт порождает чудеса грации.

— ...И всякий раз по возвращении домой я не обманывался на этот счет. Я поражался вашей проницательности, так гармонирующей с вашим характером и всем вашим обликом. Будьте спокойны, я ни разу не усомнился в том, что эта искусственность, эта двойственность — лишь оболочка прелестной душевной чистоты. Нет, ни ум, ни образованность не нанесли ущерба той бесценной невинности, которую мы требуем от супруги. Поистине вы созданы для того, чтоб быть подругой поэта, дипломата, мыслителя, его поддержкой на трудном жизненном пути к успеху, и мое восхищение может сравниться только с моей привязанностью к вам. Умоляю вас, если вы не играли мной вчера, благосклонно выслушивая мои признания, признания человека, чье тщеславие сменится гордостью, когда он увидит себя избранным вами, чьи недостатки под вашим благотворным влиянием превратятся в достоинства, умоляю вас, не за-

девайте моего больного места. Ревность способна отравить мою душу, а вы мне дали почувствовать ее ужасную, разрушительную силу. О, это не ревность Отелло,— продолжал он, заметив нетерпеливое движение Модесты,— нет, нет!.. Вопрос во мне самом. Я избалован в этом отношении. Вам известна моя единственная привязанность, ей я обязан тем счастьем, которое изведал в жизни, увы, очень неполным счастьем! (Он покачал головой.) У всех народов художники изображают любовь ребенком, ибо только ребенок может думать, что вся жизнь принадлежит ему. Но предел моему чувству был положен самой природой,— оно оказалось мертворожденным. Материнское сердце, самое чуткое, отгадало, успокоило боль моей души, ибо женщина, которая чувствует, которая знает, что от нее уходят радости любви, умеет щадить и беречь любимого, и герцогиня ни разу не заставила меня страдать. За все десять лет мы не обменялись ни словом, ни взглядом, который мог бы внести разлад в нашу жизнь. Словам же, мыслям, взглядам я придаю больше значения, чем заурядные люди. Но если один взгляд может принести мне неизъяснимое блаженство, то малейшее сомнение для меня хуже яда и действует мгновенно: я перестаю любить. По моему разумению, идущему вразрез с мнением посредственностей, которым нравится трепетать, надеяться, ждать, любовь должна корениться в спокойной уверенности, полной, детски безмятежной, безграничной уверенности... Я заранее отказываюсь от того мучительного счастья, от того восхитительного ада, который женщины своим кокетством так любят создавать для нас здесь, на земле. Для меня любовь — либо рай, либо ад. Я не желаю ада и чувствую в себе достаточно силы, чтобы прожить всю жизнь под лазурным небосводом рая. Я отдаю всего себя,— в будущем у меня не будет ни тайн, ни сомнений, ни обмана, и я требую взамен того же. Быть может, вас оскорбляют мои сомнения! Но подумайте, я говорю только о себе...

— Вы много говорите о себе, впрочем, я всегда готова вас слушать,— сказала Модеста, задетая этими обидными намеками, в которых имя герцогини де Шолье употреблялось в качестве дубинки,— я привыкла восхищаться вами, дорогой поэт.

— Так как же? Обещаете ли вы мне ту же собачью

преданность, которую я предлагаю вам? Разве это не прекрасно? Разве это не то, о чем вы мечтали?

— Почему, дорогой поэт, не ищете вы невесты немой, слепой и глуповатой? Я не желаю ничего лучшего, как во всем нравиться своему мужу, но вы грозите лишить девушку обещанного счастья, лишить из-за малейшего жеста, слова, взгляда. Вы подрезаете птице крылья и все же хотите, чтоб она порхала в вашем раю. Я знаю, что поэтов обвиняют в непоследовательности. Обвинение, конечно, несправедливое,— добавила она в ответ на протестующий жест Каналиса.— Этот мнимый недостаток выдумали заурядные люди, неспособные представить себе ход возвышенных мыслей поэта. Но я никак не ожидала, что гениальный человек станет изобретать противоречивые условия подобной игры и называть ее жизнью. Вы требуете невозможного, чтобы свалить вину на меня. Вот так же волшебники из детских сказок задают невыполнимые задачи девушкам, которых они преследуют. Но бедняжкам помогают добрые феи, а где же мне найти их?

— Вашей доброй феей была бы истинная любовь,— сухо заметил Каналис, видя, что причина размолвки разгадана этим тонким, проницательным умом, которым так хорошо руководил Бутша.

— Дорогой поэт, вы напоминаете в эту минуту осторожных родителей, которые хотят узнать, велико ли приданое невесты, прежде чем сообщить, каково состояние их сына. Вы ведете себя со мной как разборчивый жених, не зная, имеете ли вы на это право. Любовь нельзя пробудить путем сухих рассуждений. Бедный герцог д'Эрувиль поддается моему влиянию с такой же готовностью, как дядя Тоби у Стерна повинуется вдове Водмен, с той лишь разницей, что я потеряла не мужа, как эта особа, а многие свои иллюзии относительно поэтов. Мы, девушки, не хотим верить тому, что разрушает наш фантастический мир. А ведь мне все это предсказали заранее! Ах, вы затеваете со мной некрасивую ссору, недостойную вас, и я не узнаю того Мельхиора, каким вы были вчера.

— Потому что Мельхиор подметил в вас честолюбие, от которого вы еще не отрешились.

Модеста окинула Каналиса с ног до головы взглядом оскорбленной королевы.

— ...Но я буду в один прекрасный день послом и пэром Франции совершенно так же, как и он.

— Вы принимаете меня за мещанку,— сказала она, поднимаясь по лестнице. И тут же, быстро обернувшись, прибавила, теряя власть над собой, почти задыхаясь от гнева: — Это все же не так дерзко, как принимать меня за дурочку. Я знаю, чем вызвана перемена в вашем поведении,— теми глупостями, которые болтают в Гавре и которые мне только что передала моя горничная Франсуаза.

— Можете ли вы так думать, Модеста? — сказал поэт, принимая драматическую позу.— Ужели вы полагаете, что я способен жениться на вас только из-за денег?

— Если эти слова оскорбляют вас после ваших назидательных речей на берегу Сены, то от вас одного зависит вывести меня из заблуждения, и тогда я буду для вас всем, чем вы пожелаете,— сказала она, бросая на него уничтожающий взгляд.

«Если ты думаешь поймать меня на эту удочку, моя милая,— думал поэт, следуя за ней,— то ты, очевидно, считаешь меня наивнее, чем я есть. Да и стоит ли церемониться с лицемеркой. Подумаешь! Очень мне нужно ее уважение! Не больше, чем уважение царька острова Борнео! Она приписывает мне низменные чувства и объясняет ими изменившееся мое поведение. Ну и хитра же она... Лабриер окажется под башмаком, как дурак, да он другого и не заслуживает, а через пять лет мы вдоволь посмеемся над ним вместе с ней».

Холодность между Каналисом и Модестой, наступившая после этой размолвки, была замечена всеми в тот же вечер. Каналис ушел рано под предлогом недомогания де Лабриера, предоставив обер-шталмейстеру полную свободу действий. Около одиннадцати часов Бутша, который зашел за женой своего патрона, шепнул Модесте улыбаясь:

— Разве я не был прав?

— К сожалению, вы были правы,— ответила она.

— Надеюсь, вы вспомнили о нашем уговоре и не сожгли всех кораблей?

— В минуту гнева я забылась и высказала ему всю правду.

— Ну что ж, тем лучше. Когда вы с ним окончательно поссоритесь и даже не в силах будете учтиво разговаривать друг с другом, я обязуюсь вновь сделать его таким влюбленным и настойчивым, что вы готовы будете ему поверить.

— Полно, Бутша, он большой поэт, дворянин, умный человек!

— Восемь миллионов вашего отца ценнее всего этого.

— Восемь миллионов? — переспросила Модеста.

— Мой патрон продает свою контору и уезжает в Прованс, чтобы руководить там покупкой земель, к которой приступает Кастанью, помощник вашего батюшки. Для того, чтобы выкупить поместье де Лабасти, предстоит заключить контрактов на сумму в четыре миллиона, и ваш батюшка согласился на эти расходы. У вас два миллиона приданого, а полковник даст еще один миллион на ваше устройство в Париже, на покупку дома и обстановки! Сосчитайте сами.

— Да я могу стать герцогиней д'Эрувиль,— сказала Модеста, взглянув на Бутшу.

— Без этого комедианта Каналиса вы оставили бы у себя хлыст, думая, что это мой подарок,— сказал клерк, косвенно ходатайствуя за Лабриера.

— Господин Бутша, уж не собираетесь ли вы выдать меня замуж по своему вкусу? — смеясь, спросила Модеста.

— Этот достойный юноша любит вас так же сильно, как я. У него есть сердце. И вы сами любили его в течение недели,— ответил клерк.

— Но может ли он соперничать с одним из первых придворных чинов, которых всего имеется шесть: придворный священник, канцлер, обер-камергер, обер-гофмейстер, коннетабль и генерал-адмирал? Ах, я забыла,— теперь уже нет больше коннетаблей.

— Через полгода народ, который состоит из бесчисленного множества злых Бутшей, может стереть с лица земли все это величие. Да и что значит в наше время дворянство? Во Франции не насчитывается и тысячи представителей настоящей родовой знати. Д'Эрувили происходят от придверника Роберта Нормандского. Кроме того, у вас будет много неприятностей из-за этих двух увядших старых дев. Если вас привлекает титул герцогини,

то вспомните, что вы родом из Конта. Несомненно, папа римский будет к вам не менее милостив, чем к торговцам, и продаст вам какое-нибудь герцогство с названием, оканчивающимся на *ниа* или *анью*. Не жертвуйте же своим счастьем ради придворного звания.

Ночью на ум Каналису приходили самые прозаические мысли. Он представлял себе весь ужас женитьбы на бесприданнице и содрогался при мысли о страшной опасности, которую чуть было не навлекло на него желание взять верх над герцогом д'Эрувилем и вера в миллионы графа де Лабасти! Поэт задавал себе вопрос: что должна была подумать герцогиня де Шолье о его длительной поездке в Гавр? Положение еще более осложнялось двухнедельным молчанием, между тем как, живя в Париже, они обменивались четырьмя или пятью письмами в неделю.

— А несчастная женщина еще старается выхлопотать мне ленту командора ордена Почетного легиона и назначение посланником при дворе великого герцога Баденского! — воскликнул он.

И тотчас же, с той стремительностью решений, которая у поэтов, как и у дельцов, порождается даром провидения, он сел за стол и написал следующее письмо:

«Герцогине де Шолье.

Дорогая Элеонора, ты, без сомнения, удивлена, не получая до сих пор от меня вестей. Но зажился я здесь не только из-за пошатнувшегося своего здоровья: мне хотелось отблагодарить хотя бы отчасти нашего друга де Лабриера. Бедный юноша сильно увлекся некоей Модестой де Лабасти, бедной, вялой и незначительной девицей. Между прочим, она питает слабость к литературе и выдает себя за поэтическую натуру, чтобы оправдать свои капризы, причуды и непрестанные перемены в расположении духа,— следствие довольно скверного ее характера. Ты знаешь Эрнеста: беднягу так легко поймать на удочку, что я не решился отпустить его одного. Мадемуазель де Лабасти подчеркнуто кокетничала с твоим Мельхиором. Она была весьма расположена стать твоей соперницей, хотя руки и плечи у нее слишком худы, как у всех молодых девиц, волосы еще более бесцветны, чем

у г-жи де Рошфид, а выражение маленьких серых глазок наводит на всякие размышления. Я положил конец, быть может слишком грубо, любезностям этой Нескромницы. Что мне за дело до всех женщин на свете! Все вместе взятые они не стоят тебя одной.

Я провожу здесь время с настоящими тошнотворными буржуа, составляющими свиту наследницы. Пожалей меня! По вечерам мое общество — это писцы, жены нотариусов, кассиры и провинциальный ростовщик. Да, далеко этим вечерам до приемов на улице Гренель! Мнимое богатство отца вышеуказанной девицы, возвратившегося из Китая, доставило нам удовольствие видеть в этом обществе обер-шталмейстера, вечного жениха, более чем когда-либо жаждущего миллионов,— говорят, ему их нужно шесть или семь, чтобы осушить знаменитые болота в Эрувиле. Король не знает, какой роковой подарок он сделал щуплому герцогу. Его светлость, не подозревая об относительной бедности своего предполагаемого тестя, ревнует девушку только ко мне. Лабриер добивается благосклонности своего кумира при содействии твоего покорного слуги, заменяющего ему ширму. Невзирая на восторги Эрнеста, я, поэт, думаю о практической стороне дела, и сведения, которые я собрал о состоянии Миньона, омрачают будущее нашего секретаря, тем более что острые зубки его невесты могут внушить беспокойство за судьбу любого состояния. Если ты, мой ангел, захочешь искупить некоторые наши грехи, то попытайся узнать истинное положение вещей; пригласи к себе банкира Монжено и расспроси его со свойственным тебе искусством. Г-н Миньон, старый кавалерийский полковник императорской гвардии, поддерживал в течение семи лет деловые отношения с банкирским домом Монжено. Поговаривают, что он даст за дочерью самое большее двести тысяч франков приданого, но мне хотелось бы располагать точными данными, прежде чем я стану просить руки его дочери для Эрнеста. Как только молодые люди будут помолвлены, я вернусь в Париж. Я знаю, как лучше всего уладить дела нашего влюбленного: надо добиться передачи графского титула будущему зятю г-на Миньона. Никто не имеет больше шансов добиться этой милости, чем Эрнест, благодаря услугам, оказанным им королю, особенно если мы трое — ты, гер-

цог и я — придем ему на помощь. А затем Эрнест без труда станет советником и при своих скромных вкусах будет очень счастлив, живя в Париже на двадцать пять тысяч франков годового дохода, имея прочное положение и вдобавок жену, несчастный!

Дорогая, я не могу дождаться той минуты, когда вновь увижу улицу Гренель. Если двухнедельная разлука не убивает любви, то придает ей пылкость первых дней, а ты, возможно, лучше меня знаешь причины, которые сделали мою любовь вечной. Даже в могиле мой прах будет любить тебя. Вот почему я здесь долго не выдержу! Если мне придется остаться в Гавре еще дней десять, я приеду в Париж хоть на несколько часов.

Добился ли для меня герцог ленты командора? А тебе, радость, жизнь моя, предпишут ли врачи на будущий год ехать на воды в Баден? Наш прекрасный меланхолик воркует, как голубок. Глядя на него, думаю о нашей счастливой любви, неизменно верной и глубокой вот уже скоро десять лет, и при этом сравнении начинаю глубоко презирать брак: я еще никогда не видел всего этого так близко. Ах, дорогая, то, что называют грехом, гораздо крепче связывает два любящих существа, чем *закон*, не так ли?»

Эта мысль послужила Каналису темой для двух страниц воспоминаний и излияний, слишком интимных для того, чтобы их можно было опубликовать.

Накануне того дня, когда Каналис отправил это послание, Бутша под именем Жана Жакмена ответил на письмо своей мнимой кузины Филоксены, опередив на двенадцать часов письмо поэта.

За последние две недели герцогиня, встревоженная, оскорбленная молчанием Каналиса, не находила себе места. Продиктовав Филоксене письмо к «кузену» и прочтя его ответ, чересчур откровенный для самолюбия пятидесятилетней женщины, герцогиня собрала точные сведения о состоянии полковника Миньона и поняла, что она обманута, покинута ради миллионов. Гнев, ненависть и холодная злоба охватили ее. Как раз в эту минуту Филоксена постучалась в дверь роскошной спальни своей хозяйки и, заметив, что у герцогини глаза полны слез,

застыла на месте от удивления: за все пятнадцать лет службы в ее доме горничная видела это в первый раз.

— Десять минут страдания могут отравить десять лет счастья! — воскликнула герцогиня.

— Письмо из Гавра, сударыня.

Элеонора стала читать произведение Каналиса, не замечая присутствия Филоксены, изумление которой еще усилилось при виде того, как лицо герцогини проясняется по мере чтения письма. Утопающий, говорят, за соломинку хватается и видит в ней надежное средство спасения: обрадованная Элеонора верила в чистосердечие Каналиса, читая эти четыре странички, где переплетались любовь и денежные дела, ложь и правда. Эта женщина, которая по уходе банкира уже велела позвать мужа, решив, если еще не поздно, помешать назначению Мельхиора, была охвачена теперь порывом великодушия, граничащим с самопожертвованием.

«Бедный мальчик! — подумала она.— У него не было никакого дурного намерения. Он любит меня, как в первые дни, он ничего от меня не скрывает!»

— Филоксена! — сказала она, только сейчас заметив старшую горничную, которая стояла около нее, делая вид, будто прибирает на туалетном столике.

— Что прикажете, сударыня?

— Дай зеркало, голубушка!

Элеонора взглянула на себя в зеркало, увидела незаметные на расстоянии тонкие морщинки, которые время, точно бритвой, провело на ее лбу, и вздохнула. Ей казалось, что этим вздохом она навеки прощается с любовью. И тогда она приняла мужественное решение, чуждое женской мелочности, опьяняющее на мгновение, как вино; только этим опьянением можно объяснить милость Северной Семирамиды, выдавшей замуж за Мамонова свою молодую и красивую соперницу.

«Раз он не нарушил своего слова, я помогу ему заполучить и миллионы и невесту,— подумала она,— если только эта девица Миньон действительно так некрасива, как он пишет».

Легкий троекратный стук в дверь возвестил о визите супруга, и герцогиня сама отворила ему дверь.

— А-а, вы чувствуете себя лучше, дорогая! — воскликнул он с притворной радостью, которую так хорошо

умеют разыгрывать придворные, тогда как глупцы принимают ее за чистую монету.

— Дорогой Анри,— сказала она,— право, непонятно, как это вы до сих пор не сумели добиться назначения Мельхиора, вы, человек, который все принес в жертву королю; ведь вы приняли на себя обязанности министра, хоть и заранее знали, что не удержитесь на этом посту даже одного года.

Герцог взглянул на Филоксену, и горничная еле заметным движением указала на письмо из Гавра, лежащее на туалетном столике.

— Вы будете очень скучать в Германии и вернетесь оттуда в ссоре с Мельхиором,— простодушно сказал герцог.

— Но почему?

— Вы же будете там постоянно вместе,— ответил бывший посол с комическим добродушием.

— О нет! — возразила она.— Я его женю.

— Если верить герцогу д'Эрувилю, то милейший Кэналис не ждет вашей любезной помощи,— заметил герцог, улыбаясь.— Вчера Гранлье прочел мне выдержки из письма, которое написал ему обер-шталмейстер, очевидно, под диктовку своей тетушки. Конечно, это камешек в ваш огород,— ведь герцогиня д'Эрувиль, неутомимая искательница богатых невест для своего племянника, знает, что мы с Гранлье почти каждый вечер играем вместе в вист. Маленький д'Эрувиль уговаривает князя Кадиньяна устроить королевскую охоту в Нормандии и настоятельно просит его привезти туда короля,— очевидно, надеется вскружить голову барышне, когда она увидит, что ради нее устраивается такое празднество. Действительно, два слова Карла Десятого устроили бы все дело. Д'Эрувиль пишет, что девушка необычайно хороша собой...

— Анри, едемте в Гавр! — воскликнула герцогиня, перебивая мужа.

— Но под каким предлогом? — серьезно спросил этот человек, бывший некогда одним из доверенных лиц Людовика XVIII.

— Я ни разу не видела охоты.

— Это было бы прекрасно, если бы туда собирался король, но ехать на охоту в такую даль слишком хлопот-

но и утомительно, и он не поедет, я только что говорил с ним об этом.

— Ее высочество могла бы поехать...

— Это уже лучше,— заметил герцог,— и герцогиня де Мофриньез может помочь вам вытащить ее из Рони. В таком случае король с удовольствием разрешит воспользоваться его охотничьим выездом. Не надо ездить в Гавр, дорогая,— отеческим тоном проговорил герцог,— вы скомпрометируете себя. Знаете, я, кажется, нашел выход. За Бротонским лесом у Гаспара есть поместье Розамбре. Почему бы не навести Гаспара де Верней на мысль, что ему следует принять у себя все общество?

— Как это сделать? — спросила Элеонора.

— Но ведь герцогиня, его жена, всегда причащается вместе с госпожой д'Эрувиль, и она прекрасно могла бы по просьбе старой девы обратиться к Гаспару.

— Вы прелесть! — воскликнула Элеонора.— Я тотчас же напишу несколько слов старой деве и Диане, ведь нам еще придется заказать охотничьи костюмы. Мне думается, маленькая охотничья шляпа очень молодит. А что, вчера у английского посла вы были в выигрыше?

— Да,— сказал герцог,— мне удалось отыграться.

— Главное, Анри, пустите в ход решительно все, чтобы добиться для Мельхиора ордена и назначения.

Элеонора написала несколько строк прекрасной Диане де Мофриньез и записку г-же д'Эрувиль. Затем она ответила Каналису и, как хлыстом, ударила по самолюбию поэта, разоблачив его измышления.

«Барону де Каналису.

Дорогой поэт, мадемуазель де Лабасти очень красива. Монжено заявил мне, что у ее отца восемь миллионов. Я думала женить вас на ней и очень сердита на вас за недостаток доверия. Если вы отправились в Гавр с намерением женить Лабриера, то не понимаю, почему было не сказать мне об этом перед отъездом? И почему за две недели вы ни разу не написали мне, своему другу, зная, как меня легко взволновать. Ваше письмо при-

шло слишком поздно, я уже видела нашего банкира. Вы ребенок, Мельхиор, вы хитрите с нами. Это нехорошо. Даже герцог оскорблен вашим поступком. Он находит его недостойным дворянина, а это бросает тень на вашу матушку.

Теперь я желаю во всем убедиться собственными глазами. Кажется, я буду иметь честь сопровождать ее высочество на охоту, которую герцог д'Эрувиль устраивает для мадемуазель де Лабасти; я добьюсь, чтобы и вас пригласили в Розамбре, так как место встречи охотников будет, вероятно, назначено у герцога де Верней.

Поверьте, дорогой поэт, что, несмотря ни на что, я остаюсь вашим другом на всю жизнь.

Элеонора де М.»

— Смотри, Эрнест,— сказал Каналис, бросая через стол Лабриеру письмо г-жи де Шолье, полученное им за завтраком,— вот двухтысячная любовная записка, которую я получаю от этой женщины, и в ней нет ни одного обращения на *ты*. Прославленная Элеонора ни разу не скомпрометировала себя больше, чем в этом письме. Послушайся меня, женись! Несчастнейший брак лучше такого ярма, даже если оно и не слишком давит. Я величайший простофиля из всех, когда-либо ступавших по земле. У Модесты миллионы, она навсегда потеряна для меня, так как с северного полюса, на котором мы с ней находимся, нельзя вернуться к тропикам, где мы пребывали три дня назад. Итак, желаю тебе одержать победу над обер-шталмейстером, тем более что я писал герцогине, будто приехал сюда исключительно ради тебя; поэтому я буду помогать тебе.

— Увы, Мельхиор! Модеста не устоит, увидев королевский двор во всем его великолепии, картина которого будет так искусно развернута герцогом в ее славу и честь. Для того чтобы устоять против этого, у девушки должен быть сильный, сложившийся и благородный характер, я отказываюсь верить в подобное совершенство... Но если Модеста все та же, какой была в своих письмах, надежда еще не потеряна.

— Как ты счастлив, юный Бонифаций, что можешь смотреть на мир и на свою возлюбленную сквозь призму

мечтаний! — воскликнул Каналис и встал из-за стола, чтобы пройтись по саду.

Уличенный с двух сторон во лжи, он не знал, на что решиться.

«Кажется, играл по всем правилам, так вот нате вам — проигрыш! — раздумывал он, удалившись в беседку.— Конечно, четыре дня тому назад все здравомыслящие люди поступили бы так же, как я: каждый постарался бы выбраться из ловушки, в которую, по-видимому, я попал; в таких случаях нельзя терять времени, стараясь развязать сложившиеся отношения, их надо рвать!.. Как же теперь быть? Надо держаться холодно, спокойно, принять вид оскорбленного достоинства. Честь не позволяет мне поступать иначе. Английская чопорность — вот единственное средство вновь завоевать уважение Модесты. В конце концов, если мне не останется ничего иного, как вернуться к прежнему счастью, то моя десятилетняя верность будет вознаграждена: Элеонора найдет мне хорошую партию!»

На предстоящей охоте суждено было столкнуться всем страстям, разыгравшимся вокруг богатства полковника и красоты Модесты; поэтому соперники заключили своего рода перемирие. В течение нескольких дней, необходимых для приготовлений к этому празднеству, гостиная виллы «Миньон» приобрела такой мирный вид, будто в ней собиралась самая дружная семья. Каналис, взяв на себя роль человека, несправедливо оскорбленного Модестой, решил быть любезным со всеми. Он отбросил рисовку, не щеголял ораторским искусством и стал таким, какими бывают умные люди, когда они отказываются от аффектации, то есть обаятельным. С Гобенхеймом он беседовал о финансах, с полковником о войне, с г-жой Миньон о Германии, с г-жой Латурнель о хозяйстве и пытался склонить их всех на сторону Лабриера. Герцог д'Эрувиль довольно часто предоставлял полную свободу действий обоим друзьям, так как был вынужден ездить в Розамбре, совещаться с герцогом де Верней и следить за выполнением приказаний обер-егермейстера, князя Кадиньяна. Не было недостатка и в комическом элементе. Модеста оказалась меж двух огней: с одной стороны Каналис, всячески преуменьшавший любезность, оказанную ей обер-шталмейстером, а с другой — девицы

д'Эрувиль, которые старательно преувеличивали ее значение и для этого каждый вечер являлись к Миньонам. Каналис внушал Модесте, что она не только не окажется героиней празднества, но едва ли будет там замечена: ее высочество сопровождают герцогиня де Мофриньез, невестка князя де Кадиньяна, герцогиня де Шолье и несколько придворных дам, среди которых молоденькая девушка не произведет никакого впечатления. Без сомнения, получат приглашение и офицеры руанского гарнизона и т. д. Но Элен без устали твердила Модесте, в которой уже видела свою невестку, что она будет представлена ее высочеству; конечно, герцог де Верней пригласит ее вместе с отцом погостить в Розамбре. Если полковник желает получить какую-нибудь милость от короля, например звание пэра, то этот случай — единственный в своем роде, так как еще не потеряна надежда увидеть короля на третий день охоты. Модеста будет поражена любезным приемом прекраснейших придворных дам: трех герцогинь — де Шолье, де Мофриньез, де Ленонкур-Шолье — и других красавиц придворного круга. Предубеждения Модесты рассеются, и т. д., и т. д. Это была война в миниатюре, весьма забавная война, с наступлениями, контрманеврами и стратегическими хитростями. Дюме, Латурнели, Гобенхейм и Бутша наслаждались ею. Между собой они чрезвычайно нелестно отзывались о дворянах и подчеркивали их низость, изученную до тонкости, с беспощадной проницательностью.

Обещания партии д'Эрувиля получили подтверждение: от герцога де Верней и от обер-егермейстера Франции было получено на имя графа де Лабасти и его дочери весьма любезное приглашение принять участие в большой охоте, устраиваемой в Розамбре с седьмого по десятое ноября.

Лабриер, полный зловещих предчувствий, любовался Модестой с той неутолимой жадностью, горькие радости которой знакомы только влюбленным перед роковой разлукой. Проблески этого неразделенного счастья сопровождались меланхолическими размышлениями на тему: «Она потеряна для меня навсегда», придававшими юноше трогательный вид, тем более что весь его облик вполне соответствовал глубине его чувств. Нет

ничего поэтичнее живой элегии, которая смотрит, ходит и вздыхает, не помышляя о рифмах.

Наконец появился и герцог д'Эрувиль, чтобы условиться о поездке Модесты и предупредить, что в назначенный день на другом берегу Сены ее будет ожидать герцогская коляска с обеими девицами д'Эрувиль. Герцог проявил редкую учтивость: он пригласил на охоту Каналиса и Лабриера, заметив им, так же как и г-ну Миньону, что для них уже готовы верховые лошади, о чем он лично распорядился. Полковник позвал трех поклонников своей дочери позавтракать у него в день отъезда. И тут Каналис решил привести в исполнение план, созревший за последние дни, а именно, незаметно вернуть себе расположение Модесты и перехитрить герцогиню, обер-шталмейстера и Лабриера. Должен же был будущий дипломат выпутаться из положения, в которое сам себя поставил. А Лабриер решил навеки проститься с Модестой. Предчувствуя конец трехнедельной борьбы, каждый поклонник хотел сделать последнюю попытку и шепнуть девушке несколько слов, как истец лицеприятному судье перед вынесением приговора. Накануне охоты, после обеда, полковник взял под руку дочь и, прогуливаясь с ней по саду, дал ей понять, что необходимо, наконец, сделать выбор.

— Иначе в Розамбре мы окажемся в ложном положении по отношению к семейству д'Эрувилей,— сказал он Модесте.— Хочешь ли ты стать герцогиней? — спросил он.

— Нет, папенька,— ответила она.

— Неужели ты любишь Каналиса?

— Разумеется, нет! Тысячу раз нет! — возразила она с детским нетерпением.

Полковник радостно посмотрел на Модесту.

— Не я повлиял на тебя,— воскликнул этот прекрасный отец,— и теперь могу признаться, что еще в Париже выбрал себе зятя. Представь себе, стоило мне объявить ему о моей мнимой бедности, как он бросился мне на шею, говоря, что я снимаю с его сердца огромную тяжесть.

— О ком вы говорите?—спросила Модеста, краснея.

— О человеке «с трезвыми понятиями и нравственными устоями»,— сказал он шутливо, повторяя те слова,

которые на следующий день после его возвращения разбили мечты Модесты.

— Но я вовсе не помышляю о нем, папенька! А что до герцога, разрешите мне лично отказать ему. Я д'Эрувиля знаю и сумею ему польстить.

— Так ты еще ни на ком не остановила своего выбора?

— Нет еще. Мне остается разгадать всего несколько слогов из шарады моего будущего. Я открою вам свой секрет в Розамбре после того, как, хотя бы мельком, увижу двор.

— Вы поедете на охоту, не правда ли? — крикнул полковник, заметив Лабриера в конце аллеи, по которой сам прогуливался с дочерью.

— Нет, полковник,—ответил Эрнест.—Я пришел проститься с вами и с мадемуазель Модестой... я возвращаюсь в Париж.

— Вы не любопытны,— сказала Модеста, перебивая застенчивого Лабриера, и устремила на него пристальный взгляд.

— Одного слова достаточно, чтобы я остался, но я не смею на него надеяться,— ответил он.

— Лично мне вы доставите большое удовольствие, если останетесь,— сказал полковник и направился навстречу Каналису, оставив на минуту свою дочь наедине с несчастным Эрнестом.

— Мадемуазель,— сказал он, взглянув на нее со смелостью отчаяния,— у меня есть к вам просьба.

— Ко мне?

— Я хочу унести с собой ваше прощение. Я никогда не буду счастлив, я всегда буду сожалеть о счастье, потерянном, конечно, по моей вине, но по крайней мере...

— Прежде чем расстаться навсегда,— взволнованно ответила Модеста, перебивая собеседника, как это обычно делал Каналис,— я хочу, чтобы вы мне сказали только одно. Правда, однажды вы уже надевали маску, но не думаю, чтобы теперь у вас хватило низости меня обмануть.

При слове «низость» Эрнест побледнел.

— Вы безжалостны! — воскликнул он.

— Будете ли вы искренни?

— Вы имеете право задать мне столь унизительный вопрос,— сказал он упавшим голосом, едва дыша от сердцебиения.

— Скажите же, давали вы читать мои письма господину де Каналису?

— Нет, мадемуазель, я дал их прочесть только полковнику, и то лишь для того, чтобы оправдаться перед ним. Я хотел, чтоб он понял, как зародилась моя привязанность к вам и насколько искренни были мои попытки излечить вас от фантазий.

— Но как могла прийти вам в голову мысль об этом недостойном маскараде? — спросила она нетерпеливо.

Лабриер правдиво рассказал о сцене, разыгравшейся после первого письма Модесты, а также о своеобразном вызове, брошенном Каналисом в ответ на высказанное им, Эрнестом, хорошее мнение о неведомой ему молодой девушке, которая тянется к славе, как цветок к солнцу.

— Довольно,— ответила Модеста.— Если мое сердце и не принадлежит вам, сударь, вы все же приобрели мое уважение.

Эти простые слова глубоко взволновали Лабриера; у него закружилась голова, он пошатнулся и ухватился за куст. Он напоминал человека, внезапно лишившегося рассудка. Модеста уже отошла от него, но в эту минуту она оглянулась и поспешно вернулась назад.

— Что с вами? — спросила она, протягивая руку, чтобы его поддержать.

Модеста почувствовала прикосновение похолодевшей руки и увидела белое, как полотно, лицо: вся кровь Эрнеста прилила к сердцу.

— Простите, мадемуазель... Я думал, вы так меня презираете...

— Но я вовсе не сказала, что люблю вас,—возразила Модеста высокомерно.

И она вновь оставила Лабриера, который, несмотря на ее жестокие слова, вдруг воспарил в облака. Он не чувствовал под ногами земли, деревья, казалось, покрылись цветами, небо приняло розовую окраску, а воздух стал голубоватым, как в тех храмах Гименея, которые появ-

ляются на сцене в феериях с благополучным концом. Женщины в таких случаях уподобляются Янусу: не оборачиваясь, они замечают то, что происходит у них за спиной. И таким образом Модеста увидела даже в позе Эрнеста неопровержимые доказательства чувства, столь же глубокого, как любовь Бутши, а подобная любовь— nec plus ultra [1] желаний всякой женщины. И мысль о том, что Лабриеру бесконечно дорого ее уважение, радостно взволновала Модесту.

Отойдя от полковника, Каналис сказал, обращаясь к Модесте:

— Мадемуазель, хотя вы очень мало считаетесь с моими чувствами, я все же должен стереть со своей чести пятно бесчестья, которое и так терпел слишком долго. Вот что писала мне герцогиня де Шолье через пять дней после моего приезда сюда.

Он дал прочесть Модесте первые строчки письма, где герцогиня сообщала, что виделась с Монжено и желает женить Мельхиора на Модесте; затем он оторвал начало письма и передал его девушке.

— Остальное я не могу вам показать,— сказал он, пряча листок в карман,— но я вверяю вашей деликатности эти несколько строк, чтобы вы могли сличить почерк. Девушка, заподозрившая меня в низменных чувствах, способна поверить в хитрость, в заговор. Поймите же, мне важно доказать вам, что происшедшая между нами ссора не вызвана с моей стороны каким-либо гнусным расчетом. Ах, Модеста,— проговорил он со слезами в голосе,— у вашего поэта, у поэта госпожи де Шолье, поэзии в сердце не меньше, чем в мыслях. Вы увидите герцогиню, не судите же меня до тех пор.

И он ушел, оставив Модесту в недоумении.

«Что это? Оказывается, оба они ангелы,— подумала она.— Ни за одного из них нельзя выйти замуж; только герцог принадлежит к простым смертным».

— Мадемуазель Модеста, эта охота беспокоит меня,— сказал Бутша, появляясь со свертком под мышкой.— Я видел сон, будто вас понесла лошадь, и съездил в Руан, чтобы купить там испанский мундштук: мне ска-

---

[1] Высший предел *(лат.)*.

зали, что с таким мундштуком ни одна лошадь не может закусить удила. Умоляю вас, воспользуйтесь им; я уже показывал его полковнику, и ваш батюшка благодарил меня больше, нежели я того заслуживаю.

— Славный, милый Бутша! — воскликнула Модеста, растроганная до слез этой нежной заботливостью.

Бутша удалился вприпрыжку, точно наследник, только что получивший известие о смерти богатого дядюшки.

— Дорогой папенька,— сказала Модеста, входя в гостиную,— мне очень хотелось бы иметь тот красивый хлыст... Что, если вы предложите господину де Лабриеру обменять его на вашу картину Ван-Остаде?

Модеста незаметно наблюдала за Эрнестом, пока полковник делал ему это предложение, стоя перед картиной, купленной им у какого-то голландца в Регенсбурге,— единственной памятью, сохранившейся о его походах. Увидев, с какой поспешностью Лабриер вышел из гостиной, она подумала: «Он примет участие в охоте».

Странное дело, когда поклонники Модесты собрались ехать в Розамбре, все трое были полны надежды и восхищены ее несравненными совершенствами.

Розамбре — поместье, недавно купленное герцогом де Верней на его долю из миллиарда, ассигнованного парламентом, чтобы узаконить продажу национального имущества. Оно славится замком, не уступающим по своему великолепию Меньеру и Валеруа. К этому величественному зданию, поражающему благородством архитектурного замысла, ведет широкая аллея, обсаженная четырьмя рядами столетних вязов, и огромный покатый двор, вроде версальского, с двумя павильонами для привратников по бокам. Двор обнесен великолепной решеткой и уставлен апельсиновыми деревьями в кадках. Если смотреть со стороны двора, замок напоминает букву «п», так как главное здание стоит между двумя выступающими крыльями. В каждом его этаже по девятнадцати высоких окон, разделенных переплетами на мелкие квадратики и увенчанных лепными арками. Простенки между оконными проемами украшены полуколоннами с канелюрами. Карниз здания заканчивается балюстрадой, скрывающей от глаз крышу в итальянском вкусе. над

которой возвышаются каменные трубы с высеченным на них орнаментом в виде военных трофеев: Розамбре был построен при Людовике XIV откупщиком податей по фамилии Коттен. Часть здания, выходящая в парк, отличается от фасада выступом в пять окон с колоннадой и великолепным фронтоном. Семейство де Мариньи — к нему владения Коттена перешли от мадемуазель Коттен, единственной наследницы отца — заказало Куазево вылепить для украшения этого фронтона солнечный восход с двумя ангелами, держащими развернутую ленту, на которой прежний девиз был заменен новым, прославляющим короля: Sol nobis benignus [1]. Король пожаловал титул герцога маркизу де Мариньи, одному из своих ничтожнейших фаворитов.

Две широкие полукруглые лестницы с перилами ведут к парадному крыльцу, откуда открывается вид на огромный пруд, такой же широкий и длинный, как Большой канал в Версале; перед прудом расстилается лужайка, которая могла бы оказать честь любому английскому парку, а по ее краям в то время рдели на клумбах осенние цветы. По обе стороны пруда расположены сады во французском стиле с цветниками, аллеями и тем изысканным разнообразием, на котором лежит яркий отпечаток пышного стиля Ленотра. За садами тянется роща площадью около тридцати арпанов, где при Людовике XV были разбиты два английских парка. Если смотреть с террасы, то вдали вырисовывается лесной массив, входящий в состав поместья Розамбре и примыкающий к двум другим лесам: казенному и королевскому. Трудно найти вид красивее этого.

Прибытие Модесты вызвало в замке сенсацию, едва только в аллее была замечена карета с гербом французского короля и четыре сопровождавших ее всадника — обер-шталмейстер, полковник, Каналис и Лабриер. Впереди ехал берейтор в парадной ливрее, а сзади следовали десять егерей и слуг, среди которых можно было заметить мулата и негра, а также изящная бричка полковника с двумя горничными и вещами. В карету была впряжена четверка лошадей, а на запятках стояли грумы, изысканно

---

[1] Солнце благосклонно к нам *(лат.)*.

«ТУРСКИЙ СВЯЩЕННИК».

«ТУРСКИЙ СВЯЩЕННИК»

одетые по приказанию обер-шталмейстера, которого часто обслуживают лучше, чем самого короля. Увидев этот Версаль в миниатюре, Модеста была ослеплена роскошью, окружающей вельмож. Она думала о предстоящей встрече с прославленными герцогинями и боялась, что окажется рядом с ними недостаточно светской, натянутой провинциалкой или же выскочкой. Она совершенно потеряла голову и пожалела о своем решении принять участие в охоте.

К счастью, как только карета остановилась, Модеста заметила старика в белокуром парике, завитом мелкими буклями; его спокойное, полное, гладкое лицо, добродушное, как у сытого монаха, светилось отеческой улыбкой, а полуприкрытые веки придавали взгляду выражение достоинства, почти важности. Герцогиня де Верней, особа в высшей степени набожная, мать четверых детей, была единственной дочерью богатейшего председателя кассационного суда, умершего в 1800 году. Прямой и сухой фигурой она напоминала г-жу Латурнель, если только воображение может придать жене нотариуса величавую осанку аббатисы.

— Здравствуйте, дорогая Гортензия,— сказала девица д'Эрувиль, целуя герцогиню с тем чувством симпатии, которая связывала эти два высокомерных характера,— позвольте представить вам, а также нашему милому герцогу этого ангела, мадемуазель де Лабасти.

— Мы столько слышали о вас, мадемуазель,— проговорила герцогиня,— что с нетерпением ждали случая принять вас у себя.

— А теперь нам остается только пожалеть о потерянном времени,— проговорил герцог де Верней, склоняясь перед Модестой с галантным восхищением.

Обер-шталмейстер взял полковника под руку и, подведя его к супругам де Верней, почтительно произнес:

— Граф де Лабасти.

Полковник поклонился герцогине, герцог протянул ему руку:

— Добро пожаловать, граф. Вы обладаете настоящим сокровищем,— прибавил он, посмотрев на Модесту.

Герцогиня взяла Модесту под руку и повела ее в

огромную гостиную, где у камина кружком расположились дамы. Герцог увел на террасу всех мужчин, за исключением Каналиса, который почтительно подошел к величественной Элеоноре. Герцогиня де Шолье сидела за пяльцами и, склонившись над вышиванием, давала советы мадемуазель де Верней, как лучше подобрать тона.

Ледяной, высокомерный и презрительный взгляд герцогини задел Модесту больнее, чем если бы она уколола себе палец, нечаянно схватившись за подушечку для иголок. Войдя в гостиную, девушка не заметила никого, кроме этой дамы, и сразу догадалась, кто она. Чтобы понять, до чего доходит жестокость прелестных созданий, которых мы так возвеличиваем своей любовью, надо видеть, как женщины обращаются друг с другом. Модеста обезоружила бы всех женщин, кроме Элеоноры, невольным и наивным восхищением, с каким смотрела на нее; не зная возраста герцогини, она подумала, что красавице этой не больше тридцати пяти лет. Но Модесте предстояло столкнуться со многими другими неожиданностями.

Между тем поэт испытывал на себе гнев своей возлюбленной. А в гневе великосветская львица загадочнее любого сфинкса: лицо сияет, сама же неприступна. Даже короли не знают, как сломить изысканно-холодную вежливость любовницы, защищающую ее стальной броней. Прелестная женская головка улыбается, а в то же время во всем чувствуется холод стали: пальцы стальные, руки, тело — все стальное. Каналис пытался ухватиться за эту сталь, но его пальцы лишь скользили по ней, так же как и его слова по сердцу Элеоноры. Любезное выражение лица, любезные фразы и любезные манеры герцогини скрывали от всех глаз замораживавший холод ее гнева, температура которого спустилась до 25° ниже нуля. А между тем возмущение, накопившееся за долгие часы раздумья, сразу вспыхнуло в ней при виде благородной красоты Модесты, разрумянившейся с дороги и одетой не менее изящно, чем Диана де Мофриньез.

Еще до этой сцены все женщины собрались у окна, чтобы посмотреть, как выходит из кареты «новоявленное чудо» в сопровождении трех поклонников.

— Не надо выказывать любопытство,— проговорила г-жа де Шолье, пораженная в самое сердце словами Дианы: «Она божественна. Откуда она взялась?»

Дамы тотчас же упорхнули в гостиную, напустив на себя безразличный вид, а герцогиня де Шолье почувствовала, как в сердце ее шипят тысячи змей и все требуют пищи.

Госпожа д'Эрувиль тихо и, конечно, не без умысла сказала герцогине де Верней:

— Элеонора очень плохо встретила своего великого поэта.

— Герцогиня де Мофриньез полагает, что между ними пробежал холодок,— простодушно ответила Лаура де Верней.

Разве не примечательна эта фраза, которую так часто слышишь в свете? В ней чувствуется дыхание полярных снегов.

— Но почему? — спросила Модеста у этой очаровательной девушки, два месяца тому назад вышедшей из монастырского пансиона Сакре-Кер.

— Великий человек не написал ей ни единого слова за все две недели своего пребывания в Гавре,— ответила набожная герцогиня, делая знак своей дочери молчать,— а ведь он сказал ей, что едет туда для поправления здоровья.

При этих словах Модеста невольно вздрогнула, к удивлению Лауры, Элен и г-жи д'Эрувиль.

— А в это время,— продолжала благочестивая герцогиня,— Элеонора добивалась для него ленты командора и назначения послом в Баден.

— О, как это нехорошо со стороны Каналиса! Он всем ей обязан,— заметила г-жа д'Эрувиль.

— Но почему госпожа де Шолье не приехала в Гавр?—наивно спросила Модеста у Элен.

— Детка моя,— ответила герцогиня де Верней,— она скорее позволит убить себя, чем проронит хоть слово. Взгляните на нее! Что за королева! Она улыбалась бы даже на плахе, как Мария Стюарт, и, кстати сказать, в жилах нашей прекрасной Элеоноры течет кровь Стюартов.

— Она ему не писала? — продолжала свои расспросы Модеста.

— Диана сказала мне,— ответила герцогиня, которую г-жа д'Эрувиль незаметно подтолкнула локтем, поощряя на дальнейшие излияния,— что госпожа де Шолье послала едкий, убийственный ответ на первое письмо Каналиса, которое он написал ей дней десять тому назад.

Модеста покраснела от стыда за Каналиса, ей хотелось не то чтобы растоптать поэта, а отомстить ему при помощи одной из тех язвительных шуток, которые разят больнее, чем кинжал. Она гордо взглянула на герцогиню де Шолье. То был взгляд, позолоченный восемью миллионами.

— Господин Мельхиор!— позвала она.

Все женщины, подняв головы, смотрели то на герцогиню, которая, сидя за пяльцами, беседовала вполголоса с Каналисом, то на эту невоспитанную девицу, решившую прервать объяснение поссорившихся влюбленных. А ведь это не принято в светском обществе. Диана де Мофриньез покачала головой, словно говоря: «Что ж, девчурка имеет на это право!» И в конце концов все двенадцать дам улыбнулись, так как все они завидовали этой пятидесятишестилетней женщине, еще достаточно красивой, чтобы черпать радости из общей сокровищницы и перебивать дорогу молодым. Мельхиор взглянул на Модесту с нетерпеливой досадой, как господин на плохо вышколенного слугу, а герцогиня наклонила голову движением львицы, которую потревожили во время пиршества; но ее глаза, устремленные на вышивание, то и дело метали на поэта огненные взгляды, в то время как она разрывала ему сердце колкостями, где каждое слово таило в себе тройное оскорбление.

— Господин Мельхиор,— повторила Модеста властно, как женщина, которая имеет право требовать повиновения.

— Что, мадемуазель? — спросил поэт.

Он принужден был встать, но задержался на полпути между пяльцами, стоявшими у одного из окон, и камином, около которого Модеста сидела на диване рядом с г-жой де Верней. Мучительнейшие мысли нахлынули на этого честолюбца, когда он почувствовал на себе пристальный взгляд Элеоноры. Повиноваться Модесте?—то-

гда все будет безвозвратно кончено между ним и его покровительницей; не послушаться девушки? — он признает таким образом свое рабство и уничтожит все преимущества, добытые ценой двадцатипятидневной подлости, нарушит законы элементарной вежливости. Чем нелепее казался этот поступок, тем настойчивее требовала его герцогиня. Красота и богатство Модесты, сопоставленные с влиянием и правами Элеоноры, делали эту борьбу между корыстью и честью не менее трагичной в глазах зрителей, чем гибель матадора на арене цирка. Каналис едва не умер от разрыва сердца, оно билось так же сильно, как у зарвавшегося игрока, когда в какие-нибудь пять минут должна решиться его судьба: потеряет он все или разбогатеет.

— Госпожа д'Эрувиль так торопила меня, что я забыла в карете свой платок...— сказала Модеста Каналису.

Каналис судорожно выпрямился.

— А в этом платке,— продолжала Модеста, не обращая внимания на нетерпеливое движение поэта,— у меня завязан ключик от бумажника, в котором находится ключик важного письма. Будьте добры, Мельхиор, прикажите, чтобы мне принесли этот ключ.

Очутившись между ангелом и тигром, одинаково разъяренными, Каналис побледнел как смерть и больше не колебался; он счел тигра менее опасным и уже принял решение, как вдруг в дверях гостиной появился Лабриер, показавшийся поэту чем-то вроде архангела Михаила, упавшего с небес.

— Эрнест, ты как раз нужен мадемуазель де Лабасти,— сказал поэт, поспешно опускаясь на стул рядом с пяльцами.

Эрнест же бросился к Модесте, никому не поклонившись: он видел только ее. Выслушав с явной радостью ее поручение, он выбежал из гостиной, и все дамы с тайным сочувствием посмотрели ему вслед.

— Какое унижение для поэта! — сказала Модеста, указывая Элен на пяльцы, за которыми яростно работала герцогиня.

— Стоит тебе заговорить с ней, стоит тебе взглянуть на нее один только раз, и все будет кончено между нами, и навсегда,— тихо говорила Каналису Элеонора, ко-

торую не удовлетворил mezzo termine[1] Эрнеста.— И запомни хорошенько,— когда я уйду, другие глаза будут следить за тобой!

Вслед за этими словами герцогиня — женщина среднего роста и немного располневшая, как все красавицы, перешагнувшие за пятьдесят лет, встала и, легко ступая своими маленькими ножками, стройными, как у лани, направилась к кружку Дианы де Мофриньез. Несмотря на пышность форм, в ней было восхитительное изящество,— отличительная особенность женщин, у которых крепкая нервная система является неисчерпаемым источником сил и здоровья. Трудно объяснить иначе легкость ее походки, носившей печать ни с чем не сравнимого благородства. Только те женщины, род которых восходит ко временам Ноя, умеют держаться так же величаво, как Элеонора, несмотря на свою дородность богатой фермерши. Возможно, философ пожалел бы горничную Филоксену, любуясь туго затянутой талией герцогини и ее утренним туалетом, который она умела носить с достоинством королевы и с непринужденностью молодой женщины. Она еще заплетала в толстые косы свои густые и некрашеные волосы, смело укладывая их венцом вокруг головы, и гордо выставляла напоказ белоснежную шею, грудь, скульптурные плечи и ослепительные обнаженные руки, прославленные своей красотой. Модеста, как и все соперницы герцогини, признала в ней одну из тех цариц, о которых женщины говорят со вздохом: «Нам всем далеко до нее!» И действительно, в Элеоноре чувствовалась настоящая знатная дама, а они теперь очень редки во Франции. Все отличало ее: величественная посадка головы, грациозный, нежный изгиб шеи, плавные движения, благородная осанка, изумительная гармония всего облика и та выработанная утонченность, ставшая естественной, благодаря которой женщина кажется дивным совершенством. Но попытаться объяснить это — значило бы анализировать возвышенно-прекрасное. Прелестью красоты наслаждаются, как прелестью игры Паганини, не отдавая себе отчета, каким путем достигается производимое ею впечатление, так как причина его — в проявлении невидимой души. Герцогиня наклонила голову, здорова-

[1] Вмешательство *(итал.)*.

ясь с Элен д'Эрувиль и ее теткой, и затем сказала Диане веселым, звучным голосом, в котором не было даже тени волнения:

— Не пора ли нам одеваться, герцогиня?

И она направилась к выходу в сопровождении своей невестки и г-жи д'Эрувиль, которые взяли ее под руки. Удаляясь, она что-то тихо сказала старой деве, и та прижала ее к сердцу со словами:

— Вы очаровательны!

Это означало: «Можете вполне располагать мной за ту услугу, какую вы нам только что оказали». Охотно взяв на себя роль шпиона, г-жа д'Эрувиль вернулась в гостиную, и первый же ее взгляд дал понять Канализу, что последние слова герцогини не были пустой угрозой. Будущий дипломат почувствовал, как ничтожно все его искусство для такой трудной борьбы, и разум подсказал ему если не совсем достойный, то по крайней мере удобный выход из положения. Когда Эрнест возвратился с платком Модесты, он взял его под руку и вышел с ним вместе в сад.

— Дорогой друг,— сказал он Лабриеру,— я чувствую себя не скажу самым несчастным, но самым смешным человеком на свете. Поэтому я обращаюсь к тебе: помоги мне выбраться из осиного гнезда, куда я попал. Модеста — сущий демон; она видит мое замешательство и смеется надо мной; она только что при всех намекала на обрывок письма госпожи де Шолье, который я имел глупость дать ей. Если она покажет его, у меня не останется ни малейшей возможности помириться с Элеонорой. Итак, попроси немедленно этот клочок бумаги у Модесты и скажи ей от меня, что я не имею на нее никаких видов и отказываюсь от всяких притязаний. Я рассчитываю на ее деликатность, на ее девичью честность. Я прошу лишь об одном: не разговаривать со мной и держать себя так, словно мы никогда не встречались. Умоляю ее отнестись ко мне со всей суровостью, не смея, однако, просить, чтобы со свойственным ей лукавством она сделала вид, будто сердится и ревнует, хотя это и оказало бы мне огромную услугу. Иди, я подожду тебя здесь.

Войдя в гостиную, Эрнест де Лабриер заметил молодого офицера гвардейской роты, стоявшей в Гавре, виконта де Серизи. Он только что прибыл из Роны с

вестью, что ее высочество должна присутствовать на открытии парламентской сессии. Известно, какое большое значение имело это конституционное торжество, на котором Карл X произнес свою речь, окруженный всей семьей, причем его сестра и супруга дофина находились на трибуне. Выбор вестника, посланного передать сожаление принцессы, свидетельствовал о внимательном отношении двора к Диане: в то время говорили, что она любима до обожания этим очаровательным юношей, сыном министра и камер-юнкером, которого ожидало блестящее будущее, так как он был единственным наследником огромного состояния. Герцогиня де Моффриньез принимала поклонение виконта де Серизи лишь для того, чтобы подчеркнуть зрелый возраст г-жи де Серизи, которая, как гласила хроника светских сплетен, похитила у нее сердце красавца Люсьена де Рюбампре.

— Надеюсь, вы доставите нам удовольствие и останетесь в Розамбре,— сказала суровая г-жа де Верней молодому офицеру.

Прислушиваясь к злословию, набожная герцогиня все же закрывала глаза на легкомысленное поведение своих гостей, тщательно подобранных герцогом. С чем только ни мирятся эти почтенные женщины, якобы ради того, чтобы вернуть заблудших овец на стезю добродетели, воздействуя на них своей снисходительностью.

— Мы не приняли в расчет нашего конституционного правления,— сказал обер-шталмейстер,— и Розамбре, герцогиня, лишается большой чести...

— Зато мы будем чувствовать себя гораздо непринужденнее,— заметил высокий сухой старик лет семидесяти пяти в синем суконном костюме и в охотничьей шляпе, которую он не снял с разрешения дам.

Этот человек, очень похожий на герцога Бурбонского, был князь де Кадиньян, обер-егермейстер, один из последних французских вельмож. В то время как Лабриер пробирался к дивану, чтобы попросить Модесту уделить ему несколько минут для беседы, в гостиную вошел низенький, толстый человек лет тридцати восьми весьма вульгарной внешности.

— Мой сын, князь де Лудон,— сказала герцогиня де Верней Модесте. Девушке не удалось скрыть удив-

ления, отразившегося на ее юном личике при виде того, кто носил имя генерала вандейской кавалерии, прославившегося своей отвагой и сложившего голову на эшафоте.

Теперешний герцог де Верней, третий сын этого семейства, был увезен отцом в эмиграцию и один остался в живых из четверых детей.

— Гаспар,— позвала герцогиня. Молодой князь подошел к матери, и она сказала ему, указывая на Модесту: — Мадемуазель де Лабасти, друг мой.

Будущий наследник, брак которого с единственной дочерью Деплена был уже решен, поклонился девушке, не выказав при этом восхищения ее юной прелестью, как это сделал его отец. Таким образом, Модеста получила возможность сравнить дворянскую молодежь со стариками, ибо и князь де Кадиньян уже сказал ей два или три очаровательных комплимента, доказывая этим, что он преклоняется перед женской красотой не меньше, чем перед королевской властью. Что до герцога де Реторе, старшего сына г-жи де Шолье, с его дерзкой бесцеремонностью, то, как и князь де Лудон, он поклонился Модесте почти развязно. Этот контраст между отцами и сыновьями объясняется, возможно, тем, что, в отличие от старшего поколения, у наследников нет сознания своей значительности и они избегают тягот власти, видя, что стали лишь ее тенью. Отцы же сохранили учтивость, присущую их исчезнувшему величию, и подобны верхушкам гор, которые еще освещены солнцем, когда все вокруг погружено во мрак.

Наконец Эрнесту удалось шепнуть два слова Модесте, и она встала с дивана.

— Душенька, вас сейчас проведут в ваши комнаты,— сказала герцогиня и дернула шнурок звонка, думая, что Модеста идет переодеваться.

Эрнест проводил девушку до главной лестницы. Он передал ей просьбу несчастного Каналиса и попытался растрогать ее, рисуя тревогу и отчаяние Мельхиора.

— Он, видите ли, любит. Это пленник, который мечтал порвать свою цепь.

— Любовь у этого расчетливого, сухого человека? — недоверчиво спросила Модеста.

— Мадемуазель, вы только вступаете в жизнь и не знаете, как она сложна. Можно простить непоследовательность человеку, который подпал под власть женщины старше себя. Право, он не так уж виноват. Подумайте, сколько жертв принес Каналис своему божеству! Он затратил на посев слишком много сил, как же теперь пренебречь жатвой? Герцогиня олицетворяет собой десять лет забот и счастья. Вы заставили обо всем забыть поэта, у которого, к сожалению, больше тщеславия, чем гордости. Только вновь увидев госпожу де Шолье, он понял, как много теряет. Если бы вы лучше знали Каналиса, то помогли бы ему. Это взрослый младенец, он может окончательно испортить себе жизнь! Вы называете его расчетливым, но он очень плохо рассчитывает, как, впрочем, все поэты — люди настроения, непостоянные, как дети, готовые в своем ослеплении погнаться за всем, что блестит. Он любил лошадей, картины, жаждал славы, а теперь продает свои полотна, чтобы приобрести оружие, мебель в стиле Ренессанса и Людовика XV, и домогается власти. Согласитесь, что у него блестящие погремушки.

— Довольно,— сказала Модеста.— Идемте,— продолжала она и, заметив отца, подозвала его кивком головы, чтобы взять под руку.— Я передам вам этот клочок бумаги для вашего «великого человека». Скажите ему, что я готова снизойти к его просьбе, но при одном условии. Я хочу, чтобы вы поблагодарили его от меня за то удовольствие, которое я испытала, видя, как для меня одной разыгрывается прекраснейшая пьеса немецкого театра. Теперь я знаю, что шедевр Гете — не «Фауст» и не «Граф Эгмонт»...— И, так как Эрнест смотрел на насмешливую девушку непонимающим взглядом, она прибавила, улыбаясь:— Это «Торквато Тассо». Скажите господину де Каналису,— продолжала она,— чтобы он перечел эту драму. Прошу вас передать все это слово в слово вашему другу, так как это не насмешка, а оправдание его поступка, с той только разницей, что из-за безрассудства Элеоноры он станет, надеюсь, вполне благоразумным.

Старшая горничная герцогини проводила Модесту и ее отца в отведенные им покои, где Франсуаза Коше успела уже все привести в порядок. Изысканная ро-

скошь этих комнат поразила полковника, а Франсуаза сообщила ему, что в замке имеется тридцать апартаментов, столь же красиво отделанных.

— Вот каким, по-моему, должно быть поместье,— сказала Модеста.

— Граф де Лабасти построит для тебя такой же замок,— ответил полковник.

— Возьмите, сударь,— проговорила Модеста, передавая клочок бумаги Эрнесту,— и успокойте нашего друга.

Выражение *нашего друга* поразило Лабриера. Он вопрошающе взглянул на Модесту, не случайна ли эта общность чувств, которую она, казалось, признавала; а девушка, поняв его немой вопрос, прибавила:— Ну, идите же, ваш друг ждет вас.

Густо покраснев, Лабриер вышел, охваченный неуверенностью, беспокойством и смятением более мучительным, чем отчаяние. Для истинно любящих людей приближение счастья похоже на то, что католическая поэзия назвала преддверием рая; это — место мрачное, тесное, жуткое, где раздаются последние стоны, полные глубокой тоски.

Час спустя перед обедом блестящее общество собралось в полном составе в гостиной. Одни играли в вист, другие беседовали, женщины занимались рукоделием. Обер-егермейстер попросил г-на Миньона рассказать о Китае, о походах, в которых он участвовал, и об известных провансальских семействах: Портандюэр, Эсторад и Мокомб. Он спрашивал графа де Лабасти, почему тот не ходатайствует о зачислении на военную службу, и уверял, что в чине полковника очень легко попасть в гвардию.

— Человек с вашим именем и состоянием не может разделять мнений нынешней оппозиции,— сказал князь Кадиньян, улыбаясь.

Модесте нравилось это избранное общество. Попав в него и приглядываясь к другим женщинам, она быстро переняла тонкость обхождения, чего в противном случае ей недоставало бы всю жизнь. Покажите хорошие часы прирожденному часовщику, и он тут же поймет все устройство механизма, так как в нем заговорят дремлющие способности. Так же и Модеста сумела усвоить то,

чем отличались от прочих женщин герцогини де Мофриньез и де Шолье. Все служило ей наукой в этом обществе, откуда девушка из буржуазной среды вынесла бы только смешное подражание великосветскому тону. Благодаря своему происхождению, образованию и воспитанию Модеста легко сумела взять нужный тон и поняла разницу между аристократией и буржуазией, между провинцией и Сен-Жерменским предместьем. Она подметила почти неуловимые оттенки — словом, поняла сущность обаяния светской дамы и необходимость его приобрести. Она нашла, что на этом Олимпе ее отец и Лабриер сильно выигрывают по сравнению с Каналисом. Отрекшись от своего истинного и неоспоримого превосходства — превосходства ума, великий поэт стал всего-навсего чиновником, добивающимся должности посла, орденской ленты, расположения вельмож высшего света. Эрнест де Лабриер, человек не честолюбивый, оставался самим собой, тогда как Мельхиор превратился, как говорится, в пай-мальчика: он ухаживал за князем де Лудоном, за герцогом де Реторе, за виконтом де Серизи и за герцогиней де Мофриньез, держал себя как человек, не дерзающий высказать собственное мнение, и резко отличался этим от полковника Миньона, графа де Лабасти, гордого своими заслугами и уважением императора Наполеона. Модеста заметила постоянную озабоченность на лице Каналиса. Этот умный человек старался всем угодить: то посмешить какой-нибудь остротой, то удивить удачным словцом, то комплиментом польстить высокопоставленным людям, в среде которых он хотел удержаться. Короче говоря, у павлина здесь выпали все перья из хвоста.

Вечером Модеста уединилась с обер-шталмейстером в уголке гостиной: она хотела положить конец домогательствам, которых не могла больше поощрять, не потеряв к себе уважения.

— Если бы вы знали меня лучше, герцог,— сказала она,— вы поняли бы, как я тронута вашим вниманием. Но именно потому, что я глубоко уважаю ваш характер и высоко ценю такое сердце, как ваше, мне не хотелось бы задеть ваше самолюбие. Перед вашим приездом в Гавр я всей душой и навсегда полюбила человека, достойного любви, хотя для него моя привязан-

ность еще тайна. Но знайте,— скажу вам откровеннее, чем обычно говорят девушки,— что, не будь я связана этими добровольными узами, мой выбор пал бы только на вас, так много я нашла в вас благородных, прекрасных качеств. Несколько слов, вырвавшихся у вашей сестры и тетушки, заставили меня начать этот разговор. Если вы найдете нужным, то завтра же, до начала охоты, мать вызовет меня под предлогом серьезного своего недомогания. Без вашего согласия я не хочу присутствовать на празднестве, устроенном вами, тем более что я могу выдать свою тайну и огорчить вас, затронув вашу законную гордость. Зачем я приехала сюда?— спросите вы меня. Я не могла не принять приглашения Будьте великодушны и не вменяйте мне в вину вполне естественное любопытство. Вот самое щекотливое из того, что мне хотелось вам сказать. В моем отце и во мне самой вы приобрели друзей более верных, нежели вы полагаете. Богатство было первой побудительной причиной, которая привела вас ко мне. Вот почему я хочу вам сказать (отнюдь не в виде утешения, хотя знаю, что из вежливости вы, конечно, выскажете мне, насколько вы огорчены), что папенька занялся болотами в Эрувиле; его друг Дюме считает это дело вполне возможным, и уже предприняты шаги для образования компании по осушению ваших земель. Гобенхейм, Дюме и мой отец готовы вложить полтора миллиона в это предприятие и обязуются собрать недостающую сумму среди других капиталистов. Им нетрудно будет это сделать, поскольку всем внушит доверие их серьезное отношение к делу. Итак, я не буду иметь честь стать герцогиней д'Эрувиль, зато почти уверена, что дам вам возможность избрать ее в тех высших сферах, к которым она должна принадлежать... Нет, нет, не перебивайте меня,— сказала она в ответ на жест герцога.

— Судя по волнению твоего брата,— говорила в эту минуту г-жа д'Эрувиль своей племяннице,— нетрудно догадаться, что у тебя уже есть сестра.

— Все это было мной решено, герцог, еще в день нашей первой прогулки верхом, когда я услышала от вас жалобы на положение ваших дел. Вот что я хотела вам сказать. В этот же день решилась и моя судьба. Хотя вы не нашли жены в Ингувиле, зато приобрели там

друзей, если только вам угодно будет считать нас своими друзьями...

Эта маленькая речь, заранее обдуманная Модестой, была произнесена с такой сердечностью, что слезы выступили на глазах д'Эрувиля; он схватил руку Модесты и поцеловал ее.

— Останьтесь здесь на время охоты,— сказал он.— Мои поистине ничтожные достоинства приучили меня к таким отказам. Я принимаю вашу дружбу и дружбу полковника. Но прежде чем ответить на ваше великодушное предложение, позвольте мне обратиться к сведущим людям и убедиться, что осушение эрувильских болот не только не подвергнет риску ту компанию, о которой вы говорите, но и принесет ей доход. Вы благородная девушка!.. Мне очень горестно быть для вас только другом, но я стану гордиться вашей дружбой и докажу свою преданность на деле.

— Во всяком случае, герцог, пусть все это останется между нами. Если только я не заблуждаюсь, мой выбор будет известен после выздоровления матери,— я хочу, чтобы ее первый взгляд благословил моего суженого и меня.

— Я вспомнил,— сказал князь де Кадиньян, обращаясь в конце вечера к дамам,-- что некоторые из вас намереваются охотиться завтра вместе с нами; поэтому считаю долгом предупредить вас: если вы хотите явиться в образе Дианы, то и встать вы должны, как настоящие Дианы, то есть с утренней зарей. Сбор назначен в половине девятого. Я встречал в своей жизни женщин, проявлявших больше мужества, чем мужчины, но мужества этого хватало ненадолго. Вам же потребуется немалая доля упорства, чтобы провести в седле целый день, за исключением краткой передышки,— тогда мы закусим наскоро, как настоящие охотники и охотницы. Ну, так как же? Остаетесь ли вы верны намерению проявить себя отважными наездницами?

— Что касается меня, князь, то я обязана это сделать,— тонко заметила Модеста.

— Я отвечаю за себя,— сказала герцогиня де Шолье.

— Я знаю мою дочь, Диана достойна своего имени,— прибавил князь.— Итак, вы все твердо стоите на

своем?.. Но чтобы доставить удовольствие госпоже де Верней, ее дочери и всем, кто останется здесь, я постараюсь затравить оленя на берегу пруда.

— Не беспокойтесь, сударыни, охотничий завтрак будет сервирован в роскошной палатке,— сказал князь де Лудон, когда обер-егермейстер вышел из гостиной.

На следующий день рассвет предвещал прекрасную погоду. Небо было подернуто сероватой дымкой, но кое-где уже проглядывала чистейшая лазурь, а к полудню должно было совершенно проясниться, так как северо-западный ветер уже гнал прочь легкие хлопья облаков. Первыми выехали к месту сбора обер-егермейстер, князь де Лудон и герцог де Реторе, так как на их попечении не было дам. Удаляясь, они видели сквозь прозрачную пелену тумана башни и белую громаду замка, выступавшие на красновато-коричневом фоне листвы,—цвет, свойственный деревьям в конце ясной нормандской осени.

— Дамам везет,—сказал герцог де Реторе.

— О, несмотря на их вчерашнее хвастовство, я думаю, они предоставят нам охотиться одним,— ответил князь де Кадиньян.

— Да, не будь у каждой из них поклонника,— возразил герцог.

В эту минуту наши завзятые охотники (князь де Лудон и герцог де Реторе принадлежат к типу немвродов и слывут лучшими стрелками Сен-Жерменского предместья) услышали громкий спор и поскакали галопом к месту сбора, назначенному у опушки леса Розамбре, на полянке, отличительным признаком которой была поросшая мхом пирамида. Вот чем был вызван этот спор. Князь де Лудон, страдавший англоманией, предоставил в распоряжение обер-егермейстера английский охотничий выезд. Таким образом, часть поляны занял главный доезжачий, молодой низкорослый англичанин, белокурый, бледный, с нахальным и флегматичным выражением лица; он немного говорил по-французски, а его одежда свидетельствовала об аккуратности, свойственной всем англичанам, даже принадлежащим к низшим слоям общества. Джон Бэрри был одет в кургузый узкий сюртучок из ярко-красного сукна с серебряными пуговицами, украшенными гербом де Верней, в бе-

лые рейтузы, сапоги с отворотами и полосатый жилет; его костюм дополняли галстук и черный бархатный плащ с капюшоном. В руке он держал небольшой арапник, а на левом боку у него висел на шелковом шнуре медный рог. Главного доезжачего сопровождали две большие охотничьи собаки, чистопородные борзые белой масти со светло-коричневыми подпалинами, длинноногие, остромордые, с узкой головой и маленькими, стоявшими торчком ушами. Этот доезжачий, самый известный в том графстве, откуда князь выписал его за большие деньги, управлял охотой в пятнадцать лошадей и шестьдесят породистых английских собак, которая стоила бешеных денег герцогу де Верней, хотя сам он не был большим любителем охоты, но прощал сыну это поистине королевское пристрастие. Остальные охотники с лошадьми держались на известном расстоянии, соблюдая полную тишину.

Между тем, прибыв на место сбора, Джон заметил, что его опередили трое доезжачих, за которыми привезли в экипажах две королевские своры. То были лучшие доезжачие князя Кадиньяна. Как по своему характеру, так и по костюму они являли полную противоположность представителю дерзкой страны Альбиона. Любимцы князя были в плоских и широких треуголках с загнутыми полями, из-под которых виднелись загорелые, обветренные, морщинистые лица с блестящими глазами. У этих людей были на редкость сухопарые и жилистые фигуры, как и подобает заядлым охотникам. Каждый из них имел при себе охотничий рог а ля Дампьер, обвитый до самого раструба шерстяной тесьмой, и сдерживал своих собак окриком и взглядом. Благородные животные казались сборищем подданных, более преданных, нежели те, к которым в то время обращался король. Каждая собака со своими белыми, коричневыми или черными подпалинами выделялась ей одной присущей физиономией, словно солдат армии Наполеона. При малейшем шорохе глаза всей своры загорались и начинали сверкать, как бриллианты. Одна собака, короткозадая, широкогрудая, с короткими бабками, длинными ушами, была привезена из Пуату, другая — борзая белой масти, поджарая, мускулистая, с маленькими ушами — выписана из Англии. Молодые собаки проявляли нетерпение и каж-

дую минуту были готовы поднять возню, тогда как старые, покрытые рубцами псы спокойно лежали, положив морды на передние лапы и прислушиваясь к малейшему шороху.

Завидя приближающегося англичанина, егери из королевской охоты переглянулись, молча спрашивая друг друга: «Как, разве мы охотимся не одни? Не затронута ли этим честь охоты его величества?»

Дело началось с шутки, затем разгорелся спор между стариком Жакеном Ларули, старшим доезжачим королевской охоты, и молодым островитянином Джоном Берри.

Оба князя догадались о причине ссоры, и, прискакав на место, обер-егермейстер тотчас же навел порядок, спросив повелительным тоном:

— Кто объезжал лес?

— Я, ваше сиятельство,— сказал англичанин.

— Хорошо,— проговорил князь, выслушав отчет Джона Берри.

Люди сразу прониклись уважением к обер-егермейстеру, и даже собаки как будто узнали в нем высокое начальство. Князь отдал приказания о распорядке дня, так как охота напоминает сражение, а обер-егермейстер Карла X был настоящим Наполеоном лесов. Удивительный порядок, заведенный этим старшим охотником королевства, позволил ему заняться исключительно стратегией и теорией псовой охоты. Он сумел пустить в дело охоту князя Лудона, назначив ей, словно кавалерийскому корпусу, задачу гнать оленя к пруду, если, как он предполагал, королевским сворам удастся загнать животное в лес, расположенный против замка. Щадя самолюбие своих старых слуг, он поручил им самое трудное дело и польстил самолюбию англичанина, дав ему случай блеснуть резвостью его лошадей и собак. Эти два отряда, вместе участвуя в охоте, должны были совершать настоящие чудеса из желания перещеголять друг друга.

— Прикажете еще дожидаться, ваше сиятельство? — почтительно спросил Ларули.

— Я прекрасно понимаю тебя, старина! — ответил князь.— Уже поздно, но...

— Вот и гости. Смотрите, Юпитер уже почуял зло-

вредный запах,— сказал второй доезжачий, заметив, что его любимец нюхает воздух.

— «Зловредный»? — повторил князь де Лудон улыбаясь.

— Он, наверное, хочет сказать зловонный,— заметил герцог де Реторе.

— Нет, именно зловредный, так как, по мнению господина Ларавина, все, что не пахнет псарней, отравляет воздух,— возразил обер-егермейстер.

Действительно, трое высокопоставленных охотников заметили еще издали кавалькаду в шестнадцать лошадей, во главе которой скакали четыре дамы с развевающимися зелеными вуалями. Модеста в сопровождении отца, обер-шталмейстера и Лабриера ехала впереди рядом с герцогиней де Мофриньез и виконтом де Серизи. За ними следовала герцогиня де Шолье, бок о бок с Канализом, которому она улыбалась без тени неудовольствия. Подъехав к круглой площадке, где охотники в красных костюмах с охотничьими рогами в окружении собак и егерей представляли собой зрелище, достойное кисти Вандер-Мейлена, герцогиня де Шолье, прекрасно державшаяся в седле, несмотря на свою полноту, приблизилась к Модесте, находя, что приличия не позволяют ей дуться на эту девушку, которой накануне она не сказала ни единого слова.

В то время как обер-егермейстер говорил свой последний комплимент дамам по поводу их баснословной пунктуальности, Элеонора соблаговолила заметить хлыст, сверкавший в руке Модесты, и любезно попросила позволения рассмотреть его.

— Как мило! Необычайно тонкая работа,— сказала она и показала шедевр Диане де Мофриньез.— Вещь вполне достойна своей обладательницы,— заметила она, возвращая хлыст Модесте.

— Не правда ли, герцогиня, со стороны жениха это более чем странный подарок?..— ответила Модеста де Лабасти, бросая на Лабриера нежный и лукавый взгляд, в котором влюбленный мог прочесть признание.

— Но, памятуя о Людовике Четырнадцатом,— сказала г-жа де Мофриньез,— я поняла бы это как подтверждение моих прав.

У Лабриера навернулись слезы на глаза, он выпу-

стил поводья и чуть не упал с коня, но еще один взгляд Модесты вернул ему силы,— она приказала взглядом не выдавать своего счастья.

Все тронулись в путь.

Герцог д'Эрувиль сказал вполголоса молодому докладчику счетной палаты:

— Надеюсь, сударь, вы сделаете счастливой свою супругу. Если я могу быть вам чем-нибудь полезным, располагайте мной: мне хотелось бы содействовать счастью такой прелестной пары.

Этот великий день, в который решались столь важные сердечные и денежные дела, интересовал обер-егермейстера лишь с одной стороны: он думал о том, переплывет ли олень через пруд и удастся ли затравить его на лужайке перед замком; охотники, вроде князя де Каминьяна, похожи на шахматистов, которые могут предсказать, что дадут мат на определенной клетке шахматной доски. Избалованному удачей старику повезло, как всегда. Охота прошла великолепно, а на третий день дамы избавили обер-егермейстера от своего общества, так как пошел дождь.

Гости герцога де Верней пробыли в Розамбре пять дней. Перед их отъездом в «Газетт де Франс» появилась заметка о назначении барона де Каналиса командором ордена Почетного легиона и послом в Карлсруэ.

В начале декабря, когда графиня де Лабасти, оперированная Депленом, получила наконец возможность увидеть Эрнеста де Лабриера, она крепко пожала Модесте руку и шепнула ей на ухо:

— Я сама выбрала бы такого, как он.

К концу февраля все купчие на земли были подписаны добрейшим Латурнелем, уполномоченным г-на Миньона в Провансе. В то же время семейство де Лабасти добилось от короля выдающейся чести: собственноручной его подписи на брачном контракте и разрешения передать титул и герб де Лабасти Эрнесту де Лабриеру, который получил право именоваться впредь виконтом де Лабасти-Лабриер. Поместье Лабасти, обращенное в майорат королевской грамотой, вступившей в силу в конце апреля, приносит более ста тысяч франков годового дохода. На свадьбе свидетелями со стороны Лабриера были Каналис и министр, у которого Эрнест служил пять лет лич-

ным секретарем, свидетелями же со стороны невесты—герцог д'Эрувиль и Деплен; к последнему Миньоны навсегда сохранили глубокую благодарность, многократно ими доказанную.

Быть может, на страницах этой длинной повести нравов читатель еще встретит супругов де Лабриер-Лабасти. Знатоки увидят тогда, как легки и приятны супружеские узы в браке с образованной и умной женщиной, ибо Модеста, согласно своему обещанию, сумела избежать смешных сторон педантизма и составляет до сих пор гордость и счастье мужа, а также всей своей семьи и близких ей людей

Париж, март — июль 1844.

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

СЦЕНЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ТУРСКИЙ СВЯЩЕННИК

Давиду-ваятелю.

Долговечность произведения, на котором я запечатлеваю ваше имя, дважды прославленное в наш век, очень сомнительна. Вы же вырезаете мое имя на бронзе, переживающей народы, будь она даже отчеканена лишь простым молотком монетчика.

Но в каком затруднении окажутся, должно быть, нумизматы, найдя когда-нибудь в прахе Парижа изображения всех этих голов, увенчанных в вашей мастерской и увековеченных вами, и предполагая, что обнаружены следы исчезнувших династий.

За вами — это божественное преимущество, за мной — благодарность.

О де Бальзак.

В начале осени 1826 года аббат Бирото, главное действующее лицо этого повествования, возвращаясь из гостей, где он провел вечер, был застигнут ливнем. Со всей доступной для толстяка поспешностью он пересекал небольшую пустынную площадь позади собора св. Гатиана в Туре, называемую Монастырской.

Аббат Бирото, низенький человечек лет шестидесяти, апоплексического сложения, уже перенес несколько приступов подагры. Вот почему из всех мелких невзгод человеческой жизни для добрейшего священника не было ничего неприятнее, как замочить под внезапным дождем свои башмаки с серебряными пряжками и ступать по лужам. В самом деле, несмотря на то, что он, с присущей всем духовным лицам заботливостью в отношении своей

особы, постоянно кутал ноги во фланелевые носки, сырость всегда давала себя знать, и назавтра подагра неизменно напоминала ему о своем постоянстве. Но ввиду того, что мостовая Монастырской площади всегда суха, ввиду того, что в доме г-жи де Листомэр он выиграл в вист три франка десять су,— аббат стойко переносил дождь, хлынувший на него еще посреди Архиепископской площади. Впрочем, в ту минуту он был во власти своей мечты — давней священнической мечты, лелеемой каждый вечер и, казалось, уже готовой осуществиться. Словом, в грезах его так приятно согревало меховое облачение каноника — должность эта была в то время вакантной,— что он и не чувствовал осенней непогоды. Лица, обычно собиравшиеся у г-жи де Листомэр, заверили его в тот вечер, что он получит должность каноника, свободную в епархиальном капитуле св. Гатиана, ибо он — самый достойный из претендентов и права его, так долго не признаваемые, теперь уже неоспоримы. Вот если бы его обыграли в карты или он узнал бы, что каноником станет его соперник, аббат Пуарель, тогда бедняга почувствовал бы, какой холодный льет дождь; быть может, он даже посетовал бы на жизнь; но ему выпала одна из тех редких минут, когда предвкушение удачи заставляет забыть обо всем. Ускорил шаг он чисто машинально, и в интересах истины, столь важных при нравоописательном повествовании, следует признать, что он не думал ни о дожде, ни о подагре.

Встарь на Монастырской площади, со стороны Большой улицы, собору принадлежало несколько домов, обнесенных оградой,— в них проживали должностные лица капитула. После отчуждения церковных имуществ городское управление превратило проход между домами в улочку, под названием Псалетт [1], соединяющую Монастырскую площадь с Большой улицей. Название «Псалетт» ясно указывает, что когда-то здесь проживал регент хора, певчие и все его подначальные. Левая сторона этой улицы целиком занята одним лишь домовладением; в ограду прилегающего к нему небольшого садика вдаются наружные арки собора св. Гатиана, и трудно решить, что было построено раньше — собор или это древ-

[1] Певческая школа *(франц.)*.

нее жилье. Но, рассмотрев наличники и форму окон, дверную арку и общий вид этого дома, потемневшего от времени, археолог определит, что дом всегда составлял одно целое с великолепным зданием, к которому примыкает. Любитель древностей, если бы таковой имелся в Туре, одном из городов Франции, наиболее чуждых литературным интересам, мог бы даже распознать у входа в улочку остатки аркады, которая составляла раньше портал этих помещений церковного причта и, по-видимому, гармонировала с общим обликом здания. Расположенное к северу от св. Гатиана, жилище это постоянно находится в тени высокого собора, который время окутало своим темным покровом, изрезало морщинами, пропитало холодной сыростью, одело мхом и сорняками. Дом всегда погружен в глубокое молчание, нарушаемое лишь колокольным звоном, церковным пением да криками галок, гнездящихся на колокольнях. Все это место — весьма своеобразная каменная пустыня, где могут обитать лишь существа, совершенно опустившиеся или же, напротив, наделенные необычайной силой духа.

В доме, о котором идет речь, всегда жили священники, а принадлежал он некоей старой деве, мадемуазель Гамар. Хотя отцом мадемуазель Гамар эта недвижимость и была приобретена у государства во время террора, но дочь в течение двадцати лет сдавала дом лишь священникам, поэтому при Реставрации никто не находил предосудительным, что столь благочестивая женщина продолжает владеть конфискованным имуществом. Быть может, в церковных кругах предполагали, что она намерена завещать свой дом капитулу, а миряне считали, что дом, в сущности, и служит своему первоначальному назначению.

Итак, аббат Бирото направлялся к дому мадемуазель Гамар, где он проживал уже два года,—а до того времени в продолжение двенадцати лет это жилище было лишь предметом его вожделений — «erat in votis» [1],— как ныне — должность каноника.

Стать пансионером мадемуазель Гамар и стать каноником—к этому сводились две главные цели его жизни. Быть может, к подобным целям и вообще сводятся все

---

[1] Было его заветным желанием *(лат.)*.

стремления священников, которые, считая жизнь как бы странствием в вечность, не могут желать в этом мире ничего, кроме удобного ночлега, хорошего стола, чистой одежды, башмаков с серебряными пряжками — словом, того, что требуется телесными нуждами, а в придачу— сана каноника, чтобы удовлетворить честолюбие, это неизживаемое чувство, которое, как полагают, последует за нами до самого престола господня, ибо есть чины даже среди ангелов. Но вожделение к жилищу, теперь им занимаемому,— чувство, которое показалось бы мирскому человеку столь мелким,— перешло у него в какую-то страсть, чреватую противоречиями, надеждами, восторгами и угрызениями совести, как все самые преступные страсти.

Внутреннее расположение комнат и вместимость дома не позволяли мадемуазель Гамар держать более двух жильцов. И вот, за двенадцать лет до того, как Бирото стал пансионером этой девицы, она взялась печься о довольстве и здравии г-на аббата Трубера и г-на аббата Шаплу. Аббат Трубер был жив. Аббат Шаплу умер, и ему немедленно наследовал Бирото.

Покойный аббат Шаплу, каноник собора св. Гатиана, был близким другом аббата Бирото. Навещая каноника, викарий всякий раз восхищался его жилищем, убранством комнат, библиотекой. Со временем этот восторг породил желание владеть прекрасными вещами друга. Аббат Бирото был не в силах подавить такое стремление, хотя жестоко страдал от мысли, что только со смертью его лучшего друга могло быть удовлетворено это скрытое, но упорно возраставшее желание получить квартиру Шаплу.

Аббат Шаплу и его друг Бирото были небогаты. Оба были из крестьян и располагали только скромным священническим жалованьем; небольшие сбережения помогли им пережить трудное время революции. После восстановления Наполеоном католического культа аббат Шаплу был назначен каноником собора св. Гатиана, а Бирото — викарием собора. Шаплу сделался пансионером мадемуазель Гамар.

Когда Бирото впервые пришел навестить каноника в его новом жилище, он заметил только, что оно очень удачно расположено. Его пристрастие к квартире друга зародилось, как зарождается любовная страсть у мо-

лодого человека: она часто начинается с холодного восхищения женщиной и лишь впоследствии переходит в любовь на всю жизнь.

Эта квартира, в которую поднимались по каменной лестнице, находилась в части дома, обращенной на юг. Аббат Трубер занимал первый этаж, а мадемуазель Гамар — второй этаж главной части, выходящей на улицу.

Когда Шаплу въехал в свое жилище, стены там были голы, потолки закопчены. Каменные наличники каминов были грубо отесаны, некрашены. Каноник разместил здесь кровать, стол, несколько стульев и небольшой шкаф с книгами — всю свою небогатую обстановку. Жилье походило на красавицу в лохмотьях. Но два-три года спустя одна старая дама, умирая, завещала аббату Шаплу две тысячи франков, и он на эти деньги купил себе из обстановки замка, разрушенного и разграбленного Черной шайкой, дубовый книжный шкаф, украшенный замечательными резными фигурами, способными восхитить глаз художника. Аббат приобрел шкаф, соблазнившись не столько его дешевизной, сколько полным соответствием между размерами этой вещи и размерами галереи. А потом на свои сбережения он полностью привел в порядок голую и пришедшую в запустение галерею: паркет был тщательно натерт, потолок побелен, панели отделаны под дуб. Камин был выложен мрамором. У аббата хватило вкуса подобрать себе старинные ореховые кресла с резьбой. Длинный стол черного дерева и два шкафчика буль придали галерее вполне стильный вид. За два года, благодаря щедрости благочестивых прихожан и завещательным распоряжениям его духовных дочерей, понемногу заполнились пустые полки в книжном шкафу аббата. Наконец дядя аббата Шаплу, бывший ораторианец, завещал ему, умирая, фолианты творений отцов церкви и другие книги, ценные для священника.

Бирото, все более и более дивясь последовательным превращениям когда-то пустой галереи, понемногу преисполнился невольной зависти. Ему захотелось обладать этим кабинетом, который вполне соответствовал строгости нравов, подобающей духовным лицам. Желание это разгоралось с каждым днем. С течением времени викарий, часами работая в своем кабинете, научился ценить

его тишину и покой, а не только восторгаться его удачным расположением. В последующие годы аббат Шаплу превратил свою келью в настоящую молельню, и его благочестивые почитательницы принялись со рвением украшать ее. Позднее одна из дам преподнесла канонику для его спальни кресло, обитое ручной вышивкой, над которой она долго работала на глазах у этого любезного человека, причем он и не догадывался, кому ее работа предназначена. Тогда и спальня — как прежде галерея — ослепила викария. Наконец за три года до смерти аббат Шаплу завершил убранство своей квартиры, отделав гостиную. Мебель ее, хотя и обитая всего лишь красным трипом, очаровала Бирото. С того дня, как он увидел алые шелковые шторы, кресла красного дерева, обюссоновский ковер, украшавший эту просторную, заново выкрашенную комнату, квартира Шаплу стала его тайной страстью. Жить в ней, ложиться в кровать с широкими шелковыми занавесями, быть окруженным тем уютом, каким был окружен Шаплу, в глазах Бирото стало счастьем, выше которого ничего нельзя и пожелать. Вся зависть, все честолюбие, рождаемые соблазнами жизни в людских сердцах, слились для него в настойчивое и тайное желание — иметь свой угол, подобный тому, какой создал себе каноник Шаплу. Если его друг хворал, аббат, конечно, приходил к нему из чувства чистосердечной привязанности, но всякий раз, когда он узнавал о недомогании каноника или сидел у постели больного, его в глубине души волновали разнообразные мысли, сущность которых сводилась к одному: «Если Шаплу умрет, мне можно будет занять его квартиру!»

Однако добросердечному и недалекому, ограниченному викарию не приходило в голову добиваться тем или иным способом, чтобы Шаплу завещал ему свою библиотеку и обстановку.

Аббат Шаплу, любезный и снисходительный эгоист, угадал страсть своего друга — что было совсем не трудно — и простил ее—что было несколько труднее для священника. Но и викарий не изменял своей привязанности к нему и продолжал ежедневно сопровождать каноника в прогулках по одной и той же аллее бульвара, ни разу за все двенадцать лет не пожалев о потраченном

времени. Бирото, считавший свою невольную зависть грехом, стремился искупить ее особой преданностью аббату Шаплу. И аббат вознаградил его за это братское чувство, столь наивно-искреннее: за несколько дней до своей кончины он сказал Бирото, когда тот читал ему «Котидьен»:

— На этот раз ты получишь квартиру: я чувствую, что для меня все кончено.

Аббат Шаплу в своем завещании действительно оставил Бирото библиотеку и всю обстановку. Обладание столь желанными предметами и возможность поселиться в качестве нахлебника у мадемуазель Гамар немало смягчили скорбь Бирото по скончавшемуся другу. Быть может, воскресить его он бы и не захотел, хотя все же оплакивал его. Несколько дней он был подобен Гаргантюа, который, похоронив жену, подарившую ему Пантагрюэля, не знал, радоваться ли ему рождению сына или горевать о кончине своей доброй Бадбек, и, совсем запутавшись, радовался смерти жены и оплакивал рождение сына.

Аббат Бирото провел первые дни траура, проверяя книги *своей* библиотеки, пользуясь *своей* мебелью, осматривая ее и повторяя тоном, который, к сожалению, не был увековечен нотной записью:

— Бедняга Шаплу!

Словом, радость и горе настолько занимали его, что он не опечалился, когда место каноника, на которое покойный Шаплу прочил его, было отдано другому. Мадемуазель Гамар охотно приняла к себе викария, и с этой поры он приобщился ко всем житейским радостям, какие ему восхвалял каноник. Неоценимые блага! Послушать покойного Шаплу, так выходило, что ни один из турских священников, даже сам архиепископ, не был предметом столь нежных и тщательных забот, какие расточала мадемуазель Гамар обоим своим жильцам. Во время совместных прогулок по бульвару каноник почти неизменно с первых же слов упоминал о вкусном обеде, которым его только что накормили, и редко случалось, чтобы он не повторял по меньшей мере дважды в день: «У этой достойной девицы несомненное призвание к тому, чтобы заботиться о духовных особах!»

— Подумайте только,— хвастался он своему другу,—

за все двенадцать лет ни разу ни в чем не терпеть недостатка: чистое белье, стихари, брыжи—все лежит в порядке и надушено ирисом. Мебель моя всегда блестит и обтерта так хорошо, что я давно уже забыл, что такое пыль! Видели вы у меня хоть пылинку? Никогда! Дрова превосходные, в доме все, до мелочи, отличного качества,— словом сказать, похоже на то, что мадемуазель Гамар беспрерывно хоть одним глазком да надзирает за моей комнатой. Вряд ли за все десять лет мне пришлось когда-нибудь позвонить дважды, чтобы попросить о чем-либо. Вот жизнь — так жизнь! Всегда все наготове, даже ночных туфель искать не приходится! Всегда жаркий огонь, хороший стол! Засорились как-то каминные мехи, это меня раздражало, но стоило мне только заикнуться, и назавтра же мадемуазель дает мне другие, а с ними и те щипцы, которыми, как вы видели, я мешаю жар.

— *Надушено ирисом!* — только и повторял Бирото, слушая своего друга.

Эти слова всегда поражали его. Рассказы каноника открывали перед бедным викарием картину несбыточного счастья — у него голова шла кругом от забот о своих стихарях и брыжах. Он был беспорядочен, зачастую забывал даже заказать себе обед. И вот с тех пор — собирая ли в соборе св. Гатиана даяния прихожан, служа ли обедню — всякий раз, заметив мадемуазель Гамар, он не упускал случая поглядеть на нее с нежностью и любовью, как святая Тереза — на небеса. Благополучие, которого жаждут все живые существа и о котором столько мечтал Бирото, наконец выпало и на его долю. Однако всем людям, даже и священнику, трудно обходиться без какой-либо прихоти. И вот уже полтора года, как новое желание — стать каноником — заменило в сердце Бирото два прежних, теперь удовлетворенных. Сан каноника стал привлекать его так, как звание пэра должно привлекать министра-плебея. Поэтому вероятность его назначения, надежды, ожившие в нем на вечере у г-жи де Листомэр, так вскружили ему голову, что, лишь подходя к своему дому, он вспомнил о забытом в гостях зонтике. Если бы не проливной дождь, аббат Бирото, пожалуй, и тут не спохватился бы, поглощенный приятными размышлениями о том, что говорилось по поводу его повышения в кружке г-жи де Листомэр, старой

дамы, у которой он проводил вечера по средам. Викарий резко позвонил, как бы внушая служанке, чтобы она не заставила себя ждать; затем забился в угол двери, стараясь поменьше промокнуть. Но струя воды, стекая с крыши, лилась, как нарочно, прямо ему на башмаки, и ветер обдавал его брызгами дождя наподобие холодного душа. Прикинув в уме, сколько требуется времени, чтобы выйти из кухни и потянуть за пропущенный ко входной двери длинный шнур, он опять позвонил, на этот раз производя весьма выразительный трезвон.

«Не может быть, чтобы они ушли из дому»,—подумал он, не улавливая за дверью ни малейшего шороха.

Он позвонил в третий раз, и звонок так резко прозвучал на весь дом, так долго отдавался эхом от стен собора, что невозможно было не проснуться при этом яростном звоне. И действительно, минуту спустя священник, уже начавший было раздражаться, услышал с облегчением, как застучали по каменной площадке деревянные башмаки служанки Марианны; однако муки бедного подагрика окончились не так скоро, как он предполагал: Марианне пришлось не тянуть за шнур, но отпирать дверь большим ключом и снимать засов.

— В такую погоду вы заставляете меня звонить три раза!— сказал он Марианне.

— Вы же видите, сударь, дверь была заперта... все давно уже легли, ведь уже отзвонили три четверти десятого. Мадемуазель, вероятно, подумала, что вы и не уходили...

— Но вы-то видели, как я уходил? Да и мадемуазель прекрасно помнит, что по средам я навещаю госпожу де Листомэр...

— Уж не знаю, сударь! Мое дело — исполнять, что мне приказано,— ответила Марианна, запирая дверь.

Эти слова были ударом для Бирото, тем более ощутимым, чем полнее было счастье, созданное мечтами. Молча последовал он за Марианиой на кухню, чтобы по обыкновению взять там приготовленный для него подсвечник. Но служанка, миуя кухню, повела аббата к нему наверх, где он и заметил свой подсвечник на столике у дверей, которые вели в красную гостиную с лестничной площадки, превращенной покойным каноником при помощи стеклянной перегородки в некое подобие передней.

Онемев от удивления, Бирото поспешно вошел в спальню, но, не увидев огня в камине, окликнул еще не успевшую спуститься Марианну:

— Что же это — камин не затоплен?

— Ах, простите, сударь, должно быть, огонь потух,— ответила та.

Бирото снова глянул в камин и убедился, что огня так и не зажигали весь день.

— Мне надо посушить ноги, разведите огонь! — приказал он.

Марианна исполнила приказание с такой поспешностью, как будто ей не терпелось уйти спать. Разыскивая ночные туфли, которых вопреки обыкновению не оказалось на коврике перед кроватью, Бирото в то же время внимательно присматривался к Марианне и заключил по всему ее виду, что она вовсе не вскочила прямо с постели, как уверяла. Тут ему припомнилось, что последние две недели он был лишен тех мелких забот, которые в течение полутора лет услаждали его жизнь. И так как люди ограниченного ума очень внимательны ко всяким житейским мелочам, он тут же предался многозначительным размышлениям по поводу четырех обстоятельств, ничтожных для всякого другого, но явившихся для него катастрофой за катастрофой. Было ясно — дело шло о полном крушении его счастья: и туфель не оказалось на месте, и Марианна солгала о якобы погасшем огне, и подсвечник был почему-то перенесен на столик в переднюю, и ему самому была подстроена задержка на пороге дома, под проливным дождем!

Когда же огонь был разведен, лампа зажжена и Марианна ушла, не спросив вопреки обыкновению: «Что вам угодно еще, сударь?» — Бирото неторопливо опустился на подушку прекрасного широкого кресла своего покойного друга, но в его движениях было что-то грустное. Старичок был подавлен предчувствием какой-то злой беды. Он поочередно обращал взгляд на превосходные стенные часы, на комод, на стулья, на занавеси, на ковер, на пышную, как гробница, кровать, на кропильницу, на распятье, на Мадонну Валантена, на лебреновского Христа — словом, на все предметы, находившиеся в комнате, и лицо его выражало скорбь самого нежного прощания, с каким любовник когда-либо об-

ращался к своей первой возлюбленной или старец — к последним посаженным его руками деревьям. Викарий— правда, поздновато — отдал себе отчет в том, что вот уже три месяца, как мадемуазель Гамар строит ему всяческие мелкие козни, и, будь он подогадливей, он давно мог бы их заметить. Не одарены ли все старые девы особым талантом подчеркивать злобный смысл своих поступков и слов? Они царапаются, как кошки; мало того, они при этом испытывают наслаждение и радуются, когда их жертва чувствует, что ранена не случайно. Там, где опытный человек не позволил бы задеть себя дважды, добрейшего аббата Бирото надо было раз за разом бить всей лапой прямо по лицу, чтобы он поверил в злой умысел.

Тотчас же — с дотошностью священника, привыкшего руководить душами своей паствы, копаясь в мелочах в глубине исповедальни,— аббат Бирото принялся устанавливать, словно на богословском диспуте, следующие положения: «Допустим, мадемуазель Гамар не вспомнила о вечере у госпожи де Листомэр; допустим, Марианна не развела огня по забывчивости; допустим, думали, что я уже дома. Однако ввиду того, что я сегодня утром отнес вниз — самолично! — мой подсвечник,— невозможно предположить, чтобы, видя его в своей гостиной, мадемуазель Гамар думала, будто я уже лег! А следовательно, она намеренно заставила меня ждать у дверей под дождем и, приказав отнести наверх мой подсвечник, хотела дать мне понять...»— Но что? — последние слова проговорил он уже вслух, встревоженный серьезным положением дел. Он встал с кресла, чтобы сменить промокшую одежду, надел халат и ночной колпак и принялся расхаживать между кроватью и камином, жестикулируя, произнося фразы на разные лады и заканчивая их на высокой ноте, как бы заменяющей восклицательный знак:

— Черт побери! В чем же я провинился, почему она злится на меня?! Вовсе не забыла Марианна развести огонь! Это мадемуазель Гамар приказала ей не топить камина! Надо быть младенцем, чтобы не понять по ее тону и обращению со мной, что я имел несчастье ей не угодить... Разве что-нибудь подобное случалось с Шаплу?

Как же оставаться здесь, подвергаясь таким преследованиям?.. В моем возрасте...

Он уснул, надеясь выяснить завтра же утром причину этой ненависти, грозившей разрушить счастье, которым он наслаждался вот уже два года, после столь долгого ожидания. Увы! Викарию не суждено было проникнуть в тайные мотивы ненависти к нему старой девы; и не то чтобы о них трудно было догадаться — просто бедняге не хватало того ясного понимания своих поступков, каким обладают лишь великие люди и мошенники, умеющие видеть себя в настоящем свете и судить о себе как бы со стороны. Лишь гений и интриган в состоянии сказать о себе: «Я — неправ!» Корыстный расчет или гениальное прозрение — единственные верные и зоркие советчики. Но у Бирото не было никакого знания света и его нравов, добродушие его граничило с глупостью, образование было у него лишь какой-то с трудом приобретенной оболочкой, вся жизнь его протекала между исповедями и обеднями; как духовник воспитательных заведений и нескольких прекраснодушных прихожан, высоко его ценивших, он был постоянно поглощен мелкой нравственной казуистикой, и его следовало бы считать взрослым ребенком, которому многое в обыденных человеческих отношениях было не по разуму. Эгоизм, присущий всему людскому роду, а особенно священнику, живущему вдобавок в узких рамках провинциальной жизни, развивался в нем постепенно и незаметно для него самого. Однако если бы кто-нибудь вздумал разобраться в его душе и показать ему, что во всех незначительных событиях своего существования и в своем повседневном поведении он отнюдь не отличался той самой самоотверженностью, проявлять которую считал своей главной целью,— то он вполне искренне скорбел бы и осуждал себя. Но тем, кого мы оскорбляем, пускай даже неумышленно, нет дела до нашей невиновности, они хотят мстить — и они мстят. И вот аббат Бирото, слабый человек, должен был испытать на себе силу великого Воздающего Правосудия, которое непрерывно действует, поручая людям исполнять его приговоры, называемые у глупцов *несчастными случайностями*.

Покойный аббат Шаплу был эгоистом ловким и умным, что отличало его от викария — эгоиста неловкого и

простодушного. Когда аббат Шаплу стал жильцом мадемуазель Гамар, он сумел прекрасно разобраться в ее характере. Исповедальня научила его понимать, какой горечью наполнено сердце старых дев из-за выпавшей им на долю печальной необходимости оставаться вне обычного круга жизни, и он тщательно обдумал, как вести себя с хозяйкой дома. Ей было в то время не более тридцати восьми лет, она сохраняла еще кое-какие претензии, переходящие впоследствии у этих скромниц в высокое мнение о своей особе. Каноник понял, что, если он хочет жить в ладу с мадемуазель Гамар, ему надлежит всегда проявлять по отношению к ней ровное внимание, ровную услужливость, быть в этом непогрешимее самого папы. Чтобы добиться такой цели, он установил с хозяйкой лишь те взаимоотношения, какие неизбежны при совместной жизни под общей кровлей или же продиктованы простой вежливостью. И вот, хотя ему и аббату Труберу полагалось принимать пищу три раза в день, он уклонился от общего завтрака, приучив мадемуазель Гамар посылать ему в комнату чашку кофе со сливками. Затем он решил избежать скучных ужинов, довольствуясь чашкой чая в домах, где он проводил вечера. Таким образом, он почти не виделся со своей хозяйкой, кроме как за обедом, появляясь всегда лишь за несколько минут до урочного часа. Отбывая такие «визиты вежливости», аббат за все двенадцать лет, проведенные под этой кровлей, обращался к старой деве все с теми же вопросами, получая на них все те же ответы: сон мадемуазель Гамар, завтрак, мелкие домашние события, ее вид, ее недомогания, погода, продолжительность служб, происшествия за обедней и, наконец, здоровье того или другого священника — вот и все, что давало пищу их каждодневной обязательной беседе. За обедом он тонко льстил ей, постоянно переходя от восхвалений прекрасного качества рыбы, отменного вкуса соуса или жаркого к восхвалению высоких качеств и добродетелей мадемуазель Гамар как хозяйки дома. Он умышленно ласкал тщеславие старой девы, превознося ее искусство в приготовлении варений, корнишонов, консервов, паштетов и других образцов гастрономического творчества. Наконец всякий раз, уходя из желтой гостиной. хитрый каноник уверял свою хозяйку, что ни в од-

ном из турских домов ему не случается пить столь вкусный кофе, как тот, который он только что смаковал. Благодаря превосходному пониманию натуры мадемуазель Гамар и житейскому смыслу, проявляемому каноником все двенадцать лет, ничто в их домашнем укладе не давало ни малейшего повода к столкновениям. От аббата Шаплу не укрылась угловатость, жесткость, неуживчивость характера старой девы, и он установил такие взаимоотношения с ней, что добился от нее всех уступок, необходимых для благополучия и спокойствия его жизни; а мадемуазель Гамар заявляла всегда, что аббат Шаплу любезнейший, умнейший и чрезвычайно уживчивый человек. Что касается аббата Трубера, богомольная дева о нем вовсе не говорила. Всецело вовлеченный в ее жизнь, как спутник в орбиту своей планеты, Трубер был для старой девы чем-то промежуточным между представителями человеческой и собачьей породы. В ее сердце он занимал уголок, находившийся между местом, отведенным для друзей, и тем, которое принадлежало в нем жирному сопящему мопсу, ее любимцу. Она командовала аббатом как хотела, и все возраставшая близость их интересов заставляла думать в кругу ее знакомых, что аббат Трубер имеет виды на состояние старой девы, неизменной кротостью привязывает ее к себе и, притворяясь покорным ей, не выказывая ни малейшего желания забрать ее в руки, тем успешнее руководит ею. Когда умер аббат Шаплу, старая дева, желая иметь тихого жильца, сразу вспомнила о викарии. Пока не стало известно завещание каноника, мадемуазель Гамар подумывала, не отдать ли комнаты покойного своему славному аббату Труберу, который, как она сама понимала, был довольно дурно устроен в нижнем этаже. Но, когда аббат Бирото пришел договориться об условиях пансиона и она увидела, как ему полюбилась бывшая квартира Шаплу, какое пылкое желание, которое теперь уже можно было не скрывать, носил он долгие годы в своем сердце, она не решилась заговорить о другом помещении и поступилась чувством ради выгоды. А чтобы утешить своего нежно любимого каноника Трубера, она заменила в его комнатах белый плиточный пол паркетом «в елочку» и исправила дымивший камин.

Навещая каноника в этом доме целых двенадцать

лет, аббат Бирото ни разу не дал себе труда задуматься, чем объяснить крайнюю сдержанность в обращении его друга с мадемуазель Гамар. Переезжая к этой благочестивой девице, он чувствовал себя, как любовник на пороге своего счастья. Не будь он даже недогадлив от природы, его ослепление счастьем было столь велико, что все равно помешало бы ему судить о мадемуазель Гамар и подумать о необходимости ввести в известные рамки свое каждодневное общение с нею. Мадемуазель Гамар представлялась ему издали, сквозь призму житейских радостей, которые он мечтал вкусить близ нее, неким совершенным существом, безупречной христианкой, любвеобильной евангельской женой, разумною девой, украшенной теми незаметными, скромными добродетелями, которые разливают в жизни небесное благоухание. И вот с энтузиазмом человека, добившегося давно желанной цели, с простодушием ребенка и беспечной нерассудительностью старика, не искушенного в знании света, вошел он в жизнь мадемуазель Гамар, подобно тому, как муха попадает в паутину. В первый же день после переселения Бирото по окончании обеда задержался в гостиной старой девы и провел там целый вечер, желая познакомиться с ней поближе, а также уступая безотчетному чувству неловкости, боязни показаться невежливым, которая не позволяет застенчивым людям оборвать начатый разговор и уйти от собеседника. Под конец вечера зашла мадемуазель Саломон де Вильнуа, старая дева, приятельница Бирото, и мадемуазель Гамар, к своему великому удовольствию, могла составить у себя партию в бостон. Укладываясь спать, викарий находил, что весьма приятно провел вечер. При очень поверхностном знакомстве с мадемуазель Гамар и аббатом Трубером он не умел в них разобраться. Люди редко выставляют напоказ свои недостатки,— большинство старается прикрыть их привлекательной оболочкой. И вот у аббата Бирото возникло похвальное намерение посвятить свои вечера мадемуазель Гамар, вместо того чтобы проводить их на стороне. Хозяйка уже много лет лелеяла одну мечту, возраставшую с каждым днем. Эта прихоть, свойственная и старикам и даже хорошеньким женщинам, переросла у нее в страсть, подобную страсти Бирото к квартире его друга Шаплу, и питалась в сердце старой де-

вы завистью, тщеславием, высокомерием, эгоизмом — словом, извечными людскими чувствами. Наша маленькая история — это история всех времен. Стоит лишь немного расширить узкий круг, в котором предстоит действовать этим персонажам, чтобы найти скрытую пружину событий, происходящих и в самых высоких сферах общества. Мадемуазель Гамар проводила свои вечера поочередно в шести—семи различных домах. Было ли ей досадно, что она в своем возрасте ищет чужого общества, а ее общества никто не ищет; страдало ли ее самолюбие оттого, что у нее не было своего постоянного кружка; жаждала ли она наконец в своем тщеславии тех похвал и внимания, какие выпадали на долю ее приятельниц,—как бы там ни было, все ее честолюбивые усилия были направлены к созданию своего салона, где вечерком *охотно* собиралось бы несколько завсегдатаев. После того как Бирото и его приятельница мадемуазель Саломон провели у нее несколько вечеров в обществе терпеливого и верного аббата Трубера, мадемуазель Гамар однажды, выходя из собора, сбъявила добрым своим приятельницам —перед которыми до сих пор она чувствовала себя приниженной,—что раз в неделю она принимает у себя дома, где по таким-то дням всегда найдется достаточно партнеров для бостона, и что она просит не забывать об этом тех, кому захотелось бы повидать ее; ей нельзя оставлять в одиночестве своего нового жильца аббата Бирото; мадемуазель Саломон бывает у нее каждый божий день; ведь все это друзья... и вообще... и вообще... и так далее. Смиренная гордость и приторное хвастовство, сквозившие в ее речах, особенно питались тем, что мадемуазель Саломон принадлежала к самому аристократическому обществу Тура. Хотя та приходила исключительно из дружбы к викарию, мадемуазель Гамар торжествовала, принимая ее в своей гостиной, и считала себя уже накануне осуществления великого проекта, твердо надеясь создать благодаря аббату Бирото свой собственный кружок, столь же многолюдный, столь же приятный, как кружки г-жи де Листомэр, мадемуазель Мерлен де ла Блотьер и других набожных дам, имевших возможность принимать у себя благочестивое турское общество. Но увы! Аббат Бирото разрушил ее надежды! И если те, кому в жизни удалось насладиться долгожда-

ным счастьем, поняли, как должен был радоваться викарий, ложась в постель покойного Шаплу, они могут также, хотя бы в общих чертах, представить себе, как была огорчена мадемуазель Гамар, видя крушение своей заветной мечты. После того как с полгода аббат Бирото терпеливо переносил свое счастье, он вдруг изменил ее салону, а вместе с ним исчезла и мадемуазель Саломон! Несмотря на невероятные усилия, честолюбивой Гамар удалось залучить к себе не более пяти—шести лиц, постоянство которых к тому же было весьма сомнительно, а между тем для бостона нужно было собрать по крайней мере четырех верных игроков. Итак, ей пришлось с повинной головой вернуться к своим прежним приятельницам, ибо старые девы наедине с собой чувствуют себя в слишком дурной компании, чтобы не искать суетных удовольствий общества. Нетрудно угадать причину бегства викария; хотя он был из тех, кому уготована обитель в небесах, по заповеди «блаженны нищие духом»,— все же он, подобно многим глупцам, не выносил скуки, нагоняемой на него другими глупцами. Неумные люди похожи на сорняки, которые любят высасывать соки из плодородной почвы; чем скучнее они сами, тем более требуют они развлечений от других. Томящая их скука и нежелание оставаться наедине с собою вызывают у них ту страсть к передвижению, то стремление к новым местам, которые присущи глупцу так же, как присущи они холодным людям, неудачникам и тем, кто сам испортил себе жизнь. Не разгадав всей пустоты и ничтожества мадемуазель Гамар, не поняв ограниченности ее ума, бедняга, к сожалению, несколько поздно, заметил ее недостатки, как присущие всем старым девам, так и свойственные только ей одной. Недостатки людей гораздо заметнее их достоинств и потому даже прежде, чем нанести нам какой-либо ущерб, уже бросаются в глаза. Этот психологический закон, быть может, оправдывает присущую всем нам в той или иной степени склонность к злословию. С житейской точки зрения, подтрунить над смешными чертами ближнего так естественно, что следовало бы прощать насмешливые пересуды, раз мы сами даем для них пищу, и возмущаться лишь клеветой. Но глаза бедного викария никогда не обладали зоркостью, обычно позволяющей людям заметить шероховатости ха-

рактера у своего ближнего и остеречься их. Чтобы узнать недостатки своей хозяйки, ему пришлось испытать боль— сигнал, посылаемый природой всем своим созданиям! Почти каждая старая дева, которой ведь не приходилось приноравливать свой характер и образ жизни к характеру и жизни других людей, как того требует назначение женщины, испытывает потребность подчинить себе всех окружающих. У мадемуазель Гамар это чувство обратилось в деспотизм. Однако это был деспотизм, направленный на мелочи. Так,— если привести один из бесчисленных примеров,— корзинку с фишками и жетонами, поставленную на столик для бостона перед аббатом Бирото, нельзя было переставлять; и он немало досаждал мадемуазель Гамар, передвигая корзинку чуть ли не каждый вечер. Как возникало это нелепое раздражение из-за пустяков, в чем был его смысл? На это никто не мог бы ответить, даже и сама мадемуазель Гамар. Аббат был сущий агнец по натуре, но ведь и овцам не нравится поминутное тыканье пастушьего посоха, да еще снабженного острием. Не уяснив себе, чем вызвано долготерпение аббата Трубера, он захотел избавиться от счастья, которое мадемуазель Гамар создавала для него по своему рецепту — как если бы дело шло о каком-либо варенье. Но по своей наивности бедняга взялся за это довольно неловко, и расставание не обошлось без придирок и колкостей, которые Бирото постарался не принимать близко к сердцу.

К концу первого года, проведенного под кровлей мадемуазель Гамар, викарий вернулся к своим прежним привычкам: два вечера в неделю он проводил у г-жи де Листомэр, три—у мадемуазель Саломон и еще два—у мадемуазель Мерлен де ла Блотьер. Эти дамы принадлежали к аристократическому кругу турского общества, куда мадемуазель Гамар не была вхожа. Поэтому ее задела за живое измена Бирото, заставившего старую деву почувствовать всю незначительность ее особы: во всяком выборе само собой уже предполагается пренебрежение к тому, кто отвергнут.

— Господин Бирото нашел наше общество недостаточно приятным,— сказал аббат Трубер друзьям мадемуазель Гамар, когда ей пришлось отменить свои вечера,— это человек острого ума, тонкая штучка! Ему ну-

жен блеск, светское общество, где умеют и поострить и позлословить...

Такие слова всегда давали повод мадемуазель Гамар превознести свой прекрасный характер и умалить Бирото.

— Не так уж он умен,— заявляла она.— Не будь аббата Шаплу, никогда не был бы он принят у госпожи де Листомэр! О, как много я потеряла в лице аббата Шаплу! Вот был славный человек, с ним легко было жить! За все двенадцать лет между нами не было ни малейшего недоразумения или неприятности.

Она изображала аббата Бирото в столь нелестном виде, что ее добродушный жилец прослыл в мещанском кругу ее знакомых — втайне враждебно настроенных к турской знати — существом неуживчивым и привередливым.

А затем в продолжение нескольких недель слух старой девы услаждали утешения приятельниц, которые, сами не веря ни одному своему слову, без конца повторяли:

— Как? Неужели можно было невзлюбить вас, такую мягкую, такую добрую?

Или же:

— Успокойтесь, милая мадемуазель Гамар, все так хорошо знают вас!..

И так далее, и так далее.

Но все они втайне благословляли викария, радуясь, что он избавил их от необходимости проводить раз в неделю вечер на Монастырской площади — безлюдной и мрачной окраине города.

Между людьми, живущими вместе, ненависть, так же как и любовь, непрерывно усиливается; ежеминутно возникает повод полюбить или возненавидеть еще больше. Вскоре аббат Бирото стал невыносим для мадемуазель Гамар. Спустя полтора года после его переселения к ней, в ту пору, когда старик, сочтя молчаливую ненависть за полное умиротворение, поздравлял себя с тем, что ухитрился, как он говорил, так хорошо спеться со старою девой, она начала исподтишка его травить, осуществляя свой коварный замысел. И лишь четыре столь значительных обстоятельства, как запертая дверь, туф-

ли, не оказавшиеся на месте, незатопленный камин, подсвечник, отнесенный наверх, открыли ему эту грозную ненависть, все последствия которой ему выпало на долю испытать позднее, когда дело было уже непоправимо.

Засыпая, старик еще долго раздумывал, стараясь объяснить себе на редкость нелюбезное поведение мадемуазель Гамар, но тщетно — да иначе и быть не могло! Действительно, следуя до сих пор лишь естественным требованиям своего эгоизма, бедняга неспособен был догадаться, в чем же он провинился перед своей хозяйкой.

Если значительные явления легко постигнуть и легко определить, то чтобы понять мелкие жизненные происшествия, требуется обстоятельность. Для понимания событий, составляющих как бы предысторию этой буржуазной драмы, где, однако, страсти кипят не меньше, чем это бывает при самой крупной борьбе, такое пространное вступление было необходимо, и правдивому историку трудно было бы здесь обойтись без последовательной передачи житейских мелочей.

На другое утро мечты о сане каноника так завладели викарием, что он забыл о четырех обстоятельствах, которые накануне казались ему столь зловещими. Не желая вставать в настывшей спальне, викарий позвонил Марианне, тем самым сообщая ей о своем пробуждении и приглашая ее к себе. Затем он, по своей привычке, продолжал нежиться в постели, пребывая в приятном полусне, от которого его обычно постепенно отрывала служанка, растапливая камин; он любил просыпаться, как бы под музыку, под легкие звуки ее шагов и голоса. Прошло с полчаса, а Марианна все не показывалась. Викарий, в мечтах уже ставший каноником, хотел было позвонить еще раз и уже протянул руку к звонку, но тут он услыхал на лестнице мужские шаги. То был аббат Трубер; он осторожно постучал в дверь, и Бирото попросил его войти. Визит этот не удивил викария: аббаты довольно аккуратно навещали друг друга разок в месяц. Каноник Трубер вошел к метившему в каноники Бирото и сразу же обратил внимание на нетопленный камин. Отворив окно, он кликнул Марианну, сурово приказал

ей подняться к викарию и, обернувшись к своему собрату, добавил:

— Ей не сойдет с рук такая небрежность, если мадемуазель узнает...

Затем он спросил Бирото о его здоровье и сердечно осведомился, не узнал ли тот чего-нибудь новенького относительно своего назначения каноником. Викарий рассказал о предпринятых им хлопотах и простодушно назвал ему лица, на которые воздействовала г-жа де Листомэр; он не знал, что Трубер затаил неприязнь против этой дамы, не принимавшей его у себя — его, аббата Трубера, уже дважды выдвигавшегося кандидатом в главные викарии епархии.

Трудно встретить двух столь несхожих людей, как эти два аббата. Трубер был человек высокий и сухопарый, с землистым, желчным цветом лица, а викарий был что называется помпончик. Румяная физиономия Бирото выражала бездумное добродушие, тогда как лицо Трубера, длинное, изрезанное глубокими морщинами, в иные минуты принимало выражение презрительной иронии. Однако надо было внимательно всмотреться, чтобы распознать в его лице подобное чувство. Обычно каноник держался с невозмутимым спокойствием, опустив долу желтые глаза, взгляд которых, когда нужно было, становился острым и пронизывающим. Рыжие волосы дополняли этот суровый облик, на который то и дело набегала тень серьезных размышлений. Некоторые предполагали было, что его снедает безмерное честолюбие, но другие в конце концов рассеяли это мнение, уверяя, что знают Трубера лучше и что попросту он угнетен деспотизмом мадемуазель Гамар и изнурил себя слишком длительными постами. Он был неразговорчив и никогда не смеялся. Когда же ему случалось быть приятно взволнованным, на его лице проступала слабая улыбка, тотчас же терявшаяся в морщинах. Бирото, напротив, был воплощенная непосредственность, воплощенная откровенность, любил полакомиться, радовался по всякому поводу с простодушием беззлобного, бесхитростного человека. С первого взгляда аббат Трубер внушал чувство невольного страха, а викарий вызывал улыбку умиления. Когда внушительный каноник торжественно шествовал по приделам и переходам собора со склоненным челом и

строгим взглядом, он внушал почтение; его согнутый стан гармонировал с желтыми церковными сводами, в складках его сутаны было нечто монументальное, достойное резца ваятеля. А добрейший викарий передвигался по собору безо всякой важности, семенил и суетился, катясь, как шарик. И все же в судьбах обоих была одна сходная черта: внешность аббата Трубера, дававшая повод опасаться его честолюбия, быть может, и обрекла его на многолетнее пребывание в скромных канониках, подобно тому, как характер и повадки Бирото предназначили ему вечно оставаться лишь соборным викарием. Однако ж, когда аббат Трубер достиг пятидесятилетнего возраста, его осторожное поведение, кажущееся отсутствие каких-либо честолюбивых замыслов и безупречно святая жизнь рассеяли у вышестоящих лиц опасения, внушенные его грозной внешностью и предполагаемой одаренностью. А так как здоровье Трубера за последний год сильно пошатнулось, предстоящее назначение его на пост главного викария епархии становилось вполне вероятным. Даже соперники относились благожелательно к его назначению, рассчитывая подготовить свое собственное за короткий срок, отмеренный ему болезнью, которая в последнее время не оставляла его в покое.

Подобного рода надежды трудно было возлагать на Бирото, так как тройной подбородок его говорил конкурентам, оспаривавшим у него сан каноника, о цветущем здоровье, а его подагра казалась им, согласно поговорке, залогом долголетия. В свое время аббат Шаплу, человек здравомыслящий и любезный, ценимый как светским обществом, так и епархиальными властями, упорно противился — правда, тайком и весьма осторожно — повышению аббата Трубера. Он даже лишил его весьма ловко доступа в те салоны, где собиралось лучшее общество Тура, и хотя аббат Трубер был к аббату Шаплу весьма почтителен, выражая ему глубокое уважение при каждом удобном случае, эта постоянная смиренность не воздействовала на мнение покойного каноника, и даже на последней прогулке он все твердил аббату Бирото:

— Остерегайтесь сухаря Трубера, остерегайтесь долговязого! Это Сикст Пятый нашей епархии!

Таков был друг и сотрапезник мадемуазель Гамар,

нанесший Бирото дружеский визит и выказавший ему столько внимания на следующий день после того, как несчастному аббату была объявлена война.

— Вы уж простите Марианну,—сказал Трубер, когда служанка вошла,— она, наверно, заходила сначала ко мне. У меня ведь такая сырость, я кашлял всю ночь... А у вас сухо,—добавил он, оглядывая карнизы.

— О, я устроен, как какой-нибудь каноник,— улыбаясь, ответил Бирото.

— А я, как простой викарий,— ответил смиренный священник.

— Да, но вы вскоре переедете в архиепископский дворец,— заметил добродушный аббат, которому хотелось видеть всех счастливыми.

— А быть может, на кладбище! Но да будет воля господня! — Трубер возвел глаза к небу с выражением покорности, затем добавил: — Я зашел попросить у вас дать мне почитать «Епископальные росписи». Во всем Туре только у вас есть это сочинение.

— Возьмите его в моем книжном шкафу,— сказал Бирото, сразу вспомнив обо всех благах своей жизни.

Пока внушительный каноник ходил в галерею, викарий оделся. Вскоре раздался звонок к завтраку, и при мысли, что если бы не Трубер, пришлось бы вставать в холодной комнате, подагрик Бирото решил: «Какой он славный!»

Священники спустились в столовую, держа в руках по огромному тому, которые они положили на одну из консолей.

— Это что такое?—брюзгливо спросила мадемуазель Гамар.— Надеюсь, вы не вздумаете загромождать мою столовую своими фолиантами?

— Эти книги мне нужны,— вмешался аббат Трубер,— господин викарий любезно предоставил их мне в пользование...

Мадемуазель Гамар презрительно скривила губы:

— Мне следовало догадаться! Господин Бирото не очень-то часто заглядывает в эти толстые тома.

— Как вы провели ночь, мадемуазель? — нежнейшим голоском осведомился ее жилец.

— Не особенно хорошо,— сухо ответила она,— и все

из-за вас! Вы потревожили меня, когда я засыпала, и у меня весь сон пропал.

Садясь к столу, мадемуазель Гамар прибавила:

— Господа, молоко стынет...

Викарий был поражен кислым тоном хозяйки, от которой он вправе был ожидать извинений,— однако, предпочитая не вступать в пререкания, столь тягостные для робких людей, в особенности когда приходится говорить лично о себе, он промолчал и сел за стол. Но, читая на лице мадемуазель Гамар откровенное недовольство, Бирото переживал разлад с самим собою: рассудок его восставал против невежливого обращения хозяйки, а малодушие советовало избегать ссоры. Во власти охватившего его беспокойства, он принялся внимательно рассматривать зеленые разводы плотной клеенки, которую мадемуазель Гамар по стародавнему обыкновению оставляла на столе во время завтрака, невзирая на то, что края ее были уже потерты и вся она была в царапинах.

Жильцы сидели друг против друга в плетеных креслах, а мадемуазель Гамар господствовала над квадратным, как у французских королей, столом, восседая, спиною к печке, в своем кресле на колесиках, обложенная подушечками. Эта комната, так же как и общая гостиная, находилась в нижнем этаже, под квартирой аббата Бирото.

Получив от мадемуазель Гамар чашку кофе, викарий почувствовал, что его сковывает ледяное молчание, среди которого предстояло ему просидеть весь завтрак, обычно столь веселый. Он не смел взглянуть ни на бесстрастное лицо Трубера, ни на грозное лицо старой девы и, желая скрыть свое смущение, обернулся к отягощенному жиром мопсу, который никогда не двигался со своей подушки возле печки, неизменно находя слева тарелочку, наполненную лакомствами, а справа—миску с чистой водой.

— Ах ты, мой славный,— сказал Бирото,— ждешь кофейку?

Мопс, персонаж самый важный в доме, хотя и малообременительный— ибо он уже не лаял, предоставляя изъясняться за него своей хозяйке,— поднял на Бирото маленькие глазки, затерявшиеся в жировых складках его морды, затем снова угрюмо опустил веки.

Чтобы дать представление о муках бедного викария.

необходимо сказать, что он любил пустые и шумные, как скачущий мяч, разговоры и утверждал, не имея к тому, впрочем, никаких научных оснований, что застольные беседы благоприятствуют пищеварению. Мадемуазель Гамар разделяла эту медицинскую доктрину и вплоть до последнего времени, несмотря на их натянутые отношения, пользовалась случаем поболтать во время трапез; но вот уже несколько дней викарий тщетно изощрялся, задавая ей всяческие вопросы,— она упорно отмалчивалась.

Если бы узкие рамки этой повести позволили воспроизвести хоть одну из их бесед, вызывавших у Трубера мрачную и язвительную усмешку, можно было бы дать яркое представление о скудоумии провинциалов. Люди иронического склада ума получили бы, вероятно, немалое удовольствие от тех странных рассуждений, в которые пускались аббат Бирото и мадемуазель Гамар, выражая свои взгляды на политику, религию и литературу. Было бы, конечно, любопытно привести те доводы, которые в 1826 году позволяли им сомневаться в смерти Наполеона, или тот ход мыслей, который внушил им уверенность, что Людовик XVII здравствует и поныне благодаря своему чудесному спасению в выдолбленной колоде. Кто не рассмеялся бы, слушая, как они утверждают, опираясь на поистине своеобразные доказательства, что король Франции один распоряжается всеми налогами, что палаты были созваны для расправы с духовенством, что более миллиона трехсот тысяч человек погибло на эшафоте во время революции. Они говорили о прессе, не представляя себе, сколько выходит газет и каким важным орудием служат они в современной жизни.

А то еще наконец Бирото внимательно выслушивал, как мадемуазель Гамар изрекала, что человек, съедающий по яйцу каждое утро, непременно умрет в конце года— такие-де случаи ей известны; что от ломоты в суставах можно излечиться в короткий срок, ежедневно съедая всухомятку свежевыпеченный хлебец; что рабочие, принимавшие участие в разрушении аббатства Сен-Мартен, все перемерли, не прошло и полугода; что при Бонапарте некий префект напрасно всячески пытался разрушить башни собора св. Гатиана,— и еще тысячи других небылиц.

Но на этот раз аббат Бирото чувствовал свой язык скованным и покорился необходимости обойтись без застольной беседы; однако вскоре, сочтя это безмолвие опасным для своего пищеварения, он отважился заметить:

— Какой превосходный кофей!

Этот героический подвиг не вызвал никакого отклика. Взглянув на клочок неба, видневшийся над садом, в просвете между двумя черными арками собора, викарий нашел в себе мужество добавить:

— Погода сегодня будет лучше, чем вчера!

В ответ на это замечание мадемуазель Гамар кинула на аббата Трубера самый приветливый взгляд, на какой только была способна, затем обратила глаза, полные устрашающей суровости, на Бирото, который, к счастью, в этот момент сидел потупившись.

Ни одна особа женского пола не подходила больше для воплощения унылого типа старой девы, чем София Гамар. Но для правильной обрисовки существа, чей характер сообщает огромный интерес даже мелким событиям самой этой драмы и предшествующим ей обстоятельствам жизни действующих лиц, полезно, быть может, вкратце определить закон, наглядным выражением которого служат старые девы: образ жизни формирует душу, а душа формирует физиономию. Несмотря на то, что все, как в обществе, так и во вселенной, должно было бы иметь какую-либо цель, однако же попадаются среди нас существа, чье назначение и смысл жизни необъяснимы. И моралью и политической экономией равно отвергается всякий индивидуум, который потребляет не производя и занимает место на земле, не совершая ни добра, ни зла, ибо зло есть то же, вероятно, добро, результаты которого не проявляются немедленно. По самой сути своей редкая старая дева не принадлежит к разряду этих бесполезных творений. Между тем, если участие в общем труде вызывает у деятельного существа чувство удовлетворения, помогающее ему переносить жизнь, то, напротив, сознание своей обременительности или хотя бы никчемности должно внушать бесполезному существу такое же презрение к самому себе, какое возникает к нему и у других.

В этом суровом общественном осуждении кроется одна из причин безотчетной душевной горечи, которая написана на лицах старых дев. В силу предрассудка — быть может, и небезосновательного — повсюду, а особенно во Франции женщина, с которой никто не захотел делить и радость и горе, вызывает к себе подлинную неприязнь.

И вот, если девушка так и осталась в девушках, общество—справедливо ли, нет ли — ей же самой выносит суровый приговор за то пренебрежение, жертвой которого она стала. Если она дурнушка—почему, мол, не скрасила своего безобразия хорошим характером? Если красива—ее несчастье вызвано, мол, какими-то особыми недостатками. Трудно сказать, что больше всего ставится в вину. Если девушка сознательно решается на безбрачие, стремясь к независимости, ни мужчины, ни женщины не прощают ей того, что она погрешила против предначертаний самой природы, отказавшись от чувств, столь трогательных в женщине; не разделяя женских тягот, она отрекается и от всей их поэзии и сама лишает себя того нежного сочувствия, на которое мать всегда имеет неоспоримые права. Кроме того, все великодушные чувства, все прекрасные качества женщины развиваются лишь при постоянном их проявлении. Существо женского пола, оставшееся в девицах, холодное и эгоистичное,—это отвратительная бессмыслица. Такой беспощадный приговор вполне справедлив, и старые девы отдают себе в этом отчет. Вполне естественно, что и сами они таят подобные мысли в глубине души, а сознание своей жалкой участи отражается у них на лицах.

Они блекнут рано, ибо им чужды оживление и счастье, которые так красят женщин и придают столько мягкости их движениям. Человек, не последовавший своему призванию, несчастлив, он становится угрюм и печален; он страдает, а страданием порождается озлобленность. Вполне понятно, что задолго до того, как пенять на себя за свое одиночество, старые девы винят общество, а от обвинения до желания отомстить—один шаг. Вдобавок, неизящество всего их облика—еще одно неизбежное следствие их образа жизни. Не ведая желания нравиться, они лишены элегантности и вкуса. Кроме их собственной особы, ничто в мире их не трогает; это побуждает

их выбирать для себя вещи с точки зрения одного лишь удобства, не заботясь о том, чтобы сделать приятное другим людям.

Не вполне отдавая себе отчет, как сильно она отличается от других женщин, старая дева все же догадывается об этом и страдает. Ревность—извечное чувство женского сердца; но старые девы ревнивы впустую, им приносит лишь огорчения эта единственная слабость, которую мужчины прощают прекрасному полу потому, что она льстит их самолюбию. Терзаемые своими желаниями, вынужденные подавлять свои естественные склонности, старые девы вечно испытывают какую-то внутреннюю скованность. В любом возрасте для женщины тяжко читать на лицах отвращение к ней, ибо ей предназначено природой возбуждать в сердцах окружающих лишь приятные чувства. То, что старая дева всегда прячет глаза, объясняется не столько скромностью, сколько стыдом и страхом. Она не прощает ни обществу, ни себе самой своего ложного положения. Но и то сказать, для человека, находящегося в постоянном разладе как со своим сердцем, так и с окружающей средой, трудно не позавидовать спокойствию и счастью других людей.

Весь этот мир грустных раздумий таился в тусклых серых глазах мадемуазель Гамар, а широкие темные круги около глаз говорили о долгих томлениях ее одинокой жизни. Все морщины ее лица были прямые. В очерке ее лба, головы и щек чувствовалась какая-то окаменелость и жесткость. Родинки на ее подбородке поросли седыми волосами, но ей это было безразлично. Тонкими губами едва прикрывались длинные зубы — впрочем, довольно белые. Жестокие мигрени выбелили ее некогда черные волосы, и она поддевала под чепец фальшивые, дурно завитые локоны, но не умела делать это как следует, и черная тесьма, на которой держался такой полупарик, нередко совсем сползала на лоб. Темные, блеклых тонов платья, летнее— из тафты, а зимнее —шерстяное, некрасиво обтягивали ее угловатую фигуру и тощие руки. Воротничок у нее то и дело отгибался, оголяя красную шею с узором морщин, прихотливым, как жилки дубового листка на свету. Топорное сложение мадемуазель Гамар отчасти объяснялось ее происхождением: отец ее был

лесоторговцем, чем-то вроде разбогатевшего крестьянина. Возможно, что лет в восемнадцать она была свежей и пухленькой, но и белизна и яркий румянец, которыми она так любила украшать себя в своих воспоминаниях, теперь уже исчезли бесследно. Кожа ее приобрела мертвенный тон, обычный для богомольной особы. Орлиный нос говорил красноречивее других черт ее лица о деспотизме характера, а плоский лоб выдавал умственную ограниченность. В движениях мадемуазель Гамар была какая-то странная резкость, лишавшая их всякого изящества. Достаточно было вам увидеть, как она вынимает платок из ридикюля и шумно сморкается, и вы уже представляли себе характер и привычки этой особы.

Она была довольно высокого роста и держалась настолько прямо, что как бы подтверждала наблюдения одного естествоиспытателя, научно объяснявшего походку старых дев тем, что позвонки их якобы срастаются. Когда она шла, тело ее не двигалось плавно, равномерно, с грациозным колыханием стана, столь пленительным у женщин; она двигалась как бы цельною глыбой, грузно шагая, словно статуя командора.

Подобно всем старым девам, она намекала в минуты хорошего настроения, что могла бы выйти замуж не хуже других, но, к счастью, вовремя заметила неискренность своего поклонника; таким образом, сама того не подозревая, она превозносила свою расчетливость в ущерб своему сердцу.

Этой типичной представительнице породы старых дев были вполне под стать нелепые глянцевитые обои ее столовой, на которых были изображены турецкие пейзажи. Бóльшую часть дня мадемуазель Гамар проводила в этой комнате, украшенной двумя консолями и барометром. На креслах аббатов лежали полинялые вышитые подушки. Гостиная, где она принимала своих друзей, была совершенно в духе самой хозяйки. Достаточно сказать, что она называлась желтой гостиной: занавеси там были желтые, мебель— желтая, обои — желтые. На камине, украшенном зеркалом в золоченой раме, резко сверкали канделябры и хрустальные часы. Что же касается личных комнат мадемуазель Гамар, туда никому не разрешалось входить; можно было только предполагать, что они забиты всевозможным тряпьем и потертой мебелью — обычной

рухлядью, которой окружают себя все старые девы, питая к ней странное пристрастие. Такова была особа, которой предназначено было сыграть большую роль в судьбе аббата Бирото под конец его жизни.

Не зная, на что направить силы, вложенные в женщину природой, мадемуазель Гамар нашла им применение в мелких интригах, провинциальных пересудах и всякого рода своекорыстных кознях,— чем обычно и кончают старые девы. Бирото, на свое горе, пробудил единственное чувство, доступное этому убогому существу,— чувство ненависти, дотоле дремавшее в сердце Софии Гамар благодаря спокойствию и однообразию провинциального житья-бытья и бедности ее личных интересов, но способное к сокрушительным действиям, тем более что оно было направлено на мелочи и ограничено узким мирком.

Бирото был из числа людей, которым предопределено страдать из-за своей ненаблюдательности,— они не умеют избегать опасностей, и с ними случается все самое худшее...

— Да, прекрасная будет погода,— ответил спустя некоторое время каноник, как бы отрываясь от размышлений и уступая лишь требованиям приличия.

Бирото, напуганный длительностью перерыва между вопросом и ответом, проглотил кофе в молчании, чего с ним никогда еще не случалось, и вышел из столовой, чувствуя, что сердце его сжимается словно в тисках. Выпитый кофе отягощал его желудок, и викарий принялся грустно бродить по узеньким буксовым аллейкам, расходившимся по саду лучами. Но, пройдясь немного, он обернулся и увидел мадемуазель Гамар и Трубера, застывших в молчании на пороге гостиной; неподвижный, скрестивший руки, Трубер напоминал надгробную статую; мадемуазель Гамар прислонилась к решетчатой двери; казалось, оба они наблюдали за ним, считая каждый его шаг.

Нет ничего более тягостного для человека застенчивого от природы, чем чувствовать себя предметом любопытства; но если сквозь любопытство проглядывает еще и ненависть, то страдания превращаются в пытку. Старику показалось, что он мешает гулять мадемуазель Гамар и Труберу. Им завладела эта мысль, внушенная страхом и щепетильностью, и он покинул сад. Удручен-

ный вздорным деспотизмом старой девы, он, уходя из дому, не думал уже и о сане каноника.

К счастью, в соборе на этот раз его ожидало много дел — несколько заупокойных служб, свадьба, двое крестин,— и он забыл о своих горестях. Но когда желудок напомнил ему о времени обеда, он посмотрел на часы и не без трепета увидел, что уже был пятый час. Зная пунктуальность мадемуазель Гамар, он поспешил домой.

Проходя мимо кухни, он обнаружил, что туда уже успели снести первое блюдо. Когда же он вошел в столовую, мадемуазель Гамар заявила ему:

— Сейчас половина пятого, господин Бирото. Как вам известно, мы не обязаны вас ждать!

В тоне ее голоса прозвучал колкий упрек провинившемуся жильцу, а также злорадство.

Взглянув на стенные часы, викарий убедился по виду прозрачного газового чехла, предохранявшего их от пыли, что хозяйка заводила их сегодня утром — и, должно быть, коварно перевела стрелку вперед в сравнении с соборными часами. Сделать какое-либо замечание было невозможно. Выскажи он громко возникшее у него подозрение, мадемуазель Гамар, как все женщины ее круга в подобных случаях, сумела бы оглушить его взрывом грозного красноречия, подкрепленного неоспоримыми доводами.

Тысячи мелких каверз, которыми служанка в повседневном быту может досадить своему хозяину или жена — своему мужу, изобретались старой девой, чтобы доконать жильца. В том, как она умело строила козни против домашнего благополучия аббата, сказывалась натура, полная лукавства и изворотливости: все делалось так, что мадемуазель Гамар оказывалась кругом права.

Спустя неделю после начала этой истории Бирото, присматриваясь к домашнему обиходу и наблюдая свою хозяйку, впервые догадался о заговоре, который, однако же, существовал уже целых полгода. Пока старая дева удовлетворяла свою ненависть исподтишка, а викарий еще мог полусознательно заблуждаться, отказываясь верить в злой умысел, его душевная боль была не так остра. Но после таких фактов, как отнесенный наверх подсвечник или переведенные вперед часы, викарий уже не сомневался в том, что живет под властью врага, ко-

торый не сводит с него недремлющего ока. Скоро он впал в полное отчаяние, видя, что длинные крючковатые пальцы мадемуазель Гамар как бы готовы в любую минуту вонзиться ему в сердце. С восторгом отдаваясь чувству мести, столь богатому оттенками, мадемуазель Гамар наслаждалась, кружа над обреченной жертвой, подобно тому, как ястреб кружит над полевой мышью, готовясь ринуться на нее. У нее давно уже созрел замысел, о котором ошеломленный священник и не догадывался,— и она не замедлила привести свой план в исполнение с тем удивительным искусством, какое проявляют в житейских мелочах одинокие люди, не способные к истинному благочестию и ударяющиеся в мелкое ханжество.

Страдания аббата усугубляло еще одно обстоятельство: человек непосредственный, Бирото всегда любил, чтобы его пожалели и пособолезновали ему, но на этот раз горести его были такого свойства, что он был лишен последнего небольшого утешения — поведать о них своим друзьям; некоторый житейский такт, развившийся в нем в связи с природной застенчивостью, внушал ему опасение показаться смешным, занимаясь такими пустяками. А между тем из таких пустяков складывалась вся его жизнь, милая ему жизнь, деятельная в своей пустоте и пустая в своей деятельности,— жизнь тусклая и серая, в которой всякое сильное чувство было несчастьем, а отсутствие каких бы то ни было волнений — блаженством. Рай Бирото внезапно превратился в ад. Страдания его становились невыносимы; ужас, который внушала ему необходимость объяснения с мадемуазель Гамар, усиливался с каждым днем; затаенная печаль, терзавшая его на старости лет, подточила и его здоровье.

Однажды утром, натягивая свои синие в искорку чулки, он обнаружил, что икры его похудели почти на целый дюйм в окружности; потрясенный жестокой убедительностью этого обстоятельства, он решил попросить аббата Трубера оказать ему услугу и вмешаться в его отношения с мадемуазель Гамар.

Но когда он очутился перед величавым каноником, который принял его в пустой комнате, поспешно покинув кабинет, заваленный рукописями, где он неустанно работал и куда никто не был вхож, викарию стало совестно докучать столь занятому человеку жалобами на злобные

выходки мадемуазель Гамар. Но, преодолев душевные колебания, по самым незначительным поводам мучающие чрезмерно скромных, нерешительных и слабохарактерных людей, викарий наконец решился и с сильно бьющимся сердцем рассказал канонику о своей незадаче.

Каноник выслушал его с важным и холодным видом, пытаясь подавить улыбку удовлетворения, которая не укрылась бы от зоркого взгляда. Глаза его ярко сверкнули, когда Бирото с красноречием искреннего чувства поведал ему о горечи, постоянно отравлявшей его сердце; но Трубер прикрыл глаза ладонью, как это часто делают мыслители, и продолжал сохранять привычную, полную достоинства позу. Когда викарий окончил свою речь, на болезненном лице загадочного каноника, покрытом желтыми пятнами еще больше, чем обычно, тщетно было бы искать хоть проблеска чувств, вызванных сетованиями Бирото. Помолчав с минуту, он дал ответ, в который следовало бы вникать слово за словом, чтобы осознать все его значение, и который впоследствии доказал вдумчивым людям редкое хитроумие аббата и силу его разума. Он сразил Бирото, заявив ему, что все услышанное тем более удивляет его, что сам он до сих пор ни о чем подобном и не подозревал. Он приписывал этот недостаток наблюдательности своим серьезным занятиям, усиленной работе и тем высоким мыслям, которые целиком его захватывают, не позволяя присматриваться к мелочам жизни; он заметил вскользь, как бы не желая критиковать поведение человека, почтенного по своему возрасту и знаниям, что «в былое время отшельники мало заботились о пище и крове и в глубине пустынь предавались святому созерцанию» и что «в наши дни священник может мысленно создать себе повсюду такую пустыню». Затем, возвращаясь к самому Бирото, он добавил, что подобного рода недоразумения для него новость; за все двенадцать лет ничего похожего не происходило между мадемуазель Гамар и досточтимым аббатом Шаплу; а что касается его самого, добавил он, то, конечно, он может стать посредником между викарием и хозяйкой, ибо его дружба с ней не переходит границ, установленных законами церкви для ее верных слуг. Справедливость требует, чтобы он выслушал также и мадемуазель Гамар, но он, впрочем, не замечает в ней никаких перемен, и, на его па-

мяти, она всегда была такова; сам он охотно подчинился некоторым ее прихотям, ибо, как он знал, эта почтенная девица — воплощение доброты и кротости, а кое-какие неровности ее характера следует приписать страданиям, причиняемым легочной болезнью, о которой она не говорит, покорно перенося ее, как истинная христианка. Он закончил свою речь словами, что «стоит викарию пробыть у мадемуазель еще несколько лет, и он сумеет лучше понять и оценить сокровища этой прекрасной натуры».

Бирото вышел от него совершенно растерянный. Вынужденный роковою силой обстоятельств действовать по своему усмотрению, он подошел к мадемуазель Гамар со своей меркой. Ему пришло в голову, что, быть может, если он уедет на несколько дней, ненависть этой девицы уляжется сама собой,— и он решил ненадолго поселиться за городом, у г-жи де Листомэр, которая обычно перебиралась туда в конце осени, в ту пору, когда небо Турени так чисто и благостно. Несчастный! Этим он осуществлял тайные желания своей грозной гонительницы, козни которой можно было бы расстроить лишь монашеским терпением. Но, ни о чем не догадываясь, не зная даже своих собственных дел, он и должен был пасть, как ягненок под первым же ударом мясника.

Расположенное на возвышенности между городом и вершинами Сен-Жоржа, окруженное скалами и открытое к югу, имение г-жи де Листомэр сочетало в себе все услады деревни и все удобства города. И в самом деле, чтобы добраться от Турского моста до ворот этой усадьбы, называемой «Жаворонок», требовалось не более десяти минут — ценное преимущество в краю, где никто не любит затруднять себя даже ради удовольствий.

Аббат Бирото пробыл в имении около десяти дней, как вдруг однажды утром, во время завтрака, к нему подошел привратник с сообщением, что с ним желает переговорить господин Карон. Карон был стряпчий, поверенный в делах мадемуазель Гамар.

Бирото, забыв об этом обстоятельстве и зная только, что никаких поводов к юридическим спорам у него ни с кем на свете нет, вышел из-за стола весьма озадаченный и направился к стряпчему, усевшемуся на балюстраде террасы.

— Ввиду того, что ваше намерение больше не проживать у мадемуазель Гамар стало совершенно очевидным...— начал стряпчий.

— Что вы, сударь! — прервал его Бирото.— Я и не думал он нее съезжать.

— Однако, сударь,— возразил Карон,— вам надлежит объясниться с мадемуазель Гамар, раз она посылает меня узнать, долго ли еще вы пробудете в деревне... Принимая во внимание, что длительное отсутствие не предусмотрено в вашем договоре, может возникнуть повод для тяжбы. И вот мадемуазель Гамар, считая, что ваш пансион...

— Я не понимаю, сударь,— снова прервал стряпчего изумленный Бирото,— почему требуется прибегать чуть ли не к судебному воздействию, чтобы...

— Мадемуазель Гамар, желая предупредить какие-либо осложнения, послала меня столковаться с вами,— ответил Карон.

— Ну так вот, соблаговолите зайти завтра — я посоветуюсь и дам вам ответ.

— Хорошо,— сказал Карон, откланиваясь.

Сутяжных дел мастер удалился. Несчастный викарий вернулся в столовую в ужасе от настойчивого преследования мадемуазель Гамар. На нем лица не было, и все бросились расспрашивать его, что случилось.

Ничего не отвечая, он сел за стол, удрученный смутным предчувствием несчастья. Лишь после завтрака, когда несколько друзей собрались в гостиной у камелька, Бирото простодушно рассказал им со всеми подробностями о своем злоключении. Слушатели его, уже начавшие скучать в деревне, живо заинтересовались этой интригой, столь типичной для провинции. Все приняли сторону аббата против старой девы.

— Да разве вы не понимаете, что Трубер зарится на вашу квартиру! — сказала г-жа де Листомэр.

Здесь историку было бы уместно набросать портрет этой дамы, но он полагает, что даже те, кому система когномологии [1] Стерна неизвестна, едва произнеся три слова «госпожа де Листомэр»,— уже представляют себе эту даму: она благородна, полна чувства собственного до-

[1] Учение об именах *(лат.)*.

стоинства и строгого благочестия, смягченного изысканными манерами и классическим изяществом старой королевской Франции; добра, но несколько упряма и говорит слегка в нос,— позволяет себе чтение «Новой Элоизы», смотрит комедии на сцене и пока еще не носит старушечьей наколки.

— Нельзя допустить, чтобы Бирото уступил этой вздорной старухе!— воскликнул г-н де Листомэр, старший лейтенант флота, проводивший у тетки отпуск.— Если у викария хватит решимости следовать моим советам, он легко добьется, чтобы его оставили в покое.

Все принялись обсуждать поведение мадемуазель Гамар с особой проницательностью провинциалов, которым нельзя отказать в даровании вскрывать самые тайные мотивы человеческих поступков.

— Все это не так,— сказал один старый помещик, хорошо знавший местные нравы.— Здесь кроется что-то очень серьезное, но что именно, я еще не могу уловить. Аббат Трубер слишком сложен, чтобы его сразу разгадать. Горести нашего милого Бирото только еще начались. Даже уступив свою квартиру аббату Труберу, станет ли он снова спокоен и счастлив? Сомневаюсь.

Он обернулся к священнику, пораженному всем услышанным.

— Если Карон явился сообщить вам, что вы намерены съехать от мадемуазель Гамар, то, без сомнения, сама мадемуазель Гамар намерена спровадить вас. И вы съедете от нее, волей или неволей! Подобного рода люди никогда ничем не рискуют и бьют только наверняка.

Этот старый дворянин, носивший фамилию де Бурбонн, воплощал в себе дух провинции с такой же полнотой, с какой Вольтер воплощал в себе дух своей эпохи. Сухопарый, тощий старик выказывал полное равнодушие к своему костюму, уверенный, что о его богатом поместье достаточно знают в округе. Его лицо, выдубленное солнцем Турени, было скорее хитрым, нежели умным. Он привык взвешивать свои слова, обдумывать всякий свой шаг, и под его кажущейся простотой таилась глубочайшая осмотрительность. Достаточно было немного понаблюдать за ним, чтобы заметить, что помещик этот, похожий на нормандского крестьянина, всегда преуспевал в

своих делах. Он был силен в виноделии, излюбленной науке жителей Турени.

После того как ему удалось увеличить свои угодья за счет наносов Луары и ловко избежать при этом судебного процесса с государством, за ним упрочилась слава человека с головой. Если, очарованные им как собеседником, вы стали бы расспрашивать о нем любого из жителей Турени, то услышали бы в ответ: — *О! Этот старый плутяга всех переплутует!* Такой отзыв о нем вошел в поговорку у его завистников, а их было немало. В Турени, как почти повсеместно в провинции, зависть служит основой языкового творчества.

После слов г-на де Бурбонна в гостиной вдруг наступила тишина, и члены этого небольшого сплоченного кружка, казалось, погрузились в раздумье. Вскоре доложили о мадемуазель Саломон де Вильнуа. Она приехала из Тура, чтобы проведать Бирото, и сообщенные ею новости показали все в совершенно ином свете. За минуту до ее приезда каждый, кроме помещика, советовал Бирото начать войну с Трубером и Гамар в надежде на покровительство и защиту аристократического общества Тура.

— Главный викарий, ведающий составом клира, внезапно заболел,—объявила мадемуазель Саломон,—и архиепископ поручил исполнение его обязанностей аббату Труберу. Теперь назначение в каноники зависит только от него. Но вот вчера у мадемуазель де ла Блотьер аббат Пуарель что-то уж очень распространялся о том, будто бы аббат Бирото доставил мадемуазель Гамар кучу неприятностей. В словах Пуареля чувствовалось желание как бы заранее оправдать немилость, угрожающую нашему аббату: «Шаплу был очень нужен такому человеку, как Бирото... После смерти этого достопочтенного каноника всем стало ясно...» Тут последовали разные предположения, клеветнические пересуды... Ну, вы понимаете?

— Быть Труберу главным викарием!— торжественно заявил г-н де Бурбонн.

— Скажите,— воскликнула г-жа де Листомэр, взглянув на викария,— что для вас важнее — сан каноника или проживание у мадемуазель Гамар?

— Сан каноника,— хором ответили все.

— Тогда придется пойти на уступку,— продолжала

она,— не намекают ли они вам через Карона, что если вы согласитесь выехать, то станете каноником? Дающему воздастся!

Все пришли в восторг от догадливости и проницательности г-жи де Листомэр, лишь племянник ее, барон де Листомэр, шутливым тоном сказал, наклонившись к г-ну де Бурбонну:

— Признаюсь, хотелось бы мне увидеть бой между старухой Гамар и Бирото!

Но, к сожалению, светские знакомые Бирото не располагали равными силами с мадемуазель Гамар, поддерживаемой аббатом Трубером. В скором времени борьба стала явной и выросла до огромных размеров.

Госпожа де Листомэр и ее друзья, все более и более увлекаясь этой интригой, заполнившей пустоту их провинциальной жизни, решили послать слугу за Кароном. Стряпчий прибыл на зов с поразительной поспешностью, что заставило насторожиться одного лишь г-на де Бурбонна.

— Лучше повременить со всем этим, пока не выяснится, в чем тут дело...— таково было мнение этого Фабия Кунктатора в халате, уже начавшего путем глубоких размышлений угадывать сложные комбинации туренской шахматной игры.

Он попытался разъяснить аббату опасность его положения, но благоразумные мысли *старого плутяги* шли вразрез с общим настроением, и он не завоевал внимания.

Беседа между аббатом Бирото и стряпчим была недолгой; Бирото вернулся растерянный и сказал:

— Карон спрашивает у меня расписку, удостоверяющую разрыв...

— Какое страшное слово! — воскликнул лейтенант.

— Что оно означает? — спросила г-жа де Листомэр.

— Только и всего, что Бирото должен объявить о своем желании покинуть дом мадемуазель Гамар,— ответил, беря щепотку табаку, г-н де Бурбонн.

— Только и всего? Подписывайте! — заявила г-жа де Листомэр, глядя на Бирото.— Раз вы твердо решили выехать от нее, что же может вам помешать изъявить свою волю?

Воля Бирото?!

— Так-то оно так...— сказал г-н де Бурбонн, защелкнув табакерку резким движением, полным непередаваемой выразительности, ибо это была целая речь, и, кладя табакерку на камин с таким видом, который должен был бы устрашить викария, закончил: — Однако подписывать всегда опасно.

Чувствуя, что голова у него идет кругом от стремительного вихря событий, застигнувших его врасплох, от той легкости, с какой друзья решали самые важные вопросы его одинокой жизни, Бирото стоял неподвижно, словно отрешенный от мира, ни о чем не думая, только прислушиваясь и пытаясь уловить смысл в словоизвержениях окружающих.

Наконец он взял у г-на Карона заготовленное им заявление и, казалось, с глубоким вниманием — на самом же деле машинально — прочитал его текст; затем подписал этот документ, гласивший, что он добровольно отказывается проживать у мадемуазель Гамар, равно как и столоваться у нее, упраздняя соглашение, ранее заключенное между ними на сей предмет.

Достопочтенный Карон, взяв подписанный документ, спросил аббата, куда надлежит перевезти его вещи от мадемуазель Гамар. Бирото указал дом г-жи де Листомэр; кивком головы она выразила согласие приютить его у себя на некоторое время, не сомневаясь в его скором назначении каноником.

Старому помещику захотелось взглянуть на этот своеобразный акт отречения, и г-н Карон подал ему документ.

— Вот как! — обратился г-н де Бурбонн к викарию, прочитав текст.— Значит, между вами и мадемуазель Гамар имеется письменное соглашение? Где же оно? Каковы договорные пункты?

— Контракт у меня,— ответил Бирото.

— Вам известно его содержание? — спросил г-н де Бурбонн у стряпчего.

— Нет, сударь,— ответил тот, протягивая руку за роковой бумагой.

«Э, господин стряпчий,— подумал помещик,— ты уж наверняка ознакомился с контрактом, но не за то тебе платят, чтобы ты нам все рассказывал».

И г-н де Бурбонн отдал документ стряпчему.

— Куда же я дену свою мебель? — вскричал викарий.— Мои книги, чудесный шкаф, дивные картины, красную гостиную, всю обстановку?

Отчаяние старика, так сказать, лишенного родной почвы, было таким детски-беспомощным, так выдавало всю чистоту его нрава, всю его житейскую неопытность, что и г-жа де Листомэр и мадемуазель Саломон заговорили с ним тоном матери, обещающей своему ребенку игрушку:

— Ну, не стоит горевать из-за пустяков! Мы подыщем вам дом и теплее и светлее, чем у мадемуазель Гамар! А не найдется ничего подходящего,— что ж! Одна из нас возьмет вас к себе на пансион. Полно, сыграемка лучше в триктрак! Завтра вы пойдете к аббату Труберу, попросите его оказать вам поддержку и сами увидите, как он будет мил.

Слабых людей столь же легко успокоить, как и напугать. Бирото, которому улыбалась перспектива поселиться у г-жи де Листомэр, позабыл о своем разрушенном благополучии, составлявшем его долгожданную упоительную утеху.

Однако вечером он все не мог заснуть, ломая себе голову, раздумывая, где бы ему поместить свою библиотеку так же удобно, как в его галерее, и испытывал сущую муку, ибо он принадлежал к тем людям, для которых суета переезда и новизна жизненного уклада равносильны концу света. Он уже представлял себе, что его книги разбросаны, мебель сунута куда попало, все его привычки нарушены, и в сотый раз спрашивал себя, почему первый год его проживания у мадемуазель Гамар был таким приятным, а второй — таким тяжелым. И его злоключение все представлялось ему какой-то бездной, где терялся его разум. Ему уже казалось, что и сан каноника — недостаточная награда за такие страдания, и он сравнивал свою жизнь с чулком, который весь расползается из-за какой-нибудь одной спустившейся петли. У него, правда, оставалась мадемуазель Саломон. Но, утратив свои прежние иллюзии, бедняга уже не решался верить новой привязанности.

В città dolente [1] старых дев встречается, особенно во

---

[1] Селенья скорби, т. е. ад (из «Божественной комедии» Данте).

Франции, немало таких, чья жизнь — это жертва, день за днем набожно приносимая благородным чувствам. Одни остаются горделиво верны тому, кого слишком рано похитила смерть; мученицы любви, они сердцем проникли в тайну женских чувств. Другие повиновались требованиям фамильной чести (к стыду для нас, вырождающейся в наши дни), посвятив себя воспитанию братьев или сирот-племянников, и приобщились к материнству, оставаясь девственными. Такие старые девы проявляют высший героизм, доступный их полу, благоговейно посвящая все свои женские чувства служению несчастным. Они являют собою идеальный образ женщины, отказываясь от положенных ей радостей и взяв на себя лишь ее страдания. Они живут, окруженные ореолом самоотвержения, и мужчины почтительно склоняют головы перед их поблекшей красотой. Мадемуазель де Сонбрейль не была ни женщиной, ни девушкой — она была и останется навеки живой поэзией.

Мадемуазель Саломон была одним из таких героических созданий. Ее многолетняя, мучительная, никем не оцененная самоотверженность была возвышенной до святости. Прекрасная в юности, она была любима, она любила; но жених ее сошел с ума. Пять долгих лет, полная мужественной любви, она посвятила заботам о благополучии жалкого умалишенного, с безумием которого она так сроднилась, что даже не замечала его.

Она держалась просто, отличалась прямотой в своих взглядах, и ее бледное лицо, несмотря на слишком уж правильные черты, не лишено было выразительности. Она никогда не говорила о событиях своей жизни, но порой, слушая рассказ о каком-нибудь ужасном или печальном происшествии, она вся содрогалась, и в ее волнении проявлялась душевная красота, которую порождает подлинная скорбь.

Она переехала жить в Тур после того, как потеряла своего возлюбленного. Ее не могли оценить здесь по достоинству и считали всего лишь славной особой. Она делала много добра и питала особую нежность ко всем слабым существам. Именно поэтому викарий и вызывал в ней глубокое участие.

Мадемуазель де Вильнуа, уехав на следующее утро в город, отвезла туда Бирото, ссадила его на Соборной

набережной и предоставила ему брести к Монастырской площади, куда ему не терпелось попасть, чтобы по крайней мере спасти от крушения свои надежды на сан каноника, да и присмотреть за перевозкой обстановки.

С сердечным трепетом позвонил он у дверей того самого дома, куда он привык входить вот уже четырнадцать лет, где ему жилось так хорошо и откуда его изгоняли навеки, хотя он лелеял мечту мирно умереть здесь, наподобие своего друга Шаплу.

При виде викария Марианна, казалось, была удивлена. Он сказал ей, что ему надо переговорить с аббатом Трубером, и пошел было в нижний этаж к канонику. Но Марианна крикнула ему:

— Господин викарий, аббата Трубера там уже нет! Он теперь в ваших прежних комнатах!

Сердце Бирото дрогнуло; ему открылось подлинное лицо этого человека, он понял, как долго вынашивал Трубер свою месть, когда увидел, что тот расположился в библиотеке Шаплу, восседал в роскошном готическом кресле Шаплу, пользовался вещами Шаплу,— а ночью, должно быть, почивал в постели Шаплу,— словом, завладел как хозяин всем достоянием Шаплу, грубо попирая его завещание и лишая наследства друга того самого Шаплу, который так долго продержал его в конуре у мадемуазель Гамар, помешал ему в продвижении по службе и закрыл доступ в лучшие светские гостиные Тура.

Не мановение ли волшебного жезла вызвало всю эту перемену? Разве эти вещи уже не принадлежали ему, Бирото? Видя, с каким победоносно-злобным видом Трубер взирает на его книги, Бирото заключил, что будущий главный викарий вполне уверен в своих силах и не собирается выпускать из рук имущество тех, кого он так жестоко ненавидел,— Шаплу, как своего врага, и Бирото, как постоянное напоминание о нем.

Самые разнообразные мысли проносились в мозгу Бирото, и все казалось ему каким-то сном: он замер на месте, словно завороженный пристальным взглядом Трубера.

— Надеюсь, сударь,—выговорил он наконец,—вы не собираетесь лишить меня моих вещей? Если мадемуазель Гамар так торопилась устроить вас получше, ей все

же следовало подумать обо мне и дать мне время уложить книги и вывезти обстановку.

— Сударь,— холодно ответил Трубер, и ни один мускул не дрогнул на его бесстрастном лице,— мадемуазель Гамар сообщила мне вчера о вашем отъезде, причина которого мне еще не известна; она поместила меня здесь лишь по необходимости: мою квартиру занял аббат Пуарель. Я даже не знаю, кому принадлежат эти вещи — мадемуазель Гамар или иному лицу. Если они ваши, о чем же вам беспокоиться? Честность и святость ее жизни — залог порядочности этой особы. Что же касается меня, вам известна простота моих привычек. Пятнадцать лет я спал в комнате с голыми стенами, не обращая внимания на сырость, сгубившую мое здоровье. Однако, если бы вы пожелали вновь поселиться в этой квартире, с моей стороны не было бы никаких препятствий...

Услыхав эти слова, полные ужасного смысла, Бирото забыл про свои хлопоты о сане каноника и бросился к мадемуазель Гамар. С юношеской стремительностью сбежав по лестнице, он столкнулся со старою девой на широкой каменной площадке, соединявшей одну половину дома с другою.

— Сударыня,— обратился он с поклоном к мадемуазель Гамар, не обращая внимания ни на язвительную улыбку, змеившуюся на ее губах, ни на какой-то особенный огонек в ее глазах, придававший им сходство с блестящими глазами тигра,— мне непонятно, почему вы не подождали, пока я вывезу обстановку, прежде чем...

— Что такое? — прервала она аббата.— Разве ваши вещи не отправлены к госпоже де Листомэр?

— Но мебель?

— Да вы что же, не читали нашего контракта? — спросила старая дева таким тоном, который следовало бы привести в нотной записи, чтобы дать представление обо всех оттенках ненависти, прозвучавших в этой фразе. И мадемуазель Гамар, казалось, выросла, и глаза ее заблестели еще ярче, и лицо ее озарилось, и трепет наслаждения пробежал по ней. Трубер открыл окно,— вероятно, чтобы светлее было читать какой-то фолиант. Бирото стоял, как громом пораженный. Голос мадемуазель Гамар, пронзительно-звонкий, как труба, оглушал викария.

— Ведь было же условлено, что в случае вашего до-

бровольного выезда от меня вся ваша обстановка переходит ко мне в возмещение разницы между вашей платой за пансион и платой почтенного аббата Шаплу. И вот, так как аббат Пуарель назначен каноником...

Услыхав об этом, Бирото слегка качнулся вперед, как бы прощаясь со старой девой; затем, боясь лишиться чувств и доставить слишком большое торжество своим неумолимым врагам, он поспешил уйти. Словно в каком-то пьяном чаду он добрался до особняка г-жи де Листомэр, где и нашел в низенькой комнатке свой чемодан с бельем, вещами и бумагами. При виде остатков своего имущества бедняга сел и закрыл лицо руками, чтобы утаить от людей свои слезы.

Пуарель назначен каноником! А он, Бирото, лишился и крова и имущества!

К счастью, в эту минуту мадемуазель Саломон проезжала мимо дома; привратник, от которого не укрылось отчаяние старика, сделал кучеру знак остановиться. После того, как привратник и старая дева обменялись несколькими словами, полумертвый от горя викарий был приведен к своей доброй приятельнице, но ей ничего не удалось добиться от него, кроме бессвязного лепета. Испуганная мадемуазель Саломон, увидев, что его голова, и без того от природы слабая, внезапно пришла в полное расстройство, тотчас же увезла его в имение г-жи де Листомэр, приписывая начавшееся умопомешательство впечатлению от известия, что каноником назначен Пуарель. Она ничего не знала об условиях контракта с мадемуазель Гамар по той весьма понятной причине, что Бирото и сам не знал всего его содержания, и, так как в жизни комическое зачастую примешивается к самым патетическим событиям, странные ответы Бирото вызывали у нее слабую улыбку.

— Шаплу был прав! — повторял он.—Это чудовище!

— Да кто же? — допытывалась она.

— Шаплу! Он отнял у меня все...

— Вы хотите сказать — Пуарель?

— Нет, Трубер!

По приезде Бирото в имение друзья окружили его таким заботливым вниманием, что к вечеру им удалось успокоить его и добиться связного рассказа об утренних происшествиях.

Флегматичный г-н де Бурбонн попросил показать контракт, в котором, как он подозревал еще со вчерашнего дня, была разгадка всей этой истории. Бирото, вынув из кармана роковой документ, дал его г-ну де Бурбонну, а тот, пробежав его глазами, увидел следующий пункт: «Ввиду существующей разницы в восемьсот франков ежегодно между платой за пансион, каковую вносил покойный г-н Шаплу, и платой, за каковую вышеупомянутая София Гамар соглашается поселить у себя на оговоренных условиях вышеупомянутого Франсуа Бирото, и ввиду того, что нижеподписавшийся Франсуа Бирото заявляет, что он не в состоянии платить в течение нескольких лет сумму, выплачиваемую пансионерами мадемуазель Гамар, в частности аббатом Трубером; наконец, принимая во внимание различные услуги, оказанные вышеупомянутой нижеподписавшейся Софией Гамар,— вышеупомянутый Бирото обязуется оставить ей, в виде возмещения, обстановку, которою он будет владеть к моменту своей кончины или же к тому моменту, когда он по какому бы то ни было поводу и в какое бы то ни было время добровольно покинет помещение, занимаемое им в настоящий момент, и не будет больше пользоваться услугами, оговоренными в обязательствах, принятых Софией Гамар по отношению к нему, вышеуказанному...»

— Ну и ну! — воскликнул г-н де Бурбонн.—Какими, однако, когтями вооружена сия вышеупомянутая София Гамар!

Бедняга Бирото, детский ум которого не в состоянии был представить себе, что в мире может найтись причина, способная в один прекрасный день разлучить его с мадемуазель Гамар, рассчитывал прожить у нее до самой смерти. Он начисто забыл об этом пункте, условия которого даже и не обсуждались, ибо в то время, когда он стремился стать пансионером мадемуазель Гамар, он готов был согласиться на все ее требования и подписал бы любой предложенный ею документ.

Его простодушие было так почтенно, а поведение мадемуазель Гамар так жестоко; в судьбе несчастного шестидесятилетнего старика было что-то столь прискорбное, а беспомощность делала его столь трогательным, что г-жа де Листомэр воскликнула в порыве негодования:

— Это я виновата в том, что вы подписали документ, принесший вам разорение... И я должна вернуть вам счастье, которого я вас лишила!

— Однако контракт этот составлен недобросовестно,— заметил старый дворянин,—есть основания оспаривать его в судебном порядке...

— Прекрасно! Пусть Бирото подает в суд! Проиграет он в Туре, так выиграет в Орлеане; проиграет в Орлеане — выиграет в Париже! — вскричал барон де Листомэр.

— Но если он хочет судиться,— хладнокровно заметил г-н де Бурбонн,— я советую ему сначала сложить с себя сан викария...

— Мы переговорим с адвокатами,— заявила г-жа де Листомэр,— и если надо судиться,— что ж, будем судиться! Но это дело настолько постыдно для мадемуазель Гамар и может так сильно повредить аббату Труберу, что, я уверена, они пойдут на мировую!

После всестороннего обсуждения каждый пообещал аббату Бирото свое содействие в предстоящей ему борьбе с врагами и всеми их приспешниками. Верное чутье, необъяснимая интуиция, свойственная провинциалам, подсказывали им соединение этих двух имен —Гамар и Трубер. Однако один только старый помещик ясно понимал размах предстоящей борьбы; г-н де Бурбонн отвел аббата в сторону и, понизив голос, сказал ему:

— Из четырнадцати человек, собравшихся здесь, через две недели ни один не будет за вас! И если вам понадобится помощь, только у меня, быть может, найдется достаточно смелости, чтобы взять вас под защиту, ибо я знаю провинцию, ее людей, дела, а главное, борьбу интересов! Но все ваши друзья, пусть даже преисполненные самых лучших намерений, увлекают вас на ложный путь, на котором вам несдобровать! Послушайтесь моего совета: если вы хотите жить спокойно, откажитесь от места викария, уезжайте из Тура. Втихомолку подыщите себе какой-нибудь отдаленный приход, чтобы навсегда укрыться от Трубера.

— Но как же можно уехать из Тура! — вскричал викарий с непередаваемым ужасом.

Для него это равнялось смерти. Разве это не означало оборвать все нити, которыми он был связан с жизнью?

У холостяков привычка заменяет чувство. Такой душевный склад позволяет им не столько жить, сколько проходить сквозь жизнь, а если, вдобавок, они еще и слабохарактерны, то внешняя обстановка приобретает над ними необычайную власть.

Бирото был подобен растению, жизнеспособность которого можно погубить неосторожной пересадкой. Так же как дерево, чтобы жить, должно постоянно питаться одними и теми же соками и всегда держаться корнями в родной почве,— Бирото должен был неизменно расхаживать по собору св. Гатиана, постоянно семенить по одной и той же части бульвара — месту своих привычных прогулок,— ежедневно ходить по все тем же знакомым улицам и проводить каждый вечер в одной из трех гостиных, где он играл в вист или триктрак.

— Да, это я упустил из виду,— участливо глядя на священника, промолвил г-н де Бурбонн.

Вскоре весь город узнал, что баронесса де Листомэр, вдова генерал-лейтенанта, приютила у себя аббата Бирото, соборного викария. Это обстоятельство, в котором многие сначала даже усомнились, и особенно высказывания мадемуазель Саломон о мошенничестве и необходимости судебного разбирательства — разрешили все вопросы и четко определили враждующие стороны.

Мадемуазель Гамар, наделенная, как все старые девы, болезненным честолюбием и непомерно раздутым самомнением, почувствовала себя уязвленной вмешательством г-жи де Листомэр. Баронесса была женщиной высокого положения, отличалась изысканными привычками, прекрасными манерами, неоспоримо хорошим вкусом и благочестием. Приютив у себя Бирото, она тем самым решительно опровергала все наветы на него со стороны мадемуазель Гамар, молчаливо осуждала ее поведение и как бы поддерживала жалобы викария на его хозяйку.

Для понимания этой истории необходимо пояснить, каким подспорьем для мадемуазель Гамар была способность к выведыванию и разнюхиванию, дающая старухам возможность знать все, что творится вокруг, и так же необходимо пояснить, каковы были силы ее лагеря.

В сопровождении молчаливого аббата Трубера она отправлялась вечерами в какой-нибудь из пяти—шести

знакомых домов, где собиралось десятка полтора лиц, близких друг другу по своим интересам и положению: два—три старика, разделявших мелкие страстишки своих служанок и их любовь к сплетням; пять—шесть старых дев, проводивших свои дни в перебирании каждого слова и в выслеживании каждого шага своих соседей, равно как и других местных жителей, к какому бы кругу общества они ни принадлежали; несколько пожилых женщин, у которых только и было дела, что ядовито злословить, вести точный учет всем состояниям в городе, наблюдать за поступками окружающих, предсказывать свадьбы и осуждать поведение своих подруг столь же язвительно, как и поведение врагов.

Эти особы, разбросанные по всему городу, вбирали, подобно капиллярам растения, всасывали в себя жадно, как листок росу, разные новости, тайны каждой семьи и непрерывно передавали их аббату Труберу, как листья передают стеблю поглощенную ими влагу. И вот, на еженедельных вечерах, побуждаемые потребностью поволноваться, свойственною всем людям, благочестивые женщины производили учет всех городских событий с проницательностью, достойной Совета десяти, и азартно занимались сыском, руководимые безошибочным нюхом. Когда же их синедриону удавалось открыть тайную пружину какого-либо поступка, каждая, гордо присваивая себе честь этого открытия, несла его дальше, в свой особый кружок, где оно служило поводом к новым пересудам. Эта праздная и деятельная, невидимая и всевидящая, живущая втихомолку и неумолчно говорящая конгрегация обладала при своих незначительных размерах некоторым влиянием, становившимся даже страшным, когда ее воодушевлял какой-нибудь крупный интерес. А давно уже в сфере ее деятельности не возникало события столь важного и для каждого из них столь значительного, как борьба Бирото, поддерживаемого г-жой де Листомэр, с мадемуазель Гамар и аббатом Трубером. В самом деле, среди знакомых мадемуазель Гамар салоны г-жи де Листомэр, г-жи Мерлен де ла Блотьер и мадемуазель де Вильнуа давно уже вызывали неприязнь, объясняемую сословной враждой и тщеславием. Это была борьба народа с римским сенатом в кротовой норе или же буря в стакане воды, как неко-

гда выразился Монтескье по поводу республики Сан-Марино, где лица, стоявшие у кормила правления, сменялись чуть ли не каждый день, так легко было там завладеть тиранической властью. Однако же эта буря разбудила страсти столь же сильные, как и те, что двигают величайшими историческими событиями. Не заблуждение ли считать, что жизнь кипуча лишь для тех, чей ум охвачен обширными замыслами, способными всколыхнуть все общество? Каждый час жизни аббата Трубера приносил столько же разнообразных волнений, порождал столько же тревожных мыслей, был столь же подвержен резким сменам отчаяния и надежд, как и самые решительные часы в жизни честолюбца, игрока или любовника. Одному богу известно, чего нам стоят наши тайно одержанные победы над людьми, над обстоятельствами, над самими собой. Пускай мы не всегда знаем, куда идем, но тяготы нашего пути нам хорошо известны.

Однако если историку будет позволено прервать изложение драматических событий и на минуту стать критиком; если он пригласит вас бросить взгляд на жизнь нескольких старых дев и двух аббатов, чтобы отыскать в ней прискорбную причину, изуродовавшую все их существо, то, может быть, вы убедитесь со всей очевидностью, что человеку необходимо изведать сильные чувства, чтобы в нем развились благородные свойства, которые расширили бы круг его жизни и смягчили эгоизм, присущий всем созданиям.

Возвращаясь в город, г-жа де Листомэр и не подозревала, что вот уже с неделю как друзьям ее приходилось защищать ее доброе имя от клеветы: утверждали, будто привязанность ее к племяннику весьма предосудительного свойства, чему она сама, конечно, только посмеялась бы.

Она повела Бирото к своему адвокату, которому затеваемая тяжба показалась делом нелегким. Друзья викария — то ли слишком уверенные в успехе правого дела, то ли относясь небрежно к тому, что лично их не затрагивало,— отложили подачу жалобы в суд до своего возвращения в Тур. Сторонники мадемуазель Гамар опередили их и сумели представить дело в невыгодном для Бирото свете.

Вот почему законник, клиентура которого состояла только из благочестивых городских семейств, немало изумил г-жу де Листомэр, посоветовав ей не затевать тяжбы, и завершил беседу словами, что сам он не возьмется вести это дело, ибо, по смыслу контракта, мадемуазель Гамар была юридически права, а с точки зрения справедливости — даже если оставить в стороне чисто правовые вопросы — и суд и общественное мнение обвинят Бирото в сутяжничестве, неуступчивости, в отсутствии той мягкости, которая ему до сих пор приписывалась; что мадемуазель Гамар, достаточно известная своей кротостью и предупредительностью, в свое время оказала Бирото услугу, дав ему в долг, без расписки, деньги на оплату пошлин при введении в права наследства по завещанию Шаплу; что Бирото не в том возрасте и не настолько уж наивен, чтобы подписывать контракт, не зная его содержания и не понимая его значения; что ежели Бирото расстался с мадемуазель Гамар, не дожив у нее и второго года, в то время как его друг, аббат Шаплу, прожил у нее целых двенадцать лет, а Трубер — пятнадцать, то, очевидно, он пошел на это из каких-то особых расчетов, и, следовательно, вся тяжба будет сочтена проявлением неблагодарности.

Провожая их, адвокат дал Бирото выйти на площадку лестницы и задержал г-жу де Листомэр, уговаривая ее не ввязываться в это неприятное дело.

И вот вечером несчастный викарий, терзаясь, как осужденный на смертную казнь, ожидающий в камере Бисетра результатов кассационной жалобы, рассказал о мнении адвоката своим друзьям, собравшимся в кружок у камина, перед тем как засесть за карты.

— Вряд ли кто из наших турских крючкотворов возьмется за это дело, не питая намерения его проиграть, кроме разве адвоката-либерала... Так что советую оставить эту затею,— заявил г-н де Бурбонн.

— Какой позор! — возмутился лейтенант.— Я сам пойду с Бирото к тому адвокату.

— Пойдите, но когда уже стемнеет,— вставил г-н де Бурбонн.

— Да почему же?

— А потому что на место главного викария, скончав-

шегося третьего дня, назначен, как мне сказали, аббат Трубер.

— Ну, а мне наплевать на аббата Трубера!

К несчастью, барон де Листомэр, несмотря на свой тридцатишестилетний возраст, не обратил внимания, что г-н де Бурбонн предостерегающе указывает ему глазами на советника префектуры, друга Трубера,— и барон присовокупил:

— Если аббат Трубер — шельма...

— О-о! — прервал его г-н де Бурбонн.— Зачем же вмешивать аббата Трубера в это дело, к которому он совершенно непричастен?

— Как! — не унимался барон.— Да разве не он присвоил себе обстановку аббата Бирото? Помнится, зайдя как-то к Шаплу, я видел у него две дорогие картины. Предположим, они стоят тысяч десять франков. Так, значит, вы полагаете, что господин Бирото намерен был отдать за двухлетнее пребывание у этой Гамар десять тысяч франков, не считая библиотеки и мебели, которые стоят не меньше?

Бирото широко раскрыл глаза, услыхав, что он владел таким состоянием!

Барон с жаром продолжал:

— Вот что! В Туре сейчас гостит у своей тещи господин Сальмон, бывший эксперт Парижского музея. Нынче же вечером мы с аббатом Бирото заглянем к нему и попросим его оценить картины. А оттуда мы пойдем к стряпчему.

Спустя день—другой дело сдвинулось с места. Выбор адвоката-либерала в защитники Бирото был для аббата неблагоприятен. Лица, настроенные оппозиционно к правительству, и лица, известные своим неуважением к религии или же просто к священникам — чего многие не различают,— взяли дело в свои руки, и это вызвало в городе шум.

Мадонну, кисти Валантена Булонского, и Христа, кисти Лебрена, редкостные произведения искусства, эксперт музея оценил в одиннадцать тысяч франков. Что касается книжного шкафа и готической мебели, они стоили в данный момент не менее двенадцати тысяч франков, если взять во внимание, что в Париже мода на подобные вещи росла с каждым днем. А в совокупности

все движимое имущество аббата эксперт, произведя осмотр, оценил в тридцать тысяч франков. Стало очевидно, что Бирото не мог иметь намерение отдать такие ценные вещи за ту небольшую сумму, которую в силу одного из пунктов соглашения он был должен мадемуазель Гамар,— и таким образом возник юридический повод к тому, чтобы соглашение было пересмотрено, а в противном случае старую деву можно было обвинить в злостном обмане.

Адвокат-либерал завел судебное дело, предъявив иск девице Гамар. Хотя и несколько вызывающее по тону, исковое прошение, подкрепленное ссылками на решение верховного суда и на статьи свода законов, представляло собою талантливый образец юридической логики и так красноречиво обвиняло мадемуазель Гамар, что в десятках копий было распространено по городу злорадствующей оппозицией.

Спустя несколько дней после начала военных действий между старой девой и Бирото барон де Листомэр, ожидавший производства в следующий чин, капитана корвета,—о чем уже говорили в морском министерстве,— получил письмо: один из его друзей сообщал, что в канцелярии министерства был поднят вопрос о его увольнении в запас.

Немало удивленный такой новостью, он поспешил в Париж и явился на вечерний прием к министру, который, казалось, впервые обо всем этом слышал и только посмеялся над опасениями барона. Но все же тот на следующий день справился в канцелярии. По-приятельски, как это нередко случается, один из секретарей разболтал ему все, а потом показал заготовленный доклад, подтверждавший роковое известие и лишь из-за болезни начальника не представленный министру.

Барон де Листомэр тотчас направился к своему дяде, имевшему возможность в качестве депутата немедленно повидать министра в палате, и попросил его разузнать о намерениях его превосходительства, ибо дело тут шло буквально о всей будущности.

Сидя в дядюшкином экипаже, барон де Листомэр ждал в большом волнении конца заседания.

Депутат вышел задолго до его закрытия и сказал племяннику на обратном пути:

— И угораздило тебя воевать с аббатами! Министр сразу же сообщил мне, что ты стал во главе турских либералов. У тебя недопустимые убеждения, ты не следуешь направлению политики правительства, и т. д. Его фразы были так запутаны, как будто он все еще говорил в палате. Но я ему сказал: «Давайте объяснимся начистоту!» Его превосходительство наконец откровенно сообщил мне, что ты в скверных отношениях с высшим духовенством. Словом, справившись у своих коллег, я узнал, что ты непочтительно отзываешься о некоем аббате Трубере — правда, всего лишь главном викарии, но тем не менее самом значительном лице в целой провинции, ибо он является там представителем конгрегации. Я заявил министру, что ручаюсь за тебя головой. Так вот, любезный племянник, если ты хочешь сделать карьеру, не возбуждай против себя вражды духовенства. Возвращайся скорее в Тур и заключи мир с этим чертовым главным викарием. Знай, что с главными викариями следует жить в ладу. И надо ж было придумать! В то время, когда все мы работаем над восстановлением религии, ты, лейтенант флота, желающий выдвинуться, не нашел ничего умнее, как подрывать уважение к духовенству! Если же ты не помиришься с аббатом Трубером — больше на меня не рассчитывай! Я от тебя откажусь! Министр по делам церкви только что говорил мне об этом человеке как о будущем епископе. Если он возненавидит нашу семью, он подставит мне ножку при предстоящем производстве в пэры. Ты понимаешь, чем это пахнет?

Слова дяди открыли барону де Листомэру тайну ночных занятий Трубера, которые вызывали у Бирото простодушное изумление: «Над чем это он постоянно работает по ночам?»

Близость Трубера к женскому кружку, ловко занимавшемуся сыском в городе, а также его личные способности побудили конгрегацию выбрать именно его среди всех священников города в тайные проконсулы Турени. Архиепископ, генерал, префект — все, от мала до велика, находились под его тайной властью.

Барон де Листомэр недолго раздумывал.

— И то правда,— отвечал он дяде.— Не дожидаться

же, чтобы вторым своим залпом аббаты совсем пустили мой корабль ко дну!

Дня через три после дипломатического совещания дяди с племянником моряк внезапно вернулся в Тур в почтовой карете, и в первый же вечер рассказал тетке о том, что́ угрожает самым заветным надеждам семьи де Листомэров, если оба они с теткой будут упорствовать, поддерживая *этого дуралея Бирото!*

Барон де Листомэр задержал старого помещика, взявшегося за шляпу и палку сразу по окончании партии в вист. Осведомленность *старого плутяги* была необходима для распознавания подводных камней, среди которых оказались Листомэры, а *старый плутяга* только затем и поспешил разыскать свою шляпу и палку, чтобы услышать просьбу на ушко: «Останьтесь, нам надо поговорить!»

Скорое возвращение барона, его напускное самодовольство, не вязавшееся, однако, с озабоченностью, проступавшей в иные минуты на его лице, внушили г-ну де Бурбонну смутное подозрение, что моряк, действуя против Гамар и Трубера, встретил препятствия в своем рейсе. Старый помещик ничуть не удивился, когда барон сообщил о тайной власти главного викария, члена конгрегации.

— Я об этом знал,— сказал он.

— Как! — вскричала баронесса.— И вы нас не предупредили!

— Сударыня,— возразил тот с живостью,— позабудьте, что я догадался о тайном влиянии этого священника, и я забуду, что вы также об этом знаете. Если мы не будем скрывать нашу осведомленность, мы прослывем его сообщниками; нас начнут опасаться и ненавидеть. Делайте, как я,— притворяйтесь недогадливой, а сами на каждом шагу помните об опасности; я вам достаточно намекал, вы не желали меня понять, а я боялся себе повредить.

— Но как нам выпутаться из этого дела? — воскликнул барон.

Вопрос был не в том, покинуть ли аббата Бирото,— это само собой подразумевалось всеми тремя участниками совещания.

— Искуснейшие полководцы всегда умели отступать

с достоинством,— ответил г-н де Бурбонн.— Подчинитесь Труберу; если тщеславие в нем сильнее ненависти, он станет вашим союзником. Но подчиняйтесь ему до известного предела — иначе он наступит вам на горло, согласно изречению Буало: «Уничтожай дотла — так поступает церковь!» Прикиньтесь, барон, что оставляете службу, таким образом вы ускользнете от Трубера. А вы, сударыня, расстаньтесь с викарием, пусть Гамар возьмет верх. Когда будете у архиепископа, спросите Трубера, играет ли он в вист,— он ответит утвердительно. Пригласите его к себе на партию виста; ему так хочется бывать у вас, он, конечно, придет. Вы — женщина, сумейте привлечь его на свою сторону. Когда же барон станет капитаном первого ранга, дядя его — пэром Франции, Трубер — епископом, тогда вы преспокойно сделаете Бирото каноником. А до тех пор подчиняйтесь, но подчиняйтесь, сохраняя достоинство и как бы угрожая. Ваше семейство может оказать Труберу не меньшую поддержку, чем он вам. Вы прекрасно поладите. А вы, моряк, плавайте поосторожней и не пренебрегайте лотом!

— Бедняжка Бирото! — вымолвила баронесса.

— О, образумьте его как можно скорей! — ответил помещик, направляясь к выходу.— Если какой-нибудь ловкий либерал завладеет этой пустой башкой, вы увидите от Бирото немало огорчений. Возможно, что суд выскажется в его пользу, так что Трубер, я думаю, побаивается приговора. Он может еще простить вам то, что вы начали враждебные действия, но, потерпев от вас поражение, он станет неумолим. Я все сказал.

Он защелкнул табакерку, надел кожаные калоши и ушел.

На следующее утро, после завтрака, баронесса, оставшись наедине с викарием, сказала ему с заметным смущением:

— Дорогой Бирото, вы, конечно, сочтете меня несправедливой и непоследовательной, но я прошу вас ради нашего общего блага, во-первых, отказаться от иска к мадемуазель Гамар и, во-вторых, выехать из моего дома.

Бедняга Бирото побледнел. Она же продолжала:

— Я неумышленно стала причиной вашего несчастья,— я знаю, если бы не мой племянник, вы не нача-

ли бы этой тяжбы, на беду и себе самому и всем нам. Я сейчас вам все расскажу.

И она объяснила ему вкратце, какой размах приняло дело и как важны его последствия. За ночь она поразмыслила над всем поведением Трубера и о многом стала догадываться, так что была в состоянии безошибочно разъяснить Бирото, как опутывала его эта ловко подготовленная месть, рассказать о проницательности и силе его врага, раскрыть всю его ненависть, поведать о ее причинах, представить ему, как Трубер пресмыкался перед Шаплу целых двенадцать лет, а теперь пожирает, изничтожает этого Шаплу в лице его друга.

Простодушный Бирото сложил ладони словно для молитвы и заплакал от огорчения, услыхав о таких мерзких делах, о которых его чистое сердце и не подозревало.

Чувствуя себя будто на краю какой-то пропасти, Бирото молча слушал, уставившись мокрыми от слез глазами на свою благодетельницу, которая в заключение сказала ему:

— Я знаю, как дурно вас покидать, но, дорогой аббат, семейные обязанности стоят выше дружеских. Склонитесь перед грозой, как это делаю я, и я докажу вам впоследствии свою признательность. Что касается ваших житейских дел, я ими займусь. У вас не будет забот о куске хлеба. Через посредство г-на де Бурбонна, который сумеет соблюсти осторожность, я устрою так, чтобы вы ни в чем не терпели недостатка. Дорогой друг, позвольте мне предать вас! Я подчинюсь необходимости, но моя привязанность к вам останется неизменной. Решайте!

Несчастный аббат, потрясенный до глубины души, воскликнул:

— Значит, прав был Шаплу, говоря, что Трубер, если бы только мог, и в могиле не оставил бы его в покое! И он-то спит в постели Шаплу!

— Теперь не до сетований,— заметила г-жа де Листомэр.— Время не терпит! Решайте.

Доброе сердце Бирото не могло не последовать в такой переломный момент непосредственному порыву преданности. Да и жизнь его была теперь лишь медленным умиранием. Он сказал, бросив своей покровительни-

це полный отчаяния взгляд, от которого дрогнуло ее сердце:

— Я отдаю себя в ваши руки. Я уже всего лишь труха, *трушинка*, упавшая на мостовую.

Это туренское словцо не имеет равнозначного, кроме слова «соломинка». Но бывают красивые соломинки, желтые, гладкие, блестящие — их подбирают дети, тогда как *трушинка* обозначает соломинку бесцветную, серую, грязную, валявшуюся по канавам, гонимую ветром, измятую ногами прохожих.

— Но только, сударыня, мне не хотелось бы оставлять аббату Труберу портрет Шаплу, сделанный для меня. Он — мой. Добейтесь, чтобы мне его вернули, от остального я отказываюсь.

— Хорошо,— ответила г-жа де Листомэр,— я зайду к мадемуазель Гамар.

Тон этих слов выдавал, какое усилие сделала над собой г-жа де Листомэр, решаясь унизиться до того, чтобы потешить тщеславие старой девы.

— Я постараюсь все уладить,— добавила она,— хотя не смею даже надеяться. Ступайте к господину де Бурбонну, пусть он напишет в должной форме бумагу о вашем отказе от иска. Принесите мне документ, а затем, с помощью его высокопреосвященства архиепископа, нам удастся, быть может, совсем замять ваше дело.

Бирото ушел, охваченный ужасом. Трубер вырос в его глазах до размеров египетской пирамиды. Руки этого человека орудовали и в Париже и в соборе св. Гатиана.

«Что же это такое?—вертелось в мозгу Бирото.—Он, и вдруг помешает господину маркизу де Листомэру стать пэром! *И, быть может, с помощью его высокопреосвященства удастся дело замять!*»

Перед лицом столь крупных интересов Бирото чувствовал себя какой-то мошкой. Он признавал свою вину.

Известие о переезде Бирото удивило всех, тем более что причина его была неясна. Г-жа де Листомэр говорила, что ей понадобилось помещение викария, чтобы расширить свою квартиру, ввиду женитьбы племянника, уходящего со службы. Никто еще не знал об отказе Бирото от иска. Таким образом, наставления г-на де Бурбонна были в точности соблюдены.

Эти две новости, дойдя до ушей главного викария, должны были польстить его самолюбию, доказывая ему, что семья де Листомэров если еще и не сдалась, то по крайней мере держалась нейтрально и молчаливо признавала тайную власть конгрегации. А признание не было ли в какой-то мере и подчинением? Но дело все же подлежало судебному разбирательству. Не означало ли это одновременно и уступку и угрозу?

Итак, Листомэры заняли в борьбе положение, подобное тому, какое занимал главный викарий: они держались в стороне и могли всем руководить.

Но произошло важное событие, еще более затруднившее успех планов, намеченных г-ном де Бурбонном и Листомэрами для умиротворения лагеря Гамар и Трубера: мадемуазель Гамар простудилась, возвращаясь из собора, слегла и была, как говорили, тяжело больна.

В знак сочувствия весь город огласился притворными сетованиями: «Чувствительность мадемуазель Гамар не вынесла этой скандальной тяжбы!», «Она во всем права, и она же умирает от огорчения!», «Бирото убивает свою благодетельницу!»

Такого рода фразы разносились повсюду капиллярами великого тайного собрания женщин и сочувственно повторялись всем городом.

Госпожа де Листомэр испытала напрасное унижение, нанеся визит старой деве: она ничего не добилась.

Она очень вежливо спросила, нельзя ли переговорить с главным викарием. Аббат Трубер, очевидно, весьма польщенный визитом знатной дамы, которая им пренебрегала, и радуясь, что он может принять ее в библиотеке Шаплу, у камина, над которым висели пресловутые ценные картины,— заставил баронессу подождать некоторое время, затем соблаговолил дать ей аудиенцию.

Ни один придворный или дипломат, защищая свои собственные интересы или ведя переговоры государственного значения, не проявил бы больше ловкости, скрытности, изворотливости, чем аббат и баронесса, оказавшись друг против друга.

Подобно средневековому пестуну, который, готовя рыцаря к турниру, заботился о его вооружении и поддерживал его своими советами, *старый плутяга* предупреждал баронессу:

— Не забывайте своей роли: вы — примирительница, а не заинтересованное лицо; Трубер тоже всего лишь посредник. Взвешивайте свои слова, следите за колебаниями голоса у главного викария. Если он погладит свой подбородок,— значит, вы пленили его.

Некоторые рисовальщики забавлялись, изображая в карикатуре контраст, нередко существующий между *тем, что говорят*, и *тем, что думают*. И здесь, для правильного понимания смысла словесной дуэли между священником и светской дамой, необходимо разоблачить мысли, которые они прятали друг от друга под незначительными с виду фразами.

Госпожа де Листомэр прежде всего высказала огорчение по поводу судебного дела Бирото, затем выразила пожелание, чтобы оно было прекращено без ущерба для обеих сторон.

— Зло уже совершено,— сурово ответил аббат,— добродетельная мадемуазель Гамар умирает. *(Эта безмозглая старая дева интересует меня не больше, чем китайский богдыхан,— думал он,—но я не прочь взвалить ее смерть на вас и встревожить вашу совесть, раз вы настолько глупы, чтобы тревожиться из-за таких пустяков.)*

— Узнав о ее болезни, сударь,— продолжала баронесса,— я потребовала, чтоб господин викарий отказался от иска, и вот я принесла этот документ нашей праведнице. *(Я тебя вижу насквозь, хитрая шельма. Но теперь нам не страшна твоя клевета. А вот если ты возьмешь документ, ты попался, ты признаешься в своем соучастии.)*

С минуту длилось молчание.

— Мирские дела мадемуазель Гамар меня не касаются,— ответил наконец Трубер, опуская тяжелые веки на орлиные глаза, чтобы скрыть свое волнение. *(Эге! Я не попадусь на ваши уловки! Однако слава богу! Проклятые адвокаты перестанут заниматься этим делом, которое могло бы меня запятнать! Но что нужно этим Листомэрам, чего ради они так заискивают передо мной?)*

— Сударь, дела господина Бирото мне настолько же безразличны, как вам — интересы мадемуазель Гамар. Но, к сожалению, религия может пострадать от их раздо-

ров; в вас я вижу не более чем посредника, а сама выступаю как примирительница... *(Мы с вами не проведем друг друга. Чувствуете ли вы, уважаемый Трубер, всю соль моего ответа?)*

— Религия пострадает, сударыня? — переспросил главный викарий.— Религия стоит слишком высоко, чтобы люди имели возможность ее задеть. *(Религия — это я.)* Бог все рассудит, я признаю лишь его суд.

— Ну что ж,— ответила она,— постараемся согласовать решение людей с божьим приговором. *(Да, религия — это ты.)*

Аббат Трубер вдруг переменил тон:

— Ваш племянник, кажется, побывал в Париже? *(Вы там узнали кое-что новенькое; да я могу раздавить вас,— вас, презиравших меня; вы готовы сдаться!)*

— Да, сударь, спасибо за ваше внимание к нему; сегодня вечером он возвращается в Париж по вызову министра, который очень хорошо к нам относится и не хочет, чтобы барон оставлял службу. *(Нет, иезуит, ты нас не раздавишь, и тайная твоя насмешка мною понята.)*

Молчание.

— Я не одобряю его поведения в этом деле,— снова заговорила она,— но следует простить моряку неосведомленность в правовых вопросах. *(Заключим союз. Воюя друг против друга, мы ничего не выиграем.)*

Слабая улыбка, мелькнув на лице аббата, затерялась в морщинах.

— Он оказал нам услугу, уяснив нам ценность этих двух произведений искусства,— сказал Трубер, бросив взгляд на картины.— Они будут прекрасным украшением для часовни Пресвятой девы. *(Вы съязвили на мой счет, вот вам в ответ: мы квиты.)*

— Если вы пожертвуете их собору, я попрошу у вас разрешения принести в дар церкви рамы, достойные как этих полотен, так и самой часовни... *(Хорошо бы заставить тебя признаться, что ты зарился на обстановку Бирото!)*

— Они мне не принадлежат,— ответил священник, по-прежнему держась настороже.

— Но вот документ, который кладет конец всей распре и признает их принадлежность мадемуазель Гамар.— С этими словами она положила документ на

стол. *(Оцените же мое доверие к вам.)* —Сударь,— добавила она,— сделайте доброе дело, достойное вас, достойное вашего благородного характера, примирите этих двух христиан; хотя Бирото мало занимает меня в данный момент...

— Однако он живет у вас,— прервал ее аббат.

— Нет, сударь,— ответила она,— его у меня уже нет. *(Ради пэрства моего шурина и повышения в чине племянника я вынуждена пойти на всякие подлости.)*

Невозмутимость не покидала аббата, но именно такое полное спокойствие было у него признаком сильного волнения. Только один г-н де Бурбонн сумел разгадать тайну этой кажущейся невозмутимости. Священник торжествовал.

— Зачем же вы берете на себя его поручения? — спросил он, возбуждаемый тем же чувством, которое подстрекает женщин все снова и снова напрашиваться на комплимент.

— Только из сострадания. Вы знаете, конечно, какой у него нерешительный характер,— и вот он попросил, чтоб я пошла к мадемуазель Гамар и ценой его отказа...

Священник нахмурил брови.

— ...от своих прав, признанных выдающимися адвокатами, добилась от нее портрета...

Трубер взглянул на нее в упор.

— ...портрета Шаплу,— договорила она.— Я оставляю его просьбу на ваше усмотрение. *(Тебе плохо пришлось бы, если бы ты вздумал судиться.)*

Когда она упомянула о «выдающихся адвокатах», Трубер понял, что ей известны уязвимые места противника.

В этой беседе, которая велась еще долго в том же духе, г-жа де Листомэр выказала столько ума и находчивости, что умный аббат, оценив их по достоинству, согласился наконец переговорить с мадемуазель Гамар о примирении.

Вскоре он вернулся.

— Сударыня, передаю вам слова нашей бедной умирающей: «Аббат Шаплу был так добр ко мне, и я не могу расстаться с его портретом». Что касается меня— будь этот портрет моим, я не уступил бы его никому. Чувство мое к дорогому покойнику неизменно. И, пола-

гаю, именно я, больше чем кто бы то ни было, вправе владеть его изображением.

— Сударь, не стоит ссориться из-за плохого портрета. *(Наплевать мне на него так же, как и тебе.)* Пусть он останется у вас, а мы закажем с него копию. Я поздравляю себя с тем, что замяла это злополучное дело и имела удовольствие познакомиться с вами. Я слышала, что вы мастерски играете в вист. Женщине простительно быть любопытной,— добавила она, улыбаясь.— Можете не сомневаться, что если вы придете когда-нибудь ко мне поиграть, вам будет оказан самый радушный прием.

Трубер погладил рукой подбородок.

«Я его завоевала,— подумала она,— Бурбонн был прав, в нем есть-таки доля тщеславия!»

В самом деле, главный викарий переживал в этот момент восхитительное ощущение, изведанное в свое время и Мирабо, увидевшего в дни своей славы, как распахивались перед его экипажем ворота особняка, ранее закрытые для него.

— Сударыня,— ответил он,— мои занятия мешают мне бывать в свете, но чего не сделаешь для вас? *(Старая дева подохнет, я возьмусь за Листомэров и услужу им, если они мне услужат; с ними лучше дружить, чем враждовать.)*

Госпожа де Листомэр вернулась домой в надежде, что архиепископ завершит дело примирения, столь счастливо начатое.

Но Бирото не суждено было дождаться плодов своей уступчивости. Г-жа де Листомэр узнала на другой день о кончине мадемуазель Гамар. Когда ее завещание было вскрыто, никого не удивило, что она назначила аббата Трубера своим единственным наследником. Ее имущество было оценено в триста тысяч франков. Главный викарий послал г-же де Листомэр два пригласительных билета на заупокойную службу и похороны: один — для самой баронессы, другой — для ее племянника.

— Придется пойти,— сказала она.

— Это, конечно, не что иное, как испытание! — воскликнул г-н де Бурбонн,— монсиньор Трубер хочет проверить вас... Смотрите же, барон, проводите покойницу

до самого кладбища,— обратился он к лейтенанту, который, к своему несчастью, еще не успел уехать.

Отпевание отличалось небывалой пышностью; но оплакивал покойницу только один человек — никем не замечаемый Бирото, который, уединясь в отдаленном притворе, искренне молился за упокой ее души и, считая себя виновным в ее кончине, горько сокрушался о том, что не попросил у нее прощения за свой проступок.

Аббат Трубер провожал тело своей духовной дочери до могилы. На краю ямы он произнес надгробное слово и с присущим ему красноречием создал из убогой жизни новопреставленной поистине величественную картину. Присутствующие обратили внимание на заключительную часть.

«Жизнь эта, обильная днями, посвященными богу и религии, жизнь, украшенная многими высокими деяниями, свершаемыми втайне, многими смиренными и сокровенными добродетелями, была разбита страданием, которое мы назвали бы незаслуженным, если бы у порога вечности не обязаны были помнить, что все наши печали ниспосланы нам самим господом. Многочисленные друзья этой благочестивой девицы, зная благородство и чистоту ее души, предвидели, что она способна вынести все, кроме подозрений, позорящих ее жизнь. Быть может, всеблагой промысел затем и призвал ее в лоно господа нашего, дабы избавить от юдоли страданий. Благословенны сохраняющие здесь, на земле, душевный покой, подобно тому, как девица София покоится ныне в блаженных селениях, облеченная в одеяние невинности...»

— Теперь вы представьте себе,— продолжал г-н де Бурбонн, сообщавший о подробностях погребения г-же де Листомэр, когда были сыграны все партии, закрыты двери и с хозяйкой дома остались только он сам да барон,— представьте себе, как этот Людовик Одиннадцатый в сутане, окончив свою пышную речь, делает последний взмах кропилом — вот так вот! — и г-н де Бурбонн, взяв каминные щипцы, настолько живо воспроизвел жест аббата Трубера, что барон и его тетка невольно улыбнулись.— Он выдал себя только тут,— продолжал старый помещик.— До этого его поведение было безупречным. Но, законопачивая на веки вечные старую

деву, которую он презирал до глубины души, а уж ненавидел, вероятно, не менее, чем аббата Шаплу, ему, конечно, трудно было подавить свое ликование: оно прорвалось наружу.

Мадемуазель Саломон, придя на следующее утро завтракать к г-же де Листомэр, взволнованно сообщила:

— Нашему бедному аббату Бирото нанесен удар, в котором чувствуется тщательно обдуманный план мщения. Он назначен приходским священником в Сен-Сенфорьен.

Сен-Сенфорьен — пригород Тура, расположенный за мостом. Этот мост, длиной в тысячу девятьсот футов,— один из лучших памятников французской архитектуры; у обоих его концов раскинулись совершенно одинаковые площади.

— Вы понимаете?..— спросила она после паузы, удивленная равнодушием, с каким г-жа де Листомэр приняла эту новость.— Он будет там словно за сто миль от Тура, от своих друзей, от всего, к чему привык... И хуже всего то, что, оторванный от родного города, он будет его видеть, но только издалека! После всех потрясений он еле волочит ноги, а ему пришлось бы пройти целую милю, чтобы нас повидать! Сейчас у бедняги жар, он в постели. Церковный дом там — холодный и сырой, а приход небогат и не может его отеплить. Наш бедный старик будет словно замурован в склепе. Как все это жестоко!

Чтобы закончить наше повествование, нам только остается сообщить о кое-каких событиях и набросать последнюю картину.

Спустя полгода главный викарий был посвящен в епископы. Г-жа де Листомэр скончалась, оставив аббату Бирото по завещанию тысячу пятьсот франков ежегодного дохода. Завещание баронессы стало известно, когда его преосвященство Гиацинт, новопосвященный епископ города Труа, готов был уже покинуть Тур, отправляясь в свою епархию. Но он отложил свой отъезд. Взбешенный тем, что женщина, которой он протянул руку, его перехитрила и тайно поддерживала человека, бывшего, как он считал, его врагом, Трубер вновь ополчился против де Листомэров. На собрании в гостиной архиепископа он бросил по их адресу одно из тех пастырских

изречений, в которых под медоточивой кротостью таится смертоносный яд, и тем поставил под угрозу мечту дядюшки о звании пэра и мечту племянника о повышении в чине.

Честолюбивый капитан навестил непримиримого священника, который, очевидно, предъявил ему суровые условия, ибо дальнейшее поведение барона доказало его полную покорность страшному члену конгрегации.

Дом мадемуазель Гамар новый епископ особой дарственной записью передал соборному капитулу, библиотеку Шаплу подарил духовной семинарии, обе картины принес в дар церкви для часовни пресвятой девы, но портрет Шаплу оставил у себя. Никто не мог понять причины этого отказа от наследства мадемуазель Гамар. Г-н де Бурбонн предположил, что епископ тайно сохранил часть его наличными деньгами, чтобы с достоинством поддерживать свое положение в Париже, если бы ему пришлось занять место на скамье епископов в Верхней палате.

Лишь перед самым отъездом епископа *старый плутяга* догадался о конечной цели этого поступка, о смертельном ударе, который упорнейшая мстительность наносила слабейшей жертве.

Права Бирото на наследство г-жи де Листомэр были оспорены бароном де Листомэром под предлогом недобросовестного воздействия аббата на волю завещательницы. А через несколько дней после возбуждения дела барон был произведен в капитаны первого ранга. В качестве дисциплинарной меры викарию церкви Сен-Сенфорьена было запрещено совершать богослужение. Церковные власти предрешили постановление суда:

— Убийца Софии Гамар — к тому же еще и мошенник!

Сохранив наследство мадемуазель Гамар, Труберу было бы трудно добиться наказания для Бирото.

Когда монсиньор Гиацинт, епископ города Труа, отправляясь в Париж, проезжал в почтовой карете по набережной Сен-Сенфорьена, больной аббат Бирото был вынесен в кресле на открытую площадку, на солнышко. Несчастный священник, на которого возложил кару архиепископ, исхудал и побледнел. Скорбное выражение до неузнаваемости изменило весь его облик, когда-то

столь приветливый и ласковый. В глубоко запавших от болезни глазах — некогда простодушно-веселых глазах человека, любящего хорошо поесть и не утруждающего себя тяжелым раздумьем,— появился как бы проблеск мысли; это был лишь остов прежнего Бирото, пустого, но довольного жизнью, который только год тому назад катился шариком по Монастырской площади.

Епископ бросил на свою жертву взгляд, полный презрительной жалости, затем соблаговолил забыть о нем и проехал мимо.

В другие времена Трубер несомненно стал бы каким-нибудь Гильдебрандом или Александром VI. Ныне же церковь утратила политическое могущество и не даст выхода для жизненных сил человека, обреченного на одинокое существование. Ведь безбрачие порочно тем, что сосредоточивает все помыслы и чувства человека на собственном я, развивает в нем эгоизм и, следовательно, превращает холостяков в людей бесполезных и даже вредных для общества.

В нашу эпоху правительства совершают ошибку, заставляя не общественный строй служить человеку, а человека — общественному строю. Индивидуум постоянно борется с системой, которая его эксплуатирует, меж тем как он стремится эксплуатировать ее в своих интересах; а прежде человек, располагавший большею свободой, относился с бо́льшим воодушевлением и к общественному благу. Сфера возможного применения человеческой деятельности постепенно увеличилась; ум, который способен был бы охватить ее в целом, представлял бы собою блистательное исключение. В мире духовном действует тот же закон, что и в мире физическом: движение теряет в своей напряженности столько, сколько выигрывает в широте охвата; нельзя основывать общество на исключениях.

В начале исторического развития общества мужчина был всего лишь отцом, и сердце его горячо билось для семейного круга. В дальнейшем он отдавал свои силы клану или небольшой республике. Отсюда ведут начало великие исторические подвиги Греции и Рима. Затем он становился членом замкнутой касты или приверженцем какой-либо религии, для возвеличения которых он был способен на высокий героизм. Здесь сфера его духовных

запросов расширяется множеством интеллектуальных интересов.

Ныне жизнь каждого человека связана с жизнью огромной страны; предполагают, что вскоре его семьей станет весь мир. Но этот духовный космополитизм — мечта христианского Рима — не окажется ли только лишь величественной ошибкой? Так естественно верить в осуществление благородной химеры, в братство людей! Но увы! Человеческая машина не рассчитана на столь грандиозный размах. У заурядного человека, отца семейства, нет такой широты души, чтобы вместить мир чувств и мыслей, волнующих великих людей.

Некоторые физиологи полагают, что когда мозг человека развивается, сердце его должно суживаться. Это заблуждение! Напротив, кажущийся эгоизм людей, вынашивающих в себе научные открытия, судьбы народов и законы, не представляет ли собою самое благородное из людских чувств — чувство материнства, обращенное на народные массы?

Чтобы пробуждать к жизни новые народы или создавать новые идеи, могучий мозг таких людей должен обладать одновременно животворной щедростью, подобно материнской груди, и мощью самого бога. Ведь Петр Великий и другие преобразователи и вершители судеб человеческих, а в церковном мире папа Иннокентий III — это, в своих высочайших сферах, носители той же силы ума, какую в зародыше представлял Трубер, каноник собора св. Гатиана.

Сен-Фирмен, апрель 1832 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЖИЗНИ

Повесть «Первые шаги в жизни» (Un début dans la vie), или «Молодые люди», как ее сначала предполагал назвать Бальзак, написана в 1842 году; в посвящении автор указывает, что сюжет был ему предложен сестрой, Лорой де Сюрвиль.

Впервые повесть, разбитая на главы, печаталась под названием «Опасность мистификаций» в газете «Лежислатюр» с 26 июля по 4 сентября 1842 года. В 1844 году это произведение вышло отдельным изданием в двух томах (с приложением повести «Мнимая любовница») и получило новое название — «Первые шаги в жизни».

В 1845 году Бальзак включил повесть в первое издание «Человеческой комедии», где она заняла место в разделе «Сцен частной жизни»; деление на главы было упразднено, и впервые появилось посвящение.

Более тридцати персонажей, проходящих перед читателем в этой повести, встречаются и в других произведениях «Человеческой комедии». Любопытно, что Лора де Сюрвиль и сама разработала этот сюжет в рассказе «Поездка в «кукушке», вошедшем в ее книгу «Друг домашнего очага» (1854).

Стр. 5. *Лора Бальзак*, в замужестве де Ля-Гренре-Сюрвиль (1800—1871) — сестра писателя, большой его друг, автор одной из первых биографий Бальзака — «Бальзак, жизнь и творчество по его переписке» (1856).

«Кукушка» — во времена Бальзака небольшая карета на двух высоких колесах на пять — шесть мест, курсировавшая в окрестностях Парижа.

Стр. 19. *Провинциальный парламент.*— До революции 1789—1794 годов парламентами во Франции назывались высшие суды, на которые возлагались и некоторые административные функции. В стране было двенадцать парламентов.

В период Директории (1795—1799) Конвент уступил место Законодательному корпусу, состоявшему из двух палат: Совета старейшин и Совета пятисот.

18 брюмера.— 18—19 брюмера VIII года (9—10 ноября 1799 года) произошел государственный переворот, власть была передана трем консулам. Первым консулом и фактическим правителем Франции стал Наполеон Бонапарт.

Стр. 20. *Государственный министр.*— Так до революции 1789—1794 годов и при Реставрации назывались лица, облеченные личным доверием короля и являвшиеся членами кабинета министров «без портфеля». Звание это было пожизненным.

Гент — город в Бельгии, куда во время Ста дней (1815 год) бежали король Людовик XVIII и его приближенные.

Стр. 29. *«Курье франсе»* — газета, основанная в 1819 году, орган «доктринеров» и умеренных либералов.

Стр. 33. *...письма оплачивает каждый раз...*— До введения во Франции почтовых марок (1849) плата за пересылку почтовых отправлений взималась с адресата при получении каждого письма или же в конце месяца.

Стр. 34. *...связью с одним из пяти калифов на час...*— то есть с одним из пяти членов Директории, правившей Францией в 1795—1799 годах.

Аспазия (V в. до н. э.) — возлюбленная вождя афинской демократии Перикла, славившаяся своей красотой.

Стр. 41. *Вантюр и Бакль.*— Руссо в «Исповеди» (ч. 1, кн. 3 и 5) рассказывает о своем юношеском увлечении этими ничем не примечательными людьми.

«В том вина Вольтера, в том вина Руссо».— В пастырском послании парижскнх викариев по случаю поста (1817) содержался выпад против сочинений Вольтера и Руссо. Откликом на это послание явилась песенка Беранже «Послание парижских викариев». Бальзак цитирует припев этой песенки, которая была очень популярна.

Стр. 50. *Этьен* — то есть Этьен Гийом (1777—1845) — известный в свое время французский драматург и журналист.

Поля убежища — колония на берегу Мексиканского залива, основанная во время Реставрации французскими эмигрантами-бонапартистами. Колония вскоре распалась.

Стр. 51. *Али-паша Янинский*, или Тепеленский (1741—1822) — албанский феодал, правивший Албанией, Эпиром и Мореей. Столицей его государства была Янина (в Эпире). Вел борьбу с Турцией, но потерпел поражение и был казнен.

Кампания 1813 года — то есть военные действия Франции против шестой коалиции. В битве под Лейпцигом (16—19 октября) армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение.

Монтеро — селение во Франции, где в 1814 году Наполеон одержал победу над войсками союзников.

Стр. 53. *Сельв*, Жан-Батист (1760—1823) — французский юрист и политический деятель. *Бессон* (1782—1837) — французский морской офицер; в 1815 году, после вторичного отречения Наполеона, предлагал императору бежать; в 1821 году уехал в Египет и впоследствии получил там чин адмирала. *Мехмед-паша*

(Мухаммед-Али) (1769—1849) — правитель Египта, вел борьбу с Турцией, стремясь освободиться от вассальной зависимости.

Стр. 54. *Кара-Георгий* (Георгий Петрович Черный. 1752—1817) — вождь сербов в их борьбе за независимость от Турции; в 1808 году признан сербским князем; в 1813 году турки вновь захватили освободившиеся из-под их гнета сербские земли, Кара-Георгий бежал в Австрию; в 1817 году он возвратился в Сербию, но был предательски убит.

Порта, или Оттоманская Порта,— официальное наименование правительства султанской Турции.

Бунчужный паша.— Так в Турции назывался сановник, получивший от султана знак власти (бунчук).

«Хижина» — увеселительное заведение в Париже с прилегающим к нему парком.

Стр. 55. *...получил первую премию* — Первая премия Академии художеств давала право на поездку в Италию.

Стр. 56. *Берси* — село под Парижем, слившееся с городом еще в середине XIX века; здесь были расположены большие винные склады.

Стр. 57. *Хозрев-паша* — турецкий политический деятель первой половины XIX века. В 1804 году стал пашой Египта, но в 1806 году Мехмед-паша поднял против него мятеж и заставил его отказаться от власти.

Стр. 58. *Чауш* — судебный пристав в Турции.

Стр. 59. *Эпос-и-Мина*, Франциско (1782—1836) — испанский патриот, республиканец, генерал, видный участник национально-освободительной войны испанцев против Наполеона и один из руководителей испанской революции 1820—1823 годов, командовал испанскими частями, сражавшимися против французских войск, посланных в 1823 году Людовиком XVIII для подавления революции и восстановления абсолютистской власти короля Фердинанда VII.

Стр. 64. *Ускок.*— Так называли сербов, покинувших родину во время турецкого ига. По-сербски ускок значит «беженец».

Стр. 66. *Диафуарюс* — врачи (отец и сын) из комедии Мольера «Мнимый больной»; это имя стало нарицательным для обозначения невежественного и самодовольного доктора.

Стр. 78. *Алибер* — придворный врач Людовика XVIII, автор трактата по дерматологии.

...чтобы король к нему прикоснулся.— В старину во Франции существовало поверье, что прикосновение короля исцеляет от любой болезни.

Арнольф — герой комедии Мольера «Школа жен».

Стр. 85. *Бодары, Парисы, Буре* — крупные финансисты и откупщики XVIII века.

Стр. 91. *...как Мольер советовался с Лафоре...*— Лафоре — служанка Мольера, которой драматург обыкновенно читал свои пьесы, прежде чем поставить их в театре.

Стр. 111. *Режим максимума.*— Имеется в виду закон о предельных твердых ценах на продукты питания и другие товары, принятый якобинским Конвентом в 1793 году в целях борьбы со спекулянтами.

Стр. 112. *Пребендарий* — духовное лицо, получающее определенный доход из церковной или монастырской кассы.

Жеронт — комический персонаж старинных французских комедий, недалекий, упрямый, скупой и легковерный старик.

Тюркаре — герой одноименной комедии Лесажа (1709), разбогатевший откупщик.

Стр. 113. *«Конституционель»* — умеренно-либеральная, антиклерикальная газета; в эпоху Реставрации — орган буржуазной оппозиции.

...интересовался «отказами в погребении».— Во время Реставрации кладбища находились в ведении церкви, которая отказывала в отпевании самоубийцам, дуэлянтам, святотатцам, отлученным и т. п. Таких покойников нельзя было хоронить в пределах кладбища.

Пирон, Вадэ, Колле — французские поэты XVIII века, представители так называемой фривольной поэзии.

Лизетта — героиня многих песенок Беранже.

Стр. 128. *Тальма́*, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский трагический актер; «Британник» — трагедия Ж. Расина.

Стр. 129. *Божественная Бутылка*.— Об оракуле «Божественной Бутылки» рассказывается в 5-й книге романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (XVI век).

Стр. 135. *Вестрис*, Огюст — известный танцовщик, артист Парижской оперы.

Стр. 140. *Дочь Якова II*.— Речь идет о Марии, жене Вильгельма III Оранского. В 1688 году Вильгельм III Оранский и его жена Мария были призваны в Англию во время так называемой Второй английской революции, чтобы заменить Якова II, восстановившего против себя все население Англии.

Стр. 141. *...должны были осуществиться в 1830 году...*— то есть во время Июльской буржуазной революции 1830 года.

Стр. 143. *Армида* — героиня поэмы итальянского поэта XVI века Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», владелица сказочно прекрасного дворца и садов.

Кипсек — роскошный альбом с гравюрами и рисунками, изображающими главным образом женские головки.

Стр. 157. *Лафайет*, Мари-Жозеф (1757—1834) — французский генерал и политический деятель. Во время Июльской революции 1830 года способствовал воцарению Луи-Филиппа Орлеанского, командовал национальной гвардией.

Макта — река в Алжире. В июне 1835 года в битве при Мактe арабы разгромили французскую армию.

Стр. 158. *...одной из жертв покушения Фиески...*— Фиески — корсиканец, бывший солдат наполеоновской армии, бросивший бомбу в короля Луи-Филиппа 28 июля 1835 года на бульваре Тампль. Более пятидесяти человек было убито и ранено, но король остался невредим.

Стр. 166. *«Золотая середина»* — выражение, впервые употребленное применительно к политике Шарлем де Монтескьё (1689—1755). В эпоху Июльской монархии (1830—1848) принцип «золотой середины» был провозглашен королем Луи-Филиппом и стал политическим идеалом французской буржуазии.

МОДЕСТА МИНЬОН

Роман «Модеста Миньон» был первоначально опубликован в виде фельетонов в 1844 году в газете «Журналь де Деба»: 4—18 апреля (первая часть), 17—31 мая (вторая часть) и 5—21 июля (третья часть). В том же году роман был выпущен отдельным четырехтомным изданием под названием «Модеста Миньон, или Трое влюбленных». В этом издании произведение состояло из 75 небольших глав. В 1845 году Бальзак включил «Модесту Миньон» в IV том «Сцен частной жизни» первого издания «Человеческой комедии».

История возникновения романа такова: в феврале 1844 года будущая жена Бальзака Эвелина Ганская, с которой он состоял в переписке, сообщила писателю о том, что она написала новеллу, которую затем уничтожила; в этом же письме Ганская пересказала Бальзаку ее сюжет. Первого марта 1844 года Бальзак писал Ганской:

«Ваша новелла так мила, что Вы доставили бы мне огромное удовольствие, если бы согласились написать ее вновь и прислать мне. Я ее исправлю и опубликую под своим именем... Надо будет описать сначала обыденную жизнь провинциальной семьи, в которой растет экзальтированная и романтичная девушка; затем, с помощью переписки, следует перейти к характеристике одного из парижских поэтов. Друг поэта, который будет продолжать переписку, должен быть одним из тех умных людей, которые обычно являются спутниками таланта... Сделайте же это».

Две недели спустя, 17 марта 1844 года, Бальзак сообщил Ганской (которая так и не решилась написать новеллу): «Я — на шестидесятой странице «Модесты Миньон». А еще через неделю, 23 марта, он снова писал ей: «Мне осталось несколько страниц, чтобы окончить «Модесту Миньон». Бальзак имел в виду первую часть романа, которая начала печататься в газете «Журналь де Деба» 4 апреля 1844 года.

Некоторые ситуации романа напоминают аналогичные ситуации из жизни самого писателя: первое письмо «Иностранки» (Ганской) к нему, первая встреча Бальзака и Ганской и т. д.

Хотя роман «Модеста Миньон» и не принадлежит к числу наиболее значительных творений Бальзака, в нем имеется немало глубоких и верных наблюдений писателя-реалиста над современной ему действительностью.

В романе «Модеста Миньон», как и в ряде других своих произведений («Музей древностей», «Утраченные иллюзии» и др.), Бальзак убедительно показал, что дворянство сходит с исторической сцены во Франции, а его представители вырождаются.

История последнего отпрыска старинного дворянского рода, Шарля Миньона, который в период Империи был офицером армии Наполеона, а в начале Реставрации «...стал одновременно судохозяином, банкиром и землевладельцем», типична для Франции того времени.

Подчеркивая в романе рост буржуазных отношений, решающую роль денег, подчинение морали, нравов и семейных отношений корыстному расчету, Бальзак вкладывает в уста своей героини Модесты следующую многозначительную фразу: «Нас, французских де-

вушек, родители доставляют жениху по контракту, словно товар, «по истечении трех месяцев», а иногда в конце «текущего месяца».

В романе дано критическое изображение модного парижского поэта, одного из видных представителей романтического направления во французской поэзии — Каналиса. Бальзак показывает, что такие поэты, как Каиалис, представители реакционного романтизма, с презрением относятся к идее общественно полезного искусства. «Все, что полезно,— безобразно, отвратительно»,— говорит Каналис. Поглощенный своим тщеславием, интересуясь лишь иградами и богатством, Каналис равнодушен к настоящему страданию и горю людей.

Стр. 167. *Польке.*— Роман посвящен графине Эвелине Ганской (1800—1882), польской помещице. В феврале 1832 года Бальзак получил от Ганской письмо, подписанное «Иностранка»; с 1833 года началась регулярная переписка писателя с Ганской, которая в 1850 году стала его женой.

Стр. 168. *Стикс* — в древнегреческой мифологии одна из рек подземного царства (ада). «Потопить в водах Стикса» — в переносном смысле значит предать забвению.

Стр. 169. *...избежать вторжения Минотавра...* — Минотавр — в древнегреческой мифологии страшное чудовище, жившее в Лабиринте у царя Миноса на острове Крит. В своей «Физиологии брака» Бальзак шутливо называет Минотавром любовника.

Стр. 171. *Таинственный карлик.*— Речь идет о романе английского писателя Вальтера Скотта (1771—1832) «Черный карлик», с героем которого Модеста сравнивала Бутшу.

Стр. 178. *Ниобея* — по древнегреческой мифологии царица, оскорбившая богиню Латону, мать Аполлона и Артемиды. В наказание за это последние убили всех детей Ниобеи, которая от горя и слез превратилась в каменное изваяние.

Стр. 183. *...после девятого термидора.*— 9 термидора (27 июля 1794 года) произошел контрреволюционный переворот, после которого наступило господство крупной контрреволюционной буржуазии.

Стр. 184. *...мир, последовавший за битвой при Маренго.*— При селении Маренго в Северной Италии 14 июня 1800 года французские войска одержали победу над австрийцами. Австрия была вынуждена выйти из коалиции и заключить Люневильский мир (9 февраля 1801 года).

Стр. 186. *Дюрер, Альбрехт* (1471—1528) — крупнейший немецкий художник и гравер.

Французская кампания — военные действия 1814 года на территории Франции, куда вступили войска союзников.

Стр. 190. *...морозы погубили в 1812 году французскую армию.*— Буржуазные французские историки пытаются, вопреки историческим фактам, объяснить поражение наполеоновской армии в России морозами и голодом. В действительности причины разгрома наполеоновских войск, вторгшихся в Россию в 1812 году, заключались в патриотизме русского народа, в стойкости и высоких боевых качествах русской армии, которой командовал Кутузов, в широком размахе партизанской войны против захватчиков.

Стр. 198. *«Последний день приговоренного»* — повесть крупнейшего французского писателя-романтика Виктора Гюго (1802—1885), в которой он выступил против смертной казни.

Дюкре-Дюмениль, Франсуа-Гийом (1761—1819) — плодовитый французский писатель, автор ряда романов сентиментально-дидактического характера, которые он переделывал в драмы.

Стр. 199. *...она увлекается... графами Эгмонтами, Вертерами...* — Эгмонт — герой одноименной трагедии великого немецкого писателя Иоганна-Вольфганга Гете (1749—1832). Вертер — герой сентиментального романа Гете «Страдания юного Вертера».

Стр. 203. *«Дочь, которую не устерегли»* — название оперетты итальянского композитора Дони, впервые представленной в Париже в театре Итальянской оперы в 1758 году.

Бартоло — ревнивый и подозрительный опекун молодой девушки Розины, персонаж комедии Бомарше «Севильский цирюльник».

Стр. 208. *Ламартин*, Альфонс (1791—1869) — французский поэт, представитель реакционного романтизма, буржуазный историк и политический деятель.

Крабб, Джордж (1754—1832) — английский поэт-сентименталист, правдиво изображавший в своих поэмах и стихотворных рассказах тяжелую жизнь английского крестьянства.

Мур, Томас (1779—1852) — английский поэт (уроженец Ирландии), либеральный романтик, друг Байрона. В его лучшем произведении «Ирландские мелодии» отразилось сочувствие поэта своей порабощенной родине.

«Манон Леско», точнее, «История шевалье де Грие и Манон Леско» — роман французского писателя Антуана-Франсуа Прево д'Экзиль (1697—1763).

«Опыты» Монтэня — произведение французского писателя-моралиста и философа эпохи Возрождения Мишеля Эйкема Монтеня (1533—1592), в котором он изложил свои философские взгляды.

Фаблио — небольшие стихотворные рассказы, в которых сатирически изображались быт и нравы; наиболее популярный в средние века во Франции жанр городской литературы.

«Новая Элоиза» — сентиментальный роман Жан-Жака Руссо (1761).

Стр. 209. *Жиль Блас* — искатель приключений, герой романа французского писателя Алена-Ренэ Лесажа (1668—1747) «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны».

Пастà, Джудит (1798—1865) — известная итальянская певица, неоднократно выступавшая в Париже.— *Малибран*, Мария-Фелисите (1808—1836) — знаменитая французская певица, испанка по происхождению.— *Флорина* — вымышленное действующее лицо, парижская актриса, фигурирует в ряде произведений Бальзака («Дочь Евы», «Утраченные иллюзии» и др.).

Стр. 211. *...подобно римскому полководцу Марию...* — Марий (156—86 до н. э.) — римский военачальник и консул, противник Суллы, некоторое время скрывался от его преследования среди развалин Карфагена.

Стр. 212. *«Манфред»* (1817) — драматическая поэма знаменитого английского поэта, революционного романтика Джорджа-Гордона Байрона (1788—1824).

«Лара» — одна из так называемых «Восточных поэм» Байрона.

«...«pianto», пропетый английским поэтом устами Гюльнары».— Pianto (итал.) — жалоба. *Гюльнара* — героиня поэмы Байрона «Корсар».

Кребильон-младший, Клод-Проспер (1707—1777) — плодовитый французский писатель, автор фривольных повестей и романов из жизни дворянско-аристократического общества XVIII века.

Элиза Дрэпер — жена английского судебного чиновника в Индии, которую любил английский писатель Л. Стерн (1713—1768). Свои письма к ней он опубликовал под заглавием «Письма Йорика Элизе».

Гольдсмит, Оливер (1728—1774) — английский писатель-сентименталист, автор романа «Векфильдский священник».

Автор «Обермана» — французский писатель-романтик Этьен Пивер де Сенанкур (1770—1846).

Нодье, Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик, автор известного в первой половине XIX века романа «Жан Сбогар».

Матюрен, Чарльз-Роберт (1782—1824) — английский писатель-романтик, автор широко известного в первой половине XIX века романа «Мельмот-скиталец».

Стр. 213. *Она любовалась синей птицей...*— Синяя птица — символ верной любви, счастья. Во Франции известна сказка писательницы Мари д'Онуа (умерла в 1705 году) «Синяя птица».

Стр. 218. *Бернарден де Сен-Пьер,* Жак-Анри (1737—1814) — французский писатель, автор сентиментально-идиллического романа «Павел и Виргиния».

Дора, Жан (1508—1588) — французский поэт, один из членов поэтической школы «Плеяда».

«Ренэ»— повесть французского реакционного романтика Франсуа-Ренэ Шатобриана (1768—1848), проникнутая меланхолическим отношением к жизни.

Стр. 220. *«Рыцарь-король»* — то есть Карл X.

Стр. 221. *...Каннинг и Шатобриан... были политиками...*— Каннинг, Джордж (1770—1827) — английский государственный деятель и публицист, умеренный консерватор, дважды был министром иностранных дел Англии. Шатобриан в период Реставрации был некоторое время министром иностранных дел Франции.

Стр. 222. *Менневаль,* Клод-Франсуа — секретарь Наполеона I, опубликовавший в 1843—1845 годах свои «Воспоминания о Наполеоне и Марии-Луизе».

«Источник Иппокрены» — в древнегреческой мифологии чудесный источник, будто бы забивший на горе Геликон от удара копыта крылатого коня Пегаса; вода Иппокрены приносила вдохновение поэтам.

Стр. 223. *...при одном из министров, вынужденных уйти в отставку в 1827 году.*— Речь идет о падении министерства ультрамонархиста Виллеля, которое потерпело поражение на выборах 1827 года.

Дидона — легендарная царица Карфагена, героиня эпической поэмы «Энеида» римского поэта Вергилия (70—19 годы до н. э.).

Стр. 224. *Мармонтель,* Жан-Франсуа (1723—1799) — плодо-

витый французский писатель, подражавший Вольтеру в жанре философской повести. «Нравоучительные рассказы» и философско-просветительские романы Мармонтеля («Велизарий», «Инки») имели успех у современников.

Стр. 233. *Альцест* — герой комедии Мольера «Мизантроп», прямой и непримиримый в своих суждениях человек.

Стр. 234. *«Я... хочу искупить вину Элеоноры перед Тассо!»* — Элеонора — принцесса Элеонора д'Эсте, сестра Феррарского герцога Альфонса II, в которую, по преданию, был влюблен поэт Торквато Тассо; разгневанный этим герцог приказал посадить поэта в сумасшедший дом, где Тассо пробыл долгие годы.

Стр. 236. *Кадастр* — опись и оценка имущества, подлежащего налоговому обложению.

Стр. 240. *Ловлас* — имя героя романа английского писателя Ричардсона (1689—1761) «Кларисса, или История молодой леди». Ловлас стал нарицательным именем соблазнителя.

Стр. 242. *Готский альманах* — ежегодный генеалогический и дипломатический альманах, содержащий сведения о всех титулованных родах, издавался с 1763 года в Германии в городе Готе на немецком и французском языках.

Стр. 243. *Коринна* — актриса и поэтесса, героиня одноименного романа французской писательницы Жермены де Сталь (1766—1817), принадлежавшей к романтическому направлению.

...какая-нибудь десятая муза уводила вас... в долину, расположенную между Парнасом и Геликоном... — Древние греки считали Парнас священной горой; на его склоне находился храм, посвященный богу Аполлону (Дельфы). На вершине Парнаса будто бы обитали девять муз — богинь — покровительниц наук и искусств. Геликон — гора в Средней Греции, по верованиям древних греков, одно из местопребываний Аполлона и муз Десятая муза — то есть поэтесса, писательница.

Стр. 247. *Мартинн, Джон* (1789—1854) — английский художник; его картины на библейские сюжеты написаны в мрачном «титаническом» духе.

Стр. 249. *Беттина.* — Речь идет об Элизабет фон Арним, известной под именем Беттины (1785—1859); жена немецкого писателя, реакционного романтика фон Арним, второстепенная писательница, которая в юности была влюблена в Гете. Беттина фон Арним приобрела известность своей перепиской с Гете, которую она издала вскоре после смерти великого писателя под заголовком «Переписка Гете с ребенком».

Стр. 250. *...Белиза и Генриетта Кризаль, слившиеся в едином образе...* — Белиза — сестра Кризаля, буржуа, носителя «здравого смысла», и Генриетта—его дочь—действующие лица комедии Мольера «Ученые женщины»; Белиза — сухая педантка, Генриетта — молодая девушка, в которой ясный и трезвый ум сочетается с обаятельной женственностью.

Стр. 252. *Жеронт* — буржуа, отец Люсинды, действующее лицо комедии Мольера «Лекарь поневоле».

Леандр — юноша, влюбленный в Люсинду, дочь Жеронта. С помощью своего хитрого и ловкого слуги Сганареля Леандр женится на Люсинде.

Стр. 254. *Аргант* — ограниченный буржуа, действующее лицо комедии Мольера «Плутни Скапена».

Стр. 256. *Оронт* — придворный, возлюбленный Селимены, действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп».

Ансельм — отец Валера и Марианы, действующее лицо комедии Мольера «Скупой».

Стр. 259. *Муза Полигимния* — в древнегреческой мифологии богиня, покровительница лирической поэзии.

Стр. 261. *Фазаний остров* — остров на реке Бидассоа, пограничной между Францией и Испанией; в 1659 году на нем был заключен так называемый Пиренейский мирный договор, которым закончилась затянувшаяся франко-испанская война (1635—1659).

Стр. 262. *Юлия д'Этанж* — героиня сентиментального романа Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза» (1761).— *Кларисса* — героиня романа английского писателя Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди» (1747—1748).

Стр. 266. *Майорат* — право нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или роде. Уничтоженные революцией 1789 года майораты были восстановлены во время Реставрации с целью сохранения состояний старой знати.

Стр. 269. *...она напоминала Перетту из известной басни.*— В басне Лафонтена «Молочница и кувшин с молоком» молодая крестьянка Перетта спешит на рынок, мечтая о том, что́ она купит, выгодно продав молоко. Но Перетта падает, и ее кувшин разбивается.

Стр. 282. *...падение правительства.*— Речь идет о крушении режима Реставрации в результате Июльской буржуазной революции 1830 года.

Стр. 285. *Нарцисс* — в древнегреческой мифологии красивый юноша, который, увидя в ручье собственное отражение, влюбился в него и умер от тоски. Имя Нарцисса стало нарицательным для самовлюбленного человека.

Стр. 289. *Безанта* — византийская золотая или серебряная монета, распространенная в Европе во времена крестовых походов; изображение безанты на гербе рыцарей указывало, что они участвовали в крестовом походе.

Стр. 305. *Скапен* — ловкий и хитрый слуга, действующее лицо комедии Мольера «Плутни Скапена».

Стр. 307. *...«вторым душевным побуждением», столь превозносимым князем Талейраном».*— Бальзак имеет в виду совет, приписываемый дипломату Талейрану,— никогда не следовать первому побуждению, так как оно обычно хорошее.

«Мы разыграли басню про Бертрана и Ратона».— В басне Лафонтена «Обезьяна и кот» хитрая обезьяна Бертран заставляла кота Ратона таскать для нее жареные каштаны из огня. В 1833 году вышла комедия Э. Скриба под названием «Бертран и Ратон».

Стр. 312. *Оргон* — упрямый и ограниченный буржуа, действующее лицо комедии Мольера «Тартюф».

Стр. 314. *Беркен, Арно* (1747—1791) — французский писатель, автор популярной в свое время нравоучительной книги «Друг детей».

Стр. 317. *«Игра любви и случая»* — комедия французского драматурга и романиста Пьера Мариво (1688—1763), отличающаяся сложной и замысловатой интригой.

Стр. 325. *...разоренных законом о равном разделе наследства.*— Согласно Гражданскому кодексу, введенному Наполеоном в 1804 году, было уничтожено право первородства, то есть преимущественное право старшего сына наследовать состояние отца. Равное право наследования получали все дети. Это вело к раздроблению владений старой аристократии

Стр. 336. *Алкивиад* (ок. 451—404 годы до н. э.)— афинский политический деятель и полководец, участник Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой (431—404 годы до н. э.). Отличался крайней политической неустойчивостью и беспринципностью. Славился своей любовью к роскоши и изящной одежде, стремлением постоянно обращать на себя внимание.

Стр. 338. *Гефестион* (умер в 324 году до н. э.) — македонский военачальник, друг и любимец Александра Македонского.

Стр. 339. *Пилад* — в древнегреческой мифологии неразлучный друг сына аргосского царя Агамемнона Ореста; имя Пилада стало нарицательным для обозначения верного друга.

Стр. 343. *...ему удалось еще раз оправдать на деле изречение Цезаря...*— Имеется в виду легенда о том, что знаменитый римский полководец Юлий Цезарь (100—44 годы до н. э.), сообщая римскому сенату об одержанной им победе над галлами, лаконично написал в донесении: «Пришел, увидел, победил!».

Стр. 349. *Авентинский холм* — один из семи римских холмов, на который, по рассказу римского историка Тита Ливия, в 494 году до н. э. удалились римские плебеи в знак протеста против несправедливой политики патрициев.

Стр. 355. *Гален,* Клавдий (ок. 130 — ок 200) — крупнейший римский врач, анатом и физиолог, родился в Малой Азии. Гален оказал большое влияние на последующее развитие медицины в Европе в средние века.— *Бруссе,* Франсуа-Жозеф (1772—1838) — французский врач, последователь медицинских теорий известного итальянского врача *Радзори,* Джованни (1766—1837).

Каталани, Анджелика (1779—1849) — итальянская певица. В годы Реставрации и Июльской монархии жила в Париже, выступала в Итальянской опере.

Стр. 356. *Пармантье, Жаккар и Папен тоже талангы...*— Пармантье, Антуан-Огюст (1737—1813) — французский агроном и экономист, способствовал внедрению культуры картофеля во Франции. Жаккар, Жозеф-Мари (1752—1834) — французский ткач и механик, внесший усовершенствование в ткацкий станок. Папен, Дени (1647—1714) — французский физик и механик, которому принадлежит несколько технических изобретений.

Стр. 359. *«Пусть вегошь, все равно! Мила моя мне вегошь»* — слова Кризаля в комедии Мольера «Ученые женщины».

Стр. 384. *«Дом разыгрывается в лотерею»* — комедия, написанная французскими драматургами Пикаром Луи-Франсуа и Раде Жаном-Батистом в 1817 году.

Стр. 385. *Пинд* — древнее название горы в Северной Греции

(современное название Аграфа); по верованиям древних греков, одно из местопребываний бога Аполлона и муз.

Стр. 395. *Сен-Мар* — маркиз де Сен-Мар, Анри (1620—1642), фаворит французского короля Людовика XIII; участник заговора группы французских феодалов; был казнен на эшафоте.

Черными шайками называли во Франции компании спекулянтов, которые во время французской буржуазной революции XVIII века скупали на слом старинные замки и монастыри.

Стр. 399. *Дядя Тоби и вдова Водмен* — действующие лица романа английского писателя XVIII века Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

Стр. 408. *Бонифаций* — имя, употребляемое во Франции для обозначения благодушного и доверчивого человека, видящего все в розовом свете.

Стр. 414. *Янус* — в римской мифологии двуликий бог, покровитель входа в дом и начала всякого дела.

Стр. 415. *...поместье, недавно купленное... на его долю из миллиарда, ассигнованного парламентом, чтобы узаконить продажу национального имущества.*— 27 апреля 1825 года реакционное министерство Виллеля провело через обе палаты французского парламента закон о вознаграждении эмигрантов, по которому дворяне-эмигранты, чьи поместья были конфискованы во время французской буржуазной революции XVIII века и превращены в национальное имущество, получали вознаграждение в общей сумме до одного миллиарда франков. Самые крупные суммы получили приближенные короля.

Стр. 416. *Ленотр*, Андре (1613—1700) — известный французский архитектор, специализировавшийся на планировке парков.

Арпан — старинная французская мера земельной площади, около 0,5 гектара.

Стр. 424. *Люсьен де Рюбампре* — герой романов Бальзака «Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок».

Стр. 426. *«Торквато Тассо»* — трагедия Гете. См. примечание к стр. 234.

Стр. 431. *Немврод* — легендарный вавилонский царь, изображавшийся обычно в виде охотника.

Стр. 434. *Ван-дер-Мейлен*, Адам-Франс (1632—1690) — фламандский художник.

ТУРСКИЙ СВЯЩЕННИК

Повесть «Турский священник» впервые была напечатана под заглавием «Холостяки» (Les célibataires) в «Сценах частной жизни», издание 1832 года; затем под тем же заглавием была включена в «Сцены провинциальной жизни», издание 1833 года; наконец в 1848 году под нынешним своим заглавием вошла во второй том «Человеческой комедии» (первое издание). Включение «Турского священника» в «Сцены провинциальной жизни» вполне понятно: случай, казалось бы, сугубо «частной жизни», лежащий в основе сюжета,— изгнание Софией Гамар неугодного ей нахлебника, тур-

ского священника Бирото,— тесно переплетается со всей жизнью провинциального городка. Несмотря на незначительность эпизода, лежащего в основе сюжета повести, Бальзак проявляет себя в «Турском священнике» не только бытописателем, но и историком. Рассказывая о борьбе личных интересов жителей провинциального городка, писатель показывает борьбу роялистов и либералов — двух основных политических партий времен Реставрации. Пересуды турских кумушек — приятельниц Софии Гамар — перерастают пределы провинциального быта; содружество городских сплетниц изображается Бальзаком как своеобразная полицейская организация, возглавляемая аббатом Трубером. В образе провинциального аббата Трубера, тайного агента иезуитов, писатель с удивительной силой и конкретностью показал власть церковной клики, которая при Карле X (события повести начинаются с 1826 года) действовала в самом тесном союзе с королевским правительством.

Стр. 439. *«...имя, дважды прославленное в наш век...»* —Здесь имеются в виду: 1) сам адресат посвящения — Пьер-Жан Давид, прозванный Давидом Анжерским (1788—1856), известный французский скульптор-портретист, автор бюста Бальзака; 2) Жак-Луи Давид (1748—1825), знаменитый художник, крупнейший представитель революционного классицизма во французской живописи, активный участник революционных событий, член Конвента; после реставрации Бурбонов жил в изгнании.

Стр. 440. *Капитул* — коллегия духовных лиц, состоящих при епископе в католической церкви.

Стр. 443. *Черная шайка* — см. примечания к стр. 395.

Ораторианец.— Ораторианцы — религиозные общества, основанные в Западной Европе в XVI веке, получившие свое название от оратории — молитвенных домов. Ораторианцы пытались приспособить науку и философию к целям пропаганды католицизма.

Стр. 445. *«Котидьен»* — газета, основанная роялистами в 1792 году. В период Реставрации — орган крайних роялистов.

Стр. 460. *Сикст V* — римский папа (с 1585 по 1590 год), осуществлявший политику воинствующего католицизма, упорно стремился усилить влияние церкви на государственные дела Западной Европы.

Стр. 463. *Людовик XVII* — так после казни Людовика XVI роялисты именовали его второго сына. Людовик XVII умер в тюрьме в 1795 году, но роялисты распространяли слух, что он жив и похищен из тюрьмы своими сторонниками.

Стр. 476. *Фабий Кунктатор* — Квинт Фабий, по прозвищу Кунктатор (что означает Медлитель) — римский полководец III века до н. э.; во время Второй Пунической войны измотал силы карфагенского полководца Ганнибала своей тактикой уклонения от решительного боя.

Стр. 479. *Мадемуазель де Сонбрейль* — Мария де Сонбрейль, добровольно последовала в тюрьму за своим отцом, арестованным в 1792 году революционными властями.

Стр. 486. *Совет десяти* — тайный совет в Венеции XIV — XVIII веков, состоявший из представителей аристократии и осу-

ществлявший высший контроль над государственной властью Венецианской республики.

Синедрион — совет старейшин в Древней Иудее, бывший одновременно религиозным и правительственным учреждением древних евреев.

Стр. 488. *Бисетр* — тюрьма, впоследствии убежище для престарелых и умалишенных; находится неподалеку от Парижа.

Стр. 491. *Конгрегации* — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; во времена Реставрации, особенно при Карле X, были важнейшими проводниками политической реакции.

Стр. 493. *Буало,* Никола̀ (1636—1711) — выдающийся французский теоретик классицизма и поэт.

Стр. 504. *Гильдебранд.*— Григорий VII Гильдебранд — римский папа (с 1073 по 1085), ярый сторонник светской власти католической церкви. *Александр VI* — Александр VI Борджа— римский папа (с 1492 по 1503 год); стремился, прибегая к постоянным интригам, предательствам и тайным убийствам, превратить Папскую область в сильное государство, способное подчинить себе всю Италию.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

Первые шаги в жизни. *Перевод В. О. Станевич и И. С. Татариновой* 5

Модеста Миньон. *Перевод О. В. Моисеенко* 167

Сцены провинциальной жизни

Турский священник. *Перевод И. Е. Грушецкой* 439

Примечания 506

БАЛЬЗАК.
Собрание сочинений
в 24 томах. Том V.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Иллюстрации художника
С. С. Монахова.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 19/II 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 304. Зак. 3084.
Бум. л. 8,125. Печ. л. 26,65 + 4 вкл. (0,41 п. л.). Уч.-изд. л. 28,82.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина,
Москва, улица «Правды», 24.